



Владимир Костин

ЛАУРЕАТ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

ИЗБРАННОЕ



Владимир Костин
ЛАУРЕАТ ГУБЕРНАТОРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА **ИЗБРАННОЕ**

ББК 84(2Рос-Рус)6 — 4
К — 723

16+

Издание подготовлено по заказу и при финансовой поддержке
Правительства Алтайского края
в рамках губернаторского издательского проекта

Костин, В. М.

К — 723 Избранное: сборник прозы / В. М. Костин; М-во культуры Алт. края, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. — Барнаул; 2019. — 720 с. — (Лауреаты Шукшинской литературной премии).

ISBN

«Избранное» — книга шестого лауреата Шукшинской литературной премии Владимира Костина. В нее вошли лучшие рассказы автора, повести и роман «Колокол и Болото».

Герои произведений Костина — обычные люди из разных эпох и слоев нашего общества. В череде будничных проблем они пытаются забыть о суете окружающего мира и остаться самими собой. Не всем, однако, удается справиться с разрушающим влиянием Времени. Об этом проза В. Костина — интересная, неповторимая, порой гротескная.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN

ББК 84(2Рос-Рус)6 — 4

© В. М. Костин, 2019

© А. В. Кирилин, редактор 2019

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2019

Шукшинская литературная премия губернатора Алтайского края учреждена в 2007 году.

Имя В. М. Шукшина для Алтая является знаковым. Талантливый русский писатель, внесший большой вклад в отечественную и мировую культуру, родился и вырос на этой благословенной земле, всю свою жизнь поддерживал связь со своей малой родиной, в литературных и кинематографических произведениях запечатлел ее образ и образы ее жителей. Не случайно в крае существует многолетняя традиция проведения Шукшинских дней на Алтае, а также Шукшинского кинофестиваля.

Литературная премия имени В. М. Шукшина посвящена его памяти. Она присуждается за прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные на страницах литературно-художественных журналов в течение трех лет, предшествующих году присуждения премии; претендовать на ее получение вправе авторы, чьи произведения актуализируют проблемы национального самосознания, обретения высокого смысла человеческой жизни, проповедуют идеалы гуманизма, справедливости, доброты, нравственности.

Премия имеет статус всероссийской. Ее лауреатами стали:

2007 г. — Виктор Потанин (г. Курган),

2009 г. — Иван Евсеенко (г. Воронеж),

2011 г. — Михаил Еськов (г. Курск),

2014 г. — Анатолий Кирилин (г. Барнаул),

2016 г. — Михаил Тарковский (п. Бахта, Кемеровская обл.),

2018 г. — Владимир Костин (г. Томск).

С 2011 года книги лауреатов Шукшинской литературной премии губернатора Алтайского края издаются в крае отдельной серией. В настоящей книге представлены произведения Владимира Михайловича Костина.

ОБ АВТОРЕ

Владимир Михайлович Костин — писатель, драматург, литературовед, журналист, член Союза писателей России. Родился в 1955 году в г. Абакане (Республика Хакасия).

Окончил филологический факультет Томского государственного университета (кандидат филологических наук, доцент), где и преподавал долгое время. Работал также в гуманитарном лицее. Был сотрудником газеты «Томские новости», главным редактором журнала «Начало века», редактором литературно-художественного альманаха, работал на томском телевидении, где был автором и ведущим еженедельной программы «Разум. XXI век».

Владимир Костин избирался в Общественную палату Томской области. В 2004-2007 годах был председателем Томского отделения Союза российских писателей.

Однако именно в книгах видит Владимир Михайлович смысл своего существования. Эксперты называют произведения В. М. Костина «настоящей русской прозой», сочетающей «традиции и языковое новаторство».

В 2008 году писатель стал финалистом главной Национальной литературной премии России «Большая книга» с книгой «Годовые кольца». А через 10 лет — лауреатом Шукшинской литературной премии за сборник прозы «Коробок».

ЛУЧШАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА СОЗДАЕТСЯ В ПРОВИНЦИИ

«Мне хотелось написать светлую книгу, потому что грустна наша действительность, потому что страшно наблюдать, как обесцвечивается мир и человеческая жизнь, страшно, что впервые в мировой истории цивилизация противостоит культуре. Нужно было рассказать о том, что изначально может принести людям радость, дарить ощущение полноты жизни». Эта сентенция томского прозаика Владимира Костина по поводу его романа «Колокол и Болото», на наш взгляд, отражает общий пафос всего творчества писателя.

«Я хотел сделать светлую книгу, в которой была бы выказана любовь к жизни, она все равно еще пока остается удивительной, прекрасной, интересной во всех своих подробностях, нужно только вглядываться в нее». Попробуем и мы пристальней взглянуть на литературную судьбу самого автора и его произведений.

А судьба эта вовсе не безоблачна.

По словам Владимира Костина, он всегда мечтал быть писателем. Когда учился в абаканской школе в родной Хакасии, поступал на филфак Томского государственного университета, писал кандидатскую диссертацию (В. М. Костин — литературовед, кандидат филологических наук, в течение 20 лет преподавал русскую литературу в ТГУ, автор более 20 научных публикаций об А. С. Пушкине и В. А. Жуковском), работал «за квартиру» на домостроительном комбинате, делал удивительно умные передачи на томском телевидении — был главным редактором, автором и ведущим еженедельной программы «Разум. XXI век».

Победитель конкурса «Лучший преподаватель Томского государственного университета» (1991) и весьма успешный, интересно работающий тележурналист, удостоенный звания «Человек года» (2001), Владимир Костин свою первую книгу рассказов «Небо голубое, сложенное вдвое» написал в самом конце 1990-х, уже уйдя из университета. Сразу было ясно, что миру явился уникальный литературный талант. Но дальше были

долгие, мучительные для всех и прежде всего для самого писателя, годы литературного молчания, однажды все-таки прерванного его драматургическим опытом. В 2005-м, в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, пьеса В. Костина «От равнины до равнины, через три реки» была поставлена на сцене Томского театра драмы.

Только в 2008-м в томском издательстве «Красное знамя» вышла вторая книга Владимира Михайловича Костина — «Годовые кольца», этот сборник повестей и рассказов в том же 2008 году вошел в шорт-лист главной Национальной литературной премии России «Большая книга». Томский писатель оказался единственным в числе лауреатов финалистом из провинции, его «Годовые кольца», вызвавшие интерес критики и успех у читателей, вошли в четверку лучших произведений премии. В конкурсе читательских предпочтений, проходившем в то же время, книга Костина заняла второе место.

Московские критики сразу же заговорили о том, что есть в провинции достойные писатели, и Костин с его удивительными, теплыми, нестоличными героями — тому доказательство.

Один из крупнейших и авторитетных литературных критиков Станислав Рассадин (считается, что именно он является автором термина «шестидесятники») назвал прозу Костина открытием на закате своей жизни: «Читаю книгу Владимира Костина «Годовые кольца». И это — редчайший случай, когда я поражен силой и оригинальностью таланта».

Известный публицист и литературный критик Владимир Бондаренко отметил, что проза В. М. Костина «...потрясает сочетанием блестящего художественного мастерства и оригинального, очень честного взгляда на русскую историю и жизнь. Уверен, что в русскую литературу пришел крупный писатель».

В рецензии на книгу «Годовые кольца» в «Литературной газете» Александр Яковлев очень поэтично и образно назвал томского писателя «диковинным цветком российской словесности».

Сам же Владимир Михайлович о жизни и судьбе провинциального писателя рассуждает не столь оптимистично: «Вот сбылась моя детская мечта быть писателем. И что? Раньше писатель мог себе хотя бы позволить как-то существовать от книги до книги.

Современный провинциальный писатель вынужден каждый день думать о хлебе насущном, его будни — изнуряющая поденщина, а не вдохновенный литературный труд... У нас есть Москва, где живет основной корпус писателей, который имеет условия для существования, как выяснилось, даже не на гонорары, там есть всякие гранты, премии и прочее. Но существует огромная онемевшая Россия. Онемевшая с тех пор, как замолчали Астафьев, Белов, Распутин, как ушли певцы своей земли».

Профессор Томского государственного университета, литературный критик Александр Казаркин видит сопротивление провинции обезличивающему центру, полагая, что «...на взгляд Москвы, провинция безгласна, да и неизвестно, дышит ли. Мало модных изысков, постмодернизм за Уралом, слава Богу, не прижился; если есть он, то явно эпигонский. Это признак здоровья, а не отставанья. Жизнь всегда была здесь трудной. Дух семьи и чувство почвы мешают чертополоху заполнить все литературное поле Сибири».

Тема духовного сопротивления размыванию базовых национальных ценностей в русском XX веке и по сей день, когда испокон веков утверждавшиеся основания жизнестойкой культуры — малая родина, семья, дом, устойчивый быт — постепенно и неуклонно утрачивают свое значение ментальных скреп, чрезвычайно важна для писателя Костина.

В романе «Колокол и Болото» таинственный Старец, явившийся из прошлого, из легендарных запасников памяти, обращается с наставлением ко всем нам: «Любите свое Болото! Некому, кроме нас, любить его и обихаживать... Пусть наносит миазмами и скука наваливается, но... это же почва наша, это наше все!». Прозрачная аллюзия, несомненно, узнается мотив М. Булгакова, но у Владимира Костина вместо духа тьмы явился светлый Старец-призрак, который, собрав на Болоте последних совестливых людей, жителей низовой России, вразумляет их: «Никогда такого не было, чтобы люди посягали на родовые свои свойства, отказываясь от души, от дома, от семьи».

Московский прозаик и критик Мария Бушуева особо выделяет два рассказа из сборника «Коробок», достойных традиции русской классики, — «Покорение холма» и «Ласточка

с весною», которые подтверждают «...главное кредо автора: только обычная, верная многовековому укладу и, что самое главное, не утратившая человечности жизнь сохраняла всегда и сохраняет сегодня живой душу бытия».

Как жить «не по лжи»? Ответ на этот вопрос всегда был не легким и даже мучительным для думающего интеллигента. Именно на него пытаются дать ответ всем своим творчеством писатель Владимир Костин. Даже странно, что кого-то еще мучают подобные вопросы. Как хорошо, что кто-то их еще задает.

Персонажи произведений Владимира Костина — люди обычные, «маленькие», из разных слоев нашей жизни. Однако самая тихая и неприметная провинциальная жизнь становится испытанием на прочность, жестким и даже жестоким противоборством человеческой личности и всеразрушающего Времени. Именно оно — Время — является главным героем книг писателя из Томска.

Автор отправляет своих литературных героев в путешествие по разным эпохам. Его персонажи пытаются остаться собой, перемещаясь из «русского Харбина» в современную Керчь, из восемнадцатого года в тридцать седьмой, а потом в 70-е годы XX века и далее.

Многие из героев Владимира Костина напоминают шукшинских «чудиков», ведь томского писателя, как и Василия Шукшина, интересует человек уникальный, неповторимый, выбившийся из стандартной, обезличивающей колеи жизни и находящийся в изумлении перед величием бытия.

Эта вдумчивая, жизненная проза, посвященная Человеку и Времени, близкая традициям русской классики — как разговор с душевным, чутким, умным собеседником. Владимир Михайлович хочет напомнить читателям о ценности Времени, которое течет не только во внешнем мире, но и в нас самих.

Способность (или неспособность) человека противостоять времени и обстоятельствам, оставаться самим собой или плыть по течению — вот мерило жизнестойкости человека. Один из примеров верности самому себе — Музонька из одноименной повести. Но много и таких, которые, пойдя на поводу у своего времени, сгнули, как сгнул муж Агафьи («Рожок и платочек»), как погиб Сосницын — «герой нашего времени» из повести «Бюст».

Как преодолеть фрустрацию, что противопоставить всеразрушающему потоку времени? Только культуру, но культуру подлинную, одухотворенную. Владимир Костин видит элементы псевдокультуры повсюду: в жизни и в быте современных нуворишей («Бюст»), университетских преподавателей и «шегарских», деревенских, недавно перебравшихся в город («Что упало, то пропало»). С трагическим недоумением смотрят на мир герой-рассказчик и повествователь: что с нами стало, что мы сделали со своей жизнью, со своим городом, со своей страной? Таким образом, мотивы вины и ответственности сближают прозу В. М. Костина, адресат которой — читатель думающий, вникающий в философию кризиса, с классической литературной традицией.

Вполне закономерно, что писатель считает себя стоиком: «...ценой юности и зрелости приползаешь, ободранный, к истине самостояния, к величию стоицизма...» и наделяет этим качеством своих героев (повесть «Стрелец»), хотя жизнь берет свое, и «...одни рожицы сменяются другими кувшинными рылами».

Произведения Владимира Костина отличаются экзистенциальной глубиной, тем пониманием жизни и человека, которое дано немногим. В них ничего не происходит внешне, интерес держится на внутренних переживаниях и изменениях личности героев, которых экзистенциальное одиночество настигает внезапно и парадоксально, когда пустяковый, казалось бы, случай приводит к катастрофе: рушится вся жизнь человека («Что упало, то пропало»).

Главным свойством рассказов писателя является аристократический лаконизм мысли, слова, чувства, будто снисходящий до вполне реальных, даже житейских историй или просто сценок. Повести и рассказы В. М. Костина разнородны по материалу, жанру, стилевой манере. Пестроте героев и сцен в его рассказах, где целое складывается по принципу калейдоскопа, соответствует смена тональности: элегия, ирония, отрешенное раздумье. Объединяет их, прежде всего, образ повествователя (героя-рассказчика), в котором мы узнаем традиционный для русской литературы тип интеллигента, живущего «не по лжи», для которого проблема смысла жизни — всегда и безусловно личная, требующая решения «здесь и сейчас», при этом внутренняя, духовная свобода личности для него является непременным условием существования.

«Изначальное впечатление от прозы Владимира Костина опьяняющее... Есть неторопливый разговор о нашем прошлом и настоящем, постепенно выливающийся в нечто настолько завораживающее, что хочется ущипнуть себя: неужели это — реализм?.. Мир обычных вещей и чувств в его изображении вдруг становится необыкновенно интересен: как же мы этого не замечали?» (Александр Яковлев).

В прозе В. М. Костина самые обычные предметы — травяные билеты со «счастливыми номерами», шапка, засохшие гладиолусы — становятся одухотворенными знаками времени, знаками становления, изменения и вечного возвращения «на круги своя».

«Меня как писателя очень волнует и наше беспамятство, наше неумение извлекать уроки из своего горького опыта... И самые драгоценные вещи, которые связаны с человеком: полнота его переживаний, нежные интимные чувства к детям, женщине, и нормальная здоровая семья, — все эти вещи уходят в их тонкости, неповторимости, в их естественном природном аромате... Этого всего нет, за этим приходится уже гоняться писателю, искать в окружающей тебя жизни...» (В. Костин).

Но сколь бы ни печальна была наша действительность, справедливо, на наш взгляд, полагал Морис Метерлинк, один из любимых писателей Владимира Михайловича Костина: «Примирение с жизнью, такой, как она есть, повинуется законам более обширным, согласным с гением вселенной, чем желание убежать от печалей жизни».

Событием культурной жизни Томска и Сибири в целом стал роман Владимира Костина «Колокол и Болото», вышедший в 2012 году в московском издательстве «Беловодье» и получивший положительные рецензии известных литературоведов и критиков в «Литературной газете», «Аргументах и фактах», «Красном знамени» и других изданиях, а также множество как восторженных, так и весьма критических отзывов на интернет-ресурсах. «Колокол и Болото» стал финалистом Национальной премии «Золотой Дельвиг».

«Это вещь большого российского масштаба и значения. О Сибири кто последний раз писал так тепло, так сильно, с таким горизонтом? В книге есть все — музыка повествования, музыка

стиля, ирония, сарказм, гротеск, сатира. Автор теплым человеческим, лирическим и ироническим чувством осветил наш город...» (Александр Казаркин, профессор ТГУ).

Томск, безусловно, может гордиться творчеством писателя, который в своем романе не только создал как художник слова незабываемый образ заслуженного города Потомска («он же некогда Ветропыльск, он же Ямонагорск, а для избранных — Университетск», где «рядом с исконной стихией мата образовалась гармония отличной русской речи»), но и очень ответственно, с обстоятельностью ученого, не избегая при этом присущей автору (а вслед за ним и повествователю-рассказчику) философской иронии и самоиронии, воссоздает историю города как краевед.

Томский журналист Татьяна Винарская отмечает интригующий сюжет, загадочные переплетения судеб, узнаваемость места действия и, безусловно, изысканный, «вкусный» стиль автора. По мнению читателей, роман цепляет с самых первых строк и не отпускает до финала, при этом автор, широко пользуясь на этот раз фантастико-гротесковой и сатирической палитрой, пошел на сюжетный риск, но не поступился ради внешней занимательности ни глубиной, ни правдой характеров, ни узнаваемым лиризмом письма.

«Сопрягать эпохи и расслаивать времена, строить сюжет на диссонансах, укрупнять будто бы малое и умять мнимо крупное», — так видит замысел романа «Колокол и Болото» Александр Казаркин.

Если в книге «Годовые кольца», которая, по словам самого автора, была «памятником инфантилизму людей моего поколения, инфантилизму вообще и советскому», историческая тема была в некоторой степени фоном повествования, то в романе «Колокол и Болото» она уже становится важным фактором, во многом определяющим развитие сюжета и судьбы героев.

Очевидно, что об инфантилизме по поводу романа Владимира Костина говорить не приходится. Сказовая интонация, идиллический тон начала книги томского писателя не введет внимательного и опытного читателя в заблуждение. «Колокол и Болото» — не только сказ, но и острая социальная сатира,

гротеск. Не лишен роман и черт магического реализма, фантастики и, конечно, лирики. Мифологизм и сатира отсылают нас к Гоголю и Салтыкову-Щедрину, магизм к Булгакову и почитаемой автором испаноязычной прозе XX века.

Томский писатель противопоставляет всем псевдо и антигероям романа (губернатору, чудесным образом превратившемуся по воле автора в осетра, его коррумпированным чиновникам, алчным финансистам и воротилам бизнеса и т. д.) самого обычного человека, обитателя своего старого, но бессмертного Болота — «заповедника древнего, здорового и противоречивого славянского мироощущения». Прекрасный и горестный символ провинциальной России — Болото (всего-то три улицы да два переулка!), не затронутое злыми ветрами XX-XXI веков, где время оказывается не линейным, а циклическим (поколения идут по кругу), жители его — «теплая пыль проселочных дорог глубинной России и граненая роса на ее приватизированных лугах» — и есть истинные герои времени.

Язык Владимира Костина — сочный, яркий, образный, по-хорошему не столичный, не полированный до идеальности, но отлично стилизованный, метафоричный, с ловким и ладным слогом, выгодно отличающий томского прозаика — неравнодушного и глубокого знатока русского языка — от многих современных авторов.

Один раз в два года, начиная с 2007 года, в последний день фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» вручается одна из самых престижных литературных премий современной России — Всероссийская литературная премия имени В. М. Шукшина, которой отмечаются прозаические произведения, продолжающие лучшие традиции отечественной литературы.

В 2018 году премии удостоен писатель из Томска Владимир Костин — замечательный, удивительно тонко чувствующий стиль прозаик.

На соискание премии претендовали 15 авторов из разных регионов страны. Члены экспертной комиссии единогласно поддержали книгу Владимира Костина «Коробок»:

«Произведения автора — это настоящая русская проза, сочетание национальных традиций и языкового новаторства».

В сборник художественной и документально-исторической прозы «Коробок», опубликованный в 2015 году в томском издательстве «Красное знамя», вошли повесть «Стрелец», четыре рассказа и развернутый очерк «Два метеора, или Томск в 1890 году».

Так уж получается, что раз в 10 лет награда все равно находит настоящего последнего героя. 28 июля 2018 года, спустя 10 лет после успеха сборника «Годовые кольца» в «Большой книге», Владимир Михайлович Костин взобрал на гору Пикет в селе Сротки, где сидит босоногий бронзовый Василий Макарович Шукшин, чтобы на торжественной церемонии закрытия Всероссийского Шукшинского фестиваля получить литературную премию имени этого выдающегося российского писателя — истинного сына алтайской земли.

«В эпоху глянцевого журналов, развеселого телевидения и массового «чтива» проза Владимира Михайловича Костина стоит особняком, как, впрочем, всегда стоит особняком все самое значительное в литературе и в искусстве. Место проживания писателя также не добавляет ему известности, да и нет пророка в собственном отечестве. Читать В. М. Костина нелегко, но необходимо. Необходимо для души, для того, чтобы мы не выросли Иванами, не помнящими родства. В рассказе А. П. Чехова «Крыжовник» говорится о человеке с молоточком, который бы напоминал каждому довольному, счастливому человеку, что есть несчастные. Таким «человеком с молоточком» и является писатель В. М. Костин» (А. С. Собенников).

Сегодня действительно лучшая русская литература создается в провинции. И пока в России «жить больно, но в русском языке еще отчетлив образ Надежды», а любимые герои томского прозаика молоды и чистосердечны, творчество Владимира Костина, пишущего без навязчивых политизированных истин, будет привлекать думающего читателя и никого не оставит равнодушным.

Ника Иванова
(*Виктория Левашова*),
филолог

ПОВЕСТИ

БЮСТ

*Для тех, кто крылья вырастил в неволе,
Падение бывает как полет.*

Лидия Хаиндрова

1

Не сказать, чтобы она была бодрой старушкой, не сказать, чтобы руиной. Престарелая женщина, каких нынче снова называют достаточными. Плоть уже отступила везде и во всем, кожа обсыпана гречихой, на голове паричок. Но паричок дорогой, ванильный костюм с матово-черными вставочками — дорогой и модный, пошитый на заказ у кого стоило, а за такие туфли девочки в его газете работали месяц. У этой бабушки были состоявшиеся в новой жизни потомки. Один из них, внук, сидел рядом с ней: бритая, отливающая синевой голова, песочный замшевый пиджачок для путешествий, отталкивающий взгляд механических глаз, похожих на протезы.

Ей шел восемьдесят второй год, она проживала в Москве, но родилась в Харбине и впервые навещала свою географическую родину. Или как это сказать?

Ее звали Ангелина Сергеевна, внук Ванечка сделал ей долгожданный подарок. У него дела в Харбине, он, наконец, откликнулся на ее просьбы и взял с собой, и «мой доктор был не против, сам напрашивался в провожатые, но Ванечка не согласился, он еще не настолько богат».

Ванечка раздраженно повел бровями и уткнулся в китайскую газету. Он ее читал!

Самолет летит в Харбин.

— Я прожила там тридцать лет подряд, от появления на свет. И замуж вышла там, и Сережу родила там.

— А вы не знали такого: Петр, Петя Сосницын, он был старше вас года на три-четыре? Мой родственник.

— Ну, память моя нетвердая. Кажется не в маразме, помню все, но вспоминаю невпопад. Вот вы сказали «Сосницын Петя» — не знаю сейчас, не вижу. Город был большой. Память

молчит. А через час, может быть, предстанет этот Петя со всеми пуговичками. Еще и окажется, что я в него влюблена была...

Она засмеялась и хлопнула себя по коленочке.

— Он был красивый, высокий, из железнодорожников, и сам железнодорожник.

— Милый мой, вы бы еще сказали — из колхозников! Там все были железнодорожники, и отцы, и дети. И красивых хватало, молодых людей с достоинством, с осанкой...

— Вас послушать, так в Харбине...

— У Ванечки, у брата, — не слушая, продолжала Ангелина Сергеевна, — была, конечно, своя компания, большая. Они были все из одной гимназии, «Достоевки»... да, отличные мальчишки, юные джентльмены. У них были, например, прозвища. Ванечку звали «Чика», это что-то из истории: Зару-бин-Чика... Но они были чудовищно старше, мы, мелюзга, с ними не общались, вернее, они с нами. Они нас не замечали... Но вот я сейчас задремлю, если позволите, и, может быть, вспомню. Надо мне подремать: я уже волнуюсь, словно бы слышу те колокола на рассвете...

Игорь поклонился ей и пошел на свое место. Разговор развлек и как-то озадачил его. Он так и не открыл заготовленную книгу про старый Харбин и неотрывно смотрел в иллюминатор на нескончаемые облачные волокна. Хлопок небесный.

Когда самолет приземлился в накрытом желтым смогом Харбине, Игорь с надеждой приостановился около старушки. Она кивнула ему и сокрушенно сказала:

— Не вспомнила!

— Не беда, — ответил не слишком разочарованный Игорь, плывя к выходу, и услышал еще, что она говорит внуку:

— Ванечка, я боюсь вставать, боюсь выходить. Я очень переживаю, как бы мне не помереть тут от переживаний...

В центре города действительно стояли основательные каменные, в три-четыре этажа, дома, узнаваемые по русским фотографиям столетней давности. Но было понятно, что этот огромный и занудный город их едва терпит. Дома тонули в паутине иероглифов, задыхались в едком, аммиачном воздухе, съеживались, обжаты густыми потоками людей и автомобилей. Со

всех сторон на них наступали, над ними нависали вульгарные громады хайтеков-новостроек среднего по размерам китайского города населением в шесть миллионов человек.

Прошлое здесь никого не интересовало. Таксист, китаец в непонятно-оранжевых очках, настойчиво твердил: это было давно, и ничего не осталось. Город другой, мы его построили заново — это отличный китайский город!

Переводчица-китаянка неискренне извинялась, говорила о страшных ошибках культурной революции и сегодняшней могучей поступи прогресса, не терпящего оглядок. Сосницын вспомнил про старушку Ангелину Сергеевну: какое разочарование ей предстоит! Того кладбища, где лежали ее родители, нет и в помине, как нет того храма, где она молилась, и того домика, где она жила.

И те клочки земли, где все это находилось, неустановимы даже приблизительно.

На каком-то перекрестке Сосницын увидел улыбчивый бюст китайского героя, увенчанный стандартной кепкой. Благодаря этой улыбке и шлемоподобной кепке все китайские герои почему-то напоминали летчиков, хотя Сосницын был уверен, что летчики среди них попадались крайне редко.

Он остановил такси и подошел к бюсту. На постаменте торпоршились иероглифы. Бюст гипсовый, облитый бронзовой краской. Под подбородком героя краснело несколько свежих пионов. Постамент был невысок, герой приближен к народу, но никаких царапин, трещин, начертаний памятник не содержал, будто его воздвигли сегодня.

Вот народ, подумал Сосницын. Мимо него и бюста несло толпу, струей плотностью в тысячу человек поминутно. И не чешутся же у них руки. А ведь ночью здесь шляются развязные городские мальчишки. Или не шляются?

— Вам известен товарищ Лю? — с удивлением спросила подошедшая переводчица.

— Да, известен, — смело соврал Сосницын, — я очень уважаю храброго товарища Лю.

— Это приятно слышать, — сказала переводчица. Она обрадовалась?

Сосницын посмотрел на нее с известным интересом. Ему было жалко, что приятная, стройная китаянка довольна такой малостью, но равнодушна к нему, видному мужчине, уже готовому откликнуться на любой ее намек.

Она же, садясь в такси, сообщила водителю, не иначе, что русский гость знает про товарища Лю — она повторила это имя трижды, и водитель, вежливо приподняв свои чудовищные очки, наклонил нос и сказал по-русски:

— Хорошо!

На самом деле Игоря разыграли, подсунули расписную ширму. Переводчица и водитель были двоюродные брат с сестрой, полвека назад товарищ Лю уполовинил, расстрелял в деревне под Хуланем их родню, мнимых пособников гоминьдановцев, поэтому никакого почтения к герою у них не было.

Переводчица сказала водителю:

— Что-то ему приглянулся этот подлец Лю. Он говорит, что знает про храброго Лю. Думает, что нам это приятно слышать.

— Может быть, он знает про Лю от отца? — спросил водитель.

— Он ничего не знает про своего отца, — ответила переводчица, — нет, он соврал, чтобы нам, китайцам, было приятно. А спроси у него, чем знаменит этот Лю, он сядет в лужу.

— Среди русских бывают такие любезные врунишки. Особенно, когда они напиваются и воют в машине «На сопках Маньчжурии». Надоели мне эти «сопки» до изжоги, — заметил водитель.

— А ведь богатый человек. Большой человек, — сказала переводчица.

Водитель приподнял очки и глянул в русские глаза: не прикидывается ли этот здоровяк, что не знает ни слова по-китайски. Нет, русские здоровяки не знают ничего. И сказал по-русски:

— Хорошо!

В свою очередь, на самом деле Игорь Петрович Сосницын прибыл в Харбин вовсе не для того, чтобы побывать на родине отца, найти здесь какие-то его следы и впасть в задумчивость, как это бывало с ищущими себя мужчинами на переходе от одной зрелости к другой. Отец-сказочник бросил его в малолетстве, исчез навсегда, Игорь не знал — жив он или мертв? Скорее

мертв, поскольку нынче ему должно было стукнуть восемьдесят пять лет. Отец не подавал о себе вестей, Игорь никогда его не искал и вспоминал о нем с вялым негодованием.

Но он и вправду открывал новую дверь в своей карьере, и было любопытно, что это связывалось с отцовским Харбином, в котором он через час будет торговаться с китайскими товарищами о продаже им технологий, в развитие которых он вложил приличные свои деньги, которые должны удвоиться уже через год. Технологии производились его бывшими сослуживцами, Сосницын их слегка поободрал, больше из принципа, нежели из жадности, потому что они его когда-то фигурально ни в грош не ставили, и он обязан был не поставить их в грош буквально.

Так бывает только в России: коллеги его ненавидели — и смотрели ему в рот, поддергивая штаны. Рассказывали повсюду, что никакой он не борец за справедливость, закон и порядок, а зазнавшийся хитрый проходимец, русский выродок, надышавшийся в детстве инсектицидов на хлопковых полях Узбекистана. Что ученую стезю не осилил по лени и полной бездарности. Хам, лицемер, шантажист.

Но как только у них возникали затруднения дороже паршивой сотни рублей, они бежали к нему: помоги! выручи! займи! заступись! И мелко-мелко трясли невидимыми хвостиками за спиной. И он помогал, делая при них записи о том в специальный гроссбух, а они делали вид, что ничего унижительного в этом гроссбухе нет, такой уж Гарик Сосницын системный человек.

Надо учитывать, что китайцы — заведомые мастера тянуть резину. Поэтому, несмотря на ряд помарок и отложенных частностей, переговоры прошли очень удачно. Особым признаком удачи было то, что председатель совета директоров компании «Бэйфан» товарищ Бао, ритуально пожимая руку Сосницыну, еще и похлопал его по плечу. Китайцы вообще избегают физических контактов, а тут товарищ Бао похлопал его по плечу и сказал длинно: их отношения стали столь коротки, что он видит в Сосницыне доброго соседа, с которым приятно посидеть, покурить просто так на завалинке. Он сказал «завалинка» по-русски, и молодая переводчица растерялась, она не знала этого слова, собственно, в переводе не нуждающегося.

Похоже, видал виды товарищ Бао, пожилой, битый варан. Сосницын был доволен, у него пели душа и тело. Харбинский воздух превратился в горный, и знамя трепетало на ветру.

Но эта радость победителя была обреченной, она иссякла еще в том зале заседаний, где во всю стену раскинулся девственный маньчжурский ландшафт, какого в реальности давным-давно не существует. И это случилось не впервые. Всякий раз, испытывая торжество, Игорь Петрович не знал, что с ним делать дальше. Вставали параллели с важными подробностями интимной жизни.

Что-то же надо делать, это же у нас в крови! И всякий раз наступала тоска, опустошение. Что делать? Чужим твой успех безразличен, своим — противен. Можно позвонить домой, но жена уже, вероятно, подшофе — да она и сама позвонит, еще и подгадит, по обыкновению. И что — полежать с хорошей книгой в номере, отдохнуть, возвыситься душой, строя маниловские планы... Тьфу!

Почему саксонец, еврей, тот же китаец сопят себе в трубочку на эскалаторе карьеры и довольны неискренними аплодисментами побежденных, как бы равны ситуации, а тебе мерещатся гунька кабацкая или бритва? И ты непременно будешь снимать напряжение, которое они готовы длить до бесконечности?

Ты, в прежней жизни не выносивший алкоголя, гвалта и разврата даже в комсомольском его варианте?

Опытный товарищ Бао тоже понимал обреченность Сосницына, он переглянулся с переводчицей, и Сосницын это увидел, понял и унился. Нет, тяжело в России выбиваться в люди. Не буду напиваться, не буду спать с женщиной, дарящей любовь по долгу службы, сказал себе Игорь Петрович. И он не напился.

Но когда, проводив его до номера в гостинице, переводчица встала перед ним и выжидала, улыбаясь, опустив глаза, он распахнул перед ней дверь и, провожая ее внутрь, положил ей в карманчик пятьсот долларов.

Они выпили по сладкой рюмочке, она запунцовела, и Сосницын сказал: «Ну, выпила же она эту рюмочку, и у ней красота переменялась — она еще лучше стала, поаккуратнее». Что-то? сказала она, не понимаю. Это из русской сказки, что ты красивая, ответил Сосницын.

Он проводил ее под вечер, совершенно опустошенный и задумчивый. Китайка с достоинством водила с ним интересные разговоры, явно не считала себя продажной женщиной, и это передалось ему. Другая жизнь, другие нравы!

На прощание она сказала, прикоснувшись пальчиком к карману, очень искренне:

— Спасибо за подарок! Не много ли?

Приличная девушка, знающая свое место в жизни, уважающая мужские слабости.

Он набрал ванну горячей воды, слишком горячей для других людей, и уселся в ней с бутылкой виски, но тут же отнес ее обратно в мини-бар. Он снова вспомнил про бабушку Ангелину — что она делает, заплакав?

Привычка мыться в почти кипятке завелась у него со студенчества, с радостной встречи со ржавым душем в общежитии. В среднеазиатском детстве истеричная матушка изо дня в день, включая выходные, садила его по утрам в цинковую ванну с ледяной водой и говорила: «Привет от папы! Вспомним папу!» Такая традиция досталась ему от сбежавшего отца, так он закалялся, и мать, по ее словам, считала, что это была полезная традиция, воспитывающая характер. Конечно, она таким образом мстила отцу, отыгрываясь на сыне и в то же время приучая его ненавидеть отца.

А он плакал, рыдал, не проснувшийся толком тощенький мальчик, и говорить-то он научился во время этих процедур. И первые его слова были: «не надо, не хочу, не тронь меня». И мать ласково называла его «нЕкалкой».

Игорь сидел в ванной и бесполезно корчил лицо в запотевшее, слепое зеркало. Ему хотелось увидеть себя. Это желание было двойственным. С одной стороны, как обычно, увидеть себя нелишне потому, что он был крепкий, крупнее других мужчина с развитой мускулатурой. Разве что подкачал нос — он был великоват. И ноги тяжеловаты, грузны. Он, можно сказать, уверялся в своей массивности, надежности. С другой стороны, как сегодня, когда в нем снова завелась странная смута, и так некстати, и так уже закономерно, хотелось бы вчитаться в собственное лицо, найти подсказку в зеркале — мимика может опережать мысль.

Он протер зеркало, но оно ослепло в секунды, пока он стряхивал воду с волос.

Вот-вот позвонит жена. Если она застряла на какой-нибудь презентации или обычной светской гулянке, это не помеха. У нее был свой театр. Она с сугубым удовольствием позвонит ему при свидетелях из Ермаковска в Китай: у мужа важная сделка в Харбине, не знаю, как он там без меня, справился? Гарик, здравствуй, дорогой. Мы тут немножко хенессуем. Привет тебе от... и т.д.

В последние годы она стала явно преувеличивать свою роль в его — их — делах и нередко сетовала, что такое-то начинание прошло бы лучше, если бы Гарик внимательно меня выслушал, но он не выслушал, и что вышло?

А Гарик (ему не нравилось, что его зовут Гариком) только знай подчищай за ней ее самозванные ляпы да сдерживай ее рептильные хватательные инстинкты. И чем основательнее она втягивалась в коньячное движение, тем более нелепо и разрушительно она хватала, нагоняя Сосницыну лишнюю головную боль. И с газетой, и с каналом, и с политикой местного, извилистого масштаба. И по любому поводу коньячок, и угольные таблетки наутро. Что ж, пей.

Отношения у них были скверные, и только общая виноватая любовь к сыну, хромьёному от рождения, не давала разгораться большому последнему пожару. Но Сосницын знал, что Лариса в свое время, когда он еще не набрал ходу, пыталась ненавязчиво вскружить голову Пургину, нефтяной заднице с широкой розовой физиономией, на которой не росла борода. Готова была уйти к нему, но у Пургина была своя боевая «Лариса», и сам Пургин романтиком никогда не был, принимая ее внимание из престижных статей.

И где нынче Пургин? Кому лижет пальцы?

Что случилось с когда-то пугающе нормальной, честной, принципиальной девушкой, дочерью хороших родителей, хорошим физиком-экспериментатором, серьезным знатоком проблем механосинтеза? Причем случилось в зрелые годы, когда женщина уже должна сложиться во всем раз и навсегда?

То и произошло, что теперь называется, «сорвало крышу», а раньше именовалось головокружением от успехов.

То, что казалось в жене самым гадким, упиралось в ее упоение ролью страшно деловой женщины. Он свое брал силой, напором, шантажом, от него прогибались и трещали. Она заводила дружбы со всяческим говном, подлизывалась, наушничала, приобнимала, припадала и расшаркивалась, верещала, изображая счастье встречи с очередной сволочью. И была поразительно фальшива во всем этом лебезении. И заставляла Сосницына заливаться злобным стыдом.

— Ты мне вредишь больше врагов, — рычал он на нее, — холуйка, барахло, изовралась напрочь. У тебя вместо лица набор личин!

— А ты ударь меня или плюнь, — отвечала она, — ты злишься потому, что видишь — я и без тебя летать умею, и свой кусок хлеба с икоркой зарабатываю. Ты еще мне завидовать будешь. Не забудь — диссертацию защитила я, а не ты.

Потом появлялся ковыляющий белолицый тростиночка Петя, и они мирились и делали с ним уроки. Он был умный и нежный мальчик.

Она позвонила, когда Игорь улегся в постель, и позвонила из дому, из тишины. Но язык заплетался.

— Все в порядке, — сказал он, — даже не ожидал, что так работаю китайцев. Товарищ Бао — мой ДРУГ.

— Прекрасно! Не зря я тебе помогала (?). Видишь, какое совпадение, — засмеялась она по-доброму, — и скульптор наш Кичухин сообщил: сегодня отлили твой бюст. Бюст хорош, ты там... ты в нем... или на нем? В общем, мужественный, как гладиатор, красивый, как Жан Маре.

— Думай, что говоришь.

— Ах, да, я забыла... Ну, как Сталлоне. Я заплатила и привезла его — тебя — домой.

Стоишь в гостиной. Петька надел на тебя бейсболку. Любуемся.

И Сосницын не без досады поймал себя на том, что ему ужасно хочется увидеть этот бюст. Мелькнуло, что уже сидит в завтрашнем самолете, уже сходит с трапа в ермаковском аэропорту... А кого встречает толпа, машущая триколорчиками... Тьфу!

— Чего ты замолчал, — спросила жена, — от радости в зобу дыханье сперло?

Они поговорили про сына и попросились. Сосницын выкурил свою зарпную сигарету, выматерился и лег спать.

Идея собственного бюста исходила от него, хотя он делал вид, и жена снисходительно соглашалась, что это ее решение, подсказанное похотывающим Кичухиным.

Началась эта история с того, что его прошлой осенью пригласили на открытие мемориальной доски в память покойного директора цирка Николая Шкапченко. Стоял ноябрь, моросило, доску прикрепили к торцу дома, где проживал директор. На доске было написано что-то вроде: «В этом доме с 1975 по 2005 гг. проживал Николай Иванович Шкапченко-Золотаревский, заслуженный деятель искусства, видный организатор культурной жизни в нашем городе».

Сверху барельеф: голова Н.И. с улыбкой К. С. Станиславского.

Народу собралось порядочно, трое видных же ермаковцев, в том числе мэра города, тепло говорили о заслугах покойного. Дети благодарили город за честь. Цветов нанесли на три погонных метра. В заключение струнный квартет исполнил что-то из Моцарта, любимое ушедшим.

Сосницын знал, что Шкапченко не выносил никакой музыки, читал одни газеты и банально любил деньги, почет и женщин. Именно почет — славы он боялся. А женщин любил любых, невзирая на лица. Он был декоративный управленец-перерожденец, бравший не знанием, не талантом, но умением вовремя схватить и вовремя отскочить, столкнуть людей и развести их на бобы. Отсутствие собственного мнения он восполнял за счет чуткого слуха, ловко найденных подсказок — впрочем, здесь случались конфузы, поскольку подсказчики бывали глупыми. Он был жуткий бездельник и трус, но потому и освоил необыкновенное благообразие: брал осанкой, тихой раздумчивой речью и мягкими жестами мудреца. Сосницыну приходилось шантажировать его, потому что Н. И., безудержный дряхлый сладострастник, сам шантажировал подчиненных ему женщин и заставлял отдаваться ему на рабочем месте, перед обедом (впрочем, что хорошего можно сказать о таких женщинах?).

Почести волновали Сосницына. Он уже выбил себе орден Дружбы народов и был в полушаге от получения звания по-

четного гражданина города, самого молодого в его истории. На это ушли большие деньги, но он знал, у кого брать деньги и подписи. Ему уже помогали заведомо, заглядывая в будущее, на него работали чужие деньги, украденные донорами у государства.

Тогда Сосницын позавидовал Н. И. и сказал жене: Шкапченко был пустышка, призрак. Кто он такой рядом со мной? Убогий маклак, взошедший на советском навозе. У меня будет такая доска, и мой бюст поставят в хорошем месте.

— Ты сумасшедший, — испугалась Лариса, — ты что, собрался умереть? Что за бред!

— Я умирать не собираюсь, — сказал Игорь Петрович, — и бюст мне пока ставить не за что. Но я сделаю так, что они, не почистив зубы с утра, повесят на нашем доме доску и поставят мне бюст.

— Дорогой мой, — уже серьезно, зная мужа, сказала Лариса, — бюсты ставят героям войны, космонавтам, пушкиным-толстым. Что же ты должен сделать и сделаешь ли, сможешь?

— Построить, основать, победить, — ответил Сосницын и задумался, — я придумую.

Лариса посмотрела на него с восхищением: она знала, что он придумает. Но она помнила, что каждый новый порыв — порыв — мужа был связан со смертельным для дюжинных людей риском. Поначалу она боялась, что его прихлопнут. Потом — что убьют. И было понятно, за что. Сначала он грабил богатых, потом стал богатым сам. Неужели сегодня главная опасность исходит ему от самого себя?

Однако сегодня он был живее всех живых и его «кислое» лицо знали не только все горожане, но и большие люди столицы. Его кабинет был увешан парными фотографиями: Сосницын и А., Сосницын и Б., Сосницын и В.. И групповой снимок с Президентом: Сосницын — третий справа от лидера страны. В спальне висела пустая рамочка, где место фотографии пока занимала надпись: «2007 год. Президент Российской Федерации В. В. Путин и И. П. Сосницын».

Про эту рамочку знали многие, но никто не смеялся над Игорем Петровичем, и уже находились поклонники, желавшие,

чтобы прогноз воплотился в жизнь. Это были полуодетые вузовские преподаватели, которым Сосницын толковал о справедливости, либеральных ценностях и правах человека.

— А давай закажем бюст Кичухину, — сказала жена, — он давно предлагает, жалуется, что подоил всех, а к тебе не подобраться. Говорит: «Чем он хуже других! Брешь в иконостасе!»

— Всех подоил и жалуется? — сказал Игорь. — Молодец! «Вот какие размолодчики-то бывают!»

Назавтра он позировал Кичухину. Набравшийся лоску Кичухин восторгался его внешностью, «изначально скульптурной головой». Хвастался успехами, заказами, их так много, что он работает с Сосницыным не в очередь, из исключительного уважения к нему. И без конца закидывал свою вымогательскую удочку. Экой суетливый, «камфарой намазанный», подумал Сосницын, наверное, неважный он скульптор. Продавец симпатических капель.

Кичухин меньше всего годился в герои своего ремесла: лицо из теста, рот от уха до уха, глазки бисерные. Видно, родила его мать в глухом углу и в обморок упала, увидевши. Он молод, каков он будет в годах? Сосницын нахмурился, чтобы не рассмеяться.

Из-за плеча Кичухина выглядывал с подставки готовый бюст начальника областной милиции. В жизни этот человек был лысоват, но в вечность карабкался кудрявым и без мелких оспин, за которые его называли «Генерал Дуршлаг». Этого человека Сосницын остерегался и сам платил ему косвенную дань. А слабый человек, согласился на полировку.

— Нос у меня в два человеческих, — сказал Сосницын, — пусть такой и останется. Натуральный, мой нос...

— Это мы можем, — прикидываясь народом, сказал Кичухин, — это нам даже способнее.

— И прочее, — сказал Сосницын.

— И протчая, — отозвался Кичухин.

2

«Видели вы когда-нибудь наяву, а не в кино, маленькую хлопковую коробочку? Держали ли ее в руке — раскрывшуюся, полную пушистых нитей с новыми семенами? Легкую, почти

невесомую? Раньше, чтобы собрать сырец на одну обыкновенную рубашку, надо было вручную работать от зари до зари. Но теперь, на пороге коммунизма, у нас есть хлопкоуборочные машины» (... которых мы не видели месяцами. Они всегда ломались, с первого дня, и узбеки не умели их ремонтировать, скорее доламывали. Идешь под этим адовым солнцем, ядовитая пылица, слезятся глаза, подушечки пальцев кровоточат, и мешок кажется бездонным. А тебе десять лет, и ты голодный. Те негры на плантациях чем-то от нас отличались?).

«Хлопок — белое золото Узбекистана. Я, русский юноша, вырос в многонациональном Узбекистане и счастлив, потому что я стал здесь ПАХТАЧИ — сборщиком хлопка, и значит, благодаря моему труду одеты тысячи людей, взрослых и детей. Вы и ваши дети... Родина хлопка — Индия. Его семена привезли в наши долины задолго до того, как Ходжа Насреддин совершал свои веселые подвиги в древней Бухаре...».

(Наверное, что-то вру. Но откуда местным лягушкам болотным знать про хлопок? А золото это — серое. С какой бы я радостью про него забыл! Как мечталось, увидев жирную морду председателя Файзуллаева, поджечь эти чертовы мешки, это поле. Какой бы вышел пороховой костерок!)

«Осенью на сбор хлопка, как на праздник, выходит вся республика. В первый день все, от мала до велика, одеты нарядно, над машинами реют флаги СССР и УзССР, и лучшие артисты дают перед началом работы концерт — прямо здесь, на кромке бескрайнего, величественного поля...»

(Правда — что бескрайнее. Все остальное — наглое вранье, выдернутое из поганных газет. Ни нарядов, ни концертов, ни респираторов, кстати. Кругом угрюмые, потные люди в последних обносках. Мамаши, у которых дети выходят в поле в первый раз, рыдают. У них по восемь-десять детей, поэтому иная мамаша рыдает десять лет подряд...)

Жили они беднее некуда, как те же дехкане. Мать, девяносторублевый бухгалтер, после смерти деда, председателя колхоза в Прииртышье, осталась ни с чем: двухсотмиллионная Людмила-Иванна, сарафан да косынка. И очки от Никиты Сергеича. Как прочая черная кость, Игорь с первого класса собирал про-

клятый хлопок и ненавидел байских детей, плюющихся курагой. (Их на хлопке не видали. Они «болели». Они глумились над сошкольниками и называли их «гулямами».)

Их чайханных родителей Игорь ненавидел еще сильнее.

Ледяные ли ванны, одиночество ли русского мальчика тому причиной — характер у Игоря был суровый, голова сухой и трезвой. Учился он лучше всех. На выпускных экзаменах, однако, ему по-восточному не тонко поставили две четверки, и обе золотые медали достались ленивым, пухленьким, румяным, похожим, как близнецы, байчаткам, знавшим родной язык хуже Сосницына. Это удвоило его ненависть к сильным мира того.

Он никогда не был идеалистом и слова этого не понимал. Он вырос в Средней Азии! Поэтому с первых сознательных лет он ненавидел и презирал начальство, но готов был, не разбирая средств, пробиваться в начальники. А куда еще было пробиваться? В герои труда с пудовой килой?

Мать из вредности выучила его, деря за волосы, бухгалтерскому делу. Знала бы она, что ему здорово пригодится — не стала бы тратить свой пыл из противоречия. Но когда он окончил школу, сказала: — Бухучетом не прокормишься. В Узбекиках без блага только на канате пляшут. И то — шут его знает! Езжай в Сибирь, в Ермаковский университет. Туда все русские едут. Иди в физики — сейчас, говорят, физики в почете. Живут непыльно, сытно, культурно. Синхрофазотроны, там что-нибудь с космосом, глядишь — квартира с личным горшком.

Такие, не то чтобы и совсем басни, гуляли в простом народе.

Когда он прибыл в Ермаковск, выяснилось, что матушкины сведения устарели. Практичный народ валил в юристы, в гинекологи. Конкурсы были там огромные. Игорь не мог еще рисковать. Где конкурсы, там дети начальников, там деньги. Разбитое корыто означало армию. И он подался в физики, благо, что и готовился на физический, и сдал все экзамены на отлично, и сочинение написал на отлично, единственный на всем потоке.

Предлагалась свободная тема: «В труде находит счастье советский человек». Игорь добавил к ней подзаголовок «Белое золото Узбекистана» и изумил проверяющих абсолютной грамотностью и цветистым, напористым изложением.

И снова учился лучше всех. Правда, в комсомольские активисты не пошел — присмотрелся и понял, что там одни мизера. Уперся в науку и был оставлен в академическом институте.

Осмотрелся там — и впал в отчаянье, в ступор на годы. Все-таки он был наивный карьерист. Лестница, ведущая наверх, была просторной — но при почете и защите обеих диссертаций квартира и достаток проступали через пятнадцать-двадцать лет. И жалко было и без того потоптанной молодости, претила нужда, оскорбляла перспектива терпеть. Так и привыкнуть можно. И, отдавая работе самое необходимое, он подался в шабашники. Мелиорация, коровники — песня его тревожной молодости. Они кормили хорошо. Он сразу вышел в бригады, и попасть к нему в бригаду стало мечтой. Летучие армяне и чеченцы, признанные мастера этого промысла, приходили к нему набираться опыта. У него появилась первая машина, пресловутый «пирожок».

Тогда он не пил, читал американские книги по экономике, доставая их через подневольных аспирантов-москвичей, и к тридцати годам вступил в кооператив, купил квартиру и въехал в нее с женой-однокурсницей. Он сделал ей сюрприз. Он не брал ее с собой на стройку, она и не знала о ней. Просто однажды привез ее в новый дом, открыл перед ней превосходную дверь из дорогого дерева и сказал: «С сегодняшнего дня мы живем здесь». И в квартире уже было все, чем можно было ее обставить в СССР эпохи «Не надо печалиться».

Но настоящее начало своей карьеры Сосницын относил к тому времени, когда началась перестройка и он с земляком, прапорщиком Рахматуллаевым, торговал самодельной водкой, неумоимо развозя ее ночами по селам и весям. Потом прапорщик зазнался, запился и потерял всякую осторожность. Он был ограблен и убит какими-то другими своими земляками при невыясненных обстоятельствах.

Сосницыну исполнилось тогда тридцать три года. Кто-то к этой дате знаменательно завершает земные волнения, кто-то, как Илья Муромец, начинает. Сосницын в одном лице и закончил, триумфально уволившись со службы, и начал, отныне полагаясь на одного себя. Он лихорадочно копил деньги, твер-

до зная, чем всерьез и надолго займется. И предстоящее дело было ему по душе, не какая-нибудь преходящая водочная лямка. Творческое дело, на которое собрались деньги.

Итак, выпускаем собственную газету. Рекогносцировка проведена — она обнадеживает! На первой странице его первого ежедневника Лариса Григорьевна прочитает следующий манифест самому себе.

«Моя газета «Первая звезда».

В новом обществе информация должна стоить дорого, очень дорого. Это выгодный товар, тем более что это общество будет надолго в нужную меру открытым, в нужную меру закрытым. Широкое поле для маневра.

Газета — аккумулятор и перекресток информации, необходимой на путях обогащения, покорения города — вхождения в его элиту. Газета — дозволенный инструмент прямого давления. Газету бояться, если она защищена — бояться вдвойне.

Газета — рычаг для завязывания связей. Затем — магнит.

Газета — сытная кормушка для умелого редактора.

Газета — дорога и трамплин к известности-популярности-славе. С ее помощью можно извлекать очень привлекательный образ «нашего Игоря Петровича».

Газета — предприятие, с которым не соскучишься. Она отвечает моему характеру охотника, игрока, победителя.

Моя Газета будет оперативной, догоняющей и опережающей события и намерения, формирующей их — злой, шантажирующей, провоцирующей, удивляющей.

Нота бене. Мой девиз: Бить казенных людей на казенные же деньги, выдвигаясь в казенные люди».

Я как будто Ленина перечитывала, стиль узнается, скажет Лариса Григорьевна.

И девизу этому он не изменил ни при каких поворотах в своей и ермаковской жизни. Он не мог и не хотел зарабатывать поддакивая. И он знал, что мелким льстецам власти платят часто, но мелкими купюрами, коемуждо по блюду и слюне его. А ему платили за то, чтобы не трогал, и цену называл он сам.

Газета и Петька родились день в день. В некотором смысле это тоже была демонстрация силы. Почему его Игорь назвал в

честь деда, несмотря на протесты Ларисы — ей подавай Никиту или Максима — он не знал. Может быть, в пику матушке?

Успех пришел сказочно быстро. Кто долго, на совесть запрягает, тому и лошадь помогает.

Ермаковск — областной центр, город промышленный и ученый. Область, как все сибирские, представляла собой щедрый отрез частично заселенной территории, сравнимый по размерам с Италией или Германией. Как и повсеместно в Сибири, отрез делился надвое великой сибирской рекой.

Взбаламученный ил начала девяностых годов еще не осел полностью, еще в силе были набеглые олигархи, и некоторые демократы еще верили в их локомотивную силу. В целом, сплошная свеженина и патриархальность, насаждаемая первым лицом края — губернатором Иваном Игнатьевичем Березовским. Он садоводчески определял стиль общественной жизни и делал это по-своему умело и не вредно. Пожилой, но живой человек, когда-то успешный директор стройтреста, он происходил из первых насельников края — казаков Березовских, соответственно прибывших сюда из приполярного Березова за сто лет до того, как туда прибыл полудержавный властелин Александр Данилович Меншиков. Березовские перебрались, можно сказать, на юг и в тепле размножились на диво, пока их в основной массе, среди них — и отца губернатора — не перебили в тридцатые годы.

Для ермаковцев Иван Игнатьевич был «наш» губернатор, и он, не забывая о своих баранах, ощущал себя отцом семейства, вождем разросшегося племени, где и выродки — свои, а не чужие. Он правил, стараясь никого не обидеть, но и не давая никому вознестись. Уж выскочек-то он не жаловал, и приговором звучало его простецкое страшное: «Брюхо не вываливается? Поддерни трусы!» и «Прижми задницу!». Кадры перекладывались, как гири, на невидимых весах, и надо сказать, что в этой политике сдерживаний и противовесов Иван Игнатьевич был гроссмейстером, но потому и заигрывался иногда, бог знает, до чего. Немногие враги звали его дозатором, но противовеса ему самому не было и в помине.

Под его сенью согревались толпы наивных воришек и лгунишек. Они соревновались в любви к губернатору, неслыханной

в убогие царские времена, и дружно любили любимого губернатора и не любили нелюбимого. Часто они организовывали такую нелюбовь, подставляли; изучив Березовского, они знали, что хозяин бывает доверчив к первому впечатлению, к первому доносу, а на последующие мнения из принципа не реагирует. Потому что кремень! Если пропал барский табак, кого-то все равно должно выпороть. И лгунишки успешно пользовались правом первого уха.

В последние годы воеводства Нашего они понаторели, да и он стал отрываться от действительности, почивая на несомненных заслугах — и, как водится, уже свита вертела не подозревающим о том королем.

Два-три раза в год Березовский собирал мыто с самых наворовавшихся и ездил по области, как летописный князь, раздавая деньги на больницы, библиотеки, клубы и личное горе граждан. Это был добрый обычай, и пусть злые языки, шипевшие о пиаре, о том, что раздавались сущие крохи, прижмут задницу и поддернут труссы.

Спокойствие, приличия, шито-крыто, каждому свое. Соблюдение святого минимума в созидании и поддержании. Скажите, где же лучше? Где-то живут богаче, но там людей убивают среди бела дня. Где-то воруют и поменьше, а люди все одно голодны, а кто сыт —дохнет со скуки, потому что под лежащий камень вода на течет.

В губернаторе просматривалось уважение к добродетели. Он не терпел ничего громкого. Однажды, при закладке часовни, ему на ногу уронили кирпич. И он не издал ни звука.

Одна накладка — эта самая фамилия. Бывают странные совпадения. Однажды губернатор, выходя из Серого дома, наткнулся на пикетчиков с плакатом: «Березовского — в тюрьму!!!». Он настолько удивился, что не постеснялся спросить у них: за что вы на меня так? Не вас, объяснили ему шалопаи-студенты, а Бориса Березовского — крестного отца Кремля. В рамках декады борьбы за чистоту власти. Пошутили, стало быть. И губернатор не смеялся, но наказывать их запретил.

Вообще же, Иван Игнатьевич нередко ходил по городу практически без охраны, и горожане приветствовали его по-домаш-

нему, желали здоровья. Такое могли себе позволить и услышать три-четыре губернатора во всей России. И это дорогого стоит.

Но в конце века в Кремле сменилась власть, и Березовского отставили. Наверное, из-за фамилии. Все о нем сожалели, и Сосницын сожалел, но отчасти, потому что в кресло Березовского сел бывший генерал ФСБ, хороший знакомый Сосницына, бюрократище. Сосницын оказывал ему информационное и прочее содействие.

Так вот, изучая местный ландшафт, Сосницын не мог поверить своей удаче. Эти люди ходили в картонных латах, и они привыкли, что все в их судьбе решает Наш. И если Березовский не видит (или делает вид), значит, никто не видит их делишки. Простота!

И они вскоре убедились в обратном. Началась паника. На них, потешая воеводу, воззрилось пронзительное, поистине недреманное Око. Сосницын даже умилялся, до чего они беззащитны, эти шалуны — с их особнячками в Долине Нищих; с их автомобилями, с их ломотками недвижимости, отхваченной здесь, по взаимокорыстной договоренности отхваченной в других краях, и даже в солнечном Крыму. Грешные кругом: запойные алкоголики, ходоки по шлюхам и казино, педерасты (тут, как водится, заводили чиновники от культуры) и т. п.

Механизм работы с ними, начиная с заместителей губернатора (они менялись постоянно, и в лицо их едва знали), был обыкновенный: приглашается человек — а если крупный, можно и уважить, к нему прийти — и извещается, например: вот вам полоса нашей газеты. Здесь, видите — фотография дома на переулке Гончарном. Крыша провалена, по стенам трещины, в подполе вода, во дворе — пруд из фекалий. А рядом, видите — пустое место. Но мы можем напечатать здесь фотографию вашего замка в Долине Нищих, сообщим, сколько стоит такая усадьба. А еще — размер вашей заработной платы. А стаж работы у вас в Сером доме — четыре года...

Или так, совсем лаконично: вам знаком Андрюшенька Воронцовский, он же Мирандолина? Нам подарили одну кассету...

И люди давали деньги. Но не всегда же свой кошелек опустошать. И деньги давались под информационный заказ, через

программы поддержки прессы — из Серого дома, из Розового дома, из Думы областной, из думы городской, из тихих «внебюджетных» фондов сомнительной субъектности...

Тут важно играть по правилам, честно выполнять соглашения. Прейскурантно.

Но были люди, у которых Сосницын денег не брал и не собирался брать. Он их топил, потому что прогрессивная газета обязана кого-нибудь топить, разоблачать, доводить до суммы и тюрьмы. Они того стоили, шельмы. И хотя бы один покаялся, забился в судорогах совести! Куды! Эти не каются, эти рук на себя не наложат. Они обижаются, плачут и говорят, что Петрилов натерил больше, и ему ничего.

И были среди них и враги. И были люди, нишу которых хотел занять Сосницын. Сначала один депутат городской Думы, потом один депутат Областной. И их товарищи. А сейчас он добивал председателя областной думы, могучую женщину из советского райкома, собрав на нее два килограмма изобличений. И новый губернатор уже тайно намекнул ему о своей поддержке.

А честных людей Игорь Петрович не трогал, тепло рассказывал о них в своей газете, привлекал. Не все отвечали ему взаимностью. Некоторыми руководили зависть и снобизм — но тогда они не совсем честные. Некоторые его раскусили. Но он и по их поводу не переживал.

Не говорите ему про мораль, ею чаще других прикрываются лентяи и мизантропы, чистоплюи, которых по ненадобности никогда не искушали. Один такой гордец жил с ним на одной лестничной площадке. «Вы хищник, вампир, Игорь!» А сам ведро мусорное просил вынести его хроменького сына.

Основательных конкурентов в мире ермаковской прессы той порой у Сосницына не предвиделось. В городе было несколько газет и три телеканала. И все они выживали за счет дотаций из бюджета и неосторожных рекламодателей. Без дотаций они не протянули бы неделю, потому что лояльность и лояльность. Газеты были скучные, осторожные. Иногда, из ложного самолюбия они играли в объективность. Были и бульварно-желтые, у этих первоначально дела шли лучше, но и они протухли, заврались, надоели.

Сосницын за год захватил треть рынка — и они безропотно подвинулись, видя, что губернатор приемлет новый аттракцион. Платили в этих газетах скупенько, и талантливым журналистам не больше прочих (куда они денутся?), потому что в таких редакциях платят не за талант, а за близость к редактору. Особенно если редактор — женщина с посредственным профессиональным прошлым и терпит таланты по нужде, не вынося их по природе своей.

Все главные редакторы ермаковских газет являлись женщинами! И Сосницын понял, почему так получилось. Серый редактор-мужчина обязательно спился бы и разложился, серый редактор-женщина — стойкий оловянный солдатик, то, что надо. Они были разных лет, но не было среди них ни умниц, ни красавиц, они не отличались повышенной энергичностью, напротив, гасили любые искры чужого энтузиазма, и человеческого обаяния не было в них ни капли.

Все они успели обрасти капиталцем, получали миленькие деньги, набрались лукавства тертых и немножко захамели. Между собой они изображали дружбу или приятельство, на посиделках в Сером доме садились рядом и угощали друг друга конфетками.

В преданиях подчиненных они проходили как Бастинда, Квашонка, Хиросима, Хворост, Сельдь-под-шубой и Верунькаторви. Что свидетельствует о том, что общечеловеческие ценности были им как будто чужды.

Сосницын платил больше и относился лучше, переманил заметные перья, выхватил и воспитал нескольких молокососов со студенческой скамьи. Те газеты были холодные и плоские — «Первая звезда» ощущалась горячей и объемной. Аналитика, скандалы, живая речь живых людей и их живые фотографии; отдел работы с читателями вулканизировал.

А заведенные Сосницыным документальные сериалы, например, о похождениях депутата Козлова, сменившего за семь лет двенадцать политических партий, браконьера и рукосуя? А занимательное краеведение — самое занимательное на свете?

Наиболее удачным проектом, переплюнувшим политические все триллеры, Сосницын считал эпопею о клонировании ма-

монта. Сюжет он придумал сам, а делали его втроем подчиненные. Правда жизни там, естественно, не ночевала, но по мере печатания эпопеи в шести номерах газеты ее тираж вырос вдвое!

Суть замысла была такова: ермаковские ученые три года назад нашли где-то на Севере сбереженный в вечной мерзлоте целый труп мамонта. Они убеждают губернатора открыть строго секретное финансирование опытов по клонированию мамонта. В глухой безлюдной тайге на северо-востоке области возводится тайная лаборатория. И вот мамонт уже клонирован. Строится уже питомник — и выводится первое мохнатое стадо. Едят мамонты все зеленое подряд.

В перспективе — тонны дешевой отличной шерсти, кожи и килотонны мяса. И драгоценная слоновая кость! И продажа живых особей на разведение в Канаду за сумасшедшие деньги!

В области еле дышит свиноводство, коров — кот наплакал. А тут — блестящее решение продовольственной проблемы и экспорт уникальных товаров!

Уже задуманы цеха и фабрики по их производству, и гигантский мамонтокомплекс. Подключается правительство, Президент. В идеале, в грядущем финале: регулируемое поголовье мамонтов в несколько десятков тысяч голов, областной бюджет трещит от денег. Губернатор получает Орден за заслуги перед Отечеством первой степени. В области учреждается праздник — День Мамонта. Дума увековечивает образ мамонта на гербе и флаге области.

Ермаковские генетики позвонили в редакцию через час после появления первого номера газеты в киосках. Сначала страшно ругались, потом хохотали, как безумные, и обещали отмалчиваться сколько смогут. Сосницын послал им ящик шампанского.

Губернатор лично позвонил в утро выхода второго номера. По тайге уже бродили четыре мамонта: Ваня (в честь Березовского), Петя, Маша и Наташа. Уже натолкнулся на невиданную кучу навоза заблудившийся охотник-абориген.

— Что это за хреновина, Игорь Петрович? — негодуя спросил Иван Игнатьевич, — Тебя полечить? Сосницын спокойно, с юмором объяснил ему, что это шутка, фантастика, что она работает на имидж власти, что это развлекает бедно живущего читателя, который понимает, что это шутка.

(Читатель, кстати, не понимал. Когда Серый дом впал в истерику от звонков и запросов общественности, эпопею пришлось свернуть на первой тысяче голов и появлении браконьеров и битве с ними командированных на север охранников из СОБРа. Эти собровцы держали в тайне свое пребывание в тайге и писали домой письма якобы из Чечни. Этот ход выглядел кощунственным и добавил резонанс к запрещению эпопеи.)

Пока же губернатор трижды фыркнул в трубку и, сам не зная, с какого рога (он был в отличном настроении, улетал в Австралию делиться опытом), разрешил продолжать.

И отсутствовал три недели, и, несмотря на напор любопытных, на возмущение чиновничества, на нездоровый ажиотаж, никто не посмел применить к мамонтиаде запретительных мер.

Губернатор прилетел в некий четверг вечером, а утром в пятницу — в день выхода номера — позвонил Сосницыну.

В тайге бродило уже двести мамонтов, американцы засекли их со спутников и запросили нашего Президента, Президент звонил Ивану Игнатьевичу:

— Клинтон не дремлет, но и Бог с ним. Я его уговорил не давать информации ходу. Работай, Иван Игнатьевич! Ты там не попробовал мамонтиады?

— Первая мамонтиада достанется ветеранам и детдомам, Борис Николаевич, — отвечал Березовский, — и, конечно, пришлем в Кремль.

— Кремль, понимаешь, подождет, — сказал Президент, правильно: ветеранам и детям.

Губернатор сказал Сосницыну, торжествуя над ним, без предисловий:

— Нескладно у тебя получается! Они же у тебя всю нашу тайгу под бивни пустят. Все сожрут, всех людей разгонят и до нас доберутся! Эх, ты — не докумекал... (и со вздохом сожаления) Закрывай свою лавочку, напроказничал.

Какая ликующая бесконечность открывалась перед мамонтиадой! И губернатор подсказал любопытный поворот темы.

Через неделю газета напечатала последний разворот и извинилась перед читателями за розыгрыш. А впоследствии губернатор, встретив Сосницына в Сером доме, рассказал ему, что

о мамонтиаде осведомлен Президент, ему прислали, он читал, смеялся, хвалил Березовского за либерализм и сказал еще:

— А что — стоит посоветоваться с учеными, с тезкой твоим, может, и вправду...

— И откуда ты взялся такой, Игорь Петрович, — сказал губернатор, — не сносить тебе головы.

Вскоре Сосницын запустил свой телеканал, отдав бразды в нем Ларисе, и завел три магазина. Он купил новую квартиру в барском доме и строил особнячок в Долине Нищих, ездил на джипе и мечтал о вертолете, председательствовал в местном отделении политической партии и шумел в областной Думе, имея все основания пересесть в ее председатели. Гардероб у него был замечательный.

В историю ермаковской прессы он был уже записан — и как новатор, и как отец информационного беспредела. По этому пути пойдут немедленно многие эпигоны, однако второго Сосницына не будет.

Но вот что не давало Сосницыну никакого покоя, и чем дальше, чем выше, тем острее, болезненней: маленький человек внутри него. В России — «этой стране» — не успеешь стать большим — и снова ты маленький. Вырастаешь в египетскую пирамиду — кажешься себе ее же молекулой. Я — не я.

Пусто, одиноко, скучно — и поговорить не с кем. Раньше он и не нуждался особо в разговорах. А сейчас такая нужда одолевала его все сильнее, все насущнее. Но никто не разговаривал с ним искренне, бескорыстно, открыто, они были несвободны, они и не годились в собеседники, эти червячки. И он был несвободен.

Почему лучшим собеседником за годы оказалась случайная китайская девушка, приятная во всех отношениях? А ее могло и не быть.

3

Закрытый двор дома для избранных, в котором проживали Сосницыны и другие видные представители ермаковской знати, был сам по себе оазисом нового мира. Его окружала высокая, легкая на вид стена из желтых и коричневых кирпичей; с двух сторон, в проемах, выходящих на параллельные улицы, сквозили решетки с электронными замками. Чугунные решетки узо-

рились — их рисунок подсмотрели в Петербурге, на каких-то известных воротах на Екатерининском канале. В середине просторного, мощеного квадрата двора набирали рост два тополя, между ними залегли солнечные часы с витиеватостями, такие украшали партеры в парках дворянских усадеб двести лет тому назад. Въезды в гаражные соты были декорированы под старинные конюшенные, над ними и между ними к стенам прикрепили металлические дуги, хомуты и прочую упряжь, они блестели черным лаком, как адский инвентарь для пыток грешных душ.

Дворовые фонари повторяли своих братьев, сторожащих Мариинку.

Все это делалось на заказ, в разных городах, и стоило жильцам заслуженно дорого. Сосницын потратил на обустройство двора уйму времени и мозгов. Ему помогал в этом областной прокурор, теперь уже бывший, он был, конечно, на подхвате, зато отношения у них сложились правильные.

Получилось настоящее шик-маре, и, входя, возвращаясь в свой двор, всем дворам на заглядение, Игорь Петрович постоянно вспоминал это энергичное выражение из поздних сказок: шик-маре! И оглядывал дом и вспоминал еще: «И он состроил себе дом: что голуби по шелому ходили — с неба звезды клевали».

Он постоял минутку у подъезда, ревниво поискал приметы нарушений порядка, не нашел их — и был доволен. Среди соседей попадались вчерашние живодеды, дикари, но, кажется, он сумел вымуштровать всех, и взрослых, и детей.

Было жарко, лето разгонялось, и листва на тополях уже помутнела. Свежеполитый двор дышал. Надо сказать дворнику, чтоб в жару поливал тополя, подумал Сосницын и поднялся к себе.

Сын в летней школе, жена должна была уехать на студию и пробыть там, по ее словам, до вечера. И подходяще.

Он открыл дверь и увидел себя. То есть свою ростовую контурную фигуру, с какими фотографируются в парках. На груди двойника красовался знакомый орден Дружбы и незаслуженная звезда Героя России, на шее — крестик чужого ордена Почетного легиона. Двойник стоял, вытянув руки по швам. Собственное лицо Игорю не понравилось как несколько самодовольное. Оно смеялось.

Фигура высилась в глубине прихожей, в углу, отражаясь в парадном зеркале напротив, так что Сосницыных получалось даже трое.

Сосницын захохотал, присоединяясь к хохочущим двойникам. Привет от домашних был оригинальным, неожиданным, величальным.

Он прошел в гостиную, и глаза его разбежались. И прошиб пот.

Шутка-комплимент перерастала во что-то, очень похожее на издевательство Собственно бюст, который ему так хотелось увидеть, бронзовел на переднем плане, но он почти терялся во множестве других изображений Игоря Петровича — скульптурных, живописных и фотографических, разбросанных по всему пространству гостиной и ее стенам.

Бюст пластилиновый, неестественно-разноцветный (уши, к примеру, синие), грубо вылепленный, с огромным носом, составлял пару творению скульптора Кичухина, ухо к уху, и пародировал его наглым образом.

Небольшая статуэтка из серого пластилина высилась на обеденном столе: Сосницын в венке, в тунике, в виде античного бога с вознесенной к небу правой рукой. Не очень, чтобы похож, но с огромными ногами и носом.

Четыре поясных портрета-фото — в английском костюме, в ковбойской рубашке, в марионеточном военном мундире — глядели на него с четырех сторон.

Недурная акварель — голова, похожая на голову Игоря Петровича, но почему-то с завитыми кудрями — была прилеплена к двери в комнату сына.

А на дверях в спальную висел ватман, где Игорь Петрович был нарисован пером, черной тушью. В сюртуке, высоких сапогах и белых рейтузах, на голове треуголка, перед ним — маленькая пушечка с кучкой ядер. Этот Сосницын смотрел куда-то внутрь ватмана, сквозь обозначенный штрихами батальный дым.

И все эти Сосницыны могли складываться в один язвительный, карикатурный образ надувшегося большого маленького человека, одержимого собой, тщеславного — в каждой дырке затычка.

«Ври, ври, может, и правда». Игорь похолодел. Он растерялся, чего с ним в зрелой жизни не случилось никогда. Слава Богу, его никто не видит.

Ах, ты... Ему захотелось опуститься на корточки, он с трудом, сознательно удержался от этого. В изображениях присутствовали рука и умения сына. Да, лепил и рисовал несомненно Петька, и фотографии в их первоизданном виде делал Петька. И веселым их монтажом владел Петька, только он.

А Лариса — какое участие принимала в этом вернисаже его прохиндейка жена?

А может быть, для них это была все-таки добродушная шутка, они хотели доставить ему удовольствие, развлечь, угодить? (Это Лариса-то?)

И сатира вылезла сама собой, невольно, объективно, как выржался омороченный сосед Измайлов? Ой ли?

А внутренний голос твердо произнес: «Ведь это она фигурирует над тобой!».

Сосницын обошел квартиру и нашел себя над кухонным столом (едящего, в руках килограммовый кусок мяса-гриль), в ванной (с голым торсом каменной кладки), в туалете (нависал над унитазом с книгой, на обложке которой отчетливо прочитывалось: «Сосницын — чемпион»), в спальне. Здесь в прежде пустой рамочке, где обещалась приватная фотография с Президентом, стояли, обнявшись за плечи, одетые в белые борцовские кимоно В. В. Путин и И. П. Сосницын, поперек их животов бежала подпись: «Игорю от друга. Жду тебя в Кремле. Путин».

Сколько ножевых ударов! Сколько злых трудов!

Он шумно вздохнул, ударил кулаком по столу, еще раз ударил и позвонил жене.

Она ничего не знала!!!

Выслушивая его подробное, рабское описание Петькиных подвигов, она испугалась, повторяла «Ой» и «Ничего себе!».

— Что ты, ты меня знаешь, мне такая дикая идея не пришла бы в голову из одного инстинкта самосохранения... Так вот почему Петька вчера заперся в комнате и не пускал меня на порог! Он говорил: не заходи, мама, завтра узнаешь, мама. Ну и ну! А я и забыла про эту его кутерьму, клянусь! Когда же умудрился все это развесить-расставить? Не пошел на первое занятие, пройдоха!

Разговаривая с Ларисой, Сосницын явственно слышал у нее злорадные интонации, подавляемые опаской перед мужем и крайним неподдельным изумлением.

— Зачем он это сделал, — спросил Сосницын, — он так похвалить меня хотел? Или повоспитывать: зазнался отец?

— Не знаю, не просекаю. Сама в шоке. Издевается? Гордится? А если и то, и другое? Как Миля говорит: «сшибка», фрустрация с демонстрацией! Опять же Фрейд — чувствуешь?

— Понеслась душа в рай, — сказал Сосницын, — в жопу Фрейда!

— Нет, серьезно. Он у нас мальчик с иронией, тонкий. Наверное, воспитывает... — тут она все-таки хохотнула. — Что ты будешь делать?

— Что буду, то буду. Но не понимаю, что это значит. Думаю о худшем. Не знаю...

— Впервые слышу от тебя «не знаю», «не понимаю». Конец света, Сосницын! А его ты спрашивать, конечно, не будешь, меня дождешься... Для тебя же это будет слабость: спросить, показать, что не понял. Сыну показать. Ты же бонза!

— Ты лучше выпей коньячку, — сказал, раздражаясь, Сосницын, — у тебя, я знаю, в аппаратной, за архивными кассетами, припрятано. Пора уже, хеннесси!

— Откуда ты... Вот черт! Ладно, не сердись. Мальчик приходит в возраст, максимализм, скепсис и все такое...

— Не вздумай об этом рассказывать. Разнесут твои бледные поганки по всему городу. Ты это понимаешь?

— Понимаю, — неуверенно ответила Лариса, и Сосницын взбесился и замолчал: не удержится, выпьет и просыпнется, прореха!

— Мы Петьку любим? Любим, — сказала Лариса, — Сосницын? Ты чего замолчал, Сосницын? Только попробуй его наказать, я глаза тебе выцарапаю, Игорь Петрович!

— Что ты несешь? — возмутился Сосницын. Последние слова Ларисы были пьяными словами. Как она ухитрилась по ходу разговора выпить и захмелеть?

— Или ты уже Петьку не любишь? — понесла Лариса.

Сосницын положил трубку. Не может такого быть, чтобы они дожили до старости вместе. Не получится.

Бог знает, что хотел сказать Петька этой выставкой.

Одно или другое — да вот «ври-ври, может, и правда». Трещина.

Он взял, наконец, бюст в руки — и от его тяжести, твердости почувствовал большое уважение к себе. Да, тяжела ты, шапка Мономаха, как говорится.

Лег боком на диван, подпер голову рукой и разглядывал бюст, поставленный им перед диваном на паркет, под солнечные лучи.

Это я! Это я, Петька! Бронзовая голова была правдоподобна до мелочей — рельеф лба, крылья носа, складки губ — все как у живого хозяина, и даже вихорок на затылке и мелкий детский шрамик под левой бровью были подлинными.

И голова сияла, искрилась, словно излучала силу, энергию. Император! Идущие на смерть... того-сего. Надо Кичухину...

И вдруг стало жутковато, и как-то осозналось, что такие покушения на вечность даром не проходят. Он посмотрел на свои руки и ноги и представил, как они на глазах чудовищно твердеют, превращаясь в бронзовые, и застывают навсегда. И космический холод бежит от ног, добирается до сердца, до мертвой уже головы...

Сосницын повертел своей живой еще головой и лег лицом к спинке дивана, ткнув в нее для надежности живым коленом.

Бюст космонавта-ермаковца Дунаева давно стоит над Березовым озером, а космонавт Дунаев жив-здоров и собирается в Гималаи, несмотря на почтенный возраст.

Шалая тучка накрыла солнце, и в гостиной погасли краски. Это почему-то заставило Сосницына снова повернуться к бюсту. Бронзовое лицо нахмурилось, ушло в себя, глазницы спрятались в тени. Что такое?

Лицо не узнавалось, лицо отчуждалось, и поневоле Сосницын подумал, что с этим человеком одну тропу не поделишь.

Так бы и должно быть, таков Сосницын, но был в этих мыслях сторонний и досадный привкус, мораль, будто за Сосницына сейчас думал другой человек и судил его, и Сосницын, выходит, с ним соглашался. Это что же — раздвоение личности? Наваждение — от пустяка в погоде?

А Петя не об этом ли думал? Предатель.

Сосницын встал и прошелся по квартире, щурясь на своих двойников. Он взял в чулане большой пластиковый мешок и

принялся складывать в него все эти пакости: аккуратно снимал со стен портреты, сворачивая их в рулончики, пластилиновые изваяния обернул газетами в несколько надежных слоев, бронзовый бюст засунул в наволочку. Двойник из прихожей в мешке не поместился и торчал из него, видный по шею с французским крестиком. Сосницын надел на него пакет, превратив в обреченного на убий заложника.

Еще полчаса Игорь Петрович поработал мокрой тряпкой, смывая отовсюду следы клея. На обоях остались пятнышки, но они просохнут, наверное.

Вынося увесистый, раздувшийся мешок в гараж, Сосницын думал о скорой встрече с сыном. Он ему ничего не скажет, ни полслова, словно ничего не произошло — и посмотрим, как поведет себя сын. Кого ты хочешь повалить, сынок?

Но бюст — надо ли было выносить бюст? Не означает ли это капитуляцию? Оставить бюст? Бюст вернется, но не сейчас, решил Игорь Петрович. Бюст, за который уплачены бешеные деньги, побудет в гараже, пока сын — чтобы сын — осознав, что оскорбил отца, не понял его, не попросит сам вернуть его на место. И он должен понять и попросить.

Вернувшись из гаража, Игорь Петрович почувствовал зверский голод, усиленный незнакомыми переживаниями. Надо поесть, «когда человек поевши, рахманьше будет». Обычно Сосницын без труда ограничивал себя в пище, не ужинал лет пятнадцать.

А тут прошелся по холодильнику, как Мамай, съел столько, сколько съедал в былинные калымные дни на свежем воздухе. Тогда, бывало, он убирал по два котелка пшенки с тушенкой под полбуханки хлеба.

Сегодня он ел другую, достойную его положения еду, но вспоминал годы молодые, и, кажется, на кухне запахло свежесрезанным деревом и смолой.

Что значит напереживался! Сын, родная кровь, довел его до объедения. Позор!

Правда в том, что многократные попытки вызвать у себя сокрушительный, бульдозерный гнев не удавались, сменялись растерянностью. Ярость пыхала и гасла, как зажигалка с остатками газа. Слишком необычный, негаданный противник вызвал его

на дуэль. И Сосницын, как ни пыжся, был значимо беззащитен, как были беззащитны перед ним ермаковские государевы люди.

Не подавал, как обычно, а принимал подачу, стоя спиной к противнику.

...А пора было вздремнуть. Дорога, объедение, эмоции, но вечером заседание Думы, после него встреча там же, в Сером доме, которая скорей всего продолжится за городом и закончится под утро. С этими товарищами по-другому дела не делаются.

Он подсел к компьютеру, чтобы проверить почту, включил его. На мониторе висели в ряд три знакомых бронзовых бюста И. П. Сосницына с задранными увеличенными валунами подборода. Всем им Петенька вставил глаза динозавра — зеленые плоски, прорезанные черной щелью.

Сокрушительный удар садиста. Этот удар по накоплению, по внезапности был самым сильным.

Игорь Петрович выключил компьютер и посидел перед ним, охлаждаясь медицинскими вздохами. Чудо спасло монитор, кулак Сосницына уже подпрыгивал.

Он заставил себя снова включить компьютер и проверить почту. И это волевое усилие потребовало от него критических душевных затрат, подобных тем, что понадобились на первую атаку председательши Думы, самоуверенной помпадурши.

Еще один дурной знак: в ящике было одно-единственное послание. Корреспондент газеты Голобородов предлагал хозяину тему: «В Ермаковской области найден целый скелет кентавра. Древние мифы, как всегда, не лгут». Минимум две полосы в два номера, согласны подключиться краеведы Бобровников и Фирсов, археолог Дубров, палеонтолог Смирнов, лозоходец Довгелло и уфолог Шустов.

Послание в духе текущего дня, почти развеселился Сосницын. Но при чем здесь лозоходец и уфолог? Перечисленные люди являлись клиническими сумасшедшими, но, как ни верти, их умственное недержание имело широкий спрос у заинтересованных и пылко-отзывчивых читателей. «Собака собаку по лапе знает».

И Голобородов, выраженный шизофреник, уже и сам побывал, подкрепился в психиатрической лечебнице, и Сосницын, ценя его неповторимость, оплатил курс лечения.

— Они что — сговорились? — сказал Сосницын, однако послал Голобородову подтверждение, попросив только уточнить: при чем здесь лозоходец и уфолог?

Потом убил заставку на мониторе, заменив ее фотографией маленького Петьки, сидящего на горшке с пальцем в носу. И лег спать, в чем был, на диване.

Разбудил его Петя, вернее, Петино присутствие.

Будто бы кто-то тихонечко предупредил его во сне: имейте в виду, вы там не одни. Лучше бы вам вернуться, проснуться.

Открыв глаза, Игорь Петрович сначала увидел на полу Петькин рюкзачок, над ним узнались тонкие Петькины ноги, а над ними — тонкое беленькое Петькино лицо.

Сын стоял на пороге гостиной, хмурый, настороженный, как сутулый зверек, отовсюду ждущий обиды. Отец проснулся не вовремя: широко раскрыв глаза, Петя озирал гостиную и размышлял, куда подевались его многочисленные труды и кто их так стерильно убрал, принят ли его вызов и что ему за это будет, и нет ли связи со всем этим в том, что могучее тело его отца, тонна в тротиловом эквиваленте, среди бела дня лежит на диване?

И сокровенные печатные буквы бегущей строкой рассказывали об этом на его лбу.

Ясный мальчик, честный, чистый, как дождик, похожий на мать, какой она была в студенчестве, когда ее встретил Сосницын. Ее красота, отдельность ее красоты тогда потрясли Игоря, и он решил, что женится на ней с первой же их встречи на первой лекции в университете. Тогда, еще не услышав ее голос, не зная, как ее зовут. Эта девушка создана для меня и показана мне так сразу не случайно.

Взгляды отца и сына встретились. Сын не выдержал очной ставки и не собирался выдерживать ее, опустил глаза. Но стоял не шелохнувшись.

«А я пятнадцать лет не вспоминал про нашу встречу, подумал Сосницын (веки у сына были бумажные, как у матери), похоже, я избегаю воспоминаний о юной, несравненной Лоре».

— Что ж ты не здороваешься? — спросил он.

— Я не успел, — ответил Петя, — с приездом, папа, здравствуй.

— Ты ничего не хочешь мне сказать? — спросил Сосницын. — Здравствуй, Петя.

— Если ты про выставку, то я как бы сказал, — спокойно ответил Петя. Конечно, если он провернул такую операцию, то и к встрече с отцом приготовился.

— Я тебя правильно понял: плохо дело? — спросил отец.

— Плохо, — ответил Петя.

Отец открыл и закрыл рот. Петя переступил ногами и осторожно прислонился к стене. Почему Лариса, любящая мать, не следит за Петькиной гигиеной?

Он неделями носит одно и то же — эти джинсы, эту зеленую толстовку, слишком для него просторную. Сколько дней он носит эти черные носки? И голова у него немытая, и руки перемазаны в цвета радуги, и под ногтями траур по детству.

— Ты должен понимать, что у большого корабля — большая труба и высокий дым, — сказал Сосницын, — меня должны рисовать и лепить, в том числе. Это имидж.

— Ты не Пушкин, папа, — возразил Петя, — и ты живой. Живи, пожалуйста.

— Ты бы лучше ногти подстриг, малыш, — сказал Сосницын, волнуясь, — мать тебя совсем забросила. И вот, извольте — ты меня учишь жить. Измайлов несчастный для тебя авторитет, отец — выскочка, так? В общем разрезе?

— Евгений Николаевич здесь не при чем, — сказал Петя, — а что я маму сутками не вижу, так это она тебе подражает, из кожи лезет. Себе на бюстик зарабатывает, вероятно.

Сосницын подпрыгнул, замахал руками.

— Я ее заставляю? Да я ей твержу день и ночь, чтобы занималась семьей, занималась тобой!

— А пустое это, что толку ей твердить, если ты ее уже зомбировал карьеризмом своим!

Петька картавил.

— Ты меня не любишь, — сказал Игорь Петрович.

— Я тебя люблю, я без тебя умру, — сказал Петя.

— Ты меня не понимаешь, тебя куда-то унесло.

— Это ты меня не понимаешь. Это тебя унесло.

Помолчали. В такую минуту можно услышать, как в дальней комнате жужжит одинокая муха, а на кухне капает из крана. Но мухе неоткуда было взяться, а роскошные краны, что не по карману иному президенту, не протекают. Слушать было нечего.

Петька приготовился заплакать, Игорь Петрович — выпить стакан водки.

— Я ничего не выкинул, не сломал. Отнес в гараж, пусть полежит, — неожиданно сказал Сосницын.

Петька заплакал. Сосницын обнял его, и Петька прижался к нему. У него и на затылке в светло-русых волосах имелось пятно из синей пасты, занесенное туда измазанной чешущей рукой или протекающей чешущей ручкой.

— Слушай, Петя, — сказал отец, — ну, ты ведь хоть немножко... сожалеешь, что ты сделал?

Петька прижался к нему сильнее и ответил:

— Нет.

Что ж, пусть так. Петя вырастет и поймет, что бюст — это и награда, и броня. Он не собирал хлопок на рассвете. Он не снимал сандалии, выходя из школы, не берег их, чтобы они прослужили до поздней узбекской осени. Однажды он поймет, от каких зарубок на душе защитил, уберег его родной отец. А пока подождем, уступим. Уступим?

Лопнула струна. Но Петя проявил характер. У Пети Сосницына, в свои четырнадцать лет совсем ребенка, есть характер, то, о чем мечтал уже встревоженный его малохольностью отец. Откуда? От отца. Значит, однажды он сам принесет бюст из гаража.

«И были дети у него все боевые, и правнуки были, не одному чужому козлу хвост накрутили».

4

Сапожник Ты Фа Сян жил в слободке Зеленый Базар, в самом ее устье, сразу за парком Железнодорожного собрания. Восемь питомцев Достоевки единодушно подозревали его в том, что он и есть харбинский Джек-потрошитель.

Внешнее добродушие китайца заметно контрастировало с его внимательными ледяными глазами. Чудо природы — черные глаза, которые можно и нужно назвать ледяными! Любезность Ты

выделась показной, нарочитой, зато правдивой была зловещая отточенная пластика, с которой он оперировал своим холодным оружием, режущим и колющим, полосующим и протыкающим.

Подозрение пало на Ты Фа Сяна после того, как попадья Агния Ивановна, матушка Васи Благодатского, стала свидетелем одного пари на Пристани. Тут еще нужно проверить, что Ты делал на Пристани, зачем забрался в чужой район. Дьявол-китаец поспорил о разделке арбуза с каким-то жалким русским морфинистом, из числа позорящих русское имя. Надо было видеть, как Ты распластал громадный цицикарский арбуз своим крошечным сапожным ножичком: вжик-вжик-вжик, и дело в шляпе. Причем арбуз эффектно распался на куски-лепестки, а в середине обнаружился граненый аленький цветочек с легкомысленным венчиком.

Китайцы-кули сначала ревели, согласно его движениям, «Го-оо-о!», а потом унижали морфиниста (он успел только расколоть свой арбуз надвое и разрезать себе ладонь) демонстрацией согнутых указательных пальцев.

Агния Ивановна тогда заметила:

— У него, у Ты, от возбуждения бежали слюни, а глаза налились кровью. Натуральный живодер! Вы видели манзу, у которого бегут слюни?

Такого манзу гимназисты не встречали, китайцы — бегучий народ, у которого ничего не бежит.

Зато этот рассказ неплохо согласовался с образом Потрошителя, таинственного китайца-маньяка, что второй год подстерегал ночами женщин на улицах и вспарывал им животы. Его жертвами были русские женщины. Орудовал он в Новом городе, очень нагло: однажды зарезал девушку на углу Китайской и Биржевки, однажды — на холме, на задах Свято-Никольского собора. В самом центре города.

Его искали русские добровольцы, его искала японская полиция. Сидели в засадах, опрашивали китайцев по всей Фуцзядани. Китайцы говорили: «Моя работай, ничего не знай». Подозревали, что маньяк — рикша. Китайцы почему-то хохотали, услышав это: кто угодно, кроме рикши! Как будто у рикши одни ноги, а рук нету.

Убийца оставался на воле. Любительницы театра, синема и поэтических вечеров трепетали, настойчиво ища себе кавалеров для поздних возвращений домой.

Не там его искали, считал Пьеро Сосницын, вожак гимназистов. С его мнением считались. Осенение вело его к сапожнику Ты Фа Сяну.

Всей компанией они ходили к китайцу на пробы. Они принесли ему изодранную обувь на срочный ремонт и ввосемьмером стояли над ним, наблюдая его, как выразился Сенечка Жолтков, психосоматику. Видавший виды китаец был очень удивлен, что дрянную пару обуви опекает восемь русских болванов, любезных до потери достоинства. Его от них затошнило, испорченное настроение не поправила избыточная оплата труда и дополнительный грош на ханжу. Ты Фа Сян не пил и оскорблялся, когда его равняли с русским сапожником.

Проводив гимназистов, китаец заложил руки за спину, по-русски долго и бесполезно смотрел им вслед и, когда они скрылись за поворотом, не по-китайски громко сказал в пустой мусорный переулок:

— Тысячу демонов вам в зад!

А в этот миг за поворотом собравшиеся в кружок питомцы гимназии имени Ф. М. Достоевского обменялись впечатлениями. Итог подвел Петя Сосницын:

— Он!

Петя был веский человек, он занимался боксом и писал комические куплеты под псевдонимом Бон Ани-мадо.

Через неделю, то есть сегодня, они собирались последить за сапожником. Сегодня у китайцев праздник, а зверства Потрошителя в основном совпадали с китайскими праздниками.

Но обо всем по порядку.

С приходом сынов Ямато город стремительно увядал и повреждался во нравах. Они явились и привели за собой небывалое наводнение — верный знак эпохи перемен к худшему. За три года Харбин обнищал, грязь и вандализм завоевывали Новый город пядь за пядью. Распадался мир надежного труда, кафе и кондитерских, скверов, прогулок и досуга за парфюмерным

маньчжурским вином. Мастера своего дела теряли работу, а те, кто не были мастерами, шли к японцам и толковали с ними о русском фашизме.

Вот и нынче весенние ветра из Гоби задержались на добрый месяц, продолжая засыпать улицы и жилища желтым песком. И даже в Новом городе редко где его сметали. Воистину Харбин пожелтел.

Это было страшно для коренных харбинцев, основателей Дороги, и многие из них теперь, когда дорога была продана, уехали в СССР вместе с совслужащими.

Наши питомцы Достоевки — из коренных, все они родились на берегах Сунгари. Отцы Тоши Хвостова, Вани Зарубина, Сенечки Жолткова, Алеши Остроумова. Оси Губерника были прямые железнодорожники, отец Пети Сосницына служил в Земельном отделе у самого Гондатти, отец Иракия Басилашвили — из первых рестораторов, папаня Васи Благодатского — иерей в Гарнизонном храме.

Прозвища юноши имели соответственно такие: Бестер Китон, Чика, Хунхуз, Аляска, Коперник, Пьеро (Бокс), Тариэл и Понеже.

Все они, как и их родители, остались на лето в городе — канули дачи, отрезаны курорты, отныне заказана даже Вторая Сунгари. Распоясались и хунхузы. Не видать им Чжаланьтуня, и, может быть, никогда не видать.

— О, Чжаланьтунь! Какая панорама! — запел Аляска.

— О, Чжаланьтунь! Какая красота! — подпел Хунхуз.

— Сейчас бы арбузик из Цицикара! — сказал Чика.

— А какие пирожки едал я в Дуйциньшане! — вздохнул Понеже.

— Да, господа, да, молодые господа: беда, ерунда, белиберда, — сказал Пьеро.

Они шли за трофеями. Их манили брошенные уехавшими домики. Один к одному, под серенькой китайской черепицей, они стояли, утопая в садиках, и хранили много всякого добра, не поместившегося в ящики, чемоданы и баулы. Иначе быть не может.

Домики охранял японский городской. Вон он, тонконогий паук. По наследству от русского городского он лужгал семеч-

ки. Его звали Кането, и мальчики его ненавидели. Этот Кането, выполняя японский план, открыто торговал наркотическими сигаретами-конфетами и чистым зельем. Бояться ему было некого, и он обнаглел.

К нему ходили потрепанные русские юноши из Модягоу, в основном дети белых офицеров, подопечные мерзкого Коти Родзаевского, фашиста и бандита.

Проходя мимо Кането, гимназисты издевательски-отважно сказали ему:

— Конничива!

— Здорово! — ответил он по-русски и глянул подозрительно. Чистенькие сопляки, они не походили на его клиентов. Выказывая им презрение, он почесал в промежности.

— Педераст! — сказал Аляска — вы не находите, господа?

— Находим, — ответили ему хором.

Скоро он пойдет глотать свой рис. Они расселись в сквере, высылая на него очередных дозорных.

Мимо пробежал рикша. В его седоке они признали Мишу Родненького, родственника Чики. Несмотря на ранний час, с Мишей, музыкантом-виртуозом, была его балалайка в дорогом, расшитом золотом чехле.

— О, Мишенька! — им было приятно называть Мишенькой этого «почти гениального» взрослого человека, кумира харбинской публики.

— Куда вы, Мишенька? — окружили они его, — полдень, а вы при инструменте — как это?

Родненький не ответил. Он сказал Пьеро:

— А вы, юноша, остроумны. Ваше ревью меня насмешило. Я пошлю ваши стихи Аминаду Петровичу. Бон Анима-до!

Он кивнул на Чику. Сосницын чуть не взвыл от восторга. О нем узнает Дон Аминадо! Чика покровительственно обнял его за плечи.

— Но прошу вас, — продолжал Родненький, — в виду дальнейших событий... пощадите меня, если сможете.

Непонятно, но лестно.

— Так куда же вы в полдень, Мишенька? — переспросил Бестер Китон.

Виртуоз опустил голову.

— На чай, — выговорил он, — на чай к ихнему консулу. Они будут квакать, а я буду балалакать... Хорошо быть гимназистом, молодые люди!

Миша Родненький простой был русак. Он достал дорогие папиросы и угостил гимназистов. Чика, кичась родством, взял три и потрепал Мишу за плечо.

Рикша дернул далее. Родненький опаздывал.

«И на лбу его всплыл буддырь», — грустно высказался Пьеро, любитель русских сказок.

Кането смылся. Они ходили по брошенным домам: там валялись игрушки, комиксы, кипы газет, местных и выписанных из СССР. В одной газете был портрет Сталина. Они долго его разглядывали.

— Скотина, — сказал Понеже.

Видя, что не все готовы с ним согласиться, во всяком случае, безоговорочно согласиться, Пьеро плюнул на портрет и наступил на него каблуком. Он посмотрел на Ираклия.

— Правильно, — сказал Ираклий.

Все посмотрели на Ираклия. Он покраснел.

— Никому не говорите, — сказал он, — мало ли что... Папа его знал, в юности встречался с ним в Кутаиси. Говорит, что хам, грабитель. У него одна рука парализована, левая.

Гимназисты были поражены. Помолчали. Про руку — впечатляет.

— Уж вам-то, коли так, возвращаться в Союз нельзя, — сказал Хунхуз.

— Никому нельзя, — пылко сказал Ираклий, — поверьте. Папа говорит: наш на троне — всем амба.

Каждый что-нибудь да нашел. Коперник отхватил перочинный ножик с пятью лезвиями, а Бестер — сломанный радиоприемник. Он ликовал: в его потомственно-золотых руках приемник подаст голос уже сегодня.

Неожиданно нарисовались конкуренты, мальчишки из Модягоу. Известная компания, бесстыдно называвшая себя каппелевцами. Их было шестеро. Они увидели вышедших из домика Алешу и Осю и отвесили им подзатыльники. Не зная броду, не суйся в воду. На шум выскочили товарищи, и Пьеро на славу

оправдал свой титул Бокс. Самозванных каппелевцев гнали до Ажикейской, до самого торгового дома Чу-рина, и Пьеро приложился по разику к каждому. Науку драки знал он один, но этого хватало — в задачу товарищей входило вязать противников, цепляясь за их руки, и Сосницын торопливо обегал пару за парой с вздетым кулаком.

Еще год назад это было невозможно — хулиганить в центре Харбина.

Отвратительно, что убегающие каппелевцы прибегли к матерным выражениям. Это было неспортивно, как выразился Сенечка Жолтков. Каппелевские уши были осведомлены, что об их грязных словесах узнает весь молодой Харбин.

Пьеро был рад нечаянному появлению на Ажикейской. В уцелевшем кафе наискосок кассирила Лидочка Х., он надеялся, что ее земляк Басилашвили предложит ее навестить. Он не ошибся. Поскольку Лидочка была грузинкой, Иракий уверенно провозглашал ее первой поэтессой Харбина и использовал любой шанс для пропаганды ее творчества.

Ресторан, опустившийся до скромного кафе, был еще пуст. Лидочка сидела за кассой и читала. Пьеро от дверей залюбовался пробормотав в ее негритянской шевелюре. У него сложился с ней тайный односторонний мезальянс, о чем она, конечно, не подозревала. Она была зрелая дама, старше его на десять лет, у нее могли быть романы, о которых не подозревал он.

Полненькая, широколицая, с низким станом, она никак не была красавицей. Но очи, но голос, но талант, но шарм девы гор — о, это стоило мессы!

Лидочка обрадовалась им, достала свою тетрадку и прочитала им десяток стихотворений. Пьеро с понятной неразборчивостью расхвалил их все. А последнее тут же повторил наизусть. Польщенная Лидочка попросила его прочесть свои. Он прочитал «Приглашение Вертинскому», которого нынче ожидали с концертом, и Лидочка похвалила его. Это могло длиться бесконечно, но в компанейцах проснулась ревность. И они стали дергать его за рукава: пора, брат, пора!

— Заходите, господа, заходите, — махнула рукой Лидочка, — вам я всегда рада. Петя, я вам рада.

Она поклонилась Пете лично, и Пьеро великолепно поклонился ей. Больше так невозможно, подумал он, мы должны объясниться. Но вдруг, выйдя на улицу, засмеялся: он словно увидел это объяснение со стороны, себя, произносящего пылкие слова. Нет, рано. Я должен прийти к ней победителем, а не просто талантливым юношей. И рассвет не за горами.

После обеда они отправились на Сунгари. Китаец перевез их на старенькой лодочке «Шутишь» на остров, на пляж. Они купались, мазались целебным сунгарийским илом. Сенечка Жолтков острил, что ил — это единственное, что не могут отнять у них японцы, ила хватит на всех.

— «Да по ведру бы водочки, шутили мужички», — добавил Хунхуз.

— Эх, по плошечке бы винца, в самом деле, — деланно вздохнул Аляска.

Это сказалось бескорыстно, от неги, под лучами жгучего солнца. Денег у них не было, особого желания кутить — тоже. Несмотря на то, что четверо из них уже брились, спиртным они не увлекались, обратившись к нему считанные разы, для подтверждения своей мужественной зрелости. И Пьеро строго наблюдал меру, пресекая любые порывы распушенности, исходящие иногда от Чики.

— А-таки пойдёте к «Наумчику», господа, — неожиданно заявил Зарубин-Чика, — будет нам по плошечке.

— Что за чудеса? Откуда у тебя деньги, Чика?

Чика изображал вальяжность.

— Кредит, друзья мои, кредит! И не спрашивайте лишнего.

Они вспомнили, что его отец рассорился со спиртозаводчиком Бородиным, что Зарубина-старшего подозревали в том, что он стакнулся с японцами на скользкой тропе оптовых продаж нелегального алкоголя. И Наумчик здесь тоже был при козырях.

Набежало облачко. Но в Чикиных глазах уже собиралась обида, а день сулил приключения. И они пошли к «Наумчику» — в единственное заведение, где гимназистам, с оглядкой, могли подать вина.

Выпили легкого сливового вина, закусили его печеньем и через четверть часа вывалились на солнышко — трезвее, чем за-

шли. Коперник, правда, изображал, понарошку, подгулявшего купчика. Он встал на крылечке и сдавленным голосом продекламировал, сжимая перед собой полный кулачок:

— Вона! Вона где всю Волгу держу!

Но смех замер на их устах, потому что напротив, на веранде, обдуваемой ровным сунгарийским ветром, сидел, во фронт к ним, с двумя «свитскими», человек, который не должен был видеть их поход к «Наумчику», не должен был вообще появляться в таком заурядном для себя месте, но который несомненно все видел и после Осиной выходки, бесспорно, оценил их поведение в самом невыгодном для них свете.

Он укоризненно глядел на них, элегантный седой мужчина на середине восьмого десятка лет, в круглых очках на остреньком носике, подтянутый, пружинистый, как самурай из японской фильма, назвать его стариком было немыслимо. Губернатор Тобольский, губернатор Томский, генерал-губернатор Приамурского края, всемогущий начальник Земельного отдела КВЖД и основатель знаменитой Гондатьевки, патрон их гимназии и крестный Пети Сосницына Николай Львович Гондатти.

Словно молния ударила в землю перед ними. Они невольно выстроились в линию и опустили головы.

Петя не видел крестного целый год, он знал, что Гондатти был болен, что события текущего года крепко подкосили его. Видимо, ему стало получше, он занимался какими-то делами в городе, и сейчас его вывезли на свежий воздух. Великий человек пил чай с лимоном, и его пальцы неестественно долго сжимали мельхиоровый подстаканник, не отрываясь от него, конечно, раскаленного. Потому что крестный был возмущен, разгневан.

Пауза затянулась, и вдруг Петя вздрогнул от пронзительной догадки: крестный не знает, что и сказать. Такие наступили времена! Сочувствие и раскаяние заставили его помочь крестному.

— Николай Львович! Извините нас, но мы... не виноваты! Это была шутка, не более... Честное слово!

— Честное слово? — переспросил Гондатти. Он печально смотрел на Петю. — Что ж, Петя, поверим твоему честному русскому слову. Боюсь, больше в этой жизни верить нечему...

Два японских офицера прошли между ними, узнав, по-клонившись Гондатти. И он с сокрушением ответил им, дважды наклонив свою красивую опрятную голову.

— Кланяйся Ивану Петровичу и Марье Степановне. Идите уж, шалопаи!

И когда они побежали, как первоклашки, спасенные от цуканья, Гондатти окликнул крестника:

— Петя!

Петя оглянулся.

— А бокс, дружок? Ты не забросил бокс?

— Нет, что вы, Николай Львович, — ответил Сосницын, светлея лицом, — как можно!

Гондатти кивнул и перекрестил его издали: иди. Было в этом прощальное.

Петя был уверен, что они увиделись в последний раз. (Они не могли знать, что Гондатти проживет еще десять лет, что они еще встретятся. Но и Гондатти сейчас прощался с Петей.) Поэтому, вспоминая это крестное знамение — а он начал его вспоминать, оживлять, уже садясь в лодочку, — Петя увидел в нем некое пожелание, напутствие, завещание.

И что, казалось бы, такое бокс, когда весь харбинский парадиз покатился в пропасть, распадаясь на атомы? Но нет — Гондатти вспомнил про бокс. Это означало: надо держаться до последнего, надо гордо сохранять лицо, словно ничего не произошло. И что бы ни произошло, воротничку быть свежим, а совести — чистой.

Вот о чем заповедал великий крестный лично ему, Пете Сосницыну. Потому что верил ему. И правильно верил, воскликнул про себя Петя, закипая благородной душой!

Однако же. На всякий случай он перегнулся через борт и щедро плеснул себе в лицо темной сунгарийской водой. Остынь, мой милый.

5

Вечером следующего дня, подписав очередной номер газеты, подуставший Игорь Петрович возвратился домой и был с порога огорошен оживленным Петькой: приезжает бабушка,

мама твоя Людмила Ивановна. Вот международная телеграмма из города Самарканда: «Выезжаю поездом двадцать седьмого пересадка Новосибирске встречайте Сосницына».

— Ты не рад, папа? — спросил Петя. — Или ты так разволновался? Надо следить за лицом.

Телеграмма как телеграмма, обычная, экономная и бестолковая телеграмма старого человека, если не учитывать, что бабушка никогда не бывала в Ермаковске и не видела ни внука, ни невестки, что ее приглашали раз двадцать, и переехать к ним, в Россию, зазывали, — и надоело, и с облегчением давно перестали приглашать, и Петька давно перестал спрашивать, почему бабушка не хочет его увидеть.

Она резко, без объяснений, отказывалась, невежливо прерывала разговор и клала трубку: «Все, у меня масло горит», «Ой, ко мне стучатся, до свидания».

Игорь ей помогал, высылал по десятке в месяц, купил ей новую мебель и полный набор бытовой техники. Чтоб так жили другие старушки в солнечном Узбекистане!

В последний раз они виделись в девяносто седьмом, когда он покупал ей квартиру в Самарканде и перевозил из кишлака, где прошло его пасмурное детство. Свидание с кишлаком его не тронуло, кишлак выглядел еще хуже, заброшеннее, чем тридцать лет назад. В старой чайхане молчало всего два несчастных старика, мужчины теперь были в отъезде, трудясь в России, и округу пересекали их затрапезные густобровые супруги, облепленные ребятишками.

А квартира в приличном самаркандском доме стоила так дешево, что это показалось провокацией.

— И с чего бы это ее принесло именно сейчас, — сорвалось с губ, — что она задумала?

Имелось в виду, что ничего хорошего матушка задумать не может, но чутье у нее безупречное.

Еще через час румяные подружки-телевизионщицы приволокли пьяную Ларису. Они отмечали пилотный выход передачи «Потомки Ермака» (ими оказались начальник департамента и банкир), поэтому состояние Ларисы отвечало принятым нормативам. На сообщение о том, что Людмила Ивановна в пути,

она любезно отозвалась: «Я рада. Давно не видались», а затем протянула Игорю руку и сказала: «Сосницына Лариса Григорьевна. Заходите на коньячок». И распласталась на диване. Петя-ка нервно хихикал.

Игорь выбрал в баре бутылку «Белой лошади» и пошел выпустить пар к соседу.

Напомним, соседом Сосницыных по лестничной площадке был одинокий интеллигент Евгений Николаевич Измайлов, словено-горячо нелюбимый Игорем Петровичем. Однако же никто даже близко не общался с Сосницыным так почасту и так подолгу, не выпил с ним столько водки и виски, как Измайлов. Приятелям Измайлов говорил, тая гордыню и насупливаясь: «Парадокс! Самый близкий человек для меня — этот, в сущности, негодяй Сосницын. Я к нему беспощадно критичен, но это истина».

Приятели сразу переводили разговор в другую плоскость, обязательно почему-то добираясь до темы падения и растреления русской интеллигенции, что стелется перед выжигами.

Сосницын называл его суррогатным собеседником и «моей лоханью», но действительно не мог обойтись без общения с ним, ненавистным лицемером, «утонченным».

Он позвонил в дверь и выкрикнул ритуальную фразу: — Открывай, утонченный! Пришел твой страшный человек, совесть твоя пришла!

Дверь открылась, и на пороге съезжился низенький, полный, очень смуглый человек с черными усами в обломовском халате. Его влажные глаза выражали муку и безнадежное согласие на сотрудничество. Сейчас его будут унижать и поить виски. Что ж, у каждого своя карма.

— Запускай, — сказал Сосницын.

— Запускаю, — ответил Измайлов.

Они зашли в прокуренную комнату, Измайлов направился к серванту за хрустальными стаканами, а Сосницын — к столу, заваленному книгами и бумагами, которые он смахнул одним тренированным движением на кресло.

— Ты не уважаешь мой труд, — сказал Измайлов.

— А мы просо сеяли, сеяли, — ответил Сосницын, — а взошло фунь-фунь...

...Их знакомство: Игорь немедленно понял, что этот чумазенький человечек в их трудовом доме чужой, самозванец. Сосед принимал его визит в халате, босой, с книгой в руках. Он узнал Сосницына, но это скорей дополнительно возбудило его высокомерие, выраженное в утонченной небрежности тона.

— Я вам не нравлюсь? — осклабился Сосницын. Он уселся тогда в чертогах Женечки без приглашения и, сидя, не уступал хозяину в росте.

— Я бы сказал по-другому: я вас не всегда могу понять и принять. Вы корыстно-агрессивны и смеетесь над нашими пред-рассудками. Но у каждого своя карма, в коей мы не вольны, — развел мохнатыми ручками Измайлов. «Он не может поступиться принципами — и он сосед, для которого святы законы общежития, необременительна любезность».

— Как я понимаю, вы одиноки. Почему? — спросил Сосницын. Пришествие хама. Измайлов оценил его бестактность.

— Дорогой мой Игорь Петрович, деликатный вопрос. Я был женат, сейчас я холост. Возможно, со мной трудно ужиться. Витаю в облаках, — самодовольно ответил Измайлов.

Как он попал в их клановый дом? По случаю. Ему под шестьдесят (ни сединки), он унаследовал две превосходных квартиры в профессорском доме напротив Дома Ученых, в лучшем месте в центре города. Одна квартира — своя, досталась ему от родителей, другая — дядина, а дядя пережил жену и девицу-дочь. Вот он, бессмысленный и беспощадный российский фарт! Измайлов продал обе квартиры. «Без сожаления, те соседи, — сказал он со значением, — были откровенные обскуранты-тоталитаристы и очень навязчивы». И купил вот эту, небольшую, но элегантную, в две комнаты. Ему понравилось расположение дома, он видел проект двора (тут он кивнул Сосницыну), оценил его защищенность и прелесть. Для нашего городка — и практически, и эстетически идеальный вариант.

«Эстетически!» Они сидели в зале, но Сосницын разглядел все-таки в открытую дверь бутылку беленькой и неполный стаканчик рядом с ней на кухонном столе. Ба, и от соседа попахивает, намотаем себе на ус.

Этот счастливчик, этот, наверняка, бездельник, которому все досталось даром, не сомневается в своей значительности, исключительности, и солнце светит всем постольку, поскольку оно светит ему. Поправив свой будничный стодолларовый галстук, Сосницын испытал к нему незабвенное классовое чувство.

— У вас знатный галстук, — заметил тогда Измайлов, — завидую.

То есть чихал я на тебя с твоим галстуком. И простые старые слова такие господа выговаривают как иностранные. Хозяин завелся поглаживать книгу, которую не выпускал из рук, намекая, что перерыв в его занятиях затянулся.

— Что вы читаете? — спросил Сосницын, поднимаясь над ним, как скала.

Измайлов усмехнулся.

— «Записки кирасира» князя Трубецкого, — ответил он, — брутальное существо этот князь.

— Какое-какое?

— Брутальное, — с наслаждением сказал Измайлов, и вдруг горячо: — Аристократия! Гуляют со шлюхами и наутро подают друг другу на палашах их панталоны. Казарменный юмор! И не стыдно об этом рассказывать, наоборот, хвастается, бурбон! На учениях в Красном селе заслуженный командир, старик, засыпает в палатке после уже непосильных ему нагрузок и храпит, бедняга. И они ему в рот высыпают горсть клопов! Специально собирали клопов, золотых часов отдыха — не пожалели их сиятельства. И это чудо как смешно. Как же не рухнуть великой империи с такими потомками Рюрика!

— Согласен, — сказал Сосницын.

«Прошлое тебя волнует. А увидишь из окна, что человека за-резали — даже скорую не вызовешь.»

— А в предисловии про этого Трубецкого царапают: верный сын Отечества, патриот, носитель заветов. Совсем зашорились, столичные верхогляды!

«Не пойму — кино гонит или вправду огорчается? Ишь как раздухарился», — ревниво подумал Сосницын, сам искушенный разоблачитель.

Сосед вызвал у него педагогический зуд. Я тебе устрою Красное село...

...Сейчас они доцедили по первой порции, и Измайлов ждал, выдерживая поначалу норов, когда Сосницын разольет по второй.

— Скверное у меня настроение, — сообщил ему Сосницын.

— Бога ради, не срывай его на мне, — взмолился Измайлов.

— Петькины фокусы — твоя работа? Твоя, — сказал Игорь Петрович.

Измайлов опережающе преподавал Петьке начала философии, этики и эстетики. Сосницын платил ему порядочно. Это входило в стратегию. «Хозяин был на деньги зарный». Измайлов должен чирикать в паутине.

— Какие фокусы? — испугался Измайлов. — Я выстраиваю его сознание! На совесть!

Сосницын понял, что спросил попусту. Женечка не в курсе, и тему следует закрыть.

— Душеполезные, — сказал Сосницын, — я видел тебя с дамой. Утонченная дама, диетическая. Найдешь ей уголок в своем скворечнике?

— Боже, почему я должен это слушать!? — возопил Измайлов — О, времена, о, нравы!

Этот крик Сосницын вырывал из его груди при каждой их встрече которой уже год.

— Ты чудовище, монстр, Игорь Петрович! Наливай, будь ты проклят. Сегодня я опять напьюсь, ты своего добьешься, прасол!

— Скор ты на решения, крут, — заметил Сосницын, — а я-то еще и рот толком не открывал, всей правды тебе не открыл.

И налил по полному стаканчику.

— Ну-ну, — молвил Сосницын, — давай покурим, поворкуем. Два голубя как два родные брата жили...

...Надо было сбить спесь с заносчивого утонченного. Опыт учит, что такие люди благодатно состоят из слабостей — уступок юности, ошибок молодости, прегрешений зрелости. Одна мимика Измайлова сулила прорву находок. Поиски компромата на соседа Сосницын доверил Коле Рубахину, достойному ученику. И дрессированная гиена принесла падаль, через два дня на столе у Сосницына лежала особая папочка.

Он узнал, что после квартирной повести у Измайлова осталось около полутора миллионов рублей. Он был ленив и забро-

сил свое выморочное доцентство, но он был тщеславен, как Кичухин, и скуп, как банкир Жанатаев, и поэтому подрабатывал статейками дидактического свойства о том, чего нам не хватает и что мы потеряли. «Не мог не работать». Имел репутацию умника с легкими заскоками, независимого мыслителя.

Жена ушла от него, потому что Измайлов не хотел детей, сообщив ей, что в его роду эволюция завершилась на нем.

(И здесь объяснение тому, что Измайлов будет хвататься за любовь — всегда сытную — работу, которую ему будет подбрасывать презренный Сосницын, позорно смиряясь с сосницынскими глумлениями. И тому, что привяжется к Петьке, полюбит его. Потому что ему, все-таки живому и одинокому, будет в отраду чужой проходящий ребенок, рутинная забота о котором — на других.)

Наибольший интерес вызывали три безобидных сюжета.

1. Измайлов — ученик одиннадцатого класса. Дело о краже денег и ювелирных изделий. Пострадала семья академика Зорина, ближайшие соседи Измайловых. Дело громкое, но доисторическое. Ущерб — восемь тысяч, в тех ценах очень крупный. Посадили двух балбесов, университетские дети. Их дружок Измайлов проходил как свидетель, который, впрочем, «ни о чем не знал, ни о чем не догадывался». Судя по косвенным данным — был наводчиком. Обокрали быстро, адресно — знать могли только от Женечки. Следовательно: уверен в его вине, жалею, что не посадил — дружки его не сдали. Измайлов, по его мнению, был типичный сопливый плейбой, заласканный и заброшенный учеными недотыкомками — родителями.

2. Измайлов — студент. Пьяный дебош в ресторане «Север». С двумя товарищами назойливо приставал к девушкам, зашедшим поужинать и мирно выпить по бокалу сухого. (Это во времена, когда вечером ресторан превращался в жуткий вертеп.) Девушки оказались не проститутками, а дочерьми крупных партийных работников. Студентов ввела в заблуждение внешность девушек, они были очень похожи на проституток, не отличишь, на что и напирали, оправдываясь, три товарища.

Инцидент замяли по активному настоянию родителей девушек. Хи-хи.

3. Измайлов — аспирант. Вольнолюбец. Снова проходит как свидетель по известному делу о сторожах Ботанического сада и их соратниках. Они читали, множили и распространяли запрещенную литературу. Двоих посадили, еще одного отправили в психушку, где он сошел с ума, прочих повыгоняли с работы, с учебы. Измайлов уцелел без последствий. Известно, что он буквально дневал и ночевал в Ботсаду и был с головкой подпольщиков в тесных отношениях. Вывод: трусил, заложил друзей, и за то не был засвечен. А если и не так, диффамации не нужны прямые доказательства, и она не имеет срока давности.

Нота бене. Товарищи его подозревали, прижимали к стенке — отперся. А девушка-то его бросила. Сейчас со многими отношения восстановлены, но видятся все реже — годы идут. Ныне Е. Н. намекает, что пострадавши, что и он в Аркадии бывал.

То, что надо, констатировал Сосницын, я его так накручу, что он льдинками потеть будет.

Дальше — перебесился. Много забавных мелочей про его нарциссизм и малодушие. Выяснилось, например, что Е. Н. стал увлекаться распусканием слухов. Он, именно он пустил громокипящий слух о том, что лауреат Государственной премии Ираида Евсеевна Извекова — запойная! А она — знаменитая режимщица, спортсменка и почти что святая. Никто не видал и не слышал, чтобы почтенная И. Е. выпила больше тридцати граммов. И даже на ее триумфальном семидесятилетии, когда в Ермаковск стеклись мудрейшие, она не допила и своей первой рюмочки, ее театрально допил за нее академик Якобинцев: вот это помнили до сих пор!

Никто и не мог видеть, отвечал крикливым оппонентам Женечка, она пьет одна, вечерами, запершись в квартире и не отвечая на дверные и телефонные звонки. Попробуйте дозвониться ей вечером! И верно, озадачивались оппоненты, дозвониться невозможно.

Зачем Измайлов соврал — непонятно ему самому (со скуки, конечно), но Извекова доселе не ведала, кто нарушил ее душевное равновесие на полгода. Странные намеки окружающих, участливые лица, иногда — странные смешки, какая-то муть — не безумна ли я часом — и облегчение правдой от первой сплетницы факультета.

Узнаю, кто напакостил, говорила И. Е., прикажу того выпороть. Мои ученики меня уважают — выпорют! (Держись, выморочный доцент! Утонченный!)...

...— Я потому тебя терплю. Игорь Петрович, молвил, запинаясь. Женечка, — что сын твой Петя мне дорог. Я должен за него заступаться, кому еще? Он искупит мои грехи, он искупит твои смрадные грехи. Потому что в нужное время рядом с ним оказался я, измученный русский интеллигент. Вот секрет моего согласия с моей кармой. Ты же мой крест.

— «Жил-был шут Балакирев, — сказал Сосницын, — он жил при царе. Шутил там у него».

— Это я — шут Балакирев? — спросил Измайлов — А ты у нас царь? Превосходно. Царь над мамонтами. Превосходно! Превосходно... А я шут.

— Нет, ты «мозголов», — сказал Сосницын, — ты нога хромо-му и глаз слепому. Ты светоч!

— Я уже открываю окна. Сюда, свежий ветер! — крепко выговорил Измайлов — Вон из моего дома, чтоб не пахло тут твоим вызывающим парфюмом!

— «А ты губы не натягивай», — хладнокровно ответил Сосницын, — чуть я не забыл: как насчет книги по истории ермаковского водоканала? Взял заказ под тебя. Хлебная работа, дам двух батраков. Осилишь?

— Игорь Петрович, — сказал, топорща усы, Женечка, — я с вами оправляться на одном гектаре не стану, не то что дело иметь.

— Хорошо, — сказал покладисто Сосницын. Он взял со стола пустую бутылку и пошел к выходу.

— Сколько? — спросил Измайлов, стесняясь.

— Пятьдесят, — ответил Сосницын и открыл дверь.

— Шестьдесят, — сказал Измайлов.

— Шестьдесят, — сказал Сосницын.

— Куда же ты? — уныло спросил Измайлов.

— Принесу еще одну, — сказал Сосницын.

— Упырь, — сказал Измайлов.

Дверь за Сосницыным уже закрылась. Евгений Николаевич подумал и неверными руками нанес на переносицу моднейшие темные очки, доспехи робких...

...Их вторая встреча была решающей. Она утвердила регламент, по которому будут строиться все последующие их посиделки, включая сегодняшние. И завтрашние, и до конца времен.

Измайлов хотел поставить опасного соседа перед фляжками, показать Сосницыну бесконечную ограниченность Сосницына и распусть перья собственного величия.

Он затягивал его сразиться на территории высокой культуры. Говорил о недолгом счастье мародеров, от коих отрекутся собственные дети, предлагал обсудить причины и следствия падения нравов и т.д.

Потом — Сосницын проспал, почему — Измайлов вздумал просвещать его в устоях русского реализма девятнадцатого столетия. Он говорил о парадоксах истории и переменном токе контекстов. И закончил тем, что видеть мир по тем заветам и вести себя в соответствии с заповедями Достоевского и Толстого ныне чистейшей воды романтизм. И то слово в новом бытийном — антибытийном! — контексте теперь романтическое слово, замкнутый код гордых духовных изгнанников, доступный немногим натурам.

Особенно если у них есть свой миллион, сказал натерпевшийся Сосницын, когда Измайлов стал выдыхаться. Измайлов испугался и сбился. И Сосницын педантично поделился с ним своими нелицеприятными наблюдениями по анатомии современной непромокаемой интеллигенции, не забывая подливать Измайлову виски. Он знал, что ипохондрики...

— И взять, к примеру, тебя, Евгений Николаевич, сказал Сосницын, — благородный максимализм... утонченный... так последний сукин сын, вроде меня, не поступил бы!

— Как это омерзительно! И какие методы! Боже, почему я должен это слушать? И от кого! — возопил Измайлов.

Но Сосницын продолжал запускать свои персты в его раскрывшиеся раны. И парализованный его всеведением и напором Женечка сдавал редут за редутом.

А когда Измайлов совсем сник и совсем обиделся, и схватился за соломинку «благородный муж не отвечает на клеветы — покиньте его», Игорь Петрович предложил ему написать ничтожную заметку за баснословные пять тысяч, оплата хоть сейчас. И Измайлов, поломавшись, согласился.

Возмутись он, обругай, плюнь или даже руку на Сосницына подыми, тот (как перед Богом) не дал бы сдачи и ушел, уважая его. Но этого не произошло — и понесло Женечку в водоворот садомазохизма. И Сосницына понесло туда же...

...Очки приободрили Евгения Николаевича.

— Я тебя периодически вижу во сне, Игорь Петрович. Надеюсь ты мне до смерти. И всегда кого-то он шантажирует, шантажирует без конца, давит каких-то людей, мне незнакомых...

— И все, наверное, с рогами, с пяточками, — уточнил Сосницын, — ты не заметил?

— Все с веревками на шее, — возразил Измайлов, — а последний сон: стоишь ты в конференц-зале университета перед нашими вдовушками и поднимаешь их на борьбу с коррупцией. И голова у тебя бронзовая, и голос металлический. И вдруг...

— И тут заходит «мужик-замурлыга, в чекмене, лебедой подпоясан»?

— Вроде того, — удивился Измайлов, — спускается с портрета живой Менделеев и басом: «Не верьте ему! Гоните этого жулика прочь! В толчки его, по шее ему!»

Измайлов остановился. Дальше он не придумал.

— «Сон всего на свете милее, — сказал Сосницын, — во сне всякое горе позабывается».

— Хватит, довольно этих пошлых цитаций! — замахал руками Измайлов — И откуда в твою щелочную голову их надуло? Ты не Кот ученый — ты волкодлак, оборотень. Вой и рычи!

У Сосницына поднималось настроение, когда Измайлов обзывался и наступал.

— Люблю русские сказки, они мудры, — сказал он.

— И это показательно! Для тебя, конечно, мудры. Еще бы: что ни сказка, то нажива на чужом горе. А я не люблю сказок, — провозгласил Измайлов, — хватит им умиляться. Нас дистанция вводит в заблуждение. Сказки — бред, дребедень, декаданс. В них идеалы глупых, порченных лапотников. Я напишу работу, где докажу: сказки размножаются во времена, когда царит зло, мошенничество, абсурд. В нравственном запустенье. Цивилизация гниет, чахнет, распадается — и по избам, как чума, разбегаются сказки. Добрый молодец украл, обманул, растлил — и живет в райских чертогах!

— Сказки бывают разные, — сказал задетый за святое Сосницын, — в них меткая народная речь, нам бы поучиться.

— Тоже мне сын трудового народа! Сосницын (тут Измайлов непристойно повел тазом) очаровался примитивом!.. Запомни: сказка цветет — верный признак распада, вот как расцвет педерастии говорит о наступлении последних времен... — Измайлов снял очки, он протрезвел, — и наша эпоха помешалась на сказках о насилии и сЭксе. Что такое боевики эти, этот Голливуд? Их не успевают штамповать. Те же молодцы, та же тупость, та же морфология. И ведь какие сказки ты помнишь — все поздние, поточные, жлобские, нет в них ни красоты, ни добра, побеждающего зло. С помойки зла!

Редкий случай, когда Сосницын рассердился на Евгения Николаевича. Он налил по полной и, позволив Женечке поднести чару к губам, предложил:

— А давай проконсультируемся у Ираиды Евсеевны Извековой. С точки зрения вечности. Если дозвонимся, даст Бог.

И потянулся за телефонной трубкой. Измайлов глянул и на всякий случай надел очки.

— Черт! Не помню, Евгений Николаевич, можно ли ей от тебя звонить? — недоумевал Сосницын — вдруг она знает, что это ты ее запойной ославил? Тоже сказка в своем роде, с помойки зла!

Измайлов уронил стакан на ковер.

— А давай, брат, извинимся, с кем, мол, не бывает,— и спросим! Она великодушная, авось, отменит порку!

Пальцы Сосницына побежали по кнопкам. И Измайлов, догадываясь, что это подначка, что не может Сосницын знать номер телефона Извековой, все-таки сбросил телефон на пол и выдернул шнур из розетки.

Прошло полчаса.

— Давай, Женя, ты будешь пить будто бы из меха,— предложил Сосницын, — я бутылку подниму и буду лить, а ты рот подставляй.

— А давай, Игореша, — согласился Измайлов, запрокинул голову и открыл рот. Его новые фарфоровые зубки — ровненькие, рафинадные, ослепительные. Вакхический грек.

Струя полилась, и Измайлов блаженно встречал ее с полуметра отверстой гортанью. Эвоэ!

Затем сел Сосницын, а Измайлов встал над ним. Целился он в упор, но, будучи уже полуменадой, залил Сосницыну лицо, попал в нос, в глаза — и Сосницын взвыл и побежал в ванную.

Потом они хохотали и хлопали друг друга по плечам.

Вдруг Измайлов помрачнел и сказал:

— Ты бессовестный, пользуешься моим одиночеством, моей тоской по общению. Увы, я сентиментален, глуп... Иногда мне кажется, что твои пакости — грубая игра, а за ней твоя тоска по общению, твое одиночество, твоя ко мне дружеская привязанность... Если я попаду в беду, ты ведь меня выручишь? А, Игорь Петрович?

Что-то ущипнуло сосницынскую душу, что-то в ней дрогнуло. Борясь со слабостью, Сосницын ответил язвительно:

— Ты со своим эго... прости, благородным максимализмом никогда не попадешь в беду. Разве что книжечку у тебя кто-нибудь присвоит, вот горе.

— Невыносимо, — прошептал Измайлов.

Но Игорь взглянул на понурившегося человечка, наложившего ладони на темные свои очки, и, не желая того, добавил:

— Будет тебе. Выручу, будь уверен. Пусть только сунутся!

Измайлов выпрямился и снял очки. Была опасность, что он поцелует Сосницына.

— Я на самом деле тебя уважаю, — солгал Сосницын, — Петька не даст соврать. Ты учитель моего сына, я тебе доверяю. Спросим Петьку, как я к тебе отношусь? Сейчас я его позову, погоди...

— Нет!!! — раскусил замысел Измайлов и схватил его за рукав — Проклятый провокатор! Ты хочешь, чтобы Петя увидел меня в пьяном, развратном виде? И насладиться моим унижением, сладострастное ты насекомое!..

Так Сосницын, верный своей науке побеждать, мутыскал своего соседа Измайлова. По душам — не по душам, а свой глоток кислорода он получал, шатая Измайлова, и в его лице — родимую интеллигенцию.

Но сегодня, закончив сеанс, он пошел спать не сразу. Неходя домой, он проследовал зачем-то в гараж, там поднимал

капот машины, там выпил еще и думал, а затем, между прочим, достал из мешка бюст и разглядывал его.

6

Матушка разменяла восьмой десяток. Она заметно исхудала, испятнанные хной волосы поредели, стекла на очках раздулись. И правый глаз чуть-чуть косил. Одета она была, как одевались в дальнюю непредсказуемую дорогу тетки шестидесятых годов, во что поплоче — выцветший сарафан, реликтовые коричневые полуботинки с белыми шнурками, а сверху — теплый трубчатый жакет цвета пустыни. Игорь мог поклясться, что помнит его с детства. И иной, более респектабельной одежды, судя по всему, она с собой не захватила — очень уж маленькой и легонькой была ее дорожная сумка.словно матушка угодила под срочную эвакуацию.

На вокзальном многолюдье не было одетых хуже нее, бегущий мимо с лотком пирожков грузчик притормозил, наблюдая с комической миной, как она забирается в боярскую машину своего сына.

Лариса приоденет ее, сводит в дамский салон. Если будет на то согласие! Согласия может не быть.

Матушка избегла целоваться. Промычала что-то, подставив Игорю кислую, тощую щечку, а розы сунула под заднее стекло машины и забыла о них, нужны они были, розы.

Наконец-то, сказал Игорь, изволили пожаловать. Спасибо! Внук в нетерпении, уши помыл. Утомленная Людмила Ивановна снова промычала что-то непонятное, достала из сумки китайский копеечный веер и молча обмахивалась им всю дорогу от вокзала до дома, равнодушно зевая на бегущий навстречу чужой город.

Ведя машину, Игорь ловил в зеркальце ее взгляд. Она поглядывала на него навскидку, уколами. Как будто не она к нему, заботливому сыну, приехала, а он забытым родственником навязался к ней в гости, и она не может сообразить, кто он такой и чего от него ждать.

Внука она все же поцеловала, затем отстранила на вытянутые руки и злорадно сказала, и Сосницын узнал ее голос:

— Не похож! Я против была, чтоб тебя Петром назвали. И правильно — какой ты Петя! Ты не Петя. Хороший мальчик! В маму.

Ларисе кивнула, вроде бы приветливо, но Лариса не рискнула заключать ее в объятия. Петя подошел к матери и, как маленький, поднырнул под ее руку, что делал десять лет назад, когда к ним пришел Дед-Мороз, которым прикинулся студент-нигериец из университета.

Людмила Ивановна подарила Пете тюбетейку, расшитую серебром, Ларисе — флакон розового масла, посоветовав капать его в ванную, а сыну ничего не подарила. Приняла душ и вышла к ним в трико и майке с растянутым воротом, обнажавшим то одно, то другое худое плечо с тесемкой бюстгалтера. От осмотра квартиры отказалась — «после», и пошла, опережая хозяев, за обеденный стол, где посреди снеди из ведерка со льдом торчала бутылка шампанского.

Достала лед, потеряла себе лицо и бросила остатки обратно.

— С приездом, матушка!

— С приездом, бабушка!

Попробовала салат, бросила вилку и зарыдала так, что у Со-
сницыных зарябило в глазах. Они подскочили, бросились к ней.

— Извините, — выговорила она совершенно по-человечески, —
выйдите на минутку, я позову. Дайте проплачусь.

Они вышли на балкон, слыша, как она продолжает рыдать и
приговаривать. Лариса насторожила ухо и сказала:

— Она по-узбекски стенает.

Игорь в бешенстве попробовал лбом косяк. Петя вращал
зрачками.

Увертюра удалась!

Тишина наступила так же внезапно.

— Идите, дети, — позвала их бабушка.

Она уже допила шампанское и накладывала себе еду.

— У нас на улице живет гадалка, — объяснила она, — мадам
Бабаджонова. К ней от Ислама-ата приезжали, не чух-пух. Ни-
когда не ошибается. Она мне предсказала: если не съездишь к
родным — умрешь. Езжай скорее, можешь не успеть, умрешь в
дороге. А если доедешь, проживешь еще двадцать два года. Ис-
переживалась я, вот и прорвало, извините.

— Теперь вы проживете девяносто три года, — вежливо сказал Петя, не веря в гадалок. Для этикета.

Сосницын с большим облегчением откинулся на стуле и перекрестился, наверное, всуе.

— Вот мы и пригодились, — сказала Лариса, — привет мадам Бабаджоновой!

Игорь Петрович вскоре отправился на работу и задержался допоздна. После редакционных дел пришлось заехать в Серый дом, из Серого дома — в магазин, подвергшийся нашествию пожарной инспекции в заведомо нерабочее время. И еще в один новый дом, где он тайно купил однокомнатную квартиру. Скорей из гонора, чем из живой прихоти.

Вернулся затемно и, прежде чем зайти в подъезд, посидел во дворе на скамеечке. Ночное небо в центре города — размытое, засвеченное, подернутое ржавчиной. К нему приехала мать, а он не торопится к ней. К скуке, которая в последний год одолевала его ежедневно, посреди самых азартных затей, стала прибавляться усталость, обыкновенная до отвращения к себе. Тело его не старело, напротив, цвело и требовало уважения, а Сосницын привыкал приседать — дома, во дворе; приезжая или отправляясь куда-нибудь, задерживался в машине на минуты, и ловил себя на том, что интересуется одеждой на пешеходах или считает окна на фасаде дома. Усталость копилась не в теле.

Он не знал, что иные его чуткие сотрудики (и те, кто беззаветно поставил на него, и те, кто за годы возненавидел его до почернения крови) уже обратили внимание на его новую привычку и, заметив его прибытие из окон, заключают пари, сколько он сейчас отсидит в машине, и засекают время.

Матушка заснула рано, до заката, Петька тоже свалился. Они сидели с Ларисой на кухне, и она докладывала.

Свекровь согласилась приодеться и навести красоту в салоне «Бомонд». Лариса призналась, что она не решилась выдавать Эльвире, хозяйке салона, чью это маму она привела — для его же, Игоревой пользы. Сказала: «Моя подопечная». Игорь вынужден был согласиться с ее решением. Мастерница Ниночка, разговорчивая, любезная, пыталась занять клиента беседой — не обломила ее беседа, свекровь стеснялась, молчала, как глу-

хая, и Лариса сказала Ниночке, что Людмила Ивановна глуховата. Как на меня глянула твоя матушка — оцифровала! Душа в пятки ушла.

— А с тобой разговаривать изволила?

— Разговаривала. Так, скуповато. Говорила: «Его отец сошел с ума и ушел от меня». Видели его, мол, на базаре в Семипалатинске, побирался. Оборванный, кричал петухом. Правда?»

— Сочиняет. Думаю, запилила она его, и он ушел. И перед уходом сказал ей что-то навроде «умрем в один день, но по-врозь».

— Ты не рассказывал. Почему?.. А костюмчик мы ей подобрали отличный, дороговастенький, в талию — прелесть! И туфельки со стразами. Завтра увидишь.

— И что — она это безропотно надела?

— Уже начала роптать, но посмотрелась в зеркало, обдернулась — и расцвела. Дала продавщице десятку на чай. А потом за каким-то лешим купила Петьке футбольный мячик. Веришь — за тысячу. Я ей говорю: не надо мячик, Петя хроменький, какой ему футбол. Это его расстроит, напомним лишний раз об увечье. Купила!

— Я у нее все детство выпрашивал мяч. За четыре рубля продавался, кривой, со шнуровкой. Мы за «Пахтакор» болели.

— Купила?

— Нет. Совала отцовские гантели. Я их из рук не выпускал. Очень пригодились.

— Ну, да, мне ли не знать твои ручищи-отвертки.

— А что Петька?

— Петька сказал спасибо. Подарит кому-нибудь... Но потом, слушай, что потом. Мы поехали на вокзал и купили обратный билет. На завтра, на вечер. Безоговорочно. Привет мадам Бабджоновой!

— Привет, — сказал Сосницын, — вендетта продолжается. Бабушка приехала, чтобы звонко уехать.

— Ты похож, тогда старились раньше, обида в ней ожила, кровля задымилась? — сказала Лариса.

— Она законченная солистка, — сказал Сосницын, — и того с лихвой...

— Я спросила, не нужно ли ей денег? Она ответила, что маленьких денег ей хватает с избытком, но если ей дадут сто тысяч, она отдохнет в Анталии. Она знает узбекский, а турецкий что узбекский, там ее не обманут... Я не возражаю.

— Дадим матушке сто тысяч, — крикнул Игорь, и они пошли на боковую.

Ночью к ним в спальную зашла проспавшаяся матушка. Было полнолуние, они не задергивали шторы.

Игорь еще ворочался, и посвистывающее дыхание присевшей перед ним на туалетный столик матушки разбудило его. Он лежал, не открывая глаз, она сидела над ним и смотрела на него — он чувствовал лицом давление ее взгляда. Она помучила его долго, он задремывал, и снова проснулся, когда она пошла, ступая на цыпочках, обнимая себя за плечи — он проводил ее с открытыми глазами.

Лариса тронула его пальцем, она тоже не спала. Она села в постели и молча смотрела на мужа, выбеленная Луной. Он поцеловал ее.

Лишь бы она к Петьке не забралась, с ума можно сойти, — прошептала Лариса.

Они услышали, как матушка приземляется на свой диван в гостиной и успокоились.

Утром их разбудили Петькины вопли. Он кричал: не хочу, не надо! Бабушка, я уже взрослый, я сам знаю, как мне закаляться! Папа знает!

Ужасы детства проснулись в памяти Игоря Петровича. Они выбежали из спальни: бабушка набрала в ванную холодной воды и уговаривала Петьку начать день окупанием, попробовать, как это здорово. Твой отец вырос крепким, волевым, потому что я каждое утро с полутора лет купала его в холодной воде. Попробуй, внучек, уважь бабушку!

И прихватывала за руки, влекла в ванную. Посмеиваясь. И Петька, сопротивляясь, встал на колени и нагнул голову. Настала его очередь рыдать.

— Мама! — закричал Игорь Петрович, и сорвал голос — Мама! Прошу тебя, не надо, мама.

И она услышала, опомнилась, отпустила Петю. Посмотрела на сына, на невестку, махнула рукой и легла на диван лицом к стене.

Маленькая старая женщина с модной укладкой на голове. Лариса села рядом с ней и положила руку ей на плечо, но лицо ее выражало не сочувствие, не жалость, а страх и гнев. Уезжай скорее, ведьма!

А казалось бы, что тут страшного — чудит бабушка, по мелочи. Многие бабушки чудят, и такое городят, хоть святых вон выноси. Теща бывшего прокурора, глубочайшая старуха, вообразила, что зятя подменили, и применяла против него «газовый баллончик». Дочь подсунула ей дезодорант, наклеив на него самодельную этикетку: «Зоман. Нервно-паралитический газ. ГОСТ 17-24-4448. МО РФ». Находя повод, теща пускает газ — и ароматизированный прокурор строит рожи, трет отравленные глаза, валяется и вопит: больно! Больше не буду! Он относится к этому с юмором, приговаривает: «Теща умрет со дня на день. Жалко. Очень мне будет ее не хватать».

Лариса ускакала на съемки с очередным потомком Ермака, и они завтракали втроем.

— Зачем ты уезжаешь так рано, не хочешь погостить? — спросил Игорь Петрович — Мы тебя ждали двадцать лет. Может быть, мы к тебе приедем на следующее лето? Ты не против?

Он говорил это, твердо зная, что она не жаждет их приезда, что ей неприятно его слушать.

— Квартира и так неделю без охраны, — ответила бабушка, — у нас обворовывают. Следят, взламывают и тащат до последней плоски. Население бедное.

— Это у вас Эль-Регистан? — спросил Петька — я в Интернете накопал: Тамерлан там... с голубыми куполами?

— У них, внучек, у них, чудо света, — сказала бабушка, — приезжайте на будущее лето, приглашаю. Знаю, что не приедете. Двадцать пять лет не приезжали. За помощь тебе спасибо. Полгорода беднее меня живет, соседки завидуют. Мясом питаюсь, пылесос у меня водяной. Спрашивают, большой человек твой сын? Большой, говорю, но шибко занятой. На секретной работе, с космосом связан, не выпускают в другое государство. «Ой-ой, счастливая, такого человека вырастила!»

Игорь знал, что это представление для внука, что ее совершенно устраивает их «равнодушие». Хотя бы потому, что за это всегда можно упрекнуть.

— Мы обязательно приедем. Приедем, Петька? — спросил Игорь Петрович.

— Приедем, бабушка, — сказал простодушный Петька.

— Верила кукушка в свое ку-ку, — сказала бабушка и погладила внука по голове. — Ты, Игорь Петрович, хуже папаши своего. Надулся, как гусак. Тот был никчemuшный, а ты себя даже сидя несешь, статую из себя лепишь.

Рассердилась-поверила, изворотливая, хитрая матушка. Игорь вздрогнул и перевел взгляд на Петьку. Петя внимательно, по-взрослому смотрел на него, держа вилку зубцами вверх. Захотелось упрекнуть матушку за черствость, за детство, за злую поперечность. За неблагодарность, в конце концов. Но при Петьке это было исключено.

— Ты, матушка, сериалов насмотрелась, — сказал он, — если бы я был святой, ты и тогда бы нашла к чему придраться, сварливая твоя натура.

Петька был доволен. Матушка надулась, замолчала, они замолчали в ответ. Это разговор был последним. За десять часов до отъезда.

Потому что после завтрака отец и сын поехали к массажисту, к хирургу и заехали на отцовскую работу (Петя любил болтаться в редакции), а когда они возвратились, бабушка испарилась. На столе в гостиной лежала записка: «Уехала в Новосибирск автобусом пораньше. Сосницына».

Чуть позже подоспевшая Лариса обнаружила в спальней, в шкафу купленные вчера бабушкины обнови и пакет с деньгами. Она пересчитала их — в пакете было девяносто восемь тысяч. Недостающие две тысячи найдет у себя под подушкой Петя, укладываясь спать.

Все-таки унизила, ткнула напоследок, изобразила. И ста тысяч при своей жадности не пожалела!!!

Обсуждать тут было нечего, но нервы у Сосницыных сдали, и к вечеру они поругались. Лариса дала тому обычный повод, сладостно, рептильно поговорив по телефону с очередным потенциальным потомком Ермака. Через пару недель Сосницын намеревался взять с него дань без всякого жеманства и милосердия. Снова Лариса путалась под ногами. И снова Петя их помирил.

Наступил вечер. К Измайлову с этим не пойдешь, и неделя еще не прошла. Игорь Петрович пошел в гараж, пил там под музыку водку и читал накопившиеся досье. Паскудно, скучно. А заказать меня не посмеют, себе дорожке, подумал он, я защищен и играю по правилам. А машину свою я сожгу сам, когда нужно будет.

И вдруг грохнул недопитую бутылку об стенку и крикнул: «Бабушка приехала! Бабушка уехала!» (Какой-то фильм?).

Успокоился и трезво сказал:

— «Досюль жил-был царь на царстве, на ровном месте, как сыр на скатерти». А теперь, Игорь Петрович, сыр кончился.

В воротца засунулся сосед по гаражу — веселый прокурор:

— Ты чего кричишь, Игорь Петрович? Голову капотом прищемил? Ранен? Смотри, тебе под пятьдесят — шкура толстая, как у бегемота, да раны уже не затягиваются.

— Ногу, — ответил Сосницын, поднял ногу и потряс стопую.

Он не заметил, как прокурора сменил Петька. Прокурор превратился в Петьку.

— Отец, ты здесь, в берлоге? Ты выпил? Из-за бабушки? Из-за мамы?

— Почему я не могу просто выпить, — ответил Игорь Петрович.

— Не ври. Пойдем домой? Мне надо с тобой посоветоваться.

Не ври? Двор блестел, крапал мелкий чернильный дождик. Отец обнял сына за плечи и шел на полусогнутых ногах, делая вид, что ранен и сын выводит его из огня. Сын принял игру. Терпите, товарищ майор, нам близко, вон в тот лесок.

— Эх, Петя, когда мне было четырнадцать лет, мне не с кем было посоветоваться, — сказал Игорь Петрович.

7

Сапожник Ты Фа Сян жил двойной жизнью. Первая день за днем тянулась от рассвета до заката, когда он добросовестно тачал или чинил обувь, имея обширную русскую клиентуру, давным-давно вытеснив из окружи двух русских и трех китайских конкурентов. Эти китайцы хотели его побить, но он не дался и побил их сам. Дела давно минувших дней.

Вторая жизнь начиналась в сумерки. Несколько раз в месяц с наступлением темноты Ты умывался с мылом, брился, пере-

обувался, меняя деревянные колодки на кожаные поршни, брал в руки суму, клал в нее два-три аптекарских флакона и тесак в ножнах и выходил из мастерской. Он двигался очень осторожно, ступал неслышно — ему не нужны были свидетели его тайных походов в Новый город.

Так было и сегодня.

А в это время из домика в Модягоу или из дома в Новом городе навстречу ему выходила очередная русская женщина цветущих лет. Она шла навстречу судьбе, спотыкаясь, пугаясь теней и малейшего древесного шевеленья, и опустившийся туман затыкал ей ноздри, оседая капельками на ее холодном носу.

Китаец вышел к решетке парка железнодорожников и замер, озираясь по сторонам. Он был как злобный ирокез-разведчик в девственном лесу. Только одетый.

Тишина, туман, сиреневая луна. Далекый фонарь. Он чего-то ждал и пока убивал время. Уверенный, что его никто не видит, Ты принялся за гимнастику: приседал на одной ноге, размахивал руками, замирал в различных позах, изображая то тигра перед прыжком, то взлетающую птицу, то, кажется, японского офицера — надменного, готового лопнуть от своей надменности.

А потом — потом достал тесак и стал рассекать им туман, резать его и колоть! Особенно ловко у него получалась косая атака снизу вверх — справа налево. Смертельный удар Потрошителя!

— Да это у него ритуал такой людоедский! — потрясенно прошептал Пьеро Аляске. Они — Пьеро, Аляска, Бестер и Понеже — следили за китайцем из-за решетки, стоя в кустах акации и сжимая дубинки в трясущихся руках. Мальчиков бил озноб, волосы у них дыбились. Нестерпимо хотелось писать.

— Это он г-готовится! — шепнул Сенечка Осе, стуча зубами. Они — Таризэл, Хунхуз, Коперник и Чика — прячась за орехом, выглядывали из переулка, по которому крались вслед за китайцем. У них тоже волосы встали дыбом и т. п., они тоже едва не уронили свои дубинки.

Чуткий китаец снова замер, озираясь. Он что-то услышал — но мало ли что могло шипеть или скрипеть в стремительно остывающем городе?

Ты Фа Сян спрятал тесак в суму и стал ходить вдоль решетки, по десять шагов туда-обратно.

Они не понимали, почему он остается здесь, не ищет жертву, голодный на наслаждение смертью. Так-то им было удобнее, что он здесь, на месте, обложенном их засадой, ибо они совершенно не продумали, как они будут следить за ним, если он выйдет на простор Нового города. Ведь им придется прилично от него отставать, на целые кварталы, и может случиться, что они не смогут, не успеют предотвратить молниеносное убийство...

А грядущее преступление безусловно прочитывалось в этих шагах китайца. Стоящие в акациях слышали его неровное плотное дыхание и глухое бормотание: он предвкушал!

Но время шло, минута за минутой, и молодые сердца поневоле успокаивались.

А какая чудесная летняя ночь накрыла русский город на сопках Маньчжурии! Ночью ласковый юго-восточный ветер с близкого Японского моря сменяет колючего западного гобийца, как пленительно-сентиментальная флейта отменяет маршевые порывы трубы. Ночью город плывет по холмам, вздыхая пристанью, в восходяще-нисходящем шуме-шелесте вязов, орехов, лип и акаций. В домах допивается душистый чай, заговаривают детей на ночь любимые няньки-амы. И последнюю замирающую дробь отбивают по улицам усталые носорожки пятки рикш, людей, забывающих за день собственное коротенькое имя.

Пока рикши вспоминают его в питательный досуг перед сном, Харбин забывает свое и не будет его помнить всю ночь. Японцы отняли у него гордость, и Харбин заболел ностальгией.

Москва? Тамбов? Елец? Иркутск? И Москва, и Тамбов, и Иркутск, и еще множество имен просыпается в засыпающем городе. Эта икона Святого Спаса добралась сюда из Орла, этот самовар куплен по случаю на вокзале в Нижнем тридцать пять лет назад, а эти, сейчас невидимые, заборчик и скамейка — точь-в-точь как на родительском подворье в Угличе.

Но и такая здесь появилась примета: увидишь аму во сне — иди утром в храм и ставь свечку за родных, чьи кости лежат в перво-родной земле на заброшенном погосте. Уцелел ли погост?

Живущие по соседству гимназисты привыкли собираться на чьем-нибудь крылечке и сидеть, сидеть в потемках, разговаривая вполголоса, цитируя самые задушевные из книг, любуясь небом и дрожащими силуэтами маньчжурских вязов. И мечтая о любви, каждый про себя.

Потому что настоящая высокая любовь невозможна без бессонницы, без росы на одежде, без таинственной тяги к общению с деревьями. И тот, кто не чувствует ночь — извините, недостоин любви.

Но не знал любви этот сухой желтый человек, увитый толстыми жилами, с маньчжурскими густыми бровями и кованным носом. И мстил за это.

Часом ранее, на химически ровном розовом закате, питомцы Достоевки собрались у входа в Желсоб. Они ощущали себя мушкетерами, бурами, охотниками за черепами и, почему-то, по недоразумению, масонами, что выразилось в совершенно не нужном подавании друг другу тайных знаков. Чужих рядом не было, никого не было.

Они ушли в парк, где мерялись дубинками и договаривались о порядке действий. Ося принес хромированный свисток, с которым его отец некогда судил матчи знаменитых волейболистов. Попробовали свисток — звОнок, бодрящ, городовые сбегутся, как мухи на мед. Покидались зелеными орехами, они были вроде бы еще мягкими, бархатистыми, но надо же — подбили глаз Понеже.

Наконец, когда закат дал трещину, помолились на лужайке, перекрестились, аминь, — и пошли на дело, разбившись на две группы, серьезно, ответственно кивая товарищам напротив. Они встретятся теперь при чрезвычайных обстоятельствах, и кто знает...

— У меня глаз заплыл. Совсем, — прошептал Понеже, — я как циклоп.

Сапожник Ты Фа Сян насторожился. Но не Понеже был тому причиной. Раздались торопливые, но робкие шаги. Из-за угла, с восточной стороны, шла женщина. Когда она миновала фонарь, они разглядели, что это русская женщина, достаточно молодая. Женщина шла навстречу сапожнику, сжимая в руках сумочку, на голове ее была шляпка без полей, похожая на камилавку.

Китаец двинулся к ней. Она издала некий звук, и он издал некий звук. А потом засунул руку в свою суму. Боже мой, пора!

Они взлетели над решеткой. Не ко времени окривевший Понеже промахнулся и застрял на ней, за него зацепился Аляска, перевалился и упал на тротуар, треснувшись о него головой, коротышка Бестер никак не мог подтянуться, и только один Пьеро, уронив дубинку, перемахнул преграду и бежал на вооруженного маньяка с голыми руками.

Краем глаза он увидел, что от переулка несетя вторая четверка — ах, те товарищи растерялись, стартовали поздно и явно не поспевали.

Но растерялся и Ты. Он оглянулся и изумленно протянул:

— Ююю!

И тут отважный Сосницын — руби их в песи! — поразил его двумя крепкими хуками и повалил наземь. Набежавшие, как ураган, друзья схватили китайца за все конечности, и поспевший последним Понеже сел ему на живот. Зад у Васи был увесистый, и китаец мякнул.

И Ося Губерник стал прикладываться к свистку, обжигая себе губы.

— «И тогда... стал ему... и ворох хорош... и волна достаточна...» — победоносно сказал Пьеро, любитель русских сказок. Он никак не мог перевести дыхание.

— Пьеро, ты герой! Молодец, Петька! — затараторили друзья. А Потрошитель не сопротивлялся и молчал, вращая своими ледяными глазами. От него исходил кислый запах гнилой кожи. Бестер подобрал его суму и заглянул в нее.

— Ножище, — сказал он упавшим голосом, — и какие-то две склянки.

— Не трогай, пускай полиция трогает, — сказал ему Чика.

Забывшая женщина издала некий звук. Они спохватились и, спасители, посмотрели на нее, ожидая робкой похвалы.

— Это вы, вы, Зинаида Сергеевна? — воскликнул Аляска — Это Зинаида Сергеевна Терebeneва. Папа и муж Зинаиды Сергеевны — сослуживцы. Как вы здесь оказались?

Женщина глубоко вздохнула и закричала:

— Караул! Что вы делаете, хулиганы! Алеша, не думала, что вы мерзавец! Малолетние мерзавцы!

— Да! — неожиданно подтвердил с земли недобитый Ты Фа Сян. А Губерник все свистел, не вслушиваясь в их слова, и вот уже с западной стороны бежали двое японских городских. Полы их кимоно раздувались, как оперенья степных птиц.

— Мы поймали Потрошителя! — закричал им навстречу Чика, недоуменно косясь на полоумную эту Зинаиду.

— Какой Потрошитель! — взревела Зинаида, жгучая брюнетка с тренированным голосом, — сапожник принес мне лекарства, черт бы вас побрал!

Участок, допросы, отцы, хватающиеся за сердце. Той ночью хорошо заработали разбуженные рикши. И вот что выяснилось.

Маньчжурские родственники сапожника проживали в дебрях рядом с советской границей, на север от озера Ханка. Ты получал от них женьшеневый корень и всякие редкостные тигриные и медвежьи подробности. Он настаивал их на спирту и продавал жаждущим исцеления. Настойки лечили женское бесплодие и мужскую слабость.

Заниматься торговлей днем, попутно с ремеслом, было для Ты неудобно и опасно. Он резонно не хотел посвящать посторонних в свой прибыльный, но запрещенный бизнес. А в мастерской, то есть каморке с земляным полом, толклись люди, простая, глинобитная публика. И, с другой стороны, состоятельные покупатели панацеи не могли ходить сами к Ты Фа Сяну по обувным делам. Это за них делала прислуга, амы. Давать прислуге деликатные поручения не приходилось, и сапожник не стал бы разоблачаться перед востроглазыми земляками. Зато было известно, что раз в неделю, по средам, сапожник дежурит у свечной лавочки при Никольском соборе, принимая заказы.

И место передачи товара было неизменным — у южной решетки парка Желсоба, в сумерки. Удобное место, китаец жил рядом, и цивилизация за углом.

А тесак? Что тесак — Ты Фа Сян знал о Потрошителе и на всякий случай вооружался. Он был смелый человек.

Историю замаяли. В огласке не нуждались ни японцы (смотри ниже), ни родители, ни дети, ни З. С. Терebeneва (в особенности).

Дама получила все-таки свой заказ и дала небольшую взятку японцам.

Ты Фа Сян получил два фингала, испытал глубокое душевное потрясение и дал хорошую взятку японцам, забравшим, вдобавок все склянки, что хранились в мастерской.

Оконфуженные герои отделались по-разному. Скажем, По-неже досталось ветхозаветным ремнем, Коперник был лишен карманных денег на все лето, Чика остался без велосипеда, а отец Ираклия всего лишь посмеялся. Тогда и там родители не устраивали истерик.

Но незамедлительная совокупная родительская взятка японцам была отличной. Участок не скучал до самого утра. Там восклицали, хохотали, поили уголовных арестантов водой до полусмерти, играли в кости и пили дешевый ханшин, хваля юных энтузиастов.

А Потрошитель исчез, убийства прекратились. Молва, зародившаяся в Фуцзядани среди китайцев, гласила, что его выследил и уничтожил сапожник Ты Фа Сян. Ему, дескать, не понравилось быть битым и платить за это дань, и он понимал: пока жив Потрошитель — от него, бедного сапожника, не отстанут. Прощайте, клиенты, прощай, доброе имя. Добро же, сказал себе сапожник, ничто нас в жизни не может вышибить из мастерской...

Но это факт — маньяк пропал.

И вдруг клиентура Ты разом увеличилась, удвоилась, утроилась. Посмотреть на легендарного ликвидатора приезжал весь город, все народы, проживавшие в нем. Ты потирал ладони и делал вид, что равнодушен к славе, даже не знает о ней. На наивно-льстивые вопросы русских старушек, не он ли прихлопнул злодея, китаец уверенно отвечал:

— Елунда все это! Моя не контрами!

Хотя всегда говорил по-русски чисто, имел приличный словарный запас.

Уверенность изменяла ему в исключительно редких случаях. Ты еще справлялся с волнением, когда вместе с гимназистом приходили небогатые его родители, чтобы заказать туфли или ботинки. Но когда на пороге каморки возникал гимназист, протягивая ему в пожеланиях ремонта драную обувь (а с гимназистом за компанию притаскивались один-два приятеля!), Ты Фа Сян приходил в ярость, рычал и выталкивал мускулистыми руками опасных гостей в переулок.

— Вот гад, сумасшедший, — плевались приятели, — не поколотить ли его?

— Это низко — бить больного человека, — побеждал здоровый голос. — Бог с ним.

Наши гимназисты не бывали с тех пор в Зеленом Базаре. Через неделю после скандала их родители собрались с духом, сложились и преподнесли пострадавшему труженику деньги и штуку монгольской кожи на подошвы.

Китаец продержал делегацию минут десять, кобеньясь в мнимых раздумьях, принять ли ему отступное. И принял его, вежливо пожав поданные ему руки.

— Каков фрукт? — сказал отец Алеши отцу Пети, — харбинер гешефтмахер!

— Что ж, он в своем праве, — ответил отец Пети, — он напомнил нам о достоинстве.

— Артист! — сказал, улыбаясь, отец Ираклия.

Люди они были неблизкие, но событие скрестило их. И расставаться так сразу им не захотелось. Они пошли в кафе на Ажикейской, где, вполне свежие мужчины, немножко выпивали и учтиво заигрывали с магнитной Лидочкой Х., читавшей им свои новые стихи.

Но это же было на самом деле, всерьез, в кровь: Петя, штурмующий Чертов мост, бросающийся на маньяка с голыми руками; японский пристав, что выяснил все подробности, захохотал и поклонился Пете, как самурай самураю; и папины слова, когда он в последний раз в жизни погладил своего могучего сына по голове.

— Дурак ты, Петька. Но дурак героический! Расскажи про сей подвиг своим детям. Обязательно!

— А ты Расскажи крестному, — неожиданно для самого себя попросил Петя.

Отец сильно удивился...

8

Древний Пантикапей основали выходцы из города Милета, — рассказывала экскурсовод, женщина с сильной одышкой, — сейчас мы с вами находимся на горе Митридат, на раскопе

его Акрополя... Мощная его цитадель располагалась вот здесь. А левее — то, что осталось от храма Аполлона. Это храм был религиозным центром Боспорского царства...

— А где же этот Милет находится? — спросил Сергей Сергеевич — Смешное название!

— Милет — греческий город, — осторожно ответила экскурсовод.

— Получается, они были греки? — сказал Сергей Сергеевич. — Так бы сразу и сказали.

— Приехали! — воскликнула, выходя из своей просветительской роли, женщина. — Чем же вы слушали?

На Сергея Сергеевича зашикали, и он смущенно спрятался за спины. На каждую группу обязательно приходился чудак-человек, проявлявший повышенный интерес к тайнам прошлого, всеобщий мучитель, превращавший плавное течение познания в езду на телеге по ухабам. Исторические подробности к вечеру забывались, и он их забывал первым, зато люди, съехавшиеся сюда из России и Украины, запоминали на всю оставшуюся жизнь, что его звали Сергей Сергеевич, что ему было шестьдесят восемь лет, он из города Россошь Воронежской губернии, и его жена отказалась ехать с ним на море, боявшись жары, а его отправила, чтобы отдохнуть от его горливости.

— После установления договорных отношений со скифами-земледельцами Пантикапей превращается в крупнейшего экспортера пшеницы. Едва ли не половина хлеба, потребляемого в Афинах, привозилась туда из Боспорского царства, — торжественно сказала женщина.

В группе раздались уважительные восклицания. Серьезно, ответственно слушали ее эти обычные люди, с усилием накопившие денежек, чтобы приехать с детьми на море, в этот не самый дорогой, не самый светский уголок Крыма. Солнце палило, лица блестели от пота. Но они внимательно слушали, не столько упиваясь музыкой древних деяний и названий, сколько помня, что за это заплачено, и не зря заплачено.

Сверху, на макушке Митридата, маяк и высокий трехгранный обелиск, возведенный после Великой Отечественной. Здесь, на вскрытом склоне — камни и камни, светло-серые, в меру ис-

писанные туристами, развалины зданий и стен. Некоторые перекрытия сохранились, в каменные проходы можно было войти и выходить, чем без конца и занимались дети.

Из земляной толщи пообочь торчали битые черепки. Им были тысячи лет, этим розовеющим на солнце черепкам, отходам эллинской славы. Игорь Петрович взял несколько обломков, обдул их и положил в карман. Сергей Сергеевич, загадочно подмигнув, последовал его примеру.

— ...Евмел мог войти в историю как смелый и дальновидный реформатор, — продолжала экскурсовод, — но трагический случай оборвал его начинания на взлете. На праздничных играх Евмел попытался молодецки, на полном ходу, спрыгнуть с колесницы, но меч его застрял в колесе, и Евмел разбился. Насмерть.

— Жалко! — не удержался от реплики Сергей Сергеевич.

— Вот что такое Судьба, Рок, — сказала, внимательно глядя на него женщина, — как часто слепой случай вмешивается в жизнь полных сил, творческих людей, обрывая их недопетую песню! Греки знали цену Случаю, всегда об этом помнили. И нам, современным людям, не мешает поучиться у них мудрости и смирению.

Одета бедно, лицо измученное с утра, муж, если есть, пьяница, а поди ты — рассуждает о Судьбе, подумал Сосницын.

Он покинул группу и нырнул в переулочек, начинающийся в метрах за раскопом. В узком переулочке стояли плохонькие одноэтажные дома, связанные глухими заборами. В одной из калиток звякнуло кольцо, и на свет божий явился худощавый человек, сверстник Сосницына. Они почти столкнулись, человек смутился. В руках его была трехлитровая пустая банка, и лицо его говорило о том, что, спустившись в город, где-то неподалеку он нальет в нее вождеденное пиво.

Вот тебе Судьба, подумал Сосницын, ходит покурить на развалины храма Аполлона, а слаще пива ничего ему нет.

Мужчина, словно прочитав его мысли и рассердившись, нырнул обратно, вызывающе хлопнув калиткой.

За дни пребывания в Керчи Сосницын уже хорошо изучил эту типичную мину на лицах здешних мужчин, охлажденных безработицей, бездельем, безнадежным ожиданием милостей от жизни и траченных похмельем. Такой букет тоски. Они умеют только ждать.

Он спускался по Лестнице с Митридата — четыреста ступеней — в уютный, обветшалый за безвременье южный город. Спокойное море играло крупными бликами, улицы прикрывались густой зеленью. Вездесущие абрикосы осыпались, и фиолетовые пятна давленных плодов окружали их, как асфальтовая оспа.

А кипарисы выбивались — они стояли бурые, сухие, — нынче зимой ударила сибирская стужа, и, обожженные морозом, кипарисы не смогли воскреснуть.

Площадь, Пушкинская улица — пестрые, сливающиеся и падающие рябые группы праздных пешеходов движутся замедленно, променадно, гавотно, и плечи у них отстают от животов, и даже слабые порывы ветра сбивают их с шага.

Над входом в зеленый казенный особняк часы. Они и вовсе стоят, покрытые пылью.

Он задержался на лестничном марше, и порыв ветра нырнул ему в рукава и загулял в рубашке, суша пот и щекоча торс. Прекрасно!

Он присел за столик в прибрежном кафе, под платаном, по синему морю прыгали золотые кизекины, навстречу Сосницыну бежал полосатый, красно-белый парус, который заслонила официантка с тарелкой дымящейся солянки. Запах моря и запах солянки. И собственный запах прогретой соленой кожи. И истома в отдыхающих ногах. Игорь сбросил сандалии. Прекрасно!

Инкогнито. Здесь он был никто.

Пляж на этом и другом море, что за холмами на севере, но еще теплейшее, вот эти кафе и еда на свежем воздухе, и хождение по змеящемуся вдоль Понта городу.

И чудесные, длинные, двойные вечера в поселке под Керчью, где располагался скромный пансионат для семейных и предпочитающих патриархальный досуг отдыхающих.

В эти двойные вечера — снова море и пляж, сидение на скамеечке перед дачкой. Падает на голову алыча, бегают стаями дети и собаки, вареная кукуруза, домашнее вино, разговоры с местными стариками и старушками, пансионатной обслугой, знавшей лучшие дни. Крым, тем паче Керчь — русская земля, вы здесь хохла будете искать, берите винцо у меня — у меня на розовых лепестках, у одной тут молодки, в домике у столовой, черное дите, приезжает четвертый год, но отца мы не видели, хотите, мидий вам нанесу?

Вечерами бывает многолюдно, тесно, многие семьи и целые компании из нескольких семей из экономии готовят на плитках. Ужинают и выпивают прямо на улице, между дачками.

Трогательно: туалет, благоустроенный и вполне чистый, находится метрах в двухстах. Сосницын стеснялся в него заходить, если рядом стояли или проходили мимо юные загорелые девицы. До чего дожил!

Непростой человек среди простых людей, получающий свое особое удовольствие от приобщения к их простым удовольствиям. Тяжкие оковы жизни на виду и против всех, с кольчужой и разящим клинком, пали. И Сосницын испытывал легкое потрясение: я все-таки в родстве с этими людьми, они мне не чужие, у нас общая сиротская память.

Это ощущение усилилось вчера. Он проходил за водой между дачками в середине массива. Все скамейки проулка были заняты одной компанией из Твери, человек двадцать с детьми и усатой бабушкой, похожей на Индиру Ганди. Компания гомонила, ужинала вареной картошкой с хамсой и овощами, взрослые пили вино, какой-то блондин играл на гитаре. Схватит картофелину, запьет ее вином и снова щиплет струны. Надо же — не поленился гитару с собой захватить за тридевять земель!

Сосницын уже миновал их, пожелав приятного аппетита, когда женский голос громко сказал:

— Сосницын, ты ешь! Что ты замечтался, ты поешь, Николаич, а то, как всегда, не достанется! Опять будешь среди ночи шуршать, мышковать!

А наша фамилия — очень редкая! Не Иванов, не Кузнецов. Игорь Петрович замер и медленно повернул голову.

— Я ем, — ответил невысокий кудрявый гражданин лет сорока. Взял самый большой помидор, надкусил его и облился соком. Компания привычно засмеялась. Было видно, что такие мелкие недоразумения происходят с ним постоянно, и он охотно выполняет роль шута, подыгрывает честной компании. И сейчас он размазывал помидорный сок по безволосой груди детям на смех. Жене, сидевшей рядом с ним, это не нравилось, да что поделаешь.

Сосницын. Игорь испытал симпатию к жалкому человечку. Что-то было, было в этой встрече в поселке под Керчью, в этом засоветском Вавилончике. Какая-то весть.

Он не раз еще услышит издалека, сидя перед дачкой, или на пляже, с соседнего одеяла — «Сосницын!». Он не думал о возможном далеком родстве с бедным Николаичем. Но чувство будет испытывать тонкое, возвышающе непонятное.

Только тем он отличался от обитателей семейного пансионата, что жил один в даче на три кровати, не ужинал и выпивал один. С удовольствием наблюдая за мельтешением соседей, он не стремился с кем-то побрататься. И вовсе не из гонора.

Нет, не черт его дернул взять отпуск у самого себя и податься в Крым, ища где поглуше. И, конечно, не полученная информация о том, что спикерша Дарья Андреевна — тайная владелица этого самого демократического пансионата, где он блаженствует на воле неким имяреком. То был формальный повод, и заниматься разведкой, и светиться ему было не с руки, у него гребли мусор и подставлялись подчиненные, тот же Рубахин.

Мало ли сильных и славных в мире сем вздыхают о желании впасть в безвестность, утечь на пустынный остров, затерянный в океане, снять с себя пурпурные одежды и отдаться течениям натуры, и потереться спиной о кокосовую пальму, уворачиваясь от свистящих сверху смертоносных орехов? Много таких, находящих новые силы в передышке. Уйти, чтобы вернуться.

Шли дни. Сосницын вспомнил про спикершу, с досадой прочитав слово «Ермаковск» в центральной российской газете. И не собиравшись он ее покупать, навязала киоскерша, у которой не находилась сдача в две гривны.

Он заскучал по Петьке и услышал дальний зов боевой трубы. Идиллия побледнела.

Он возвратился в поселок не на маршрутке, а на такси, и водитель довез его до задних ворот пансионата, что были напротив его домика. Вылез Сосницын из машины и озадачился: куда, собственно, я поспешал?

Вечер принес впечатления, ускорившие его возвращение, пока внутреннее. Стихийно получилось так, что на спортивной площадке пансионата мужчины и подростки устроили соревнование по подтягиванию.

Верный признак окончания сезона, когда отдыхающие готовы предаться любой ерунде. У турника собралась толпа, на расстоянии это напоминало митинг. Народ в массе своей перезнакомился, и, подзуживая очередного богатыря, из толпы призывали: давай, Тверь, Луганск, покажи мощь, не подведи, Кострома! Что задавало ложнопатриотический тон происходящему.

Богатыри были аховые, с вислыми животами и задами, с жидкими мускулами. Долго лидировал липчанин, подтянувшийся десять несчастных раз. А Сосницын-второй сподобился всего на три подъема. И вдруг блеснул щирый украинец, нашелся на закате, когда затрещали цикады.

Он стоял до поры рядом с красивой девушкой молдаванкой, хмыкал и «тюкал». А потом снял тенниску, сунул ее как бы между прочим молдаванке и сказал:

— Будь ласка, подвиньтесь, москалику. Вперед, Дрогобыч!

Торс у него ходил буграми, сатанински, волосы вороновые, а глаза синие. Лет ему тридцать пять, на вершине человек. А у молдаванки на погибель впечатлительным — стать нимфы, волосы чистый лен, глаза кофейно-карие. Хорошо они смотрелись на пару, на ревность мужчинам и женщинам, как герои французского фильма про страстную любовь.

Уцепился он за перекладину и отхватил без натуги быстрых двадцать пять подъемов. Опустился на землю и сказал ровным голосом:

— Ласково просимо, дорогие москалики!

Молдаванка, умышленно наклоня голову, подала ему тенниску.

— Дякую, меня зовут Павло, а вас, дивчиночку? — спросил щирый.

— А меня Маргарита, — ответила молдаванка.

То есть они не были знакомы, отлично.

А народ, сермяжная Русь, почтительно приуныл. Жены презирали мужей.

Сосницын переминался чуть в стороне, обсыхая после горячего душа. Задержался он из-за молдаванки. Он не собирался

соревноваться, но девушка молдаванка, но честь россиянина... Взыграл в нем задор победителя, проснулся. Обнажаться не стал, молча подошел и подтянулся двадцать шесть раз.

Выполнил задачу, встал — руки по швам и сказал щирому:

— Ермаковск, Российская федерация!

Без вызова (мол, Крым — исконная российская земля!), корректно, уважая ту незалежность. Но кто-то, конечно, бездумно завопил:

— Наш победил, сибиряк победил! Сибиряк-медвежатник!

Цикады смолкли. Щирый побагровел.

— Та я ж не знав, що... я бы больше подтянулся!

— Давай, дружище, — сказал Сосницын, — ставлю коньяк, самый дорогой!

Красавец повторил попытку, но явно не восстановился, за-нервничал и остановился на двадцати разгах. Сосницын мог по-чивать на лаврах, он знал, что ему теперь, может быть, и десятки не выдать. Но при девушке его повлекло в разнос. Он девушек не обнимал целую вечность.

Зря силы тратишь, сказал ему внутренний голос, пора домой, в Ермаковск.

Подпрыгнул, свистнул и пошел качаться. И тут, на его счастье, перекладина сорвалась, столбик обломился — не выдержали его медвежьего веса. Да-дах!

— Знай наших, ай да сибиряк! — заговорили люди, а щирому подпустили: — Тю-ю,

тю-ю...

В общем, двойная победа, обидная для дрогобычского силача. А поведи он себя поскромнее, не «тюкай»? А не случись тут электрическая молдаванка?

Молдаванка с большим любопытством глянула на Сосницына. Ничего себе, ветеран жизни. Невзначай поправила локоны и пошла куда-то в глубь пансионата, скрывшись между дачками.

Сосницын с украинцем запечатлели ее уход и подали друг другу руки, снимая политическое напряжение.

Сосницын предложил выпить коньяку, и тот согласился. Они выпили на двоих бутылку «Нового света», закусили спелой алычой, с шиком подбирая ее с земли, поговорили про Карпа-

ты, учтиво разошлись во мнениях о Косичке, похвалили красоты Львова, промолчали про Крым и попрощались.

Сосницын собрался домой. Амуры с молдаванкой могли бы достойно, гармонично завершить его досуги.

С утра пораньше, после обстоятельной силовой зарядки, Сосницын отправился на пляж. Поддувало, зеленеющее море пенилось и шипело. По всему горизонту, в шахматном порядке, по нему болтались корабли. Сосницын насчитал их двадцать семь штук.

Молдаванка с подругой, хорошенькой брюнеткой, лежали на одном алом покрывале и отчаянно зябли после купания. Павло сидел перед ними на песке, красуясь копченой шкурой та грая мускулами. Взор его туманился, пропадал парубок за карие очи.

До чего привлекательный был парень! Сосницын не мог разобрат, что для него важнее: овладеть молдаванкой или победить в споре за нее этого отборного кобеля. Чем он занят в своем Дрогобыче, не жиголо же он, коль западает на юных очевидных бесприданниц? Или там он жиголо, а здесь отдыхает от трудов праведных? Надо было спросить вчера, за коньяком. Правды бы не сказал, но и не скрыл бы ее от Сосницына.

Он здесь, и это удобно — не нужно специально знакомиться, Игорь подойдет к нему, а не к девушкам. А стежка к молдаванке откроется сама собой. Локоны она вчера поправляла для него, со смыслом, подсказала-обнадежила.

Не очень-то доволен был его приходом Павло. А разговор с молдаванкой завязался встречный, взаимно-обольстительный.

(И Сосницын заметил вскоре, что Павло отказался пропадать и надежно переключил свои чары на хорошенькую подружку. Все отступало перед ледоколом-Сосницыным! А Павло — ясного разума, опытный товарищ, мгновенно читающий ситуацию. Несомненно, жиголо.)

Чудо-девица эта Маргарита со светло-кофейными глазами! Разве лицо кругловато, так в этом своя прелесть, зато ямочки на щеках, зато губы такой лепки, что никакой скульптор не придумает, и кожа — нежная, теплый воск, светящаяся!

— Почему вы, молдаванки, такие красивые, а ты из красивых красивая, — спросил Сосницын, когда та пара бросилась в волны, — откуда в вашей бедности это, одного не пойму?

— Да будто русишты богаты, чего там, — улыбнулась Маргарита, — у какого народа девушки красивые, те бедные, а девушки собой кормятся. Закон вечности.

Умница! И легла на спину, раскинув руки, внимательно глядя на него снизу, приглашая собой полюбоваться — для тебя я так легла. Тут уже пропал Игорь Петрович Сосницын.

Дальше был день, полный романтических удовольствий. Сосницын нанял машину, и они, для начала хлопнув шампанского, объехали город и окрестности, от мыса Фонарь до мыса Такыл. Игорь швырялся деньгами, демонстрировал, не отрывая глаз от ног и груди Маргариты-Афродиты, и бес толкал его и в ребро, и выше, и ниже.

Они катались на лошадях, торопя аппетит и прогоняя первый хмель перед обедом на страусиной ферме, когда Павло, улучив миг, подъехал к нему и сказал:

— Игорь Петрович, имей совесть. Тебе — Маргарита, но и мне — Анюта. Я тебе нужен? И Анюту увезти, оставить вас вдвоем — тебе нужно?

— Нужен и нужно, — весело ответил Сосницын, — о чем ты?

— О том, что ты меня разорил. Давай на представительство, или я погиб. Я же тоже должен сам платить, и Анюту приватно побаловать. Я не прав?

И Сосницын раскошелился.

— Извини, но ты кто, Игорь Петрович, — спросил Павло, — нефтяной босс или лихой человек? И почему ты здесь, а не в Ялте?

— Я, хлопче, ни то, ни другое. Я — победитель, — сказал Сосницын, — и в моем городе мне поставят памятник. А Ялта мне надоела, меня там все знают.

Он никогда не был в Ялте. Но после того как он объездил полсвета, Ялта ему была неинтересна, так что он по-своему не соврал.

— Все-таки ты меня нечестно победил, — сказал, ничего не понявши, но завидуя, Павло, мысль о реванше исказила его гарное лицо, — случай тебе помог. Если что, скажи: «Шолом».

— Почему «Шолом»?

— Какое-то любое слово, сигнал. Пусть будет «Пеленгас».

В это самое время подруги поднялись верхом на холмы и увидели Азовское море.

— Павел побаче будет, — сказала Анюта, — но Игорь Петрович, конечно, утес. И как от него шелестит! Похоже, ты с выбором не прогадала.

— Привлекательный мужчина, не слащавый, как твой Павлик, я слащавых не люблю, — сказала Маргарита, — но не в этом дело для гастрольной девушки. Я сразу поняла, что он вроде ряженого, богатенький. Рубашечка дорогая, прическа, а главное — как себя несет. Нет, привлекательный. И что он среди этой дробы в пансионате околачивается? Скрывается, может быть, прячется? Тоже мне интересно.

— Задарит! — сказала Анюта.

Ночью, на раскопе под горой Митридат, под пышными звездами, Игорь Петрович с восторгом получил от Маргариты то, чего страстно желал. И потом, когда вернулись в пансионат, глухой ночью цикад и собак, получал еще наслаждений. Тут им было не до разговоров. Не хотелось Игорю разговаривать, хотя Маргарита была не прочь.

Пришел, увидел, победил. Таков Сосницын. Он был восхищен тем, как восхищалась им, его напором, его молодостью Маргарита.

Спал Сосницын от силы часа два — с утра дела надо было сделать.

9

Утро Сосницын провел удачно, несмотря на некоторые расходы и приступы слабости, извинительные после боевых суток. Пансионатом владела Дарья Андреевна, формально — ее незамужняя дочь-перестарок, имевшая, как выяснилось, украинское гражданство. Кроме пансионата на нее были записаны две квартиры и ресторан «Клеопатра». Лаллели-лаллели, купила старуха гантели, напевал Сосницын.

Украинские чиновники были ласковыми, обходительными, прятали взор. Старина! Отстает Украина. У нас в девяностые чиновники тоже были ласковые. Они воровали, брали взятки и давали уроки учтивости, поскольку не были уверены ни в чем, ни в своем положении, не росли еще в кресла. Ныне, сбившись в мажорное братство, в помещичий косяк, поднакопив, выхолившись и успокоившись, они уже не терпят критики, покрикивают, затыкают рты, сердятся на назойливых просителей. Они уже живут богаче

европейских, следовательно, у нас все отлично, и нечего тут жалобиться и критиканствовать. Наши ощущают себя благодетелями сырых. А украинские дьяки пока живут хуже европейских и страдают комплексом неполноценности. И это пройдет, научатся у своих заклятых соседей. В этом Сосницын, человек политически зрелый, видел всю разницу между Украиной и Россией.

Игорь Петрович вернулся в поселок и попытался отоспаться, но пришла Маргарита, и вдвоем отсыпаться не приходилось. Оторваться от Маргариты было невозможно, он не позволял ей ни одеваться, ни прикрываться и жалел, что ее, ненаглядную, нельзя забрать с собой в Ермаковск. Он подарил ей золотой браслет и дорогой телефон.

После обеда к ним заявили Павло с Анютой, и они поехали в город — ревизовать ресторан «Клеопатра». Ресторан находился в северной части города, гора Митридат высилась через бухту напротив. Улица, на которую выходил ресторан, называлась Всесоюзной, здесь ее переименовать не осмеливались.

Ресторан приятный, наивный, грубовато разрисован сценами из чинно-сладоэротической древнеегипетской жизни. Официантка радушная, по-южному уважительная. Посетители в основном из тех, кто не насытился своей удачей и трясет хохлом. Керчь — город маленький. За одним из столиков Сосницын увидел чиновника, который продал ему копии документов. На сосницынские деньги он угощал окрашенную в сиреневый куст девушку, вне всяких сомнений, не супругу. Чиновник был речист и губаст. Она взирала на него с иронией.

Сосницыну понравилось, что берег совсем близко, под обрывом. Можете искупаться и вернуться, сказала официантка. Если вам море не надоело, здесь, у этого берега оно чистое. Могу дать вам полотенце.

Угрюмый Павло налегал на коньяк. Он уже позволял себе быть небрежным с Анютой. Дескать, пресытился, прощения просим, утомили меня трохи ваши нежности. Жиголо, вновь подумал Сосницын, так жиголо набивают себе цену.

Павло поглядывал на Маргариту, наверное, жалел об упущенном. Возможно, из простой доуки, что не все яблоки надкусил. «Теребень обдерганный».

Вскоре на коньяк перешли все, он снимал их томность и поднимал настроение. Они искупались, еще искупались. Глядя на Митридат, Павло сказал:

— Сколько же до него по прямой? Вода скрадывает расстояние. А если попробовать переплыть, а, Игорь Петрович? Ты готов или слабо?

Он мечтал о реванше, о самоутверждении, понял Сосницын. Плыть через бухту долго и занудно, глупо и, может быть, опасно, они не трезвы.

Девушки бурно запротестовали — им хотелось продолжить ресторанный сидение, они желали потанцевать, покрасоваться. И аппетит их, здоровый, хищный, просил еще и мяса, и рыбы и чего там еще в меню.

Сосницын знал, что завтра и послезавтра он не будет жизнью играть.

— А мы продолжим в «Боспоре», там кухня тоже кухня, а потом поднимемся на Митридат, так даже и удобнее, — сказал он и поглядел в кофейные глаза Маргариты: прошлой ночью над Митридатом дрожали звезды.

— Посмотрим, как сибиряки рассекают волны, — сказал Павло.

— И успеем зайти в бутик, побалуем вас, сказал Сосницын невинно, — Павло тут мне намекал.

— Зайдем, — подтвердил Павло, жалея о своем предложении и грядущих расходах. Он привык тратиться на один букет роз, а потом тратятся на него.

Сосницын вызвал такси. Они разделись, отдали девушкам одежду и бумажники.

— Ждите нас на набережной, справа от морского стадиона, видите? — сказал Сосницын — Закажите себе что-нибудь и ждите. Кстати, вот и сходите в бутик, выберите себе новые купальники, пособлазнительней.

Когда девушки сели в такси, небо уже густилось.

— Они приплывут в темноте, — сказала Маргарита, — не заблудились бы.

— Зато как прикольно будет! Мы стоим, а два витязя прекрасных выходят к нам из моря, — сказала Анюта, — совершив ради нас, красавиц, подвиг. А мы стоим, на нас смотрят...

Они проехали половину пути, и Маргарита забеспокоилась.

— А сколько километров по воде от того берега до центра, до стадиона? — спросила она у водителя.

— Километра четыре, а то и пять, пожалуй, будет, — ответил старик-водитель, — бухта длинная, но мелкая.

— А какая тут глубина? — спросила Анюта.

— Воробьиная, метра три, не больше, — ответил водитель, — я мальчишкой ее всю промерил. Но дряни всякой на дне, железа ржавого, с войны особенно — караул!

Официантка вынесла героям по рюмке коньяка.

— Желаю здравствовать, — сказала она, — вижу, что древнегреческие атлеты. Боюсь, мыться вам — не отмыться. В середине наберетесь смазки. И плавки выбросите, сто процентов.

Они спустились к морю и зашли в него по пояс.

— Представь, — сказал Павло, — мы приплываем, а девчонок нет! Удрали неведомо куда на веки вечные!

— «Все деньги, товар и самый корабль спустил, и сделался чист молодец. Сидит в трактире и не знает, что делать», — сказал Игорь Петрович, — начнем сначала, милое дело!

— Поздно мне сначала начинать, с тремя ребяташками на окладе, — сказал Павло чувствительно.

Врешь, поросенок, подумал Сосницын.

— Не будем друг другу мешать, — сказал он, — ты плыви левее, забери дугу, я — правее. И будем поглядывать, если что кричи.

— Боишься вторым приплыть? — сказал Павло, понимая перед пучиной, что соревноваться в скорости не годится.

— Боюсь приплыть в одиночестве, — сказал Сосницын.

И они поплыли в прогретой воде. Неизвестно откуда взялись две чайки и стали над ними кружиться, переговариваясь. Скоро стемнело.

Девушки сидели над морем и пили коктейль. Пловцов не было видно, рано. Девушки думали, где бы им добыть бинокль. Можно было подняться на Лестницу, оттуда с биноклем наверняка они отследили бы две безумных головы.

Проверив бумажник Сосницына, Маргарита выговорила очень плохое слово. Это было непохоже на Маргариту, Анюта уронила соломинку.

— У него билет на московский самолет из Симферополя, на завтрашний вечер, — сказала Маргарита и топнула ногой, — «красавица моя», всю грудь зацеловал, все перецеловал, что имеется! Господи, какой жестокий подлец! Свинья какая!

— Задарит, значит, — сказала Анята, — он щедрый, он благодарный, сибиряк!

— Не в этом дело, что бы ты понимала, дешевка, — сказала Маргарита и бросила бокал в воду.

— Ты у нас не дешевка, звезда с-под Бендер, — сказала Анята и обняла зарывавшую Маргариту.

10

Сапожник Ты Фа Сян, поседевший, однорукий, двадцать пятого августа 1945 года стоял в смешанной толпе китайцев и русских и вместе со всеми кричал:

— Ура! Уля! Ура! Уля!

Неподалеку от него открывали рот и ликовали Петя Сосницын и Понеже — Вася Благодатский. Из той компании в Харбине их осталось двое. Вася был рукоположен и служил в Гарнизонной церкви, Петя был инженером по ремонту паровозов на станции. Они разминулись в толпе с сапожником и не узнали его, и Ты не узнал их. Прошло время, и какое горькое время!

А по Китайской грохотали студебеккеры и танки, шли долгожданые советские солдаты, и шли празднично, красиво, весело. В них летели, пылая на солнце, пионы, гвоздики, первые георгины. Петя увидел, как постаревшая Терebeneва подбежала к «бравому» полковнику и на бегу искусно поцеловала его в губы. Полковник почему-то остался недоволен.

Нацепив, как и многие, красные банты, Пьеро и Понеже гуляли по городу. В Желсобе размещалась какая-то часть — в запахнутое парадное заносились зеленые ящики; тут же дымилась походная кухня и жизнерадостно, с матерочками, сутились кашевары; курили, собираясь в кружки, млеющие на солнце военные. Война действительно закончилась.

Понеже, пододетый в обыденное платье (что, если победители не жалуют батюшек), сказал Пете:

— Как думаешь, сын мой, не перечикают ли они нас?

— Типун тебе на язык, — рассердился Пьеро, — нашел, о чем думать?... Впрочем, будь что будет!

К ним подошел пожилой солдатик, из породы сующих нос во все без разбора, и спросил:

— Ну, как вы тут, под японцем-то, набедавались? Голодали или как? Жал вас японец?

— Всего хватало, товарищ, — ответил ему Понеже. Глаза его благодарно заслезились, — как мы вас ждали, родные вы наши. Господи благослови...

— Понеже! — напомнил Петя.

— Сидоренко! — жестко, угрожающе окликнули солдатика.

— Дождались, — сказал он тихо и затрусил к своим. Старший из солдат, с широкой полосой на погоне, встретил его каменным взглядом.

И кто-то из солдат громко сказал:

— А хлебушек они тут ели белый, я разглядел.

— Вот оно как! Так-так-так!

Неважное дело, виноватое дело: они, молодые, как нарочно, крепкие, рослые, домашние, стояли перед солдатами, положившими годы на защиту Родины, пробившимися сюда сквозь смертельный огонь.

А в это самое время в театре «Модерн», окруженном почетным караулом автоматчиков, начался торжественный банкет. Лучшие русские и не только люди Харбина, краса его и гордость, славили освободителей. И не осталось в городе ни одной бутылки шампанского после этого торжества. Старшие офицеры в парадной форме сидели на сцене, в их наградах и погонах вспыхивало солнце Победы. Генерал Белобородов поднял свой бокал — и в нем засияло солнце Победы. Он провозгласил:

— За прекрасных русских людей, живущих здесь, в Китае, которые оказали неоценимую помощь Советской Армии в победе над японцами!

— За цвет мужского населения в Харбине!

— За вас, герои! Ура!

— Ура!!! — ответили ему лучшие люди Харбина, неловко переглядываясь: великодушно перехваливает их этот интеллигентный генерал.

На летней эстраде Желсоба, традиционно оборудованной под ринг, собрались офицеры. Они яростно о чем-то спорили, и вот уже двое, майор и капитан, раздеваются по пояс под хлопки боевых товарищей. Невесть откуда берутся боксерские перчатки.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал Петя, — посмотрим.

— Пойдем к тебе, выпьем вина, твоя амочка запаслась, — сказал Понеже.

Но Петя уже бросил якорь, его не оттащишь.

— Пойдем, не к добру это, — повторяет Понеже, — выпьем, может быть, в последний раз.

— Не каркай, отче, — сердится Пьеро, — мне очень интересно.

Офицеры начинают бой. У одного глубокий рваный шрам на спине, у другого — давнишняя заросшая дырка под ключицей. Сталинград? Берлин?

Зрители гудят. Офицеры мигом подбили друг другу по глазу. Пете понятно, что боксеры из них неважные — просто сильные, уверенные в себе люди, кровь играет. Да и когда им было заниматься боксом, в отличие от него, Петра Сосницына?

— Пьеро! — почти кричит Понеже.

Но Пьеро уже пробирается поближе. Васенька вздыхает и тянется за ним.

Самолюбивый майор дерется с присказками, зло поддевает капитана: ты, капитан, не сомневайся, уложу по первому разряду, вылечу от косоглазия и т.д. Наверное, у них какие-то старые счеты.

Шуточка, еще шуточка — и капитан опускает руки и говорит: «Пошел ты...»

И получает в челюсть и валится на канаты.

— Извини, Чехлов, — говорит майор, — не ожидал, что ты перчатки опустишь.

— Я с тобой не здороваюсь, ясно? — отвечает капитан.

Петя морщится и говорит:

— Неспортивно!

Он бы и рад взять свои слова обратно, да поздно. На него недоброжелательно, придирчиво оглядываются.

— А ты что, местный, — спортсмен?

— Тебе кто слово давал?

— Может, хочешь на ринг?

Петя мнется.

— Вообще-то он спарринговал с самим Андреем Шиляевым, — некстати говорит перепуганный Понеже, — а в боях проигрывал редко.

Они не знали, кто такой Андрей Шиляев, чудо-мальчик из Харбина. Им было неизвестно, что здесь вырос великий легковес, который победил всех претендентов на мировой титул, и только в финале немного уступил американцу Джорджу Сальвадору. Он был слишком молод, организм не выдержал нагрузку пятнадцатираундовой схватки, и Андрей умер после боя от кровоизлияния в мозг. На следующий день, 14 декабря 1938 года, ему исполнилось бы девятнадцать лет.

Юный тогда средневес Петр Сосницын иногда тренировался вместе с ним.

Офицеры выслушали это с заметным отчуждением, как сказку низших, как вранье, которое нельзя проверить. Понеже, кто тянул тебя за язык?

— Иди сюда, — протянул к Пете перчатки майор, — я тебе этот спарринг разомну! Давай!

Ему хотелось размяться как следует, короткий бой с капитаном раздражил его.

Дурацкая ситуация! Не мог же Петя отправить в нокаут советского офицера в символический день великой встречи! Герой войны побежден отродьем старого режима?

— Не хочу, сказал Петя, это не годится.

— Ссышь, что ли, — сказал ему офицер-грубиян, или тебе, мать твою, запахло?

И Петя вышел на ринг, чтобы не слышать таких выражений. Он решил поддаться. Не подставляться, конечно, еще чего, но аккуратно поддержать офицера на расстоянии, пока тот не выдохнется. И все закончится похлопываниями по плечу и улыбками.

Беда в том, что майор Горшков был слишком самоуверен и тщеславен. Брезгуя подозрительным потомком белогвардейцев, он не мог, однако, простить ему наморщиваний-замечаний. И хотел его показательно уделать.

Петя разделся до пояса, и обливающийся дурным потом Понеже зашнуровал ему перчатки, шурша по ним своей жесткой бородой.

А в это самое время в театре «Модерн» сделали перерыв в благодарственных речах. Старейшины Харбина озаботились тем, чтобы освободители хорошенько подкрепились всем, чем, как ни старались японцы, еще богата маньчжурская земля. Они хорохорились: продукты собирались по кругу. Но отдавались щедро, и собрался отличный стол. Готовили, соревнуясь, лучшие повара города.

Пробуя свинину в сладком соусе по-сианьски, полковник Шабанов прошептал генералу Белобородову:

— Фраки. Смокинги. Бабочки. Мясо так, мясо эдак. Дефи-леи с пулярами. А наш брат — постель окопная, гимнастерка от соли белая, каша не каждый день. А говорят, японцы их обижали, бактериями травили, марафетом...

— Где Родзаевский? — сказал Белобородов. — Почему до сих пор не найден Родзаевский?

— Родзаевский сбежал в Тяньцзинь еще неделю назад, товарищ генерал. Не успел доложить — агент сообщил уже здесь, в театре.

— !!! — посмотрел на полковника Белобородов.

— Виноват, товарищ генерал. Но когда бы, как? Речи без конца, вы в контакте... И дело-то уже несрочное.

Духовой оркестр Желсоба заиграл «Широка страна моя родная!».

— Ох, и широка, — негромко сказал Шабанов, поднимаясь и бросая салфетку на стол, — вы даже не представляете, братья-харбинцы, до чего она широка!

— Сукин ты сын, Шабанов, — сказал Белобородов, — сукиным сыном и закопают.

Петя без труда выдерживал свой план. Майор уже запыхался. Уже пробовал бить ниже пояса. Хорошо, что не лез в клинч — брезговал опять же.

А ему досталось. Петя бил, сдерживаясь, по корпусу. Но уже пошли гематомы, майор уже хрипел, выплевывал слюну и матерки, и дыхание полетело, все шире становились круги его замедляющихся атак. Затем майор на некоторое время замолчал и глядел на Петю с такой злобой, что казалось: сейчас подбежит к своей форме и достанет из кобуры пистолет.

Понеже рассказывал потом, что офицеры стали поглядывать на Петю с уважением. Его превосходство их раздражало, но они оценили его выучку и такт.

— Довольно, — сказал Петя, оттолкнув противника в очередной раз, — хватит. Я устал, и вы устали.

— А вот я тебя арестую и засажу, буржуенок, — прохрипел майор, — как японского шпиона. Бокс!

— Я инженер и сын инженера, — сказал Петя.

— Бокс! — закричали офицеры. Выяснилось, что они здорово недолюбливали этого майора и не желали ему добра.

— В стойку, — прохрипел майор, — в стойку, холуй японский!

Петя перестал думать.

Он провел апперкот, руки майора упали, и слева налетел свинг. Офицер рухнул на эстраду в бездонном нокауте. Рот его был открыт, из него высовывался кончик языка.

Этому левому свингу Петя учился у Андрея Шиляева, светлая ему память.

И наступила тишина.

— Идите отсюда, чешите и не оглядывайтесь, пока целы, — сказал самый старший из офицеров, подполковник с малярным лицом.

Хорошо, что они не любили майора. Офицеры молча расступились, и Пьеро с Понеже стремительно бросились в кусты, туда, где десять лет тому назад они кидались зелеными орехами и подбили глаз Понеже.

А в это самое время в театре «Модерн» закончился банкет. К его завершению к театру подогнали множество машин с ревущими моторами. Из театра выходили нарядные улыбающиеся люди. Автоматчики затакивали их в машины, и люди поочередно переставали улыбаться. Потому что автоматчики были грубы и заносчивы.

Первые машины уже пошли, а мужчины все выходили, улыбаясь, и переставали улыбаться, забираясь в машины.

Над площадью висело вонючее, обморочное облако выхлопов. В одной из первых машин ехал авторитетный Илья Николаевич Голенищев. Он вынул цветок из петлички, бросил его через борт и сказал:

— Не ободряйтесь, друзья — нас везут в старую японскую тюрьму.

Он был прав. Домой из них не вернулся никто.

На последнем перекрестке Пьеро сказал Понеже:

— Я удираю в Шанхай. Есть, у кого останавливаться по дороге, по-китайски говорю. Пойдем со мной.

— Я остаюсь, Петя, — сказал Понеже, — ты понимаешь, сын мой.

Его старики родители были дряхлы и больны, и Вася был старшим из пяти братьев и сестер.

Они обнялись, поцеловались и расстались навсегда.

Родители Пети давно перебрались в Шанхай. Он жил со старой амой. Она встретила его в большой тревоге, ругалась, обзывала «пижон-сын». Трое солдат прошли по улице, вломились к соседям, дорожникам Маниловым, ограбили их и побили Степана Сергеевича. Спасибо, что не арестовали. Ухмыляясь, спрашивали о девушках. Значит, будут грабить, будут насиловать. Мудрая ама помнила еще зверства ихэтуаней. Предвидение не могло ее обманывать.

Петя хотел было выспаться, чтобы двинуться ночью, но ама не позволила. Она накормила его до отвала, дала адреса в Чаньчуне и Сыпине. Какие-то деньги были, родители оставили ему на чрезвычайные расходы сто долларов. Добраться до Сыпина — это главное. Но как же далеко, как страшно, заплакала ама, страна в дыму, кругом бандиты. И от Сыпина до Шанхая — еще тысяча ли. За меня-то не беспокойтесь, со мной здесь проживут дети. Поклон для папа, поклон для мама.

Ама, ама, все двадцать пять лет каждый божий день ама. Мы увидимся, ама, сказал Петя, обнял ее и поцеловал. Она перекрестила его и вытолкала за порог. «Покатился колобок», подумал Петя и зашагал в сторону Фуцзядани. Пальцы все еще болели.

(Они увиделись за неделю до ее смерти. Она умерла от старости, ничем не измученная, и Петя часто видел ее во сне: на целине, в Новосибирске и Благовещенске. Пока не умер сам — одинокий старик-скамеечник, дружок всех благовещенских китайцев.)

Через два года Петя вернулся в Харбин, через семь лет умерла его мама, через восемь лет умер отец, ровно через десять лет Петя уехал в СССР.

КВЖД окончательно перешла к китайцам, Петя продержался на работе еще два года, но в один прекрасный день ему сообщили, что его место занимает выученный им товарищ Лю Фу, а ему, Сосницыну, работа в этой системе не предвидится. Петя с чистосердечной жалостью представил себе, какой бардак наступит отныне в деле ремонта стареньких харбинских паровозов, а значит — во всем. Аварии, простои, пробки задушат Дорогу.

Спецнаборные китайцы, просидевшие полжизни в горах с товарищем Мао, умели только митинговать и затевать свары за поеданием риса. У них была скверная привычка оправляться на рабочем месте. Все они страдали запорами, поэтому чья-нибудь голая задница смущала взор в бессменном режиме. Китайцы становились другими, совсем чужими.

В СССР умер Сталин, расстреляли Берию. Радужный консул манил на целину в Казахстан, соблазняя бесплатным проездом и подъемными в три тысячи рублей. Консул напевал о том, что страна неслыханно расправляет крылья, взлетает в сказочную новь без него, Петра Ивановича, ему будет стыдно возвращаться на готовенькое, и кто он будет в глазах соотечественников, на какую роль сможет рассчитывать?

Жена-китаянка отказалась ехать с Петей и просто исчезла вместе с маленькой дочерью, растворилась среди сотен родственников, и без того осуждавших ее замужество.

И Петя уехал один и попал в целинный совхоз «Заветы Ильича», на притоке Иртыша.

Еще молодой, видный, он стал незаменимым в делах ремонта техники и всего, что связано с электричеством. В свой первый целинный год он был невероятно активен, кипуч: учил желающих боксу, пел в самодеятельности, подбил молодежь на строительство детской площадки. Зимой, на пару с казаком Шакеновым, он, по харбинской памяти, сделал сани «толкай-толкай», что, с одной стороны, обеспечивало отличное сообщение с заречным совхозом «Ленинский путь», а с другой — было превосходным развлечением для народа.

Он держал себя в форме: подкидывал железо, выучился ездить верхом и гонял по степи, как джигит, по утрам во все вре-

мена года усаживался в цинковую ванну с холодной водой, как Пушкин Александр Сергеевич.

Сразу видно, говорили про него, что родился и воспитался он в чужих краях и ел другой хлеб.

В него влюбилась дочь председателя Люся, вернувшаяся с бухгалтерских курсов, из Павлодара. Он был старше на пятнадцать лет, но обаяние его было так велико, что никто не осудил их красивые свидания и скорую женитьбу. Тесть его очень ценил и любил. Теща, глупая, спесивая председательша, — и та была к нему тепла, хотя говорила мужу, что Петя все-таки чужак, «нехристь», и как бы чего не прилетело. Слова в СССР поменяли течение или вовсе обесмыслились, замечал про себя Петя: он-то как раз был христианин, а нехристями были почти все остальные.

Но когда у них родился сын Игорь, Петя уже заметно худел и хмурил.

Бабочкой об стекло, рыбой об лед, головой об стену. И эта жуткая отдельность дел от слов, слов от дел. Завистливость, желание во всем видеть плохое и шкурное — и мелочность, мелочность во всем. Кругом жили люди без позиции. Им не нужна была позиция. И, Боже мой, какая нищета и грязь кругом, везде, такую нищету можно было только придумать, неестественная, нарочная, навязанная!

Поговорить было не с кем. Не о чем было разговаривать и с располневшей Люсей. Она уже позволяла кричать на него безо всякого повода, это входило в здешний супружеский этикет. Может быть, у нее появились честолюбивые надежды, которых не мог оправдать человек с его родословной? Он был заботлив, домовит, подрастающему сыну он рассказывал свои любимые русские сказки, и теща приходила его послушать.

Он оправдывался перед самим собой, зная, что есть главное: он не любил Люсю, потому что ее невозможно было любить. Таким, как он, в таком мире надо жить в одиночку.

Последнее, что он сказал жене после дежурной размолвки, перед тем, как исчезнуть из ее жизни: «И жили они долго и счастливо и умерли в один день».

Первые и очень обидные впечатления бытия у Игоря были связаны с цинковой ванной, полной холодной воды, куда каждое утро, включая выходные, садил его жестокая мать. Она продол-

жала делать это год за годом, и тогда, когда они переехали в Узбекистан, где мать устроилась работать бухгалтером в большом хлопководческом хозяйстве. Он рыдал, а мать говорила:

— Привет тебе от папы! Вспомним папу!

11

Руки и ноги и плечи отказали, как нет их, есть еще челюсти и губы, сотрясаемые ознобом. Уже не плывешь — зыбишься в крошечной тьме, наверное, попросту и глаза перестали различать хотя бы свет.

Чем сильнее пронизывает и забирает холод, тем меньше твое памятно немалое, горделивое тело. И вот оно уже детское, тонкое, хрупкое. Ты уходишь под воду, опускаешься на близкое, нестрашное дно и прикасаешься к чему-то металлическому: ребристый край какой-то емкости.

Холодно. Хорошо бы под горячий душ!

Это та цинковая ванна, что и сейчас занимает место на матушкином балконе. Я сажусь в нее, матушка, не надо кричать, я сам, отпусти мои руки.

На середине бухты они выбились из сил, потеряв друг друга из виду, побарахтались каждый на своем месте, замерзли, сникли и утонули.

Заметка из местной левой газеты «Спор закончился трагедией»:

«Печальная история приключилась позавчерашним вечером с двумя гостями нашего города. Россиянин С. и украинец З. отдыхали в ресторане на улице Всесоюзной. В этом адресе есть своя грустная символика, потому что С. и З., по свидетельству очевидцев, затеяли горячий спор о взаимоотношениях России и Украины и судьбе Крыма. Будучи в изрядном подпитии, они решили совершить заплыв до косы Тузла, видимо, полагая, что решение территориальных и других проблем во взаимоотношениях между двумя странами зависит от исхода их соревнования.

Оба утонули, их тела вынесло на косу Тузла, где они были обнаружены вчера на рассвете.

Личности С. и З. были установлены благодаря содействию двух девушек из числа отдыхающих, которым бедолаги перед заплывом оставили на хранение свои вещи и документы.

Можно увидеть в этом происшествии подтверждение банальной и жестокой истины о том, что с морем шутки плохи, что море не прощает пьяных.

Кто-то воспримет это событие как трагическую притчу о том, что в распрах двух братских народов не может быть победителей. Проиграют обе стороны».

Материал не подписан.

12

На похоронах Сосницына бюст стоял в изголовье гроба, заменяя траурную фотографию. Так решила Лариса Георгиевна, и переубедить ее было невозможно. Бюст смущал пришедших проститься, словно диктовал им какие-то обязательства.

Знатные ермаковцы во главе с губернатором проводили Игоря Петровича в последний путь. Вообще, яблоку упасть было негде.

О Сосницыне сказали много хорошего. Он был замечательный предприниматель цивилизованной складки, новатор, принципиальный, смелый человек, сложившийся авторитетный общественный деятель с большим, возможно, кремлевским будущим.

Он был заступник малоимущим и социально незащищенным, сказала о нем активистка партии, старушка Машковская.

Он не боялся никого и ничего, сказал бывший областной прокурор, а еще Игорь Петрович положил много сил на алтарь благоустройства их дома и был идеальным соседом, приветливым и веселым. И семьянин был редкий.

Очень тепло его помянула взволнованная Дарья Андреевна, сказав, что он был честный противник, с которым она сделала больше добрых дел, чем с иными своими единомышленниками. Что семью его она не оставит в покое... то есть, о семье его она позаботится лично.

Лариса при этих словах перестала рыдать и прошептала: «Не твоих ли это рук дело, Даша-параша?»

И хотя Сосницын был погребен по гражданскому обряду, многие, выходя из салона ритуальных услуг, крестились. Честно сказать, с очевидным облегчением. А, например (Рубахин свидетель), начальник областной культуры, приятель Мирандолины, осеняя себя крестным знамением, забылся и в забытьи сказал:

— Слава Богу!

И оступился со ступенек.

Поминки прошли сухоовато и благопристойно, речи повторились. Лариса была разочарована, она чего-то ждала. После ухода знати журналисты и подданные ученые дружно перепились. Было замечено, что одни и те же люди яростно говорили о Сосницыне и хорошее, и плохое. И снова была огорчена Лариса.

Кичухину был заказан грандиозный намогильный памятник (1 миллион рублей): Игорь Петрович вырастает по пояс из камня, настоящей скалы, его лицо исполнено решимости и негодования. На камне надпись: «Ушел в начале славных дел. Он переделать мир хотел».

Когда следующей весной памятник водружали на могилу, «Первая звезда» и телеканал приказали долго жить, из трех магазинов остался один, тихая квартира и джип были проданы. Увековечивание памяти мужа обошлось Ларисе Георгиевне очень дорого, почти разорило ее. И сам бизнес вдруг подвергся атакам со всех сторон, в том числе и теми, кто клялся Сосницыну в догробной верности. Выходит, они имели в виду его гроб.

Вставали бесконечные препоны, повлекшие отчаянные траты. Дань, собираемая годами, потекла обратно, в те же руки. Лариса тогда «элементарно осатанела», она «не хотела считаться с реальностью, вынь ей да положь», вспоминала подруга Эльвира, «она забросила все и жила одной маниакальной идеей. И сейчас живет. Вот уж чего мы от нее не ожидали».

Вопрос о присвоении Сосницыну звания почетного гражданина города (посмертно) решался полгода и обошелся Ларисе в два миллиона. Она полагала, что дело это бесплатное и бесспорное, и была больше изумлена расходами, чем оскорблена. Дальше она не изумлялась и не оскорблялась.

Вопрос о памятной доске решался еще три месяца и обошелся в полтора миллиона. Сама доска, заказанная Кичухину же, с профильным барельефом, стоила 400 тысяч. Нос, на сей раз, Кичухин укоротил, хотя никто его об этом не просил. Сказалась привычка.

Отвратительно, что многие соседи были против установки доски — «невелика птица» — и пришлось их уговаривать, унижаться, собирать подписи.

Весной Лариса пробилась к губернатору. О, он забыл об их добром знакомстве, о конфиденциях с Игорем, о том, что она по-свойски завязывала ему галстук перед эфиром и делилась семейными тайнами. Она поставила перед ним вопрос о бюсте, и он ей категорически отказал, мотивируя тем, что это компетенция федералов, а федералы никогда не согласятся с шаткими аргументами в пользу бюста. Значит, нечего пыль поднимать. Лариса не поверила ему, падала в обморок, но это не помогло, ее вывели. Может быть, губернатор не врал?

Тогда Лариса Георгиевна водрузила бюст Сосницына на солнечные часы в центре их аристократического двора. Соседи принесли бюст обратно и долго уговаривали ее не буянить, не навязывать им культ личности Игоря Петровича.

Лариса вновь водрузила бюст, укрепив его металлическими полосами. Соседи с ними справились и вновь принесли бюст обратно, и бывший прокурор от лица общественности сказал ей: «Извольте уважать наши права и наше мнение. Довольно истерик. Сосницын отнюдь не был идеальным пай-мальчиком, он был по сути разбойником. Будете упорствовать, лишим вас и доски. Она тоже не заслужена вашим мужем».

В знак предупреждения в тот же вечер «кто-то» залепил барельеф И. П. алебастром.

Лариса, рыча, отскоблила свежий алебастр и, выйдя в центр двора, говорила в окна о том, что соседи ничтожества и мещане, достойные похорон в общей яме.

После этого она стала думать о несбыточном: 1. Как ей одолеть сопротивление соседей. 2. Как укрепить бюст так, чтобы с ним не справилась никакая злая мощь.

Петя пережил смерть отца очень трудно, замкнулся, стал тише себя тихого. Хлопоты и ярость матери мучили его. Уход отца, вопреки обычной логике жизни, отдалил их друг от друга, и она это видела и страдала. А он был вял, жалел об отце, жалел ее — но как-то издалека.

Измайлов пил с искреннего горя целый месяц, но это не смущало Петю, который разве что не переселился к нему. Он сидел у него безвылазно, сопровождал и охранял его в походах в винный, ходил для него за продуктами и стирал ему рубашки и носки.

И Измайлов повторял, плача: твой папа был единственным человеком, кто меня понимал и правильно оценивал. А его не понимал никто, даже я. Пепел твоего отца в моем сердце.

Он завел для Пети сберкнижку и перевел на нее триста тысяч рублей. Петя получит эти деньги по окончании школы.

Потом Измайлов окончательно вышел из запоя. Воспользовавшись тем, что Лариса Георгиевна все еще думала, однажды, в ясный, сухой сентябрьский день Измайлов прислушался к Петиной просьбе. Они вызвали такси и, прихватив с собой бюст в мешке из-под сахара, поехали на мост над великой сибирской рекой. На середине моста они вышли и бросили мешок в сизо-свинцовые волны, туда, где завивалась в водовороте вода.

Вечером мать хватилась бюста, спросила у Пети, в чем тут дело, он промолчал, глядя на нее своими грустными глазами. Она поняла, что о бюсте придется забыть. И она вдруг поняла, до чего же прав Петя. Людмила Ивановна Сосницына, если она жива, до сих пор не знает о смерти сына.



ЧТО УПАЛО — ТО ПРОПАЛО

Трудно быть благородным
Симонид

1

Сегодня вечером собиралась Смородина, и Крылов, жалея, что он недостаточно голоден, ждал друзей Бронниковых, чтобы отправиться с ними на день рождения к друзьям Ложниковым. Последние зримые приметы молодости потерял этот человек, полный, потеющий, лысеющий, в очках с пухлыми линзами. Жена могла его утешить только тем, что он похож на одного известного ученого, может быть, нобелевского лауреата. Жаль, что имени этого ученого она никак не могла вспомнить.

Крылов сидел у окна, с вымытой головой, в свежем белье, и задумчиво обнюхивал свои ладони, которыми он растер по щекам дорогой французский одеколон. Аромат ему нравился, хотя одеколон жена купила против его воли. И назывался он «Френч-канкан» — подозрительно.

Моменты нового быта — дорогие одеколоны, сотовые телефоны, телевизионные пульты, такси по свободному вызову и прочее — льстили ему, но и как-то беспокоили: не в чужое ли время он забрался, мальчик, любивший серые бутерброды с маргарином, донашивавший за старшим братом пальто и брюки? Не пришлось бы однажды дорого заплатить за все эти сказочные вещи. Странно, до раздражения, сочетаются такой одеколон и электрическая соковыжималка с тем, что бывают дни, когда они всей семьей сидят на макаронах с остатками кетчупа.

Сейчас настроение у него было вяло-хорошим. Например, человек получил квитанцию на средненький перевод, но еще не сходил на почту за деньгами.

Жена Люба уехала помогать Ложниковым в обед. Имениница Маша, папина Лободина, была ее ближайшей подругой со студенчества. Две веселых беззубых девчонки из обских сел, они познакомились при поступлении на факультет и потом все пять лет прожили в одной комнате общежития в согласии

и доверии. Как тогда водилось, у них были общие кошелек, косметика и каша. Можно не сомневаться: когда Люба ходила на первые свидания к Крылову, она надевала Машины сиреневый батник и серьги, когда Маша ходила на первые свидания к Ложникову, она надевала Любины туфли. Так и дружат тому уж тридцать лет.

А то кино, в котором всесторонне воспеты их близнецы, закончилось навсегда; в текущих поколениях твердое, теплое, как печной кирпич, слово «подруга» налилось желатином и остыло.

С тех пор сложилась компания из шести семей однокурсников и их мужей и жен с других факультетов. Вернее, из пяти с половиной, потому что Неелов дважды женился и разводился. Обе его бывшие жены, натуральные жУчки, конечно, совсем не вписывались в общую идиллию, скучали, стреляли чуждыми глазами и наводили тоскливую неловкость на всех и, в первую очередь, на Неелова. Он с досады напивался и надоедал истеричными разговорами о природе и искусстве, назойливо смешивая работу и досуг. А надо бы их разделять. Вдобавок Стаханов, чувствуя некое право, начинал по-гусарски ухаживать за жУчками, что претило всем, и даже его кроткой жене Дусе. Она смущалась.

В общем, когда Неелов разводился, погода улучшалась — в семье должен быть один урод, и эту обязанность он и без жен исполнял исчерпывающе.

Согласно календарю, они под кругом небесным ездили друг к другу в гости по кругу земному. В каждом доме было свое тепло и свой скелет в шкафу, свои развлечения и свои странности. Согласно закону сплошного накопления. Но гуляли — болтали, пели, выпивали — везде хорошо, по-студенчески, до погружения, и много, много лет сохранялся обычай ночевания в гостях и утреннего закусывания с прощальным подаванием «на конскую морду» и «на стремя». Смеялись как следует, охотно, на месяц вперед.

А глинтвейн в большой кастрюле на балконе посреди зимы! Эту священную — зеленую эмалированную кастрюлю, облупленную, исцарапанную, когда-то вместе с родительской капустой приволокла в общежитие Маша Лободина. Ее, как штандарт, как пере-

ходящее народное божество, носили по праздникам из стойбища в стойбище. Она гостила у всех по очереди. Глинтвейн из нее пили кружками с непременно исполнением романсов про весну, любовь, пенье соловья и расставание на росистом рассвете (и уже тысячу раз Неелову было сказано, и все без толку: не ори! Мы поем, а не орем! — есть разница?).

Кастрюля у них шуточно именовалась Чернильницей, Великой Чернильницей. Поэтому и сами их встречи назывались так же. «Ты не забыл, что в четверг у Строевых Чернильница?» «На прошлой Чернильнице мы что-то загрузили». «Наша Чернильница — всем Чернильницам Чернильница».

В уважающей себя компании складывается особый словарь. Слова-пароли позволяют экономить речь и создают настроение избранности, посвященности.

Если при разговоре посвященных присутствует кто-то третий, он вынужден переспрашивать их и спрашивать у себя: не глуп ли я? И это тоже хорошо.

Иногда эти слова тарабарские или искореженные. «Барбар» — так, уже забыто, почему, называлось все вкусное. Мнимо похвальным являлось слово «просифонал» — так маленький Максим Ложников произносил слово «профессионал». Но, как правило, новое значение по совершенно случайному поводу получало готовое, веское слово. Так, словами «запал — припал — выпал», «сброс!» приговаривались некоторые худые инициативы мужей. Жены произносили их саркастически, мужа — негромко и доверительно. Восклицание «Аутентично!» выражало высшую степень удовлетворения — «остановись, мгновение, ты, прекрасно!». Вместе с тем, в таком употреблении этого слова сказывался вкус компании, ее ирония насчет птичьего языка соседей-«просифоналов».

Само название «Смородина» родилось из сообщения Неелова о том, что «смерд», «смад» и «смородина» суть однокоренные слова. «Смерд» — чванное дружинное именование рядового древнеславянского труженика, вроде «вонючки». Город тогда сидел целое лето без горячей воды, и, несмотря на то, что все грели себе воду и худо-бедно оставались чисто плотны, кто-то засмеялся: «Тогда мы все еще смерды», а кто-то подхватил:

«А сидим в смородине!» А потом кто-то сказал: «Что-то наша Смородина давненько не припадала к Чернильнице!» Так рядом с одним именем собственным встало другое имя собственное.

Солнце скатилось за соседнюю крышу. Зазвонил телефон.

— Смольный, — сказал в трубку Крылов.

— Живой, Дедушка? — сказал Бронников — Это Латы. Жди нас через полчаса. Не кашляй, милоч.

Крылов вовсе не кашлял. Неожиданно он испытал к Бронникову неприязнь, слишком явную, чтобы не цокнуть языком. Снисходительность Бронникова сообщала о заурядности Крылова. «Не такой уж я заурядный», — несмело сказал себе Крылов, и вдруг впервые чужой голос подсказал ему: «Мы такие, какими нас хотят видеть. В другом окружении ты, чем черт не шутит, глядишь, раскрылся бы, расцвел».

— Нууу? — сказал вслух Крылов, и тут часы пробили пять: «Да. Да. Да. Даа...»

— Нет, — отмахнулся от них человек, — нет, придумываю. Завидую.

С полгода назад Бронников, сильный, крепкий мужчина, не побоялся подраться на улице с двумя хулиганами, увидев, что они пристают к жене Крылова Любе. Побил их.

«Это, видно, оттого, что я давно не был один и задумался, — решил Крылов, — и не с той стороны задумался».

Но мысли смелее нас и сильнее нас. Они потекли с обеих сторон, желанные и нежеланные.

Бывало, за праздничным столом появлялись новые улыбчивые люди — чьи-то родственники, сослуживцы, гости из других городов. Их встречали с искренним радушием и умело лепили из них героев вечера. Поэтому о Смородине шла завидная слава. Один из гостей, модный столичный психолог и средней руки патриот, в интервью московской газете воспеал провинцию, доказывая, что, покуда в глубинке есть такие интеллигентные сообщества, как Смородина, Россия здорова, соборна и способна возродиться.

Но в Смородине не приживался никто — ее необходимо эластичный круг сложился и замкнулся. Ни больше ни меньше, не задохнемся и не расколемся.

И все роли в ней были разобраны или розданы, навсегда утвержден список действующих лиц. В высшей инстанции. Однако здесь и был главный подвох. Крылов не мог не думать с легкой досадой: какие-то весы, все взвешено и упаковано. Его роль ему представлялась бледной, необязательной, тесной.

На весах Смородины ценилось равновесие плюса и минуса. Если плюс был большей, то и минус разрешался заметный, сочный. Стаханов был гулящий, но душевный и отлично играл на гитаре. Бронников был жаден и нагловат, но мастер розыгрыша, остряк. Ложников — сух, упрям, неотесан, но надежен, как кувалда. И красив, как Василий Лановой. Истерик и трепло Неелов был патологически безобиден и носил в себе нескончаемый латиноамериканский сериал, его присутствие развлекало и утешало, как утешает нечерноземных селян голод в Северной Корее.

И все — наши.

Крылова задевало, что у него не видели заметных достоинств (нет, и сам он, честно говоря, на свой счет не обольщался), а потому никакого простора для вольностей и задоров для него не предвиделось. Не то чтобы он хотел загулять, как Стаханов, напиться, как Неелов, наступить кому-нибудь на душу, как Ложников. Но все же, все же... Попробуй, однако, загулять — ты не Стаханов, пощады не жди!

Его любили, но понемножку, над ним подшучивали, но без смака, именно снисходительно, как над конфузливим, неповоротливым отроком периода первой задумчивости. Его мнением интересовались редко — чем он может удивить?

Впрочем, что касается мнений — тут царствовали жены. Они и представить себе не могли, что их мужья, они же — Сережа, Петя, Саня — что-нибудь понимают в жизни. Работают, стараются, любят детей — вот и молодцы. Недаром на них потрачены годы. Их профессиональные успехи представлялись женам суммой механических, добросовестных, но не столь уж одушевленных усилий.

Перекуривая на кухне, мужья добродушно жаловались друг другу на такое чванство. Но, может быть, и это входило в ролевой расклад, и было отмерено на тех весах?

Еще до этого вечера Крылов, случалось, задумывался: а ведь каждый из смердов вне компании ведет себя, вероятно, как-то

иначе. Все меняются с опытом, с годами, и большая часть жизни каждого проходит не в Смородине, а в общении с другими людьми, человек воюет с собой, с судьбой, обновляется и побеждает, сдается и предает.

Не усилился ли запах серы, исходящий от Бронниковых, не тянет ли на желтый дом говорливый сморщенный Неелов?

Может быть, может быть.

Но не зря же тридцать лет подряд, собираясь в кольцо, играем, без особой натуги, в самих себя тридцатилетней давности — в Сережу, Машу, Петю, Любу? Разве это не святая ложь — да ложь ли, разве те ребята умерли в нас совсем? И как порой остро, как гордо ощущается верность, надежность нашей лицейской смычки вокруг Чернильницы!

2

Вопрос исчерпан, надоело. Последняя туча рассеянной бури — Крылову припомнился прошлогодний строевский тост за дружбу и братство. Строев закончил его так: «Смородина моя! Случалось всякое. В какое тожко дерррьмо мы с вами не вляпывались, но становилось то дерррьмо удобрением, и оттого наш Куст густел и крепчал!» Крылов тогда бездумно вставил: «Сказано красиво, но в перебор. Как хочешь, про дерьмо мы с Любой — пас». И все посмотрели на него с сердитым недоумением, словно он ни с того ни с сего разбил хрустальную вазу, и Люба вместе со всеми. Поежился он тогда, и сейчас поежился.

Завидую, сказал себе Крылов, придираюсь. Кругом одинокие, одичалые сверстники, заевшие своих близких или заеденные ими. Некуда им пойти и не к кому, их высасывает алкоголь, телевизор, прокисшее самолюбие. Иных уж нет, иные есть, но лучше б они куда-нибудь делись... А мы-то — плющом увиты.

Крылов не готов был еще понять, что все они, и он с ними, цепляясь так настойчиво за юность беззаботную, тем самым подтверждают, что ничего слаще простых радостей от тех первых поцелуев, от тех смешных подвигов, ничего глубже тех наивных открытий в их жизни с тех пор не было. И с каждым годом все более увесисто откладывалось в спасительном подсознании, что и не будет никогда.

Наконец-то телефон зазвонил снова.

— Спускайся, — сказала Таня Бронникова, — мы у подъезда.

Они обнялись и по разу поцеловались в губы.

— Мы без машины, — сказал Бронников, — аккумулятор выпал.

— Неаутентично, — покачал головой Крылов.

— Берем такси — и вперед, — сказал Бронников. Крылов пошарил по карманам.

— У меня с собой ни рубля.

— Какой вопрос, — сказала Таня, — деньги охапками.

И они поехали на такси. Ехать было прилично, да все равно недолго, и Крылов снова пожалел, что он не удержался, съел бутерброд и хватил стопочку.

— Хватил стопочку, съел с балычком, — вздохнул он, — зачем? Все испортил...

Единственное, что реально (Бог с ними, с меренхлюдиями) притупляло, опресняло радость встреч за столом — наступила эпоха, когда все есть, что съесть. То ли дело, братцы, раньше: банкетов, свадеб ждали, как Ной голубя. Голодно было, пусты угрюмые магазины, убог неопрятный общепит. Дорвался до фунтика питательного — напираться до самого отказа, доедаешь ночью на кухне, допиваешь до того, что веки падают на щеки. Чудесным ритуалом было обсуждение массивов съеденного и похвала хозяевам за щедрость и мастерство.

— Тогда нам легко было угодить, — сказал Бронников, — достали палку полукопченой колбасы, налепили пельменей. Привезут майонез из Москвы, «Пепси-колу» эту мерзкую из Новосибирска — вот тебе пир Бальгазара.

Нынче все доступно, все приелось. Проклятый холодильник манит: открой меня, достань из меня, ты же был голодный студент — это неизлечимо!

— Постоянно переедаю, — сказал Крылов, — ничего поделать не могу. Слаб.

Буженина, сервелат, печеночный паштет, свежие овощи и фрукты, разноцветные дамские ликеры и прочее повседневны, как международный терроризм.

— Сейчас развелись сволочи, — сказала Таня, — под предлогом, что все есть, кормить, значит, пошло, завели моду угощать

пареными овощами и парагвайским чаем. На полтинник, сквалыги, толпу довольствуют. Этот чай — посмотришь на него, принимаешься — под насыпью железнодорожной собирают, когда с дачи возвращаются. Дождаясь электрички.

— Да, было же время, — воскликнул Бронников, — когда на поминках профессора Фогеля профессор Антипов уединился на кухне, чтобы в одиночку опустошить трехлитровую банку помидор, засоленных с горчицей, с корицей, с сахаром!

— И никто его за это не осудил, — подхватил Крылов, — все его поняли! И сам он превратился в помидор, пахучий, огневой!

— Все есть, — печально сказала Таня, — а таких помидоров кто нынче засолит? Таких помидоров нет.

Такси бежало через центр, порхал снежок, горели окна, витрины, вывески. И все до единой неоновомаргоновые буквы на вывесках были целы. Знал бы Крылов Сергей Николаевич, что через десять минут его прежняя, какая-никакая жизнь сложит крылья и рухнет — псу под хвост.

3

В двух кварталах от дома Ложниковых таксист, человек с сильно подержанным лицом и молодыми угольными кудрями, аккуратно притормозил.

— Вы извините — сигареты кончились, одну секунду, — сказал он. И вежливо побежал в магазинчик под названием «Виктория». Сидевший на переднем сиденье Крылов обернулся к Бронниковым.

— Купили бы минеральной, Ложников обычно забывает...

— Бежим! — закричали Бронниковы в один голос, будто не веря своему счастью, и, хохоча, как демоны, выскочили из машины. Растерявшийся Крылов, не веря глазам своим, проводил их взглядом, пока они не скрылись за горкой в глубине двора. Как молодо они летели, взявшись за руки!

Задние дверцы оставались открытыми, в салоне горел свет. Хриплый женский альтик сказал:

— Шестьдесят третий, ты отработал? Казаков, ты где?

— В магазине, — ответил Крылов, — сигареты покупаю.

...Водитель очень удивился. Он был уверен, что разбирается в людях...

Таксист: Взяли и убежали?
Крылов: Сказали «Бежим!» и убежали.
Таксист: А вы что же? Стыдно стало?
Крылов: Не понял, что такое... Да, стыдно стало. Я и не хотел, поверьте... Я не ожидал от них — глупая шутка!
Таксист: Не шутка, а жлобы. И денег у вас ни копейки?
Крылов: Ни копейки. Я отдам, я исправлю... Завтра.
Таксист: С вас двести рублей. Сегодня.
Крылов: Я найду вас, честное слово.
Таксист: Я и сам честный человек. То-то адрес не сказали — «на углу», мол. Поехали!
Крылов: Куда... поехали?
Таксист: А куда они убежали — туда и поехали!
Крылов: Нет! Это невозможно! Пожалуйста, не надо! Я опозорюсь.
Таксист: Они вас уже опозорили. А вы говорите: опозорюсь. А я-то здесь причем? Мои дети тоже кушать просят.
Крылов: У вас много детей?
Таксист: Шестеро.
Крылов: Ооо!... Они не хотели меня подставить. Так вышло.
Таксист: Понятно. Вы же «не успели»... Хороши культурные люди! Профессор такой, профессор сякой, помидоры...
Крылов: Я отдам. Скажите, куда привезти деньги — я завтра привезу. Я педагог.
Таксист: И друзья ваши — тоже, на, педагоги? Шапка у вас — давайте в залог. Сойдет, туда-сюда.
Крылов: Что значит «сойдет»? Новая, барсучья!
Таксист: Давайте, давайте! Запишите телефон, придете — обменяете деньги на шапку. Триста рублей.
Крылов: Вы сказали: двести.
Таксист: Уговорили.
Униженный, трясущийся Крылов отдал шапку, записал телефон, извинился и пошел дворами к Ложниковым. Господи, какое оно бывает — облегчение! Путь был темный и безлюдный, на вспотевшую лысинку падали нежные снежинки.
Он меня ни разу не обматерил, с уважением думал Крылов, он мне «вы» говорил. Что ни толкуй, времена меняются.

Люба встречала его у подъезда, накинув шубу на плечи, с непокрытой головой. Ему захотелось ее обнять, но он не решился: она и так считала его склонным к малодушию.

— Плакала моя шапка! Водитель забрал в залог,— сказал он со значением, холодно. И добавил лишнее: — Увидел: человек приличный, им попользовались — мной. Слова худого не сказал. Извинился, но забрал шапку, под выкуп.

— Как же ты мог? — раздраженно сказала Люба, — рохля рохлей, куросмех.

— То есть как это я «мог»? Это Латы меня без шапки оставили. Это они из-за ста рублей паршивых... — голос его все-таки дрогнул.

— Не надо прорубли! Не клевети про рубли, — сказала Люба, — просто необдуманная шутка. Но раз так вышло, ты должен был побежать. А ты, что нехристь, что-то доказывать стал.

Они поднимались по лестнице, Люба стучала каблучками выше, не оглядываясь на Крылова. Он был виноват.

— Попользовался случаем, — сказала она подоконнику на лестничном пролете. Легкая, лозовая, с каменным лицом, она волей и верой берегла границы своего тела целое поколение. В нее был отчаянно влюблен двадцатипятилетний юрист-сослуживец. На его рабочем столе красовался в малахитовой рамочке ее псевдоанонимный, узнаваемый с первого прищуря черный силуэт, окруженный силуэтиками бабочек.

Птичий, весенний гомон из-за ложниковских дверей смягчил ее. Она все-таки удостоила мужа взглядом и сказала:

— Что теперь. Какие проблемы — завтра выкупим. Хочешь, я с тобой поеду?

У Крылова запотели очки. Это окончательно обезоружило, оголило его.

— Очень хочу, спасибо,— ловя ее на слове, благодарно ответил он и погладил рукав ее шубы. Через миг он уже презирал себя за щенячью слабость: задешево предал он свою обиду, теперь бесправную, как вошь на гребешке.

Смородина встретила его стоя, с налитыми бокалами в руках. Спектакль открывал Строев. Вкрадчивым голосом просветителя-натуралиста он начал:

— «Не все, наверное, видели этот кустарник с пепельно-серебристыми листьями. Он попадает в самых неожиданных местах Крымского полуострова...»

Шаг вперед сделала Таня Бронникова:

— «Упрямое это растение, живучее, выносливое. Может быть, поэтому с ним связано немало легенд»...

Бронников захохотал, обливаясь водкой:

— «...И зовут его...» — от, черт — «и зовут его лох серебристый!»

Под жизнерадостное кипение Смородины Неелов и Стаханов, встав на одно колено, с двух сторон поднесли Крылову полный бокал водки и пузатого боровичка на вилке. Раздались аплодисменты.

Крылов выпил, закусил, у него загорелись уши, он через силу улыбнулся и сел со всеми за стол, на любимое место рядом с аквариумом. Тощая золотая рыбка выплыла к нему из освещенных глубин, ткнулась носом в стекло и трижды разняла усатый рот: «лох лох лох».

— Дедушка! — сказал Бронников. — Ты уже не сердись, вижу. Пошутили, плюнь, нешто нам в мазу тебя чморить? (Нравится ему ворошить этот словесный мусор!)

— Экспромт подвел, — блеснула взором Таня, — но идея-то — согласись, батая!

«Глаза у них лживые, как у милиционеров», — подумал Крылов.

Разбежалось, заструилось застолье: мягкие, грудные голоса, округлые, симпатичные жесты подавания и накладывания. Все цвета радуги осыпались на этот стол, запахи соревнуются: горячие — густые, но рыхлые — пехота, холодные — мерцающие, но ножевые — кавалерия. «По крайней мере, проголодался», — усмехнулся Крылов и пустился безудержно питаться, наворачивать. Зоя Строева кивком указала на него Маше Ложниковой. Та понимающе вернула ей кивок и еще раз-другой поглядывала на Крылова, сдвигая брови: найдите пять отличий?

Разговаривали по заведенной канве. Дети, работа, тревожные третьих лиц — общих знакомых, немного про электронных

людей, чуть-чуть о политике: Буш подавился сушкой. Свежие анекдоты из жизни (анекдоты уличные и газетные презирались, от них отдает сортиром).

Строев, практично сменивший геологию на оптовый склад на Бердской, позавчера выпивал с партнером, сентиментальным кавказцем. Тот угощал Строева поддельным армянским коньяком. Уверял, что бурда из дедушкиной бочки за 1969 год, «горьчит» по технологии. А разомлевши, маленький, коренастый, вдруг выпалил мокрыми губами; «Петя-джан, ты не смотри, что я — птичка-невеличка. Когда я молодой в армии служил — у меня рост был два четыре, вес сто килограммов. Под меня в десанте лично парашют подгоняли, усиливали. Годы идут, сушат меня годы, врачи говорят: феномен науки».

Психиатр Бронников, благодаря профессии, был неисчерпаем на байки, выдавая устную газету «Новости Соснового Бора». Люди былой Советской страны продолжали настойчиво впадать в манию величия.

Помните «Аллу Пугачеву», спросил Бронников. Моя первенькая! (Как не помнить? Была девушка, которая превратилась в Пугачеву, пела все ее песни тех лет, с хорошим слухом. Когда приходила очередь «Арлекино», она впадала в экстаз, кошмарно крутила попой и на припеве «хо-хо» задирала юбку. Юная Таня Бронникова изображала, как это выглядело. Она нарочно ездила к мужу на работу, наблюдала героиню, чтобы номер получился достоверным. Сам Бронников смутился, когда она вскинула юбку и показались трусики, несущие на плотных, боевых полушариях две красных звезды, нарисованных для пущего смеха. Стаханов тогда потерял дар речи и, вроде бы выйдя покурить на улицу, сбежал из Смородины, — конечно, на одну веселенькую квартиру для нетерпеливых.)

Так вот, днями поступил новый пациент. Зовет себя «я поп-король Влад». Исполняет сотни песен разных нынешних певцов, помнит все слова, не сбиваясь: «я тебя, ты меня, поцелуй меня везде, единственная моя, ласковая, нежная, голубая луна!». Сердится, чуть ли не лезет в драку, если товарищи начинают дразнить-подпевать, издевательски заменяя слова. Этот «Влад» вызвал настоящую эпидемию. Оказалось,

даже безумцы уяснили, что тексты современных песен живут в синтаксисе отборных матерных выражений. И начали здорово злоупотреблять этим, увлеклись, распоясались. Почти на неделю они устроили всеобщую игру — настоящее массовое помрачение (или просветление?) рассудка. Мат распевался в каждом углу, в большом коридоре, под дверями врачебных кабинетов.

Главный врач вlepил Бронникову нагоняй: тихое отделение в полном составе вышло из-под контроля — и это накануне дружеского визита японских коллег!

Бронников сначала велел за каждый матерок очистительно кормить буйных мылом. Не помогло. Они не дети — ели и продолжали распевать. И мыло кончилось.

Тогда (вчера) он додумался: пообещал им, что заведет в отделение пожарную машину и зальет их из брандспойта воспитательной ледяной водой. Врач из соседнего отделения, Липухин, надел на голову сверкающий детский рыцарский шлем, якобы каску пожарного, ходил по палатам и спрашивал у Бронникова: этот ругается? Эта ругается? Бронников стучал: ругается, да. Липухин отмечал в записной книжке: «Палата номер шесть, больной Корюков — один кубометр воды».

— Тут психи притихли. Вижу, — излагает Бронников, — сбились толпой у телевизора — стульев не хватило, на полу расселись — и молча смотрят полезные для них новости про Грузию. А новая наша звезда — без голоса, без слуха, визжит безбожно. Но самое смешное — этот «Влад» есть женщина, сорока семи лет, три года прослужила домработницей у заместителя мэра города. Времена меняются!

(«Где-то я это слышал сегодня?» — подумал Крылов.)

Бронников сдержанный, как заслуженный артист республики, принимал привычные похвалы. Ложников, впрочем, без претензий, тоже попробовал рассмешить Смородину. Сын Максим летом на даче съел целиком на спор острый перчик, а потом, вопя, бегал вокруг дома и в итоге засунул голову в бочку с дождевой водой. Ложников был никудышный оратор и рассказывал историю раз в четвертый, по забывчивости.

Маша с Любой вынесли с кухни Чернильницу и трижды обнесли ею стол. Перед балконом сняли с нее крышку, запалив спичку: пых! — и пошел олимпийский аромат.

— Вино виноградное! — сказала Маша.

— Специи специфические! — сказала Люба.

Общество, теснясь в балконных дверях, двинулось на воздух. Крылов с Бронниковым, как Чичиков с Маниловым, застряли живот в живот. Бронников, инстинктивно неучтивый, пропищал первым. И Крылов, сам того не желая, брякнул ему:

— Вы же знали, что я не побегу.

— А почему, собственно? Ничего мы не знали, — быстро, зло прошептал Бронников, закатывая глаза, и проскочил на балкон. Крылов физически почувствовал, как укусили его со всех сторон глаза друзей: надоел, мелочный!

Пели «Калитку», «В степи молдаванской», «Песню цыганки». Зоя и Таня, обе — смуглые, фараонистые — сестры Лисициан, задавали тон. Окосевший Неелов раскрыл было чрево, но получил по затылку от Маши и перешел на безвредную декламацию. Крылову не пелось, и не от обиды — от усталости, недовольства собой. Он жалко шевелил губами, подозревал, что это могут истолковать, как протест, но сил не было.

Пили глинтвейн, Чернильница, так сказать, курилась. Перед ними, под ними стелился правильный квадрат ночного двора с цепочкой гаражей, детской площадкой, замершими жидкими деревцами. Его наискось рассекал сноп прожектора с башенного крана по соседству. Жестяной петушок над горкой отбрасывал чудовищную тень, она шевелилась сквозь порхающий снежок, как чуткий динозавр, услышавший непонятное и в тревоге привставший на месте.

А между тем неторопливо, словно по расписанию, гасли окна. Пока они пели «Не бродить, не мять» и «Снился мне сад», в строю осталось несколько кухонь. Ближайшая мерцала больничным, трубочным светом. Морг, — заметил Крылов (...? «Неужели опять невпопад?»)

— Сегодня закончили петь заметно раньше, чем обычно, — холодно, сказала хозяйка Маша.

Неелов и Строев пошли курить на кухню, Крылов за ними. Они закурили, и как-то закономерно товарищи заговорили помимо него. Как бы не замечая его толком, на всякий случай?

— Ох, — сказал Крылов, улучив паузу, — да не злюсь я, на самом деле.

— О чем ты, конечно, — ответил Неелов.

И больше они ни полслова. А он надеялся хотя бы на бесхребетную отзывчивость Неелова. Но тот, пьяный-пьяный, тем старательней рулил в сторону.

Ночевать Крыловы не решились. Люба, опасаясь непонятно чего, сказала с досадой, что у нее болит голова, и друзья ей, не вдаваясь в подробности, «поверили». Ложников дал Крылову свою лыжную шапочку, полосатую, с рыжим помпоном. Крылов натянул эту теплую, двойную гадость на уши и оглох, снова испытывая беззащитность.

Их проводили с сожалениями и поцелуями. Но Крылов запомнил, как укоризненно взглянула на него записная аутсайдерша Дуся, поджав пухлые губки.

На улице Люба устало сказала:

— Не обижайся, что выдернула. Согласись, ты не в форме.

— Конечно, — сказал Крылов, — это от неожиданности. Извини, почему-то не отряхнулся.

— Ты не старей, братец кролик, — сказала Люба.

— А все-таки они черти, — сказал Крылов, — видно, старею, ага... Вот пусть они завтра сами едут, юные...

— Им нельзя, — засмеялась Люба, — сам понимаешь. Представь!

— Представляю, — примирительно засмеялся Крылов, — черти!

Дочь Маша не чаяла их сегодня увидеть. Она была разочарована. Похоже, она рассчитывала спать на просторе, без родителей. И какая в том была радость? Дома нет родителей — призрак свободы? Белобрысенькая, с грубоватыми папиными чертами лица и его топорненькой фигурой, хотела помечтать в тишине о молодом человеке, которого ждала, и дождется ли? «Доченька моя бедная!» — сжалось отцовское сердце.

Но пожалеть ее, прижать к себе было нельзя — взрослая, она давно дичилась и отводила его руки. Не выходило пожалеть ее — и в ней себя.

Водитель такси был женат, но детей у них не было, не получалось у жены. Зато у них был «сынок» — младший брат жены Серя, избалованный бездельник, успевший развестись, менявший работу через два месяца на третий. Он проживал то у очередной подружки, то неделями у них. Типичная картина: возвращаются с работы, а там последний хлеб доеден, шаром покати, братец выцедил пару банок пива и торчит в кресле за телевизором. Оставят ему сто рублей на хлеб, на масло, на «шоколадку» — он истратит полтинник на пиво, а полтинник вернет, где взял, на телефонный столик: «сынок» — порядочный, ему лишнего не надо. За пивом сбегать ему не лень, но купить в том же вагончике булку хлеба гордость не позволяет. Развелись в наше время такие пацаны! И банки, бутылки пустые вечно оставлял в зале, на видном месте.

Они перебрались в город из одной шегарской деревни, безработной и запущенной. Обитали они на северной окраине города, под их окнами Иркутский тракт уходил потоком машинок в унылые смешанные перелески, где даже птицам было скучно.

Водитель вернулся домой в полночь и показал жене новую добротную шапку.

— С пьяного снял или как? — спросила жена, примеряя шапку.

— Взял в залог, — ответил водитель из ванной. Первым делом он мыл руки и чистил зубы. Сядя за стол, он уточнил: — Если подумать, насовсем.

— Опять телефон липовый дал? Собачьего питомника?

— Пришлось, — пошутил он.

— А если номер машины запомнят?

— Быть того не может. Дяденька разволновался, раскудахтался... Толстячок, очки водолазные, как у бабы Клавы. Темно, он дунул во двор — только пятки засверкали. Нет, наверняка ни номер, ни лицо мое не запомнил.

— На арапа хотел прокатиться?

— Его дружки везли, сбежали, когда я за куревом пошел, а он застрял, и денег нет. Хороший человек, но, сдается мне, невезучий, однако!

- Тысячи на три шапка, не меньше, — сказала жена.
- Ну вот, подожду малость и продам Казiku за две. Жена по-топталась рядом, помолчала.
- Серя в кепке холодной ходит, — вкрадчиво, но настойчиво сказала она.
- Начинается... опять этот Серя, — положил вилку муж, — я что, всю жизнь буду за Серю жилы рвать?
- У него на старую Конституцию день рождения, забыл? Подарим халявную шапку, и денег не тратить. Я скажу: купили за четыре, позаботились. Мамка обрадуется — заботимся.
- Наша теща вообще должна радоваться круглосуточно — зять дурак! Зять батрак, а теща тащится, — горько, обреченно сказал водитель.
- Шапку отписали «сынku» (он получит ее назавтра, а пока, сей момент, Серя с подругой, зевая, просаживали ее трудовой заработок в зале игровых автоматов на улице Смирнова).
- Укладываясь спать, водитель мечтательно сказал:
- Устал я что-то, Снежан. На Обь бы сейчас, под мост, с удочкой. Луночка, палаточка, Семен, Харя... Мост гудит, простор, солнышко играет. Ловись рыбка, большая и маленькая.
- Настоечка пейся, — сказала жена, — настоечка, и банька Харина, и вы с баяном в парилке сидите, баян портите. Настоечка, поем и лыка не вяжем, своих не узнаем. Красота!.. До Рождества не надейся, обойдешься. А там хоть залейся со своей Обью.

6

Ночью Крылову позвонил закадычный приятель, речной хранитель из Лукашкина Яра. В памяти сразу проявился чудный обрыв, изрешеченный стрижиными гнездами, и молочный теленочек с синей ленточкой на шее: он бегал по взгорку, по собачьи перебирая ногами и крутя хвостиком, догонял и обегал Крылова по кругу, притворялся, что хочет напасть, и снова с любопытством бежал рядом, уделяя незнакомому двуногому щенячье, а не телячье внимание.

Приятель посоветовался о деле, а потом спросил: не изменит ли, случайно, Крылову жена?

— Ты с ума сошел, ответил Крылов, трезвея, — это исключено.

— А мне изменила, слюбилась и уехала с одним стрежевским. Ежели что случится, приезжай — дом большой, кислорода хоть отбавляй, приму на бессрочный постой. Я знаю, Большая Вода тебя тянет, — сказал приятель, — а в городе одна измена.

— Оно и видно, — посочувствовал ему Крылов.

Тянет? Конечно, он всю жизнь занимался Рекой, познал ее, тонул в ней, кормился ею — на то он ихтиолог (в просторные летние командировки он брал с собой дочь, но уже третий год она отказывалась поехать с ним — и все резче, обидней, будто он безжалостно требовал от нее запредельной жертвы. Давно ли она напрашивалась сама, загодя, с первой капли — жизнь на воде, рыбный стол, сельские ночлеги под шум воды она обожала. Слов нет, как не хватало ему Маши).

Нет, без студентов, без университета, без Смородины, наконец, он обойтись не мог. Это было исходным. С великой рекой он работал, как амбулаторный врач — дорогой гость, но был органический горожанин.

Река — летом, изредка — зимой, но не больше, — чтоб можно было по ней соскучиться. Возвращаться с Реки — по крайней мере, не меньшее удовольствие, чем ликующе к ней припадать.

А иначе засосет, поработит, покроет щучьей чешуей. От этой великой Реки исходила определенная опасность, именно душевная угроза.

Пока Крылов ворочался, засыпая, ему в голову явились странные мысли. Даже не мысли — какая-то связка представлений.

Великая Река — литая, вязкая обская вода течет между покорными песчаными берегами не быстро, не медленно — Божественным ходом. Течет, наливает, прет, кажется, и под берегами, милостиво разрешая им быть над собой на тысячи километров к западу и к востоку. Это великий поток стремится на Север, в отверстый сквозняк Губы — этих врат в царство Мертвых.

В ней неисчислимо всего, во что воплощается природа, тьма тьмущая мускулов сжимается под ее суровым полотном. И в ней легко и просто согнуть, пропасть, стать пищей пищи.

Случайность ли, что ее древнейшие береговые дети, с их скупо отмеренными телами, за тысячи лет не научились плавать и даже не пытались научиться?

Бренная, на срок задышавшая глина с отмелей — кеты, ханты, селькупы — знали и умели все, что им было положено. И отказывались знать и уметь неположенное.

Обская вода — коричневая и зеленая, с сизыми плавниками притоков. Половина ее принадлежит живым и дана им в умное кормление. Но другая половина — мертвым. Недаром она лечит раны. Это понимаешь за полночь, когда речное лоно начинает глухо бормотать и будто мерцать изнутри. Еще острее это понимаешь в полдень, под колючим солнцем, на нескончаемом перегоне между селами, каждое из которых уже поэтому — миф, обыкновенный миф. Когда жарит, когда по берегам поочередно встают неведомы дымы, — и пейзаж повторяется, повторяется, как рисунок на обоях, — и вот уже мнится, что эти дымы, этот свирепый плавень по призрачным берегам — одни и те же. Их, в обгон судна, переносит все севернее та грозная сила, чье неотступное присутствие без передышки ощущаешь и кожей, и тем, что хранимо черепом.

И в свой черед — встреча живого и мертвого, отслуживший (не людям, а реке) берег осел и утонул. На его месте улица, смытая в Обь, — дома, распавшиеся на стенки, лежат в воде, белея размытым известковым исподним. И над ними, на срезанном яру, над пропастью хлопает в порывах ветра уцелевшая калитка, в которую нельзя войти, из которой нельзя выйти.

Глубокой ночью, когда на глухое небо сочится с запада бледный фиолетовый отсвет, катер мчит тебя по течению — река раздвинулась, берега далеки и черны, как нескончаемые трещины, приглашающие в бездну.

И вдруг над катером, торопящимся из последних немалых сил, видишь пару лебедей, одетых мраком, ровно, спокойно машущих фиолетовыми крыльями. Их тянет Север, они плывут в небе, сверяясь с Полярной звездой. Они не торопятся, любовно, бережно держа взаимное равнение. Но катер не может их перегнать.

Воскресная тишина. Когда Крылов открыл глаза, Люба сидела перед ним за трельяжем и, посмеиваясь, примеряла его очки. Утро, чистое солнце первозимья. Прижмуриваясь, он различал Любин глаз — циклопий, обрезанный оправой в кружок, ярый, словно готовый вот-вот вспыхнуть под нечаянной лупой.

— Как маленькая, — сказал он.

Когда-то она полюбила его за очки, в которых он был «симпатишнее», чем без них, а также за городскую изнеможенность и будущую ученую карьеру — это всерьез тогда уважалось неизбалованными девочками из обских сел как обещание достойной жизни.

Люба одновременно сняла очки левой рукой, правой поправила на всякий случай халат, молниеносно, точно своровав, глянула в окно и глядела уже в зеркало, как не отрывалась.

— Придется очки носить, — сказала она, — а не идут они мне ни черта!

— Рысь в очках, — сказал Крылов, — где же это видано?

Мимика лица, жесты, и походка по-своему тоже, складывались у Любы из быстрых и отдельных, независимых движений. Они были звериными. Люба как будто попеременно мигала руками, ногами и головой. В Любиных предках была, скорее всего, рысь. Когда Люба принималась бессловесно ворчать-кряхтеть (имела она такую привычку), Крылов невольно искал на кончиках ее ушей известные кисточки. («Как же ты попала в мой капкан?» — в гордую минуту спрашивал ее Крылов.)

Тридцать лет назад эта неповторимая лесная повадка доводила Крылова до полной потери рассудка и самолюбия. Люба умела с талантливой невинностью ставить его в патовые положения, ей нравилось, что он немеет, столбенеет, а лицо его изменнически краснеет и белеет: пунцовые пятна на снежном насте. «Клубника со сливками, — радовалась Люба, — признак ревности и зависти. Кому ты завидуешь, Сережа?»

Это свойство проявилось у Крылова с пропащего раннего детства — ничего он не мог скрыть, утаить в глубине своей души, румянец выдавал его волнение, его вранье, если он врал. А ведь без хорошего вранья и детство — не детство.

Справедливости ради надо заметить, что в пресловутую кра-ску его вгоняла любая, самая ничтожная, безвредная мелочь. Но как раз этого-то и не понимали окружающие, видя за спо-лохами всегда сильные, необычайные — и скверные — эмоции. Так было и так будет, видно, до смерти.

И только тут Крылова озарило. Еще бы Смородина не опол-чилась вчера на него в полном составе: конечно, «клубника со сливками»!

Он махнул рукой, напугав Любу — она даже привстала в не-доумении — и пошел звонить таксисту. Отозвался собачий питомник. Опять таксист, опять шапка, — возмутились из пи-томника, — у вас ни стыда, ни совести. И прямо в ухо Крылову дважды гавкнула, как гаубица, неизвестная собака.

Надул таксист. Ну, хорошо. А того он не ведаёт, что фами-лия его Казаков нам известна. В телефонной книге Казако-вых слишком много — пустое. Таксопарки. И Крылов насел на справочную, и через пень-колоду за час исписал блокнотный листок столбиком адресов и телефонов. Впрочем, на телефоны он не надеялся, в чем Люба была с ним согласна.

— Поехали, ты обещаешь, — строго сказал он жене.

И вдруг они поругались. Люба достала для него черную, стро-гую шапочку Маши, вместо позорной ложниковской, а он на-отрез отказался ее надевать: поеду в позорной, из принципа поеду. В конце концов Люба сказала, что он идиот и что он поедет один. Она выдала ему сто рублей на развозы, и его пе-редернуло от данной цифры и от того, что даже мелкие деньги ему выдает она, а крупных и вовсе не выдает, считая его ничем-ным расточителем семейной кассы.

А двести выкупных рублей своей рукой положила ему в кар-ман рубашки и нарочито застегнула карман на пуговицу.

Он вышел на улицу гневный и мужественный. И сделал еще одно открытие: он не знал города. Он знал Обь со всеми ее притоками и извилинами, а в городе знал разве что извечный маршрут до университета. И путь этот он знал наизусть и мог добраться до цели вслепую. Но за мещанскими названиями улиц, на которых находились таксопарки, не вставало никаких ориентиров.

За день он проверил всего четыре адреса. Два располагались по соседству, но это он узнал слишком поздно, а потому лишний раз пересек город из угла в угол. И Казаков не обнаруживался, и город оказался неприветливо-тоскливым, населенным нескладно говорящими, простуженными людьми. В сумерки он вернулся домой, злой.

Его встречала Маша. Она коротко, с вызовом, остригла волосы, уцелевшее выкрасив бело-розовыми полосами. На затылке торчал вихор. Прозябший, с водой в глазах, он не сообразил хотя бы поддеть ее за модность. И хмурая Маша закрылась в своей комнате.

Он хлопнул стопку, запил ее кружкой чая и завалился спать.

Люба вернулась поздно, она навещала сестру и воспитывала ее мужа-алкоголика. Довольная — наверное, удачно воспитала. Она растолкала Крылова и сказала:

— Я вижу, шапки нет. Не нашел злодея?

— Не нашел, — ответил Крылов, не подымая век, — но найду обязательно. Поняла?

— Говоришь так, будто я рада, что не нашел, — рассердилась Люба, — чтобы обидеться послаще, да? Нет, Дедушка, ты его найди, пошевели ходулями. Или без меня трудно? Раньше ты без меня ничего не делал — Люба то, Любушка это. За квартиру заплатить где — и то не знаешь.

И где-то далеко:

— Машка, он что, не ужинал? Иудушка какой-то!

8

Назавтра Крылов дважды съездил на работу и в промежутках между занятиями проверил еще три адреса. Один оказался липовым.

Нигде не знали таксиста Казакова. Портретист из Крылова был плохой. Спрашивали, какая у того машина, но Крылов не помнил, не знал. Он не разбирался в машинах, не различал даже «Жигули» с «Москвичом».

Может быть, его обманывали? Он говорил, что должен таксисту деньги, хочет отдать, да потерял бумажку с телефоном. Вроде бы, убедительно, правдиво. Но есть говенная цеховая

солидарность, нечестный Казаков мог предупредить об его появлении, описать его внешность (Крылова передернуло: он вообразил себя в этом описании).

Несколько раз он замечал усмешки по поводу шапочки с помпоном. Что это: шапочка потешная или они в курсе дела?

Худо, если он уже побывал, где надо, и придется кататься сызнова.

Вечером позвонила Маша Ложникова. Трубку взял Крылов, но Маша позвала Любу и прежде всего спросила про шапку. Что, он не смог бы ей ответить сам? Милая бесцеремонность — «позови маму».

Люба говорила:

— Ищем. Ходим туда, не знаем куда, с бестолковинкой, конечно. Тебе ли нас не знать?.. Слушай, я сегодня зашла в «Альянс», потом в «Шик», в «Марсель», в «Парижские тайны» — нигде не нашла!.. В «Рандеву»? Точно в «Рандеву»?..

«Боже мой, — подумал Крылов, — Марсель, Париж. Чтоб вы провалились, чертовы бабы». И напросился к соседу-пенсионеру Вячеславу Рашидовичу поиграть в шахматы. Одинокий сосед был очень рад.

Он разгромил Крылова со счетом 22 — 3 и угостил его «кызы» — доломитовой конской колбасой.

Жизнь полна сюрпризов. Поминутно трогая челюсть, Крылов вернулся домой в три ночи.

9

Казаков нашелся на третий день. Он трудился в таксопарке, которого не было в списке справочного бюро. Помогла случайная подсказка. Да, этих таксопарков развелось в городе пруд пруди. Гараж на три бокса, будочка, где сидит увядшая женщина с немой головой и обведенными под «вамп» очами, а рядом с ней утомленный ребенок делает уроки, сутулясь над пустой бочкой, накрытой обрезком столешницы. Вот тебе и таксопарк.

Казаков выходил ему навстречу из гаражной полутьмы. Как честный человек, он был смущен.

Казаков: Измена вышла! Вы опоздали!

Крылов: Вот вам двести рублей. Пожалуйста шапку.

Казаков: Вы опоздали — нет у меня шапки, извините. Срок вышел.

Крылов: Какой срок? Вы меня сознательно обманули, чтобы присвоить мою шапку. (Женщине) Он дал мне номер собачьего питомника.

Женщина: Интересненько.

Казаков: Я перепутал номера. Очень похожи. Но шапка ушла, так что... извините.

Крылов: Извините! Двести рублей — моя шапка!

Женщина: Мужчина, не скандальте — невкусно.

Казаков: Уберите свои деньги. Дохлый номер.

Крылов: Или шапка, или три пятьсот. Вы хотите, чтоб я на вас в суд подал?

Казаков: Нет у меня денег.. Подавайте, я согласен. Драться не будете по морде? Дам сдачу для округления счета.

Крылов: Судиться буду, судиться. Не выкрутишься.

Женщина: Э, ты и вправду огорчился, Казаков. Долгая будет история. Но засудят тебя, Казаков.

Казаков: Пусть засудят. Судьба моя такая. Может, возьмете мою?

Крылов: Этот трех засаленный? Ты обнаглел, мерзавец! Хам!

Казаков: Засунь язык в задницу, пузан!

Женщина (Крылову): Мужчина, вам плохо? Красный какой, белый... Сейчас упадет.

Ребенок: Умрет?

Женщина (Казакову): Извини, Вадим Петрович, но ты — бессовестный. Не ожидала. Свинья почти что. Отдай шапку, Бог накажет.

Крылов: Так... Казаков Вадим Петрович. Молодец. Стоимость шапки плюс моральный ущерб — тысяч двадцать. Это раз. Я найду вашего хозяина — и он вас уволит — это два. Уволит! Уволит! С ума сошел, милейший Вадим Петрович!

Женщина: Точно! А я и не подумала. Уволит тебя Джафар, как пить не дать!

Казаков: Подожди... подождите. Надо позвонить (уходит в гараж, доставая сотовый телефон).

Крылов: О чем он думает? Уволит его хозяин. Такая тень на ваше заведение.

Женщина: Тень. Те-ень!

Крылов: Тупой. Зачем других за дураков держать?

Женщина: Мы, русские, все такие. Грудь в кустах, голова в крестах!

Крылов: Наоборот.

Женщина: Однохренственно. Но замечу, жена его заедает, деньги отбирает. Помещица! Жена, теща, братец жены — сели на шею и курдюки свесили. А он, бывает, сигаретки у ребят стреляет. Своей воли нет. Точно, что шапку жена прибрала, а он послушался.

Крылов: Да? Хм., сочувствую.

Женщина: А почему дуру гнал, почему звонить побежал? Жена, жене. Ей, курве.

Крылов: Он говорил: детей шестеро.

Женщина: Ха-ха-ха!!!

(Появился Казаков.)

Казаков: Жена отдала шапку брату своему. Его еще найти надо. Дайте два дня, прошу вас. Давайте телефон, адрес, пожалуйста. Войдите в положение.

Крылов: Бог с вами, записывайте (Диктует). Но два дня, не больше.

Женщина: Вы еще подружитесь. Казаков, пора тебе: лети на Лебедева, 8. Подъезд четвертый. Вот телефон.

Казаков (Крылову): Могу подвезти.

Крылов: Езжайте, работайте. Пешком пройдуся.

Ребенок (Женщине; Казаков уехал, Крылов выходит за ворота): Зря поверили! Казаков — врун. Он говорил, что в Оби водятся акулы.

Открыв дверь, Крылов с порога швырнул помпошку в угол. Неужели, спросила Люба. Крылов рассказал. Люба помрачнела. Это еще присказка, рано радоваться. Но — и то хлеб. Подождем. А если волянит элементарно?

— Подам в суд, — сказал Крылов.

— А ты представляешь себе, как будут на этом суде выглядеть Бронниковы? — сказала Люба. — Почему ты думаешь только о себе?

— Ладно, — сказал Крылов, — давай купим новую шапку и забудем. Я готов. Но эти три тысячи ты отнимешь у Маши: плакал ее Петербург!

— Не надо мне никакого Петербурга, в гробу я видала Петербург, — высказалась Маша, безусловно имея в виду отца.

— А я — Париж с Марселем, отозвался Крылов.

— На что ты намекаешь? — очень холодно сказала Люба.

Они не ссорились лет десять, а тут подряд, день за днем!

Перед сном Люба сходила на кухню и молча принесла ведро с мусором, набитое до отказа, поставив его между Крыловым и телевизором. Крылов заскрипел зубами, потрогал челюсть и пошел во двор.

Около мусорных баков копошились бедные полулюди. Мужчины и женщина.

Опрокидывая ведро, Крылов услышал легонький, веселенький смех мужчины.

— Что ты там нашел, что веселишься? — спросила женщина.

— Картошечка вареная, свежая, теплая еще, — ответил ее друг.

— Про меня не забудь, — сказала подруга, — да ты не забудешь, я знаю.

— Лучшую тебе отдам, — сказал он.

Придя домой, Крылов порывался рассказать об этом жене и сдержался с большим трудом.

10

Два дня Крылов проходил в Машинной шапочке, даже привык. Однажды мелькнула мысль: не обойдусь ли, если... Нет, Люба за презирает. Нельзя. Каким-то скальпелем мелькнула другая, неоформленная мысль — о потере всего привычного и любимого.

В пятницу, отведя две лекционные пары, Крылов вышел из главного корпуса университета, по привычке оглянулся на фасад, чтобы свериться с часами, и в очередной раз фасад сообщил ему, что часов на нем нет. Юмор заключался в том, что часы, этот символ исторического заведения, сняли семь или восемь лет назад, а года еще два до этого они позорно стояли, замерев на половине третьего.

Но Крылов и ему подобные продолжали, покидая службу, оглядываться на фасад и плохо думать об университетском начальстве. (И неважно, что у всех были часы на руке и на сотовом телефоне — нет, коллеги, уверенная в себе корпорация должна иметь Главные часы, как город, как страна.)

«Привычка свыше нам дана», в очередной раз, в продолжение ритуала, подумал Крылов и закурил: потеплело, приятно было смешивать дым со свежим, сладковатым воздухом Елани.

Слева, навстречу, и справа, в обгон, торопились в затылок друг другу многочисленные студенты и готовые окормить их пастыри, китайски покачивая головными уборами. Большой перерыв. На скамейках там и тут присаживались одиночки и стайки, вились дымки, занимались быстрые разговоры, и кто-то, вставая над товарищами, повествовательно размахивал руками.

Крылов пригляделся: на крайней скамейке у тротуара сидел Неелов, богемно закинув ногу на ногу, его длинный пестрый шарф выбился наружу и свисал двумя лентами вдоль пальто, напоминая о брачной окраске самца.

Это вполне вязалось с образом Неелова, но, подойдя к нему, Крылов поразился, до чего же скверно он выглядел.

Неелов встал, приветствуя его: при свете дня он был вылитый зомби, гальванизированный труп, пролежавший месяц в могиле и зачем-то снова вызванный в жизнь. Его приодели, навели ему маску, но члены его уже забыли природный порядок движений, а глаза не помнили, как правильно наводить взгляд, и несогласные зрачки сваливались в разные углы.

«С ним что-то случилось. Долгий запой, бессонные ночи? Или пришел Бабай, и он всегда будет такой?», — подумал Крылов, обнаруживая, что из расстегнутого пальто худощавый Неелов выкатил увесистый шар живота.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Неелов.

Крылов оторопел, не понял:

— Погоди, это кто сказал — ты или я?

— Помнишь, — сказал Неелов, — как мы с тобой провели здесь парад на рассвете двенадцатого июня 1980 года?

Тогда складывалась Смородина. Они были уже всюю знакомы, Крылов уже был своим в их общежитии, накануне они с Любой подали заявление в ЗАГС. Но они не сговаривались с Нееловым о встрече в университетской роще на рассвете двенадцатого июня. Просто Неелов защитил диплом и догуливал пир, перейдя через дорогу из общежития в рощу, а Крылов,

защитив диплом, решил догулять свой пир, придя через полгорода в рощу из своего общежития, с Южной площади. Почему Неелов был один и Крылов был один? Пересидели, перебдели свои компании, и, когда сотрапезники разошлись или повалились, в поисках новых товарищей, не раздумывая отправились в университетскую рощу.

В те времена в дипломном июне роща кишела студентами с вечера до утра, и вписаться в какую-нибудь шайку, имея бутылку портвейна, было проще пареной репы.

А бутылка была у каждого из них, портвейн «Кавказ» — поило, достойное глубоких гуманистических сожалений.

— Да уж, — сказал Крылов, — «Прощание славянки»!

Странно, но тот восход в роще они увидели вдвоем, сойдясь у памятника Куйбышеву, ныне снесенного, — вульгарной подделки под древнеегипетский монументализм. Куйбышевым был опорочен Рамзес Второй.

Тем не менее, они очаровательно провели время: плеснули портвейном на беззащитный гульфик вождя, помочились в урны, посражались на мечах, отломив для того по свежему ивовому суку, лазили на дерево, в котором с робостью опознали дуб, единственный на всю область.

Они нарвали дубовых листьев и закусывали ими портвейн.

Проснувшиеся птицы не умолкали, приветствуя их в утренней дымке, подогретой лучами Авроры. Белоснежный университет, проступавший повсюду сквозь сияющую зелень, ласково следил за ними десятками вездесущих окон. Летите, голуби, летите!

Завершили тем, что обошли на прощание чеканным строевым шагом все дорожки рощи, распевая местную версию «Прощания славянки»: «Вот и кончилась летняя сессия, занималась над Томском заря...» Неелов великолепно свистел, вставляя в рот большой и безымянный пальцы, так звонко, так мощно, что его стошнило, отчего стошнило и довольного Крылова.

И ничего им за это не было.

А все-таки тяжелый человек этот Женя Неелов. Случались и другие совместные истории, они сближали, как же иначе? Но Неелов стряхивал этот опыт, становился по-прежнему социально-близким и даже недобрым. Он был слишком погружен

в себя, свои несбыточные амбиции; от тесных отношений его удерживала и работа в газете (шла она ни шатко ни валко, «рыночно», но общением он там наедался до психозов).

Он был непроницаемо-зыбок, и его нетрезвая выпренность словесность это разительно оттеняла. Сама любезность, трогает тебя за плечо, может тебя приобнять — но стойко ощущение, что млеет он не от тебя, а от какого-то другого собеседника, чьим призраком тебе довелось быть. Сладострастник с частыми, но краткими праздниками. И в то же время в лице его читалось: я знаю о тебе нечто, вообще и конкретно, но безразлично промолчу об этом, много тебе чести.

Но сегодня заговорил.

— Бронниковы разносят эту сагу, — сказал Неелов, — про лох серебристый. Большой успех. Ты набираешь очки, публика ждет продолжения с кровью.

— Гадко это все, нечестно, — похолодел Крылов, — ты-то со мной согласен?

— Согласен, — равнодушно, свысока ответил Неелов, — но не забудь: они к тебе чудесно относятся.

— «Чудесно»? Да я для них — недалекий ихтиолог, расстегай с рыбой!

— А я — стакан браги. Ну и что?

— А ты согласен, что если бы не Смородина, Латы бы так себя не вели?

— То есть Смородина плохая? Плохая, брат Крылов. Как ты раньше-то этого не замечал, изумительно? Задумайся... Плохая, да другой нет. Какое, милый, тысячелетие на дворе? Когда на улице стужа — и подъезд оазис, как говорил великий Ленин.

— Да ведь они и тебя топчут, — сказал Крылов и пожалел, что сказал (дурак, дурак!).

— А кто я такой: пропойца, неудачник, амуры мои дрянь, пошлятина. Это судьба. Сокурсничество — спасительный свальный грех. А я грешник.

— А я?

— Ты? Ты тоже сын судьбы. Помнишь, еще до угара, подсунули тебе сырое яйцо — дескать, раздавить его в руке невозможно, сам Ложников не смог? Ты, конечно, его ретиво раздавил —

и весь обшмякался. Что и требовалось доказать. Не в обиду будь сказано, сотри с себя яйцо, а потом требуй хоть орден Почетного Легиона.

Он говорил совсем не обидно, наоборот, сейчас он был ближе, чем когда-либо. «Спасибо за науку, Женя».

— Каждому свое. Ты ведь не куришь в постели, наверняка и не пробовал. И Люба здесь не при чем, хотя хотел бы я посмотреть, как ты закурил в постели при Любушке-голубушке.

И это не покорило Крылова.

— А я курю. И имею от того негу с истомой.

— Спасибо за науку, Женя, — сказал Крылов.

Неелов изменился в лице, собрал глаза и подобрал брюхо. Он снова был социально-близким.

— Извини, брат, я девушку жду. А ты подумал — сантименты, Неелов навестил альму-матерь? — сказал Неелов и погладил его по плечу — Ради Бога, не оглядывайся — вон она идет. Пока, не шали, Дедушка.

Крылов пошел, но от университетских ворот все-таки оглянулся. Студенточка, хорошенькая, беленькая мордочка, тонкие ножки под коротенькой дорогой шубкой. Колготок как нет — ценит она свои ноженьки, «набирает очки», да. Зачем ей разведенный временем ржавый Неелов? Он ей надежно годится в отцы. Жизнь полна сюрпризов.

11

Ранний вечер того же дня, четыре часа спустя. Таксист Казаков позвонил в срок и сказал следующее:

— Жена не велит отдавать шапку, брат ее Серя говорит, что все ему по барабану — как Снежка скажет, так и будет, и вообще прикольно. Снежка раскопала про вас какую-то гадость, компромат какой-то, приготовилась шантажировать. Я не верю, там вранье какое-то...

— Какой компромат? Откуда она может что-то обо мне знать, ваша Снежка, — изумился Крылов, — в принципе невозможно, я сроду чужого не брал и никому жить не мешал.

— Не знаю, — вяло сказал Казаков, — мы шегарские, вы же бывали в наших краях? Вот там как-то и наследили, не знаю...

Что? Кто? Когда? С ума сойти. (Снежка — это Снежана? Любит наше село такие грациозные имена — Снежана, Диана, Андже́ла. А посмотришь, у Анджели этой коза в носу и траур под ногтями.)

— Я бы отобрал шапку у шакаленка, но не могу я против жены выступать, косяков у меня перед ней миллион, — сказал Казаков, — и люблю ее. А разведемся — куда мне пойти? Мои старики умерли, дом шегарский продан.

— Какой вам развод, — сказал Крылов, — шестеро по лавкам.

— Нет у меня детей, пошутил я, наврал, — сказал Казаков.

— Совсем нет? — уточнил Крылов.

— Совсем нет, — печально отозвался Казаков.

— Подкаблучник, гад, — сказал Крылов.

— Гад конченный, — согласился Казаков, — делайте со мной, что хотите. Стыдно, спать не могу. Вы не...

Крылов положил трубку. Он пока не мог вспомнить за собой маломальского греха, но уже смутно подозревал, что тут не одно дешёвое, наглое хватание за груди. Можно же быть случайно виноватым — кто из нас, детей застоя, случайно не виноват? Какая-то накипь поднималась в памяти, что-то, надёжно забытое, зашевелилось в ней.

Совість моя чиста, повторил Крылов несколько раз про себя, беря в руки флакон «Френч-канкана» и натирая одеколоном подбородок. Он увидел себя в зеркале: толстый человек в узбекском халате с оплывшими икрами выглядел нелепо и незащитно, а главное — был совершенно, исчерпывающе некрасив. «Люба не может меня любить», — подумал он, и мучения его удвоились.

Телефонпризвалегоснова. Теперьснимбеседоваласамаснежана Казакова. Можете в суд подавать, Крылов Сергей Николаевич, сказала она, но не советую, ох, не советую. Что упало — то пропало, есть такая мудрость. История средних веков, шестой класс. «Образованная, что ли», — взъярился было Крылов. На этом суде, сказала Снежана, я всем доведу, как вы погубили Оксану Тихомирову, бедную, невинную девочку. Как она за любовь свою погибла. Попользовался и бросил, «у меня жена есть».

— Как же вам не совестно, — закричал Крылов, которого пробила морозная дрожь — он вспомнил! — вы же прекрасно знаете, что я здесь ни при чем. Я до Оксаны пальцем не дотронулся, никакого повода ей не давал и не мог дать...

— Вот на суде и расскажете, — торжествующе хихикнула ведьма, — а мы слушаем.

— Сволочь, — сказал Крылов.

— Очень приятно, а я Снежана, — ответила она, — что упало — то пропало.

И на этой ликующей ноте прервала связь.

Семнадцать лет назад покончила с собой — повесилась, может быть, от несчастной любви к Крылову — семнадцатилетняя Оксана Тихомирова, шегарская девочка, дочь его знакомых, у которых он останавливался три командировочных сезона подряд. О том, что эта хорошая, симпатичная девочка была в него влюблена, Крылов, как и все другие, узнал только из ее прощальной записки. Причем текст записки не позволял судить об этом с полной уверенностью. Оксана написала: «Не могу больше жить. Прощайте, папа и мама, прощайте, Сергей Николаевич, мой свет в окошке. Еще бездонней, еще страшнее жизни мгла. Оксана».

Девочка была замкнутая, но добродушная, совсем не истеричная на вид. Не реяла над ней рок. И ушла она из жизни согласно закону, которому нет названия, но который настойчиво выкашивает из жизни городских и сельских девочек, не набравшихся к ней почтения.

Отношения у них с Крыловым были приветливыми; если Оксана и выказывала какие-то знаки особого внимания к нему, то, видно, слишком робко — а Крылов, типичный университетский человек, никогда не отличался наблюдательностью. Ему и не приснилось бы, что его, плоскостопого тюленя, может полюбить юная мечтательная особа, выучившая наизусть всего Блока. Он при ней, помнится, говорил, что стихи он не любит, не ценит, для него стихи — это запах свежей рыбы или коптильни.

Сейчас Крылов почему-то был уверен, что не было ни малейших знаков, опыт ему подсказывал, что их не должно было быть исходно, что любовь здесь дело десятое или вовсе никакое.

Все знали, что он трогательно любит Любу. Тем летом, в те дни он звонил ей каждый божий день, бегал на деревенскую почту: Люба донашивала Машу, оставались считанные недели. Он боялся, что Люба родит без него, и коптил отборную рыбу, обещанную главному врачу роддома.

Раздавленные горем Тихомировы в слезах и шепоте переживали свою вину, которой наверняка не было, но даже в первый жуткий день Крылов не услышал от них слова упрека. На его месте мог оказаться любой другой нестарый человек из большой городской жизни. Любой, коль уж это место занял неказистый Сережа Крылов, безобидный, как херувим.

Но, конечно, история разнеслась по деревне, и кто-то не замедлил впрыснуть в нее яду, обмазав грязью и родителей, и Крылова. Ничего не поделаешь, не каждый деревенский год выбирают петлю выпускницы средней школы.

Крылов уехал в город сразу после похорон. Сейчас он, краснея, вспоминал, как украдкой, будто бы между прочим, укладывал в отличный двойной мешок копченую рыбу для главврача, щадя убитые горем родительские души. Люба родила через три дня, очень благополучно.

Все всплыло, ожило, от Оксаниной походки до сверточка со смирной Машей на коленях Любы, усталой, с искусанными губами.

Он не рассказывал ей об Оксане, тогда это было извинительно, а потом прошло время. Сегодня, когда рядом такая помощница, как Снежана, тем более не стоит ворошить прошлое.

Но угнетало собственное несовершенство: разве нормальный, приличный человек может так наглухо забыть тихомировскую трагедию? Разве Тихомировы чужие были люди? Тихомировы (известили его с оказией) уехали в глухомань, на Средний Васюган. И он не удостоил их ни открыткой, ни приветом за все протекшие годы. Он поддерживал связи с многочисленными знакомыми по всему краю, но понятна санитарная логика, по которой он стер Тихомировых из своей жизни. В ней была доля малодушного эгоизма и была доля вины, все-таки вины.

Забыть Оксану требовалось, о ней не должны были знать ни Люба, ни Маша, ни Смородина. И они не знали о бедной Оксане. И не узнают, но неужто он забудет эту историю еще раз? Ай-я-яй!

Еще через час пришла Люба, и Крылов сообщил ей то, что положено: шапку выдавать не желают, готовы судиться и так далее. Водитель умывает руки, дирижирует жена по кличке Снежана и так далее. Ты мне все рассказал, спросила Люба, ничего не утаил? Все, ответил Крылов: тень Оксаны, однако, стояла между ним и окном.

— Что ж, — сказала Люба, — не гоняться же мне за этим Серрей! Мой муж — не гастарбайтер, он не может ходить в колпачке. Чтоб меня клевали — никогда. В воскресенье будем покупать новую шапку. Порадуем Машку, повеселим родную Смородину. Или Бронниковых попросим тебе шапку купить?

— Нет, — сказал Крылов, — нет. Но, может быть, зайдем на стороне денег, я спрошу у декана, он нынче богатый. А скажем: вернули. Они же не приглядывались, и купим похожую.

— То есть, — сказала Люба, — наврем? В отличие от тебя я вранье ненавижу. Денег мы никогда не занимали и занимать не будем. Перебьемся. Я продам Анне Ивановне свой замшевый пиджак, она на него зарится. А ты — ты, пожалуйста, телевизор смотри. Амеба!

Крылов молчал. Тень Оксаны Тихомировой не уходила. Паршивая шапка, без которой он прекрасно бы обошелся, и которую он теперь будет отвоевывать любой ценой! Он понимал, что возвращение шапки может быть запоздалым и в сущности ненужным. Но надежда оставалась. Другое дело, что сейчас он оставался один, и ему оставалось одно.

Люба зарыдала, громко, тяжело.

— Как ты мне надоед, опротивел, — сказала она. Слава Богу, Маша этого не услышала.

12

Ночью жена и дочь долго разговаривали на кухне. Они бубнили, камлали своими низкими голосами, включали свистящий чайник, звякали ложечками, утонченно размешивая сахар. Крылов проснулся. Все эти звуки, прежде неотделимые от уюта и согласия, теперь вызывали у него повышенное сердцебиение. Прежде Люба не баловала Машу вниманием. Не шушукалась, не откровенничала с ней. Крылов огорчался: между красавицей мамой и папиной дочерью бегала неутомимая кошка. Но была спокойная уверенность, что это израстется, время затянет царапины.

Однако для того, чтобы они сблизилась, объединились сейчас — и объединились впервые, — нужен был сильный внешний раздражитель, и Крылов в тоске догадывался, кто этот их внешний враг.

Обидно и позорно. Он все стремительней и отчетливей сознавал, что ничтожная история с шапкой — предлог, повод, маленький снежный ком, приводящий в движение многократно перекормленный снегом склон. Что настоящие причины родом из их длинной совместной жизни, казавшейся ему достойно-мерной, обихожной, полной доверия.

Собственная близорукость представлялась ему абсурдной и непростительной.

Для него наступил звездный час — он делал открытие за открытием. С чего ты взял, спрашивал он себя, что честная доцентская бедность вполне устраивает твою семью? Или ты не замечал, насколько задевает Любу и Машу недостаток Ложниковых и Строевых, наряды их детей, их отдых в Испании и Греции? (Впрочем, тут самолюбие дыбилося упрямее всего: он честный работник, они должны понимать, что на таких, как он, держится великий университет, что он держит университетскую свечу и за это когда-нибудь будет непременно вознагражден.)

Почему ты был уверен, что добрые, мягкие слова, которых ты, конечно же, не жалел для своих, есть высшее условие семейного лада, а не то, что называется «зубы заговаривать»?

И даже такое. Под подозрением была уже и типичная мужская иллюзия, согласно которой физическая близость с женой гарантирует едва ли не родство душ.

«Выходит, я им навязывал свой суржик, а они делали вид: ништо, терпимо! Так они это видят», — размышлял Крылов.

Полбеда, если счастье однажды изменило. Полная беда — однажды понять, что его никогда и не было, и виноват в этом ты сам.

«Они обсуждают меня и говорят обо мне плохо», — думал Крылов, назло им замерев под жарким одеялом. Ему страстно захотелось, чтобы Маша за него заступилась, вспомнила хорошее. Давно ли она называла его папочкой, гордилась в классе, что он доцент университета, которому иногда приходят письма из Великобритании и Новой Зеландии? Правда, прошло время, и письмами-марками из дальних стран никого не удивишь...

Опять засвистел чайник, бодрый футбольный хулиган.

Крылов встал и подошел к кухонной двери. Он старался идти тихо, как индеец, но пол заскрипел под его колоссальными ногами.

Жена и дочь оборвали разговор и смотрели сквозь дверное стекло, в темноту, скривившись, будто одновременно у них приключилась изжога. Когда он потянул на себя дверь, они невольно вскинули протестующие руки.

И он не стал заходить к этим двум женщинам, чье существование он методично, с присущим ему добродушием отравлял долгие, долгие годы.

Он сделал три шага на месте и услышал Машу: «Он ушел».

Чтобы так сказать «он», нужно век тренироваться, покачал головой раненный навывлет Крылов. «Наконец-то им хорошо. А у меня нет ничего, кроме ключа от двери», — подумал он и улегся спать поверх одеяла, назло, наверное, судьбе.

Одиночество, когда тебе под пятьдесят, может оказаться беспросветным. Из той темноты возвращаются редко, и ключ становится не нужен.

Остался последний шанс доказать хотя бы себе — а повезет, и семье — что ты можешь быть правду имущим. Что там лежит на дне ящика Пандоры?

13

...Витя Хитров — тонкое, надменное лицо, шрам через весь лоб. Одноклассник и кумир Сережи Крылова Витя Хитров, кривоногий мальчик с ипподрома. Он умел собирать вокруг себя ребят, среди них были и восьмиклассники и один (занюханый, откровенно говоря) девятиклассник Игорь, помешанный на Луи Армстронге. Сережа Крылов с детства рос человеком, склонным греться от чужого огня. Дружить с Витей было огромной привилегией, пройти с ним поршнем по школьному коридору было верхом самоутверждения. Чтобы закентовать с Витей, Сережа начал курить сигареты и всегда имел под рукой любимый Витин «Друг». Витя это оценил: ты дружище.

И вот, на перекуре в пришкольном уличном сортире, над задумчивыми очками, которые географ называл окнами в мезо-

зой, Витя объявил: 15-го марта мой день рождения. Отмечаем на ипподроме, ждите приглашения, будет вино.

Сереза хорошо рисовал. Он склеил три листа ватмана и нарисовал всю банду с Витей в центре. Изобразил очень похоже. Мама, учительница в их школе, узнала каждого без подсказки. Внизу Сереза подписал: «Живем мы небогато, но с нами всегда смех, люблю я вас, ребята, а Витьку больше всех».

Он, трепеща, ждал приглашения на праздник до самого обеда 15-го марта, надевая и снимая отцовы унты, — путь был на окраину.

В обед его прорвало, и он, четырнадцатилетний, завыл и изорвал картину в клочки, а потом лег лицом к стене и до ночи разглядывал известку. Два следующих дня он прогуливал школу, слоняясь по городку вдоль и поперек, и получил фингал около кинотеатра «Победа».

Никому, кроме родителей, не было интересно, почему он прогулял школу и получил по физию, почему перестал ходить на перекуры в сортир.

Причина неизвестна. Витя Хитров пригласил к себе на день рождения всех, исключая Серезу...

...Совсем недавно, задержавшись на пару слов с коллегой у дверей гуманитарного корпуса, Крылов стал свидетелем вопиющего безобразия. По другую сторону от входа стоял, куря, одиночный студент, совсем еще мальчуган, маленький, тощенький, на пружинках, с лицом, замаскированным прыщами. Поздняя весна, вдоль фасада и от фасада до проспекта целая рота публики, много заведомо весенних девушек.

К мальчику подбежал некто постарше, румяный, крепкий, круглолицый, и два раза ударил его по лицу. Опытной рукой, сильно. И было заметно, что он делает это скорее довольный предоставившейся возможностью, чем от необузданного гнева. Мальчик ударился затылком о стену и присел на корточки.

— Молодой человек, — сказал герою профессор Говорков, — вы негодяй! Вы находитесь в университете!

— Ага? Забыл! — осклабился герой и по-хозяйски вошел в учебный корпус.

— Я тебя убью. Я тебе яйца вырву, — жалко, тихо, безопасно пролепетал ему вслед прыщавый мальчик. Он, конечно, не походил на богатыря, способного совершить такой подвиг. И кое-кто из свидетелей подавил гадкую улыбку, и все отвернулись к проспекту, как по команде. Мальчик никак не мог встать на ноги. Вокруг него образовалась пустота, его обходили по широкой дуге уже и те, кто не видел дела.

Крылов опомнился, подошел к нему и подал руку. Мальчик постыдился ее взять, все-таки поднялся сам и заковылял за угол. Он был еще и хромоножка (может быть, он был как-то виноват, сказал какую-нибудь пакость про румяного, про его, например, кобылицу-подружку?).

Крылов видел его беспредельно отчаянные глаза: что с тобой после этого будет, мальчишка?

...В начале жизни. Сереже пять лет, они с мамой в Москве, на Ярославском вокзале. Духота, вонькие люди той эпохи окружают со всех сторон, в воздухе раздражение, суета, усталость и просто капли пота. Мама решается отбежать в буфет, Сережа оседлывает кладь. Откуда ни возмись — цыганка, старая, страшная, взгляды... Твоя мама зовет тебя покушать, грибок, говорит она, вон она, там, иди покушай, я посторожу ваши манаточки. На нее тут же рывкает великан-дядька в старой гимнастерке и штанах с побелевшими лампасами: пошла вон, воровка!

Сержант, давай сюда, будь ласков. Цыганка бежит прочь, подпрыгивая над чемоданами и мешками, ленивый сержант идет ей вслед, выходит за ней на перрон и сразу возвращается: убежала. От тебя и улитка убежит, дерзко говорит ему дядька, развел бока, сиротка. Сержант не сердится, он уморен жарой и выстаиванием на ногах в умеренно-правозащитной позиции. За каждой тварью не набегаешься, побегай с мое сегодня, товарищ командир.

Дядька ругает возвратившуюся маму, держа на руках Сережу: он в обмороке.

Но между бормотаньем цыганки и рыком дядьки был момент неопишуемого ужаса: сверлящий взгляд цыганки, ее мухоловный голос, ее тело, опускающееся над ним, маленьким,

брошенным, одиноким. Облако из табачной вони и смрада грязной одежды, проникающее звяканье каких-то металлических предметов и худые желтые пальцы с синими ногтями — смерть, смерть!

Над Сережей поплыл потолок, он повис в воздухе, дядька подхватил его, гладит по голове, брошенного, слабого, одинокого.

Обморок, а потом молчание и тяжелая икота, и молчание — мама рвала на себе волосы.

Когда поезд подходил к родному городку, мама попросила его не говорить отцу про этот кошмар. Молодой отец был сердечником. Она на всю жизнь запомнила, как Сережа поделился переживаниями с соседями по купе. Он с такой скорбью произнес: «Когда мама оставила меня одного...», что маму битый час отпаивали валерьянкой...

...Древняя бабушка с утиным лицом без челюсти сидела на краю базарчика в маленьком городке за Енисеем. Напротив студент Крылов дожидался машины и продолжительно жевал серу, глотая слюну.

У бабушки никто не покупал ее некрасивые помидоры в паутинках и трещинах, а у ее соседок, горластых бабок помоложе, жевавших серу, цыркая слюной, брали и брали. И они стали смеяться над никчемной старухой — пустодомкой, пустодворкой.

И она заплакала, горько-горько, как брошенный ребенок, закрывая концом платка свои маленькие, Богом забытые глаза.

Бросила свои помидоры и пошла куда-то за городишко, трясясь, вкривь и вкось ставя свой баджок на пыльную золотую дорогу. Сухая степь веет богородской травой, над ней синеют холмы, и навстречу им бредет эта старушка, превращаясь в черное зернышко, исчезая с лица земли...

14

Раздольным субботним утром, когда жена и дочь продолжали отсыпаться, истощенные ночными посиделками, Крылов сделал несколько звонков разным лицам. Повезло, нужные люди отозвались, и он усмотрел в этом ободряющий знак свыше.

Пока он собирал дорожную сумку, поднялась Люба, поставила чай и разбудила Машу. С Крыловым они не разговаривали: не нужен.

Вновь они сидели на кухне, словно не ложились, только в окне за неподвижными голыми ветвями стояло пасмурное безмолвное утро.

— Срочно уезжаю в командировку. На четыре-пять дней, — сказал из прихожей Крылов.

В ответ красноречивое молчание. А ведь Люба — третий ка-
лач, она знала, что по субботам в командировку не посылают.

Он закрывал за собой дверь, как солдат, уходящий на войну. Сухость во рту, сухо на душе.

У подъезда его дождалось такси. По-прежнему на улице было сносно, даже тепло — Казаков курил у машины с непокрытой головой. Его отросшие монгольские волосы над складчатым лицом напоминали грубый парик, чем разоблачалась его фальшивая сущность.

Крылов молча нырнул в машину.

— Да-а, — сказал Казаков, садясь за руль, — странные бывают обстоятельства! Сегодня ты знахарь, а завтра идешь на хер.

Он избрал умиротворенный тон чуткого наблюдателя житейской пучины. О личном вкладе в судьбу знахаря он будто бы позабыл.

— На всякий случай, вот вам. Серя, — подал он маленькую форменную фотографию.

Оптимистичное лицо юноши, ломящегося в жизнь: ямочка на подбородке, сросшиеся брови и слабое эхо выпивки во взоре.

— Форсункин Сергей, 23 года, временно неработающий, — агентурно докладывал Казаков, — что еще?.. Высокий, метр восемьдесят, а слабоват, трусоват... На левой руке нет мизинца и половинки безымянного пальца.

— Пострадал от произвола высоких технологий? — спросил Крылов. — Бросал патроны в костер? Чечня?

— Нет, — ответил Крылов, — какая Чечня! В детстве дразнил соседского кобеля, а тот возьми и сорвись. От-тяпал!

— Значит, — сказал Крылов, — жена ваша урожденная Форсункина?

— Форсункина, Снежана Форсункина, — кивнул Казаков.

— Редкая фамилия, энергичная, — поправил очки Крылов.

— Ничего не редкая, там, в Маторине, еще двадцать Форсункиных небо копят. Живут со времен царя Гороха, древняя фамилия.

Казаков встрепенулся, он немножко важничал и держался теперь с Крыловым, как разумный старый приятель, вовремя пришедший на помощь. А как иначе?

В очереди на заправке он снова обратился к философическим рассуждениям. Непредсказуемость бытия его волновала.

— Помню, был я молодой, смысленный паренек, — рассказывал он, — в городе жил первый год, снимал жилье на Степановке. Снежана пока дожидалась в Маторине. Хозяин у меня был Петр Дмитриевич, мудрый жук, снабженец на заводе, а до того лагеря женские охранял. Насмотрелся там — в общем, ума палата. Домину себе выстроил огромную, в два этажа, из белого кирпича. Наворовал, конечно. Да еще флигель на огороде теплый. Усадьба! Квартирантов нас было семеро. И вот как-то сидим с ним, выпиваем — он любил с молодыми — девушек пригласили, птушек, и я одну там, дело молодое, зеленое... И квартирант Алешка, студент, рассказывает Петру, как бы посоветоваться с ним хочет: открыли во Вселенной черные дыры. Они в себя все подряд затягивают, глотают, как в бездонный мешок. Планеты, звезды эти обоссанные — все в черноту, и ваших нет. Слыхали?

— Слыхал, — сказал Крылов, — опасная вещь.

— И никакой защиты от них нет. И может так случиться, что и нас затянет, мы и ахнуть не успеем.

— Непременно затянет, — злорадно сказал Крылов.

— И тут Петр Дмитриевич и говорит... век буду помнить, как он отштамповал: «Вот так живешь, живешь, привыкнешь, почесываясь, а навернет завтра — и нет усадьбы! Так что наше здоровье, сосунки!» То есть живи, пока живется!.. А с утра на первом автобусе приехала Снежана и прихватила меня с замарашкой при исполнении. Что мне было — тьфу!

«Если он мне все про себя расскажет, я не выдержу — свихнусь», — подумал Крылов. А Казаков сделал такой вывод:

— Так что не горюй, Серега! Где наша не пропадала!

15

В центре города они застряли в пробке и наслушались колоколов Богоявленского собора, зато быстро, по касательной

проскочили Каштак и углубились в местность, где здания не нравились даже самим себе, а пешеходы производили впечатление людей, не знающих толком, куда они идут.

Казakov затормозил около стекляшки, в полусотне метров от игрового павильона, раскрашенного в цвета соблазна. Сын-ок там, сказал Казakov, один, подруга на работе, и по-свойски принудил Крылова поднять ладонь и хлопнул по ней своей: уда-чи! А садясь в машину, еще и позвал: «Сереге!» и, дождавшись внимания, подмигнул. Получалось, что Крылова ждут пикант-ные приключения, не понаслышке знакомые его доброму това-рищу. Крылову захотелось его убить.

Он зашел в стекляшку и выпил, за неимением лучшего, приторного кофе «3 в 1», и шагал к павильону, напевая «Прощание славянки».

И началась охота за Форсункиным.

Форсункин опознал сразу. Он сидел, в числе четырех посети-телей, за автоматом в углу зала и дергал за рычаг, заклиная: пошла, пошла! Откинулся на спинку кресла: не пошла! Вот холера ясная!

На голове его, сдвинутая на ухо, как папаха, покоилась кры-ловская барсучья шапка. Крылов возмутился тем, что тесемки на ней Форсункин перевязал по-своему. Концы их торчали вверх, как ботва, расходясь знаком победы.

Пришлось Крылову и здесь с отвращением выпить кружку приторного кофе «3 в 1», потому что другого не было. Пока он с понятной неторопливостью цедил кофе, Форсункину были сделаны замечания держать свои эмоции при себе. Сначала клиентом в болотной куртке с надписью на спине «Кровавый Король», а затем администратором, порочным молодым чело-веком с желтыми белками.

— Забирает же! — по-детски звонко ответил Серя, и это были последние слова, которые услышал от него Крылов за весь охотничий сезон.

Крылов покинул дворец Фортуны, переживая, что никакого героического плана у него нет. Оставалось следить, терпели-во скрадывать лоботряса, ловя непонятно какую возможность. Придется часами стоять на морозе, ходить по морозу. Скверно, что окрестности просторны: как остаться незаметным круп-ному мужчине с подозрительно примороженным лицом? Где

многочисленные афишные тумбы, вековые деревья, телефонные будки — друзья синематографических сыщиков? А если он пристроится, например, к бетонному основанию рекламного щита «ОМСА — лучшие колготки», его мигом заберут в милицию. Крылов понимал, что, как обыкновенный доцент университета, он похож на посредственного сексуального маньяка. Милицейская же потребность в задержании маньяков подобна жажде заблудившегося в пустыне.

Все первоначальные варианты действия, родившиеся в его рациональной голове, упирались в неизбежное: в каком-то узком и темном месте надо дать Форсункину по башке. Или, наклеив усы и бороду, подстеречь его в подъезде и запугать ножом.

Славная перспектива для жутко близорукого человека, что избегает резать хлеб ножом на собственной кухне!

Проведя безотрадный день около Форсункина, замерзший и отупелый Крылов отправился на бивак. Отныне он знал, что ремесло топтуна — самое худшее даже в стране, где большая часть молодых мужчин, ее светлое будущее, — вахтеры, охранники и вышибалы, рядом с которыми бармены кажутся заполошными иностранцами. Пожиратели времени, они привязаны к дверям, что-нибудь вдумчиво охраняют, бережно расходуя калории в предвкушении набегов, наездов и отключений электричества.

Крылов ночевал в вагончике на стройке, которую оберегал от хищений и вандализма старший товарищ Дымков, седой, как ягель, говорливый, как горный ручей. Дымков принял его с энтузиазмом, но строго выговаривал за уход из неведомой ему семьи, пусть и временный. Это усугубляло страдания Крылова.

А Форсункин обрисовывался добродушным тунеядцем, полностью лишенным хотя бы точечного внимания к миру, наблюдательности. Наверное, потому, что мир он презирал. Он блаженно ходил по улицам — и пристройся ему в хвост рта африканских барабанщиков, он бы ее игнорировал.

И ведь что поразительно: он не доставлял Крылову никаких хлопот. Существование его потрясало своим лаконизмом. Оно без остатка помещалось внутри треугольника: квартира подруги — зал игровых автоматов — автономный винный отдел гастронома. Менялись только ритм и распорядок перемещений.

В первый день он ушел из зала домой, потом выбежал из дому в винный за бутылкой портвейна, выпив пива при выходе из отдела со случайным, видимо, гражданином, оглашая улицу здоровыми матерными выражениями. Причем оба силились производить впечатление очень занятых, при деле, людей, типичных российских предпринимателей. Потом домой прошла подруга, невидная женщина лет 35 (Крылов ее узнал: в обед она заходила в игровой зал и на пороге его перекинулась с Серей парой слов, погладив его по щеке). И до ночи из-за дверей доносилась слабая музыка, от которой у Крылова, стоявшего на лестничной клетке, начали сжиматься кулаки. Хорошо устроился, брат Форсункин!

Во второй день поднадзорный пошел в свой Лас-Вегас довольно поздно (по дороге слегка опохмелился в винном) и играл долго. Вышел в сумерки, почти что злой, Крылов это определил от противного, по отсутствию добродушной мины на его лице. Програлся, амиго! Домой он шел долго, нудно разглядывая на улицах все, что может с натяжкой считаться изображением. Постоял у винного, повздыхал на его аквариумное окно: там общались горожане, державшие в руках пластиковые поллитровые стаканы, они выходили покурить, плевали на снег и не замечали Серю.

Подругу он дождался на улице, просил ее, видно, дать ему на пиво — не дала, и они мирно зашли в подъезд. Крылов подождал, подождал — вдруг он ее уломает? Не уломал. Снова музыка. На площадке Крылова спугнули соседи, спросившие, не за нуждой ли он случайно зашел в подъезд? Погреться, ответил он и вместе с ними покинул свой пост. Устал чертовски и решил: если завтра ничего не произойдет, значит, не суждено ему быть с лицом.

И надо же — завтра произошло.

Это был безумный день, день величия и падения Форсункина, проведенный им в стихии неумолимого скерцо. С утра, несомненно вымолив у подруги какие-то деньги, он двинул в игровой павильон. Через час он со льстиво-хохочущим товарищем сбегал в винный, они опрокинули там по стаканчику портвейна и бросились обратно. В обед к игрокам зашла подруга, задержалась на полчаса и вышла оживленная, ведя за руку упирающегося Серю. Они навестили винный отдел, Форсункин выпил еще стакан

портвейна, и они посетили квартиру. Из которой сначала вышла, останавливаясь и оглядываясь через каждый десяток шагов, подруга, и так до остановки, словно расставляла вешки. Лишь только она забралась в автобус, из подъезда вывалился Серя в расстегнутом пальто и крыловской шапке набекрень. Он шустро засеменял в игровой павильон. Через час (в районе трех пополудни) из павильона донесся гул, будто там включали дизель-генератор.

Из павильона на улицу посыпались люди и среди них неодетый администратор. Но Сери среди них не было. Народ (сегодня его набилось порядком) закурил, будучи очень говорлив. Крылов подтянулся поближе: делились чужой удачей, повторяя «Дуракам везет», «Трижды за день» и «Такого мы не видали». Крылов сообразил, что знает фамилию везучего дурака.

Народ хлынул обратно, а на белый свет явился в гордом одиночестве торжественный, высокомерный Форсункин с поднятой левой бровью. Он распечатал пачку «Парламента» и закурил, искусно пуская дым кольцами, одно в другое, проверяя работу пальцем. Докурив, он не бросил окурочек на снег, как обычно, а с пробудившейся интеллигентностью опустил его в пустую урну.

Администратор высунул голову в дверь и сказал с надеждой в голосе: дальше играть будешь? Форсункин молча, с достоинством кивнул и зашел в павильон, где снова добрые полминуты гудел генератор.

Через час из двери вылетел тот льстиво-хохотливый, он навистил винный отдел и вернулся с тремя бутылками портвейна — похоже, в баре достойных напитков не имелось. Перед тем, как зайти, он распахнул бутылки по карманам брезентовых штанов. «Да там порядок!» — удивился Крылов.

Потянулось время, начало темнеть. В половине седьмого вернулась с работы подруга, она зашла в павильон и вскоре вышла, хлопнув дверью. Администратор высунул голову на мороз и срывающимся голосом крикнул:

— Ты сюда больше не зайдешь, поняла?!

— Захлопнись, дэбил, — отвечала подруга, сливаясь с темнотой.

В семь из зала вышел Форсункин, пьяный до остекленения, он шагнул со ступенек и встал на колени. Крылов подошел к нему вплотную. В руке у Сери была зажата горсть мелочи, она просыпалась.

Вдруг Форсункин быстро, резво, как не удалось бы и трезвому акробату, вскочил на ноги, молодецки притопнул и снова засунулся в дверь.

Через секунду дверь распахнулась настежь, квадрат света упал на снег, а на квадрат приземлился молчаливый Форсункин, широко раскинув руки и ноги. Стук от его падения отозвался в соседних дворах.

Шапка свалилась с его головы и покатилась к Крылову.

Крылов подобрал ее, засунул за пазуху и торопливо зашагал к автобусной остановке.

Форсункин лежал в сгустившейся темноте, неподвижный, как забитое морское животное.

16

В жарком вагончике, растянувшись на топчане под горловое пение и бормотание Дымкова, Крылов смотрел на раскаленную спираль «козла» и думал. Возмездие осуществилось само собой, помимо его усилий, и ничего героического, мужского, красивого, легендарного он не сделал.

Форсункин лишил его возможности совершить поступок, говорить: я смог, я прошел поворот, поднялся над собой. Прихватить шапку мог любой чуткий пешеход. Что упало — то пропало. Зря я, что ли, горбатился всю сознательную трудовую жизнь, сказал бы он себе, имею право.

Битва в пути откладывалась. Какое разочарование!

Крылов протянул руку, достал из рукава шапку и перевязал тесемки по-своему, плоско. От шапки едко пахло фруктовым шампунем. Он еще и голову моет! Надо будет заменить подкладку.

17

— У нас какая рыба? — говорил Казаков — Утомительная, у нас и за хорошую уху надо примерзнуть. Вот у остяков в Иванкине — рыба, в Нарыме — рыба. На Чулыме вставай на песок где придется — и нанизывай щук, хотя бы.

— У вас еще озера есть, вполне подходящие, — сказал Крылов.

— Это караси-то? — пренебрежительно сказал Казаков. — Позор на мой лысый череп.

— Карась — рыба умная, — сказал Крылов, — никогда не выметет всю икру сразу. Мечет ровно столько, сколько прокормит данный водоем. Остальное в загашнике держит. Задохнулись мальки, подбела щука — подметнет еще, до нормы.

— А мне-то с его ума какая сласть, — сказал Казаков, — если он костлявый?

Такси заезжало в крыловский двор.

— Остановись! — приказал Крылов — Посмотрим.

Под утренней метелью у подъезда играла в снежки и радовалась жизни большая компания. Догуливала. Крылов пересчитал людей: тринадцать человек, чертова дюжина. На скамейке, рядом с песочницей, стояло несколько бутылок, стаканчики, какая-то закуска.

Крылов приспустил стекло. Строевы, Ложниковы, Бронниковы, Стахановы, Неелов с той девушкой, Люба, Маша и... тот юный юрист с Любиной работы!

Подавали «на стремя», вернее, уже поддавали «на стремя». Нееловская девушка наблюдала за Смородиной отстраненно, перебирая озябшими ногами, а Неелов вальсировал с Дусей Стахановой, бросая на девушку выразительные взгляды. Его швыряло из стороны в сторону, Дуся хихикала, а девушка морщилась.

По какому такому поводу? — подумал Крылов. — В нашем календаре нет этой даты.

Высокий юный юрист пристойно обнимал за плечи Машу, и, слушая его речи, она вся светилась, по-другому не скажешь. Дождалась принца!

Отвратительно, больно, — переключился на Машу или подбирается к Любе? Как он сюда попал вообще?

— Некрасивая, а миленькая, — сказал Казаков.

— Закрой рот, — сказал Крылов. Что же Маша так довольна, так льнет к этому прохвосту? Она же слышала о нем!

Смородина обступила скамейку. Мужчины пили водку, женщины — вино, и Маше налили, и она, счастливая, выпила, не дожидаясь старших.

«Когда я вчера подбирал шапку, они должны были поднять первый тост», — сообразил Крылов, это показалось ему важным. «Сестры Лисициан» — Таня и Зоя — стройно, стильно запели:

— Матчиш — хороший танец,
Кэк-уок вроде,
Его привез голландец.
В своем комоде!

И под это пение, бросив свою шапку в снег, Люба станцевала соло что-то причудливое, с выбрасыванием ног и наклонами головы. Она была невыносимо привлекательна. Крылов заметил, что юрист отвел взгляд.

И пришлось Крылову вспоминать, что его великий пост зятюлся, что эту женщину, скорее всего, ему обнимать не придется. «Но ни за что не сдамся, — сказал он себе, — мы еще повоюем». А с кем, за что?

— До чего аппетитная дама, — сказал Казаков, — мне бы такую!

Крылов наконец сообразил, что Смородина собралась по поводу его отъезда в командировку. И хорошо если только по этому конкретному поводу.

— Поехали, — сказал он Казакову, — поехали отсюда!

— ...Вот оно что! — протянул прозревший таксист и, помрачнев от неловкости и от приступа жалости к Крылову, стал разворачивать машину.

Крылов оглянулся: в хлопьях снега, стремительно уменьшаясь, люди во дворе превращались в игрушечные фигурки, в кукол, колеблемых невидимой рукой свыше.

18

Метель унялась к ночи, небо очистилось, воздух замер, задумался. Яркая, сливочная, словно ребенком нарисованная Луна уже проводила последний самолет и успела встретить его в Москве, там, наверное, бледная, заплесневевшая в виду столицы.

В городе поздняя ночь. Горожане спят, квартал за кварталом безлюдно, безответно мигают маячные зрачки светофоров, и только от Проспекта доносится раздельный шелест редких автомобилей.

Патрульная машина бежит на юг, по улице Советской. Слева — трамвайные рельсы, за ними — городской сад, ночью оправдывающий свое название. Справа — сквер Новособорной площади, освещенный искрящимися клочками. Все завалено, убито снегом, на ветвях его столько, что в темноте теряются стволы.

— Пстой-ка,— сказал водителю милиционер, — сдай назад!
У него было завидное зрение, и он не читал книг, а выпивал исключительно по праздникам.

— А в чем дело? Что случилось?

— Сам не пойму. Сдай!

Он выскочил из машины и, проваливаясь в снегу, пошел в сквер, туда, где под фонарями прописалась бронзовая святая Татьяна, покровительница студенчества.

Его назойливый напарник увязался за ним. Они, посмеиваясь, обошли статую кругом и встали ей во фронт. Посмеиваясь, потому что на голову святой Татьяне была надета меховая шапка с опущенными ушами.

В каноничном варианте нагая статуя производила самое целомудренное впечатление. Шапка на голове вносила в ее облик момент почти непристойный, и напарник машинально погладил ее по ноге.

— Хорошая шапка, ей-богу, — новая, дорогая. Барсук! — сказал милиционер, снимая ее с головы святой Татьяны.

— Попролам, — сказал напарник.

— Разрезать предлагаешь? — пошутил милиционер.

— Тысчонку-то можно, — сказал напарник, — по реализации проекта. Мы в связке, или как?

— Ты оборзел, олень, — сказал милиционер, — бутылку поставлю. И то много. Когда ты со мной делился?

Святая Татьяна смотрела на них, улыбаясь с легкой досадой: забрали шапку, милые мои — пора и честь знать. Проваливайте, будьте любезны!



МУЗОНЬКА

1

В апреле 69 года за час до темноты четыре сотни человек, и среди них мы, по разным путям сходились к зданию бывшего общественного собрания. С утра зарядили осадки: сначала они были крупным липким снегом, потом снегом с дождем, а сейчас — дождем со снегом. Непрерывно дул теплый, но очень сильный, резкий ветер, его завывания перекрывали шум машин и разговоры даже здесь, в самом центре города. Но как приятно было подходить, верхом на ветру, который настойчиво, сознательно меня галсы, толкал и толкал тебя к цели, к известному дому встреч: там горели все большие и маленькие окна, он был по-царски, до закоулков протоплен. У входа толпятся свои, знакомый народ, они — оживленно, предвкушенно — громко разговаривают, докуривая последние сигареты «Шипка» или «Плиска» перед тем, как нырнуть в свет, в тепло, на перекрестки узнающих и, будем надеяться, неравнодушных взглядов.

(Ну-ну, среди них, на отлете, и Паха Колбасьев, опять уличенный в грязноватой сплетне. Сильно трусит и изображает прокопьевский дендизм. Черт с тобой на сегодня, нынче и тебя хочется простить!)

Дом, заметный факт в истории местного модерна, встал здесь, спиной к доисторической слободке под обрывом, в год последней коронации: грузный красный кирпич и отделка желтым песчаником, итальянские окна, саксонская игра рельефами и тактичное подобие ампирной колоннады. Его построил знаменитый некогда архитектор, крохотный и надменный, как император гномов. Он верил, что это здание сделает ему имя — и ведь сделало: молва докатилась до государя, ему присылали фотографии этого сибирского чуда — и хвалил его государь, впрочем, мало в чем имевший толк. Однако о чем это я? Теперь имени зодчего никто не знал и не имел охоты спрашивать, и не у кого было спросить. Здание, принадлежащее теперь во-

енным (пиво, бильярд), было обычной данью отчужденного, анонимного прошлого настоящему. «Про ясак не спрашивают, кто его добывал, спрашивают, сколько».

Это был патриархальный факультетский вечер в провинции, вечер из лучших советских времен. Строго говоря, о душе уже решили и приказали забыть, но об этом догадывались и знали немногие, и не здесь. Во всяком случае, студенты еще стеснялись материться в больших компаниях, при незнакомых, а студентки не снимали лифчики круглый год, ни в июне, ни в июле.

Мы заходили, подавали, стесняясь, пальто в гардеробе и растекались по всем направлениям, заполняя каждую клеточку пространства, и все немедленно становилось родным, обжитым — кругом, извиваясь, обступал университетский коридор с его звонким топотом и альтовыми переборами голосов, запахло аудиторией и общежитием — молодостью, потом, несвежим бельем, дешевыми духами и девичьей слабостью. Вечер факультета — в буфете бездонные баки с винегретом и длинные, так что дальний край сливается с декоративной стенкой сзади, противни с хлебодарными котлетами. Все перемолотят, уничтожат птенцы, запивая свистящей в желудке газировкой. В туалете, за разговорами о Марине Цветаевой и Тане Лужковой, из горлышка пьются портвейн и вермут. Чем глубже течение вечера, тем ближе демократический пафос древних сатурналий, тем смелее и задушевнее все это предлагается преподавателям.

Но они и сами с усами. В этот вечер, словно завтра снова ждали китайцев, — особенно. Не слишком ли низко обнимал за талию свою дипломницу А. С. Соберников, и куда же он ее повлек затем? В ночи старшекурсники с гордостью унесут на плечах домой парторга факультета, чтобы услышать, как его супруга провозгласит на весь дремлющий подъезд: «Люди добрые, посмотрите — и это партийный секретарь нашего факультета!» Невиданно расслабится и оттеплет сам декан, суровый партиец с «политическим зачесом», преданный партии до того, что всегда оказывался правее ее. Либерально-мрачный, то есть удовлетворенный, он разгуливал между бросаю-

щимися к нему девчонками, крупный, ногастый, величавый, как знающий свои полномочия и расписание племенной бык, и словно бы с некоторым обещанием гладил свои усы из толстой латунной проволоки.

Встретив на входе в концертный зал окосевшего Федю Крестьянкина, он изволил не заметить его хрусталай и легендарно спросил, милуя: «Ну что, засранец, долго ты будешь испытывать мое терпение? Когда этот пинг-понг закончится?» Федя сказал, что вопрос удивительно своевременный, он как раз начинает новую жизнь. Этот Федя был дерзок и отважен, но силен был в нас дух почитания старших, и Федя неоднократно хвалился, что декан назвал его засранцем и удостоил мужских намеков...

Что говорить о прочих, малых? Вечер набрал температуру очень скоро, чему немало способствовало потрясающее новшество: на рекреациях играл и пел ВИА «Цветы и звуки», истинный подснежник грядущего растления. Мальчики были в джинсах, с длинными волосами известно под кого. Но играть им разрешили — в мерцающей моде был диалог с молодежью, а в репертуаре стояли проверенные парткомом произведения. Еще бы, «Караван» мальчики разумно переименовали в пьесу Арно Бабаджаняна «Горы Армении», а «Только ты» — в опус Оскара Фельцмана «Вальс югославских партизан».

Веселится и ликует весь народ! Не хватает гопака и икарийских игр с вокалом. Да здравствует университет!

Из ансамбля жизни выпадала одна старенькая дозорная, хозяйка дома, «ключница». Она ходила по диагоналям, скрестив руки на груди, и обреченно думала вслух: все одинаковые, что водники, что энергетика, что студенты, кто еще и хуже? Загадят, испишут, сломают. Почему я должна отвечать за мужской туалет? Мне горя мало?

Между тем, нам всего этого было мало. По-хорошему. Мы ждали. И многие другие — девчонки с курса, краем уха слышавшие, ждали, пусть не с таким любопытством, как мы, как Леся Перегудова, пережившая короткий безнадежный роман со Стригуновым (он бросил ее по-свински, заставил мучиться). Сейчас она нарезала круги, проходя обзорную площадку над

вестибюлем и полчаса «пила» стакан лимонада, в который осыпались с ее ресниц хлопья туши добротной цыганской выделки.

Стригунов должен был прийти с женой. Полгода он скрывал ее от товарищей, от нас, не пригласив на свадьбу, ни разу не позвавши в гости в отличную съемную квартиру, с отдельным, между прочим, входом — какие перспективы для дружеского пиროвания! (но — ладно, он не был гулякой, и если пил, то один).

Что мы о ней знали? Что она с дружественного факультета, городская, да не просто — дочь секретаря обкома! Мигом Миша-кадет поменял идейный цвет? Поначалу многие, завидуя, обращались к нему «товарищ Стригунов», издевательски-подобострастно делали «смирно» при его появлении и искали остатки красной икры на его одежде. Дошло до драки, от Стригунова отстали. Нам Стригунов, хмурясь, объяснял: не надо мне вот этого — «партийный зять». Вы мои взгляды знаете. Мой тесть — из сатрапов, я не бываю у них, и они мне не рады. Я хочу прожить достойную, трудную жизнь, без одолжений, без блата, быть с моим народом там, где он, к несчастью, есть. Музонька, то есть Вера, согласна. Я ее люблю. Она красавица. Вы не представляете... Она моя Муза... И вообще, она сама меня выбрала, нашла. Такого не бывает...

Глядя на него, мы были полностью с ним согласны: не бывает.

Она подошла к нему вечером в опустевшей библиотеке и села напротив, открыто глядя ему в лицо. На ее лице было написано: тот самый Стригунов! Он вскинул глаза и только что не упал в голодный обморок. Через месяц их расписали. И вот полгода уже, не веря в случившееся, боясь сглаза, он прятал жену. Старая, старая история!

Жертвуя учебным временем, он писал для грядущих поколений историю избиения православия в 20— 30-ые годы. Высказывались подозрения, в чем-то небеспочвенные, что он делал это из тщеславия, выпендрежа, поскольку для партийной карьеры он ни происхождением, ни рожей не вышел — туда брали людей иной селекции. Достаточно опасное занятие, но он умел быть осторожным, и даже мы знали о его трудах по намекам и книгам на его столе... Так вот, до явления Музоньки он скорей

хотел писать свой труд, чем писал. Он был слишком нервный, эгоцентричный, недолгого дыхания человек, подверженный апатии и вульгарной мизантропии. Он мог по двое суток лежать на кровати под одеялом, не вставая, пропуская занятия, нагло не разговаривая с нами. Его спасало честолюбие, жгучее, румянящее его скулы и лоб, но не подкрепленное волей.

Неведомая нам Музонька усадила его за работу, самую истовую. И вовсе не в ущерб дивным, святым молодым желаниям, — он стал всесторонне счастливым женатым человеком, что в любом его жесте с ревнивой пронзительностью видели в нем мы, не ведавшие женщины мечтатели. Раньше он в сладострастии терял голос и трезвость от одного вида девчоночьих коленок. А теперь он бестрепетно, спокойно (и обидно для нее) беседовал со Светой Лукомской — и она досадливо и бесполезно, из самолюбия выламывалась перед мухортным Мишей, хохоча и трогая его блестящими руками.

Красавица. В том поколении людей красавиц было немного. На факультете, по общему мнению, их было три. Красавицей была замарашка Нина Сухарева, тоненькая, латинистая, глаза — синие, волосы — японские, улыбка — Стефания Сандрелли, норов — роковой. К учебе, как и положено красавице, относилась с ворчливым презрением. Что они мне надоедают, эти тетки? Она постоянно забывала имена педагогов. Дранные чулки, оторванные пуговицы, заблудившийся в носу палец придавали ей особенную, натуральную прелесть.

Света Лукомская — золотая блондинка с фигурой Мэрилин. О ней говорили: «под ней нога светлей лазури». Лицо ее часто розовело, очень зазывно, по причине неотвратимо забирающего ее алкоголизма. Но, чтобы пить коньяк через соломинку на лекциях, надо иметь характер и свободу от предрассудков. И училась она исключительно на отлично и выучила итальянский язык (кто его тогда знал от Урала до Чукотки?), и следила за собой, как ее тезка Светличная.

Таня Лужкова. Остановленная в фотографии, — вовсе не красавица, кажется: рот великоват, волосы моховатые, маловата. Но увлекались ею больше всех, дай только повод, любой взял бы ее на руки — унести в даль светлую. Живая, веселая, всепо-

нимающая, щедрая, с ней рядом любой мальчишка, даже Колба, становился лучше и умней. В ней жила праздничная богиня Метаморфоза. Через три года ее убил муж, не столько из ревности, сколько из ничтожества своего перед ней, не мог стерпеть.

Носатый, угреватый, но смешно косящийся на каждое зеркало Михаил ни у одной из них не вызвал интереса. Он был единственный, кого избегала Таня Лужкова, считая его упырем. А какая-то красавица Вера увидела его, избрала — и нас заставила глядеть на него новыми глазами, настоятельно стирать случайные черты и искать глубины. И, кстати, в самом деле: его презрение к властям, его ученые занятия, и его честное смущение — разве не заслуживают всяческого уважения? И мы стали его хвалить и спрашивать его советов. Это сотворил человек, которого мы не видели.

Какая она, Музонька?

И вот громко хлопают входные двери — наружные, внутренние — и появляется чета Стригуновых, впереди он, она за руку за ним. Пока они сдают пальто и причесываются, любопытные успевают спуститься в вестибюль, пристроиться на широкой лестнице и над ней, по бокам от нее. Кто-то делает вид, что он здесь «так», а кто-то, не скрываясь, разглядывает пришедших с привычной уличной агрессией. Оно ж у нас в крови. Конечно, это выглядело неприлично: встречающих набилось слишком много, и они застывали в неестественных позах, образуя скульптурные группы, достойные эстетики шахтерских парков в Кузбассе.

Вот она какая, Вера-Музонька! Всем запомнилось, как сначала робел-бодрился Стригунов, раздвигая свои недоразвитые плечи, он краснел, бормотал ей что-то явно невпопад и будто бы не замечал толпы встречавших с ее пристальным и наглым вниманием. То-то сердце у него стучало! И как широко, счастливо, самодовольно заулыбался, решившись взглянуть на общественность и прочитав ее отклик «ого-го!», очевидно выраженный в шелесте и бормотании множества губ.

Музонька Стригунова стояла прямо под старинной люстрой, заливавшей ее густым оранжевым сиропом, и как-то необидно, по-свойски усмехалась на весь этот цирк, потирая замерзшие

руки. Она была не просто хороша, ни в чем не обиженная матерью-природой. В ней было две стати — русская и татарская, и эта сибирская благодать проявлялась в переменном сочетании светло-русых волос и черных глаз, самоварного славянского носика и легкого, росомашьего разбега скул, твердости очертаний всего, что выпукло, и легкости, тонкости, воздушности головы, плеч, пояса, текинских, смуглых, конечно, ног с ювелирными маленькими коленями. И глядя на ее ноги в открытых лодочках с пряжкой, легко было представить, как подлец Стригунов, не удержавшись, целует мимо пряжки нежный подъем ее стопы.

И было в ней то, о чем позднее скажет потертый бабник Нирванер, по кличке Сулико: «О такой даме никогда не скажешь, даже не подумаешь грязно, похабно. Но, ребята, если вдуматься, это и есть ее главный недостаток. С ней не расслабишься».

Стоя в тылах, мы услышали треск разбитого стакана. Вскрикнула, зажимая себе рот, Леся Перегудова — куда ей было до Веры Огаревой! «Мой милый, что тебе я сделала!» — равнодушно, походя, процедила на это Нина Сухарева, не отрываясь от хищного, во все глаза, изучения Веры. «Какая у Миши жена! Он, наверное, очень счастлив, да, друзья? — сказала Раиса Ивановна. — Сто часов счастья. Она похожа на юную Веронику Тушнову, не находите?» Мы никогда не видели Тушнову, но уверенно ответили «да».

2

Родители целенаправленно, планоно назвали ее Верой. Отец, Иван Трофимович, тогда, в 1948 году, инструктор райкома партии, и мать, Роза Хасановна, работница библиотеки политпроса, мечтали о трех дочерях — Вере, Надежде и Любви. После войны новые люди очень хотели жить большой семьей и имена эти часто давали дочерям.

Они пока жили в коммуналке, у них продолжалась крепкая фронтовая любовь; верили в партию, Сталина, в будущее могучей страны, которая уже завтра будет сознательной и зажиточной; и в отличие от «бескрылых пернатых» (как с сожалением

аттестовал Иван соседей — обидно, что многовато было в бескрайней стране таких «примусников»), имели крепкую надежду на улучшение жилищных условий. Коммуналка на фоне фронтовых дворцов не торопилась их заесть, надежда давала стойкость, поэтому жизнь с общей кухней и фанерными перегородками казалась им необходимой, нужной прививкой коммунистического быта, не самоцель и грядущая квартира — временный этап на стезе движения советских граждан к общежитиям высокого комфорта и повышенного идейного и культурного их общения.

На углу улиц Крылова (не баснописца) и Гончарова (не романиста), на лысом пригорке, где из поколения в поколение до сих пор местные жиганы жгли костры и играли в пустопорожние орлянку и зоску, обгоняя время, строили отличный трехэтажный дом со всеми коммунальными удобствами. Взмыленные лошади не успевали подвозить кирпичи, а упарившиеся строители — свернуть повторную с рассвета козью ножку.

Устроить перекур через временную неисправность механизмов, да еще при возведении партийного дома, тогда остерегся бы даже законченный лодырь. С другой стороны, наличные механизмы типа «ворот» были до того просты, что, можно сказать, таковыми и не являлись.

Чтобы в строителях не иссякала бодрость, вкопали столб, повесили на нем динамик-громкоговоритель под козырьком, включили его на полную мощность — и он орал с 6 утра до 12 ночи, от гимна и до гимна. Соседи, рабочие мучились, но лазить на голый столб дураков не находилось. Так и трудились с весны до сдачи, которая состоялась, конечно же, 6 ноября, и недоделки, дополнительно скрадывались еще и в грохоте духового оркестра, от которого у новоселов опасно сотрясались грудные клетки.

Родители были уверены, что у них будут желанные три дочери, и предполагали, что они родятся вскоре, незамедлительно, на просторах новой квартиры, где сами комнаты вызывали педагогический оптимизм — светлые, просторные, как школьные классы. Кстати, роддом имени т. Семашко (там появилась на свет Вера) размещался буквально по соседству, через пару строений, что тоже по-хорошему влияло на их решимость, как бы подсказывало ее.

В предвкушении скорого пополнения семейства (о чем знал весь райком и кое-кто в горкоме) они с некоторым педантичным юмором повесили в зале бумажные портреты — логика здесь понятна: двух великих Вер, Засулич и Фигнер (не в силах выбрать, какая из них большевистее), Надежды Константиновны Крупской и Любви Орловой, а также, по ходу дела, Александры Коллонтай. Странно, но именно ее лицо, в данном изображении совсем уже и несвежее, почему-то вызывало у Розы Хасановны какие-то неопределенно задние мысли в сравнении с лицом Крупской. Странно, потому что мажорная, озорная личность Орловой ничего такого не вызывала, а казалось бы...

Жаль, что портреты героинь почти немедленно пожелтели, несмотря на стеклянную оправу. Вера обитает в этом доме, вычитая первый год и перерывы на брачные походы, всю жизнь, и эти портреты все так же висят в ее зале, который она теперь называет гостиной. Только на портрете Коллонтай, внизу, шариковой ручкой знакомой рукой написано: «Тварь!».

А Вера так и осталась единственной и неповторимой дочкой. Тогда вообще старели быстро, и медицина была в ногу с неласковым веком, но больше старили вернувшиеся страх, подлость и мелочность мира; отца, тем более, повысили в секретари, а мать в заведующие библиотекой — все эти бесконечные бюро райкома, собрания, совещания за полночь, догляд за всем, что шевелится, особо — за тем, что не шевелится в районе, нервотрепки, марксизм-ленинизм-сталинизм оптом и в розницу, мичуринство и космополиты, безродные до изумления — и т. д. и т. п. Изнурительно! С одной бы Верочкой справиться! Краснуха, корь, коклюш, ангина за ангиной. Болела мать, молодая, на всю жизнь застудившаяся за одну фронтную неделю, пришлось брать нянечку. Еле успевали, Роза, бывало, плакала от усталости, у нее сводило лицо, отец выпивал на ночь стакан водки, иначе не мог заснуть, разгоряченный работой-борьбой. Надежда и Любовь отступали в туман, уже и беспаспортная нянечка, держась за отличное место, желая гарантии на будущее, дошла, в нетерпении, до мелкобуржуазных намеков, что «жизнь одна» и «разве Верочка выкормит вас на старости лет в две-то ручки?». А потом медицина несуетливо прихлопнула: все, Роза Хасановна, о детях забудьте. Носите галоши.

Поэтому Вера имела перед сверстниками сразу два преимущества — она была партийная дочка (Иван Трофимович доберется до второго секретаря обкома), и у нее была своя комната с большим окном в фонарике.

Подоконник был огромный, как полати, лежа на нем, она делала уроки и пила чай.

3

От первого и до последнего класса Вера, пионерка и комсомолка, росла безупречной девочкой. Красивая, опрятная, волевая, отличница, слово у нее никогда не расходилось с делом. Она была всегда права. В классе ей не завидовали — настолько очевидно она принадлежала к новой, может быть, высшей расе людей. Мальчишки влюблялись в нее очень чисто, потому что она была очень чистой и трудно соотносилась с эротическими фантазиями. От нее тянуло бы холодом, машиной, если б ее прямой, честный взгляд не был бы при этом всегда доверчиво-вопросительным: хочу тебя понять, хочу все знать. Но, конечно, общаться с ней через ногу, случайными словами, подначками, делиться всякой ерундой не приходилось. Чтобы к Вере подойти, надо сначала конспект составить, говорил безнадежно влюбленный в нее Теля (Тельман) Минин. Учителя истории и географии остерегались ее — она нередко их поправляла, не из тщеславия, а из абсолютной любви к правде. Ее классное прозвище — Вера-«Победит». Тогда свято верили печатному слову, и Вера безоговорочней всех. В книге «Рассказы о русском первенстве» она прочитала, что «Леонард Эйлер — великий русский ученый», и напрасно с ней спорили тронутые оттепелью математик и одноклассники. Им пришлось идти на мировую, причем практически искренно.

Родители гордились ею. А с годами (когда она входила в подростковый возраст, а они начали сдаваться перед соблазнами привилегий) стали побаиваться, робеть. Она задавала вопросы. Правильно ли, что у нас не переводится сливочное масло, а Владик Терентьев счастлив, когда может съесть лишний кусок черняшки с маргарином, посыпанный желтым сахаром с остро-

ва Свободы? Ее кумиром стала Коллонтай — революционер, дипломат, интеллигент, словом, женщина-университет (опять же это почему-то смутило Розу Хасановну).

Но и робостью своей родители тоже по-своему гордились.

Как-то раз отец вернулся из поездки по колхозам, где они целой толпой во главе с Первым изучали перспективы выращивания кукурузы. С перспективами было самоубийственно, с поголовьем КРС — просто гибель, Первый отменил обычное товарищеское застолье на Лукиной заимке и почти всерьез, категорически нечестно, предложил повеситься секретарю обкома Смирнову, куратору сельского хозяйства. Ближе к зиме, прикрывая соратников. Зато с международным положением ситуация складывалась оптимистическая — мы их напрягали с коммунистической романтикой, наступали повсюду, возводили Асуанскую плотину и били в империалистические пятаки в заливе Свиней. В связи с этим отца очень насмешил и обнадежил народный политический анекдот, рассказанный осмелевшим колхозником с запоминающейся фамилией Жарптицын:

«Канцлер ФРГ Аденауэр, английская королева, наш Никита Сергеевич.

Канцлер (подыгрывая на рояле): Завоюем всю Европу!

Королева (пилит на скрипочке): ...и поделим пополам!

Хрущев (под балалайку): Поцелуйте меня в жопу, ничего вам я не дам!»

Едва сунув усталые ноги в тазик с кипятком, схватив свежий номер «Правды», Иван Трофимович воспроизвел это матери и добавил: каков наш Никитка-баснописец, а?

Реакция Веры была бурной, негодующей. Распахнув глаза, она подбежала к отцу и отчеканила: «Папа! Но это ведь мусор, мусор! Как ты можешь такие гадости повторять?»

Родители залюбовались ею: до чего же она была хороша, что твоя дворянка столбовая! И, как потом выяснилось, задумались об одном и том же: где же тот царевич, что будет тебе по плечу? Осрамившийся, струхнувший отец вымолвил: «Ну, Верка, спасибо за науку! Даю тебе честное партийное слово — больше ты никогда от меня таких слов не услышишь».

А вот другие ответственные работники завидовали Огаревым. Подрастало новое поколение партийных детей, в массе своей выкатывающее отцам большого полосатого гарбуза. Детиночки получались балованные, они заражались друг от друга чванством, нездоровой барской групповщиной, откровенным вещизмом. Их поражала какая-то чума, мания подчеркивать разницу между собой и другими детьми, «уличными». Веселенькое дельце! К родителям они относились цинично, снисходительно, холодно («предки»), но перед «народом» изображали аристократию на основании того, что они — дети своих родителей! Совесть у них была баранья.

Ивану Трофимовичу поручили разобраться с одним неприятно-деликатным делом (с одной стороны, припугнуть, с другой — спустить на тормозах): деточки во главе с сыном первого секретаря горкома (он, негодяй, носил золотую цепочку!) создали некую секретную организацию под названием «Долой пошлость!». Они сочинили устав ОДП, в котором были такие, например, пункты-требования:

«Не общаться с этими хамами — колхозниками (имелись в виду сверстники). Не давать им наши книги и пластинки...

Не петь песни, передаваемые по радио...

В дни рождений пить шампанское...

Не стричься под бокс и полубокс (м), не носить косы (ж)...

Не рассказывать анекдоты...

Не носить белые носки... (м., ж). Презирать школьную форму...

Знать наизусть десять стихов Есенина (м), десять стихов Цветаевой (ж)...»

И тому подобное, всего сорок пунктов.

Ознакомившись с уставом, отец простодушно облился холодным потом. (Не далее как вчера они с матерью пеняли Вере, что она не ходит в гости, не дружит с детьми товарищей по аппаратной работе. Все-таки политес есть политес. Надо понимать. А Вера трясла локонами и говорила, что они все мешчане, недобрые, с ними скучно...) Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Против чего боролись, на то и напоролись. (А они с Розой думали: все-таки перебирает Вера в своем максимализме, заносится, идеалистка. В хорошем, конечно, смысле этого скользкого слова.)

Понятно, что все было облито слезами носителя золотой цепочки и замято. Секретарь горкома отнесся к миссии Ивана Трофимовича с пониманием, благодарил за тактичность. А Иван Трофимович понял, одним весенним душистым вечером, он превратился из смелого майора-пехотинца в обычного смертного, держащегося за костюмную тройку и папочку.

Но именно этот акт сознания заставил его отныне относиться к Вере с большим уважением и даже пиететом. Что ж, мы с матерью грешны (хотя, как говорится, «не себе грешны»), а ты, девочка наша, потому и будь звездочкой и Гутиэрре нашей семьи.

С тех пор все, что делала Вера, победительница всех городских олимпиад и лучшая лыжница школы, вызывало у них неизменное одобрение и поддержку. А она бессознательно, но чутко ощущая открывшиеся возможности, пользовалась ими на всю катушку. Вчера было немисливо, придя с работы, застать дома полкласса ребят, доедающих последнюю корку из Розиных припасов. Не продуктов жалко было... Но разве квартира секретаря обкома может быть проходным двором? Чтоб ребяташки потом рассказывали дома, какая у них мебель, роскошь (впрочем, какая там роскошь?.. Румынский гарнитур, югославская плита, мелочи всякие. Чего там...). А теперь усталые родители вполне радушно улыбаются гостям, замечая, что у половины из них драные носки и стрелки на колготках, и шли к соседям занимать чай, сахар и остатки хлеба. А бывало, что и угощали детей рюмкой сладкого вина.

Однажды ночью родительское преклонение перед дочерью получило новый поворот. Иван и Роза шептались по поводу очередного подвига Веры. Она сумела единолично решить вопрос с вывозом и сдачей собранного девятиклассниками металлолома. Директор школы, подхалим, уклонившийся от фронта, сообщил: и ребят воодушевила, и приемщика притащила на работу, оторвав от законного домино и мерзавчика, и уговорила соседа-шофера за идею подогнать грузовик, поработать на школу.

Этот шофер, старик Никанчиков, опрятный таинственный москвич, служил на автобазе обкома (и не посмел отказать секретарской дочери, в душе, небось, проклиная начальство). Вера

почему-то считала, что он возил Ленина, но из скромности это скрывает. А значит, всегда готов послужить общему делу.

Слушай, Роза, я вот что думаю, скромно сказал Иван Трофимович, Веруна — она вся в наш род, в меня, в тебя... как бы это сформулировать... я бы сказал, все доброе, что в нас есть и было, и уже нет в помине, в ней продолжается, развивается. Ломит, как танк, упрямая, злая до дела — это мое, это дедово. Преданная, самоотверженная, готовая на ласку — это твое, это бабкино. Она как энциклопедия нашей семьи.

И красивая она — в меня, в маму, улыбнулась Роза, и в тебя, и в твою маму. Красивее всех нас, но это наша красота.

Так, не очень складно, они пришли к выводу, что их дочь Вера — счастливое собрание лучших качеств, которыми судьба наделила ее русских и татарских предков.

Ох, много чего им пришлось пережить потом, негодовать и рыдать и хвататься за сердце от Вериних поступков. Но всегда, и именно тогда, когда она ужас что творила, отрекаясь от святынь, которыми они жили, отец и мать с покорной честью повторяли: наша дочь. Разве ее остановишь? Наша кровь всем кровям кровь.

4

Верины бабушки, Татьяна и Хафиза, рано умерли от тифа, в 30-ые. Они прошли по жизни незаметными тенями своих ярких мужей. Они никогда не встречались в земной жизни, но чувство долга и самоотверженность делали их духовными близнецами. Они верили в своих отеческих богов и секретно поддерживали связи с реакционными родственниками, потому что были заветные женщины, и по-другому было нельзя. Но точно так же нельзя было хоть в чем-то подвести своего великолепного мужа, и они всячески скрывали и от чужих, и от мужа свои частичные несовпадения с новым порядком вещей, и не позволяли себе быть отдушинами людского ропота и жалоб, как это в первые годы Советской власти еще случалось с отсталыми женами суровых начальников, робеспьеров села и победителей природы. Поэтому их уважали больше мужей и ненавидели больше мужей (свои, рожавшие же бабы!).

А за бескорыстие и аскетизм быта — с особой жгучей силой, может быть, сильнее, чем потом ненавидели их потомков за сладкое жильё и блат.

Отец Розы тоже давно ушел из жизни. В ноябре 37-го года, извещенный о том, что за ним придут, Хасан Хайруллович Ахметшин забрался далеко в степь и сознательно замерз там. Он не стал сдаваться органам, дожидаться разбирательства — одной мысли: «ему не доверяют», на него могут поднять руку (а он хорошо знал, как поднималась эта рука, сам ее поднимал), хватило, чтобы уйти в неприрученные снега.

Он воевал с Колчаком, с японцами, яростно поднимал колхоз. Единственный грамотный человек в татарско-башкирской деревне, он некоторое время единолично возглавлял и колхоз, и сельсовет, и партгруппу, имея в личной собственности локутное одеяло и чайник.

Известен такой случай. Неукоснительно исполняя разверсточные и реквизиционные разнарядки, он извел в деревне последних ужей и мышей и был вынужден отказывать колхозникам в любых просьбах о помощи. При этом он все-таки заставлял их писать прошения, накладывал на них однотипную резолюцию и подшивал в соответствующую папку. Поскольку он не отделял себя от народа, он посчитал необходимым создать следующий документ.

«Председателю колхоза имени 15-го партсъезда тов. Ахметшину Х. Х. Заявление. В виду крайней нужды прошу выдать мне овчинный полушубок и валенки. Председатель сельсовета Ахметшин Х. Х. Просьбу поддерживаю так как нет возможности работать в зимнее время за пределами д. Менделеево, где расположены некоторые хозслужбы колхоза, а также ездить в райцентр по делам соцстроительства по обморожению. Секретарь партгруппы тов. Ахметшин Х. Х.» Резолюция в левом верхнем углу листа: «Отказать. В настоящее время, когда неизжиты последствия Гражданской войны и разрухи, в колхозе нет полушубков и валенок. Председатель колхоза имени 15-го партсъезда Ахметшин Х. Х.».

Может быть, засыпая под вой бурана, он думал о том, что спасает дочь от несправедливого клейма.

И, рассказывая о нем мужу, Роза ловила себя на том, что, отчасти осуждая его перегибы с высоты 60-х, предкоммунистических годов («человек человеку — друг, товарищ и брат»), она очарована отцом, едва не уморившим ее с голоду.

А вот второй дед, Трофим Степанович Огарев, был жив-здоров, да проживал и трудился неблизко, на другой планете. С ним были некоторые проблемы. После 20-го съезда успешная его карьера резко обрушилась, сам Иван Трофимович вынужден был в какой-то мере отмежевываться от него на парткомиссии: нет, не предавал отца, скорее осознавал, что строгим соратникам все равно не объяснишь то, что хорошо понимал и осуждал в отце он сам — сказал, что требовалось по этикету. Отец уже не был ответработником, и навредить ему было невозможно.

Старший Огарев воевал с Врангелем, был знаком и сотрудничал с Землячкой, Белой Куном и принимал участие в ликвидации прикинувшихся овечками офицеров, притворно сдававшихся на милость победителей. С середины 20-х годов его планида связалась с пенитенциарной системой. Повышаясь в должностях и званиях, он менял лагерь за лагерь, обычно получая назначение туда, где что-то гнило или тлело — наверху знали, что Огарев разберется, вытянет, наведет порядок. Он уважал себя за то, что ни разу в жизни не примерил гражданские туфли, не прочитал ни одной художественной книги и никогда не прикасался к сыну — ни с лаской, ни с розгой. От треволнений 30-х годов его спасла давнишняя, всем известная, анекдотическая ненависть к Троцкому. Еще в 20-м он, невзирая на субординацию и опасные последствия, публично называл Льва Давидовича попкой-говоруном, «примазавшимся». Его на годы вышибли из армии, он познакомился с крутой нуждой, но с 26-го его приставили к лестнице. Тогда он был пригож до того, что в занятых селах на него сбегались посмотреть отупевшие от несчастий голодные бабы. Он не делил жизнь на труд и досуг, не терпел крамолы, но, нужно отдать ему должное, сторонился личных выгод, устраивая образцовые облавы на «примазавшихся» и «аморальщиков».

Решений 20-го съезда он не принял, а 20-й съезд не принял его. Трофима Степановича исключили из партии и уволили с

волчьим билетом. К облегчению сына, он зарекся выходить в мир, где правили подлые, гладкие говоруны-перерожденцы. Огарев устроился пожарником в том же Дубравлаге, где командовал еще вчера, и успел пережить три инфаркта. Их он заработал в первые годы огнеборства, когда по привычке покрикивал на бывших подчиненных, бывало, и лез на них с мордобоем — за нерадивость, недостойное поведение. А порядка не наблюдалось, нет... Переселенный из ведомственной квартиры, великолепия которой он не замечал, в ветхое общежитие, дома он носил исключительно генеральскую форму и никогда не открывал дверей на стук.

Подымаясь из инфарктов, воистину воскресая из мертвых, он теперь представлял собой какое-то подземно-сказочное существо. Его зеленое лицо пугало детей и начальство. Лагерные люди, мстительно понижая его в статусе, дали ему прозвище «Зеленый кум».

5

Единственное в жизни письмо от него с Колымы Иван Трофимович получил в Германии, под Ангермюнде, 16-го марта 1945-го года. Письмо как письмо, самое обычное, состоящее из дежурно-противоречивых пожеланий: не жалеть себя во имя Советской Родины — беречь себя на исходе войны, отец надеется на появление внуков. Попытки отца ввести сына в курс положения на фронте путем пересказа радиосводок и центральных газет недельной колымской давности вызвали улыбку у сына, живущего на войне в считанных десятках километров северо-восточнее Берлина. Не ведая, что случится с ним вечером этого дня — «Дня Огаревых», Иван посчитал фантастическое получение совершенно нечаянного письма добрым знаком.

Утром, после завтрака, при багровом блеске восхода, дыша чутким воздухом, доносящим громы сражений со всех четырех сторон света, он признался в любви медсестре Розе Ахметшиной, сказав неловкие, запальчивые слова. И получил такой ответ, что любовь взаимная. Их видели бойцы, и они договорились поцеловаться в сумерки, на том же месте. День тянулся и тянулся, и на их пяточке войны сегодня было тихо, обоим

казалось, что кто-то свыше узнал, что такое произошло, что предстоит, и старался не расплескать эти полные чаши. Они с удовольствием занимались своими делами, перед Иваном плыло лицо Розы, перед Розой — лицо Ивана.

И надо же, ближе к вечеру — несколько выстрелов из немецкого карабина. На ближнем хуторе, за дубками — приблудившиеся немцы. Оттуда прибежала местная ягодка-бауэрша, осмелевшая от того, что ее никто не собирався насилловать. Тараторила: там несколько стариков-ополченцев, поговорите с ними, они сдадутся.

Хутор окружили, и Веня Семенов, уроженец города Энгельса, кричал им на своем древнем немецком: эй, фрицы! Дедушки! Сдавайтесь, вам ничего не будет, старые ослы!

«Старые ослы» — было удачным ходом. Бормотали в развалинах хутора недолго, и вот уже дребезжащий тенор ответил: не стреляйте, мы сдаемся!

Имея полное обоснованное доверие, бойцы встали, а Иван, парторг полка, верный своим принципам, сбросил шинель и пошел к немцам. Это было неправильно. Никто его не окликнул, не предостерег, хотя разум и опыт таких «пардонов» подсказывал: нельзя полагаться на авось, часто сдаются все за вычетом одного. Бывает, бывает наваждение, Иван через года признавался: я же, так сказать, токовал весь день, одурел от счастья.

Когда он подошел к разрушенной каменной оgrade, навстречу ему вышла пара дряхлых человеческих одров с вытарашенными от страха глазами.

И вдруг щелкнул далекий выстрел, пуля с воем, на излете, ткнулась в каменную стенку метрах в пяти от них. И один из одров в панике вскинул карабин и в упор выпалил в Ивана, и попал в грудь, навывлет. (Кто стрелял?)

Бойцы ответили — сначала взводным матом, а потом очередями. Но мгновенья, отпущенного на мат, хватило, чтобы немцы спрятались за оградой.

И тут, отмахиваясь от выстрелов, как от комаров, к хутору пошла Роза, в своих сияющих сапожках и отутюженной форме. Наступила тишина. Роза подошла к Ивану, взвалила его на себя и понесла к своим. Опомнившись, бойцы побежали ей навстречу.

А из развалин вышел тот самый старик, бросил на землю карабин, сел на камень и громко, трубно зарыдал. Никто в него не выстрелил. Через забор полетели карабины, немцы выходили с поднятыми руками, но решительно, готовые умереть. Им повезло, они выжили.

Иван похолодел, побелел, пульс не прощупывался. Полковник-хирург, не глядя на Розу, не отвечая на ее вопросы, велел вывести ее из лазарета, очень грубо, чем давал понять: амба! Но Роза не ушла, она держала Ивана за голову и твердила: живи, живи, просыпайся. Его зашивали — безнадежно, он каменел, а она твердила: просыпайся, открывай глаза. Без двух или трех двенадцать, когда хирург хотел махнуть рукой, Роза поцеловала Ивана в какой-то заветный раз, и он на глазах порозовел, вздохнул и открыл свои ясные очи. Она его вытащила, он выжил.

Он заснул, а она наконец-то почувствовала острую боль. Таща его, она сломала безымянный палец на правой руке. Он срстется очень причудливо, огрызком поросычьего хвостика. Обручальное кольцо пришлось покупать на два размера больше и приплющивать на пальце, чтоб не слетело.

Эта история вспоминалась в их доме за каждым застольем, да еще иногда в чужих домах, и если не сразу, то с охмелением неизбежно. Роза показывала сломанный палец, а Ивану (гораздо реже, он стеснялся) приходилось расстегивать рубашку и закидывать галстук на шею, демонстрируя шрам на груди, а как-то и на спине, где «выход» был внушительнее и походил на пион. Надо честно сказать, история страшно надоела всем, и Огаревым настолько же, тем паче, что с годами ее устало доставали из рукава тогда, когда иссякали допустимые темы разговоров у людей, и без того все друг о друге знавших, но мудро помалкивавших о сегодняшних, куда как интереснейших фабулах своей жизни.

6

Теперь мы встречались с ними часто. Музонька была настолько погружена в Мишин мир, в его заботы, что по большому счету превращалась в его блистательного дублера, его окультуренный женский вариант. Мы гадали, какой была Музонька до

Миши? Знакомы ли ей рассеянность, любовь к сладким пряникам и мировая скорбь?

Но — коротким было их счастье. Она действительно не давала ему «расслабиться», и он исчерпался в полгода. Когда мы съехали в начале учебного года, соскучившись до того, что стали являться друг другу в снах, Стригунов пришел к нам с двумя бомбами вермута и впервые прилично нарезался в коллективе.

Первую половину вечера он помалкивал, и мы видели, что он сдерживается, но его прорвет, он ждет, когда уйдут Колбасьев и Саша «Блок» и придет алкоголь. И слабо, нетерпеливо улыбался нашему отчету о том, как мы группой утром собирались на кафедре. Заведующая, умная, вне сомнений, женщина, без конца повторяла: у вас сложился коллектив? Является ли ваша группа здоровым комсомольским коллективом? А наши девочки лицемерно изображали раздумье и «взвешенно» отвечали: есть коллектив, мы достаточно дружны и сознательны, чтобы повысить абсолютную и качественную успеваемость на двадцать пять процентов. Это хорошо, молодцы, верила им она, но смотрите за мальчиками, шефствуйте над ними. Обязательно, сдерживая здоровый смех, говорили девочки. Заведующая знала, что мальчики — люди заведомо невысокого полета. На что саркастически усмехалась доцент Кудреватых. Она была не столь благодушно-наивна и считала нас животными, способными на мысль разве что на буридановом распутье: залезть девчонке под юбку или дать кому-нибудь в морду? А пожилой доцент Колодкин, как всегда, заснул в своем углу и с грохотом уронил тыкву на столешницу. Никто ему не сочувствовал — от него несло хвойным экстрактом...

Так вот, когда Михаил заговорил, нам оставалось только внимать. Он откровенничал не вполне по-мужски, но уж, видно, добрался до края, выговаривался, Бог с ним. Он не сможет жить без Веры, после нее у него не будет никого, достойной ее во всем Союзе нет, но иногда... готов «тупо свалить» от нее в Москву. Она слишком хороша для него, он часто чувствует себя без умысла (еще хуже!) униженным, он обессилел держать хвост пистолетом. Он знает: если он захочет выпить или поваляться,

она разрешит и выпьет с ним, но перестанет его уважать — за бесхребетность, неуважение к самому себе.

Он не может расслабиться ни днем, ни ночью. Он саламандрой сгорает в Музоньке.

Образ Музоньки: эфир побеждает бытие. Она никогда не мелочится, с ней невозможно поссориться. То есть, при желании легко, сказав какую-нибудь грубость или глупость, но невозможно такое желание. Это как предать Родину — и застрелиться.

Из его монолога наслоился список несчастий. В совокупности они валились на Стригунова чугунной плитой, а из-под крепящейся плиты надо бежать, не оглядываясь. Мы поняли — чем больше он трудится, тем очевидней для него, орла в неволе, потеря творческой искры. «У меня пропали идеи, вместо них — истерика по их поводу». Вера оказалась бесплодна. Нет, он не мечтал о ребенке, но это значит, что ее внимание будет таким же щедрым, не отвлеченным ни на кого. Мы поняли, что он не может простить ей того, что она сама его выбрала, покорила — и продолжает «выбирать» и «покорять». И уж совсем его, диссидента с трех лет, бичевала Верина политическая одержимость, убедительная, не оголтелая, не юродивая. Она, было, здраво рассуждала о конспирации, о ненужных жертвах (с чьего-то чужого голоса — с чьего?). Но Стригунов сей момент не готов был действовать, а она готова. «Она непримиримее меня. Она хочет быть женой декабриста и ждет от меня твердой линии. И поет с намеком: нас венчали не в церкви. У меня от этого пения мороз по коже. Когда ждешь от себя... — это нормально. Но когда ждут от тебя... ». (Не Достоевщина ли, крепко задумывались мы.)

Он проспался у нас. Музонька, достойная жена достойного мужа, не прибежала, как жалкая курица или фурия-собственница, искать его среди ночи. Она радостно встретила его дома, не требуя объяснений, и наверное, сказала: я по тебе соскучилась. И ты, я вижу, тоже.

Как на ладони раскрылся нам Миша Стригунов, но мы переглядывались сочувственно. Мы были слабаками и видели за его терзаниями судьбу Адама. Адам раскусил фундук и потерял зуб. Не стало зуба — и Адам понял, что взаправду смертен. У бессмертных отрастает все, даже мозги — если они им нужны, конечно.

Однако жертвой репрессий пал именно Михаил. Это освежило их отношения, отложило их разлуку, и Вера в этих событиях предстала как женщина с прекрасно, величаво выраженным материнским началом.

Однажды, получив стипендию, мы, по недавней традиции, отправились компанией в Тайгу, станцию на Транссибе, за семьдесят километров по железной дороге. Там работал круглосуточный вокзальный ресторан. И, неизвестно, с какой стати, там подавали кушанья боярского пошиба — огненную солянку, говядину с черносливом и болгарское легкое вино, по тем временам — напиток богов. И был вокзал симпатичен, удобен и чист. Зовуще гудели локомотивы, и отовсюду являлись люди, тут же исчезающие навсегда, как вода. На тысячи километров в округе, от Омска до Иркутска, не было такого народного ресторана. Возможно, потому, что вокзал в Тайге построил все тот же неутомимый малютка-зодчий, имени которого и здесь никто не знал и не спрашивал.

Само расписание электричек провоцировало романтику. Туда поезд уходил в ночь, обратно утром. «По вечерам над ресторанами, девичий стан, шелками схваченный, ты право — истина в вине». И побольше, навалом снега, дождя, тумана, неожиданных встреч! И какая радостная, томная усталость, когда зябким нетрезвым утром укладываешься в постель и последним усилием натягиваешь на себя родное одеяло, прожженное окурками в трех местах.

«Поедем в Царское село»? Черт его знает, может быть, для нас это и было полуслепое, бедное окно в Серебряный век? Новое — это езда, еда, шатанье, трепотня — было символами молодой, свободной, одухотворенной жизни.

На этом и попался разгоряченный вином Стригунов. Хорохорясь перед Верой, хорохорясь Верой перед нами, он заговорил о расстреле Гумилева, о садизме Ленина и даже, по неведению, пожалел троцкистов. К сожалению, с нами был тот самый Пашка Колбасьев, наш пожилой 28-летний нахлебник. Деньги отбирала у него жена, несчастная мать двоих несчастных детей, и он гулял за чужой счет, не стесняясь, по уважительности причины. Это не помешало ему стукнуть на Мишу куда следует. Заплатил он за это дорого, но не о нем речь.

Миша загремел, его отчислили. Конечно, разъяренный тесть остался в стороне, да Вера и не позволила бы ему заступаться за мужа. И сама, раз уж так вышло, не считала нужным просить милости, грош цена стойку, если он приспособливается к меняющемуся ландшафту. Миша устроился сторожем и ходил в библиотеку, экономя время на академической рутине. Музонька хвалила его, окружила двойной заботой и говорила, что был он студентом, а стал Магистром, Вольным каменщиком.

А он в этом сильно сомневался, однако. Его никак не устраивало такое положение. Он был бы совершенно доволен, кабы все восстановилось по-прежнему, на, так сказать, стартовой позиции. Или наоборот, надо бы совершить какой-нибудь подвиг, сесть в сани Федосьи Морозовой, идти до конца, отцепляясь от этого бесконечного советского поезда. Но только не так, между и между, только не так. Вера же с ним не соглашалась, она видела, что он еще не оправился от удара, не набрал хладнокровия, опять же у Миши признаки хронического бронхита. А недавно ей нашептали про психушки (вдруг?), и она пока не представляла, как с ними бороться.

Наступил день, когда Стригунов не выдержал. Он сбежал. Он сам не знал, бежит ли он за подвигом — или от Музоньки? Она его потеряла навечно. А поймали Мишу на финской границе и засадили, как вы догадываетесь, в психушку. (Держался он хорошо, мужественно, все вынес, вышел через три года на волю. Спустя годы он доучился в столице, сейчас — известный ученый. Без Музоньки ему стало легко и куражно. Он холостяк. Без обязательств, без любви он способен на многое. Чтоб наступать, он должен был иметь право отступать.)

Вера не думала о нем плохо. Она не узнала и не узнавала о нем ничего. Но она не простила ему тайного побега и разлюбила как отрезала. Один из нас встретил ее на улице, и она очень спокойно, без тени какой-либо мстительной игры, сказала ему: Миша для меня умер. Он поступил нечестно. Мог оставить письмо. И, вздохнув, добавила: тогда бы я его простила. Но не полюбила бы снова.

Она вернулась к родителям. Они-то были рады! Вера стала писать стихи. Они были очень свободолобивые, гладкие, будто

переводные, и длинные. Когда она читала их в компании, все замирали и прятали глаза: всем казалось, что эти стихи написал Миша Стригунов, который никогда в жизни не писал стихов и не любил их, страдая полным отсутствием чувства ритма.

7

В жизни любого человека есть запоминающийся, судьбоносный год. Для многих людей, рожденных после войны, таким годом стал 1968. Памятуя о феерии с ленинским бревном, число этих людей не стоит преувеличивать, но Вера Огарева — безусловно, одна из них. Вопрос здесь лишь во внутренней хронологии этого года. Отец считал, что Вера «сдвинулась» с приездом вольнолюбивого дядюшки, летом, а Роза истоки ее одержимости отсчитывала с января, когда дочь, третьекурсница университета, повязала на шею варшавскую косынку в подражание Майе Кристалинской. Роза также считала, что в сложившихся обстоятельствах на Веру негативно, от противного, повлияла персона дедушки. Персона вызывала кощунственные сомнения в человеческой природе социализма и у самой Розы.

В мае из Дубравлага пришла телеграмма: дед Трофим Степанович перенес четвертый инфаркт, полностью беспомощен, приезжайте, забирайте. Отец был перегружен работой, поехала Роза. Пьяные от водки и долгожданного расставания с Трофимом, коллеги радостно занесли его в машину, потом в поезд — и полумертвый Зеленый Кум прибыл в квартиру на улице Крылова.

Живучий, как ящерица, дед пришел в себя через две недели, задвигался, взялся за домашний ремонт и даже за готовку. Критикуя Розину кулинаристику, сам, между тем, готовил отвратительно, недодаривал и недоджаривал, оставлял болонью и хрящи в мясе, глазки в картошке. Он был наступательно чужд «вежливятине» и не скрывал, что удел невестки (увиденной впервые) — угождать ему и поддакивать его речам, а он говорил много, часами, правда, об одном и том же — падении нравов и дегенерации строя, prostituiрованного хохлами, потомками Троцкого. Красота Веры его потрясла, узналась им как родовая, и татарскую примесь он оценил, но называл внучку «холеной кобылкой» и знал, что красота ее погубит, обратит к распущенности.

Но на улице, в массы, — ни ногой, никогда. Он читал исключительно мемуары военачальников, не веря ни единому их слову, не интересовался прессой, не глядел в окно, открытое в цветущий двор. Во всяком случае, при родных (одна скамеечная бабушка уверяла соседок, что видела-таки его в окне. Она была юмористка: водяной какой-то. Как зыркнет на меня своими ледышками — я «трошки не описьялась»).

А в июне, через месяц, освободившись из мест отдаленных, явился на randevу с родными Выродок. Этот обязывающий псевдоним дал ему Трофим Степанович, чьим сыном от короткого второго брака он и был, Всеволод Трофимович Огарев. Брак случился коротким, потому что жена и бывшая секретарша Трофима, Дина Лазаревна Залкинд, дальняя родственница Р. С. Землячки, сбежала от него с ребенком. Она была дамочка городская, с потребностями, стильно употребляла Э вместо Е. Она еще смирялась с необходимостью стирать ему носки и ковыряться в хлебе земном, но его небесный хлеб, весомо и зримо отраженный в его поучениях и брани, довел ее до полного нервного истощения.

Выродок, едва разменявший тридцать лет, при первой встрече-узнавании потряс отца теплым, сердечным поцелуем, от чего Зеленый Кум, шипя и дымясь, побежал в ванную и заперся там на полчаса. Всеволод, дядя Сева, являлся зеком и, самое пикантное, отсиживал срок в том же Дубравлаге, в тридцати километрах от отца пожарника. Вере он выдавал себя за узника совести, борца с режимом «бровеносца в потемках», и был искренен, являлся им в целом. Но Иван, Роза и дед достоверно знали, что конкретно-случайно он проходил по уголовному делу, а именно: живя в Ленинграде и общаясь с тамошней артистической богемой, пустился в спекуляции, получая незаконный доход путем переклеивания этикеток дорогих сортов рыбных консервов на банки с дешевым содержимым и продажи такого товара в розничной сети на автомобильных и железнодорожных вокзалах в сговоре с продавцами продовольственных киосков.

Даже не хочется рассказывать, во что превратился гармоничный быт Огаревых с явлением родственников. Гости забыли к ним дорогу. Искры от деда летели во всех направлениях. Сановный отец чувствовал себя наказанным, вроде агнца на заклании.

Его ужасала и буреломность деда, и никчемность сводного брата. И ведь этот прохвост вел себя прилично, деликатно, и на бесконечные упреки Трофима Степановича отвечал: «Каюсь! Каюсь! Порвали парус? Починим, клянусь!»

Они не знали, что этот иезуит берег силы для тайных просветительских бесед с Верой, обычно перед обедом, или после обеда, когда родители исполняли службу, а капитально оглохший от кондрашек прародитель дремал на кухонном диванчике, притворив за собой дверь. Тут Выродок снимал маску! Надо сказать, беседы о времени и о себе он сопровождал смакованием коньячных флакончиков, припрятанных в его многочисленных карманах. Но и трезвел он моментально, по желанию-прихоти. Хочу — пьян, хочу — трезв. Веру это, к ее удивлению, восторгало — наверное, как наглядное воплощение духа и вкуса свободы. Роковое открытие заключалось в том, что эта ясная свобода как нельзя более удачно соответствовала Верину максимализму. Не в пример компромиссным прописям «детей орлиного племени» — те скорее утешали и утихомиривали, постыдно равнодушные к добру и злу. А дядя Сева любой факт поверял этически! И только так! И тоже носил на шее косынку, называя ее «галстух»!

В начале июля родители умотали в отпуск, на Синий Утес — путевки, слава Богу, купили зимой, чем легко опровергалась версия бегства, о чем можно было подумать, обнаружив оставленные ими в прихожей чемоданчик с бельем и новые отцовские кеды.

Фу-фу, теперь дядя Сева разгулялся на просторе. Бросаемые им семена набухали на лету, не достигнув ждущей почвы. Вера узнала калейдоскопический быт богемы, вольных сходок на знаменитых кухнях. Высокое там цвело в отрицании условностей, в открытости страстей. «Это вызов, понимаешь, племяшка — вызов! Мы такие — творим на салфетках и дарим их товарищу. Это — великая жажда, девочка!» Выродок знал всех олимпийцев. «А вы видели Окуджаву, каков он, томный, бледный?» — спрашивала Вера. «Булатка-то? — отзывался дядя Сева, — мы друзья. Помню, пили с ним на Балтийском вокзале, и он мне говорит: «Знаешь, старик...» «А вот Белла Ахмадул-

лина?» — с замиранием сердца спрашивала Вера. «Хорошие, теплые отношения. Как и я, уважает коньячок. Однажды, принародно, поспорили: кто кого перепьет — и представляешь, эта газель заснула за столом секунда в секунду со мной. Она всегда советовалась со мной о своих стихах. Есть у нее строчка...» «А Кирилл Лавров, Даниил Гранин, Товстоногов?..» «Друг, пил, советовался: скажи, старик...» и т. д.

И дядя был писателем, ценным. Увы, после того, как КГБ изъясил у него роман и трактат «Экзистенциализм — это гуманизм», у него сохранилось всего два коротких рассказа (на самом деле, это было все, что он выжал из себя, мучимый помельем и завистью). Рассказы были тухло-грустные, в них ничего не происходило, но Вера всплакнула. Я хочу, чтоб их положили мне в гроб, повторял Выродок.

Дядя развенчал мифологию съездов и демонстраций, от пролога до эпилога. Когда очередь дошла до А. М. Коллонтай, Вера обмерла — и не ошиблась в предчувствии. Подвиги А. М. носили однообразно развратный и подлый характер. И добродушное дядино: «а пила она, стерва, хорошо, в Стокгольме уходила в запой неделями, наши Берлин берут — а она ни тяти ни мамы», уже ничего не спасало. В тот вечер Вера испробовала с дядей эликсир Свободы, двух рюмок ей хватило, чтобы всю ночь шарахаться по квартире, подобно Татьяне Лариной, отправившей свое дивное письмо, и дядя исполнял роль Нянечки, советуя ей вложить два пальца в рот. С тех пор Вера убежденная трезвенница.

Ночами они слушали «голоса». И тут свершились августовские события в Чехословакии. Они словно поставили всему окончательный диагноз. Мир залило тьмой, но Вера увидела свою звезду.

Но пока они, волнуясь и теряя осторожность, крутили ручки радиоприемника ВЭФ (западные волны неистово глушились) — проснулся Зеленый Кум. Он, собственно, подозревал, что ее отношения с Выродком дошли до опасной точки, люди молодые, если и родственники, а он по себе знал, что человек — скотина. Оказалось, хуже. Много, много хуже. Несколько ночей Кум стоял под дверью — и уж их-то комментарии он худо-бедно уяснил.

Два последующих дня Вера и дядя Сева холодели под его тяжелым взглядом. Он не говорил ни слова — сначала это казалось обычным, потом тревожным, потом страшным. Они притихли и не подходили к приемнику. А он молчал, сидел на диване и всухую, с треском ел печенье «Октябрь», засыпав крошками пол кухни.

Утром третьего дня, молча выгнавши полотенцем залетевшую синичку, он надел пиджак с орденскими планками, обулся, и пошел на улицу. Потрясенная Вера и Выродок вывалились из окна: он вышел из подъезда, сделал несколько шагов и упал.

С пятой попытки инфаркт добил его. В его кармане нашли заявление в КГБ. В нем, с приведением дат, времени суток и дословных цитат, изобличалась деятельность сына и внучки. Кум просил для внучки снисхождения, для сына-рецидивиста — сурового наказания.

У примолкшего дяди Севы исчезло лицо. Его выгнали, и след его простыл. Было глухое известие, что в 1986 году он переехал в Страну Исковерканных Имен. Ни отец, ни мать не пытались объясняться с Верой. Они приняли случившееся на свои плечи, как дань зигзагам времени.

А в жизни Веры наступила героическая эпоха. Она решила служить правде, а поскольку «девушка ждет» — служить людям, ее несущим, то есть любить такого молодого человека. Найти — и любить. Таким человеком и оказался Миша Стригунов, ее лобастый и остроносый сверстник, горящий любовью к общественному благу.

Кстати, упомянутую косынку (вернее, косынки, их у Веры три — черно-серая, сиреневая и бежевая) Вера повязывает ежедневно, в любую погоду уже почти пятьдесят лет. Роза была права.

8

Музоньке исполнилось тридцать. Она защитила диссертацию по истории своей науки и работала на родном факультете. Там ее побаивались — она держалась обособленно, ни с кем не сходилась, не сплетничала и не держала речей в честолюбивых или выставочных целях. Когда встречалась с несправедливостью, всегда подавала голос против, лаконично объясняя: считаю, что это подлость, сделана ошибка, ее надо исправить. Иногда ее

слушались, помня, кто есть ее отец, но со временем был распушен примирительный слух о том, что она не в себе после бегства мужа, блаженная. Она нисколько не изменилась внешне. Мужчины (а желающих хватало) ее совершенно не интересовали. Ее пятнали модным словом «фригидная». На самом деле она должна была выбрать его сама, но герой в бедламе тогдашнего отупенья и охаменья, не просматривался, не проявлялся. Ее сердце спало, а ее тело подчинялось приказам сердца.

Трудилась она много и старательно. Ее общественные взгляды изменились. Она по-прежнему не доверяла родной партии, но считала, что общественные изменения должны быть подготовлены кропотливым трудом миллионов честных людей. Узнав об этом, Иван Трофимович развеселился и перекрестился.

Теория малых дел, стало быть, — остепенилась девочка. Уже легче. Где же кружка?

На такие мысли навел Веру оппонент ее диссертации, старик-профессор из Киева. Он был в нее влюблен и делился откровениями об эволюции, постепенности, фазах равновесия в общественной жизни. «Нам остается возделывать свой сад, Верочка, надо возделывать свой сад. И глядя на нас, этому научатся другие». Он имел в виду и что-то свое, и даже что-то нафталиновое, но Вера поняла его по-своему.

Год назад умер Иван Трофимович. Его погубил рак. Хоронили его, конечно, торжественно, помпезно. Роза Хасановна говорила Вере, что его считали старомодным, негибким руководителем; первый секретарь, которого теперь называли Хозяин, не любил Ивана Трофимовича. Вера очень жалела об отце.

Они зажили вдвоем с мамой, очень дружно, доверительно, хотя Розу Хасановну смущало, что дочь подминает ее, подчиняет своим взглядам, и ей приходилось на работе думать одно, а дома — другое. Они ходили в кино, в театр, и в один прекрасный вечер по-студенчески остались на обсуждении премьеры знаменитого «Золотого Слона», вещи очевидно антисоветской. Роза удивилась, ничто из увиденного и услышанного ее не покорило. А происходящее на сцене показалось ей более интересным, ярким, что ли, сочным, что ли, чем, например, в ловких пьесах Погодина...

И тут случился форменный скандал, после которого Веру выжили с работы — «вынесли», на жаргоне тех лет. Она выбрала слепого.

Первого сентября 1979 года профессор, он же секретарь парткома университета В. Ю. Брехт в 8:45 вошел со звонком к первокурсникам в старинную аудиторию-амфитеатр, с удовольствием представился и, ласково щурясь на солнышко, начал читать им вводную лекцию по истории партии. Не успел он сказать первую фразу, как сверху послышался странный, негромкий, но вызывающий стукот. Он остановился, всмотрелся в лица студентов — на одних читалось недоумение, на других неловкие усмешки. Он продолжил — возобновился и стук. Стучали по партам, явно несколько человек. Неужели, подумал он, вот так, глупо, в моем университете, мы дождались наглых политических провокаций? Лицо его потемнело. Но к нему бежал уже староста потока. Он сообщил, что в аудитории находятся незрячие студенты. Они конспектируют лекции, ударно накальвая листы тонкого картона специальным металлическим крючком, сверху вниз и направо, от чего и стучат.

А-а-а..., ну, в добрый путь, товарищи, — сказал повеселевший Брехт. К концу первого часа он привык к необычному аккомпанементу и ловил себя на том, что его подмывает им поддирижировать: то ускориться, то замедлить темп, повесить паузу, вылепить длинное, сложноподчиненное предложение. Он мог, он лекции читал без бумажки, из самого себя. Забавная установилась между ними связь. Когда Брехт закончил, он чуть не сказал: «Спасибо, товарищи», имея в виду, что они неплохо помузицировали.

На факультет приняли целую группу слепых — из городов Западной Сибири свезли трех юношей и двух девушек. Всем им было лет по двадцать пять, все они отличались неординарными способностями, даже талантами, и изъявили желание получить высшее образование. У них была необыкновенная память, они говорили на хорошем русском языке и умели себя вести среди зрячих. Развитый слух позволял им легко ориентироваться в пространстве, они узнавали людей по походке, запаху, дыханию. Они аккуратно причесывались, гладили брюки, стирали белье и читали свои огромные книги, водя пальцами по пухлым

страницам, как гусяры-баяны. При общей дисциплине и неожиданной любви к спиртному (наследие интернатского прошлого) они были разными и выглядели по-разному.

Слава Бородин видел свет и на сильном солнце — контуры предметов и людей. У него были обычные с виду глаза. Подвыпив, он за символический рубль читал желающим наизусть нетленного «Луку Мудищева», сладострастно играя голосом. Желающих было много. Витя Сатанеев (Сатана) был кос, слабо-слабо видел под большим углом и при разговоре вставал к собеседнику боком, как будто собирался его ударить. Он был меломан, играл на гитаре и имел дорогой магнитофон «Комета». Впрочем, магнитофон приказал долго жить, Сатана по пьянке выбросил его из окна с целью узнать, как он будет играть на лету. Коля Беневский, из ссыльных поляков, был сухой, очень сильный, симпатичный. Он не видел ничего, его глаза смотрелись мраморными, с нарисованными зелеными зрачками. Он был самым интересным, любознательным. Он мечтал построить свой дом, с верандой, красотами убранства и картинами, на которые будут любоваться его зрячие дети. У него был полный набор столярных инструментов, и его комната превратилась в столярку. В ней пахло стружкой, канифолью, лаками. Он ежедневно что-то ладил — художественные табуреты, этажерки, полочки, работал очень ловко и быстро. Он различал породы дерева на ощупь. Ремесло свое он то продавал, то отдавал, был щедрым, но стал самым богатым человеком в общежитии.

Вера все это про него знала, когда он однажды при ней сказал, сидя с приятелем на соседней скамейке в университетской роще: «Люблю цветы — трогать, нюхать, выращивать. У меня кругом будут клумбы. Розы, гвоздики, флоксы, и табак хочу. И георгины — таких форм цветов, само совершенство, твою мать!»

Да, он злоупотреблял матом и алкоголем. После этого Вере достаточно было услышать, что этот слепой красавец, жрец прекрасного, что-то стал частенько прикладываться к бутылке, чтобы она пришла к нему и представилась, погладив его по руке. Он поднял голову и почувствовал ее тепло, ее дыхание, ее фигуру и то, свыше, что дано почувствовать слепым. И безумно влюбился. Они сошлись.

В считанные недели Вера освоила систему Брайля и азы деревенного дела. Коля был великолепен. Он оказался выходцем из шляхты и учил ее польскому языку, очень удобному для бесед о цветах и маневрах столяра.

Роза Хасановна не стала падать в обморок. Она скорее обрадовалась, чем огорчилась. Она любила Короленко, и знакомство с новым зятем настроило ее на отреченный сентиментальный лад. Она огорчилась, когда Вера, горячо поддержанная стыдливым Колей, категорически отказалась жить в их квартире, и сняла, с помощью Розиных знакомых, квартиру с отдельным входом на той же улице Крылова, в трех шагах. Там было печное отопление, но был закрытый дворик. Хотя бы так, вздохнула Роза, по соседству, и забегала к ним каждый день после работы. Весной молодые посадили цветы в дворике, под окном.

Коллеги Веры были оскорблены и встречали ее гробовым молчанием, отворачивались. Живет-сожительствует со студентом, слепым, младше ее на пять (!) лет! Некие основы вопиюще подрывались. Ассистент Молчанова, любовница директора мебельного магазина, встретила ее на кафедре с закаченными глазами, стуча по столу костяшками пальцев. Это было чересчур, и ей попеняли.

Вера не переживала, ей было некогда, она была счастлива. Она отважно ходила с Беневским по городу в черных непроницаемых очках, чтобы он водил ее, чувствовал себя главным в их семье, уверенным мужем зрячей женщины. Со слов тещи, он привык называть ее Музонькой, потому что это точно выражало суть их отношений. Им было очень хорошо, и мы, как один, неудачно женатые люди, им по-хорошему завидовали.

Нас удивляло, пожалуй, что Вера приучилась употреблять, всегда к месту, крепкие выражения, и что-то изменилось в ее пластике. Из-за всего этого мы стали глядеть на нее куда более земными глазами, чем раньше. Мы заметили, что юбки ее сделались короче, и с трудом отводили глаза от ее ног, от выреза ее платья — а ведь и ноги, и грудь ее оставались такими же, как прежде!

Этот Беневский был жизнеутверждающий персонаж, гурман, любитель винограда!

Но, пожалуй, чересчур. Несмотря на то, что они почти не расставались, любили друг друга при первом удобном случае, а этот случай подковой висел у них на косяке, он безумно ревновал. Его слепота оказалась непреодолимой стеной между ними. Любой ее разговор с другим мужчиной приводил его в плохо скрываемую ярость. Купаясь в неслыханном счастье, он ежеминутно думал о том, что она наиграется им и бросит его — ее красоту он ценил и понимал острее нас, а красота, известно, притягивается красотой... Как все слепые, он страдал резкими перепадами настроения, изводил Музоньку, изводился сам. Это он оттягивал день регистрации их брака, не желая проснуться однажды нелепым рогатым слепцом.

В общем, счастье было опять недолгим. Вера настояла на браке и готова была стать Беневакской. В августе, накануне официального бракосочетания, он сбежал, мыча от горя и чувственности. Перед этим он пил целую неделю.

Через два месяца он женился на слепой девушке из ВОС. Ей было семнадцать лет, она была маленькая, с крохотным торсом и большими толстыми ногами, словно состояла из них. Ее прищуренное лицо было ассиметрично и на редкость некрасиво.

Вера не простила его и разлюбила. Она вернулась домой, но ходила ухаживать за цветами в их бывший дворик. Они встретились на улице год спустя. Николай шел ей навстречу с женой. Вера остановилась, молча пропуская их. Он узнал Веру, как умел, по ее присутствию. Он не вздрогнул, но лицо его жутко исказилось. И молодая жена крепко ухватила его за рукав и заставила его ускорить шаг. Она гневно прищурилась на Веру, а потом распахнула перед ней свои молочные зрачки. «Мне было их жалко, ее сильнее, чем его, — рассказывала Вера, — но он, жалкий человек, пошевелил губами: Музонька». Из Николая ничего не вышло. Он замерз в сугробе, подшофе, оставив жену с тремя зрячими детьми в грязной, неухоженной квартире.

А вскоре кафедра спровоцировала ее уход. Почувствовав запах крови, коллеги предъявили претензии идеологические и моральные. Отец умер, бояться было некого. Она не вспылила, она встала, холодно сказала им, что они ей не судьи, невежи и лицемеры, и, не садясь, ушла домой. Без тени сожаления, она

устроилась работать воспитателем в детский дом, по совместительству вела там уроки. Ее не волновал престиж. В отличие от университетских, ей в голову не приходило, что все другие профессии — будь то дворник, будь то великий полководец — всего лишь вспомогательны и поставляют сырье на стол их историка и толкователя. Все лето Музонька проводила с детьми на огороде и клумбах. Добрый десяток лет гороно регулярно давало ей грамоты за лучший уход за школьным двором. А еще она основала в детдоме столярный кружок, являясь единственным в области педагогом-женщиной такого профиля. Женщина в ней вновь заснула надолго. Но полно и безупречно проявило себя зрелое материнство. Роза Хасановна молилась на нее, принимала на праздники толпы чужих ребятишек, кормила, мыла и развлекала их, вспоминая, что татарские семьи от века были большие, бывало, дедушки не помнили имен внуков и внучек, а отцы путали детей.

9

Я взглянул окрест себя — душа моя уязвлена стала. Ее пронзила мысль о том, что на свилке наших перетекающих веков люди потеряли биографию, как некогда потерял свою тень Петер Шлемиль, герой литературы. Да, это так, и случилось это потому, что биография теперь — избыточна, род аутизма. Объективно — невозможна, субъективно — не нужна. Зачем ключи, если все двери настезь, Господи ты Боже мой?

Помнится, это произошло в июне, месяце циклической усталости, когда не стоит оглядываться на прошлое и прищуриваться в будущее, палит остановившееся в небе палестинское солнце. Весь мир сужается в комариную брачную полость и тополинный пух сторожит каждый вздох всего, что живо. И, забывая о творчестве, униженные пальцы человека чешут возмущенную кожу. Нет сомнений, «Экклезиаст» написан в июне.

Я вспоминал умершего друга. Его наследство — светящийся кирпичик в пирамиде поэзии. Я перебирал эпизоды его (своей) жизни — общения, женитьбы, переезды. Ничто не подтверждало и не объясняло, откуда взялся его голос и почему он окреп. Так, обрывки фраз и выраженья глаз — но слишком

долго их надо растолковывать, предлагать на веру, чтоб сквозь них проступил его свет невечерний. Так называемые факты не говорили о нем, говорили не о нем, скорее, рассыпали его образ, клеветали на него... Почему, за что? Что же остается другим людям, без голоса, которых нынче безнадежно забывают в поколении внуков?

Биография — что такое биография? Ее основа — сопротивление времени, если оно неправо, если оно право. Она — первый признак и условие здоровья и одухотворенности общества. Оподеленок ему без больших и особенно малых героев! Это продолженная и в нужный час нарушенная, в продолжение собственной нити, родовая легенда, воплощенная в цепи поступков Этого человека. Эти поступки связываются в сюжет, волнующий нас своей достоверностью, свершенностью, принадлежа живому, а не вымышленному герою. Эти поступки — потому и поступки, что за ними — свободный выбор и внутренний долг, «великий Норд». Верно, свобода и долг не бывают в ладах с былинами сего времени, с его модой и его копеечкой, как и положено одушевленной материи, коль уж она по определению не согласна с самой собой.

Ныне гилозоизм несколько смешон. Вот мы и вступили в мир, где нет ни судьбы, ни призвания. Труден он для нас, умевших найти себя и судьбу только от противного — сгибаясь от насилия, распрямляясь на Великой войне. Бездомно живя в узких или широких боксах с холодной или горячей водой, не зная, где нас похоронят, мы обречены на вынужденное бытие. Оно коварно — множество мелких сегодняшних предложений всегда победит один большой спрос — восходящее из тьмы эхо мертвых. Мы состоим из внешних, как одежда с чужого плеча, дел и речей, и часто, часто делаем что-то, безразлично, чтобы всуе подать себе весть: я — жив. Есть меня на этом свете. Скорбном свете, где двое дружат против третьего, а самый частый вопрос, который задают себе мужчины и женщины: почему она? почему он?

Нам встречается человек — он еще не упакован, но он и не хочет быть упакованным, он, видите ли, имеет творческие фантазии, а это — бестактная заявка на биографию. Это беспокоит окружающих. Это саднит — они уже упакованы и последним

знанием «знают», что такие попытки обречены. Они еще смиряются с тем, что где-то у колец Сатурна, на далекой от них периферии кто-то умудрился взлететь на восковых крыльях, но ближний, деливший с тобой рабский хлеб жизни — и расправляющий бесстыдно крылья — невыносим. Он — никчемный диссидент, но теперь расправляется с ним не государство — осаживают и добивают его первые соседи по жизни: сокашники, друзья, родители, любимый человек — и учителя!

Нет, мы встречаемся или встречались со своей душой. Но куда нам до наших деревенских бабушек, угольков большого народного очага. Увы, это бывает в минуты усталости, когда устаем улыбаться без радости или пить, чтоб невзначай не услышать музыку сфер (музыка сфер — потом, завтра, сегодня она нас умаляет). Но мы ее мало что не стыдимся — мы строим глубокую, эшелонированную, простите, защиту ее от других, включая себя. Мы надеваем личину, нередко скоморошью. Трусится время, личина все туже стягивает нам лицо — вырастает в него. А завтра (завтра тебя ждала музыка сфер, не помнишь?) ты уже уверен — личина «сброшена» — есть ты. Почему-то тебя зовут Иван Иванович или Иван Никифорович, но это, видимо, недоразумение. Случайный песчаный человек. Случайный сосуд культуры — должна же она во что-нибудь излиться!

В зеркале мы видим измену, отчего бреемся с дотошностью. А все остальные измены — мелкие подробности, может быть, необходимые в бытийной игре в чет и нечет. «Вчера под проезжающую лошадь попал...» — главное, что попал, реализовал свое священное право.

«Облетают последние маки».

Нет, я не увлекся, не забыл про Веру Огареву. Я и хочу сказать, что у Веры Ивановны Огаревой есть то, что давным-давно, когда бледнели краски эллинизма, в затянувшихся сумерках от нечего делать назвали биографией.

Впрочем, возможно, что я сегодня выпил лишнего.

10

Сейчас те дети выросли. Многие из них остались в городе. Они, как могут, заботятся о Вере — ремонтируют квартиру, за-

валивают ее банками из своих погребов, на юбилей «две пятерочки» справили ей дорогой костюм. Она раздала им ключи от своей квартиры, и они могут приходиться к ней в любое время.

Самым трудным для Веры было удержаться от выбора любимчиков. Человек долга, она понимала, что не имеет на это права. Роза уговаривала ее удочерить Машу Мелентьеву, хорошенькую хромоножку, «лавальерку». Вера не согласилась — это обидит других детей.

Прошло еще десять лет, в заботах, в добром общении с людьми. Вере некогда было унывать и раскисать. Усталости, эмоциональной и физической, она не знала. Понемногу вечерами в их доме начали собираться разные новые люди. Хозяева — приветливы и интеллигентны, дом — в центре города, собрания в духе времени: «возьмемся за руки, друзья». Окуджаву знали все, но новых знакомых было больше, чем нас, они были моложе нас, имели свои секреты и были уверены, что тяжкие затворы скоро падут. За наши руки они брались из снисходительности. Нам казалось, что среди них немало прохиндеев, разыгрывающих карту вольномыслия в своих частных целях. Что делать, мы старели и опускались, сказывался катар выгребной брежневской ямы-эпохи.

Музонька детского дома оставалась красавицей. Она была килограмм в килограмм с собой с даты нашей первой встречи, смуглая болгарская кожа сопротивлялась морщинам, глаза сияли — старят нечистая совесть и глупые недоразумения, которыми обрастаешь, как свинья щетиной. А ее совесть переживала вечную пору расцвета.

И красота ее зрелая, необыкновенная, стоила гораздо дороже прежнего — она была уже не хаотическим даром предков, а личной заслугой.

Году в 1983 ее подставили — подсунули на хранение какой-то самиздат. Гэбисты приходили с обыском, конечно, по наводке, ласково запугивали, перемигивались на ее забавно-храбрые речи. Крепя сердце, Роза тайком ходила к Хозяину. Он унизил ее, говорил с ней, как с неотесанной бабой, не предложил сесть. Но от Музоньки отвязались, на прощание сообщив, что на ее совести судьба молодого радиофизика Карцева, которого она, авторитетная женщина, не предостерегла, не вразумила.

«Мы тому не удивляемся, впрочем, наблюдая за вами внимательно. Вы не представляете, как много мы о вас знаем». Эта ритуальная пошлость говорилась на пороге квартиры. Их было двое. Впервые в жизни Музонька не совладела с телом — ее передернуло. «Ну и хер с вами», — неожиданно сказала она. Они «пропустили» ее слова мимо ушей, гладкие молодые кобели: на ней был коротенький желтый сарафан, она была босая.

Пару лет в их квартире раздавались идиотские звонки. Свежий мужской голос учтиво сообщал подробности ее встреч и маршрутов (не очень, чтобы точные), а заканчивал воркованием. Помнится, озвучивалось и приглашение в кино. Веру это слегка удручало, она не могла понять, чего «они» добиваются. Выказывают себя врагами и тут же подпускают амура?

Но потом «они» исчезли. Амурную тему продолжил поэт Игорь Гиляев, сколь непризнанный, столь и признанный. Его хитрая лира издавала страдальческие урбанистические звуки о диссонансах бытия, в режиме самоуправляемых верлибров, их материя была неказистой, как сама разорванная жизнь, но это смотрелось высшей, ответственной поэтической правдивостью.

Гиляев был бездомный пришелец и жил и кормился у экстравагантных одиноких брошенных женщин. Они утверждали, что выгнали своих мужей за мещанство и натурализм. Гиляева отличал рационализм, строгий, неподкупный. Если ему приходилось заглядывать в портмоне любимой, он ни в коем случае не брал лишнего — брал на одну данную потребность. Он знал, чем кончаются излишества. Он не был потомком «проклятых» поэтов, хотя ренту имел с этого образа.

Все едино: приходил срок, и любимые, измученные его надменным взглядом, вставали перед ним на колени и в слезах просили со двора.

Сейчас он жил у одной женщины и сочинял нескончаемый, в практических целях, цикл стихотворений, где сравнивал ее с различными обитателями зоопарка. Она побывала бегемотихой, волчицей, лисицей и питонихой — и пока верила, что, благодаря Игорю, в ней действительно играют все лики великой фауны, вершина которой — Женщина (тема грядущего, заключительного стихотворения в этом замысле).

Но красота Веры и просторы ее квартиры, где он выделил бы себе долгожданный артистический кабинет, взволновали его. Он принялся за ней ухаживать. Как ни странно, суровая эстетика сибирского Гавроша не исключала томные позы, грустную задумчивость на вечеринке и горький хохот ни с того ни с сего. Он дарил ей бумажные цветы собственной выделки.

Вера была оскорблена. Ее — ее пытались выбрать. Какой-то молодой человек намекает ей, что время неумолимо, его опасно упускать, не зовет ее вить гнездо, но настойчиво подпускает: «Я бы с легкой душой умер в таком викторианском доме».

Она не видела, из чего строить этого человека, куда с ним идти вместе. Во сне она видела его в атласном халате с позолоченными кистями. Он щипал виноград из хрустальной вазы.

Гиляев промахнулся. Развивая мнимые успехи, он попытался ее приобнять. Цусима! «Идите на хер, Игорь, — сказала Вера, — идите и не возвращайтесь». Гиляров, на свой манер, объяснял свое фиаско тайной востребованностью ее «кипарисового тела», а также профанными предрассудками партийной дочери. Умный, он подавил острое желание наговорить о ней гадостей и совершенно искренне простился с ней в стихах. Запомнить их было сложновато (читайте его книгу «Фонари на окраине»), но смысл таков: «Спасибо, я закрыл за собой твою синюю дверь. С кем ты будешь пить чайную прелесть твоей лампы, тонуть в сугробах шелестящих страниц, перебирать медальоны памяти?... Кто проиграл?».

Месяц спустя Вера не могла вспомнить его лицо и безо всякого умысла не узнавала его на улицах.

А в 1991 году Вера полюбила в третий раз, женатого человека, подойдя к нему у себя дома. Роман Семенович Мальгин был постарше ее. Яркая личность. У него была увлекательная внешность пророка, покинувшего верблюжью палатку, чтобы повести за собой и звезды, и песок, и подземные воды. Буйные кудри по плечам, огромный седой кок надо лбом и гуттаперчевый бордовый рот. Ростом — гренадер. По телефону он отзывался звучным: «На проводе!», что вызывало противоречивые ассоциации. В нем воплотилось наше будущее — он был правозащитник, громил беззакония направо и налево. Кажется,

любой из окружающих (мы, одного с ним поколения люди — обязательно) попадал под рентген подозрений: не чахнет ли по умирающему режиму, не подвержен ли омерзительной ксенофобии, не смеет ли в заячьей душе не соглашаться с ним? Он произвёл впечатление человека, имеющего право на такой спрос. Говорили, что он преследовался, сидел — и вот, как несгораемый Феникс, ворвался в нашу жизнь на плечах А. Д. Сахарова. В августе 91-го, едва ли не в качестве персона грата, он побывал в Москве, видел Ельцина, о коем сказал: «Он вызывает у меня подозрения. Он похож на агента-двойника». Его окружали, стерегли гэбисты — он признавался, что вынужден сдерживать стихийные симпатии, не подпускать людей близко, поскольку гэбистом мог оказаться любой, и прежде всего обаятельный человек. Он не любил обаятельных людей. А гэбистом мог являться даже 80-летний профессор Васильев, в 1929-м году напечатавший в газете «Красное знамя» одические стихи о Сталине. Старый ихтиолог Васильев об этом прочно забыл, но Роман — помнил.

Гуляя с Верой по Ленина или Фрунзе, он небрежно-важно, с иронией замечал: Верочка, там, правее, нет, левее, — видите эту плоскую рожу? Это топтун. Целый день, бедняга, ходит за нами. И грозил пальчиком неизвестному обалдевшему пешеходу, что опаздывал в детский садик за ребенком. Роман уверял нас, что ГБ живет всех живых и по законам обострения классовой борьбы еще пуще собирает на нас «компры», чтобы предъявить в день Страшного суда, когда вернется Сталин... (А любопытно, как бы он себя вел, если бы вправду верил, что вернется, — задумался один из нас).

К нашему огорчению, Вера стала посматривать на нас, своих тридцатилетних друзей, с оттенком изучения. Ничто не вечно, даже Верина доверчивость. Ее роман с Романом был воспринят нами резко отрицательно. Мы поговорили об этом за вернувшимся в город пивом, вытряхнув на него свои плоские карманы. Один из нас сказал: все-таки заждалась Вера. Заждалась — и потеряла нюх. Не суди, сказал другой, пришло время восторженных оборотней. Куда ей, простоте? Он ей нужен, герой, — сказал третий, — а она ему зачем, вот в чем вопрос? — Очень даже понятно. У Карла Либкнехта должна быть своя Клара Цеткин. — Не Цеткин —

Роза Люксембург. — Какая разница? Ну, Роза — да еще такая, из Третьяковской галереи! Он дорвался — заверните мне все!

А многое в ней изменилось, потрескалось! Женщина, любящая последней любовью, потихоньку разделялась в ней с Музонькой. Это рождало у нее смутные сомнения в себе, в других. Он, без конца выступая на митингах, возглавляя всевозможные комитеты и комиссии по защите всех от всех, а также антифашистский комитет, сваливал на нее всю черновую работу, кроме судьбоносной переписки с вышестоящими органами в Москве, Лондоне и Вашингтоне. Среди корреспонденции ей попало письмо, начинающееся словами: «Ты, сукин сын», очень неясное по содержанию. Романа обвиняли в жульничестве, в том, что он не поделился. Он был в тот день далеко, в революционной Чечне, помогая людям (то есть, в Моздоке, безвылазно, работу на месте за скромное вознаграждение исполнял чеченец, приятель по казахстанскому детству). Музонька, как будто это была не она, намекнула нам, что хотела бы узнать об его прошлом, ведь он человек приезжий, недавний в городе. Чтобы Вера да впутала в свои личные отношения третьих лиц! То, что мы узнали через знакомых, разочаровывало. И в Омске, и в Новосибирске он трудился начальником цеха на кондитерской фабрике, подвергался взысканиям лишь за уклонение от военных сборов, сочинял бодрые заметки в ведомственную газету под псевдонимом «Роман Октябрев» и ни в чем «таком» замешан не был. Тушинский вор. Мы решили сказать Вере, что сказать нам нечего. В ту минуту на ее лице проступило будто бы разочарование. Она посмотрела на его фотографию, стоящую на письменном столе и задержала взгляд — с любовью, с сомнением.

И мы увидели, что Вера постарела. Ох, не годы сделали это, а совершенная ею ошибка. Постарело не лицо — его выражение, поматовели глаза. Появился новый жест, она теребила свою косынку, так делают женщины, потерявшие решительность.

Так вот, ее недоужинный ум и часть души сомневались, а сомнения — вещь недостойная, а тело и другая часть души хотели длить свое бабье лето. И они встречались достаточно долго, до самой смерти Розы Хасановны.

На поминках матери он ухитрился оскорбить и покойную, и Веру, сказав ей на кухне о христианской доброте и отзывчивости Розы, неожиданной в человеке, прожившем в среде партийных шавок. Эти шавки, пожилые Розины библиотечарши, разбитые болезнями и заботами о детях и внуках, сидели с ним за одним столом. Как назло, ни одну из них не удостоили красной книжицы. Вера дожила до ссоры с любимым человеком. Она назвала его бессердечным.

Он попытался с ней помириться, пришел через неделю. Милые ругаются — только тешатся, и человека его масштаба надо прощать, понимать и прощать. Он рассказывал ей о новом деле, не подозревая, что он уже умер и Вера рассматривает его в ледяное увеличительное стекло.

В рабочем поселке Каштаюл, на окраине, местные обыватели подожгли два дома, где проживали цыгане, под предлогом, что цыгане торговали наркотиками. Роман намеревался придать этому возмутительному проявлению ксенофобии и самосуда самую широкую огласку.

Она сидела за столом, перед ней кипой лежали детдомовские тетрадки, а он возвышался над ней, запальчиво щелкая выключателем чайной настольной лампы. Под идеальной брючной стрелкой — толстые, пушистые шерстяные носки. Может быть, он и не брал у цыган денег, подумала Вера. Его накормит славное ИМЯ. Что же такое нынче имя?

Вера хорошо помнила: в начале лета к Роману пришло письмо от жителей Каштаюла, с улицы Полевой. Она тогда чуть не заболела от переживаний, и Роман разделял ее сокрушения! На желтых листочках в клеточку жители с Полевой жаловались: цыгане посадили на наркотики всю молодежь их поселка, их улицы, все деньги уходят к цыганам, безработная молодежь обирает стариков, пошли грабежи, случилось страшное убийство, двое умерли от зелья, участковый подкуплен и вечно пьян, глава поселка прячется, цыгане насосались и обнаглели, завели себе подкулачников.... Просили их, просили уняться — смеются: не хочешь — не бери. Никто не мечтает жить по-человечески, улица — одна большая куча мусора, собаки пируют. Все на стариках, а мы вымираем. Умер старый человек — и двор погиб. Умер другой — дом погиб. «Мы умрем — улица оглохнет».

— А ты, что же, съездил уже в Каштаюл? — спросила Вера.

— Зачем? — ответил Роман. Он протянул ей листок с текстом некоего послания. Оно начиналось так: «Господин Президент! Не доходит ли до Вас дым костров Каштаюла?». Вера схватила стопку тетрадок и стала засовывать ему за пояс, в брюки. Она закричала: «Ванька-кирпич, алле!». Он ушел, не обуваясь, саданув дверью. Через некоторое время она увидела (гордый, терпел, не подал голос), что он стоит в носках на снегу под ее окном. Она выбросила в форточку его тяжелые швейцарские ботинки. Алел закат.

Перед сном она читала Диккенса и сочиняла стихи о братстве интеллигентных людей. Их окружает неусыпный дозор опричников, а оно (братство) от этого только крепчает.

11

После смерти матери Музонька нашла в нижнем ящике ее стола старый блокнот шершавой, пористой бумаги, произведенный в 1950 году. Первые его страницы девственно серели, но где-то с десятой он заполнялся. Заполнялся много лет, помалу — страница в три года, карандашом, чернилами, пастой. Содержимое обнаружилось случайно — перед тем, как положить блокнот обратно, Музонька машинально, веером его листнула. Наверное, Роза начала вести записи не с первой страницы в конспиративных целях, потому что они назывались «Чем удивил меня Ваня (зачеркнуто) Иван Трофимыч».

Записаны его домашние высказывания за тридцать лет с редкими комментариями Розы. Оказалось, что у него был кругозор, но ответов на пытливые вопросы гораздо меньше, чем положено большому обкомовскому начальству, которое должно знать их все, включая злободневное «Есть ли жизнь на Марсе?». Оказалось, отец сомневался.

Образцы суждений Ивана Трофимовича, выбранные наугад:

Август 1953 года. «Люди становятся все хуже, еще хуже, чем до войны, а казалось — засверкали навсегда. Самое глупое, как начнем их по-человечески кормить — совсем озвереют. Горько. Хоть не корми... Да и накормим когда-нибудь? Что-то я сомневаюсь».

Октябрь 1959 года. (Роза не хотела, но купила два фарфоровых причиндала — медведя с наковальней и балерину, загнавшую

себя в фуэте. Хоть какие-то украшения быта, за отсутствием иных.) «Ты бы еще слоников купила, штук семь! Не разбираешься — не лезь в это дело! Скажут, что мы мещане — правильно скажут! Сколько тебя просил (показывает пачку папирос, на ней — «Три богатыря». Васнецов. Модель Медного всадника (показывает пачку других папирос, «Ленинградские»)). Я шучу: может, тебе и Казбек сюда приволочь? Такие папиросы тоже есть. Засмеялся: «Что-то меня занесло. Это потому, что я похож на Добрыню Никитича... А ты, Роза, на Врубеля». — «Ты хотел сказать, на Царевну-Лебедь?» — «Ну да, на нее самую (нежно) — татарву поганую».

Апрель 1972 года. «Тебе не кажется, Роза, что мы кормим народ дерьмом? И чем дерьмовее это дерьмо, тем вероятней, что его назовут «русское» или «славянское». Смотри, что просится на помойку: пельмени «Русские», биточки «Славянские», закуска «Русская», студень «Русский», фарш «Славянский». Прочитал ценник — будь уверен: в рот это брать нельзя. Такого даже рабы в древнем Египте не кушали». Я: «Кушали, кушали». Он: «Да кушали, кушали, это я так... И ведь кто такое придумал? Опять происки международного сионизма? А ведь это я, а не Додик Гутман, докладываю: улучшилось питание населения, расширился ассортимент».

Июнь 1979 года. «Верка уходит от нас — и уйдет. И слава Богу — не забьется в нашу паутину. Она нас спасет на том свете. Спросят: чья дочь? — вот этих. Снять их со сковороды! Налить Ивану водки! Размечтался, третейский же я козел!».

Веру эти записи разволновали до бессонницы. Там было много о любви к ней, много негаданного понимания. Плакала. А эти тени улыбок — она никак не догадывалась о них.

Последняя запись: Иван Трофимович умирает.

«Больно ему и тяжело: ни во что не верит. В нынешних не верит, Хозяин — такой же вахлак, как мы, а уж пора нажраться нашей вахлячиной... Не верит ни в прошлое, ни в будущее. Зря, зря, зря. Не так, не так, не так. Там и здесь, и мы — вруны, вранье, все поддельное. И мне нечего ему сказать. Я знаю, что он прав, хоть и неправ: страна-то стоит великая, вечная».

Последнего (?) своего любимого Музонька нашла на улице, в чадающем последние дни летнем кафе. Ей исполнилось пятьдесят шесть, мальчишки перестали на нее оглядываться, но разведенные битломаны, бывало, догоняли ее на улице, заглядывали в лицо. И не разочаровывались.

Человек этот (она звала его по фамилии — Корсаков), сильно пожилой, седогривый и пузатый, сидел на закате пасмурного дня в одной пижонской маечке за столиком, возглавляя компанию шумных молодых людей.

Вера продрогла, захотела выпить кофе и полюбоваться на японский лад осенним сквером напротив. Там подпрыгивал последними струями фонтан, откуда-то, сквозь кружащиеся листья, к ее удивлению, доносился голос Майи Кристалинской. Кроме листьев и фонтана ничто и никто вокруг не могло подпеть Кристалинской: ни заглушающие ее визги машин, ни люди — другие лица, другая одежда, разговоры другие и даже походка — другая.

А мужчина подпел: так, тик-так, стучат часы... И задумался по-стародавнему, выпадая из плотного разговора. И вдруг оживился, посветлел, увидев ее, Веру, и сказал: «Жаль, что мы с вами незнакомы». «Незнакомы», — доброжелательно ответила она. Потеплело, показалось ей. «Вы совсем недавно ушли на пенсию, но уже успели пожалеть об этом. Вы педагог, справедливо? Идите к нам, тут ребята вернулись из Непала, делятся впечатлениями».

Она нерешительно встала, а он уже нес ее пластиковое креслице к их столику. И уже протягивал щербатый, как зуб мамонта, камень. «Возьмите на удачу. Это камень с Эвереста».

И камень был теплый. Она сидела в компании, немножко пили хорошее вино, ее непритворно, в меру, расспрашивали сегодняшние молодые люди — скорей, из сильного, неприкрытого почтения к седому, желания сделать ему приятное — но ведь и это красило молодых людей и их патриарха.

— А вы тоже альпинист? — спросила Вера.

— Я жулик, — серьезно ответил он, — но сегодня это не преследуется. Я хороший жулик, законный.

Засиживаться было не по летам, она засобиралась домой. Он

взялся ее проводить, уютно разговаривал и сожалел на прощанье, что она живет так близко.

Они стали встречаться, чем дальше, тем чаще, пока не принялись встречаться ежедневно. Он был богат, у него была отличная квартира в новом доме, и он занимался ею со вкусом. Пока она ожила фрагментами, процесс пошел с недавних пор. Сергей Никитич, по его словам, овдовел вечность назад, сын проживал в Санкт-Петербурге, на Моховой (Вера не сразу поняла, что поселиться на Моховой просто невозможно). Он представлял известную фирму по продаже бытовой техники, съездил на отдых в кучу стран и собирался на Ямайку, теперь уже с Верой. Почему Ямайка? А потому что Робертино Лоретти, дорогая моя.

Назрел вопрос о совместной жизни — как, где, может быть, по очереди? Вера уже не могла ночевать в чужой квартире, бросить свой дом, где собирались дорогие люди — это было неприкосновенной частью их уклада. Корсаков легко, очень легко согласился переехать, оговорив какие-то дни: к нему тоже ходят люди, и, кстати, не всякий из них будет понятен и симпатичен Музоньке. Он естественно перешел на «Музоньку».

В дуэте Музонька — Любимый поменялись роли. Корсаков, как писали в старину, предупреждал любые ее желания. Это было нетрудно, по их скромности. Поэтому он их изобретал. Шутя, очень комично помогал ей встать с дивана, подставляя мягкую, круглую спину, брал из ее рук пакет с молоком, «сгибаясь» под его тяжестью, вытирал мнимый обильный пот со лба. От него можно было ждать и золотых гор, но доброму, уважающему себя человеку милы и нужны прежде всего такие полевые цветы нежности.

Ни Стригунов, ни Беневский, ни Мальгин в принципе были неспособны подарить Вере эти незабудки с ромашками. Правда, тогда они и не были ей нужны — она отдавала, а не брала. А теперь с признательностью принимала и одаривалась. В то время она перестала сочинять стихи, и понимала, почему, и почему она их производила раньше. Она поглупела, зато помудрела.

Они объездили окрестности города, не тороватые живописью, но полные памятных для обоих мест. Машина останавливалась, где кончался асфальт, и они шли — к берегу речки, в рощу, под сосны. Водитель Сергея, седой и гривастый, как он,

встречал их бережным «Нагулялись?», высовывая в открытую дверку откупоренную бутылку чистого вина.

Главное в человеке, говорил Сергей, его тишина и умение понимать и свое, и чужое. «Вокруг умных людей не бывает драм», — цитировал он кого-то и добавлял: «Потому что и без того жизнь — Трагедия, а наша кибитка въехала в пятый акт. Надо кланяться жизни, слыша стук собственного сердца... А умрем мы в один день, будем знать, когда, — поцелуемся, обнимемся, старики, и умрем». Вера понимала, что с ним, из него нечего строить — все уже построено: вот двери, вот за ними ступеньки, неторопливо ведущие вверх.

Рано утром 19 апреля 1999 года к ним постучались. Вера открыла — в прихожую ворвался молодой человек, тоненький, с огромными бровями. Он с отвращением взглянул на Веру и, оставляя грязные следы на паркете, побежал внутрь. Вера обмерла и присела на обувную полочку. Невидимый молодой человек закричал невидимому Сергею Никитичу:

— Ты здесь, старый похабник! А я там, чтоб ты знал! Меня снимают в барах! Я полгода не платил за квартиру, знаешь, как я расплачиваюсь с хозяйкой? Сказать? Или тебе уже по барабану?

— Заткнись, трущоба, — ответил Корсаков и дал гостю одну, две, пять пощечин.

Пауза. И почти умоляющий голос Сергея:

— Сегодня в два, в «Прадо».

И снова громко:

— Вон!!!

Молодой человек пробежал обратно. Из носу у него текла кровь. Вера продолжала сидеть. В открытую дверь с площадки осторожно зашел молочно-рыжий котенок и беззвучно разинул пасть. Вера сидела и считала его зубки.

В прихожую зашел одетый Корсаков, с сумкой в руке, в ней, наверное, было сложено все его добро, от которого он вычистил Верин дом. Он плакал. Он поставил сумку на порог и вернулся в квартиру — слышно было, что он открывал настежь окна. Потом, рыдая, как выпь, он прошел мимо Веры в последний раз, прошептав ей:

— Чтобы духу... Прости.

И пошел вниз по ступенькам. Сказал у дверей подъезда: «Музонька». Не призывно, не выпрашивая милости. А так — упал занавес. И двери притворились неслышно.

Через час в своей квартире он сжег фотографию Музоньки и повесился. Тот скверный юноша его не дождался.

Никто не был посвящен в эту историю. Думали, ушел, уехал, милый человек. Или попросила, бывает. Третьего-то не дано. А у самой Музоньки спрашивать про ее сокровенное — никуда не годится, да и бесполезно. Она не Мадонна какая-нибудь.

Но в июне к ней уже осторожно присматривался психиатр, «случайно», за компанию с нами зашедший к ней на чай.

13

Мы позвали его с заведомым недоверием. Он лечил нас от алкоголизма с большим браком, и вообще в списках серьезных людей не значился. Любил духовую музыку и, общались, маршировал под оркестр по своему дому, когда жена уезжала в Геленджик. Но он был свой, а Музонька нас напугала.

Она встретила нас длинным монологом, обращенным словно бы не к нам, прочитала штук сорок своих стихотворений подряд, припивая их редкими глоточками не предложенного нам чая. В монологе она, перескакивая с пятого на десятое, рассказывала о себе — какая она замечательная, свободолюбивая, справедливая, мастер столярных дел и цветочных прелестей. Есть много людей, которых она защитила и защищает сейчас, кругом выются, как бесы, проклятые гэбисты: под окном весь день стоит машина — это они, нацелили антенну, подслушивают. По лицу ее текли слезы, не успевая высохнуть. В какой-то момент она подняла взор, увидела портреты видных женщин, выделила из них пальцем А. М. Коллонтай, вынула портрет из рамочки и размашисто написала на нем: «Тварь!».

Моя жена осталась с ней ночевать. Утром они прекрасно общались. Музонька проснулась вменяемой, бодрой и ничего не помнила.

Психиатр сказал: ШЗ. Будут банальные сезонные обострения, недолгие. На улице не потеряется, к кому попало не подойдет. За собой будет следить. Но вот за столом, может быть, будет вести себя неопрятно, жадно есть (фиг ему, тьфу-тьфу, не сбилось!).

Мы качали своими седыми и плешивыми головами: нас, старых, век гнул и плюшил, да выплевывал, а Музоньку подстерег, рассчитался с ней. Мы понимали — это век. А Ее героини — героини нашего времени.

Странно — ее смуглое лицо будто посветлело, в глазах, в посадке головы проснулся некий Сфинкс. Она стала словно Божье полено.

«Обострения» посещают ее дважды в год и проходят вполне безобидно, мы к ним привыкли. Похоже, она сама про них забывает. Она много, с наслаждением читает, много работает, в ее квартире не умолкает электродрель, скрипит пилочка, шустрит рубанок, постукивает кияночка. Летом изводят пчелы и всякая мелкая нектарная дрянь — цветы повсюду, на балконе, на кухне, в гостиной, в прихожей. Сейчас она радуется новым георгинам, оранжевым с серебристым отливом.

Был у нее вчера. Сидит на подоконнике перед раскрытым окном, пьет какао. Под боком, на думочке, обложкой вверх раскрытый том Флобера. Кто-нибудь еще читает Флобера в этом городе? Она рассказывает о своих пережившихся детдомовцах. Приходили, шумели битый час, они мне не повстречались на выходе? Я уже бабушка, ползал тут один сопляк. Сделаю ему стульчак, ольховый, с узорами.

Проститутка-память подсказывает мне: Фелисите, «Простая душа». Но какая же Музонька простая душа? Ас другой стороны... простая, простая, только необыкновенно простая, вот в чем дело.

Не унывай, говорит мне Музонька, если мы сдадимся, наша улица оглохнет. Нельзя! На днях она познакомилась со старым музыкантом, скрипачом из симфонического, и подозрительно долго рассказывает о нем, о том, как несправедлив был к Брамсу Ромэн Роллан. (Ой, держите меня сорок тысяч человек?..)

Вечер еще не стухнул, но на стене гостиной, на портретах великих советских дам переливается, играет неон. Через дорогу построили казино. Иллюминация, как в Лас-Вегасе. Туда иногда шныряют внуки партийных новоселов дома, оглядываясь на окна и крутя на пальцах немислимо увесистые связки ключей.

Под окном гуляет с собакой пьяный Шуня Глазунов (дед — секретарь обкома в 40— 50-е). Шуня ревет:

— Ко мне! Сидеть! Ко мне! Сидеть! Я сказал, сидеть, тварь эссовская! Ко мне!

Она над ним издевается — зная Шуню, в это можно поверить, она наверняка умнее его. Он безалаберный, и все признаки вырождения налицо: спортивные штаны с лампасами, тельняшка и сотовый телефон на груди. Собаку, огромную раскормленную немецкую овчарку, зовут, конечно же, «Грей».



СТРЕЛЕЦ

1

Тогда родной город дяди Миши был маленьким, в тридцать с мелочью тысяч жителей. Зато и тогда уже он был старинным. У него имелась своя уездная история, и вокруг него располагалась сплошная история. Здесь народолюбивые ссыльные создали прославленный Музей, куда в пяти поколениях сносились и свозились различные незаурядные древности — и скифские, и гуннские, и тюркские. Здесь в Спасском храме иронически венчался чугунными кольцами вождь мирового пролетариата, отбывавший неподалеку свою бархатную ссылку. В связи с этим скромный, какой-то наивный храм стал воистину вдвойне Спасским, поскольку большевики, натолкнувшись на такое обстоятельство, не решились его закрывать, один из тысяч, а только разорили его лаконичную колокольню и поочередно гнобили и гробили его настоятелей.

Но, конечно, мемориально-охранной доске на его изначально лазоревых, а потом желтковых стенах места не нашлось, по ее очевидной соблазнительности.

Город присел за правым берегом Енисея. В самом центре несколько советских трех- и четырехэтажек, административных и жилых, для лучших людей; десятка три типичных двухжилых купеческих особняков (низ — кирпичный, верх — деревянный), разделенных при новой власти на конторские, коммунальные и квартирные соты; отдельно и исключительно — торжественный краснокирпичный Музей, почему-то похожий на сельскую резиденцию сэра Вальтера Скотта, Абботсфорд.

Памятника два. Некрупный, улыбчивый Ленин, застенчивый оттого, что его накрыл разросшийся тополь, и добродушный местный партизанский командарм. Ленин сам умрет в Горках в 1924 году, а командарма тремя годами спустя секретно прикончит в Урге известный специалист Блюмкин. Все эти котовские и щетинкины слишком зазнавались.

А полукругом на востоке, до каймы великолепного ленточного бора, навиваются сотни деревянных домов с глухими дворами, сараями-стайками и баснословными огородами. Улицы засыпаны пышным толокненным песком, походя всасывающим лужи; вдоль домов тянутся тротуары, составленные из ломких квадратов красно-фиолетового плитняка. Облитые дождем, плитки сияют, как лакированные.

Дальше на восток — горная страна, Сибирь в Сибири, с редкими таинственными деревнями, с их охотниками, рыболовами и самыми хитрыми председателями сельсоветов в СССР. Во дворах хрюкает и блеет, а то и мычит посильная скотина, но чаще слышен гогот и повсеместное ко-ко-ко. На рассвете голосят, трубят, соревнуясь, могучие местные петухи, сотрясая, терзая ясное звездное небо и опрокидывая на нем месяц. Цепные собаки живут в каждом дворе. Живут и не тужат.

Город словно проступил, пророс в единственном на то месте в благодатной котловине на юге Сибири. Воздух сухой, хвойный, солнце — триста дней в году. Но если уж дождь — то ливень, с грозой-трясучкой, со стволистыми молниями.

Огороды царские. Здешние помидоры настолько плотны и вкусны, что насыщают, как молодая баранина. Отличные огурцы, о которые режутся ладони, чудный картофель. Вызревают арбузики и даже дыньки. Соленые арбузы мудрой засолки есть поэма.

Здесь не умирали с голоду даже при советской власти. В изобилии рыба — таймень, ленок, хариус; вторая очередь — щука и окунь, еда полевая. В изобилии грибы — боровики, рыжики, грузди. Маслята — на худой конец. Лисички и опята грибами не считались. Как не считались рыбой костлявые язи и лещи, или озерные караси, называемые «добычей счетовода» (Петра Ивановича, с автобазы).

По улицам во множестве и тесноте растут деревья — тополя, клены, липы, рябины, все с пирамидальными амбициями. Под ними — ранетки, черемуха, акации, сирень. Редкий дом без палисадника, без цветочного буйства. Славятся гладиолусы — настоящие боевые мечи. Пионы похожи на детские головушки, выгоревшие на солнце. В сумерки благоухают табачки.

Богатство прилегающих лесов неопишимо. Вовсю растет здесь даже северная орхидея, она же венерин башмачок, она же, по местной наблюдательности, бараньи медушки.

Город накрывают миллионы, кажется, воробьев. Летом они орут до поздней ночи, стущаясь в громады над редкими фонарями вокруг Музея. Орут волнами, кипят, как будто у них бесконечная восточная свадьба. А под ними пахнет портвейном и кого-то бьют, бьют в кровь.

Не успеют проораться воробьи — режут петухи. Чувствительно!

Морозы зимой крепки на совесть, снегопады на правобережье густые, матерые, слепая поземка валит с ног. А все равно: летом город Мирусинск — южный город.

2

В субботу, в свежие, но совсем не стылые сентябрьские сумерки, под мелким дождичком, когда деревья и палисадники уже пахли — одинаково, но еще пахли — просто сырой умирающей зеленью, дядя Миша с чесанками через плечо шел в родной дом, где не появлялся с середины мая. В село Муравское, где он был директором школы и учителем истории, он переселился в конце войны, вернувшись с фронта, и в доме на улице Островской, после недавней кончины его отца, жила теперь племянница Мария, или Манька. А с ней подолгу сожительствовала теща дяди Миши, беспокойная старуха Евдокия Митрофановна, в другое время кочевавшая по семьям своих дочерей, осевших в Большой Кичке, Муравском и стольном городе Абантуре.

Проводница Манька ездила до самой Москвы и обратно, на поезде «Абантура — Москва», то есть жила в Мирусинске, а трудилась в Абантуре, отсутствуя по девять-десять дней, дом оставался под вялым присмотром соседей и собаки, и поэтому дядя Миша был рад, когда нравная, но и приветливая к огороду и курам теща обосновывалась на Островской. Соседи относились к Маньке прохладно, сомневаясь в ее нравственности и здравом уме, и явно кормили кур и пса Саяна через два дня на третий. А ведь Манька добросовестно выполняла их московские заказы, что, по тем временам, давало большие жизненные преимущества.

Затруднение заключалось в том, что теща задерживалась в Мирусинске в лучшем случае на летние месяцы, а потом снова отправлялась гостинничать к старшей дочери, Надежде, пешком за 20 километров, в Кичку, потом ссорилась с ее мужем, пьяницей и дебоширом Пахой; перебиралась пешком, за 20 километров, к средней дочери, Наталье и ее мужу, как раз дяде Мише, с которым, уважая его и смущаясь его честного и пронизательного взгляда, не ссорилась, но отпрашивалась однажды к младшей дочери, Нине, трафаретно сообщая, что видела во сне внука Павлика, и был он «худой и томной», и значит, надо его проведать. В Абантуру она приезжала на автобусе, форсируя Енисей. Потом она ссорилась с третьим зятем, Алексеем, гордецом и «чванью» из пединститута.

А нынче ее расписание дало осечку, и летом старуха в Мирусинске не показалась — сильно простудилась в мае. Пересидела на холодных скамейках в Абантуре с товарками, долго была слаба; мнительная, часто таскалась в поликлинику, где доводила до нервных припадков молодого, слишком сердечного терапевта Анну Ильиничну.

Но в этот вечер Евдокия Митрофановна могла находиться в Мирусинске.

Нужно сказать, дядя Миша быстро сообразил, что в этом игольном сновании тещи первично не то, что Паха — хам, а Алексей спесив (да они ее, в общем-то, любили за неповторимость, и она не была такой уж обидчивой и капризной), а в ее беспокойном подорожном характере, в неуимчивости. Она увядала и тосковала, «спадала с лица», засидевшись на одном месте — потому и изображала, ссорилась нарочно, нечестно из-за любого неказистого пустяка, чтобы иметь повод подлить кипятку, возвысить голос и удрать. И делала она это, как говорил дядя Миша, «с большим балканским артистизмом». Она происходила из чугуевских черногорцев, являясь урожденной Кошлич.

Коммунист дядя Миша как-то поймал себя на мысли: он жалеет, что теща небогомольна. Богомолки — старушки тихие и самозабвенные, сидят себе по уголкам, а эта безбожница прыщет энергией и много чего себе позволяет, не боясь Господа.

Дядя Миша спустился на Островскую, минуя водонапорную башню. Справа, между домами в неполном береговом ряду, вкрадчиво дышала черная енисейская протока, которую так и называли — Протока. Темно и тихо, фонарей здесь отродясь не было, ставни закрыты. У хороших хозяев они не пропускают свет, а на Островской жили хорошие хозяева. Печи затоплены, бани раскопчегарены; остро, вкусно (рыбный пирог, стопочка) пахнет дымом, невидимым под обложенным сплошными тучами протекающим небом.

Над водой, с того, необжитого, берега что-то металлически звякнуло, и как-то тревожно, и успевший сегодня понервничать дядя Миша вспомнил тьму под Обоянью, где у ночной речонки ему прострелили левую руку — и война для него закончилась. И он под одеждой почувствовал заросшей сквозной раной сквозное течение темной воды и приостановился, и внимательно посмотрел на Протоку. Он с детства не переставал ей удивляться: она, во тьме литые и неподвижные чернила, на самом деле бежала лихо, стремглав, вся в водяных кочках и струйных узорах, но бежала неслышно, как бы молча. Берега и русло у нее были земляные, мягкие, перинные. Но скоро, через какой-нибудь час она вернется в колючие граниты Енисея и загудит в камнях. У спавшего на берегу Енисея бродяжного человека утром заложены уши.

Помимо возможности и необходимости наконец-то навещать наследственный дом, дядя Миша должен был установить, не здесь ли укрылась неугомонная Евдокия Митрофановна с внуком Павликом, сыном Нины и Алексея, пяти лет (Манька же точно находилась в поездке и прибывала назавтра).

Бабушка и внук должны были быть вместе: или здесь, или в Кичке. Или — не дай Бог.

Дело в том, что вчера в Муравское, в школу, позвонила Нина и, безусловно рыдая, сообщила, что накануне у Евдокии Митрофановны случилась схватка с подвыпившим Алексеем (отличный повод!), приревновавшим Нину. Она, Нина, пришла домой поздно и пахла сладким вином, а гуляла на дне рождения директора своей школы, кстати, немца, Альберта Ивановича. Приличного, тепло знакомого дяде Мише человека. Алексей был вспыльчив и не лишен мавританской фантазии. И — такого

еще не бывало — слово за слово, и теща ударила разгоряченного интеллигентного Алексея сковородой по лбу, «чтоб не сочинял чего попало, тамбовский волк».

«Мама совсем рехнулась, до ручки дошла», — повторяла Нина, искренне сочувствуя теперь Алексею, который, испытыв небывалое унижение, опошленный, сразу сник, замолчал, вылил недопитый им коньяк в раковину, полбутылки, и скорбно улегся спать в «кабинете», на полу, рядом с брошенным ломтиком ветчины.

И вот самое главное и нервное: Нина встала наутро в половине седьмого (пятница, рабочий день, она завуч в школе, хлопот полон рот) — и обнаружила, что мать исчезла, и не одна, а прихватив с собой Павлика. Очевидно, в знак протеста и с педагогическими целями.

Нина бросилась на автостанцию, но беглецов и след простыл. Какая-то тетка, едущая в Курагино, запомнила старуху с маленьким мальчиком. Старуха — «быстрая такая», вся в черном и глаза страшные, «как с той картины», мальчик — «восковой», с петушком в руке, в зимнем пальтишке и в тюбетеечке.

Все совпало! «Сели на автобус, а какой, куда? Знала бы — подсмотрела бы, а я же не знала... Украли ребенка у вас? Украли?»

Дядя Миша охнул и сказал Нине, чтоб она сидела с Алексеем дома, потому что он и без того собирался в Мирусинск, присмотреть за домом и Манькой, сходить на рынок и в Музей и прочее, и что-то ему подсказывает, что беды не будет, что теща и племянник там, на Островской.

Дядя Миша был человек надежный и прозорливый. Его слушались и глупый Паха, и умный Алексей. А уж для сестер он был убедителен, как Хаммурапи.

И если нет беглецов в Мирусинске — значит, они в Кичке. Что за горе! Он не верит, что Евдокия Митрофановна потащит ребенка «в люди», как это случилось в позапрошлом роскошном июле. На носу холода и разбитые дороги, не набегаешься, а теща (подумал, но не сказал он) трезва в своих безумствах и настоящие лишения не уважает. Даром ли всю жизнь она успешно уклонялась от крепостной колхозной работы, почему и «пензии» не имеет?

Раз Миша так считает — так оно и есть, успокоились, насколько возможно, Нина и Алексей. А Михаил, помня, что теще

75 лет, на самом деле очень встревожился. Переживал, позавтракать сегодня не смог, выпил через силу кружку киселя в школе перед отъездом — заставила Наталья.

3

Он не мог не тревожиться, не беспокоиться. На него как-то естественно, сама собой налегла ответственность за все три семьи. Он, средний зять, был и в этом семейном роде директором, судьей и защитником. Они с Натальей, гордившейся своим мужем, гасили семейные ссоры, нередко воспитывали племянников вместе со своими детьми, забирая их к себе на месяцы, чтоб их не обжигали раздоры родителей. Тут требовались терпение, такт и юмор — и все это обнаружилось у дяди Миши. И праздничные, майские, ноябрьские и другие столы в Муравском были главными для трех семей, столами хлебосолия и примирения.

А больше нигде и не собирались три семьи в полном составе. В другом месте, в Кичке или Абантуре — там было «далеко» собираться.

Дядя Миша был обрусевший немец, и в паспорте у него было написано: «русский». Это спасло его от большого горя и до, и во время войны, и вместо положенных советским немцам ссылки с трудармией, или лагерей, или могилы дождался его фронт, офицерское звание и «Красная звезда», и «За отвагу», и «За боевые заслуги», и тяжелое ранение, после которого едва спасли ему руку. И заработала рука, не сохнет.

Его дед Михель и его отец Иоганн, ставший Гросс-Иоганном после ухода деда — для своих и Иваном Михайловичем — для СССР, переселились в эти края из Сарепты еще до Первой мировой, страдая в Поволжье от малоземелья. Дважды съездили они, сверяя впечатления, по обозначенному разведчиками маршруту, пригляделись — и с третьего раза всей фамилией, человек с полсотни, навсегда поселились за правым берегом Енисея.

Многое с кровью и плотью пришлось отрывать от себя и своих отцу в годы коллективизации и прочие кампанейские годы, и разум его кипел от такой щедрости, но выжили все.

И перешли на сибирскую еду, и добротный их дом был во всем сибирским, и позабыли немецкие глаголы. Но недаром их подворье отделялось от западных соседей единственным на всей улице брандмауэром. И слово-то это — немецкое. Их русская речь, может быть, и не воспаряла над бытом, зато исключала любой бранный и косноязычный мусор.

«Ты, Михайло Иванович, говоришь медленно, а быстро, — восхищался Ваня Поддубный, — в смысле, тебя сразу понять, того-сего, через колено, все-таки, извини, как говорится, с обратной стороны, все-таки немец в тебе ошутителен, как пить дать».

И, конечно, аккуратность, ясность в отношениях с людьми, которых не обижай, но и не балуй, и чистота и порядок в доме, в одежде и в самих мыслях.

Ну, кого другого могло назначить роно в 1943 году директором завалившейся школы в Муравском? И он, молодой, еще не кончилась война, сделал ее образцовой, красноярскому начальству предъявляли: можем, грамотуйте нас.

Потом его потащили было наверх, в роно, и секретарь райкома Жаткин на второй бутылке водки в своем кабинете лично уговаривал его согласиться.

«Иди, Михаил Иванович, садись на роно. Иди для разбега, потом, как образцового коммуниста, на свое место рекомендую — и посажу! Клянусь те. Цены тебе нет, такой ты немчур!»

Жаткина изъедал гепатит, он знал, что бытие его кончается, и предлагал искренне, считал, что дядя Миша лучшая ему замена. «На кого еще оставлю район?» — вопрошал он, пригорюнясь. «Пришлют, может быть, фронтовика хорошего», — упирался дядя Миша, сочувствуя.

Дядя Миша не согласился. Наверное, немецкое родословие и подсказывало ему категорическим кантом: это капкан, это подвешенная, ненадежная жизнь с аховыми уступками совести. Бездомовная. И чуть что — тут же вспомнят, что он немец. Не надо высовываться. Высовываться не надо.

А он уже все нашел, что искал с молодых, таких тревожных и опасных лет. Свил гнездо, и легче сгнуть, чем его потерять.

«Ладно, — сказал в конце концов Жаткин, — тебе виднее. Заставлять не хочу. Ты все про себя знаешь, даже вон и не куришь.

А жаль. Не только делом — видом ты нашего полета птица. По тебе портрет плачет».

Он умер через месяц после того разговора, желтый, как сурепка.

Да, дядя Миша, что называется, держал плечи. Коренастый, широколобый и широконосый, с зачесанными на затылок густыми жесткими волосами, в галифе и кителе, с ровной походкой и скупыми жестами, он вправду просился на картинку в какой-нибудь брошюре про свершения большевиков. С подписью: «Тов. такой-то, член ВКП(б) с такого-то года, организатор борьбы с Колчаком там-то».

Он остался в своей большой семье, которую потерял бы неминуемо, уйдя на повышение, и тогда-то, приняв решение, понял, что они тоже нужны ему, эти свояки и свояченицы, и он им нужен. Он уже знал, что сами с собой, со своими мороками они не справятся.

Он так, конечно, не формулировал — он так чувствовал.

Он шел сейчас и думал о них по очереди. Три сестры, полухохлушки-получерногорки. Старшая, Надежда, осталась колхозной птичницей и тащит на себе всех своих — никчемного мужа, умеющего только резать свиней и кур, несчастную Маньку и ее сыночка, которого содержит в Кичке — Манька же в разъездах, где ей с ним управиться. Отец его убежал, не сумела с ним зарегистрироваться Манька. Надежда ломит работу, не приседа, подтибривает яйца, иначе не проживешь, и ведь все посмеивается, и от пьяного Пахи отбивается, посмеиваясь. Несмертельная.

Средняя — жена Наталия, выучилась и сама учит детей русскому и литературе. Единственная женщина в его жизни, счастливо встреченная. И без чудес у них не обошлось. Никогда они не ссорились — не на чем, разве что попрекали друг друга в излишней доброте, мягкости к детям и родне. По очереди. В меру властная, общительная (пожалуй, излишне), но, слава Богу, ей есть, кого поучать, у кого визнавать секреты, с кем «советоваться». Человек она пылкий — так он уравновешен, самому обидно, до чего. С ней всегда найдешь общий язык. Потерпи немного — пусть пошумит, повитийствует, выпустит пар. И разговаривай, и услышишь дельное.

Младшая сестра, Нина, та закончила пединститут и метит в него вернуться преподавателем. Красивая и честолюбивая. Вечно недовольна своим уделом, и картошки лишней раз не пожарит. Бывает лукавой с ближними, искательной с начальством. А тоже ломит, вкалывает, и ученики ее любят, за манеру, за доставшийся от матери балканский артистизм. Но характер тяжелый, взрывной, и она неотходчива. Самолюбивому, чувствительному и с ленцой Алексею, любителю откладывать дела на завтра, а сегодня порезаться в шахматы с соседом, с ней приходится страдать. И детям, двум сыновьям, отлетает много лишнего, и это неизбежно скажется на их взрослой жизни.

Свойки — фронтовики, с ранениями, с опытом смертного страха. Паха брал Кенигсберг, Алексей форсировал Днепр. Этим для дяди Миши многое сказано, за это многое простится. Паха, как и многие с подобной простой стезей и крохотным образованием, развалился после войны. А до — имел же грамоты. Бездельник, хрипатый матерный пьяница, шляется по деревне и орет: «Я Баграмяна возил! Мне Баграмян наливал!» Мог подскочить к выпивающим мужикам, выхватить гранененький, а то и бутылку, опрокинуть, а потом: «Бейте меня, я контуженный!» Раньше били, теперь знают его повадку, пьют настороже, без удовольствия, оглядываясь, и в жертву Пахе достаются редкие приезжие. Маленький, кривоногий, закаленный провокатор.

Нынешней зимой заявился ни с того ни с сего в Абантуру, на ночь глядя, налимоненный. И опять же ни с того ни с сего с порога обхамил натянувшегося в струну Алексея, завидуя его «барству». Передразнивал его, дымил махоркой в лицо. При Нине он хамить бы не осмелился, но она ушла, как назло, ночевать к больной подруге. Когда он запустил грязные пальцы в кастрюлю, достал из нее кусок курицы и сказал Алексею: «Богато живете от своей брехни», — Алексей спустил его с лестницы. Зачем приезжал Паха?

Алексей, единственный урожденный россиянин, из Тамбова, окончил университет, заведовал в пединституте кафедрой и двадцатый с лишним год дописывал диссертацию. Он отличался редким красноречием, читал лекции и выступал по вопросам международной политики, выпевая без бумажки. Был нарасхват в обществе «Знание».

Невысокий, как все свояки, он держал голову и ступал, как некий монарх, и вел себя соответственно. За что Евдокия Митрофановна прозвала его Шах. Наверное, шахматы подсказали ей выбор титула. Шах походил на дворянина, и, увидев портрет писателя Бунина, недавно разрешенного в СССР, Наталья воскликнула о невероятном и подозрительном сходстве Шаха с Буниным.

Шах, между тем, начал попивать и из лекционных командировок по области не возвращался трезвым. И пил дорогое, и поначалу закусывал снедью из обкомовского буфета, как и курил дорогие папирсы, «Три богатыря» или «Герцеговину Флор», нанося ущерб семейному бюджету. В прошлом году случился у него запой, недели на полторы, тут уж было не до знатных закусок: кончилось голимым портвейном на сожженный желудок.

Дядя Миша знал запойных людей, они имелись, при эдакой жизни, и в отдаленнейшей немецкой родне. И знал, что здесь обратной дороги не бывает. Он знал, что Алексей пьет от обиды на свою барскую лень, оттого, что остановился, от обиды на Нину, которая, как овод, награждала его душевными волдырями. Но единожды себя пожалей — и пропал.

Дядя Миша понимал, что семья эта обречена, но дело в сроках. Нужно и можно дотянуть до повзросления детей. Он делал то, что мог — разговаривал с Ниной и Алексеем, когда это помогало, и не разговаривал, когда это бесполезно. Они с Натальей присматривали за издерганными детьми, беря их к себе, леча деревенским воздухом, добрым отношением и общением со своими детьми, лучшими детьми на свете, девочкой и мальчиком, которые были постарше двоюродных братцев как раз настолько, чтобы это было полезно и тепломерно.

4

«Что-то многовато сегодня впечатлений», — подумал дядя Миша, споткнувшись о натянутую поперек улицы невидимую проволочку и уронив чесанки с плеча. «И что-то ждет впереди, чем угостит теща?» До дома оставалось пройти метров сто.

Проволочка была тоненькая, похоже, из радиольной катушки. Дядя Миша ее оборвал, но не поленился отыскать наощупь

в сыром песке. Радиолой, как он помнил, владели соседи Барышевы, больше никто. «Подрок Дима Барышев, — понял дядя Миша, — опыты ставит». Хотя — мало ли кто мог разориться за истекшие полгода на радиолу? Те же Крутиковы, соседи, отгороженные брандмауэром? Нет, у них девочка растёт, спокойная, золотушная... «Да будет тебе с догадками, — покачал головой дядя Миша, — радуйся, что в лепешку не наступил».

День вязался, нанизывался цепочкой очень разных впечатлений, то «тепло», то «холодно».

Утром, в школе, ему пришлось отчитывать семиклассника, выпускника Юрку Гладких. Парень добрый, задумчивый, а тоже в лета вступил. Курил за туалетом самосад. Мало того показалось — угостил третьеклассника, из семьи ссыльных западнцев, Родика Стефанишина. А тот увлекся, расчихался и прожег себе вышиванку на груди, да в двух местах. Донесла мать Родика, на его и Юркину беду шедшая с речки, с той стороны, она все видела. Густобровая, холерическая, всегда готовая к сече и в сече беспощадная. Не успел ее утихомирить, прискакал верхом Юркин отец — и откуда узнал? По радио не передавали. Отец-коных начал пороть сына тут же, в учительской, еле вырвал у него дядя Миша щуплого, несчастного заморыша Юрку.

Родителей успокоил и помирил, Юрку отругал и наказал трудом — велел поправить, перевесить школьную калитку. Юрка отчитался через полчаса, нагнал уже торопящегося на мирусинский автобус дядю Мишу. «Сделато, Михаил Иванович, как следоват поправил». «Надо говорить “сделано” и “как следует”, — сурово сказал директор, — пока не научишься культурно говорить, в комсомол не приму».

Юрка в ответ засветился и помахал на прощание рукой. Побежал на урок. Поверил он, как же!

С мирусинской автостанции дядя Миша в компании с колхозным шофером Ваней Поддубным отправился на базар. У Ивана был первый после страдного лета выходной. Он неумоимо и мастерски водил полуторку при полном отсутствии сколько-нибудь прямых и гладких дорог и был отцом всех или почти всех внебрачных детей в Муравском, Кривой и половины внебрачных в Каменке. Что поделаешь — велика была не-

достача в мужском поле, новые мужчины пока подрастали еще. Когда успевал? Наверняка использовал в этих целях верную полуторку. Под стать тезке, отличался дикой силой и аппетитом. Одну похоть сопровождала другая, обжорная. В кабине у него был мешок с мытой репой и мешок с семечками. Репы он стгрызал по три-четыре кумпола за раз, а семечки не щелкал, а жевал вместе с лузгой.

Силища его сегодня очень пригодилась.

Они порознь походили по базару и, не стовариваясь, сошлись на выходе. Дядя Миша спешил в Музей, а Иван — «до крали». Он не осмелился бы сказать об этом дяде Мише, тем самым бесстыдно ставя его на одну с собой доску. Но куда, к кому же собрался деревенский кабанище в городе, где у него нет родни, держа в руках сетку со сладким вином, конфетами, пряниками и козым полушалком?

«Доиграешься, Иван Терентьевич», — должен был сказать дядя Миша — и сказал. Иван должен был молча и покаянно зажмуриться — и зажмурился.

Минуты назад дядя Миша испытал большое радостное чувство. Он купил себе желанные чесанки, долгожданные и превосшедшие любые его ожидания. Настоящие директорские чесанки, почти белоснежные, с подошвой из крепчайшей лосиной кожи, обшитые по кромкам и лампасно лосиной же ровдугой.

Это было диво, отданное ему за скромные деньги, без всякого торгу. Подарком! Средних лет женщина, миловидная хонгорка, при нем достала их из мешка. Повезло дяде Мише. Опоздай он на минуту, ушли бы чесанки, как ни беден был народ на базаре. Нашелся бы какой-нибудь ответработник с папочкой.

Заманчивы, хороши. И даже веревочка, что их связывала, была кожаной.

«Чесанки, — сказал Поддубный, — чесанки — так сказать! Я, если по-честному, таких не видел, забожусь на баранке, без лишних слов, Михаил Иванович, и ежели что, то амба. Цимес!»

И они почти что разошлись.

И вдруг кто-то, на бегу, рванул чесанки с плеча дяди Миши и помчался по улице. Молодой, проворный парень. «То-то я его краем глаза видел — шел за мной», — подумал оторопевший дядя Миша.

В летних шароварах и грязных тапочках, чешках, что ли. Не догнал бы его погрузневший дядя Миша, но все видел оглянувшийся Иван. Дяде Мише приходилось в Саянах познакомиться, как бежит медведь. Иван бежал, как медведь: катился за парнем огромным валуном и вмиг догнал и смял его под себя до невидимости, до мешка с костями.

Только тут дядя Миша побежал, боясь, что Иван задавит вора до смерти. Иван, однако, вывесил того на вытянутой руке. Живого.

А парень-то был из Кривой, и коль следил за дядей Мишей, то уж знал, кого он собирается ограбить.

Еще пять лет назад он учился у дяди Миши в школе (в Кривой своей не было), и звали его Степан, Степан Готовцев. Мальчик был малозаметный, стеснительный. Учился плохонько, но не пакостил. Правда, был неопрятен, не чистил зубы, на него жаловались вообще-то снисходительные девчонки: пованивает, и во рту будто тухлое яйцо.

— Степан?! — сказал с горечью дядя Миша, вспоминая, что мальчишка сбежал в город от матери, солдатской вдовы, робкой, суставчатой, как богомол, доярки. И, по слухам, пристроился где-то в Мирусинске грузчиком, дожидаясь призыва в армию.

...А похоже, связался с дрянными ребятами. Одет обносочно, глаза наглые, больные, окровавленные, разит от него потом и махоркой. Типичный базарный вор, себе первый враг.

Разговора не получилось.

Поддубный встряхнул этого Степана, и он застонал по-заячьи.

— Херов вам как дров! — крикнул он, глядя на дядю Мишу в упор. Узнал директора, конечно. А пожелал ему дров.

— Ты-ы, — загудел Иван, — ты кому-у это, вонючка ты...

Непонятная тоска раздирала душу дяди Миши.

— Отпусти его, Иван Терентьевич, — попросил он, — иди он к своим дровам, бессовестный. Как я на мать его посмотрю?

Иван возмутился.

— Садить его надо, — возразил он, не отпуская воришку, — сколько он еще людям нагадит. Безответственно получается. Вы, Михайло Иваныч, проявляете мягкотелость, берете грех на свою партийную душу... Если вы того, то другие всем гамузом в потатчики подадутся.

— Отпусти, Иван Терентьевич, я схожу в милицию, к Черникову нашему, муравскому, схожу, они с ним разберутся, — настаивал дядя Миша.

Иван посмотрел ему в глаза. «Понимаю, виноватым себя считаете», — говорил его взгляд.

— Добро, так сказать, — ответил Иван и поставил этого Степана на землю.

И тот побежал еще с воздуха, зигзагами, как напуганный обезумевший зверек.

Если бы он был чужой и только, о краже шла бы речь, воздал бы дядя Миша преступнику по заслугам. Но то, что мальчишка был свой, матовал его и смотрел с ненавистью, осаживало, обезоруживало.

«Если уж настолько он одинок, гол и обозлен, то виноват в этом и я, — честно думал дядя Миша, — мне он и сказанул. Обвинил. Проворонен, недосмотрен парень, а улица как сильна стала!» И думал дальше, расставшись с Иваном, глубоко-глубоко внутри себя и без свечки, о том, что бедна и жестока жизнь и злы, несознательны люди у нас на пятом десятке лет советской власти. И не спишешь все это на войну, нет, не спишешь. А вслух об этом не скажешь даже Наталье Михайловне, чтоб не задумывалась понапрасну, не вздыхала и не делилась такими соображениями ни с кем.

Ему вдруг захотелось покурить. «Спутник полетел не зря, — утешил он себя, — куда надо полетел».

И только сейчас, доходя до родимого дома, всплеснул руками, насколько может всплеснуть руками директор и зрелый немец. А что с Ивановой сеткой? Он ее не посеял ли, то есть не сперли ли ее? Он с ней бежал? Или бросил, вернулся, и она его дождалась? И не мог дядя Миша «увидеть» ее ни на земле, ни в руках Ивана. «Вот черт! Тойфель!» — всплыло в нем.

Чесанки шуршали на нем, как камыш, и он относился к ним с новым, противоречивым чувством.

С базара, в дурном настроении, он пошел в Музей, к хранителю Сергею Васильевичу, чтобы отдать ему наконецник стрелы, найденный летом не кем-нибудь, а родным сыном, за селом, в ручье, возле Жидовских могил. Наконецник был задуманно, производственно кривой, с крылышками и сквозной нарочитой дыркой, и совсем не заржавел.

Михаил Иванович нес археологу в придачу хороший слойный кусок сала, потому что тощий и длинный, как мачта, Сергей Васильевич в соответствии с профессией питался скверно, прокуривая половину своего печального жалования и тратя другую половину на леденцы-монпансье. «Мне нельзя без сладкого, — говорил он, стесняясь, — голова требует, как я голове откажу?»

Сергей Васильевич, забывший, сколько ему лет, был неизменен: очки в пыли, мутящей ему зрачки, та же клетчатая рубашка, на которой темные клетки посветлели, а светлые потемнели, та же полумертвая кирза на ногах и те же, числом шесть, огромные желтые зубы, жертвенные столбы бога «Беломора».

Пуская табачный дым изо рта, носа и, как говорится, ушей, Сергей Васильевич выразил крупный энтузиазм и заразил им дядю Мишу, который представлял собой высыхающую почву, жаждущую освежительных струй. «Это же сверхточная поющая стрела кыргызов, — восхитился Сергей Васильевич, — на левом берегу, в Хонгории, их находили, но у нас, в лесном правобережье, это первая находка. Это десятый век! Михаил Иванович, кто как не вы? И в который, однако, раз».

Он поглядел на сало и грустно сказал:

— А я вас даже чаем добрым напоить не могу. Один вторячок остался. Будете? С леденцами?

И отыскал на полке, между челюстью средневекового человека и чем-то, очень напоминающим окаменевший кал того же периода истории, два стакана с присохшими ко дну мошками. Сам усмотрел, что это плохо выглядит, усмехнулся и повесил нос. И стаканы повисли над столом.

— Тороплюсь, тороплюсь, — сказал дядя Миша, «не замечая», — темнеет, дождик собирается. Спасибо, но я должен идти. Мне неблизко, знаешь, Сергей Васильевич. Дом ждет отеческий.

Дом, закивал Сергей Васильевич, дом. Он жил холостяком на шести квадратных метрах в коммуналке, среди рабочих с мяскокомбината. Они от скуки поливали его дверь валерьянкой, со всеми кошачьими последствиями, и иногда толстой алюминиевой проволокой намертво эту дверь прикручивали. Хорошо, что он жил на первом этаже. Наверное, они тоже это учиты-

вали, и можно надеяться, что если бы он жил на втором этаже, они бы этого не делали. А так он легко выбирался через окно.

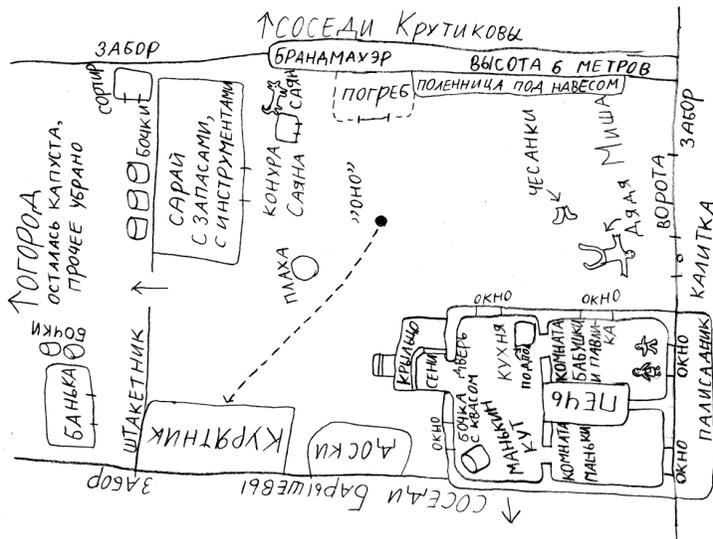
«Что-то много сегодня разных впечатлений, непривычно», — в последний раз подумал дядя Миша. Навстречу выплыл знакомый дом, вот высокие ворота, вот здесь должно быть кольцо в калитке. Совсем темно!

Дядя Миша повернул кольцо, вошел во мглу двора, крошечную, пахнущую сырыми сосновыми досками. Он удивился, что его не встречает Саян, соскучившийся, распеваящийся, напрыгивающий. Машинально приостановился, дожидаясь пса. «Что-то...»

И тут дунул ему в лицо непонятный ветерок, и с этим ветерком прямо в лоб ударило и вонзилось что-то острое, крепкое, увесистое. Дядя Миша потерял сознание и упал на спину.

5

(Здесь прилагается план дома и двора, начертанный Павликом.)



В доме все — стены, потолок, двери и косяки — прямое, ровное, гладкое и долговечное. И никаких излишеств — старый Гросс-Иоганн ничего не понимал в излишествах, зато позаботился о печи и подполе (и погребу во дворе), они были лучшими в городе Мирусинске. Сени маленькие, условные, без ненужных полок. А прихожая — «зало» — необычно, иноземно просторная, от стены до стены. Слева в ней кухня с подполом, справа — «Манькин кут», заваленный старой обувью, подпирающей бочку с квасом.

Слева — дверь в комнату, сейчас открытая, где живут бабушка с внуком, справа — дверь в комнату отлучившейся Маньки, закрытая. Посредине — печь, она смотрит на дверь, пятясь до середины простенка между комнатами. В комнатах по металлической койке без пружин, столу, комоду и этажерке. В левой два стула, в правой — один (еще два стула, а также буфет над столом — на кухне). Павлик спит на печке.

В левой комнате просторно, она побольше, ее украшают часы на комоду, радио и отрывной календарь на стене, три книги на этажерке. В правой комнате нет таких украшений, кроме зеркала. Однако ногу поставить негде.

Она завалена Манькиными трофеями. Проводница Манька после каждой поездки тащит и тащит в дом старую обувь, иногда и поношенную одежду. Тогда советские люди сознательно садились в поезда, одетые и обутые в рванье, оставляя его в вагоне по прибытии, вместе с яичной скорлупой и промасленными газетами. Пустые бутылки чаще забирали с собой, их жизнь продолжалась.

Манькин улов копился равномерно, авоська набивалась в Москве, другая — в Абантуре. Она трудилась на железной дороге уже седьмой год. Дранные сапоги, туфли, босоножки, тапочки, взрослые и детские, заполнили ее комнату и напользли в прихожую. Зрелище жутковатое, бабушка называла это «Манькин Бухенвальд», а тетя Наташа — «Манькиным приданым».

Никакого практического смысла никто в этом собирательстве не видел. Манька и сама не делала попыток кому-то сбывать это

барахло, не предлагала его и «за так» ни родне, ни знакомым. И кому сбыть? Все-таки война давно закончилась, не лихолетье, люди думают о достойном внешнем виде. Увидев впервые горку этой отстрадавшей свое обуви, дядя Миша отнес ее на помойку, далеко, в конец Островской. Тогда помоек было мало, но по статкам — в самый раз. Манька завyla. Повыла, а потом сходила на помойку и вернула приданое обратно.

А на вопрос, зачем ей данное коллекционирование, не могла ответить, сама не знала, зачем. Но понятно, что есть же люди, ушибленные однажды и навсегда мыслью о черном дне. А приглядевшись к Маньке конкретно, уже без возраста в тридцать лет, длинной, худющей, с облупленным носом и убегающими глазами, всякий задумчивый человек сказал бы: «Да, эта несчастная женщина должна делать что-то такое, что-то подобное. Неминуемо».

Пусть ее, решили родственники, легче терпеть это безобразие, чем вынимать Маньку из петли. С нее станется. Все равно чужие не заходят, некому заходить. (Впрочем, соседи Барышевы заходили, в Манькино отсутствие, ключи-то у них есть. Дивились, наслаждались. Но знал об этом только Павлик, ему по секрету донес Димка Барышев.)

Павлик был знаком с Манькиным приданым с поры бессмысленного детства, первобытно привык к нему, играл с ним и ни разу не сказал своей древней двоюродной сестре по этому поводу, что она дура или сумасшедшая.

(А когда пришел в возраст и спросил себя об этом, то уже жалел Маньку. Тогда ее сына — тунядца и деревенского стилиста, племянника Павлика, который был его старше на десять лет, в деревне Кичке безжалостно били за пижонство, и он не мог выйти из дому. И Маньке, и без того придавленной своей виной перед ним, подброшенным кукушонком, можно и нужно было говорить исключительно что-нибудь доброе, мягкое.)

Бабушка, слазив в подпол за маслом и солеными огурцами, выложила вареную картошку, чистого золота, из чугунка на широкую деревянную тарелку, срочно произведенную Гросс-Иоганном 9 мая 1945 года, когда обнаружился недостаток в помещительной посуде для праздничного общего застолья на улице.

Потом, держа тарелку с картошкой (по сути, просторное блюдо, но ей не нравилось это слово) в одной руке и пустой ковш в другой, она пошла в темный Манькин кут за квасом. Торопыга, конечно, но натуру не переделаешь. Надо было сначала отнести картошку в комнату, а затем отдельно идти за квасом. Да как же!

Из открытой двери в зало лился свет, для ближней кухни ей его было достаточно, и она не стала докручивать лампочку в зале. Вошла во тьму, завязла в приданом, но добралась до бочки и набрала квасу. Это была сложная операция. Пришлось локтем сдвигать крышку, следом, приседая, локтем ее подгонять в исходное положение.

А на обратном пути, имея на балансе дымящийся картофель (на ладони левой руки) и полный ковш кваса (в правой руке), все-таки оступилась о какой-то сапог. Теряя равновесие, ухитрилась присесть, приземлиться на чувствительно-неровный рельеф приданого, не уронив и не пролив.

Так. Встать она уже не могла, для этого надо было освободить руки, поставить блюдо и ковш на что-то достаточно плоское, но в темноте не разглядишь, да и вряд ли существовало это плоское. Она сидела, ворона вороной, в темноте. Ее старые руки, изнемогая, дрожали на весу. Досадная влага выступила на ее глазах.

Поперечный свет из открытой двери переливался, дробимый слезками, и она с самолюбивым ужасом подумала о том, что смешливый внучок ославит ее теперь перед всей родней, улицей Островской и теми же скамеечными товарками в Абантуре.

— Ты где, бабушка? — Павлик, сидящий за столом в комнате, обратил внимание на наступившее напряженное безмолвие, поскольку обычно бабушка делала все шумно и с присказками. — Я есть хочу, прямо ись, чего ты там притихла. Ты не помирать собралась?

В ответ — ни гу-гу. Бабушку заклинило. «Чертова помоешница Манька, — негодовала она, сидя на сапоге, врезавшемся ей в самое неудобное место, — гестаповка, Плюшкин. Ну, насыплю я тебе песку полные карманы, полную суму». Даже так она думала. А при чем здесь песок?

Павлик показался на пороге. Он услышал ее сумбурное дыхание в Манькиной стороне, сделал шаг, но со свету не мог ничего разглядеть.

— Что случилось, что? — уже испуганно сказал он, вставая на цыпочки и на шаривая лампочку возле косяка. Загорелся свет.

Бабушке всегда очень нравилось, когда Павлик смеялся. Она иногда нарочно смешила его, просила посмеяться. Ему достаточно было показать фигу или квакнуть, чтобы он закатился. И она этим злоупотребляла.

Как ей нравились его окосевшие глазки, его сморщенный носик, губки, зубки. Как он на всякий случай хватается за писюльку.

Но сейчас ей хотелось от него только сдержанного сочувствия.

Но Павлик захохотал, бессовестно завизжал!

— Забери ковш, — сказала Евдокия Митрофановна, — снеси.

Павлик забрал ковш, занес в комнату, поставил на стол. Он сделал жалеющее лицо, чего бабушка, конечно, не видела, но сам-то предвкушал! Расскажу, ох, расскажу! Вот отец-то, папа, попохоchet. «Бабушка на горшок присела».

Бабушка сидела, держа блюдо обеими руками. Встать не могла — основательна посадка.

— Тарелку забери, — сказала она.

Павлик прибежал, забрал блюдо, занес в комнату, поставил на стол. Вихрем вернулся. Бабушка сидела, опустив заслуженные руки. Встать она все равно не смогла. Бензин вышел, руки коротки.

— Дай руку, — сказала она. Павлик дал, но бабушка, ухватившись за нее, лишь притянула внука себе под турецкий нос. Мелюзга. Она поцеловала его в макушку и отпустила.

— Ты вспотела, — сказал Павлик, — ты мне руку оторвешь. Ты на бок валишь, а потом на карачки вставай. И поднимешься.

И не удержался, хихикнул, представив, как бабушка Дуся задерет попу.

— Какая я старая, слабая, — горестно произнесла бабушка, — дожила. Алексей надо мной измывается, и ты в него, туда же. Уйду от вас ото всех. Исхарчили вы меня. Буду побираться.

Павлика пробрала настоящая жалость. И его осенило.

— Я сейчас перед тобой встану, — сказал он, — а ты бери меня за плечи, опирайся. Я выдержу, не бойся. Я упрусь. Я же упругий, жилистый.

И вправду выдержал сколько нужно, трепеща, потому что когда бабушка встала на свои, трепещущие ноги, его ноги подкосились, и он героически упал, нырнул. Ну, ему встать было нетрудно.

— Ой, молодец, пистанюшко Кошлич! — восхитилась бабушка.

— Папу больше не бей, обещаешь? — сказал Павлик.

— Обещаю. Я и не хотела. Так-то он терпимый, когда не шахует. Ничего... А ты не рассказывай про мой позор.

— Не буду, — легко ответил Павлик. Слишком легко.

— Ой ли? Сумеешь?

— Сумею, — подтвердил он. Нет, неубедительно подтвердил.

Она прихватила рукав, вывернула лампочку, и они засели ужинать. В комнате лампочка было хорошая, яркая. Такали часы. Ели руками.

Павлик вопросительно поглядел на бабушку, и она поняла.

— Приедут, прискачут, — сказала она, — так надо, внучок, чтоб их проняло. Явятся!

Павлик заметно загрустил. Он облизал пальцы после первой картофелины с огурцом и оглянулся на молчащее радио: надо бы его включить. Оно отменно бодрило.

— Погодим, а, — попросила бабушка, как всегда, — почитай мне про этого забавного Тиля. Или так, без книги исполняй, ты же наизусть все помнишь.

Опять! Павлик вздохнул. С четырех лет он читал очень хорошо, бойко и жадно, запоминая прочитанное целыми страницами с первой атаки. Любимые эпизоды он перечитывал с утра до вечера. Уже с полгода как его любимые книги заобожала и бабушка. Сам приучил, сам навязывал, не выпуская ее к старухам на улицу. Приручить приручил, а теперь страдай, отрабатывай. Впрочем, кряхтел Павлик в начале представления, дальше лень сменялась вдохновением актера и мыслителя, и уже бабушке, бывало, приходилось его останавливать.

У них были три любимые книги. Две из них — «Денис Давыдов» Задонского и «Каленые тропы» Листовского приехали с ними из Абантуры. А третья нашлась здесь и сразу стала, по свежести своей, обожаемой. Она называлась «Легенда об Уленшпигеле», автор Ш. де Костер. Книга иностранная, и автор иностранец, отчего у него неправильная фамилия.

Познакомившись с Задонским и Листовским, Павлик считал, что у всех писателей фамилия кончается на «-ский». Другое дело, что раньше, когда все было неправильно, «-ский» часто отрезали. И от иностранных фамилий, поскольку там и сейчас все неправильно, тоже отрезали и отрезают. А Пушкин на самом деле — Пушкинский, например. И автор этого «Тия», следовательно, Ш. де Костерский.

— Ты дай мне поесть сперва, — сказал Павлик.

— А ты ешь и рассказывай, вперемешку. Тебе книга не шибко нужна, — повторила бабушка, — изображай, как помнишь. Даже лучше, веселей будет.

Изображать он умел. И в лице, и в голосе узнавался взрослый, матерый герой, и обильные подробности минувших страниц не помещались в комнате. Бой ли под Салтановкой (любимый номер мамы), подвиги ли Олеко Дундича, избиение ли святых изваяний глупым служителем церкви представляли перед бабушкой во всей полноте усилий, звуков и даже цветов.

Сегодня дело было в трактире, гнусила старуха Стевенс, и гезы пели «Время звенеть бокалами!», и запевал Тиль Уленшпигель.

Оно так и есть — одно другому не мешает. И Павлик, входя в кураж и постукивая кулачком по столу, палил из всех орудий, и картошка свистела изо рта на стол, на пол, в бабушку.

Дальше положено было обсудить данные свершения иноземцев. Но бабушка успела разве что воскликнуть: «Какая поганая старуха! Я бы ее сама удавила!» — и в дверь постучали. Резко, громко, нервно.

— Откройте, это я, Михаил Иванович, — послышалось с крыльца.

Внук полетел в сени к щеколде, а бабушка резво вкрутила в зале лампочку и приготовилась к нелегким переговорам с любимым зятем. Не его она ждала, не для него приготовила колчан ядовитых стрел. Он сильнее ее. Будет вежливо выговаривать, и овиноватит в три щелка, и пуще неволи ей его вежливость.

На свет из сеней показались дядя Миша, Павлик и Саян, молча виляющий хвостом. Саян пробежал мимо бабушки в горницу. Это была неслыханная дерзость, но некогда было обращать

на то внимание. Как и на чудесные чесанки в руках дяди Миши. Как и на то, что опрятнейший дядя Миша вывозился в мокром песке, и в волосах его искрились песчинки.

Бабушка и внук видели сейчас одно: лицо у дяди Миши окровавлено, в середине лба, прямо над носом — широкая рваная рана, и на левой щеке — глубокая свежая царапина.

А в глазах — изумление и растерянность, как у простого смертного человека, а не у дяди Миши.

Бабушка охнула и присела у притолоки.

— Где тебя так, кто? — прошептала она.

— Во дворе. Как зашел — во дворе. Ничего не понимаю! — почти крикнул дядя Миша.

И бабушка кивнула.

— Ты, Мишенька, как царь Дадон. Ой, лихо мне! — почему-то сказала она.

И Павлик догадался, почему она так сказала.

А нетрудно было догадаться.

7

— Так вы знаете, что это было?! — снова почти закричал дядя Миша.

Он сидел на венском стуле, отталкивал ластящегося Саяна, трогал лоб и никак не мог отхлебнуть хоть глоток квасу. Ковш подпрыгивал у него в руке, и квас лился на пол.

— Это новый петух, Мишенька, — кротно молвила бабушка, — это он, проклятый. Никакие не разбойники. А я его нынче отвязала. Прошел слух, что цыгане свалились на город, как в сорок седьмом году. Ходят по дворам, воруют, собак колбасой травят. Колбаса у них, слышишь. Я их не видала, врать не хочу. А Саян теперь не в себе, забитый, как негр. Вот я и отвязала петуха-то, на всякий случай. Он на тебя и напал — и долбанул тебя в лоб. Ух, как долбанул!

Она протянула руку и прикоснулась к зятю лбу.

— Петуух?! — протянул дядя Миша — с облегчением, с разочарованием, с обидой. И Павлик засмеялся: чтобы дядя Миша был так растерян, так жалобно говорил!

— Тебя бы так, — подлизываясь к дяде Мише, сказала ему бабушка, — мозги бы вон... Господи, что я несу...

«Ветер в лицо, — подумал дядя Миша, — это он подпрыгнул, взмахнул крыльями». Взгляд его упал на часы, которые мерно и равнодушно такали себе в комнате. Половина одиннадцатого!

— Это сколько же я пролежал? — возмутился он. «С перепугу упал в обморок. Старею, нежный стал, — подумал он, — нежный, да-а. Открываю глаза — тишь да гладь, а лицо в крови и дожде. Замерз, лоб саднит, рана ноет. И небо надо мной... Небо надо мной? Зыбится свинцом. И я совсем маленький, словно вот Павлик, одинокий лежу и что-то ведь думаю. О чем я думал?.. О детстве, о лесном шалашике на покосе, в котором тогда ночевал и так подробно, что слова вымолвить не мог».

— Что за петух? — спросил он. — Откуда взялся? Таежный, небось?

— Правильно, — сказала бабушка. Она поняла, что ей уже не достанется на орехи, ни за побег, ни за петуха. Она сходила в комнату и принесла листок из школьной тетрадки в клеточку, исписанный с двух сторон безобразными каракулями.

— Вот, Миша, приехали мы с пистанюшкой, зашли к Барышевым за ключами. А они отдают ключи с запиской и все попохохотывают. От Маньки послание, почитай-ка. Почитай-ка!

Дядя Миша, чертыхаясь на почерк и его владельца, стал читать.
«Записка.

Кто придет, Михаил Иванович или баушка, или кто еще. У нас тут с июня новый петух. Старый петух сдох. Как знаете, он и так был дряхлый, слепой совсем, куры его гоняли, заклевывали. Бабы есть бабы, презирают мужскую слабость. Я уже думала его, Калинина, как вы знаете по имени, ликвидировать, а тут он сам сдох. Этого нового мне устроила Анастасия Николаевна, как я встретила ее на рынке и пожаловалась. Она сказала: “Бери у меня, такой молодец”. Его музейщик Сергей Васильевич-Тоший, ее брат двоюродный, назвал Стрелец, потому что на груди у него три черные полоски поперек на рыжем и нрав неукротим. Говорила, он лучше любой собаки двор охраняет, лютый. Днем он ничего, потаптывает, шевутится, а как смеркается, приходит в остервенение и всех гоняет. Привязывай его. Он к тебе привыкнет — тебя не тронет. Не забудь дать ему по башке разов пять. Взяли его из деревни Карагодовой, которая на Казыре. Там такая

забава, что петухи дерутся друг с дружкой. Там же одни охотники живут, кормят петухов дичиной. В общем, злобен оказался, как наш папаша Паха Баграмян, шучу, докучает сильно. Саяна заклевал почем зря, безвылазно загнал в будку. Саян исхудал, спал с голосу, только повякивает, а петух его казнит и голосит, как гимн по радио. Будьте осторожны, я предупредила. Манька, с уважением. Капуста ранняя, смотрите там. Арбузики засолила. Под часами три рубля. Купите спички, забыла. Манька, с уважением».

Дядя Миша прочитал, подскочил и храбро вышел на крыльцо. Ничего не видно, никто не движется. Саян робко выбрался за ним, прижимаясь к его ногам.

— Если Саян вышел, значит, Стрелец уже спит. Долбанул хозяина — и отдыхает, сволочь, — подсказала высунувшаяся бабушка, — видишь, шпагат из курятника торчит, петлей?

— Не вижу, — ответил дядя Миша, — и ты-то будто видишь, Сова Митрофановна. Не прикидывайся!

Бабушка промолчала. Она, конечно, не видела. Но ведь знала, а надо было что-то говорить.

— Стрелец, стало быть, — сказал дядя Миша, спихнув Саяна с крыльца, — ставь чай, Евдокия Митрофановна. Разберемся. Воспитаем!

Они уселись за чай, и тут бабушка обратила внимание на чесанки и стала ими восхищаться. И разглядела на них несколько капель крови, конечно, дядимишиной. Заметные были капли! Дядя Миша рассердился. Он кусал губы, гневаясь. Мало было истории с мальчишкой из Кривой, а еще и эти капли. Как ему теперь носить эти чесанки? Он взглянуть-то на них не может, поселились в них матерный Степка и петух!

Бабушка принялась замывать кровь. Пятна побледнели, но и размазались, еще хуже.

— Придется вымачивать, — заключила она, — да ты не волнуйся. Я их содой, золой, зубным порошком. Сведу! Будут как снег.

— Ну, — сказал дядя Миша, — ну... Нет, это не день, это Армагеддон самый настоящий.

Павлик ушел с закрытыми глазами. Бабушка протерла зятю лицо спиртом. Он отказался от еды, и они стали укладываться на боковую. Дядя Миша, естественно, пошел спать на Манькино ложе

и, добираясь до него, дважды споткнулся на приданом, несмотря на то, что предупредительная теща дожидалась его приземления и не выкручивала лампочку. Ухватившись за Манькину дверь, дядя Миша посмотрел на тещу. Ей показалось, что зять — лунатик.

— Завтра поедете обратно, — сказал он, — я с утра схожу в милицию, позвоню в Абантуру. Делать мне больше нечего! Я поеду, увижу Маньку и поеду.

— Поедем, — согласилась бабушка, — мы и собирались. Вечерком. Манькуждемся — и поедем.

И погасила свет на кухне. Зашла в комнату — Павлик уже крепко спал на ее кровати. И бабушка, выключив свет в горнице, полезла во тьме на печку, услышав, как свалился за стенкой зять на Манькину кровать.

«Стройный Миша, а тяжелый. Директор», — подумала она.

Заснули сразу, провалились на сонное дно.

Поэтому, когда им пришлось ненадолго проснуться, до рассвета, часа в четыре, много в половине пятого, им показалось, что они и не поспали вовсе, а всего лишь чуть-чуть подремали, слюнки не запустив.

А проснулись они оттого, что во дворе заорал петух Стрелец. Заорал, как паровоз, как победитель дяди Миши. И они услышали его наглуую поступь во дворе. И проорал он десятикратно, подбрасывая всю улицу Островскую и Протоку.

— Вот скаженный, — пробормотала бабушка, — труба иерихонская. Надо возвращаться. Невыносимый какой!

— Надо домой, баба, — ответил ей снизу, из темноты, Павлик, — я его боюсь. Я соскучился.

За стенкой заскрипела кровать. Послышался внятный, командирский голос дяди Миши.

— Празднуешь, Стрелец? Жить тебе хорошо? Будет тебе утро стрелецкой казни!

8

Вторично дядя Миша проснулся оттого, что засохшая кровяная корочка давила лоб и сугубо мучила, цепляясь за жесткие перья в Манькиной подушке.

И домучила, и он поднялся, хотя спал бы еще и спал. Двери на двор были открыты настежь, в дом, как говорил Павлик, забежали мурашки. Во дворе виднелась Евдокия Митрофановна, закидывающая на веревку отмытые чесанки. Они были по обещанию белы и вдобавок золотились на солнце. Утро занималось погожее, теплое, двор темнел мокротой, а у погребца блестела лужица. Не успела всосаться, там земля была хорошо прибита. Лужица была синяя, двоилась и напоминала штаны запорожского казака.

Дядя Миша вышел на крыльцо.

— Где этот? — спросил дядя Миша. — Покажи!

Нить шпагата, не переставая подрагивать, натягиваться и опадать, убегала от курятника за огородную калитку. Петух имел променад и легкий зеленый завтрак из увядшей ботвы.

— Я его привязала, накоротко, — сказала теща, — до крыльца не дотянется. А — тихий, довольный.

— Довольный?

— Довольный. Ну, так выглядит. Как с легкого опохмеления наш Алексей, — уточнила Евдокия Митрофановна.

— Покажи, — повторил дядя Миша, безотчетным воином расправляя плечи и расставляя ноги.

Теща дернула за шпагат, потянула, дернула, потянула — и через калитку, боком-самолетом, подпархивая крыльями, чтоб не упасть, вывалился петух. Теща отпустила шпагат, но петух остался на месте, расставив ноги, как дядя Миша, и крутил головой. Клюв его был в земле, был он грязен, рыжая грудь лилась червонцем. Три черные полосы на ней представлялись нарисованными. Глядел нагло, но не только на дядю Мишу, а и на старуху, на курятник, на погреб, на сарай. Авторитетов не имел. Стрелец.

— Да здравствует гез! — прозвенел за дядюшкиной спиной Павлик.

— Ну б... — поперхнулся дядя Миша. «Б...»? Он едва не выронил дурное слово, чего не случилось с ним с войны. Нет, не сказал, удержался. Но было неприятно, ребенок рядом. Он увидел, что Саян забился в конуру, высовывая нос. Петух явно до него не дотягивался, но береженого бог бережет. Ты ли это, Саян, малюта всего живого на улице Островской?

— Он ему всю маковку раздолбил, — сказала теща.

— Я с тобой в гляделки играть не буду, — сказал петуху дядя Миша.

Петух словно услышал и понял: он показал дяде Мише растрепанный зад, лягнул землю мускулистой ногой, так, что мокрый песок долетел до крыльца, и пошел в огород.

— Посмотрите на него, — сказала теща, — он даже серет — прячется. Один.

— Пойду в милицию, — сказал дядя Миша.

— А ты сначала поснидай, Мишенька, надо, — возразила теща.

Но позавтракать он не смог. Отличная пшенная каша с хонгорской тушенкой, купленной Манькой в Москве, взорвала его пищевод с третьей ложки. «Это что же — контузия? — подумал дядя Миша. — Ишь как лоб похолодел, как затрясло!»

Попил с сахаром чай № 36 и пошел налегке в милицию.

Автобусы тогда по городу не ходили, и не было в них особенной нужды. Все рядом или почти рядом. И дядя Миша подумал об автобусе попозже, потому что устал от покачивания и неожиданной одышки. Пока подумал — добрался до милиции.

Было воскресенье, но Черников, наудачу, дежурил, сидел за столом на входе в райотдел. Он пил чай с баранками, с шиком ломая их в горсти. Настроение у него было положительное.

— Ну вы даете стране угля, Михаил Иванович! — оптимистично сказал он, увидев ранение дяди Миши. — Во лбу звезда горит, на щеке черт расписался! Неужели мирусинские обидели? Не может быть, кто вас не знает! Я их в бараний рог согну!

Дядя Миша понял, что рассказать правду не приходится, это выше его моральных возможностей. «Да и не до того, — утешил он себя, — зачем балаган разводить? Времени нет».

— Колол чурки, перестарался, — объяснил он, — отлетело. Хорошо, что не в глаз.

— А-а? — сказал Черников, чуточку сомневаясь. — Чурки сырые, топор тупой? Не директорское это дело.

Оба отлично знали, что вполне директорское. Не ученики же наколют дров вместо директора, не родители? Бар нынче нет, и работника не наймешь — ославят. На какие шиши нанимал? Ворует? Банкой школьной краски расплатился?

Из уважения, из этикета сказал Черников.

— Рад повидаться, рад, — сказал дальше Черников, — но какая забота вас привела? Или позвонить надо — и всех делов?

— И беда, и позвонить, в Абантуру позвонить, — ответил дядя Миша.

Черников, действительно законченный кудрявый и массивный брюнет с хонгорской кровью, был с рожденья муравский, учился у дяди Миши, и прилежно учился. После армии его направили участковым в Каменку, он добросовестно следил за порядком в кусте селений, среди которых значились и Муравское, и Кривая, и Кичка. Слабым его местом был самогон, который он гнал и гонит в Муравском у родителей. Люди знали об этом и немножко осуждали Черникова. Немножко, а многие относились сочувственно. Самогоном он не торговал, в стельку не напивался. Их мнение было такое: если самогон получается у него лучше казенки (а он говорил), то можно считать, вкус у него тонкий, водка ему противна, значит, имеет право на послабление. Не айран же пить милиционеру!

Тем более что долг исполняет и храбр. Это он лично взял бандюка, заблудившегося в их углу после освобождения из Тайшетлага в 1953 году. Здоровенный бандюк надругался в лесу над девочкой, ограбил две семьи. Как он ни метался по округе, Черников его выследил, подстрелил и скрутил, не забыв разбить ему морду в фарш. Шумная была история, освещенная в краевой газете. Черникову дали «Красную звезду».

Три года как его повысили, перевели в Мирусинск, надели лейтенантские погоны.

Дядя Миша рассказал ему о Степане, прося не о наказании, но о внушении и присмотре. Черников засмеялся. Он совсем не очерствел еще и не зазнался. Дежурил, кстати, без ордена, надевал его строго по праздникам. Как дядя Миша.

— Узнаю вас, Михаил Иванович, — сказал он, — а этого зимогора даже искать не придется. Здесь он сидит со вчерашнего вечера! Напился, матерился, зачем-то лез в Музей, толкал, материл сторожа, Доната Асинкритовича. Хотите повидать?

Зимогор встретил их стоя, замерзший в холоде предварительного заключения. Глядел виновато и, узнав дядю Мишу, по-до-

машнему подался к нему, обрадовался-де, сказал: «Михаил Иванович!» От него тянуло и запахами дурной жизни, и фальшью. В глазах: что рассказал директор, как? Умиловить Черникова пришел — или уж закатать меня?

— Я Михаил Иванович, — сказал ему дядя Миша, — я-то Михаил Иванович!

— У него назавтра повестка в военкомат, — сказал Черников, — я его завтра сам туда отведу. Если захочу. Через дорогу мне нетрудно. Или лучше посадить тебя, запечатать, кривовский дурак?

— Пусть послужит, — взволнованно сказал дядя Миша, — в армии его подтянут. В армии его научат. Поймет, почему жизнь и для чего.

— И я так думаю, — сказал Черников и поднес свой хороший кулак к маленькому носу Степана, и зрачки Степана сошлись у переносицы. Он громко вздохнул с облегчением.

— Отдайте в армию, Геннадий Кузьмич, — прошептал Степан, — отдаете же? Михаил Иванович, матери скажите. Сам себя боюсь.

— Скажу, — ответил дядя Миша. Черников подпернул его за рукав.

— Не торопитесь его жалеть, Михаил Иванович, — сказал Черников, — мальчишка порченный. Сявка. Сейчас ему деваться некуда. Армия лучше, чем срок, ясно. Вот и гонит кино... За Музей тебе попытку грабежа мировых исторических ценностей можно пришить. Это тебе не хулиганка, не базарный щип.

— Какие ценности, Геннадий Кузьмич, — тихо ужаснулся зимотор, — я сдуру лез, наливки нажрался, не закусывал, не на что. Сроду про ценности не слышал никакие...

— Милую тебя ради Михаила Ивановича, — перебил Черников, — помни об этом. Перемоешь все полы и сортир отлакируешь.

Дядя Миша хотел как-то душевно попрощаться с Готовцевым, но Черников не дал, за руку увел за собой. Грубовато.

— Не знаете вы их, Михаил Иванович, — извините, но не знаете, теми детьми видите. А человек ломается — чихнуть не успеешь. Я за все его пакости ему даже чаю не дам до обеда. Давно его вычислил. И закончим на этом. А не было б повестки? Кури табак?

Дядя Миша понял, что он очень уважает Черникова. Черников знал людей лучше, чем он. «Я горжусь своим учеником», — подумал дядя Миша.

Он позвонил в Абантуру, соседям Нины и Алексея. У родственников телефона не было, а сосед, хонгор Виктор Иванович, известный на всю Хонгорию хирург, имел его по долгу службы. Его подростковая дочь Ольга гордилась телефоном, тепло приняла звонок и, наверное, торжественно привела к аппарату соседей тетю Нину и дядю Алексея.

Нина дружила с соседями и здоровалась с ними: «Изеннер!»

Связь была отвратительная даже для тех, кто не имел опыта никакой другой, получше. В трубке бушевал мировой океан и тонули, отчаянно завывая сиренами, корабли.

Дядя Миша прокричал Нине про Павлика и Евдокию Митрофановну. Черников слушал его с симпатичным житейским интересом и делал большие глаза.

«Слава тебе, господи, — тараторила Нина, — так и в Бога поверишь, Алексей, они в Мирусинске, Миша из Мирусинска звонит, Миша, Алексей тебе кланяется, трезвый. Что «не говори»? Миша нам родной, куда нам без него, выручалочки». И т. д.

А в конце, запинаясь, сказала:

— Пусть, Миша, мы тут подумали, пусть лучше завтра приезжают, раз уж все в порядке, Миша. Мы отдохнем хоть денечек от мамы, побудем в тишине, я, Миша, уроки подобью, давно нужна... Ладно? Ты там проверь, есть ли у мамы, на проезд-то дай, если что. А то Манька даст рубля, а потом умрет от бессонницы, Миша.

— Хорошо, — коротко ответил ей дядя Миша. В животе у него вдруг зашумело, как в телефонной трубке. Это как-то указало на связь жизни душевной с жизнью телесной.

9

Возвращаясь в ясный полдень, дядя Миша издалека увидел лохматый дым над отчим домом. Печь топилась по первому разряду.

Он вошел во двор и, входя, поймал себя на том, что стережется, держит перед собой полусогнутую левую руку. Что и отметил Павлик. Он высмотрел дядю в окно, сквозь рябиновые ветки, и выскочил ему навстречу босой и в тюбетейке. Она сверкала, как шлем витязя, потому что Павлик утром наклеил на нее канцелярским клеем фольгу.

— Что? — закричал он. — Что? Ждут? Соскучились, язвы их?

— Ждут, соскучились, заболели без тебя, — ответил дядя Миша.

И больше ничего на эту тему не хотел сказать, а Павлику было достаточно, он уже ехидно говорил о другом:

— А чего это ты, дядюшка, руку раненую выставил? Боишься?

— От солнца, — с досадой отметил дядя Миша, — на тебя гляжу — тубетейка блестит, меня слепит. Видишь, жмурюсь?

— Понятно. Хмуришься ты, а не жмуришься, — сказал Павлик. Но оценил находчивость ответа. И сообщил:

— Бабушка поставила бак на плиту, ей Димка Барышев два ведра приволок с колонки. На коромысле. Она ему два пряника дала. Я с ним бегал, помогал.

— Зачем, — спросил дядя Миша, — стирать собралась, что ли? Или тебя мыть? Вы же вчера с утра баню топили. Или меня? Я дома помоюсь. Зачем?

— Говорит, будет кое-кого ошпаривать. А кого — не сказала, секрет. Тебя? Лечить?

— Наверное, — сказал дядя Миша, — наверное, план у нее такой. «Все-таки понятливая она, Евдокия Митрофановна», — подумал дядя Миша и тут же подумал так еще раз, с крыльца опознав топор, воткнутый в плаху. «Заряжен пулемет».

Шпагат снова тянулся в огород, натягиваясь и опадая. Куры были заперты. Брандмауэр нависал над двором и связывал этот ясный осенний денек со средними веками, когда кровь проливали в виду таких стен.

Раскрасневшаяся теща показалась в дверях и уточнила:

— Обедать уж будем после. Лапшу я раскатала... Перец у Маньки не нашла, видно, без перца готовит, сухомятная. В горшках пауки живут... Потерпишь? Столько не ел, так что уж? Или каши поешь, осталась каша?

— Потерплю, — значительно сказал дядя Миша, думая: «Я криво усмехнулся».

— Павлика в доме запереть или на улицу прогнать? Можно за перцем послать, пока туда, пока сюда?

Дядя Миша крепко задумался. Что, если Павлик сильно перепугается? И Нина потом будет стонать: как вы могли при ребенке все это непедагогичное делать?

— Так как, Мишенька? — переспросила теща.

— Думаю, — ответил он.

Она закивала: Миша ничего не делает без мысли.

«Да что же такое, — додумал дядя Миша, — чего в огороде оранжереи разводить? Наша судьба деревенская, где надо — назьмом пахнет. Должен ребенок ко всему привыкать, по ходу жизни. Нечего в ней скобки ставить».

— Захочет — пусть смотрит, — сказал он, — пусть взрослеет. Обойдемся без перца, черемшой соленой заправишь.

Он пошел к плахе и выдернул из нее топор. Теща подбежала к шпагату и в три рывка доставила петуха. Ошарашенный, он не сопротивлялся, обронив несколько бабьих ко-ко-ко.

Теща схватила его за шею и подала дяде Мише. Дядя Миша левой рукой перехватил шею и прижал петушиную голову к плахе. Вот тут Стрелец бесполезно заработал своими конечностями, открывая клюв. Горло его было сдавлено, он уходил из жизни, задыхаясь, молча.

Дядя Миша занес топор, прицеливаясь.

— Время звенеть бокалами! — крикнул с крыльца Павлик. Он подпрыгивал на месте, он был в цирке. Он не жалел петуха.

Дядя Миша оглянулся на него. «Нормальный ребенок, естественный. Будет октябренком, пионером. Комсомольцем», — пошутил он про себя. Он осторожно промакнул рукавом испарину на лбу.

Прицелился снова — и миг в миг с отдергиванием левой руки отрубил петуху голову.

Безголовое тело свалилось на песок. И тут же вскочило и побежало мимо дядя Миши, порядочно обрызгав его галифе первой кровью. Оно бежало — бежало по правильному кругу, вокруг палача и плахи. Кровь выплевывалась из шеи, набрызгиваясь кольцом.

Дядя Миша оцепенел. Бабушка и Павлик замерли где стояли. То, что было петухом, бежало круг за кругом, рыжая грудь с тремя черными полосками имела военное достоинство. Тонкое кровавое кольцо густело, капли сливались в дужки.

Во дворе был слышен ровный, механический топот, отдававшийся в сарае.

Взгляд дяди Миши упал на владения Саяна: пса не было видно, испуганный, он прижался к задней стенке будки. Безголовое бежало и бежало.

Пробежало сто кругов и упало очень зряче под ноги дяди Миши.

Помолчали.

— Вышла кровь, — очнулась Евдокия Митрофановна, — досуха набегался. Крови в нем как в добром поросенке.

— Не преувеличивай, — ответил дядя Миша, чтобы что-нибудь сказать. Его морозило. Павлик подбежал к трупку и осторожно ткнул его босой ногой. Потом наклонился над плахой и посмотрел в глаза на отрубленной голове.

— Теперь он ничего не видит, — сказал Павлик.

Дядя Миша, шатаясь, пошел на огород, чтобы замыть дождевой водой из бочки кровь на своих галифе. Замывал полными горстями, старательно, и в итоге словно постоял по пояс в Протоке. «Ничего!»

Потом бабушка ошпаривала и ощипывала петуха, потом варила лапшу. Пока она варила, Павлик собрал стрелецкие перья и раскладывал их на крыльце, стараясь восстановить кафтан с тремя черными полосками поперек груди. У него получилось.

Дядя Миша повесил брюки сушиться, на веревку рядом с чешанками — кровавые дела! И затем лежал в мокрых трусах на Манькиной кровати и думал о своих детях.

Все сильнее, настойчивее пахло куриной лапшой. К крыльцу подобрался Саян, и Павлик разговаривал с ним: «Теперь, Саян, тебе нечего бояться. Герцог Альба капут!» «Аааааа», — отвечал Саян. «Вот, вот, — говорил ему Павлик, — поцелуй меня в уста, которые не говорят по-фламандски».

Куры молчали. По улице не по чину громко протрещал мотороллер. Павлик не стал выбегать на улицу с салютом — он был занят.

Бабушка в горнице поставила на стол три тарелки, налила в них из чугунка лапши. От тарелок столбами поднимался пар. Бабушка нарезала хлеб, налила в кружки квасу, щелкнула ложками об стол.

— Идите обедать, господа хорошие, — позвала она, — ресторан открыт!

Они уселись за стол. Дяде Мише стало неудобно, что он в мокрых трусах, он никогда не садился за стол без штанов. Павлик забыл сполоснуть руки. Он очень хотел есть и боялся, что его погонят в огород к бочке. Не послали.

Бабушка нависла лицом над тарелкой, то и дело обмакивая в ней острый подбородок. Павлик и дядя Миша, переглядываясь, забавлялись этим.

— Саяна обидела! — спохватилась бабушка.

Саян в это время топтался на крыльце, грыз перья и сметал их хвостом на землю.

Выглянула бабушка и бросила ему сырые и вареные остатки Стрельца. Подальше, к плахе. Саян бросился за ними и безошибочно выбрал для почина петушиную голову. И она затрещала в его челюстях. Он знал, кого ест, и пел за едой.

А дядя Миша сию секунду бросил ложку на стол и отставил тарелку.

10

— Не могу есть, не могу я его есть, — сказал он.

Бабушка с Павликом могли, они опустили головы.

— Ноги эти узловатые, динозавровы, мельтешат в глазах, — мучился дядя Миша.

— Мы не виноваты, — сказала бабушка, — вот испытание!

— Папиросы в доме есть? — спросил дядя Миша. — Манька покуривает, знаю.

Бабушка сходила в Манькину комнату и принесла пачку «Севера». Початую. Она вчера с большой охотой изучила, где что лежит в Манькином комод.

Дядя Миша прополоскал рот квасом, вышел на крыльцо, сплюнул и закурил. Он не умел держать папиросу, сразу раскашлялся и вставлял папиросу в губы по странной извилистой траектории, взмахом пловца, и под восходящим углом.

Павлик вышел следом и снисходительно наблюдал за ним снизу вверх.

— Ты совсем не умеешь курить, — озадачился он, — зобать неправильно. Дай я тебе покажу, как надо зобать. Дай зобнуть!

Дядя Миша не дал. Он посмотрел, как питается Саян, посмотрел на чернеющий круг смерти с плахой посередине. Какой-то неясный, бестолковый, прерывистый шум, гул доносился с запада, от въезда в город. Этот гул могли производить беспорядочные человеческие голоса, которые ветер завывал до птичьих.

Он прислушался и пожал плечами. Бросил недокуренную папиросу в тазик у крыльца, сходил в дом и тут же вернулся со своей тарелкой в руках. Из нее монументально торчала сиреневая стрелецкая нога. Он поставил тарелку на землю перед Саяном и сидел перед ним на корточках, подмигивая и морщась, пока Саян ее не опустошил. Саян чавкал, как дядя Паха.

Потом дядя Миша встал, а Саян упал на бок и закрыл глаза, показывая солнцу свое раздувшееся брюхо. Все!

— Сегодня у него праздник, — объяснил Павлику дядя Миша, — съел своего супостата! Вернулся, елки-палки, на круги своя. Лишь бы не отравился вражьим мясом, переварил бы кости.

Чай, заваренный со смородиновым листом, они пили на крыльце, размачивая в нем каменные розовые пряники.

— Дядя Миша, — спрашивал Павлик, — почему, если человеку отрубить голову, он умрет сразу, а петух бегаёт?

— Потому, Павлик, — отвечал дядя Миша, — что, брат, что...

— ...У него мозги при жопке, а не в голове, — грамотно сказала бабушка.

— В жопке или не в жопке, — задумчиво подхватил дядя Миша, — а круг как циркулем проведен. Сила!

Звякнуло кольцо в воротах. Показалась Манька, стройная, что твой кипарис. Алексей недаром называл ее «Ветка Палестины».

— Ох, ох, ох, — заговорила она, радуясь многолюдью, — хозяева дорогие, не пригодятся ли вам гости? Здравствуйте! Павлик! Михаил Иванович! Бабка моя старая!

В руках у нее была авоська, она лопалась от новых поступлений в приданое. Дядя Миша, подняв бровь, покосился на авоську, и Манька убрала ее за спину.

— Ухайдакалась, — сказала она, — вроде бы осень, детей уже в вагоне не сыскать, орать-пищать некому. И — трое сели

в Свердловске! И — как с цепи сорвались. Напились, поцарапались. Пожалела их, думала, проспятся — тише воды будут. «Извините» и все такое. Куда! В ночь снова окунулись (в Ачинске отоварились) — тамбур загадили. И перед Ташебой... Десять километров до Абантуры... И перед Ташебой — стекло в тамбуре вынесли на... фиг! И я их на пятнадцать суток устроила, окурки на вокзале собирать. Командировочные! Один партийный, кричал: «Не толкайте меня, я с Никитой Сергеевичем Киев освобождал!» Отберут билет поди, а, Михаил Иванович?

— Отберут, — сказал дядя Миша, — и правильно сделают. Не позорь ряды, едешь по поручению — водку дома оставляй, она тебя дома дождется.

Манька присела на крыльцо, на остатки перьев, не глядя. Бабушка подала ей чаю.

— А сейчас что видела — вообще копец! Едем на автобусе — перед мостиком, там, на взлобье, дерутся! И человек сорок, не мене. В автобусе говорят: мальчишки, фэзэушники с речниками, безотцовщина натуральная. Речники-то в своем черном, а эти так, шароварные. Водитель говорит: посмотрим, кто кого? И встал. Смотрим. Дерутся сильно, с пряжками, а то и с этими... кастетами, не знаю. Злые детеныши выросли, истинно, зверье! Мы, бабы, захали: жалко, страшно за них, безмозглых. А речников пожиже, какие лежат уже, других окружают... Во-от. А в автобусе с Енисея возвращался Юрка Ласкович...

— Это который, — перебил дядя Миша, — это Леонида-жестящика сынок? Ему ж лет двадцать. Крепкий был мужичок...

— А теперь еще крепче. Сам невеличка, но чугуна в нем центнер. Глаза синющие, васильки, большие, а голова лысая. Двадцать лет — волос нет! Спуску никому не даст! Говорит водителю: выпусти-ка меня! А он речное и кончал, и до Игарки и Дудинки теперь ходит, мотористом. Чемоданчик свой фанерный мне на коленки — поддержи, тетя Маруся, — и на фэзэушников с голыми кулаками побежал. И началось представление. Даст одному — упал, даст другому — повалился, даст третьему — готов. Никто не вставал. Фэзэушники в кучку — и наутек. Бегут в город мимо автобуса: «Юрка, Юрка, Юрка».

Он спокойно пришел, знал, что подождет, чемоданчик у меня взял. «Извиняюсь за задержку». И водителю: «Поехали». На нем ни царапинки, даже не вспотел... На станции первым вышел, пока не вышел — никто не вставал...

— А ты-то, Михаил Иванович, — вгляделась она в дядю Мишу, — ты что, тоже дрался?

И тут бабушка с Павликом рассказали ей свежую новость про петуха. Она хотела зареветь, показать, что огорчена, обижена потерей. Тогда дядя Миша не отмолчался и пообещал, что привезет ей нового, из Муравского, который, правда, дичины не едал, но поет, как Нечаев с Бунчиковым.

Манька успокоилась, умылась и пошла к себе, где так и закопошилась: наверное, еще раз, на просторе своих угодий, разглядывала свежий улов.

Дядя Миша собрался, дал теще тридцатку, пожал Павлику руку. Хотел поцеловать, но раздумал, постеснялся. Крикнул: «Мария, пока, увидимся!»

И в сырых галифе, с сырыми чесанками через плечо пошел на автостанцию. Он снова был рад чесанкам и представлял себе, как наденет их на Покров, придет в школу, смущенно улыбаясь поздравлениям с обновкой.

Пока дошел, пока дождался автобуса до Муравского, высохли и трусы, и галифе. Кепку он надел поглубже, опустив козырек, чтобы скрыть рану и избежать неподобающих его социальному положению вопросов. А царапины на щеках бывают у всех сельских жителей. Тем более что математик Петр Захарович в прошлом году сам себе выбил зуб указкой. Непосредственно на уроке, а не, скажем, тяпкой.

11

В автобусе были все свои, муравские, за исключением, как ни странно, соседа дяди Миши, его ровесника с рачьими глазами. Водитель Илья Семенович обрадовался, увидев дядю Мишу, сказал: «Когда вы в автобусе, народ не матерится. Особенно бабы мне надоели». Чесанки привлекли общее и приятное внимание.

Ехать было недалеко, но эти двадцать километров одолевались долго, иной раз — до часу. Песчаная муравская дорожка

славилась — кривая, битая, ухабистая, с бесконечными подъемами и спусками, она вынимала душу и часто — содержимое закаленных деревенских желудков.

Ровное, еще настойчивое солнце пригревало на опушке бабьего лета. Песок мокрый, ехали с открытыми окнами, дышали бором, запахи пота и махорки были терпимыми. А в зное лета — пыль столбом, открой-ка окна — кровь захрустит.

Иногда сквозь дикое, припадочное рычание мотора, при переключении скоростей, слышалось, как поют птицы и стучат дятлы.

Дядя Миша, конечно, как внимательный к жизни человек, помнил дорогу, и то, что справа, и то, что слева, до мельчайших подробностей. Ехал и узнавал повороты и ухабы, заранее приподнимаясь на сиденье, узнавал елки и сосны над ними.

И вспомнил, после очередной встряски, как перевернулась здесь телега, на которой он ехал в Муравское, подгоняя возчика, еще с забинтованной рукой, зимой того 1943 года. Стояла глухая стужа, он тогда отморозил себе нос и щеки. Он вонзился тогда в сугроб, и сугроб показался ему металлическим — упал на раненую руку, и не выругался, потому что в Муравском его дождалась невеста Наталья.

Он познакомился с ней весной 1941 года, на танцах в Мирусинском педучилище. Высокая, чернобровая, в косах, с низким красивым голосом, она сразу взволновала его. В ней были те девичьи чистота и серьезность, какие редко встречались или никогда не встречались большинству его сверстников.

«Совсем поглупела тогда, — приятно вспоминал дядя Миша, — даже стихи выучил». Стихи дал переписать ему товарищ, комсорг, дал, предупредив: с мещанским душком, но шибко выразительные, девчонок сражают наповал. Стихи назывались «Соловьяха», дядя Миша сегодня помнил только первую строчку: «У меня к тебе дела такого рода...» Длинные стихи, читались продолжительно. Наталье понравились, но она сказала, что любила его не за стихи, а за то, что он их выучил. «А читать стихи ты не умеешь».

Пожениться не успели — война. Поцеловались три раза, поодиночно, винтовочно. Когда его ранили и Гросс-Иоганн решил сообщить об этом Наталье, она уже работала в школе, в

Муравском. У нее сразу отнялись ноги, и она полгода лежала, молчала, худела и сходила с ума. Михаил об этом не знал. Когда он подъехал на телеге к Акулькиной избе, где она квартировала, она встала и встретила его на крыльце. И за семнадцать лет не жаловалась на ноги ни намеком.

Небывалое бывает.

Дядя Миша широко улыбнулся, водя носом, и его сосед с рачьими глазами на всякий случай отвернулся от него.

Вот какие бывают воспоминания на пустое брюхо, улыбался дядя Миша. Ему наконец-то захотелось есть, засосало, до какой-то ватной слабости. «Это сколько же я не ел? Почти два дня. И не вспомню, когда подобное случилось после войны. Приключения!»

Эх, как бы было здорово, если б можно было прямо из автобуса телеграмму отбить. Или позвонить домой: «Ставь пирог с тайменем!» Может быть, сама догадается? Она часто догадывается.

А ведь когда-нибудь и такое изобретут. Дойдем, достигнем. Доживем.

«Догадается Наталья Михайловна. Умеет провожать, умеет и встречать. Или я не заслужил пирога со стопочкой после таких-то переживаний, впечатлений?»



ПЕСТРЕНЬКИЙ ДЕНЕК

*Дывлюсь я на нэбо,
Тай думку гадаю –
Чому ж я нэ сокил,
Чому нэ летаю?..*

Украинская народная песня

Бывают странные сближения
А.С.Пушкин

Сон Павлику приснился хуже некуда. Так неудачно был прожит день. Тело с душой так саднили... Решение было принято, да нравственная его подоплека оставалась неясной. Если Неизвестная — всего лишь картинка, речь может идти только о порче красивого листа картона в золотистой рамке, причем рамки-то возмездие как раз не касалось. Конечно, за это по головушке не поглядят, тем более что мама любила картинку, гордясь своим приблизительным сходством с Неизвестной. Но к завтрашнему наказанию (понятно, что к порке) Павлик был душевно готов. Суть вопроса заключалась в другом: а что если Неизвестная, пусть по-своему, но живая? Раз она разговаривает с матерью — она, по крайней мере, не мертвая. Тогда, выкалывая ей глаза и вытыкая рот, Павлик позволял себе слишком многое. Думая об этом, он устрасался, и, жмурясь, заговаривал себя: «Она сама виновата! Она сама виновата!»

Но большие портняжные ножницы уже ждали своего часа под его подушкой.

Он должен был освободиться от кошмара под названием Неизвестная, и решимости ему добавляло убеждение в том, что к завтрашнему разводу родителей Неизвестная непременно приложилась также.

Павлик долго крутился, было душно, он без конца переворачивал накаляющуюся подушку, трогал ножницы и гладил поротое место. Баба Дуня Немтырь, как всегда, разлеглась в полной обманчивой неподвижности, вытянув руки по швам, посвистывая

вострым носиком. Она могла крепко спать — она могла бдеть, дожидаясь, что он уснет, чтобы тайно пробраться на кухню и удариться в объедение. Последний год она выдумала чудить: днем отказывалась от еды, богомольно ограничиваясь черным хлебом и водой из крана, зато ночью наедалась иной раз до бессонницы. Беда была в том, что, съевши полкастрюли супу, она доливала его сырой водой до прежнего уровня, чтобы все было шито-крыто.

В кладовке же, в прихваченном рукаве старой шубы, ее дожидалась бутылка водки. Баба Дуня выпивала ночью по стопке, много — по две, Павлик замерял. Поскольку ей казалось, что про заветный рукав тоже никто не знает, водку она водой не разводила. Павлик таил от нее свою осведомленность, только однажды он насыпал ей в бутылку соли и с наслаждением услышал той же ночью, как Немтырь громко затрубила на кухне: «Господи ты боже мой!»

За окном ровно гудела степная, светлая апрельская ночь. Ровно поскрипывали стекла, в них стучались крупинки последнего снега и первого песка с оттаявших неделю назад громадных плешин Чертова поля. Оно так называлось потому, что на нем никогда не росла трава; и ковыли, и даже полынь расступались перед ним будто в испуге.

Слышно было, как очередями заходится припадошная дверь подъезда. Павлик пронзительно вспомнил, как он сегодня утром нацарапал на ней гвоздем «Герой с дырой» и как был вечером за это порот матерью, потому что Неизвестная, как всегда, донесла на него, не дождавшись ночи.

Герой бирюком жил в двадцать девятой квартире, пустой, как открытый космос. Он был действительно Герой Советского Союза Иван Николаевич Петров, но имени его не знал почти никто, весь дом, весь город звали его просто Герой, и сам он представлялся Героем. Был он сильно пьющий человек, носящий свою звезду в любую погоду и на любой из своих немногих одежд, даже на майке. Он спал на газетах и владел по большому счету только электрической плиткой. Все остальное — жена, дети, рухлядь — давным-давно исчезло.

Павлик не жалел его, а ненавидел за пренебрежительное отношение к отцу.

«А, князь Урусов, — говорил отцу Герой при встречах, — куда пошел, Пилюлькин?» Какой Пилюлькин? Отец не врач, отец — пропагандист, его особо уважает даже Петра Иванович Забабурин. Павлик отомстил Герою, как смог. Да толку-то: и выпорол, и заставили отскабливать надпись — с позорно зареванными глазами, под хихиканье Филиппка и Кабачка, самодовольно пронсящих мимо него рыцарями с деревянными мечами и щитами, разрисованными прославленным художником дядей Пашей Верченко из тридцать восьмой квартиры.

Тут Павлик вспомнил, что дядя Паша, учитель рисования, три дня назад умер от несчастной любви к своей ученице, десятикласснице Свете Мосиной, с которой перегуляла вся баскетбольная сборная тридцатой школы. Филиппок, живший с дядей Пашей в одной квартире, рассказывал, что дядя Паша оставил записку, в которой просил передать «Светлане Тимофеевне» ее портрет. Он изобразил ее маслом с белыми глазами в руках и в старинном, открытом золотом платье. Даже на его влюбленном портрете цветы и платье не вязались с ее так и оставшейся бесстыжей рожей.

Отец Филиппка, чудом попавший в их дом слесарь с мехзавода, сказал: «Как ни старался бедняга чмошный, а физию-то ее отлакировать сам Налбандян бы не смог». Мать Филиппка, плюясь, носила портрет по адресу, но вернулась с ним обратно, и, не стесняясь Филиппка, говорила такие слова, как «сучка», «подзаборная» и «проститутка». Теперь Филипповы не знали, что делать с портретом. И выкинуть — грех, и держать у себя — срамota. Отнесли в подвал, где он лежит, завернутый в газеты, поверх банок с соленьями и вареньями.

Дядя Паша обещал, но не успел разрисовать щит Павлику. А проект был готов: на лазурном поле сверху три лилии, потом — два скрещенных серебряных клинка, ниже — автомат ППШ и надпись «Лишенный наследства».

Павлик вздохнул, прослезился и заснул. Пока Баба Дуня навещала кухню, он, исходя холодным потом, посмотрел вот какой сон.

Птичник в деревне Большая Ничка. Он стоит посреди огороженного двора. Вокруг него, под ним носятся эскадроны несытых пикающих цыплят. Через изгородь перелазит баба Дуня с

узелком в руках — ходила за снедью в недалний дом, несет обед. Она застряла — зацепилась юбкой за кол. Макушка лета. Небо почти белое, солнце давит на затылок, гнет к земле. В небе торчит коршун, почему у Павлика в руке длинный прут. За изгородью — суслицье поле. Там тишина. Там суслики, с сотню, молча стоят у норок, подобрав передние лапки к груди, и смотрят все на Павлика с большим почтением. Но вот от деревни зачихала полуторка с включающимся на каждом ухабе гудком. Суслики вмиг исчезли, как их не было, и даже коршун в небе на всякий случай отплыл в сторону и завис, как дурак, над свинарником...

Тут спящего Павлика пробирает тревога: он начинает понимать, что его сон — правда, быть, то есть не сон, а воспоминание о прошлом лете. А значит, сон неуправляемый. Ему было шесть лет, и он обычно легко менял направление сна, если он оказывался излишне горестным. Даже когда в одном сне умер отец и над могилой играл уже оркестр и реяли красные знамена — отец лежал, усыпанный орденами, с шашкой в руке, — из степи прискакал Чапаев и закричал: «Он живой, что вы делаете? Вставай, родной мой, вставай, Алексей Сергеевич!» И отец, улыбаясь, встал под аплодисменты окружающих: «Что-то я долго спал! Международное положение...»

Но этот сон весь состоял из страшной, повторенной и значит неотменимой правды прошлого лета. Павлик затрепетал, застонал и закричал глубоко внутри себя: «Не надо! Не надо!»

Но баба Дуня, зловеще улыбаясь, высвободила юбку и вот идет к нему с протянутым узелком: «На, Пестанюшко, сейчас поснедаешь». Руки Павлика жадно хватают узелок, он их нынче несправедливо ненавидит, они знают только правду оголодавшего тела, они, тогдашние, не могут знать того, что знает теперь его голова. Эти глупые руки развязывают узелок прямо на травке, превращая его в скатерть, на ней хлеб, пироги, яйца, лук... Наступает великий ужас.

Нескончаемые цыплята идут на штурм. Их размерный писк сливается в ледящий душу стон — они чудовищно голодны, а кушать подано. Скатерть скрывается под трепещущим холмом грязножелтых комочков, они напозают друг на друга, их так много, что нижние, наверное, уже раздавлены.

А еще сотни цыплят карабкаются на Павлика, усыпают его с ног до головы, царапают его лапками, тюкают клювиками, обдавая его смрадным дыханием, добираясь до руки с пирогом и до самого рта, из которого валятся крошки, поливаемые сверху слезами, как дождиком.

Павлик кричит и отрывает от себя цыплят: баба Дуня с воплем «Ратуйте, люди добрые!» бросается ему на помощь — бесполезно, цыплята облепляют и ее.

Бабка и внук бегут к изгороди, топча цыплят внизу и рассыпая их сверху.

На услышанном поле, оставив позади убывающую желтую струйку, они переводят дух. «Ты почему их так плохо кормишь, бессовестная ты!» — говорит Павлик бабе Дуне. Она только разводит руками. «Ух!» — кричит Павлик, видит солнце и теряет сознание.

Соответственно, он остается сейчас без сна и лежит до утра в успокоительном беспомыслии. Баба Немтырь пробирается с кухни сытая и добродушная. Позевывая, она поднимает с пола одеяло и прикрывает внука, бормоча сама не зная что. Прежде чем лечь, она разглядывает его в полутьме еще некоторое время. Он похож на своего отца из далекого ледяного 1920 года. Быть ему, наверное, таким же бесталанным.

Неизвестная, то есть «Неизвестная», произведение живописца по имени Крамской, висела в большой комнате над родительской, теперь только материнской кроватью всегда, сколько помнил себя Павлик. До поры до времени их отношения носили вполне безразличный характер, разве что Павлику бывало как-то не по себе от того, что, в каком бы месте он ни находился в комнате, ее глаза всегда его находили, как бы впиваясь в него. Он не мог знать, что таково свойство всех портретов, особенно кареглазых и черноглазых.

Но вот Павлик подросток и стал лихорадочно осваивать пространство — квартиру, чужие квартиры, подъезд, двор — и это, конечно, сопровождалось различными рискованными опытами, которые ущемляли права и обычаи взрослых людей.

С полгода назад, когда Павлик позаимствовал марку с Багратионом (которым восхищался!) у Кабачка, мать без видимых уличений и доносов объявила его вором, а его запиранья

(«Не крал я!», «Откуда ты знаешь!») прихлопнула солидным козырем: «Мне Неизвестная сказала». Изумленный до окаменения Павлик не успел разинуть рот, а по нему уже прошелся ремешок.

Отплакавшись и дождавшись, пока мать уйдет покурить к соседке, Павлик полетел в большую комнату переведаться с Неизвестной. Он поднял на нее распухшие гневные очи и осекся: она глядела надменно и многообещающе-неумолимо.

— Гадина, — сказал он, — ты зачем на меня так? Что я тебе сделал? Сидишь себе там и сиди!

Она сыто молчала, будто боялась расплескать свою радость.

— Тебя бы так, гадина! — сказал Павлик.

С тех пор он старался не заходить в большую комнату без нужды.

Она не вняла, не пожалела его. Топил ли Павлик заветный солдатский ремень в унитазе у Филиппка, жег ли дымовушку в подвале, показывал ли подученный грузчиком из овощного дядей Васей неизвестному осанистому хакасу «наlima», сикал ли в подъезде — все кончалось тем, что Неизвестная нашептывала матери перед сном про его успехи. Она доносила даже о том, чему в принципе не могло быть свидетелей — ну разве стал бы он сикать в подъезде при ком-то? Пару раз Неизвестная, в ненависти своей, такой возмутительно ему непонятной, облыгала его, приписывая ему чужие грехи.

Злые глаза Неизвестной видели сквозь стены, видели то, что находилось у нее за затылком, видели, можно сказать, невидимое.

Его пороли и пороли — мать была ужасно неизобретательна и легка, и однако тяжела на руку.

Павлик изворачивался, врал, защищая свое право на ошибку, на личную жизнь и изо всех сил старался не верить в Неизвестную. Когда мать укладывалась спать, вернее, устраивалась за читкой, перетекающей в сон, Павлик подкрадывался по коридору к двери большой комнаты и садился на пол, распустив уши.

Из-под двери смяточной желтизной лился свет ночника, шуршали страницы, поскрипывали пружины — Павлик сидел в сумраке на холодном полу, ерзал на трусиках и слушал, слушал, слушал, пока не превращался в сплошную гусиную кожу. Неизвестная всегда помалкивала.

Вот гадина, думал Павлик, дожидается, пока я уйду, ей-то что, спать не надо. И крался обратно, теряя равновесие от озноба и зевоты. Баба Дуня дожидалась его (ей хотелось на кухню).

— Молчи-ит? — шептала она.

— Молчит, гадина, — безнадежно отвечал Павлик и засыпал, измученный холодом и страстями. Наутро его ждал ремень.

Но завтрашнюю порку он выбрал сам, он как бы желал ее, потому что она должна была стать последней, крайней — а так мечталось перешагнуть этот рубеж. При этом казнь Неизвестной, загадывалось ему, обещала будто бы нечто большее, чем ликвидацию врага — изменение порядка вещей вообще, и в этом изменении могло найтись место и для раскраски щита, и для разрешения ходить в соковинзаводский сад, и для примирения родителей.

Он впервые сделал выбор между плохим и очень плохим, не подозревая, что всю оставшуюся жизнь ему придется, барахтаясь, выбирать именно так; он проявил себя впервые как человек, рулящий своей жизнью и отказавшийся от синицы в руке в пользу журавля в небе.

И этим апрельским утром для той пяди земли, на которой жил тогда Павлик, дошла очередь подставить свой бок солнцу. Он проснулся с необыкновенно ясной головой, держа два твердых бессонных пальца на дужке ножниц. За окном было тихо, ветер отдыхал, и слабое розовое солнце, пробиваясь сквозь тонкую пленку примороженных облачков на востоке, разминалось на стене над его кроватью.

На кухне мама разговаривала с бабой Дуней, брякала посуда, пахло яичницей, редким кофейным духом и папиросой. Выходит, мама закурила прямо на кухне, чего никогда не делала, но сегодня сделала — такой уж у нее сегодня был день. Павлик знал, что сейчас она сходит на работу, чтобы вернуться к одиннадцати — в одиннадцать из гостиницы придет так же отпущенный с работы отец, и они отправятся разводиться.

Он услышал, что мама перешла в прихожую.

Павлик бросил одеяло и босиком, сжимая обеими руками ножницы, пошел в большую комнату. В прихожей стояла Немтырь, с горящими глазами и бутылкой водки в руке.

— Ого, — сказал Павлик.

— Пошел? — спросила Немтырь, все, оказывается, угадывая.

— Поехал! — крикнул Павлик.

Он сразу забрался на материну кровать и потянулся к портрету, не вглядываясь в него, но достал ножницами только до груди Неизвестной.

Высоко. Он сходил на кухню за табуретом. На кухне сидела баба Дуня и пила уже кофе, положив ногу на ногу, валенок над валенком.

— Высоко? — спросила она.

Не отвечая, Павлик почти побежал в большую комнату, поставил табурет на кровать, кряхтя взобрался на него, но кровать спружинила, и он тут же полетел вниз. О-хо-хо. Широкие и острые лезвия полураскрытых ножниц торчали у него из подмышки. Табурет с грохотом упал на пол. Снизу, как ждали, тут же постучали по трубе.

В комнату зашла Немтырь. Она подобрала табурет и снова поставила его на кровать.

— Подержу, — сказала она, — ох, столпотворение вавилонское!

Павлик тихонько взобрался снова, положил левую руку на стенку, распрямился и вспомнил, что еще не ходил в туалет. Он был с Неизвестной глаза в глаза, но тем не менее по-прежнему как бы не видел ее глаз. Суровая уверенность охватила его всего до пяток.

Он спокойно и точно выткнул ей сначала глаза, может быть, надеясь, что ее поганый рот что-нибудь жалостливое скажет в этот момент (в последний раз). Неизвестная в ужасе молчала, тогда он взрезал ей рот и почувствовал страшное облегчение и опустошенность.

— Все, — сказал он, спрыгивая сразу на пол.

В трубу опять постучали.

— Тебя выпорют. Жопка-то твоя не казенная, — с уважением сказала Немтырь.

— Ну и ладно, — ответил Павлик.

— Ты только про меня не сознавайся. Скажи, мол, сам все сделал, а я не видала.

— Скажу, — пообещал Павлик, — ты сегодня на неделю наговорила.

— Пестренький сегодня денек будет, — сказала Немтырь.
«Пестренький денек», — повторил про себя Павлик и замер, охваченный накатившим страхом. Вся храбрость его испарилась, его залихорадило.

Он не стал завтракать, оделся и пошел во двор маяться, дожидаясь прихода отца. Отцу не нравилась неизвестная буржуйка, и он мог заступиться за Павлика.

В подъезде, спустившись этажом ниже, Павлик встретился с любимым человеком — выходящим из своей квартиры к серой «Волге» у подъезда полковником Петрой Ивановичем Забабуриным, главой областных чекистов.

Никакая тревога не могла перебить в нем чистой радости от встречи с Петрой Ивановичем.

Петра Иванович был сухой, подтянутый до благородства татарин лет пятидесяти, с легкой сединой на ухоженной голове и в густых форменных усах, с большими серыми глазами и орлиным царским носом. Он был в форме, в левой руке он держал уютную папаху, а правой, как всегда, поздоровался с Павликом. От него щедро пахло сапожным кремом и одеколоном.

— Здравствуй, подполковник «Коскенкин»!

— Здра-а-асте, Петра Иваннч!

Подполковником он звал Павлика потому, что Павлик донашивал его старые погоны, которые и сейчас украшали плечи Павликовой шубейки. Как-то раз Павлика в погонах остановил на улице старшина-милиционер и начал было делать ему внушение насчет неуместности погон. «Смирно, — закричал на него Павлик к большому удовольствию зрителей (дело было на Первомайской площади), — я подполковник общей безопасности Урусов, лучший друг полковника Забабурина!» Милиционер почему-то сразу сник и заторопился прочь.

До Забабурина это, конечно, дошло и вряд ли понравилось в целом, но в частности понравилось; во всяком случае, он ограничился добродушным упреком, а потом даже подарил Павлику свою старую фуражку — Филиппок с Кабачком от зависти не играли с ним дня три.

— На работу, шпионов ловить, Петра Иванович?

— Да, брат, пастернаков всяких. А ты чего так рано подскочил?

— Дел много, — вздохнув, отвечал Павлик.

— А то заходи к нам. Дела подождут. Тебя Матрена Петровна киселем угостит, земляничным. С булочкой, — сказал, усмехнувшись, Петра Иванович.

Забабурин надвинул шапку Павлику на нос и, возвышенно скрипя сапогами, пошел вниз. Павлик остался в раздумье, разглядывая Забабуринскую дверь, из-за которой радио доносило песню народа, благодарного партии за то, что он жив-здоров и ей того же может пожелать.

Квартира у Забабуриных была замечательная, начиная с трехфиленчатой узорной двери: в трех просторных комнатах стояла старинная нарядная мебель — торжество отборного дерева и настоящей кожи. Мебель — шкафы и столы, диваны и кресла — была гарнирована ромбиками пиленого зеркала и латунными пластинками, которые хозяйка, Матрена Петровна, по необходимости зачищала зубным порошком. Даже супружеская кровать была деревянная и тоже с ромбиками и пластинками. Книги почти отсутствовали, но на стенах, оклеенных полосатыми обоями с претензией, висели многочисленные картины. (У Урусовых мебель, конечно, подобралась случайно, диванов с креслами не было в помине, кровати были металлические, но с новомодными пружинными сетками, чем мама слегка гордилась. Про обои же и про деревянную кровать Забабуриных мама как-то сказала своей подруге Идее Михайловне: «Мещанство, между нами говоря». Картина в доме Урусовых имелась одна-единственная — «Неизвестная», чего для Павлика, например, было более чем достаточно.)

На забабуринских картинах присутствовали исключительно сельские сцены помещичьих времен: в меру оборванный мальчик ловил рыбу с чисто подметенного бережка, открыв беззубый рот с зеленоватым содержимым; босая бабушка в сарафане и кокошнике ступала по аккуратной тропинке мимо деликатного прясла, ведя за собой Забавную корову, бело-пегую, с пучком ядовитой зелени в зубах и пудовым колокольчиком на шее; три подчеркнуто подвыпивших мужичка в разноцветных картузах спорили о чем-то, размахивая руками в просторном и солнечном сосновом лесу — в углу картины

из-за дальнего ствола высовывалась пушистая женская голова с лукавым прищуром в единственном видимом глазу.

По Павлику, тот мир был хоть и оборванный, но какой-то добродушный, так что даже хотелось бы войти в картины и там побывать, поиграть. Останавливало одно. Недавно его сводили на фильм-оперу «Евгений Онегин», он почтительно назывался там в такт полному залу и понял, что раньше не разговаривали, а пели. (Выходило, что и Неизвестная, принадлежа тому миру, свои кляузы на Павлика не просто вышептывала, а еще и выпевала. Ну и гадина же!)

Все время петь — этого ему, пожалуй, не хотелось. А сорвешься на разговор — а ведь сорвешься же, по привычке, — и тебя тут же разоблачат и посадят в тюрьму...

Целый день у Забабуриных громко, на весь подъезд, голосило и пело радио, ему часто звучно и правильно подпевала безмятежная Матрена Петровна. Матрена Петровна, вырастив сына-инженера, живущего ныне в Свердловске, сидела себе дома, принадлежа к редкой в те времена породе домохозяйек, и напускала в подъезд завидные запахи жареного, пареного и тушеного. Соседки ее за это немного презирали и называли барыней Мотей из деревни Драные Портки. По-своему она походила на барыню, статная, что твоя Людмила Зыкина, дородная, с белой-белой, до голубизны кожей, проступающей даже сквозь поредевшие русые кудряшки на голове, обтекающей кругленький носик и узкие, светлые, до отсутствия зрачков глаза. Халат у нее имелся отличный — до пят, китайский, с драконом на спине, пожарный, в смысле расцветки и социального пафоса.

Павлик помялся-помялся и пошел во двор.

Можно бы и зайти, киселем с булочкой не бросаются, но Петры Ивановича дома нет, тетя Мотя ласкова, но занудит всякими вопросами. А со двора вдруг послышался яростный клекот чем-то возбужденного Героя, и любопытство вытолкало Павлика наружу.

Под ногами еще хрустел редкий ледок, из канализационных люков струился желтый пар, в воздухе стоял тонкий утренний звон.

Герой и овощной грузчик дядя Вася стояли над входом в кочегарку, облокотясь на железные перила, и, не скрываясь, выпивали, пользуясь утренним безлюдьем.

— Я ему, Петрушке этому, головная боль, а? Ты понял, — возмущался Герой, тыча в след забабуринской «Волги».

— А ты придержал бы язык, — говорил ему дядя Вася, — война давно кончилась... Ты дай дорассказать, в натуре. Надеваю я штаны — до свидания, Миля (он захохотал), с вами хорошо, без вас еще лучше. И к Нинке. Стучусь. Открывает — так, в одном сарафанчике. Я свои руки-крюки вперед — даешь Берлин!..

— Удивляюсь я тебе, Василий Яковлич, одними помидорками солеными питаешься, а такую силу мужскую имеешь, — восхищенно перебил его Герой, расхристанный, как грязный, битый кочан капусты. Золотая звезда грустно дрожала на отвороте его пятнистой шинели.

Павлик прогулочно заложил руки за спину и с подчеркнутым равнодушием подобрался поближе.

— А-а, «здрюссюсе, тоаэщи!» — сладко зажмурившись, сказал Герой, и Павлик сразу с негодованием понял, что он передразнивает отца.

— Один знакомый человек, — ответил он с достоинством, — так выпить захотел, что шинель на майку надел. И базлает что попало.

— Это кто? Не я ли?

— Это ты, Герой!

— Эх, ты, — оценил его смелость Герой, человек на самом деле добрый, — да она так и была, в комплекте с майкой, шинель-то. Я ее не снимал с вечера. Я же так и спал! Пришел и лег. Знаешь, как вчера надрался с Мишкой Паном? Ого! По десять наркомовских!

Из-за такого доверия Павлик почувствовал к Герою нежеланную симпатию.

— ...Да, — повернулся Герой к дяде Васе, — да! Я что хотел сказать: Гитлера-то проворонили!..

Павлик послушал их немного, пока речь шла о любви и истории, а когда они заговорили о похмелье и желудочной рези, пошел в первый подъезд, к Эмме Эммануиловне Корман. Он знал, что она приболела и должна быть дома.

Эмма Эммануиловна из шестой квартиры когда-то работала философом в Ленинграде. Павлик знал, что она пережила блокаду и похоронила в ней мужа и дочь. Он догадывался, что страшноватые черные глазки Эммы Эммануиловны (особенно его поначалу пугавшие в минуты, когда она была к нему нежна,

ласкова) сделались страшноватыми тогда. Герой рассказывал, что в блокаду ели людей, и Павлик не смог не спросить однажды, робея, Эмму Эммануиловну, правда ли это — и не ела ли она? Нет, ответила она, не ела, и ушла чистить зубы, надолго оставив его одного, строящего крепость из ее книг. Особенно он любил трудиться с томами Ленина — их было много, и они были одного и подходящего цвета.

Странно, что она не вернулась в Ленинград — пожила в Казани, пожила в Томске, теперь работает философом здесь — разве здесь ей после Ленинграда интересно? Он спросил ее и об этом. Я солдат, ответила она, и Павлик долго смеялся — настолько она не походила на солдата.

Пожилая в свои сорок пять, маленькая и сутулая, как крепостной пахарь, носатая так, что хоть караул кричи, с большущей головой в короткой стрижке идейной женщины, одетая в вечную черную блузу с посережевшими кружавчиками, она все время дымила и все время пила крепкий чай «Экстра» из жестяных коробочек. Когда ни заходил к ней Павлик, у нее было сумеречно, в сизых облаках зыбко рисовались редкие хозяйственные предметы и груды книг — и груды книг, наваленных где попало и как попало, казались горами, что дремлют в тумане, дожидаясь рассвета, утренней грозы и орлиных переключек.

У Эммы Эммануиловны беспрестанно болели зубы, и она отчаянно драла их один за другим; щеки у нее поочередно вздувались, чтобы затем сдуваться все глубже и глубже, превращаясь в ущелья, и губы ее уже начали складываться в страдальческую гузку.

Вот и сейчас она открыла Павлику дверь, улыбаясь половиной лица — другая половинка укрылась за обширной любительской повязкой.

— Пришел, мальчик-с-пальчик, пришел, — задразнила она Павлика.

— Что, Эмма, опять? — спросил Павлик, потрогав ее за повязку.

— Опять. Не везет мне, Павел Алексеевич, — пожаловалась она.

— Вырвешь, конечно, — сказал Павлик, по-хозяйски проходя в зал и сбрасывая шубу на книги. С Эммой Эммануиловной он разговаривал тиран-тираном — скупое и веское.

— Вот, через полчаса иду... Жуть!

— А что тут поделаешь — ничего не поделаешь, — разумно сказал Павлик.

— А у меня для тебя есть подарочек, — Эмма Эммануиловна протягивала ему алого пластмассового Буратино.

Павлик обрадовался: такой подарок худо-бедно искупал его будущие страдания. Желая сделать ей что-нибудь приятное, он сказал:

— Спасибо. На тебя похож, очень!

Буратино и вправду был похож. Павлик вспомнил про «солдата» и хмыкнул.

— А я нарочно, — нашлась Эмма Эммануиловна, — чтоб ты меня всегда помнил. Чай, пряник?

— Можно, — сказал он милостиво, — если ты, товарищ Корман, курить не будешь.

— Ни за что, — весело ответила она, — мне ж к врачу, а я уже зубы почистила — веришь, полкоробки порошку извела.

— Верю, — сказал Павлик, — тебе там вообще трубочист нужен.

Что чай оказался слишком крепок — полбеда. Пряник попался чересчур твердый! Надкусив его, Павлик почувствовал, что дернуло десну, и поехал, поехал зуб, заболтавшись во рту, как старый выключатель. Он собрал в кулак всю свою невеликую вежливость, чтобы промолчать, не возмутиться, и подумал про Матрену Петровну, кисель и булочку.

— Ну и как там ... папа, — спросила Эмма Эммануиловна, — ... и мама?

— Разводятся сегодня. Папа не против, а мама всегда за, — сказал Павлик, внимательно разглядывая Эмму Эммануиловну.

— Я очень уважаю Алексея Сергеевича, — сказала она, как бы оправдываясь, и отвела глаза.

— Конечно, — ответил Павлик. Эмма Эммануиловна все-таки закурила и тут же спохватилась, плюща папиросу о блюдечко. «Что она, влюбилась в отца, что ли, — подумал Павлик, — смешно».

— Пора, — сказала она, поднялась над столом, и Павлик разглядел, какая она маленькая и несчастная.

— Выздоровеешь — поехали с тобой в Ленинград, — подбодрил он ее.

— Ленинград — Летний сад, — по слогам и пресно сказала Эмма Эммануиловна, поправляя перед зеркалом повязку.

— Окна вы мои, окна чертовы! — закричал Павлик, подбрасывая алого Буратино.

Двор опустел. Из открытых задних дверей овощного магазина доносилось какое-то весеннее громыхание. Он стоял, задрал голову в надежде, что лицезрение окон подскажет ему новый маршрут. Потеплело, воздух повлажнел, с облысевшего козырька над подъездом, удивляясь самим себе, срывались последние мелкие капельки. Солнце подрумянивало стены, и голубеющее небо наливалось в окна.

Но идти было не к кому. Все знакомые взрослые ушли на работу, Кабачок с Филиппком терзались в детском садике, а к Вовочке Дангулову, смирному, доброжелательному дурачку лет двенадцати, Павлику запретили приходить Вовочкины старенькие родители. Они считали, совершенно напрасно, что именно Павлик научил Вовочку класть язык на железные перила кочегарки в мороз. На самом деле Вовочка открыл это диво сам и научил Павлика, только Вовочка получал от лизанья огромное удовольствие и злоупотреблял им до кровавых трещин на языке, а Павлик придерживался золотой середины.

Павлик поднял над головой Буратино и закружился волчком, и дом закружился вокруг него, вокруг алого пятна над его головой.

Дом, в котором жил Павлик, построили вскоре после войны. Он строился как заказной, для городских чиновников — партийцев, врачей, национальной интеллигенции и преподавателей открывающегося пединститута, которых наскребли сюда помаленьку со всех концов необъятной Родины. Поэтому в городе он сразу получил название Дома Специалистов. Он стоял на перекрестке улиц Ленина и Розы Люксембург, самый высокий в городе, четырехэтажный, и уже с третьего этажа, урусовского, просматривались и Чертово поле, и плоские загородные холмы, среди которых внушительно громадился один, Самохвал, владелец здоровенной сырой пещеры, в которой по неведомым костям ползали многочисленные змеи.

На тогдашнее простодушие дом был красив — он был тучен, его стены бороздили узоры, фальшивые колонны напоминали о культуре, а на крыше пучились небольшие купола с притязанием, однако, на изящество. Его замыслили и возвели пленные

немцы, и где-нибудь в Восточной Пруссии стоял его близнец — там он свидетельствовал о захирении зодчества и урезанных сметах.

О чем еще, кроме судьбы, могли думать пленные немцы, строя дом в баснословной сибирской степи, утоптанной неисчислимыми копытами пришлых — гуннских, монгольских, джунгарских — и своих — тюркских — лошадей, под всегда побеждающим облака узкоглазым солнцем? Здесь текли быстрые, чистые, рыбные реки, сорвавшиеся с Алатау или Саян на встречу с самим Енисеем; в полынной сухой степи дробили небо беспокойные сладкие и соленые озера, рассыпанные в таинственную перемешку; и столетия сбили, сгрудили в ватаги курганы и гранитные стелы — в них окаменели грубые лучистые солнца, глядящиеся летом в раскаленные ковры из сплошных жарков, а зимой — в притворившиеся мертвыми бесснежные обесцвеченные злые травы...

Это был, считай что, барский дом: хотя в кухнях стояли обычные печи с вьюшками, кочегарка отапливала квартиры, их оснастили ваннами и унитазами, и раз в неделю, по субботам, давали горячую воду, и с рассветом гудели на голоса ассенизаторские машины, собирая недельную дань специалистов природе. «Господами живете, завидовали люди из соседнего двухэтажника, говно за вами убирают!»

Тогда снова зажили дворами, и дети просто так ходили в гости в любую квартиру; и в этом доме — в особенности. В дни праздников, в дни траура, а иногда обычным досугом квартиры продолжались на лестничную площадку и выходили во двор. Люди тогда ненадолго перестали бояться друг друга, снова захотели общаться и начали для этого ставить во дворах лавочки и грибки. Умели ли они общаться — другой, грустный, вопрос.

Грибок — целый павильон без стекол, но со скамьями, столами, электрической лампочкой — стоял на краю палисадника, и с ранней весны и до самой поздней осени в нем всегда кто-нибудь да толколся. С утра в нем обосновывались дворовые старушки, к обеду его полонили дети, а вечером к ним присоединялись взрослые, придя с работы и отужинав. Здесь читались газеты и обсуждались международные новости — в Африке ежедневно рвались

цепи, и очередной чернокожий народ освобождался от колониального гнета. Это радовало людей, и они очень любили негров за это. Взрослые играли в лото, в шашки, но прежде всего — в интеллигентные шахматы, где первенствовал белокудрявый веселый дядя Коля Зейле, по национальности латгалец. Ему долго не верили, что он латгалец, потому что такой нации «раньше не было», откуда же он латгалец? (Как он, латгалец, очутился здесь — не спрашивали). Лишь когда авторитетный Петра Иванович подтвердил, как бы нехотя, что есть такая нация,

поверили. Дядя Коля бил всех и ходы делал с присказкой: «Таль — это вам не далай-лама». Выигрывал у него почему-то один Павлик, которого дядя Коля называл «неудобным противником».

За карты брались очень редко, разве что в шутку — это считалось занятием неприличным, обывательским, непедagogичным, а тогда все считали себя педагогами. Поэтому в карты, без особой внутренней потребности, резались старшие дети, устроившись в глубине палисадника, за качелями, при свите из младших детей. Игра в карты означала их готовность к цинизму. За игрой дети обсуждали проблемы пола и уверяли друг друга в состоявшейся зрелости, опытности. Неяркого слова «секс» в те годы не знали, и поэтому обсуждение полового вопроса по-своему развивало детей в плане жизненной романтики и сочности речи.

Главным, любимым грибковым днем в году было первое-второе, по погоде, воскресенье июня. В грибке устраивался детский праздник, чего ради младшие дети подсакивали с зарей и взволнованно шатались по двору, отказываясь от пищи. В складчину покупалась газировка, малиновая и вишневая. На столы вываливались горы старой вареной картошки и соленых огурцов, бледных от годичного ожидания своей участи. А к ним присосеживали вороха свежего лука и кучищи первой редиски, чуда местных огородов, ближайший из которых был в соседнем дворе.

Здорово получалось, если заряжал дождик и начинало пахнуть небесной водой, свежей травой, свежими листьями, а во дворе сияли перемытые дождем разноцветные камешки.

После детей за стол садились взрослые, заводили патефон с шуточными пластинками, умеренно, не увлекаясь, пили водку

и наливки и потом, запунцовелые, пели песни разных времен и народов. Дети, естественно, не уходили, они вились в грибке и вокруг грибка, подпевая и пританцовывая.

Дело это было настолько всеобщим, что к столу подсаживался и Марк Исакыч Гиршман, невозможно дряхлый учитель латыни из польского города Белосток, лысый-лысый, с трудом говоривший по-русски, давно отмучившийся от размышлений о своей судьбе, и сам Петра Иванович Забабурин, являвшийся в полосатой, черно-красной пижаме и соломенной шляпе, вывезенной им с золотой Украины. Оба они по разным причинам строже всех соблюдали меру питья и пения, но одинокий Марк Исакыч досиживал до последнего, забившись в темный уголок, изъеденный комарами и истекающий собственной кровью, а Петра Иванович, наоборот, за столом был полководец, но уходил домой рано, берег репутацию и время — шпионы не переставали лютовать.

— А вот как румыны, Петр Иванович, — спрашивали его напоследок, — у румын, говорят, по-своему хорошо?

— А что румыны, — отвечал Забабурин прямой спиной, — у румын гайка слаба!

Детский праздник избегался исключительно Героем, больше никем. Да что с Героя взять!

К ночи со степи набегал теплый шепотливый ветер и дергал кого-нибудь за язык, и, забывая про румын, китайцев и негров, кто-нибудь напоминал окружающим, в какую же даль их занесло. В самом деле, их дороги оказывались куда длиннее и запутаннее, чем у пресловутых гуннов, но никто, пожалуй, не вспоминал здесь свою родину страдальчески. Родина была везде, а на новом месте они ждали лучшей жизни — и так, в общем, и получалось. Поэтому место, где они родились и мало-мало успели пожить, они вспоминали не ностальгически, а живописно и дружно хвалили степь и степной народ или Енисей, что дышал где-то рядом, вовсе не потому только, что хотели угодить солирующим местным уроженцам.

В грибке кто-то шевелился. Павлик, покачиваясь, засеменял к грибку и обнаружил там бабу Дуню в компании другой бабушки, Зинаиды, из соседнего дома. Фамилия у этой бабушки была

Дроздильникова, а прозвище — «Язви тебя». Она употребляла это выражение столько же раз, сколько открывала рот. У нее, у Дроздильниковой, было розовое лицо в крупных коричневых морщинах и руки без пальцев — отморозила почему-то на какой-то стройке.

«Правда, пестренький денек», — подумал Павлик, отмечая, что всегда молчаливая баба Дуня Немтырь и сейчас держит слово. Мало ей, что ли, что она с утра наточилась баляс? «Выпила, волнуется», — правильно решил он.

Баба Дуня, не замечая подошедшего внука, говорила, привставая со скамьи, и говорила искусно. Однако вещи, которые она говорила, представлялись Павлику полной ерундой.

— И вот, милая моя, сегодня день особенный, — распевала баба Дуня, явно кому-то подражая, — сегодня Иоанна Лествичника поминание, преподобного игумена синайского.

— «Игумена синайского?!» — переспросила баба Зинаида будто бы с радостным узнаванием, — вон оно что... верно! Язви тебя!

— Игумена синайского, — повторила значительно баба Дуня, словно два эти слова именно объясняли суть всего и дальнейшие слова будут говорить для церемонии, из уважения к герою дня, чьи подвиги итак широко известны.

На самом деле баба Зинаида явно не знала, что значит «игумен» и что значит «синайский», склонялась к тому, что это имя и фамилия, и ждала продолжения, только изображая осведомленность. «Прикидывается, — с пренебрежением подумал о ней Павлик, — Дроздильникова!»

— Сегодня, — продолжала баба Дуня, — надобно душе христианской думать о том, как на небо взойти достойно, чтобы пред ангелами и Всевышним (она перекрестилась) предстать непозорно. А еще для этого, милая, надо сегодня из тестичка лесенку испечь в тридцать перекладников. Я вот с тобой-то поговорю и пойду с умилением лесенку эту печь, как Октя наша злобная из дому уйдет. А не то дорога в небеса откроется — да и закроется!

Павлику нарисовалась лестница из теста, якобы достающая до неба, а на ней — Немтырь, перебирающая валенками, ломая булочные перекладки, чтобы тут же и рухнуть! Умора!

— А лестницу такую куда употребить — забыла что-то, — сразу обнаружила свое невежество баба Зинаида, — съесть ее или приберечь? Или в церкву снести?

В этот момент Павлик понял, что и баба Дуня не все в своем вранье понимает: на секунду она бесспорно растерялась. Но нашлась.

— А-а-а, — сказала она, — как же не съесть? Что ты говоришь такое? Конечно, съесть! Ее и печь надо такую, чтобы съесть сразу — не больше. Богу не размер нужен, — увлеклась она новым поворотом темы, — а обозначенье, значит, полета души благоговейного!

Баба Зинаида закивала благоговейно, притворяясь, что тоже собрала печь лестницу, и вдруг с удивлением выпалила нечто такое, что как будто всплыло в ней, неведомое, помимо ее воли:

— «На Ванюшу Лествичника
Домовой бесится:
Избу рушит,
Тяжку с мамкой душит!..»
Язви тебя!

— Это точно, — вмешался, наконец, в разговор Павлик, туманно, но представлявший себе, что такое «домовой». — У нас дома домовой бесится, а, баба Дуня? Пока ты лестницу построишь, отец из дома уйдет!

В лице Дроздильниковой вспыхнуло самое суетное любопытство.

— А потому что Бога забыли, язычники: мать пришла — тебя спрашивала, — вдохновенно сказала баба Дуня.

Павлика так и обдало ледяной водой.

— Заметила! — пролепетал он, умоляюще глядя на бабу Дуню.

— Не знаю, — вздохнула баба Дуня, умоляюще глядя на Павлика, — а отец не приходил.

Тут кто-то бережно постучал Павлику в спину, засопел ему в ухо и сказал:

— Павлик. Павлик?

Павлик обернулся: конечно, это был Вовочка Дангулов. Он ел свой всегдашний большой бутерброд с маргарином и сахаром, и завихрения сверкающего маргарина осели повсюду на его скуластом и щекастом личике.

— Дай откусить, — машинально сказал Павлик, провожая глазами уходящую домой бабу Дуню.

— Вовочка! Дай! Откусить! — закричал он с отчаяньем.

Вовочка дал, экономно прикрывая большую часть бутерброда ладошкой, измазанной в зеленке.

— Нет-нет, — сообщил он, высовывая пухлый пегий язык.

— Что, не приклеивается? — понял Павлик. — И не приклеится: весна настала... Игумен синайский, и все такое!

Они решили забраться на пожарную лестницу, висящую около подъезда, чтобы поиграть в войну. Поднявшись до второго этажа (выше было боязно), они сели в военный самолет и начали реветь моторами и расстреливать роящихся внизу фашистов.

Вовочка здорово умел реветь. Когда он пускал самолет в штопор, у Павлика закладывало уши, а хозяин ближнего окна, ветеран Семен Прокопьевич Пабызаков, весь день игравший на чатхане, отрывался от своей степной музыки и лил на них из форточки воду.

Но до этого сегодня не дошло. Не успел Вовочка разогреть моторы, как во двор влетела серая «Волга». Из нее выбрался красавец Петра Иванович, в одном мундире и со свертком в руках.

— Здра-асте, Петра Иваныч, — закричал ему Павлик из самолета, — чего вы-то рано так?

— Здравствуй-здравствуй, мы же с тобой здоровались? Или нет?

— С хорошим человеком не грех и дважды поздороваться, — сказал Павлик.

Вовочка тоже приветствовал Петру Ивановича:

— Здры-ысь!

Петра Иванович весь заулыбался, у него даже ноздри в носу улынулись, и даже усы подпрыгивали.

— Хорошие новости? — спросил Павлик.

— Ох и хорошие, — сказал Петра Иванович, — лучше некуда. «А у вас»?

— «А у нас» Герой говорил дяде Васе, — доложил Павлик, — что Гитлер убежал, подменился и убежал, а все врут, что дохлый. И вы врете, то есть обманываете, неправильно сообщаете, так сказать.

— А-ха... — побледнел Петра Иванович, — и в такой-то день нет от него покоя! Что еще говорил Герой?

— Пидор, — сказал Павлик, повиснув на руках и болтая ногами.

— ...Что-о?, — изумился полковник Забабурин. — Кто-о??

— Гитлер. Так и сказал: пи...

— Стой-стой-стой, — забормотал Петра Иванович, — не надо такое слово говорить. Не надо. Ты слово это забудь, товарищ подполковник.

— Как же я теперь забуду, — недоумевал Павлик, — теперь точно не забуду. Было бы хоть понятное. А то непонятное!?

Он выжидательно смотрел на Петру Ивановича, а Петра Иванович, шевеля бровями, — на него... И снова улыбнулся? Улыбнулся!

— А, ладно, — сказал Петра Иванович, — провались он, этот Герой с дырой!

Павлик с Вовочкой засмеялись, а Петра Иванович как-то протанцевал в подъезд, даже что-то напевая.

— Люблю его, — сказал Павлик Вовочке, — такой старый морской волк. А ты?

— Люблю. И тебя — люблю, — ответил Вовочка.

От полноты чувств Павлик поцеловал Вовочку в милое грязное личико. Вовочка удовлетворенно засопел. Он любил целоваться.

И тут над ними щелкнула форточка, и в ясном гулком воздухе послышался мамин голос:

— Павлик! Павлик, бессовестный ты прощельга, домой!

Что пророчил ее голос? А отец так и не появился. Ну, где же он?

Унылый Павлик, глаза его потухли, не успел затворить за собой дверь, как кто-то надавил на нее с площадки, поддав ему по попе. Он хотел обрадоваться (папа?!), но увидел тупо протискивающегося в дверь чужого дяденьку, малорослого, с рысьими пожилыми глазками, в шапке с опущенными посреди весны ушами.

В прихожей образовалась следующая немая сцена: в дверях маленькой комнаты стояла Немтырь, в правой руке у нее на этот раз был кусочек черного липкого хлеба, что за новые 15 копеек буханка; в дверях кухни, обведенная солнцем, фертом высилась мама, с красивым лицом, отчеканенным гневом — она тоже решила было, что пришел опаздывающий отец; у порога

туился с полуоткрытым булькающим ртом неизвестный мужчина, он мял в руках шапку и походил на ходока; в центре прихожей, всем по пояс, переминался Павлик, еще одетый, прижимавший к себе Буратино как волшебный оберег. Павлик вертел головой до одурения — у него по отдельности интерес имелся и к маме, и к Немтырю, и к этому мужчине. Только ли от верчения головой волосы у него встали дыбом?

Немтырь молчала, потому что вспомнила свою роль; Павлик молчал из страха и любопытства; мама молчала, потому что ее слово не первое, а последнее.

Пробулькавшись, мужчина невнятно представился:

— ...ий ...ич ...нцов. Вы Октябрина Ивановна? Здравствуй-те-извините. Я... я живу в одном номере с Алексеем Сергеевичем. Одного поля ягода — пропагандист райкома партии, странно, да?

— Что, — перебила его мама, — хотите сказать, не придет? Не придет — я так и знала! Ну, конечно!

— Да, — опасливо промямлил Нцов, — просил передать, что заболел. Действительно, заболел, я сам видел: Лежит, болеет!

И обвел руками лежащее перед ним простертое тело.

— Пропагандист, — сказала мама, отодвинув бедром Павлика и подходя к мужчине вплотную. Выяснилось, что слово «пропагандист» имело для нее очень конкретную связь с чем-то нехорошим. — Знаю! Портфелишко: брошюрочки, плакатики, кипятильничек, бутылочка беленькой. Знаю! Буфетчица-амурщица знакомая в Доме колхозника (она изобразила огромную грудищу буфетчицы). Знаю еще как! Луч света в темные массы!.. Тоже пьянчуга, небось? Сошлись родственные души!

— Пропагандист — ответственный работник партии, Октябрина Ивановна, — попытался взять достойный тон гость. — Вы, между прочим, забываетесь. Я коммунист. Знаете, есть такое слово — коммунист!

— Так вам ванную, может, предоставить, раз вы коммунист, — ни к селу ни к городу с пафосом приплела мама. — Ванную? Так нет водички горячей, водичка по субботам, извините.

— Черт-те что вы несете! Господи, какая ванная? Что вы ко мне привязались? — закричал бедный пропагандист, и упавшим

голосом добавил бессмыслицу: — Я вообще из Красноярска... то есть из Шушенского, собственно.

— И из Шушенского? Поняла, — зловеще поняла его мама, и с радостным задором закричала в ответ: — Вы, видно, Сосипатыч? А я сразу не догадалась — Сосипатыч! А я не доперла!

И перешла на доверительное, товарищеское «ты», прихватив Нцова за отвороты поношенного пальто.

— Ты мне поведай, Сосипатыч: пили? Пили или нет? Ведь пили — наливались? Только он, ярыжка жалкая, лежит, а ты у нас Ванька-встанька! Говори!

И она встряхнула его так, что спасибо пара пуговиц упала на пол. А не его голова.

— Пили! Пили! Пили, — ответил он, скребясь увернутым лицом о косяк. — Я виноват, что он у тебя жидкий такой питух? Ой-ой-ой-да.. Отпусти...те, — сказал он уже тихо, — пуговицы — оторвала. Душу — вынула. Сумасшедшая. Ну, попросили меня — я пришел. Не пришел бы — ждала бы, нервничала. Господи! Сосипатыч!

Мама осторожно отпустила его, и он осел — на полусогнутые ноги.

— Снимайте пальто, — сострадательно сказала мама, — пришью уж, коли размахалась.

Все облегченно задвигали мускулами лица и прокашлялись.

Нцов снял пальто и остался в мятом костюме, брюки были заправлены в белые чесанки, пиджак — украшен значками: ГТО, Москва, два Ленина, Рабочий и Колхозница, «Берегите лес — наше богатство». Под ним висела мешком откровенно крупногабаритная мотня. Он привычно пригладил волосы, и без того влипшие донельзя в его маленький череп (готов, сейчас листочки достанет).

Мама пошла с пальто в большую комнату, туда, где к ней вхолостую взывала со стены изуродованная личность Неизвестной.

С ней в большую комнату отбыл запах дороги: бензиновых выхлопов и столовых, где едят не раздеваясь. Разделившись с ним, в прихожей остался смешанный дух несвежего тела, перегара и папиросного дыма.

Павлик вежливо снял шубку, ободряюще взглядывая на Нцова. Тот, знакомо стоя сусликом, глупо ему подмигнул и еще глупее сде-

лал вид, что не подмигивал. «Дурак», — мелькнуло в голове у Павлика, пока его несло в большую комнату, как-то боком и спиной, но несло. Заходя в нее, он увидел краем глаза, как баба Дуня налила счастливому пропагандисту, соратнику сына, полстакана водки.

Мгновеньями спустя она непринужденно, заложив руки за спину, вплыла в зал вслед за Павликом. Мама, пришивающая пуговицу, сидя на кровати, недоуменно посмотрела на нее снизу вверх — чего это вдруг? Какой-то тут подвох — когда это Аркадьевна праздно заходила в большую комнату?

Пропагандист из прихожей резво, навскидку, хрустнул огурцом.

— Чего вы там, — не поняла происхождения этого звука мама, — вы, наверное, к нам в кладовку лезете? (Это она пошутила. Она откусила нитку и пошутила еще раз.) Или плохо покушали?

— Все нормально! Вы шейте-шейте, я подожду, — совершенно не понимая ее юмора, но восхищаясь своим, ответил невидимый Нцов.

— Ждите, — галантерейно сказала мама и тоже подмигнула Павлику. Он не осмелился отхихикнуться — боялся, что и «хи-хи» ему потом (Неизвестная...) зачтется как издевательство, оказывается, над родной матерью. Увидев его необоюдное лицо, мама покачала головой: заелся, милый сын.

— «Арест пропагандиста», — вдруг прыснула она, адресуясь теперь к Немтырю. Немтырь спрятала глаза и забормотала, по привычке, тарабарщину. Им не угодишь?..

— Да вы что сегодня? — снова приготовилась запылать мама. — Мало того, что отец наш свинья...

В эту секунду этажом ниже Забабурины открыли свою дверь настежь, потому что по радио начали передавать для всей страны невероятную новость, и уж не заранее ли знал Петра Иванович, какой она будет? А дверь у Урусовых была закрыта неплотно — так, притворена в связи с залетным гостем, поэтому голос Левитана ворвался в квартиру в полной почти его медной красе, заставив маму осечься.

После первых же слов баба Дуня подбежала к своему радио и включила его на полную громкость.

— Внимание! Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза, — радио, кажется, тряслось, слова из него вылетали такие плотные, такие увесистые, что, кажется, от них даже рябило в глазах.

— Война, — сказала баба Дуня, — война.

Мама вскочила с кровати, бросая пальто себе под ноги и тут же запнулась об него. Их лица, мамино и бабылизино, сделались страшно похожими, почти одинаковыми, напоминая о новогодних масках. И руки у обеих упали и замерли.

«Война?» — прикинул Павлик, сознавая, что война — это плохо, но одновременно предчувствуя всевозможные приключения. У него перехватило дух: он сообразил, что война условно спишет казнь Неизвестной, и приободрился.

— Говорят все радиостанции Советского Союза! Сегодня... — продолжал неумолимый голос, все с большим усилием скрывающий восторг, и рассказал все, что знал, о полете Юрия Гагарина.

Потом из радио хлынула торжественная, оптимистическая музыка. Духовые инструменты красиво обозначали простор страны и широкие шаги идущего по этой стране жизнерадостного народа. И, хотя население подъезда большей частью находилось на работе, на фоне этой музыки внушительно и разнообразно послышались из квартир частые крики «Ура!» и всякие другие радостные восклицания.

Урусовы запаздывали, не успевали сменить печаль на радость и опомнились, когда из прихожей раздался ликующий рев пропагандиста:

— Ура! Да здравствует Юрий Гагарин!

Мама встрепенулась, погладила Немтыря по плечу и хрипло сказала: — Что ж, в самом деле — ура! Здорово!

— Так не война? — неуверенно уточнила баба Дуня.

— Что ты! Мир, да еще какой, — улыбнулась мама и разглядела Неизвестную. Павлик увидел, что у нее разные глаза: один смеется, а другой, делаясь все шире, таращится на картину. Пора!

— Ура! Ура, — закричал Павлик, бросаясь к маме и повисая на ней. — Ура! Ура! Ура!

И начал усыпать мамино лицо жгучими поцелуями.

— Ах, ты, — сказала крутя головой мама, — кот поганый...

Вдруг внизу заиграл чатхан. Старый Пабызаков рвал струны, приветствуя Юрия Гагарина и нашу грандиозную победу. Получилось так смешно с этим вмешательством чатхана в марш по радио, и крики в подъезде, такая смесь вышла, что мама сдалась.

— Живи, — сказала она.

— Полетели, чего уж теперь, — сказала Немтырь, залезла на кровать и проворно сняла картину, — такая весть, господи ты Боже мой!

Павлик схватил картину и понес ее в прихожую, в кладовку. Веселый пропагандист, поглядев на нее, спросил: — Уже? Это вы в честь?.. А зачем?

Павлик что есть силы крикнул ему в лицо: Ура-а-а-а!

— У меня друг есть, — торопливо сказал ему Нцов, — тоже Гагарин, только зовут Федор. Он в Курагино живет. Охотник — поискать!

Слабое «ура» пробилось сквозь окна уже с улицы.

— Павлик, — спросила мама из большой комнаты. — Так ты, брат, нарочно, что ли, подгадал, с Неизвестной-то?

— Нет, — пропел Павлик, — я не знал ничего, честное слово!

— Честное, — сказала мама, появляясь в прихожей. Она швырнула пальто пропагандисту.

— Поздравляю вас, — сказал он, — вот он, коммунизм! Рукой подать! Рукой подать!

— Какое пальто у вас вонючее, — ответила мама, открыла дверь, вытолкала гостя, надевающего пальто, на площадку, сказала «ауфвидерзеен» и захлопнула дверь.

Они пошли в большую комнату. Крики уже редели — и в подъезде, и за окном. Мама вдруг выключила радио. Стало тихо, как на дне. Один чатхан приятно гудел под полом. Павлику захотелось вздремнуть.

— Ну и что теперь, лучше будет? — спросила Немтырь.

Мама задумалась и с каким-то удивлением своим мыслям ответила:

— А что? Наверное, немного — да лучше.

— Может, получку прибавят? И пенсию? — предположила Немтырь.

— А может, и прибавят, — заинтересовалась мама. — Хорошо бы. Пальто новое мне — надо. На этом молодце все горит, а еще стол маленький к школе ему — надо. А что? Мне вот Клеопатра говорила: много чего накоплено, по заглазникам. Запасено как следует. Глядишь, все появится. Очередей не будет... Нет (засмеялась она), очереди-то поди еще побудут... Помнишь, как на Урале жили — как я сало нашла в снегу?

— Попировали мы с тобой тогда, — ответила Немтырь.

— Ты только вот что, — мягко сказала мама, — с Алексеем я все равно разведусь. Устала я, ты пойми.

— Чего ж не понять, — вздохнула Немтырь, — я понимаю. Ты на алименты подай... Может, люди добрее будут?

— Ну, мать моя,хватила, — сказала мама, — и война вчера была, и Сережка тебе, например, Андреев расхочет людей мордовать так сразу!

Павлику их разговор наскучил.

— Люди теперь на другие планеты переселяться будут, — вмешался он, — поехали, мама, на Венеру жить. Если получится — пожалуйста!

— Да уж нам бы дайте переселяться, лишь бы дома не жить, — непонятно пошутила Немтырь. — А не хочешь, так переселят. Советская отчизна, родная наша мать!

— Думай, что при ребенке несешь, старая контра, — жестко ответила мама. — А переселяться, сынок, это не скоро. Это какие кораблищи надо отгрохать, сколько бензину, или чего там, наготовить. Да и зачем, главное? Нам — зачем?

— Как это зачем, — задохнулся от негодования Павлик. — Как это зачем? Ты что, глупая?

Мама дала ему по губам. Со двора опять донеслось крепкое «ура», но кричали явно ребятишки, и одним из них точно был визгливый Кабачок. «О!» — засобирался на двор Павлик.

— А все равно, что скажешь — хорошо, здорово! Здорово, что мы полетели, — сказала мама, — Юрий Гагарин, а?

Выходя, Павлик услышал, как баба Дуня заявила недоумевающей маме:

— Сейчас буду лестницу печь.

— Какую лестницу?

Над двором разливалось отличное, свежее солнце, мелкие пятячки луж сияли чистым серебром. Ребятишки — Кабачок, Филиппок, Вовочка и другие — с десяток, включая двух девчонок, сбились в кучу в середине двора и высматривали в чистом небе след от гагаринского полета. Но небо стояло совсем чистое, и даже понарошку на нем зацепиться было не за что.

— Надо было с утра пораньше смотреть, — сказал раздосадованный Кабачок, — когда в садик поперлись.

— Кто знал? Никто не знал, — ответил Филиппок, — я бы увидел. Я знаешь, как хорошо вижу.

— Завтра, — заметил Вовочка. Он ел новый бутерброд, и личико его уже еле просматривалось под маргариновым гримом.

— Ты, Вовочка, не соображаешь ничего, — сказал Кабачок, — думаешь, они каждый день будут летать?

— А вдруг каждый? Теперь-то мы откуда знаем, — загорелся Филиппок.

Всем понравилось, все загадели.

— Мы с матерью поедem на Венеру, — небрежно сказал Павлик, — я ее уговорил. Петра Иванович обещал помочь, по благу.

— Конечно, поверили, — не поверил ехидный Кабачок, — а мы тогда на Марс, нам Герой поможет! Тоже по благу!

Все покатались со смеху.

Легок на помине, во двор с улицы вошел Герой. Павлик знал, что он пьян или навеселе, но Герой шел мимо них, не качаясь, и лицо его было обиженным. Они сразу стихли, уставив на него двадцать любопытных глаз. Герой встал перед ними, выпятив грудь, как перед расстрельной командой.

— Смотрите-смотрите, — сказал он, — стыдно дяде Ване. Пока дядя Ваня лакал да жаловался, другие дорогу в космос проложили, в эту... Туманность Андромеды. Чтоб мне провалиться!

Он бережно снял Звезду, положил ее в карман шинелки и пошел домой, задержавшись у дверей подъезда, чтобы посмотреть на небо.

Был ли хоть один человек в этот день, который не посмотрел бы на небо?

А они всей кучей высыпали на улицу, где тут же встретились и объединились с ребятами из дома напротив. Они пошли по городу, встречая вдвойне восхищенных школьников, отпущенных с уроков после торжественной линейки, с ними и без них снова и снова кричали «ура», и над голыми тополями, заслоня солнце, тучами взвивались испуганные, чирикающие и пуляющиеся воробы.

Им встретилась Эмма Эммануиловна, без повязки, но щека над удаленным зубом была далека от совершенства и свисала, как полуспушенный воздушный шарик. Она отдала им огромный кулек с шоколадными конфетами и говорила не очень вразумительные, но хорошие слова про Родину.

Встретился молодой милиционер с усиками, как у д'Артаньяна, он построил их в колонну и приказал кричать «ура» и «Слава КПСС», что они охотно исполнили.

Встретился цыган на замусоренной телеге; как ни странно, он тоже выглядел довольным и привязал к дуге развевающийся на ветру цветной женский платок.

Лишь когда они миновали гостиницу, Павлик вспомнил, что где-то в ней лежит на кровати беспомощный отец, и почувствовал горькую жалость и к нему, и к себе. Но это быстро прошло.

Они шатались по городу часа два, очень устали от вопенья и засовели от вольного степного воздуха. Но их хватило еще на пару часов игры во дворе, где, как назло, осипший, употевший, вялый Павлик изрядно продрал штаны, зацепившись за жестяную обивку магазинных пустых ящиков, из которых они построили звездолет. Павлик, понятно, огорчился: Неизвестной не стало, но штаны-то и без Неизвестной сами все расскажут. Он утешил себя так: штаны в любом случае надо припрятать, русские не сдаются, а завтра или, может, послезавтра, авось кто-нибудь еще полетит в космос — вот тебе и спасение...

Он пришел домой изможденный, но довольный. Мама ушла на работу, а с работы, как доложила Немтырь, собиралась еще зайти к подруге Идее Михайловне. Умильная Немтырь подсунула ему обломок сладкого горелого теста — это было нарочно для него припасенное последнее звеньшко небесной лестницы. Пока он ел, фыркая, эту лестницу, запивая ее морсом, баба Дуня вполголоса сообщила ему следующее заветное:

— Они на сегодня, на Лествичника Иоанна, полет устроили, думаешь, зря? Они же там тоже, небось, думают-соображают! Гагарин Юрий Алексеевич, может, с Господом увиделся? Там? Или хоть с ангелами, по первости дела?

— Бога нет, — отрезал ее докучные речи Павлик.

— А вот мы и посмотрим, — возразила Немтырь, — что Юрий Алексеевич завтра, жди, расскажет!

Павлик встrepенулся. Действительно, что завтра расскажет Гагарин? Что он видел? Его сызнова пробрало восторгом.

Он пошел в маленькую комнату и, закрывая за собой дверь, распорядился:

— Ты не входи! Я буду занят!

Планета вращалась, в комнате было сумрачно. Он включил свет, достал чистую тетрадку, сел за стол и написал на обложке: «К. Урусов. Полет на Венеру. Детгиз. 1961 год».

Он уже бегло читал и прилично писал печатными буквами.

Перелистнул. Внизу, этажом ниже, мерно рокотали струны чатхана.

«Космонавт Виктор Бурка сел в космический корабль и нажал кнопку. Корабль вздрогнул, и рубка корабля тоже вздрогнула. Вокруг корабля появилось много дыма. Корабль полетел на Венеру. Из него изрыгивался огонь. Космонавт Виктор Бурка сидел на кресле и смотрел в элеменатор. Ему было удобно. Внизу была Земля».

Ему невероятно хотелось спать. Из последних сил напрягаясь, он написал еще: «Виктор Бурка поел космической еды».

Начало было положено. Он добрал до кровати и упал на нее, уже во сне подтягивая ноги.

Через час на тишину пришла Немтырь, ковыряя в зубах, и выключила свет. При этом она не преминула побормотать какую-то абракадабру и сняла с него тапочки.

Он так и заснул, не дождавшись заката, до самого утра.

Он летел по Космосу, прижавшись к теплой, уютной постели, рядом с ним сопел Вовочка, без бутерброда, над и под ними открылась черно-синяя бездна, полная звезд, и не было звезд числа, а бездне — дна, и только какие-то длинные тени скользили им навстречу — космос был обитаемый. Звезды встречали их красные, желтые, белые, оранжевые, и лица Павлика и Вовочки слабо окрашивались в их цвет. Постель и невидимая Земля под ней подрагивали — в космосе были свои волны и ветры.

В полночь вокруг Павлика на мгновение-другое сомкнулись стены, и Вовочка было исчез: Павлик услышал надежное бормотанье чатхана и почувствовал, что под щекой на подушке что-то лежит. Он потрогал это что-то невесомой рукой, как крылом — зубик. Зубик выпал.

Через мгновение они снова летели.

РОЖОК И ПЛАТОЧЕК

АГАФЬЯ: На первой и к ноябрьским им привозили паек. Привозили поздним утром, минуя лишних свидетелей, когда из переулка рассасывались соседи, а их детки убегали в школу. И вот, когда соседи по разным местам в первом поту строили социализм, у калитки останавливалась черная «Эмка». Просто предьявлялась, без гудков, и никто из нее не показывался.

Авося с грохотом выскакивал из дому, подбегал к машине. Задняя дверца сразу открывалась, две форменные руки подавали ему пакет, такой большой, пузатый. Почему-то, перед тем как принять его, Авося всегда проводил обеими пятернями по волосам, по наследственной смоле. Потом молча хватал пакет, кланялся, как сволочь, и летел обратно, в распахнутые двери. Занеся добро в дом, возвращался закрыть калитку и окинуть переулок снисходительным взглядом.

Поддернет штаны и идет перешушывать всю эту манну небесную. Им привозили колбасу, масло, консервы, даже вино. А в городе всегда, с Гражданской, было голодно, разуто-раздето. Если где-нибудь кто-нибудь счастливый варил щи, от запаха мяса трепетал весь переулок.

Чистый тогда стоял воздух, понятный.

Им было обидно, что этот почет, это богатство приходится скрывать от всех.

А однажды (я рубила у них курицу, сами не могли — брезговали) — однажды Небося узнал, что есть еще чья-то героическая родня, которой привозят иногда и мануфактуру. У тех, на Уржатке, имелся в Кремле герой перекопского засола. Но с каких это пор сиваши-перекопы стали тянуть больше, чем подвиг Часовщика, брата и шурина, которому цены вообще нет?

Они были правы!

Небося даже не сказал — глухо, злобно прошипел (проговорился, забыв обо мне), и Лейка пошла пятнами от зависти, от унижения: я пойду, я найду правду! Небося испугался, замахнулся на нее — искренне хотел ударить. И за это, и за то — накопилось, однако, примачьей злобы! Она присела под его ро-

зовой ручонкой: молчу, осознала. Не успела в себя прийти, а он уже прощения просит, опомнился. Конечно, выставят его на ветерок, дадут пинка под зад — прощай, маслице, здравствуй, родное Горелово-Неелово.

Узнать, что машина придет на сей-следующий день, было очень легко. Авося одно-два-три утра оставался дома, вставал спозаранок, умывался и надевал брюки и отцовский австрийский френч. Его Небося выменял на сало у пленных, что в Импералистическую строили Каменный мост.

И начинал Авося танцевать по дому, все насовывался в окно, все к нему возвращался.

Тут и одной, самой верной приметы бы хватило — что умывался. Потому что он не умывался никогда больше, всегда ходил с гнойными своими знойными глазами.

Даже когда подрос и женихался с секретаршей из речпорта. Причешет грязные волосы со лба к затылку — и пошел. Ну да она того стоила. Спала с начальством после работы, а его манежила из прейскурантов. А потом забеременела, ясно от кого, сделала у Крейцерихи аборт и исчезла, растворилась.

Говорят, двинула на Дальний Восток. Сказала-де товарке, такой же сиповке: я еще летчика себе найду. Там, на Дальнем Востоке, кругом ведь водились одни летчики.

УЧАСТКОВЫЙ: Можете мне не верить, сам знаю, что рассказываю художественно. Про меня подданные говорят: у нас не участковый, а Щучье веление. Но никто не поспорит: самый знатный человек в переулке, да и на всем моем задрипанном участке, был мясник Христолюбов. Ему завидовали до посинения. Крыша у него была бронетанковая, дом как мавзолей.

Сам он, однако, не имел никакого чувства глубокого удовлетворения, жил нервно. В партию, как ни подкапывался, не брали: «Партия, товарищ Христолюбов, не английский клуб, там на деньги в бильярд не играют». А он очень любил в бильярд, не вылезал из Дома офицеров. Офицеры на него и настучали: он сукно у них постоянно драл и два шара расколол, из слоновой кости. С мясом у него сложилась одна морока. Он таскал его домой что ни день, съесть далеко не всегда успевали. Всех

излишков не раздашь-не продашь; и прикармливать народ не надо, на шею сядут и опять же оклеветают. Копится мясо, хоть корову из него обратно собирай, копится колбаса.

А холодильник маленький, «Саратов», что в него входит? И поди на работе откажись даже от мосла, завтра же останешься на окладе. А с большим холодильником что-то у него никак не слаживалось, как ни странно. Инициативы ему не хватало, что ли, и трусоват он был, как глупый пингвин.

Мясо портится и портится, зловоние по всему дому. Холодильник откроют — газовая атака. Мухи висят над крыльцом, как грозовая туча, ждут, когда дверь распахнется. Заходишь — протискиваешься сквозь них и парочку наверняка выплюнешь.

Рано или поздно, приспособились всей семьей подъедать порченину. У

жены и дочери усы с бородой пробились. И пошел круговорот: от снега до снега носит Христолюбов день за днем мясо свежее, а семья с собаками еле справляются прибирать мясо душистое. Вот такое тебе право на жилье и Конституция в действии. Горе от ума по методу Злобина. Зимой передышка, и снова пирование.

Одна радость — дом отладил, как яичко, забор поставил острожный. Собак ночами откармливал в тигров, на кости они не глядели, костями они друг в дружку кидались. Наверное, сам не видел.

Но и тут застойное явление: до того овчарки обожрались, что стали бессмысленно хозяина тиранить. Придет со службы домой и от калитки полчаса добирается до сеней с дрыном в руках.

Потерпел-потерпел и попросил меня их пристрелить. «Давай патроны, родной мой, у меня подотчет». И опять двадцать пять: сначала он снюхался с двумя прапорщиками в Предтеченске, да они его за его же водку и колбасу обчистили, побили и вытолкали. Науку побеждать усвоили надежно.

Потом все-таки в комендатуре выменял на свиную ляжку четыре патрона. Стрелок я отличный, как приду в горсад — тир сразу закрывают. Навестил я Христолюбова однажды и пристрелил овчарок очень экономно, по пульке на сестру, два патрона осталось.

Вынес Христолюбов три палки колбасы, две мне отдал, третью обратно занес. Собак-то, говорит, две было. Да мне и не надо лишнего, я свою меру знаю, не банщик. Чего наглеть, вон, в братской Корее, слышал, комаров с тараканами уплетают за обе щеки.

Последнее, что о нем помню. Шел он утром от свата, утильсырье, домой, пьяный третьим днем подряд и закоченевший. Холодный, поземный выдался ноябрь. Ему кто-то встречный говорит: умер Брежнев, сиськи-масиськи, уронили старика на прощание, чуть в Америку не провалился.

Добрался до отечества, отогрелся, развезло его, но вспомнил: умер Брежнев, простой советский человек. И заплакал навзрыд. Так в слезах и заснул сидя.

Наутро ему сказали:

— Ты плакал, горевал по Брежневу.

— Не верю, что за шутки.

— Есть кому подтвердить, гости были.

— У меня гости были?

— Еще бы! Дядя Саша с тетей Машей из Молчанова приехали, за стенкой храпят, дядя Петя приходил, Старик Патрикеев удовольствие имел.

— А Агафья? Агафья приходила? Ее-то вроде припоминаю...

— Агафья? Ты совсем, отец, допился. Агафья четыре года, как преставилась — ты забыл?

— А... бэ... мэ...

Схватился за голову:

— Ой, срам какой, хоть в петлю полезай! Я же, елки-палки, вечный бунтарь против него был!

То есть успел уже опохмелиться.

Я, конечно, кое-что поднаврал, но чем богаты. Работа у меня скучная.

АГАФЬЯ: Жила я в том доме долго, лет десять, как на дне морском. До Их появления им владели бездетные старики Бадылины, вечные огородники. Такие тихие, такие неприметные люди, что я не то что сейчас — через неделю после их гибели не вспомнила бы их наружность. Словно были они обращенные лицом внутрь.

Получилось утешительно: не разговаривали, не делились. Глаз их не видела. Приду уставшая, наломавшаяся из депо, нанесу им воды, подотру полы через раз — чистотелые были люди — и спать.

Они и друг на дружку не тратили воздуха, не баловались вниманием. И на фотографиях — некрасивые молодые, некрасивые в летах — глядят порознь, вперед, приспустив веки.

И что интересно, знаменательно: жили без зеркала. А я с двадцатого года и по сю пору себя не видела, зареклась. Даже в паспорт свой никогда не заглядывала. Была у них тайна, и я ее уважала и за нее уважала. Сейчас таких людей нет, у нынешних — одни «секреты»: что украл, где наблудил, кого продал.

А погибли старики, убили их за рекой, зарезали в чистом поле, когда они за картошкой ходили. Забрали две торбы с картошкой, фуфайку со старухи, пиджак со старика, сапоги старые, но хромовые.

На сороковой день явилось Лейкино семейство, всем гнездом. Лейка, сестра героя, муж Небося, красный половой, Авося дикий и две дуры-дочки, помладше чурочки. Власть прописала им улучшение жилищного вопроса. За что, почему, долго не могли догадаться. Видно: люди чванятся, но чванятся втемную.

А ко мне подступило лихо: куда деваться? Я в этом доме никто, не прописана, что воздух.

И пошла я замуж, девушкой в тридцать два года. Напротив жил наш деповский, молодой бездетный вдовец. Рядовой партиец, положительный.

С усами моржовыми, с ручищами гранитными. Третий год за мной ухаживал. Таким образом: не успею ступить во двор — он выбегает махорку свою курить и мяукает с крыльца мне через дорогу: «Агафья Васильевна, вы... это... красивая. Вы... это... шли бы за меня». А на работе сторонится, одними глазами обрабатывает. Но ведь не хватает, как эти, с папочкой. Знаю, глуповат, а лучше не найти: видный, умытый, не хищный, простой, честный. А мне новый угол нужен, на этом дне морском — в другом месте наверняка бы не прижилась. Да и, надо сказать, проснулась во мне женщина. Вернее, баба — женщина умерла в восемнадцатом году.

И пошла я замуж, и год-другой даже довольна была, отмякла. Привыкла орехи щелкать и яйца каленые есть. Разве что не мог-

ла с ним читать газеты вслух и обсуждать текущий момент. Сначала он на моих отказах не заклинивался: понятно, устала, понятно, месячные, понятно, простыла. Потом поймал: как-то с прицелом наловил рыбешки, накопчил на огороде, добыл сладкого винца. Употребили мы рыбку с винцом, и он спрашивает:

— Какое у тебя настроение, самочувствие, Агата?

— Хорошее у меня настроение.

— А давай, Агата, газету читаем, чем СССР живет?

— Уволь, Сеня, не люблю.

Он давай читать вслух, я затыкаю уши и хрюкаю.

— Что ты за человек, — возмутился, — добро бы белячка какая-нибудь, ты же наша сестра, из пострадавших!

— Уволь, Сеня.

Обиделся. Газету стал читать, трагически уединяясь, вполголоса (про себя не умел), по складам. Он так надеялся, бедняга, что я ему буду читать, быстрая, как радио. Стал на меня смотреть декабрем. Но отступился.

А потом, как всегда, нашел выход.

— Что ты чудишь, Агата, дело твое, не знаю, но догадываюсь: ты от газеты с детства беды ждешь, жимка у тебя такая. Верно? И ладно. Зато на работе, в дыму паровозном, тебя больше всех уважают — честная «от» и «до», ничего у тебя за пазухой нет. Вот все бы такие были. Ты у меня большевистее иных большевиков.

Брякнул, испугался и начал меня в ухо целовать. А мне так каждое его слово понравилось, что я расхохоталась от души. И он мне навстречу захохотал, радуется. Так и смеялись — каждый о своем.

А время шло. Родила дочь, увлеклась ею. Удивлялась ей с утра до ночи. И как-то вдруг поняла: сошлась я с тобой из-за твоей честности и видеть тебя не могу больше из-за нее же.

Пустая твоя честность, трусливая. Он изо всех сил хотел быть честным-правым — и был самым лживым, хуже кочегара Васьки, пропившего семью. Потому что удавалось ему с удивительным талантом много чего не замечать, не слышать, избегать, держаться подальше. Нет, конечно, не умом он до этого доходил, а естественным, жалким зверьим чутьем. Был, как говорили в старину, гуттаперчевый, лизун. Берег совесть, боялся один на один с подлостью оказаться.

И окончательно все распалось, когда я узнала Их секрет, ставший моей тайной. Баба умерла, появился смысл — и убил бабу.

А он, добрый слесарь, честно не озадачивался моим холодом — так и должно быть: живем не первый год, время трудное, ребенок растет, внимания требует. А жена — не паровоз.

СОСЕД ПО ПЕРЕУЛКУ: Меня они, долой всякие сомнения, звать не хотели. Не хотели, но свадьба же, и, как ни крути, родственник, главное. Выросли вместе на берегу известной сибирской реки Мундровы. Елизавете я двоюродный брат, а Сережка-тетка тоже из нашей деревни. Отец его был главный механик в совхозе, но больше дока по откручиванию пробок. Сережка передо мной заносился: он был начальник цеха на «эмальке», а я грузчик, меня вчера, пожалуй, из десятого магазина выгнали. Попросишь у него на выпивку — отсчитает обязательно мелочью, унижает таким образом. И всегда говорит: когда же ты, Фарш, подохнешь, надоел, ты даже собакам здесь надоел со своим пьянством, они на тебя ногу задирают. Я не обижался, пусть пьяница он был проворнее меня. А я не обижался, потому что имел к нему сочувствие: он дожил в пятьдесят три года до самого жестокого цирроза печени, и пить ему запретили, ни капли. Врач сказал: выпьешь — помрешь.

Он зовет меня на свадьбу дочери, а сам тоскует: все будут пить и веселиться, а он, тверезый и злой, станет им прислуживать, своей рукой бутылки ставить и безобразия за ними убирать. Не за мной, замечу, меня никогда не тошнит, никого не обижу по пьянке, в отличие от него, когда он пил. Печень мою любой людоед сожрал бы и причмокивал.

Честь по чести — старуха-жена дала мне чистую рубаху, глаженные брюки. Наружно употребила одеколон «Шипр».

Пошел, на свадьбу. Ходу — сто шагов, но спеклась такая жара, что уже на поддороге я сильно захотел выпить. Иду и думаю: надо дотерпеть до посадки за стол, не осрамиться.

У ихней калитки развеселая толпа, ждут приезда молодых. Они уже зарегистрировались и поехали кататься — цветы к Ленину, цветы к Вечному огню. Там еще мода такая: распить шампанское и бросить пробку в пламя. И на мосту постоять, потрепетать на ветерке.

В толпе — родня, несколько соседей: Христолюбовы-мясники, Ивановские, бабка Агафья с внучкой, тетя Сима, еще кто-то, немного, зато студентов человек тридцать. Это которые с новобрачными учатся в институте. Студенты что беси. Девчонки раскрашенные, голые, юбки до пояса. Парни лохматые, у всех брюки клеш и цветные сорочки, яркие — без темных очков смотреть вредно. Ведут себя громко, предвкушают, что поедят-попьют-потискаются на просторе. На нас, местных, глядят свысока: они — образованность, мы — хамство.

Тесть Сережа стоит рядом с Елизаветой, в руках поднос, на подносе бокалы, шампанское. Костюм на нем гэдээровский, из кармашка торчит белая роза. Помещик! Якобы радостный, а на самом деле злой, губы раздвинет празднично — получается оскал. Говорит мне: «Об одном прошу: пей со всеми, под тост, не ломись вперед всех и закусывай ради бога, не жалко. А то убью».

Я пристроился к бабке Агафье. Она стояла в сторонке и разглядывала всю эту Помпею, как любознательное дитя. Была у нее такая черта, наверное, хорошая. Так-то любого на расстоянии держит, на порог к себе сроду не пустит, весь ее сказ: не дам. Строгая, непьющая, а глядит по-человечьи, осанистая, царица.

— Как оно? — спрашиваю.

— Первый раз на свадьбе гуляю, — отвечает Агафья.

— Нравится?

— Нет, — отвечает, — одни неряхи и засранцы.

Подлетает наконец блестящая черная «Волга» с молодыми. Подлетает с шиком, проскакивает в пальце от родителей, закидывает их песком и встает перед Агафьей. Тут я удивился: Агафья бабка очень храбрая, уверенная, а сей момент даже побледнела, а потом принялась начесывать себе лоб. Никто этого не заметил, все смотрели на жениха с невестой. А мне они были неинтересны, и я заметил (...).

Когда подпили, старшие сунули Ивановскому гармошку: давай петь будем. Молодежь сквасилась, но потерпела частушки, «Голубчика», «Славное море, священный Байкал». Добрались до моей любимой — «Лук, чеснок, горчица, перец-ерец-ерец». Тут лохматые взбунтовались, с ними молодые: для кого свадьба, начинаем нашу музыку, «Распутин» — лавмашин, желаем

танцевать. Включили магнитофон и начали скакать. Тесть-тезка говорит: ну, нынешняя молодежь, не задушишь, не убьешь. Небось, сало русское едят и самогонку трескают, не чинятся, а песни русские для них грубые, колхозные.

Пришлось нам идти на огород, там петь и плясать отдельно, над свекром, он там лежал между грядок. Свекор был с севера, диковатый, наполовину остяк, махонький такой. Он стеснялся есть на людях, за столом сидел пригорюнясь, прятал глаза. Его заставили выпить три рюмки, он натошак захмелел и пошел спать на огород. Прихватил с вешалки плащ, постелил его посреди морковки и завалился. Всю свадьбу проспал. Пели ему в ухо «Рябину кудрявую» — без толку, полное бесчувствие.

Когда надоели мне песни, я много не люблю, пошел я покурить на улицу. По дороге зашел в дом к молодежи, там, в содоме этом, хлопнул стакан красненького. Посмеялся, помню, про себя над тезкой, что в огороде злой топтался, и вышел за калитку. Там стояла Агафья и разговаривала с таксистом. Пошла уже домой, да зацепилась языком. А таксист этот кого-то довез на свадьбу и уехать не поторопился, видно, хотел свадьбу послушать. Замысловато говоря, к чужому счастью прикоснуться.

Говорил-то он, а Агафья, в общем-то, поддакивала. Рассказывает: у меня все такие бабы были: кто директорша магазина, кто завбазой (а сам заика и криворотый). Все в золоте, все дородные, все партийные. Мне такие, покрепче, нравятся. Влюблялись сразу, как чумели, с первой встречи печатки мне дарили. Была одна, вся в золоте, села — добра в ней: я скорости переключая — бедро ей активно массирую. Села на Ленина, хотела на Кулагина. Да я так ее бедро помассажировал, пока ехали, что проскочили мимо, за город, в лесок, под ку-ку-кусток.

И тут из дому выскакивает молодежь и давай под музыку драться. Из-за кикиморы, конечно. Двое дерутся, а прочие изображают ужас и их растаскивают. А эти с первого раза разбили друг дружке носы и рассвирепели. Прибежал с огорода тесть и столкнул их лбами. Пылу у них поубавилось, а тут еще одна очкастенькая, единственная в сарафане до колен, как закричит: ребята, как вам не стыдно! Вы же советские люди, комсомольцы!

Хочешь — верь, хочешь — не верь: подействовало. Замирились. Агафья и говорит таксисту: видно, что ты не комсомол, раз столько наврал и не покраснел ни разу!

Напились они здорово, посуду переколотили, перевернули дом вверх дном. Варвары, одно слово.

Идейные, а потом выяснилось: унесли дрель электрическую, комплект польского постельного белья и новые тестевы туфли.

Но утром не о том тужили. И туфли тестю негодились бы все равно. На зорьке, когда одних проводили, а другие валялись, тесть, намаившись, намучавшись, не утерпел. Выхлебал целый огнетушитель портвейна и через пять минут умер. Все эти пять минут страшно кричал, разбудил всю округу, звал зачем-то Агафью. Не дождался.

Сам я горю не свидетель, потому что накушался райски, спал крепко и ничего не услышал.

Такая получилась свадьба, такое в жизни бывает.

АГАФЬЯ: Единственный раз машина пришла к ним не в срок уже перед их отъездом в Тверь-Калинин, и наверняка по этому поводу.

Начало июня, день стоял чудный, свежий, солнечный, и помню: надуло карамелью с конфетной фабрики, так сильно, что захотелось чаю. Из машины к ним вышел чекист, в городе известный, с еврейской фамилией. Внешность у него была подходящая, только, ей-богу, был он не еврей — был он из наших, из бывших. Видала я таких и до и после; не много, но достаточно. И узнавала их, чуяла их сразу, ноздрями.

Добыл документы, мне ли не знать, с мертвого, где-нибудь на Червоной Руси, в буденновские погромы, освоился — и полез со страху спастись в самое пекло, в колбасный цех.

Поговорил с ними в доме, вышел на двор договаривать — порисоваться, закурить «Казбек». И слышу — и замираю: «Разве нет?», «Вы же не будете утверждать...», «Вот так!», «Не правда ли?». Этот озорник лет двадцать говорил по-французски, и ежедневно.

А еще и гнусит, как марафетный мальчик.

И вот сейчас он говорит что-то про багаж, передает компривет товарищу Якову, а через год его расстреляют, шлепнут, в бога, в душу, в их вождей мать.

Тогда я почувствовала ненависть, презрение к нему. А сегодня ненавижу его еще сильнее, вспоминая, как он небрежно — кобелячи посмотрел на меня, недурную бабенку, и прищурился.

...В последний раз эта самая машина появилась у нас в переулке осенью тридцать седьмого года, ночью. Тогда выгребали всех, и всех стариков-ссылных, и всех ковтатар. Заисточье завывало, там выли день и ночь так, что у нас было слышно. Воспитанные татарчата с той осени приучились к водке и стали крепко бузить по всему городу. Даже на заборы мочились походя, что раньше было бы делом неслыханным.

Машина пришла за моим мужем. Так он, бедный пескарь, и сгинул среди стариков. Не продержали, оказывается, месяца — расстреляли, шлепнули. Наверное, сухари доесть не успел — другие доели.

Оправданием его я не занималась, сами потом бумагу прислали. И гроши за него медные не пошла получать. Да и какое ему оправдание, если он сам все «одобрял», «поддерживал» и «клеймил», и другого языка, кроме их людоедского суржика, не знал. Веселых, амурных слов не знал, даже матерных — и тех стеснялся! Попросить, извините, не умел, только сопел, а потом пыхтел. Спать с ним было совестно.

И ведь узнай он, кто я такая на самом деле, — поделился бы своим горем с партией.

И не стоит думать, что я оправдываюсь.

ВОЛОДЯ: На первом этаже факультетского общежития проживал аспирант Николай Алексеевич. С ним мы лестно для себя пили чай, иногда вино и знакомились с отрывками из его диссертации про пьесы Корнейчука. Нас поражала его скромность. Он называл свою работу говноедством, а себя говножужем. «Дали бы мне этого... не скажу... эх, канальство!» — непонятно прибавлял он. Однако зачитывал нам свои странички охотно и следил за впечатлением, заметно стремился восхитить нас своим умом.

Н. А., крупный битюжок, возлежал на кровати в трико и что-то писал, поправляя очки и дрыгая ногой.

— Володенька? Кстати. Заходи. Послушаешь, сынок, изречения нового Заратустры, — важно и хищно сказал он.

— Николай Алексеевич! Некогда, — завопил я, — я опаздываю на лекцию, и мне нужны носки, чистые и целые. Извините, я понимаю... но очень нужны!

— Понятно, — ответил он, — но носки — проблема вечерняя. Дам тебе носки. Но парочку афоризмов ты должен оценить. Вот, например, прямо на тему... «Идущий никогда не опаздывает». Сознаешь, о чем я?

— Не очень.

— Балда, это я в высшем смысле, — крикнул хозяин, — слушай еще: «Беда русских в том, что они любят свою юность больше, чем правду. А значит — больше, чем Родину». Ну? По-моему, это стоит всех пьес кормильца!

— Ну, может быть, не всех, — осторожно ответил я, — но стоит, стоит.

— Так... Вот еще, неслабо приложил: «Что есть наша советская жизнь? Подлец Иванов и подлец Петров клюют печень честного человека, рассуждая о том, каков подлец Сидоров»... да на уж ты их, бери, убогий юноша!

Я полетел по коридору, а он прокричал мне вослед: «Можешь не отдавать! Отдашь мамкиной котлетой!»

На лекцию я опоздал. А на следующие идти и не собирался. Убивая последний час, я сидел в позднее октябрьское тепло в университетской роще. Сидел и впервые в жизни безо всякого стеснения разглядывал красивых девушек. Я их не боялся, сравнивал каждую с Лялей и с удовольствием отмечал, что все они какие-то резкие, спесивые, неодушевленные. Не мои.

А потом встал и пошел, пошел, пошел. Мимо хрущевок и панельников, мимо деревянных двух- и одноэтажек. Дома приседали все ниже, горизонт открывался все шире, заслоняемый только дымными рукавами теплостанции. Улица Сибирская, с ее клочковатым асфальтом, рычанием грузовиков и трогательными помойками у самой дороги.

И вот ее переулочек: сыроватый неслышный песок, текущий между двух деревьев, что стояли как стражники с обеих сторон, встречно наклонив оружие. И цепочки следов, ведущих туда и оттуда. Какие-то из них, наверное, Лялины.

Я миновал деревья и вместе с переулком сделал дугу направо. Через десять шагов я попал в тишину. Оглянувшись, я увидел, что деревья сомкнулись за мной, как портьеры.

Я попал в тишину: под сереньким небом стояли дома за палисадниками, кое-где попыхивали трубы, и отсутствие людей до нового изгиба переуллка, где уже собиралась дымка от вечерюющей близкой речки, заверялось шепотом бегущей воды и очарованным голосом козы. Она гуляла где-то рядом, совсем рядом — в шапке-невидимке. Вот и коза.

А вот и голый куст разросшейся сирени перед калиткой с чугунным кольцом, дом, крашенный в зеленое и бежевое, пупырчатая резиновая дорожка, бегущая от калитки к крыльцу. И в окнах уже горит свет.

Я постучался в дверь — раз, два, три, четыре. Никто не отозвался. Потянул дверь — открыто. И я вошел, не мог не войти, через маленькие уютные сени в просторный «зал». Просторный, потому что не увидел в нем ничего лишнего. А обе двери открылись неслышно, и косяки были свежие.

Я замер: в доме никого. Чистота, блестят полы и скромная мебель, живые цветы в горшках на подоконниках, сухие букеты на столе, на серванте. И даже в открытую дверь на кухню, слева, выглядывала ваза с охапкой осенней листвы, венчающей посудную полку. Откуда-то я знал, что в таких домах не выключают радио и пахнет едой, жаренной на сале. Но радио не было, и едой не пахло. Пахло сухим деревом. Мне захотелось свериться с зеркалом — не было и зеркала. И не было отрывного календаря, не было фотографий в деревянных рамочках на стенах. И не встречал, отчужденно потягиваясь, кот.

Посреди овального стола на круглой салфетке одиноко стоял старинный заварной чайничек. Не смея подойти обутым, я наклонился к нему как мог близко и прочитал в полукружье колосьев на пузатом боку: «Кого люблю того и дарю за знакомство и любовь и за прежнее незабытие твое». И ниже: «Завод Маркова 1852 годъ». Чайничку стукнуло сто двадцать пять лет!

Губы у меня почему-то сами растянулись в улыбку, помимо меня, и я ничего не мог с ними поделать. С таким лицом я вышел на крыльцо. На душе было интересно. И услышал небыстрые,

но четкие шаги — из-за угла, с огорода, ко мне шла подтянутая старуха: серо-голубая, будто облитая глазурью голова, левая бровь приподнята, глаза внимательностпокойные. И жесткий рот, не чуждый, показалось мне, матерщине.

Аккуратная бабушка в застегнутой на все пуговицы вязаной кофте, и в руках у нее маленький застегнутый кочан капусты.

— Володя, — сказала она как-то недовольно.

— Володя, — закивал я, — здравствуйте, Агафья Васильевна!

— Заходи, — сказала она. — Лялька побежала в лавку. Хлеб кончился, вот и побежала.

Этим старозаветным «в лавку» так все дорисовалось — тишина, дымка, коза, густой октябрьский воздух, цветы, чайничек, — что я увидел себя героем какого-то нечитаного старого романа, между добротных обложек, среди душистых фраз.

— Долго ли стоять будем, — усмехнулась Агафья Васильевна и легонько подпихнула меня кочаном. А когда мы вошли, так же, кочаном подтолкнула меня к стулу на входе.

Но через секунды я уже снова был на ногах — звякнуло кольцо калитки, неслышно открылась дверь, и со словами: «А хлеб, бабуля, как всегда, несвежий» — явилась Ляля. И получилось, что мы почти столкнулись. Глаза в глаза, и я зачем-то взял буханку из ее рук и поднес к лицу, словно мне немедленно захотелось этого долгожданного, мной и заказанного несвежего хлеба. Наверное, на самом деле мне захотелось поцеловать эту буханку, и я благодарно заметил, как взволнованно, задушевно повела бровями Ляля, смешно облизнув губы.

И ничего ведь не произошло, но бабуля сказала с досадой:

— Чудаки!

Не чужак — чудаки!

АГАФЬЯ: Этого юношу звали Володей. Они познакомились в магазине, в очереди за сыром. Началось с того, что Лялька наступила ему на ногу, очень больно, раздавила шпилькой пальцы, так что посинели и облезли два ногтя.

Он их покрыл золотистым лялькиным лаком, а когда они отвалились, стал носить их в нагрудном кармане, «на сердце». Она постоянно, в своих тщеславных видах, просила его показывать талисман мне, «бабуле», превратив это в игру. И Воло-

дя всякий раз гордо протягивал мне растопыренную ладошку с отходами своей правой ноги. Я с тупой покорностью кивала и по настроению отзывалась или «чем бы дитя ни тешилось», или «вставил бы ты себе их в нос, мальчик». А Лялька приходила в такое восхищение, что на ее лице оставались одни ликующие глаза, больше ничего.

Тогда, в очереди, у них нашлось время разговориться: они стояли целый час и, как водится, зря — сыр съели другие. Другие, которые орали, пихались до драки и через одного ввали, что «я здесь стояла», — и дали им тему для разговора. Для полудетей, что стесняются друг друга, но ищут повод не расставаться, такая тема — настоящий клад. Они долго слонялись по городу и щебетали о людской злобе. К ним даже пристали какие-то хулиганы, пэтэушники и вроде бы мальчик их не испугался, скорей всего, не успел испугаться толком, а хулиганы поленились его побить, или что-то им помешало, не помню. В общем, повезло, и Володя записался в рыцари.

Но драться-то он явно не умел, и дураку было бы понятно, что мальчик никогда не держал в руках лопаты и засыпал с мечтами о нерукотворной славе.

Вечером Лялька притащилась домой, значительная, — я сразу поняла это по тому, как долго она умывалась, как долго помалкивала, делая вид, что не слышит моих вопросов.

Вытерла мордочку, села за чай и сообщает:

— Бабуля, завтра в гости к нам придет Володя.

«Володя»! Я сразу поняла, что Лялька влюбилась, и значит все. Лялька уходит, а весь этот бедлам входит в мой дом. Прошли сорок заповедных лет, и рухнул мой храм, мой покой. Придется и дома теперь представляться темной советской старушкой! Не надолго меня хватит. Но разве мне пророчилось что-то другое?

Когда он назавтра явился (сбежал с лекции, рискуя стипендией, Бог мой!), я поймала себя на мысли, что малодушное облегчение не уступает во мне места раздражению, несмотря на его отборную самовлюбленность. Дело было не лично в нем, а в том, что час наконец пробил, потому что он должен был пробить. Иссохла клепсида, как говорил придурковатый поэт из моей юности.

Все едино, сказала я себе, зажились, пора вглядываться в бездну. Не могла же я подчинять Лялькину судьбу своей. Мало мне, что я поломала судьбу ее матери? Куда ей эта непосильная ноша? Я для нее чуждаковатая и любимая — разве это захочешь потерять — бабуля Агаша, бывшая деповская, бывший контролер ОТК на фабрике резиновой обуви. И так уж она живет под игом, без телевизора, к нам никто не ходит, обходится ручным зеркальцем и все такое прочее. Ей это непонятно, тяжело, как многое другое во мне и вокруг меня — ей, человечку, родившемуся в 1960 году, ничего не должному моему времени и ничем (пусть пока ничем) не обиженному этим временем.

Умница — дивится, досадует, но держит все про себя, не дает сорваться словам упрека, добросердечно списывает все на мой сугубый норов.

И лишь когда я привычно похоронила в сортире очередную и последнюю похвальной грамоты, выданную мне на заводе в запоздалые пенсионные проводы, она не сдержала ужаса и шепотом спросила: «Бабуля, зачем ты это сделала?» Она понимала, грамота нырнула не потому, что я ждала медаль, а дали грамоту, а по другой причине, и испугалась потому, что старухе, «моей бабушке», не к лицу совершать такие ребячьи поступки. То есть если и забавно, что сегодня старуха грамоту топит, то будет незабавно, если она завтра тюкнет топориком почтальоншу Надю.

Нет, капитуляция, безоговорочная капитуляция, но никакого раздиранья струпов, а скорей облегчение. Ведь я так устала, в конце концов.

Сей процесс открылся тем, что Володя первым делом съел все, что нашлось в доме. Мы привыкли есть помалу, сдержанно. Лялька ела красиво, изящно, щепотками. Володя ел, как брошенный щенок, разве что не чавкал, насыпав перед собой завалы крошек. «Вкусно?» — спросила я его, а он посмотрел на меня удивленными глазами — что за политес? — и пробормотал барское: «Спасибо, спасибо».

Меня это покорило, но Лялька отыскала здесь какие-то дополнительные прелести и на сон грядущий доказывала мне: видишь, он не ломается, не прикидывается, ест как мужчина.

А я на его месте постеснялась бы. Хорошо, что носки у него были чистые.

ВОЛОДЯ: «26 октября. День за днем солнце почти не сходит с чуть потемневших небес. Если и сеются дождики, то они теплые и укладываются в полчаса. Звуки — пешеходы и машины, голоса и гудки — стали заметно гулкими, и эхо от них удлинилось. Зима не торопится, потому что мы с тобой знакомы всего мгновения, а нам надо от души нагуляться в неторопливый листопад.

Я убегаю по аллее далеко вперед и смотрю, как ты идешь ко мне в своем темно-зеленом пальто. По пятнистому, как леопардовая шкура, асфальту, мимо голубых скамеек и красных трамваев, под переливающимся полыханием деревьев. Потом убегаешь вперед ты, и я, не стесняясь ни капли, приближаюсь к тебе, приближаю тебя. Стоящая и ждущая, серьезная, с руками в карманах, нога за ногу, носок постукивает по асфальту — не наглядеться на тебя!

Я ухаживаю за тобой, ты ухаживаешь за мной. Я целую твои пальцы — и ты целуешь мои пальцы.

Как тебя описать, с чего начать, да и получится ли? Ты среднего роста, но такая тонкая, так точно приговорена природой в Ляльку, что кажешься маленькой. А походка у тебя мальчишеская, ты широко шагаешь и размахиваешь руками.

У тебя не «глаза», не «взгляд». Но и не «очи» же, не «взор»! У тебя все личное, лялькино, что толку говорить, что ты красавица, что ты светишься, что ты легкая и веселая? Хотя ты никогда почти не смеешься, зачем тебе это — специально смеяться?

И ты не любишь говорить много и бойко, но каждое твое слово для меня веское, потому что правдивое. Ты никогда не врешь. А я врун почти со всеми. Я часто фальшиво матерюсь, заходя к сокурсникам в общежитие, я, кривляясь, говорю: «Здорово, гады!» Так принято, тем самым я свой, защищен. Я боюсь, что меня оттолкнут, назовут снисходительно-ласкательно, перестанут замечать в компании, вспоминая только тогда, когда не хватает двух рублей на вино.

Вот почему я не хочу приводить тебя в свой круг — ты сразу поймешь, что я поддельный, напыщенный юноша с тонкой шеей. И просто скажешь: «Я пошла» — и уйдешь.

А тебе в удовольствие, когда я провожаю тебя на занятия, когда нас видят твои подруги, будущие акушерки и фельдшерицы. Среди них есть похабные девчонки, но тебя это не волнует, между тобой и ими нормальная соседская стена.

Когда я вижу твои колени, без конца угадываю под платьем твою грудь, думаю о том, что ниже, слышу твой запах, такой определенный, что он мне снится,— я боюсь за себя. Больше всего хочу и больше всего боюсь к тебе прикоснуться. Боюсь тебя разочаровать, боюсь, что мое тело вызовет у тебя отвращение.

А больше всего... Вот Н. А. изрек: «В любви главное — совпасть во времени. Тогда не остудят ни самые долгие разлуки, ни самые профанные совпадения в пространстве». В первый раз я его понял. Потому что никогда так не понимал, не знал, что значит «Всему свое время». Я думаю: наше с тобой время запущено, часы стучат, они подсказут.

Больше всего я боюсь, что мы потеряем наше совпадение, перестанем дышать одним воздухом.

Я знаю, что ты готова на все, и разрешишь мне все, стоит мне только попроситься, потянуться. Ты щедрая. Но сегодня, 26 октября, мне ясно: не время, и я тебя потеряю.

Кто поймет, как мне здорово и жутко оттого, что мне не с кем этим поделиться и нельзя поделиться?

Мы одни на белом свете. Я и представить себе не мог, что это лучше всего на белом свете.

Мы так влюблены, что до сегодняшнего дня ни разу не поцеловались.

А сегодня у тебя было «окно», ты позвонила мне, и мы решили взобраться на Воскресенскую гору. Деревянная лестница от Кузнечного взвоза была новая, но сколотили ее как попало. Я от радости проскочил ее бегом, сломав три ступеньки и свернув два пролета перил. И встал наверху, глядя, как ты спокойно и старательно, облизывая губы, топотала своими сиротскими ботиночками по лестнице, не спуская с меня внимательных глаз. Когда ты добралась до середины и занозила себе ладонь о перила, остановилась, вытащила занозу зубами и сдунула ее с губ, подставив раненую ладонь, и с тенью улыбки на лице двинула дальше, снова связавшись со мной взглядом, я понял, что сейчас поцелую тебя в губы, и ты поняла, что поцелуешь меня в губы.

И мы поцеловались, обнявшись, как могли, крепко, до боли, до слез почти. А потом ты отвернулась и стала спускаться обратно, помахала мне снизу рукой и зашагала, не оглядываясь,

через Каменный мост на трамвайную остановку. И я догадался, что не посмел бы тебя поцеловать, если бы не знал, что через минуту ты уйдешь на свою фармакологию».

Этой записью начинался и, так вышло, завершился мой дневник. Любопытная матушка не постеснялась прочитать эти странички и, забыв, что я дома, очень иронично поделилась впечатлениями со своей подругой, незамужней комсомольской богиней сорока пяти лет. Ругаться с матерью было бессмысленно, но дневник, конечно, скончался. А матушка еще целый месяц напрасно проверяла укромные места в моей комнате. Ей хотелось продолжения!

АГАФЬЯ: Порог бадылинского дома я в новой своей, замужней жизни переступила через месяц. Было еще тепло, мело сухим листопадом. Кончилась пятидневка, я пришла домой и вижу: все засыпано разноцветной листвой — тополиной, кленовой, осиновой. Дорога, двор, крылечко накрыты пестреньким одеялом, и в огород порядком налетело, в бочку с водой падало очень густо, будто она листвой набилась снизу доверху. Не заходя домой, взяла метелку и принялась сгребать, прибираться, догуливать аппетит.

Гляжу, бежит от них ко мне младшая чурочка.

— Тетя Агаша, вы, говорят, все умеете, а примус наладите?

— Раз плюнуть, девочка.

— Наша мамаша просит вас зайти, посмотреть.

Я действительно целую округу обслуживала, от года к году все чаще. К семидесятым годам люди с руками вовсе перевелись в нашем мещанском заповеднике, представляю, что творится в других местах, где люди передовые. Они же тем более мои благодетели: неделю меня терпели, пока я не перебралась к Семёну. Прихватила шомпол, тряпку: пойдём посмотрим.

С примуса начались мои к ним хождения. Они были беспомощные, неумехи. О чем тут говорить, печь не могли толком растопить, и примус взрывался у них как по расписанию. Поэтому зазывали меня беспрестанно, не церемонились, и я охотно приходила, у меня созрел свой интерес. И мне нравилось, что за услугу поили меня чаем. Стаканы мутные, нечищенные, зато заваривали на совесть, крепкий, и не жалели карамели. Пью и разглядываю их, небоюдных, жду проговорков.

Захожу во двор, берусь за дверную ручку и замираю: из открытой форточки несутся глаголы.

Они сражались денно и нощно, и сейчас наверняка, если живы, сражаются. Лейка, сама лежебока, лаяла Небосю за лень, припоминала ему, что был половым и остался половым, что родители его необразованные крестьяне и молятся пердунцам. А у нее брат — герой, чекист, и если они живут по-человечески, то единственно благодаря ему. Натрет Небосе самолюбие, и он взбрыкивает, теряет разум, кощунствует на шурина. И еще глубже в паутине вязнет, виноватеет, а ей того и надо.

Тогда я услышала вот что.

— Это часовщик-то — пролетарий! — вопил Небося. — Часовщик — самый мелкобуржуазный элемент, кустарь хуже нет! Да кабы еще так, еще бы так! Часами он прикрывался, он латать их никогда не умел! Урка он был самая натуральная, мокрушник!

— Выродок ты! — взвизгнула Лейка. — Он задания партии выполнял! Часы — для конспирации, он жизнью рисковал! Он экзами занимался, когда ты купцам задницы вылизывал!

— А в Каинске он человека зарезал тоже по заданию партии? Знаем, какой там был ЭКС! За двести рублей и ящик мыла! Знаем, знаем!

— Знаете?! Это был жандарм переодетый, из Колывани! Вот он знал слишком много, да! «Знаем»... Знаете? Вы знаете? Кто это «вы», любопытно послушать? Подкулачники с Бачановской? Ну ладно, ла-адно...

Так, так, так-с!!!

И наступила тишина: Небося пригубил крючки начал его сосать...

Я постучалась в двери и зашла в дом. Небося мне необыкновенно обрадовался.

Примус, как я и думала, надо было просто хорошенько прочистить, но я занималась этим очень неторопливо, словно мастерила им новый, чтобы как следует осмотреться.

Дома у них царила полная неприглядность. Все перевернуто, кувырком, постели не прибраны, посуда грязная, на полу газеты, чулки, табашный пепел, ранетки рассыпались. И зачем-то поперек горницы — доска.

Лейка, не зная меры, курила дома папиросы, и в доме едко пахло кислятиной, казалось, где-нибудь в углу, под кроватью лежитдохлаямышь.

Мир вашему праху, старики Бадылины!

На крышке комода, зевавшего половиной ящичков, лежали и стояли часы, штук шесть, карманные и настольные. Часы старые, допожарные, все ломаные, немые, показывают разное время. Под ними «белая» кружевная салфетка.

— Разве ты, Михаил Юрьевич, часовщик? — спросила я.

— Егорович я, — ответил Небося, оглянувшись на Лейку, — нет, это у нас, так сказать, музей.

— Эти часы, — подумав, похвасталась все-таки Лейка, — непростые, когда-нибудь их из музея попросят. Мы их храним на память о моем брате. Когда-то он был отличный часовщик. Он революционер. Лично знал Ильича, пользовался доверием. Да. Он сейчас в Москве не последний человек.

— Да что вы? Про него, наверное, в газетах пишут?

— Больше ничего рассказать нельзя. Брат трудится секретно, даже фамилию не назову. Но товарищ Я. (догадайся-ка) работает с ним в ударном порядке. Надеемся, Агафья, ты не злоупотребишь нашим доверием.

Небося почтительно закивал.

«Так, так-с». Дать бы тебе, Лейка, по морде!

А она скосила глаза на стенку, где висели две фотографии. На одной, побольше, совсем новой, выстроилось в два этажа все их пятиглавое семейство, все — как жуки на булавках. А на второй, поменьше, дореволюционной, сидели рядышком молоденькая Лейка и ее братец, лет тридцати, в соку. Оба черные, как арапы. Она, втрое тоньше нынешнего, смотрит на него с испуганным подобострастием. А он сидит в застегнутой косоворотке под пиджаком, нога на ногу, сапоги сияют, в одной руке шикарно держит пару белых перчаток. Их ему, видно, фотограф дал. На нее ноль внимания, голова навыверт. Бонапартий уездного разлива.

У меня схватило затылок, я поставила примус на комод и подошла поближе. Это он. Скуластое смуглое лицо, раскосые конские глаза, черные волосы пеной. И справа клычок. И нос с просторными ноздрями. И этот выверт головы. Он, ошибиться невозможно. О судьба!

Обвалом хлынул на меня, обступил меня знойный конец июля в Екатеринбурге: сирый вокзал с загаженным боярышником, стадо глиняных людей в драных коконах одежды и та машина, на которой приехали кожанковые злодеи, засновавшие по толпе с наганами в руках. Они кого-то искали, и он, главный, стоял в машине и покрикивал.

— Это ихние расстрельщики, — прошептал мне местный старичок. (С ним я сию минуту договорилась о ночлеге.)

— Всех расстрельщики, понимаешь, о чем я?

И я поняла, и мы перекрестились.

Гляжу на фотографию, «Ателье Л. З. Немировского», и вспоминаю, волна, за волной: как добирались с женихом к отцу в Екатеринбург; как жених от меня там сбежал; как узнала о расстреле отца; как ночью подобрала бумаги с тифозной умершей и сожгла свои; как, последняя смольнянка, привыкала, училась быть мещанкой из Бугульмы и прикидываться глухой и глупой; как впервые в жизни колола дрова и вымолвила «товарищ»; как прощалась со своими вещами, выменивая на них еду..

Осталось только самое дорогое — старинный заварничек мамы, умершей от испуга в 1905 году, когда фабричные подожгли нашу дачу под Тулой.

Он и папу,

и всех тогда. И эти здесь и сейчас потому, что он там и тогда.

— Ты икаешь, несомненно, Агафья, — сказал Небося, убирая примус с комода, — попей водицы.

— Правда, что пользовался успехом у дам Яков Михалыч, — понимающе сказала Лейка, — но раньше от мужской красоты не икали, а в обморок падали.

Хорошо, что Семен допоздна засиделся в тот вечер на заседании партячейки. Перебредя домой, я долго в тишине гладила чайничек дрожащими руками.

СОСТАВИТЕЛЬ: Году в 1936-м по переулку случайно прошел Поэт, из привычно нездешних. Захолущенный до тины город принял в ту пору тысячи пережитков из Расеи, чтобы они не пустили отравленные побеги в чистом саду Коммуны и (поскольку русские-де люди) не миновали нареченных сумы и тюрьмы.

Заслали их сюда по явному недосмотру. Город и без них был редкостным сосудом махрового мещанского православия, ставши таковым потому, что знал лучшие времена, а великие стройки обошли его стороной, и души находили утешение в том, что подсказывал ближний опыт, а не газеты. Получилось забавное смешение и взаимопонимание этих и тех. А новоселы, люди не первой свежести, время от времени не могли не забываться и говорили то, что думали.

Запахло нищей вольницей, катакомбами. Тогдашний руководитель края бился в истерике и вопрошал ЦК: за что?! ЦК прислушался и в пару лет исправил свою ошибку, методично сровняв всю эту публику с землей. На всякий случай к ней подверстали и самого руководителя края: надышавшись флюидами монархизма и соблазнившись собственным именем, Руперт Индрикович Райхе вошел в преступные сношения с гестапо.

Порывистый ветер эпохи забросил Поэта сначала на север таежно-болотного края, потом сюда, в годуновский город. По своей воле он сюда, конечно, бы не приехал. Он, скрепя сердце, переселился бы из Питера хотя бы в Германию, хоть в Любек, да кто бы дал. Границу давным-давно заперли заветным кощеевым ключом.

Происходил он из онежских крестьян и весь свой век, надо сказать, не без модничания, пел добротканую тишину лесов, золотую бревенчатую избу, сосен перезвон и староверное собеседование с Христом, покровителем землепашцев, рыбаков и добровольных во Имя Его погорельцев. Пел Корову земную и Корову небесную, пел Лошадь и Сига. Однако, не любя историю, обманываясь в ней, в недобрую минуту (впрочем, не без лукавства) усмотрел в Ленине керженский дух и аввакумов порыв.

Он знал лучшие годы, славу столиц, не упустив в них разнежиться; заметно пощеголял; заметно повещал-попугал закатный цвет нации на манер то ли «Голубиной книги», то ли Распутина; заметно побаловался с мальчишками.

Зато сумел выучить-вырастить другого Поэта, называемого великим русским. Тот оказался не жилец, не вынес «каменной скуки», задохнулся среди назойливых, липких душегубов. Его смерть состарила онежанина на несколько поприщ. Он стал стремительно дряхлеть, уязвляемый скудным языком улиц, нуждой, не-

привычным одиночеством, страхом перед свирепой властью и собственной, страшно посуровевшей, как царица Несмеяна, совестью. В пятьдесят лет он смотрелся на все семьдесят, засыхающей отломленной ветвью ракиты, отставным пономарем.

Зато за все то страдания помогли ему сотворить такое, о чем он и мечтать, было, перестал — Главную, безусловно-великую поэму о мужицком Окоеме, о северном дыхании, о чистоте уклада, уходящего в багровые сумерки. Погибель была теперь надежно обеспечена, он догадывался, но счастье Поэта того стоило.

Он жил тогда на склоне Воскресенской горы, квартирантом у добрых людей, и его стежки-дорожки, в основном, были богомольно короткие, до храма и обратно, и удлинялись в те редкие случаи, когда его звали пообедать. Он очень нуждался, потом придумали, что он просил милостыньку на паперти Троицкого собора. Это неправда, на паперть он ходить остерегался ввиду чужих злых глаз, а ходил на Каменный мост, где ему подавали кто луковку, кто сухарь.

Но от обеда он отказываться не мог и плелся куда позовут, больной, на слабеньких, соломенных ногах, с часами-луковкой же в руках. Сверялся с ними, чтобы не прийти раньше срока, потому что на всякий случай выходил много загодя.

В переулочок он попал по заблуждению, взявши после мостика через речку Ушайку не вправо, а влево. Одетый, несмотря на лето, в ватную курточку и заячий клобучок, он брел по вязкому песку, приседая на каждую попутную лавочку. Сильно захотелось пить, и он постучался в калитку, за которой услышал голоса, женский и младенческий. Вышла молодая, резвая женщина.

Дай водички, милая. Она вынесла ковшик с ледяным квасом и, пока он пил, успела его разглядеть и укоризненно сказала:

— Что ж ты, дедушка, такой запущенный? Старуху похоронил?

— Похоронил, — согласился Поэт, вечный бобыль. — Как тебя зовут, пролетарочка?

— Агафья Васильевна.

— Спасибо, Агафья Васильевна, салфет вашей милости.

Но она не знала обычая, не поддержала, ответила сухо:

— Живи, старичок.

Они забыли друг о друге сразу. Она — потому что пошла купать дочь в корыте на солнышке; он — потому что через несколько тихих стежков нашел в песке деревянный пастуший рожок.

Поэт поднял его, умиляясь. Поживши в Нарыме и Колпашеве, он уже уяснил, что здесь рожков, или дудочек, или жалеек не делали. И этот рожок-игрушку, должно быть, смастерил для своего чада родитель, сосланный сюда из лесной Руси.

Захват рожка был окольцован прикусом крошечных детских зубок. В дырочки густо набился песок. Поэт вытряхнул его и положил в карман, сдержав желание проверить рожковый голос.

«На входе в городские звенья, в соленом песке лежит черемховое дитятко, родимый пастуший рожок, забитый землей. На нем следок нежных уст пастушонка. Лежит, как камень преткновенья, лежит артикулом забвенья.

Где ж сам обронивший его пастушонок, неужто сгинул, недоменный суслонек? По всей Руси пошли во прах рожки, опушки и луга вождаются жестяным рупором; ни людям, ни коровам не личны песни о ясной зорьке и живой воде. Напротив, напротив, особенно нестерпим этот кроткий голос покаяному слуху одержимых и немилосердных. Их, видно, бесит, слуг Динамо, что на этой свирели играл сам Христос, нисходя в наш оржаной и смоляной окоем.

Я что этот рожок. И брошен, и растоптан, горло мое забито песком, и никто меня не слышит. Новых лаптей не плету, немо встречаю закат и мечтаю только найти свой сладкий смертный час, скрывшись от них в толпе усталых побирušек».

Так задумался Поэт, такое спасение себе вымалывал, но скрыться от них ему не удалось. Пока стихотворение возилось, толкалось в нем, набирая звонкую грусть, обрастая рифмами, его арестовали в последний раз, подержали в тюрьме, подкормили и расстреляли на карусели.

Он был настолько болен и хил, что в НКВД его не стали бить — бесполезно, он отошел бы от одной средней затрещины. Поэтому он умер нераскаянным. Вместо подписи в его следственном деле след птичьей лапки, родной онежской сойки. Никто не пострадал от его показаний. В перевранных, подогнанных под хамский язык протоколов ответах не остыло упрямое, наивное, прекрасное недоумение перед подлостью.

АГАФЬЯ: Володе исполнилось восемнадцать лет, он изучал филологию в здешнем, чем-то знаменитом университете. По-своему милый и по-своему глупый мальчик. Он поторопился признаться Лялке, что хочет к тридцати семи годам стать великим ученым и поэтому для начала собирается проработать все пятьдесят пять томов сочинений В. И. Ленина.

— Почему к тридцати семи годам? — спросила его Лялька.

Он посмотрел на нее со снисходительным умилением:

— Потому что в этом возрасте погиб Александр Сергеевич Пушкин.

Тут у них созрела первая размолвка. После этих вещей слов он взял многозначительную паузу и вытаращился в окно, в огород, на бочку с дождевой водой. Лялька в простоте своей подумала, что он тонко пошутил и зафыркала, уронила стакан с чаем на пол, и он разбился. Пришлось ей с минуту держать мальчика за рукав и шестнадцать раз назвать его Вовочкой, пока он не отмяк, не разулся и не вернулся к столу.

Глупость его была какого-то девственного свойства. Одиноким мальчик при очень, очень занятых интеллигентных родителях, прячущийся в домашней библиотеке. Книги он не то чтобы читал — он ими питался, прочесывал их, как саранча. К нему не приставал никакой опыт, впечатления соскальзывали с него, как со стеклянного. Все искушения ждали его впереди, и пороки, должно быть, созреют невидимо, незаметно. Из таких отроков вырастают гадкие, инфантильные карьеристы.

Но когда он видел Ляльку, его трясло и подбрасывало — буквально. Стоит, худенький, остроносый, пушок на верхней губе. Губы тонкие, красивые, уши маленькие, игрушечные. Стоит — прячет руки в карманы, не то из гордости, не то для того, чтобы не выдали.

Житейски подслеповатый, душевно неуклюжий, не задаст лишнего вопроса, но, самый среди нас образованный, не умолкает, разглагольствует, просвещает нас, темных, в том, что вчера прочитал по «программе» — вот Гомер, вот Софокл, потом Вийон, потом Шекспир. И ведь несет чушь-чушь. Тот же Авося, заставь его под палкой «Гамлета» прочитать, понял бы больше, хотя бы по своей подлости. А Володя? Нет, язык хороший, не уличный, даже с претензией. Но там люди любятя или ре-

жуются, а у него «образы», «типы», «социально-исторические условия эпохи». Это их профессора научили — левой рукой правую пятку чесать.

Был у него любимый преподаватель античной литературы, женщина, ее сын учился на математика, кажется. Как-то на лекции эта женщина говорит студентам: «Антигону» Софокла должен прочитать каждый уважающий себя человек». Не буду спорить с этим. Но дальше-то весь изюм: «Мой сын, первокурсник, дружил с одной девочкой. Когда я узнала, что она не читала «Антигону» Софокла, я запретила ему с ней дружить».

И как это понимать? А что, Брежнев ваш читал «Антигону»? Мне кажется, в СССР незачем ее читать. Не в коня корм, и получается какая-то пошлая индульгенция.

А тот бедный мальчик, что ж он, послушался своей мамы?

— Вот монстр, да? — с восхищением сказал Володя, торжествуя над моей темнотой. Лицо у меня было действительно... подходящее.

— А я уже прочитала, — томно сказала Лялька, — Креонт, Полиник, Диресий. И ветер прах взвевает.

Тут, очень, надо сказать, уместно, в соседском огороде заорала коза: настала пора ее доить. И соседка отозвалась:

— Молчи ты, курва, — иду! Иду, б... рогатая!

Ах, если бы она прочитала «Антигону» Софокла!

Страшно заболела, заскрипела моя голова. Я махнула на них рукой и пошла прилечь. И услышала, как Володя забормотал с приличным участием: наверное, зря я перед бабушкой распинался, нужны ей древние греки?

И Лялька через запинку ответила: бабуля простая, но умная. А голову у нее почти каждый вечер схватывает.

Ишь ты, фершалка сложная какая! Я не поняла: предала она меня или защитила?

Я лежала в темноте, их речи превратились в неровный звон колокольчиков. Я вспоминала время (и ведь заставили вспомнить!), когда сама читала «Антигону». Осень шестнадцатого года, серое утро, Нева нагоняет стужу, раздуваясь в гранитах. Слышно, как трещат вечно сырые чухонские дрова в печи, и лампа горит уютно, но сквозит, сквозит везде, и у нас красные руки. Мы с подру-

гой пьем наш жидкий раскаленный кофе (мы отчего-то, из демократизма видно, гордились, что он жидкий) и макаем в него кусочки чудной булки, теплой, хрустящей, с трещинками.

Мы ходили особой делегацией на кухню — просить нашу немку, чтобы пекла булки с трещинками, с хрупом.

ВОЛОДЯ: Агафья Васильевна исправно чудила.

Чудачества ее были ни хорошие, ни плохие — живописные, в смысле серо-буро-малиновые.

Поначалу они меня мало занимали, поскольку она сама меня не занимала. Меня не занимала и мать родная. Весь небосклон занимала Лялька. Когда у нас с Агафьей сложились, вернее, не сложились отношения, я объяснял это на пальцах: меня невзлюбила невежественная, раздражительная, неуживчивая старуха, она ни с кем не дружит, не знает; прожила полвека в переулке, а не нашелся человек, которого она бы подпустила к себе ближе крыльца; она ревнует меня ко внучке, внучка — единственный близкий ей человек, вынянченный из последних сил, собственность — явился молодец, хочет внучку увести... И она его шпыняет, поругивает, подкальвает и высмеивает. Не говорит ему «ты», «Володя», а сумрачно — «на», «иди», «возьми» — или (обращаясь к Ляльке) «он удивить меня хочет», «оне домой не собираются».

Вроде бы скверно, но для меня это значило не больше плохой погоды, идет человек в сильный мороз из дома в дом, чертыхается, натирая примороженный нос, но ведь доходит куда надо, и встречают его как надо, еще и (вот что важно!) вознаграждая за путевые скорби чашкой горячего кофе и дополнительной лаской. А не то стаканом грога и лучшим местом у камина (допустим, он англичанин).

То есть — тем лучше! Тем слаще Лялькины поцелуи!

Эти колючки, если уж на то пошло, мне были по-своему лестны, и я быстро с ними свыкся. Но однажды меня осенило, что свыкание случилось скорей потому, что, слыша от нее гадости, я от них вовсе не вздрагиваю — грубя мне, Агафья оставалась внутренне спокойной, даже грустной, и я не заражался, не отравлялся. Что-то вроде: «Ты затесался ко мне в дом, встал между мной и внучкой, — это плохо. Это плохо, но парень ты неплохой. Судьба. Не судьба».

И когда ее рот выдавал что-то обидное, руки продолжали размеренно, доброжелательно делать свою работу: щедро наливали мне крепкий чай, навечно пришивали мне пуговицу на пальто.

Коли так, время пройдет, и все округлится, замнется, сотрется само. И ладно. Но время шло, время-то сыпалось и текло, а она не становилась мягче и разборчивее в словах, наоборот, ее импровизации превратились в какую-то обязательную, механическую программу. А как же грусть? Она не могла не устать от повторения затертых, обезболенных приказок и не могла не почувствовать, что я ее раскусил. А я знал, что грусть и ревность встречаются с другим исходом.

Значит, догадка оказалась верной лишь частично, неполной. Но за каким лядом неглупая, себе на уме, старушка тянет глупую волюнку?

(Кажется, я запутался. Сам не понимаю уже, до чего договорился. Какая-то тьма противоречий! Не дается мне психологизм!)

Я не утерпел и спросил у Ляльки: в чем дело? Она попробовала отмолчаться, я не отставал, и она, заметно опасаясь, что я ничего не пойму, негромко ответила: бабушка играет, играет в часового. Что за игра? Развлекается от скуки, возмутился я, нагоняя ее на других? Нет, не развлекается, ответила Лялька, качая буйной головой, она никогда не скучает, чтоб ты знал. Она так живет. На самом деле она не хочет тебя обидеть. Ты не при чем. И оборвала разговор, жалея, что в него вступила.

Во всяком случае, я понял: вопрос далеко не столько в том, что я перешел Агафье дорогу, сколько в том, что она странная, нарочитая чудачка. И в этом, пожалуй, стоит разобраться.

Я попытался опереться на гений Н. А., но он, в первый приступ успев прилично выпить, отозвался, толком не дослушав, с присущим ему парением: твой подход — рациональный, ты ищешь прок и резон. Ты не понимаешь, юноша бледный, в каком Вавилоне мы живем. Мы, советские люди, — мы чудачки подряд, кругом и чохом. Ты чудак, и я чудак. Иначе не выжить. Наш советский хулиган, который, чуть свечерело, даже не ищет, кому морду набить, — бьет первому встречному, — разве не чудак? Наш секретарь обкома, что кормит людей физическими и духовными отбросами и не дивится — гордится, что люди ему

благодарны — разве не чудак, не странник? И т. д. и т. п., зазвенела балалайка, он понес меня в ту самую степь, где мне становилось неуютно, страшновато и виновато, хоть уши затыкай.

Но в следующую встречу, простуженный и благодарный за малиновое варенье и домашние котлеты, он сам переспросил про Агафью и с чуть наигранным вниманием людоведа выслушал про дом, про речи и ухватки, про невежество, не вяжущееся с проницательным взглядом и чуткими ушами. Чем она живет, горячился я: книг не читает, в Бога не верит, со старухами не болтает! Лавочки-завалинки у нее нет, радио нет, газеты в руки не берет. А мне намекает о моей пустоте. Значит, мыслит о пустоте и полноте?!

Н. А. особенно очаровался историей с газетами. Как-то я заявился с двумя местными газетами под мышкой — в них напечатали заметки к юбилею нашей профессорши, умнейшей дамы. Она брала меня в свой семинар, знай наших! Агафья с порога, словно боясь, что газеты осквернят ее заповедник, выхватила их у меня, не слушая объяснений, и отнесла в сортир. Сделала она это негрубо, но решительно, без вариантов. Сама она выписывала «Красное Знамя», но каждый номер из ящика, огибая дом, отправлялся по тому же маршруту. Туалетная бумага была тогда достоянием избранных.

— Диагноз готов, — сказал Н. А., — не ведая того, Агафья из людей, у которых принципы одно, а душа — другое. Душа для внутреннего пользования, жить приходится в маске. Когда носишь ее постоянно, она врастает в лицо... Вот Печорин, Григорий Александрович. Добрый был оборотень.

— Но Агафья не Печорин, не демон, иная — откуда и зачем она такая?

— А это другой, нам неподатливый вопрос, — ответил Н. А., — для нее сие тайна, для нас — тем более. Зачем крутится ветер в овраге? Спроси у юродивого, почему он юродивый?

И привычно заиграл на балалайке. Я не знал, кто такие юродивые, и вообще устал и отупел от разговора. Бог с ней, с Агафьей, и Лялька на нее нисколько не похожа.

Я ушел от Н. А. под ледяным, со снегом, проливным дождем. Долго дождался трамвая, и пальто набухло в огромную, тяже-

люю, клейкую промокашку. Именно тем вечером мне впервые захотелось как следует выпить в одиночку. Потом в моей жизни появятся месяцы, когда я приноравливаю пить ежедневно. Моя собственная тайна будет такой же гнетущей и до тупости невразумительной. Проходя в винный отдел нашего гастронома, я услышал, как пьянчужки просят у продавщицы «парижского винца» — вермута.

Я забыл рассказать Н. А., как Лялька застала Агафью за Джо Дассеном. Проигрыватель, на который копили целый год, купили Ляльке после долгих молений и с условием пользоваться им в бабушкино отсутствие. А тут она сама его включила и прослушивала «Люксембургский сад». Лялька клялась: внимательно и на полную катушку. Изумленная Лялька догадалась сказать: не с того начинаешь, бабуля, тебе больше подойдет «Хороши вечера на Оби», «Мой паровоз, вперед лети». А бабуля сказала:

— Мало, что глупая песня, еще и длинная, вода в ступе.

— Откуда ты знаешь, что глупая, — сказала Лялька, — может быть, она умная?

— Я догадливей тебя, — ответила Агафья, — надо же, «Жарден-дюлюксанбур»! Нынче дураки и здесь и там. («Так и выговорила, ахнула один к одному, — воскликнула Лялька, — представляешь, какая у меня бабка военная!»)

АГАФЬЯ: Авося стоял посреди разгрома, босой, с поднятыми руками, что твой Лаокоон, и страшно разил, словно выдыхал, одеколоном. Роль погибельных змей выполняли проворные Лейкины руки, казалось, их штук шесть, не меньше. Авосю шмонали.

(Небося яростно ваксил для сына свои сапоги. Чурочки прикидывались, что замучены уроками, но на самом деле жадно и с радостью упивались позором старшего брата.)

Авосю выдала чрезмерная, неосторожная бугристость карманов и пазухи. К походу в театр он приготовился основательно, в чем сейчас все более убеждалась Лейка, выворачивая ему карманы и с разной, но каждый раз конкретной силой давая ему пощечины.

— Чего дерешься, мамаша? — возмущался Авося. — Я как все. Все так!

Из правого кармана рубахи на стол переселилась добрая пригоршня карамели, из левого — пластинки серы и папиросы, завернутые в клочок газетки. Бац!

Лейка расстегнула рубаху, и на пол, бум-бум-бум, просыпалось с полведра ранеток. Чурочки захихикали: как маленький! Мрачно глянул на них Авося.

— Ну это-то что за срам? — застонала Лейка. — Я тебе два бутерброда с колбасой завернула! У кого еще бутерброды с колбасой?

— Ага, — занегодовал Авося, — отсидела бы ты столько на одном месте, а потом еще это... обсуждение. В прошлый раз голова крякнула, пока всех этих моряков обсудили, обхвалили. Неткачева, идейная, стрекочет, Евстигнеев, карьерист, проситесь на крейсер «Аврору». И шкрабы все до единого говорливые. Я чуть в штаны не наложил, а меня про мичмана заставляют, вообразить себя мичманом — вот дела-то!

Мать его прервала. Из левого кармана брюк она извлекла перочинный ножик — бац! — и сложенную вдвое картинку — бац! — из старинной жизни: заголенная, толще Лейки, тетка натягивает чулок на жирную ногу. Следом две записки, в запале оглашенные Лейкой:

— Это что? «Авось! «Религия опиум для народа». Кто сказал — Луначарский или Бухарин?»

— Карл Маркс, — невольно ответил Авося.

— Что-о? — Лейка вчиталась в другую записку: — «Давай после пошшупаем Надюху. Она уговорится. Сам знаш кто». — Бац! — Я тебе «пошшупаю»! — Бац!

— Он блатные слова в школе говорил, — не удержались чурочки, — он Надьку Секисову муфтой назвал, а Евстигнееву сказал: в хавло получишь, м...к!

Бац! Мрачно посмотрел на чурочек Авося.

А Лейка уже рванула правый карман брюк. И на пол, между ранетками, посыпались неисчислимые чики. Чурочки завизжали.

А за чиками Лейка извлекла дядюшкины сломанные часы-брегет. Долго тянулась длинная цепочка. Авосе досталось и часами, и цепочкой — и он прослезился, на всякий случай зажимая пальцами нос.

А безжалостная Лейка добралась до заднего кармана и достала из него платочек. И не веря глазам своим, машинально,

удостоверяясь, развернула его — белый платочек с золоченой каймой, с плотным золотым шитьем в углу.

Руки у нее затряслись, на черном лице побелели губы. Не говоря ни слова, она быстро сложила платочек вчетверо и положила в верхний ящик комода.

Посмотрела Авосе в глаза — и он покорно вытянул руки по швам, выставив трепещущее лицо на побои. Он хорошо знал, что вот за это он их точно заслуживает. И Лейка треснула его три увесистых раза.

Но сделала вид, что ничего особенного не произошло. Бьет так крепко якобы напоследок, подводя общие итоги ревизии.

Поэтому она не стала проверять карманы уже приведенной мной в порядок тужурки, которую я поспешила, подмигивая, подать Авосе: пожалуйста, барин! Он посмотрел на меня благодарно: в тужурке ждали-не дождались очереди пугач и каскет-свинчатка!

— Шестнадцать плюх по морде! — лицемерно покачал головой Авося и еще раз оглянулся на чурочек.

Так закончились сборы Авоси в театр, где он со всем своим классом и другими классами и учителями посмотрел спектакль «Любовь Яровая». Как назло, днем ему оторвали рукав тужурки, и я приходила заработать чаю с карамелью.

Платочек я, выждав время, выкрала безо всяких затруднений. Чей это был платочек, я догадалась еще до того, как его разглядела. Осенил меня ангел, появилась сладостная тайна, предзнаменование, вдохнувшее в меня жизнь.

Как они пережили потерю — не знаю, не показали виду.

ПОЧТАЛЬОН НАДЯ: Никитина Зинаида опять заболела, простудилась, и мы за нее по очереди занимались сортировкой. Мы ей говорили, чтобы она увольнялась, пока молодая, хватит мучиться. С хроническим бронхитом на почте делать нечего. Она обижалась, напоминала про случаи, когда мы пропускали работу, болели, намекала на личную неприязнь. Что мы не зовем ее чай пить. Раз она никогда не складывается, вот и не зовем. Ты складывайся, мы все равны.

Так вот, в начале апреля я разбирала письма — и надо же: письмо от мужа. Ни днем раньше, ни днем позже. Я его узнала

по почерку. Не успела прочесть адрес, а уже вся сжалась. У него буквы в словах рассыпались, разбегались, как у старика.

Павел звал меня немедленно домой, в Енисейск, не извинялся, а грозился приехать, если я сейчас же не вернусь, и забрать меня. Письмо было злое, оно его до того разволновало, что он забыл подписаться.

Как он меня нашел? Сообразила не сразу: Валя Игнатьева, наша одноклассница, она тоже там работает на почте. А я не побереглась, естественно, написала маме, как устроилась, про общежитие, зарплату, город. На конверте стоял прочерк, адрес мой указала в письме. Мне бы догадаться, написать на конверте какой-нибудь несуществующий. А она догадалась, что письмо от меня (больше не от кого просто, с Украины не писали уже лет десять), что адрес внутри, и вскрыла. Можно подумать, она имела такое право — засовывать нос.

После обеда пошла по своим закоулкам. Время очень неприятное: кругом еще много мокрой грязи, но где-то успело подсохнуть, ветерок дунет — несет мелкую сухую пыль прямо в глаза. Хорошо, что собаки со мной перезнакомились. Один пес, хромоножка, вообще за мной пристраивался, след в след, и обходил со мной участок, как прикомандированный.

Девки мне немного завидовали. Моя сумка всегда была самой легкой. В этих переулочках перед Ушайкой жил народ, который редко получал письма, газет здешние выписывали очень мало, одну, две, и видно, что их заставляли на работе — брали что подешевле, для растопки, чего никто не читает: областную и «Блокнот агитатора», «Аргументы и факты». Дефицитные подписки получал один Христолюбов В. Н., и хорошие, БВЛ и Мопассан (говорят, неприличный писатель). Конечно, имел блат. Пенсионеров здесь числилось тогда немного, а чем их меньше — тем и страху меньше, когда разносишь пенсии. Хотя, случись бандит — откуда он об этом знать может? Но все-таки зря мне завидовали. Сам участок громадный, частный сектор, раз в десять больше, чем на Ленина, и собаку, как нынче, там и в помине не встретишь. И люди встречаются со зверскими взглядами, и пьянь непотребная попадает на встречу, руки растопыривает. Находишься — ноги гудят, обувь на них горит. А еще

в июне комары — маленькие, злющие, дружные. В центре их нет. А в Енисейске они везде, тоже лютые, но хотя бы крупные.

День как раз был пенсионный. На мне — 1206 руб. 58 коп. Захожу к старикам, почти все на месте, ждут, с каждым перекидываюсь парой слов. И вдруг в какую-то секунду меня заклинило: все, не могу больше, сейчас или закричу, или разревусь посреди работы. Паша, будь ты проклят!

Агафья Васильевна, старуха, которой я выдавала пенсию, увидела, что я не в себе. Она была сдержанная, ледяная бабка, но, может быть, скучала, как все пенсионеры. Разглядела, что я побелела и сморщилась, посадила меня за стол, налила крепкого чаю. «Больная на работу ходишь, зачем? Ты же на окладе». Я ученая, нашим бабкам не доверяю, даже презираю их за притворство и пустомельство. Любят они, хлебом не корми, залезть к тебе в душу, «посочувствовать», поохать, а потом тебе же и нагадить. В Енисейске по соседству жила такая баба Маня. Добрая, сладкая, всех деточек приласкает, ни одного не пропустит. И порасспросит: а что, папка-то мамку бьет? Сильно пьет? Тебя-то лупцует? Правда, что папка бочку эмали с работы спер? Правда, что мамка тетю Катю Смекалкину с матами из гостей выгнала? Ребенок доверчивый, душа нараспашку. А про его родителей уже пол-Енисейска судачит. И что было, и чего не было. Баба Маня обязательно для красоты, от чистого сердца намешает три пуда вранья. Только вранье ее почему-то всегда в пакостную сторону.

Я это говорю для того, чтобы объяснить, почему я все-таки поделилась душой с Агафьей Васильевной. С первого взгляда было ясно, что она сама по себе, о могиле помнит, сплетнями, конечно, брезгует. Я знала, что она ни с кем не контактит, местные пенсионеры говорили о ней: ну, эта, мол (припоминаю, к слову, что за все годы, что я там промыкалась, ей пришлось всего одно письмо, откуда-то из Мурманской области). Хочу сказать, что мне по-своему интересно стало, как она будет реагировать, что греха таить.

— Сбежала я от мужа в Томск. Он у меня фактически с ума сошел или оскотинел до такой степени. А сегодня получила от него письмо, зовет.

— Вернуться хочешь? — спросила Агафья.

— В том-то и дело, что не знаю. Ни да ни нет. Мучаюсь.

Она пожала плечами: может быть, я дура. Слушала она меня как-то недоверчиво, издалека. Как будто я с ней не обычной бабьей бедой делюсь, а рассказываю «Клуб кинопутешествий».

Мы с Павлом учились в одном классе, жили по соседству, дружили. Когда он пошел в армию, я обещала его дожидаться, и дождалась.

— Любила? — спросила Агафья.

— Наверное, — отвечаю, — наверное, любила.

— А он тебя? Любил, целовал тебя? — Она задавала нескромные вопросы.

Я уклонилась. Паша был нормальный паренек, даже опрятный, в отличие от прочих (Бритвин был симпатичный, но распущенный). Меня выделил с седьмого класса. Я, конечно, не красавица, но уж и не жаба. Без меня дня не жил, привык. Накормил в порту ящик яблок — к нам принес.

А после армии резко переменился. Я не успела того понять, потому что мы поженились через месяц после его возвращения. Он служил в России, в городе Муроме, и его там явно искалечили. Ничего ему не стало нужно. Заленился, работал через пень-колоду, дома не делал ничего. Все время валялся и мечтал куда-нибудь свалить. То в Молдавию (можно подумать, его там ждали), то наняться на Диксон, то в милицию баклуши бить. Но на БАМ-то его даже с перепоею не тянуло.

Устроили его, по мохнатой лапе, электриком в гостиницу «Енисей». Работал, как говорится, в меру — чтобы не выгнали, как все, стал выпивать. Ходил в тельняшке — прикидывался десантником. В кармане всегда носил мускатный орех, чтобы от него не пахло. Поначалу хоть ненадолго, но приходил домой, жил семейной жизнью. Но очень скоро началось: в теплое время вообще без исключений приучился возвращаться к ночи и невменяемый.

Прописался на берегу, на пристани. Гостиница стоит прямо над берегом, два шага, пока подумаешь, куда путь держать, башмаки сами доводят до Енисея. Там у нас настоящий караван-сарай. Вся наша молодежь, все непутевые болтаются там с утра до вечера, пьют, травят друг другу душу. И ведь ника-

кой у них дружбы, наоборот, ищут, как бы поглумиться над слабым. Обтерлись друг о друга, сделались на одно лицо, и Павел такой же. Такая публика: сегодня ребенка на пожаре спасут, завтра — кого-нибудь запинаят ногами до смерти. Не очень моего там ценили — похоже, унижали, он приходил домой и начинал меня строить. Зажжет спичку и командует: ужин на стол, пока не сгорела. Мне все это не нравилось, я начала сопротивляться, а он начал меня бить, без всяких похмельных извинений.

Думала, ребенок появится — перебесится, но он же не хотел ребенка! «Нищету плодить!» Год, два, три, четыре. Разводиться стыдно, да и родня не даст, я сбежала.

— И что, тебе плохо сейчас? — спросила Агафья.

— А что хорошего, — отвечаю, — была своя квартира, свой уют, а здесь койка, тумбочка да похабные бабские разговоры. Не дрался бы, просто приходил бы и падал — какие проблемы? Весь вечер мой, у нас телевизор был, я вязала.

— Ну да, ну да, — закивала бабка, — понятно. Да только не сохнет он, не надейся, они долго живут, такие трубочисты. А найдешь другого, нового — будет такой же, потому что дело в тебе, а не в нем.

— Чем я Бога обидела? Никогда не закричу, могу с юмором отнестись. Готовлю хорошо.

— Шире, шире оно все, — сказала Агафья, — я же говорю: именно по-человечьи с ними нельзя. Сколько живу на свете, все они одинаковые, что довоенного помета, что послевоенного. Смотри, во что они жизнь превратили — проматерили, пропили ее, болтуны, бездельники, трусы. Жить тошно. Мужчины в этой стране перевелись, милая моя, давным-давно. В чем всему и корень, смекаешь своими маленькими мозгами?

Я хотела обидеться, но тут она понесла такой бред, что я уж думала об одном: как бы от нее поскорее убраться. Сидит напротив меня, руки крест-накрест, глаза как у бабы-яги.

— Я не доживу — ты доживешь, увидишь: когда они сгниют заживо, наши женщины побегут от них куда глаза глядят, в дальние страны. Пойдут замуж за мистеров и герров. Матери будут для заграницы дочерей растить: вырастешь, красавица, пой-

дешь под венец в Париже. Будут различать — в Париж хорошо, а в какую-нибудь Варшаву — так себе. А эта сволочь вся вымрет, сама себе и муж, и жена.

— Зачем вы так, — говорю, растерялась, — зачем нам под буржуев?

Какая-то политика получается словно, а сама выбираюсь из-за стола. Старуха оказалась с приветом, у нее крепко съехала крыша. Она, однако, мигом опомнилась: ну ладно, спасибо, Надюша, не болей. Не болей, говорит! Можно подумать, утешила.

До самого моего перехода на Степановку мы с ней общались сухо, официально, забыли про этот разговор.

А к Павлу я не вернулась, осела здесь, удачно вышла замуж, за человека младше себя. Прошло тридцать лет, Павел гулял двадцать лет, жил как попало, а потом стал монахом в Спасо-Преображенском монастыре. Отец Даниил, его там все знают. Он лечит от мужской слабости. К нему приезжают даже из Москвы.

ВОЛОДЯ: Зима, утро в русское Рождество, со вчерашнего не унимается бессонная метель. Весь город в молодых, пушистых сугробах, на улице до того белым-бело, что в глазах мельтешат крохотные цветные звездочки. Понятно, что морозец самый мягкий, оглаживающий. Пятиглавый храм, единственный, кажется, из открытых в городе, стоит на соседней с Сибирской улице, и я решил, ввиду Рождества, сменить подорожную и пройти к Лялке мимо него и, может быть, познакомиться с тем, что внутри, чтобы было что ей рассказать. «Ваши пальцы пахнут ладаном», а я не знал, как пахнет ладан и не видел, как богомольные целуют руку попу.

За углом ждала меня картина. Множество старушек, одних старушек, горбатых, с посошками, в основном попарно, рассыпалось по белому полотну, карабкаясь сквозь сугробы вверх по склону. Порывы метели не могли перекрыть гуляющий между ними ропот, они все разговаривали с понятной громкой жадностью засидевшихся у окна долгожителей. А навстречу им, презрительно отворачиваясь, пер по середине улицы единственный безбожный сантехник, в обрыжелой фуфайке, с рабочим чемоданчиком под голой зеленой кистью.

Поневоле сбавив разбег, я шел вслед двум подружкам, обеим сильно за семьдесят. Они восходили, как зимние черепахи, и тол-

ковали, хрипло дыша, хватая друг друга под руки, скорей к взаимному раздражению. Первая трубила, что метель, как в Гражданскую. В их деревне пришли в храм комиссары и набезобразничали: «Христа придумали, и все тут недействительное». А в Душегубство и вовсе повсюду всех разогнали и батюшек постреляли. Явимся сейчас к Господу, а там, глядишь, — опять арестовано. Вторая упрекнула ее в пристрастии к черному цвету и назвала вечной каргой. «Сейчас уважают верующих! — сказала она. — К Брежневу духовник ходит. Храм не посещает, врать не буду, а духовник ходит». — «Ну, цветики лазоревые, — возмутилась первая, — зайдет слуга Божий, на Ленина перекрестится — и кофейком бадутся в тепле. Кино! Услышат они твое вранье, не меня — тебя первую на цугундер сведут. Без рейтуз с начесом, ха-ха-ха».

Спасительно оглянувшись на меня, оптимистка сменила материю: «Ты, стригунок, пристроился он за бабками, иди-ка ты вперед, топчи бабкам тропку!» И я обогнал их, и еще целый взвод Христова воинства, но в храм, обветшалый и какой-то негостеприимный, заходить раздумал: буду там как пугало среди этих райских яблок, как вести себя там — не знаю, креститься не смогу. И выпрут меня с позором.

Из трубы валил пухлый, роскошный дым, метель сбивала его, гнула, секла на струи, а он неумоимо, празднично валил себе, не жалел тратиться. Лялька, в драной болоньевой куртке и вязаной шапочке, в валенках, снятых с великана, убирала со двора снег, кидая его через забор осиновою лопатой, за которой могла запросто спрятаться. У нее горело лицо, она вполголоса напевала «Дубинушку». Я подошел к калитке и молча повис на ней, желая налюбоваться. Лялька перестала петь и молча опорожнила на меня лопату. Это было хо-ро-шо!

Я закрутился волчком, и она меня передразнила

— Не обнимайся на улице, — сказала Лялька, — тебе это надо?

— А где бабуля, — спросил я, — не пошла ли помолиться?

— Что ты, — удивилась Лялька, — она не ходит, она неверующая. А дома нет, отправилась в баню. Она Рождество так празднует: сходит в баню, возвращается не торопясь, заваривает древний чайничек и часами пьет чай с «дунькиной радостью». Ей нипочем, у нее зубы бобровые... И целый день отдыхает, думает.

— И весь ее праздник? — усмехнулся я.

— Нет, не весь, — ответила хмурясь Лялька, — разговариваем о медицине. Она все учебники мои перечитала, предметы лучше меня знает. Укол сделать, банки поставить — мне ее сноровка и не снилась. Старухи здешние все к ней идут, меня в упор не ставят... Вообще-то обидно.

— Еще бы не обидно, — задохнувшись, поддержал я, заходя за ней в дом и снимая с нее шапочку, куртку и валенки. И свитер, трико и шерстяные носки. Я стоял на коленях и целовал ей ноги и трусики. Лялька гладила меня по голове и плечам вздрагивающими руками. Райские яблоки.

С улицы донесло едва слышный перезвон колоколов. Мы переглянулись.

— У них колоколов недодано, и они слабенькие. Им не разрешается громко звонить, — сказала Лялька, — подожди меня.

Она зашла в бабушкину комнату, притворив за собой дверь. Но я не переставал видеть ее плавные ноги с босыми высокими ступнями, голубые трусики, не прикрытые короткой черной сорочкой.

Дома очень светло, очень тепло и очень чисто.

— Видишь, какой платочек? Ему сто лет, он дворянский, наверное, кавалергардовский. Бабуля его в старом комоде нашла, — сказала, не доходя до меня, Лялька. Она держала его за углы, сдвинув коленки.

Платок был белый до серебряного, квадратный, в золотом обводе, в уголке некий орнамент из золотых ниток. Тонюсенький, должно быть, это и называется батист. Но странно (странно, зная Агафьин обычай): он выглядел несвежим, нестираным, и гладили его три жизни назад. Не о пятнах речь — о какой-то бледности, которой не пыль виной, а залежалость в темноте между чем попало.

Лялька поднесла платок к лицу:

— Мы поцелуемся через него. Ты подойди, возьми за него тоже и целуй.

Я подошел и взялся. За платочком темнело ее лицо, лишенное любимых подробностей, но чудно выделялись губы, промокнувшие полотном.

Поцелуй получился торжественный и пресный, мы оба словно видели себя со стороны.

И мы пошли в Лялькину комнату, останавливаясь и замирая на каждом шагу.

Бабушка прибыла час спустя. К счастью, она долго и шумно отряхивалась и обивала снег с валенок на крыльце.

— Не баня, а свинарник, — прорычала она, гневно махнув рукой и не отвечая на мой робкий привет, — кругом хавроньи с пятаками!

— Ты всегда так говоришь и всегда туда ходишь, — дерзко сказала Лялька.

Агафья услышала стук маятника. Она развернулась к внучке всем телом, открыла рот, закрыла рот, ударила меня взглядом и, заложив руки за спину, карикатурно вскидывая ноги, пошла в свою комнату.

Дошла там до окна, вернулась к порогу и медленно, в явном бешенстве, вставила дверь в косяк.

АГАФЬЯ: За краны мясник Христолюбов отдал мне полумертвым цыпленком. Годом раньше в пригороде поставили птицефабрику, и он отоварился десятком инкубаторских цыплят, полуторамесячных, приготовленных уже к ножу. Их откармливали там очень скаречно, комбикормом и разной химией, чтоб не передохли в тесноте, в темноте. Они были тощие, сизые, боялись света и травы.

Мне Христолюбов дал самого несчастного, обезноженного и забитого сокамерниками. Жизнь в нем угасала на глазах. Я заторопилась его накормить, а он не ест. Сидит, тянет шейку, а не ест. Не сразу догадалась, что он боится: моих движений, проехавшей за окном машины, блюдечка, темного цвета пищи. Сварила ему яйцо, положила на землю — заклевал, сначала вяло, потом приелся и начал икать. Побежала за водой, возвращаюсь — а он спит, повесив лысую голову набок. Проспал три часа, и началось все сызнова — всего боится, сутулится от простора, жмурится от света.

Пошел лишь на четвертый день, но пользовался ногами только для того, чтобы спрятаться, забиться в темное грязное место. И никогда не подавал голос, онемел от ужасов фабричного детства.

К Новому году, когда мы его съели, он прилично откормился, но бесповоротно сошел с ума. Не оставалось лазеек, где бы он

мог, большой и неповоротливый, спрятаться, и он безобразничал, ваялся по двору и по дому, как пес, засовывая голову под крыло. Я называла его «член ячейки», и Лялька на меня сердилась.

ЛЕТЧИК (из письма): «...красавица, строгая, манеры королевские. Встретился взглядом — и пропал. Мы все трое в нее влюбились, но я сильнее всех. И я ей больше всех понравился, понятно, военный летчик, и внешностью не был обижен. Влюбился, расхвастался, не скрою: хотел впечатление произвести. Но ведь не врал, не брал на себя лишнего. Я ей рассказывал про полеты, про то, что весь наш СССР, от Камчатки до Колы, повидал из стратосферы. Летишь ночью на БД, на горизонте зорька не сходит, а под тобой насыпано огней: «Привет, Павлодар! Наше Вам, Свердловск! Доброе утро, Горький!».

Экзюпери ей пересказывал, знаете о таком писателе-летчике? Конечно, не забыл, что с Юрием Г. в одном училище учился, курсом младше, что чуть по его следам не попал в Отряд. Но не скрыл и того, что забраковали меня, по психологическим показаниям: выдержки не хватало и контактные параметры были у меня не очень.

Песни пел про машины, на которых летал над Тихим и Ледовитым океанами. Про них в газетах обвиняками пишут: лучшие в мире крылья!

Но с собой сразу не звал, боялся все испортить. Думал: через четыре месяца отпуск — вот тогда, если дождется, позову. Нет, это она сама сказала: «Забери меня с собой, ни минуты в этих болотах не смогу прожить, руки на себя наложу». Я тогда не знал, что руки на себя наложил ее муж, куда как с ее участием! Честно ей сказал: разберись с собой, можешь заскучать — офицерское общежитие, край земли, Баренцево море кому стихия, а кому — холод, мозглода и ветер, до костей пробирающий. А сам, естественно, горю-пылаю. «Забери, повторяет, не пожалею!»

Забрал с радостью, гордостью. Удивлялся, что Вера меня к вам не допустила, к дочери, но доверился: раз она так решила, стало быть, знает, что делает.

Не прошло и полгода, как разонравилась ей романтика Севера, опротивели мои басни про моря и острова, льды и птичьи базары. Узнал я, что я «бульбашонок», «простота» и «солда-

фон». Ладно, «бульбашонок» — я с Витебщины, сирота военный, деревенский. А «солдафон»? Это я-то, военный летчик, в жизни не повысивший голос на младшего по званию? И про «контактные параметры» так ловко на свой лад перевернула, что я боялся, семижды не отмерив, у нее даже чаю попросить. Хамила и хамила, до того, что у меня в глазах темнело. Началась у меня бессонница.

А она перестала готовить, стирать, мыть посуду. С утра до ночи лежала на тахте, запираясь от соседей на ключ, и крутила пластинки зарубежных исполнителей — Д. Марьянович, Р. Караклаич, К. Готт.

Ходил взъерошенный, чумной, выжидал, терпел, а она злилась, что я такой терпеливый, «вежливый тюремщик».

Пришел к выводу: дело в нехватке общения, отсутствии занятия. Нашел ей работу, с превеликим трудом ее сыщешь в военном городке. Думал, тучи разойдутся: работа легкая, в ГДО, зато на людях, на виду. А она немедленно в истерику: «Не пойду! Я с этими шлюхами, которых вы на танцплощадках да в кабаках подбираете, общаться не намерена!» Забыла, что и мы с ней не на выставке Репина познакомились.

Все ждал, надеялся, что это поможет, когда мы заберем у Вас дочку. Просил ее ежедневно, ведь Олечка теперь и моя дочь. На это она не грубила, но упорно отказывала, отрезала: «Нет, не время. И бабушка просит не торопиться (не помню, чтобы она Вам писала, чтобы Вы ей...), и нам с ней в общежитии, на 14-ти метрах, будет тяжело».

В конце-то концов, прошу ее, пусть бабушка хотя бы фотографию вышлет. И она, улыбаясь, подает мне однажды снимок хорошенькой девочки в колясочке: это Лялька! Вспомнил я ее улыбку, когда потом, случайно — одна женушка постаралась — выяснилось, что фото это чужое Вера выпросила в ателье, когда прошвырнулась в Мончегорск.

И тут наш недолгий брак как раз и распался. Приехал один генерал с хозинспекцией, любитель бегать трусцой, вдовец. Человек подлый, рассказывали, что его, молодого, в 45 году, в Берлине, хотел расстрелять за мародерство генерал Берзарин, но неожиданно погиб, и дело замяли. Не успел я сообразить, с чего это Вера вдруг забегала по утрам, а уже сижу у разбитого корыта. Уехала она с пузатым стариком, сбежала.

Живет она теперь в Подмоскowie, в закрытом поселке МО, ездит на «Волге», воспитывает его детей, которые ей ровесники. Извините, но думаю, что Вы об этом от меня и узнали, не верю, что Вы ее с тех пор видели, получали от нее письма.

Если ей это подходит, не возражаю, не говорю про предательство. Предать можно Родину и родных. Ваш вопрос. Не то обидно, что разлюбила, она и не любила никогда, так, увлеклась, развлеклась на малый миг, ее право. А то страшно, что унизить, растоптать человека для нее — что умыться или причесться.

Мою жизнь она поломала. Бросил я здоровую закалку, стал от отчаяния, от позора попивать. До добра такое не доводит. Два года назад, на охоте, сказала моя развинченность. Пришли с товарищем в избушку, с холода, мороза и ветрища, долбанули спирта, и решил я ускорить работу печурки. Плеснул в нее бензином, и так неловко, что выжег себе пол-лица, потерял правый глаз и два пальца на правой руке. Стал пенсионером в 33 года, и с тех пор не смотрюсь в зеркало.

Пишу все это не для того, чтобы разжалобить, а для того, чтобы сказать Вам, что Вы, Вы очень постарались, чтоб из Веры выросло чудовище. Как же ей не быть всем и всегда раздраженной, как не блажить, не презирать людей, если Вы напичкали ее сказками про голубую кровь, про Ваше прошлое (да было ли оно?), даже Верой ее назвали потому, что таково, дескать, Ваше настоящее имя, устроили какое-то мракобесие монархическое и, в частности, с известным Вам предметом? И т. д. и т. п.

Вы всячески настроили ее против жизни, в которой, замечу, не одни хамство, очереди и блат, а еще и люди летают в Космос и строят БАМ, ГЭС и ЛЭП.

Я понимаю, безусловно, что Вам, на Вашем «дне морском», это в целом и в частности, «до лампочки», как выразился персонаж новой, отличной кинокомедии, которую Вы, конечно, не посмотрели. Думаю, с юмором Вы не дружите.

Советую Вам посмотреться в зеркало — и за меня, и за себя, и подумать об Олечке, у нее-то другой опоры, кроме Вас, нет.

Не жду от Вас ответа. Прощайте. Подполковник ВВС СССР в отставке Линеви́ч Герман Григорьевич».

АГАФЬЯ: Я проснулась рано, к рассвету, до птиц. На моих глазах затлели и вспыхнули марля и занавески на любимом восточном окне, выходящем в огород. Солнце молчахватило всю раму, и следом запузырилась, попросилась в дом марля, натянувшаяся от пригоршни такого знакомого мне рассветного ветерка. И я услышала тишину, ее слышно, когда Солнце провожает Луну, и тишина словно лопается от своего преизбытка.

И вот, будто бы у изголовья, царапнув коготками свой порог в скворечнике, осторожно, с достоинством отозвался на приход света старый скворец, лучший из моих соседей. Не нам, не нам, подумала я, выбираясь из постели. И поняла, что неспроста я так бодро себя чувствую в это последнее утро с Лялькой. Дышалось легко, почти радостно, в пальцы немедленно налилась сила, по-юному хотелось поскорее умыться, завтракать, надуться чаю и поговорить.

И даже споткнувшись о Лялькин чемодан, я сказала себе: какой отличный, вместительный, уважительный чемодан красноярского ремесла мы купили Ляльке.

Это и есть жизнь. Лялька уезжает по распределению в Высокий Яр, от зажившейся старухи уезжает внучка, они расстаются, очень может быть, навсегда. А старуха не прочь порадоваться июльскому утру, скворцу и яичнице с колбасой.

Но на свет Божий явилась Лялька, босая, в новомодной откровенной ночнушке, и ее первоцветное, родное тело потянулось во все стороны света. Я вспомнила про ее мать. Мне не расхотелось разговаривать, но повело на полусшепот, а полусшепот вразумляет говорящего, прижимает его к белой стене. Я стремительно постарела, но, пожалуй, обрадовалась, что теперь все будет как положено.

И три часа до похода на недалекий вокзал, и сам поход получились грустными, чистыми, так однажды мы с Лялькой разглядывали умирающий лесной родничок. Но и утомительными: я уже не жила каждой минутой, я их обгоняла, минуты, и, стыдно сказать, не столько думала о том, как мы попрощаемся, легко или слезно, сколько о том, что я сделаю после, по ту сторону нашей отгоревшей с Лялькой жизни. Однако я обижалась, не

совсем, выходит, честно, на то, что Лялька торопила меня: пойдем, чего сидеть, лучше на вокзале пооколачиваемся.

Пока мы добрались до вокзала, подоспела духота, мы вспотели, захотели пить, но попить было негде. Лялька хотела попить в туалете, но я ей не разрешила: ты уж послушайся меня в последний раз. Она закивала и обняла меня, от нее пахло черемухой.

На перроне, устланном шелухой, окурками и обертками, было людно. Очень много людей, которые ехали, казалось, из ниоткуда в никуда: дурно одетые, опустившиеся, грязные и матерные, с торбами и деревянными саквояжами. Не бывавшая на вокзалах сто лет, я смотрела на них жадно, вспоминала свое. Мало что изменилось с тех пор! Какой-то паршивый дед попросил у меня закурить. Я не сдержалась: «Что ж ты, с руками и ногами, так себя содержишь, засаленный, вонючий?» Он ответил: «Точно, бабка, давно не моюсь, весь закожурел. А ты возьми меня к себе».

Затем, однако, на перрон вывалился стройотряд, студенты, мальчики и девочки в форменных курточках, с гитарами, на которых они не умели играть. Многие из них, судя по разговорам и лицам, маялись со вчерашнего перепоя. Они собрались в кучу и спели, кривляясь, песню «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз». Дурацкая песня, сказала я Ляльке, они думают, что поют? Да это же так, для звона, ответила Лялька, поют одно, думают другое, делают третье. И всем хорошо. Чего ты придираешься? «Хорошо! — сказала я. — Ты, Лялька, выживешь, я за тебя не беспокоюсь». «Бабуля!» — обиделась Лялька, а сама бесконечно крутила головой: где же Володя?

И Володя пришел — стремительно выскочил из-за угла, улыбаясь, как щенок. «Знаете, какой плакат повесили у нас на площади Ленина, — закричал он за десять шагов, — красный фон, зеленые буквы: «Земляки! Выкосим, все, что выросло!» Глубоко, правда, Агафья Васильевна», — сказал он, беря Ляльку за руки.

Я тупо согласилась. А от другого угла к нам несло Лялькину подружку, Анжелку, «француженку» из Малого Протопопова, наштукатуренную девку в мини-юбке. У нее были такие здоровенные гладкие ляжки, по-своему стройные, что студенты за-

молкали и один за другим впивались в них глазами, а их подруги по очереди отворачивались, морща нос. Паршивый дед, куривший, сидя прямо на асфальте, бойко поприветствовал ее снизу:

— Ну и колотухи у тебя, комсомолочка!

Она картинно расцеловалась — надо же — с Лялькой и Володей, и они залопотали, встав треугольником, ко всем и ко мне спиной, хоть возвращайся немедленно домой.

Я уже поняла, что Лялька душой в поезде, в путешествии, в новой жизни, и с этим смирилась, но не могла разобраться, любит ли она этого Володю? Она глядит на него, нежно улыбаясь, они несколько раз обнялись. А что за этим? Или Лялька верит, что разлука ненадолго, что он к ней приедет, что все перетерпится и т. д.? Или Лялька нежна от великодушия, щедра от облегчения, напоследок? А потом письмо: извини, Володя?

Я мечтала, чтобы Лялька разлюбила его. Мне грезилось, что какие-то признаки ее охлаждения мной наблюдались. Володя все чаще мне представлялся ненадежным юношей, любившим не Ляльку, а то, что он в утеху себе про нее придумал, что-то пасторальное, черт его дери. И отдельно хотел ее милого тела. И сейчас — сей час — он с большим волнением косился на ляжки этой Анжелы и, обнимая Ляльку, непроизвольно переступал ногами так, чтобы видеть Анжелкины сочности. Не любил он Ляльку — или недолго любил.

Загудел электровоз, заголосили проводницы. Лялька поцеловала меня сухими, резиновыми губами: «Я сразу напишу, бабуля!» Как они прощались, целовались с Володей, не видела, опустила глаза и так махала, махала, махала рукой, пока Володя и француженка (спасибо, что не под ручку) не нависли надо мной: вас проводить, Агафья Васильевна?

— Идите, ради Бога, — пролепетала я, — мне одной будет лучше.

— Хорошо, понятно, — согласился Володя, — я завтра приду в гости, ладно, Агафья Васильевна?

— Приходи, конечно, — легко ответила я. Я знала, что он не придет.

И он, молодец, не пришел: ни завтра, ни в воскресенье, никогда. Я добрела домой, выпила четыре чашки чаю, закрыла все ставни, разделась и легла и проспала до обеда.

В обед я встала, хорошенько умылась и растопила печь до отказа. Зимой она так не жарила, не гудела, не подпрыгивали так отчаянно дрова в огне, как в этом июле 1978 года. Да едва не задохнулась: забыла, как дымит летом не в срок разбуженная печь.

Я достала платочек, погладила его по золотой каемочке, расцеловала заветные буквы «А. Н.» в золотистом окололье. И пошел в огонь платочек цесаревича, невинно убиенного ровно шестьдесят лет назад.

Я торопливо выбежала во двор и посмотрела на трубу, на голубой дым, рвущийся из нее в бежевое небо. Этот клуб? Или этот? Что придумывать — не было знамения...

— Бабка Агафья! — закричал идущий ко мне по переулку дядя Сережа, Фарш, — ты зачем раскочегарилась в эту Сахару? Совсем рехнулась? Лучше займи мне два рубля, шланги дымятся!

Он просил без надежды, от скуки, зная, что я никогда не даю на пропой, и потому не подлизывался. Как же он удивился, когда я дала ему пятерку без отдачи, с наказом только помянуть раба Божьего Алексия. Через пару часов, убитый солнцем, он уже лежал у моей калитки, надо понимать, рапортуя, что мой наказ исполнен.

ВОЛОДЯ: Последнее, что мне о ней известно: зашла, не оглянувшись, в вагон и уехала на недалекий север в компании грибников, ягодников и командированных. Ставить уколы и банки на краю самого большого болота в мире. Плохо, очень плохо помню прощание с Лялей. То, что было после, в тот же день, сохранилось в памяти со всеми ненужными подробностями. Разлука ударила по мне почти смертельно. Осознал я это, правда, с опозданием. С начала осени я забился головой о стенку и добился до пожизненного тика с миганием и исключения из университета. Мать выгоняла меня из дому, и я месяц ночевал где придется, пока не схватил воспаление легких, не попал в больницу, откуда мать и забрала меня обратно.

Расстались, разделились мы сухо, не целуясь, пестуя обиды. Моя вина. С весны Ляля жила в тревоге, думала о новой жизни, ждала от меня поддержки. Может быть, она и не пошла бы

за меня тогда замуж, но попросить ее об этом я был обязан. (И ведь хотел, ого, как хотел, но ждал знаменья.) Мир стучался в наше одиночество, и с этим надо было что-то делать.

А я твердил: время рассудит. И Ляля обиделась, измучилась сомнениями, закрылась. А я умудрился разглядеть во всем этом обидные знаки охлаждения ко мне, опостылевшему, поднадоевшему. Я приходил к ней, боясь, сегодня она мне скажет: извини и прощай. Страдая, ревнуя, я не видел ее страданий и ревности.

Между ней и мной встала ее гордость, ее достоинство, между мной и ею — мое самолюбие, моя слепота.

Тогда, на вокзале, Ляля спокойно, слишком спокойно сказала мне: бабулю не провожай, она не захочет. Ты подойди к ней и попросись в гости. Можешь потом не приходить, но, пожалуйста, попросись. Хорошо? Хорошо, ответил я. Попросился и не пришел: бабуля кивнула откровенно по-болгарски. Не додумался я, что Ляля, переступив через гордость, все-таки бросила мне спасательный круг.

Я должен был попросить: напиши (скорей, и я немедленно приеду). Промолчал, надувая вены и нервы. И она не сказала: напишу. Мне бы потянуться к ней губами — сдержался, боясь, что она отвернется. А она не могла, просто не могла даже потянуться ко мне первой.

С вокзала, сдерживая стоны, с головой, набитой пеплом, я побрел куда глаза глядят. Ноги привели меня к Н. А. Ну да, довериться я мог только ему. Только он мог дать мне совет ценой в счастье.

Но ничего не вышло.

В душевной комнате разило потом. Огромный Н. А. метал книги с полки в распахнутый чемодан. Другой чемодан уже был собран и стоял у входа. На полу валялись сочинения Корнейчука с унижительными следами насилия над ними.

— Уезжаю домой, в Бийск, — прорычал Н. А., мельком на меня оглянувшись, — меня выперли! За антисоветчину выперли! Нет, биографию портить не стали... Пожалели, приписали аморалку! Пьянство (они якобы не пьют)! Семейные отношения со студентами! Нецензурная брань (это я анекдот рассказал на картошке секретарю партбюро про Пушкина во мху, он добавки требовал, взяточник, мерзавец)! Разврат! При Могилевском, что топчет студенток, как кур, — я развратник!

— За разврат? — я был потрясен. Н. А. отличался чистотой нрава и вообще являлся холостяком.

— За разврат! А помнишь, Людочка Пряжникова? О, она им все рассказала. Как они внимали, как завидовали!

Задыхаясь, он сел на стул. Стул заверещал. Н. А. опустил голову.

— Чего нос морщишь? — не видя меня, пробормотал он. — Думаешь, жара меня доконала? Нет, брат, это я со страху про-смердел насквозь. Перебздел насчет политики!

Мое горе подвинулось, я переживал за него. Я возмущался, я понимал, что его подло принесли в какую-то плановую жертву. Но я не знал, что сказать, и тоже опустил голову. Н. А. истолковал это по-своему.

— Испугался, душка, — вдруг рявкнул он, — слушай: а пошел ты к черту! Двигай! Уж ты-то вырастешь таким же, я знаю. Душка!

«Душка». Почему «душка»? Я пошел, глупо, несчастно улыбаясь.

— Сволочи! — зарыдал за дверью Н. А.

Так в жаркий июльский день я простился с единственной в жизни любимой и единственным в жизни светочем разума.

Прошли июль, август, набежал сентябрь. Ляля молчала. В сентябре я понял, что весточки от нее не будет. Никогда.

Все кончилось. Я проклял свое самолюбие, и разгаданная вина давила меня, как египетская пирамида. Но и веру в себя, уважение к себе я потерял навсегда.

Найди я Лялю тогда, найди сейчас, прости, прими она меня — кто, что я был бы или буду перед ней? И что было бы или будет между нами? Я же отныне «Мигалкин», именно «Мигалкин». Это же так некрасиво!

А может быть, судьба мудра и не могла быть щедрее? Может быть, оно и хорошо, что мы не успели приземлиться, что так получилось? Я плачу.

СОСТАВИТЕЛЬ: Погода правит детьми и стариками. Бабье лето в тот год запаздывало, его перестали ждать, и горожане, измученные повседневной стылой моросью и ознобом, призывали крепкий подсолнечный морозец и снег. К концу октября сплошные моховые тучи разбежались. Теплый казахстанский ветер прохватил городские холмы и ложбины, потеплело сразу градусов на десять. В переулке снова запахло опростанными

огородами и речной отравленной тиной. От нечаянной радости немножко остервенела старая коза: она дважды бодала дядю Сережу-Фарша, заметив его телесную и душевную зыбкость.

Каждый новый день был теплее предыдущего, и так прошла неделя.

А потом, ночью, после того как многие попили вина или чаю на свежем воздухе, на крыльце или лавочке, говоря про май-месяц, пришел жестокий ревущий якут и в часы заледенел, заковал, запечатал все, завалив колючим снегом. Участковые педиатры в те дни забегались. Слегли тысячи стариков.

Такие перепады давления и настроения им были не по силам, сосуды трещали от беспощадной перегрузки.

Врачи со стажем и сегодня вспоминают про эту беду в подробностях и с ужасом.

Старуху из дома номер 14 увезли во вторую медсанчасть. Через три дня она умерла. Она отходила в сознании и рассказала нянечке, где у нее в доме припрятаны деньги на похороны. Известили соседей. Деньги нашлись, и с ними — подробная роспись, сколько и на что потратить, вплоть до поминального стола. Соседи, побаивавшиеся, то есть уважавшие старуху, были тронуты, обнаружив, что Агафья пригласила на похороны всех старожилых переулка.

Незадача была в том, что единственная родственница старухи, внучка, прошедшим летом уехала по распределению куда-то на север. А куда — никто не знал. Искали адрес, письма от нее — не нашли. Вообще ничего рукописного, кроме стопки внучкиных школьных тетрадей, в доме не имелось. Умерла бабушка в четверг, хоронить ее надо было в субботу. О том, что можно навести справки о внучке в облздравотделе, догадались только в пятницу вечером, когда старухи сидели над телом усопшей и ругали Ляльку, обсуждая, каких трудов стоило забрать Агафью из морга, чтобы проводить ее на тот свет по-человечески, через свой порог.

На кладбище стояла стужа, могилу в срок не приготовили, труженики заступа требовали водки и приплаты — получили их, потому что Агафья Васильевна отписала им хорошие деньги. Как в воду глядела, отмечали соседи на поминках, и здесь

угадала, что будет такая проблема. На поминках, в основном, говорили об ее уме и простоте ее жизни. Странно, но, воспользовавшись таким поводом, люди пробыли в осиротевшем доме лишнее время и разошлись неохотно. Они впервые сидели все вместе за одним столом, и оказалось, что они друг другу не противны. Это робкое чувство локтя заставляло их думать об Агафье с неясной (пусть забытой вскоре) благодарностью, несмотря на то, что все эти хлопоты о чужом человеке, когда о себе-то позаботиться некогда, поначалу им досаждали до остервенения.

Хромая нянечка из больницы, принявшая, неожиданно для себя, большое участие в этой истории, слушала похвалы умершей с таким видом, словно они были адресованы ей самой, и говорила, что бабушка проявила замечательную выдержку, силу духа, не роптала и уронила слезу лишь после того, как умерла. «Закрыла глаза, дыхание остановилось, пульс пропал, побелела — и вижу: по скулам пробежало по капельке». Это обсуждалось не раз, хотя здесь нянечке не поверили.

А в понедельник новая почтальонка принесла письмо от Ляльки и отдала его Христюбовым. Три месяца трудилась над ним внучка и все не могла отправить (из-за маленького письма, приложенного к главному), конверт был пухлый и весил, как бандероль. «Село Высокий Яр, ул. Профсоюзная, д. 8». К Ляльке полетела срочная телеграмма. И на нее были отложены деньги, истраченные, как вышло, последними, а не первыми, как значилось в списке расходов.

Лялька приехала во вторник вечером. По распухшему лицу было видно, что она выплакалась в поезде. Наскоро обошла соседей, выслушала все, что ей сказали, почти не задавая вопросов, кивая после каждого слова слишком часто, чтобы понимать услышанное как следует. Старушка Артемьева предложила ей: хочешь, приду к тебе ночевать, вдруг тебе страшно или плохо будет? Лялька отказалась: спасибо, не нужно. Ушла домой. Свет горел в доме считанные минуты.

Через час мимо дома прошел дальний сосед, младший из братьев Камневых, Виталий. Ему было 26 лет, он работал мастером на ДСК; высокий, сутуловатый парень. Оба его старших

брата, Геннадий и Анатолий, заслуженно считались опасными шанхайскими идиотами, но он, несмотря на холостячество, большую физическую силу и бездну свободного времени, не гулял, читал кое-какие книги, а если не читалось — «тупо», по мнению братьев, подкидывал гирю. Эти подробности могут иметь значение.

Этот Камнев прошел мимо дома намеренно, он был влюблен в Ольгу (то есть в Ляльку), поэтому шел не спеша — плелся, вглядываясь в темные окна. Он любил ее издалека, стесняясь, непоследовательно, она ничего об его чувствах не знала и едва замечала его самого, они не здоровались. Но он относился к ней настолько по-доброму, тепло, что, когда в доме номер 14 стал появляться маленький студентик, младший ее годами, Виталию не пришло в голову сделать студенту что-нибудь плохое, помять его и отвадить от Ольги. Другое, у него однажды мелькнула мысль химерического свойства: кто-нибудь, пусть даже брат Геннадий, нападает на этого мальчишку, а он, Виталик, защищает его, причем делает это исчерпывающе-убедительно... и так далее. Очень оригинально.

От улицы до дома — метра три-четыре, но месяц светил ярко, выхватывая из тьмы цветочные горшки на подоконниках. Поравнявшись с последним окном, Виталий запнулся: над цветками размытым дымным овалом висело Ольгино лицо. И тут же утонуло во мраке, а на его месте вспыхнул, как маячок, настойчивый красный огонек. Поэтому Виталий дважды, не в очередь, судорожно втянул иглистый воздух. И то, что называют сердцем и душой, дважды напомнило ему о себе. Какая печаль такая печаль!

Он поступил, как выяснилось, правильно. Решение могло быть единственным, достойное человека, прожившего тысячу лет. Виталий осторожно снял шапку и, не клоня головы, не глядя в окно, пошел дальше, домой, стараясь не ускорять шаг, идти спокойно и прямо. Это было, и этого не было. Полный сострадания и любви (а как еще об этом скажешь?), он думал о том, что это страдальческое курение безусловно некурящей Оли договаривает о ней все то самое высокое и чистое, чего он еще не мог знать, но что мечтательно в ней предполагал.

Он не спал до утра, даже не вздремнул, даже не закрывал глаз. На работе он был, как никогда, решителен и дерзок и, как никогда, бестолков. Начальник цеха не любил его за высшее образование и некоторый необоснованный апломб, но обычно воздерживался от критики, побаиваясь его силы и вспыльчивости. Сегодня он в отчаянии сказал Виталию много ужасных слов. А тот отряхивался от них небрежно и несамолюбиво. Когда Камнев вернулся домой, праздничный, готовый умереть за любовь, он узнал, что Оля уехала в свой Высокий Яр.

Лялька встала рано, чтобы изготовить самодельную ленточку на венок, и потратила три часа на раздумья о прощальной надписи. В итоге текст едва поместился на полотне. Стремительно мельчая слева направо, буквы худели, теряя всякую убедительность: «Прощай, бабушка, прости меня, я тебя никогда не забуду, Ляля». В половине девятого к ней пришла старуха Артемьева, чтобы проводить ее на кладбище. На месте выяснилось, что она начисто забыла, куда идти. Слава Богу, им встретился сторож, указавший, где свежие могилы простых советских людей.

Лялька хотела бы постоять и поплакать над бабушкиной могилой, но присутствие сиропно-говорливой Артемьевой ей очень мешало. Что ж, в следующий раз она придет сюда одна. Дешевый памятник со звездочкой поразил ее своей макетной несерьезностью, глупостью. На кладбище она побывала впервые.

У Артемьевой была своя корысть. Она старалась угодить Ляльке, потому что была уверена: Лялька останется на севере, и поэтому получится навязать ей квартирантов. Внучка с мужем уже три месяца сидели на ее шее, не могли найти никакого, ни самого завалящего жилья в переполненном через края студенческом городе. А тут ухоженный дом без хозяина (!), с мебелью, и сторговаться можно было, пользуясь моментом, за ту же тридцатку в месяц.

Так оно и вышло. Лялька отдала ей ключи. Перед тем она находилась по городу: запустила наследственное дело и купила продукты и валенки, которые в селе достать было невозможно. Дома перенесла все, что нужно, в чуланку и закрыла ее на замок. Много времени ушло у нее на напрасные поиски памятного ей серебристого платочка. Когда она, безнадежно

вздохнув, оставила это дело и глянула на часы, то поняла, что в баню ей уже не успеть. В Высоком Яре казенная баня работала для женщин в пятницу. Ей пришлось вздохнуть еще раз.

С собой она забрала собственное нераспечатанное письмо, любимую бабушкину кофту и старинный заварничек.

Прошло месяца полтора. Однажды вечером Лялька поняла, что втянулась в унылую взрослую жизнь — поймала себя на том, что о другой не думает, огрубела и говорит с окружающими на их языке. Она испугалась: жизнь пошла по кругу — и все ее новости будут теперь зависеть от возраста и трудовых заслуг? Она достала свое длинное письмо бабушке и перечитала его за двумя стаканами чая. Оказывается, она мало что забрала с собой в свою нынешнюю жизнь и превратилась в совсем другого человека. «Лялька» из письма (давно ли она над ним корпела?) ее раздражала. И это мягко сказано. В конверт было вложено еще одно письмо, вернее, письмецо. Его она перечитывать не стала и выбросила в ведро вместе с хроникой трудов своих и дней. «Ой, смотри, девушка, заскучаешь — беда будет», — вспомнила она давным-давно услышанное. Где, от кого? Не от бабушки, конечно...

Новое, от подвала до крыши невыносимо пропахшее масляной краской общежитие построили в центре села. Торцом оно упиралось в площадь, на которой без остатка размещалась вся районная власть и культура. Валил снег, и непрерывный хруст снега под окном означал, что народ направляется в кино, где крутили «Зиту и Гиту». Ольга не ходила в кино — подруг она не заводила, а одной туда отправляться было рискованно, — пристанут, и еще как грубо: здешняя молодежь стыдилась своего сельского происхождения, приבלатнялась через одного и уважала пошлость.

Ольга подумала: на работе, где ее защищает белый халат, где ей, сменяя друг друга, говорят спасибо разные, порой вполне паршивые люди, ей легче, бодрее, чем «дома», где она не слзлит с кровати, измученная нитьем сожительницы, толстухи Анюты, учительницы начальных классов по прозвищу Кадка. От нее сбежал жених. «Сорвал цветок любви и сбежал за час до ЗАГСа. Как был, в костюме с галстуком, в нейлоновой сорочке. Все зимнее оставил. Забыл, что он партийный».

(Партийная тема звучала каждый вечер. Недавно, когда на прием явился пожилой, плешивый и потный второй секретарь райкома, с подозрением на очаговую пневмонию, заполнявшая бумаги Ольга была не к месту смущена озорной задней мыслью и не удержалась — прыснула...)

Спустя два дня, рано утром, возвращаясь с ночного дежурства, Ольга зашла в магазин, встала в очередь и сквозь витрину увидела в полный рост двух мужчин, идущих со станции через площадь. Правильно, поезд уже прибыл, гудело. Один, главный инженер местного СУ, с оживленным предновогодним лицом нес наперевес отличную пихточку. Другой держал в руках по чемодану. Чемоданы его старили. Безо всяких сомнений его звали Виталием Камневым.

Ольга сразу и благодарно вспомнила, как он снял шапку перед ее окном той ночью. Потому, как он вертел головой, вполуха слушая своего нового начальника, она с одобрением сообразила, что парень с нашего переуллка уже начал ее искать.

Она почти обрадовалась, во всяком случае, не смутилась, несмотря на то, что жизнь бесцеремонно собиралась навязать ей то, о чем молчал ее внутренний голос. Каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Не вышло бы так, что внутренний голос умолк навсегда. Она постояла у выхода, дожидаясь, пока мужчины свернут на улицу Свердлова. В руках полбулки хлеба, пачка печенья и сигареты «Опал». Она подумала: а ведь это почти все, что у меня есть. Посмотрим... «Идущий никогда не опаздывает?»

АГАФЬЯ: В том Городе, в который мне не вернуться, и не хочется возвращаться, потому что его нет, в том Городе мы жили, девочки, не успевшие ничего попробовать во благо. Ну, буквально: мой жених поцеловал меня считанные три раза, и все три совершенно беспредметно, я даже не вздохнула.

Мы презирали помадки Северянина и пилюльки Блавацкой, а по ночам гадали в дортуаре по системе госпожи Ленорман. Мы ненавидели самодержавие, но все, как одна, обожали царскую семью. Мы были нешуточные патриотки, как положено смольнянкам, но не умели отличить ржи от овса, клена от липы.

Выспренние, жеманные, вздорные! Все простится за честность, но вздорные же!

Мы обожали Александра Блока. Но однажды, после поэтического вечера в Университете, он, усталый и демонический, сказал побывавшей там Нинетте (она же — «Фиделька, собачка нежная»): «Страшен человек, который ничего не помнит, и он грядет. Но к тому, кто грядет, возмездием придет другой человек, который все помнит, и он будет еще страшнее». Мы тогда дружно решили, что Блок стал моветоннее паука Мережковского («Допился», — простодушно заметила шведка Линдберг), и принялись обожать мужественного Гумилева.

Нинетта была моей лучшей, задушевнейшей подругой во все годы, несмотря на то, что подвержена была нимфомании, добивалась меня долго и, конечно, безутешно. Потом она сошлась с одной девочкой-малюточкой, не в ущерб нашей дружбе. А потом платонически (как можно иначе!), но страстно влюбилась в одну из великих княжон. Однажды она загадала: если княжна мне сегодня не улыбнется, отравлюсь. Мы ей, выдумщице, конечно, не поверили. Княжны приехали из лазарета, им было не до улыбок. И Нинетта отравилась, да неудачно, то есть умерла. Бедная, бедная.

А я мечтала о своем Майерлинге, и вышел мне «Майерлинг».

После похорон Нинетты: весеннее сияние, воздух с моря, залетевшая в окно золотая синичка, на столе поминальная бутылка мещанского пива и стебельки первой зелени с могилы Достоевского.



ГODOBOE KOЛЬЦO

1. Еще вижу, еще слышу

Нечасто, нечасто со мною такое теперь бывает: я тороплюсь домой, чтобы дочитать длинный японский роман. Осталась последняя, самая, конечно, упоительная сотня страниц из семисот. Я не могу налюбоваться этим романом. Он написан хорошим человеком в плохие времена, когда японцы принялись заливать креозотом и кровью всю Восточную Азию. Но в романе милые, ответственные родственники все стараются, все пытаются достойно выдать замуж засидевшуюся в девушках тридцатитрехлетнюю красавицу, устраивают ей смотрины — и то жених нечленораздельный, то она жениху бука.

Этот беличий бег на месте, эти встречи с людьми, которые заставляют тебя делать то, что им выгодно и что не нужно и гадко тебе, эти приговоры о твоём трудном характере, выносимые лгунами и мелкими мздоимцами. Этот корифей фундаментального знания, наконец. Ничего плохого не сделал мне этот человек, входящий в последний возраст. В возраст, когда узкий специалист теряет последние сомнения в верности выбранного тесного пути, и всякий, кто берется с ним спорить, — уже не умственно, а нравственно неполноценный субъект. А мы ведь с ним даже не разговаривали. Я его не знал, не расслышал его имени — профессор и значится в списках каких-то престижных академий.

Он сказал моему товарищу: Вас я где-то видел, и это, очевидно, должно было быть приятным моему товарищу. А Вас, — строго, с подчеркнутым несожалением, сказал он мне, — вижу в первый раз. Извините, местной прессой не интересуюсь.

И вот он учтиво вынимает из рук моего товарища недолистанный альбом («Я как раз выкроил время его посмотреть — и Вы должны понимать, что мое время гуще Вашего») и садится на отмеченное его положением расстояние в сторонку от нас. И через обусловленную паузу говорит будто бы про себя: «Что ж, недурно».

И этого хватает, Господи, мы это проходили. Я уже вижу его сотрудников, которые все никак не могут понять, почему рядом с ним, честным ученым и любезным начальником, так тяжело дышать одним воздухом, — и его близких, которые это понимают слишком хорошо, но смирились и имеют малодушие стыдиться своих редких от него побегов. Шелковый, бархатный, атласный — тиран, сатрап, деспот.

И меня охватывает приступ тоски, той, от которой каменеет лицо, вдвойне гнетущей от мысли, что, может быть, я все придумал или, по крайней мере, нечаянно застал профессора в минуту застенчивой неловкости перед чужими. Узкие специалисты — они же конфузливые дети до гробовой доски.

Нет слов, как хочется вернуться к книге и успеть поучаствовать в удачном сватовстве Юкико. Я словно боюсь опоздать. Словно эти страницы могут перелистнуться без меня, и чужое счастье обойдется без меня, а я без него.

Однако какой жаркий, какой душный приключился этот день, этот ранний вечер в августе! Я не могу идти быстро, и моя рубашка вся в мокрых блюдечках пожилого пота. Я не хочу, чтобы меня сейчас увидела молодая женщина, чтобы заглянула мне в глаза. В них видно мой затылок. Впрочем, в последний раз молодая женщина заглядывала мне в глаза по чрезвычайной надобности позапрошлой весной, в трамвае — она приняла меня за щипача, разрезавшего ей сумочку. И убедилась было тем самым, что — да, по адресу. Спасла меня наблюдательная старушка, она закричала: я видела, зелененький ни при чем!

Я хочу пить — и вспоминаю свой давний поход на Курган-Тигей, потому что в последний раз мне так обморочно хотелось пить 34 года назад, когда я ушел в раскаленную степь середины лета, ища заповедное место, обходимое стороной хакасами, во всем другом мужественно-несуеверным народом. Я нашел на холме, в ковылях, поваленную стелу и заглянул в те полубараньи-получеловечьи глаза. У меня подкосились ноги, и, полный ужаса и восторга, я осел в траву, разгоняя ящерок и кузнечиков. В гортани сухо до боли, и нет слез, чтобы оплакать собственную смерть.

Тронутый негаданными воспоминаниями, захожу в попутную сауну, где есть бар с холодильником. Теперь имеются такие

попутные сауны. Мне дают бутылку минеральной, я сажусь. Тихонько сгибаю растаявшие грузные ноги, чтобы не плюхнуться на скамью у входа, и пью, а ноздри мне щекочет миролюбивый дух сауны — горячее дерево, парок и припущенные листья, и, кажется, без кваса, брызнутого на камни, не обошлось.

Рядом со мной сидит человек лет сорока пяти, в шортах и маечке без рукавов. На плече у него скучный синий якорь и приятная надпись «Капитан Немо», на верхней губе грубый глистовидный шрам. Круглоголовый и круглоглазый, глаза смотрят доброжелательно, даже лучатся: несомненный сын Черемошников. Мне нравится, что он, человек со всячиной, видит во мне брата по человечеству, и меня немножко раздражает, что текущая по подбородку и затекающая под рубашку вода читается им как знак преодолеваемого, но непобедимого гиперборейского похмелья.

— Да нет же, — говорю я ему без особой надежды переубедить.

— Ну, тогда тем более, — улыбается он, не веря, — пиши завещание, в трех экземплярах под копирку.

В холл выходит распаренный молодой кавказец. Он опрятно, дорого подстрижен, на его длинном торсе и коротких ногах — отличная хлопковая рубашка, блестящие, глаженные брюки, дорогие неоновые туфли. О, этот шик однажды в России!

Не глядя-не видя нас, он подходит к большому настенному зеркалу. Видно, что изучение собственного лица доставляет ему огромное удовольствие, которое хочется тянуть. Он неумолимо трогает его руками, как будто возможно что-то на лице поправить или переставить с места на место. Потом он разглядывает в зеркале свою одежду и снова возвращается к лицу, то приближая, то отдаляя его от стекла.

В холл выходит второй раскрасневшийся молодой кавказец. Он посуше, повыше, по-горски рыжеват. Но столь же элегантен. Он встает за спиной у товарища и ждет десять вежливых секунд.

— Ахмет, — негромко говорит он, и тот выходит на солнце, а рыжий занимает его позицию. Все повторяется.

Человек с Черемошников закидывает ногу за ногу и, якобы продолжая разговор, роняет:

— Пацанство! Ишаки, орехи и видики раз в год у богатенького дядюшки. До пятнадцати лет босиком.

Из сауны выходит третий молодой кавказец. За ним тут же четвертый, пятый, шестой. Образовалась очередь.

Капитан Немо высказывается подробнее:

— А я вырос на старом кладбище, на втором Томске. Давно его закрыли. Нас было много пацанов. Всех посадили, все сидят (проговорил он с удовольствием). По всякому — хулиганка, гоп-стоп, анютины глазки (? лучше не спрашивать). Пить-курить научились вместе с азбукой. Жили на кладбище. Вот в родительский день лучше всего — народу полно, еды, выпивки остается много. Побирušек мы не подпускали, лупили их и все такое (тут его передернуло). Так вечером выбираем: пьем только вино с конфетами, едим бутерброды с колбасой. Винегрет — конечно! И заваливаемся между могилок, не пошел бы дождик. А с утра уже все подметается — водка, хлеб, любое там! Похмелье — оно аппетитное!.. Потом из зоны по соседству маньяк какой-то сбегал и зарезал одну несогласную бабушку. И нас с кладбища погнали. И фиг бы выгнали, да подросли мы. Заскучали сами.

Дети Кавказа заметно и сочувственно, с признаками сравнительно-исторического волнения, прислушивались к его словам.

— А вы говорите: университет, синагога, да здравствует капитализм! Какая разница? Кроме детства, что есть? Ничего, — закончил он.

«Он, конечно, умен и отзывчив, — успел подумать я, — но я же ничего не говорил».

Из сауны вышел пожилой кавказец, полный, усатый, щетинисто-волосатый, старозаветный: в мятой рубашке, нечистых джинсах и кроссовках чугунного литья. Молодежь пулеметной очередью выскочила на улицу, и кто-то выронил на пороге пачку «Мальборо». Но не вернулся за ней.

Капитан Немо кивнул мне уже свысока и стал обниматься с толстяком, шуточно приподнимая его над полом. Тот немедленно пукнул. «Свят, свят, свят!» — отозвался Немо.

Проходя к дому мимо безлюдной баскетбольной площадки, я поднял глаза на свой балкон и увидел, что там, как всегда со дня приезда, сидит, дожидаясь меня, Иван Прохорович. Он си-

дел, вернее, возлежал в старом кресле весь день, несмотря на страшное послеобеденное пекло. За ним, вокруг него, горели отраженным, можно сказать, пурпурным пламенем окна. Он дремал, сцепив руки на огромном животе, танцевально раздвинув колени и опустив свою бегемотскую сахарную голову на плечо, где приткнул самодельную мамину диванную подушечку. Глаза его были величественно закрыты. Ему не хватало тоги, белой тоги с кошенильной каймой.

У него были ослепительно-синие зрачки, мне подумалось, что сейчас они прожигают ему изнутри веки.

Ивану Прохоровичу, лучшему человеку, исполнилось семьдесят два года. Он «кантовался» в деревне, километрах в двухстах к северу от Томска, и был старый лагерник. Маялся он в Тайшетлаге (не на Колыме, повезло) за пуд семенного зерна, украденного за-ради сестренок в голод 47 года. Он говорил, что в лагере было сытнее, чем на колхозном раздолье, и можно было уже ничего такого не бояться. И били мало: он привез домой половину зубов и всего через месяц проснулся мужчиной.

По большому счету, в лагере его возмущало разве что обильное распространение педерастии. «У нас, — рассказывал он, закипая, — даже начальник КВЧ был жопником. Нет, ты не представляешь! В погонах!»

Он сказал, что приехал в город по делам. Никаких дел в Томске у него не могло быть, да он и не ломал больше комедию, честно просяживая день за днем на балконе. Он приехал отчасти от охоты к перемене мест, отчасти — ко мне лично. Мне лично это было лестно.

— Иван Прохорыч! — окликнул я, заходя в прихожую. В дверях зала стояло багровое сияние, и в нем, вверх-вниз и по кругу, плавали, искрясь, пылинки.

— Что не так? — весело откликнулся с балкона мой старый друг. Кресло даже не скрипнуло.

— Да все так, на фиг, — ответил я, выходя на балкон. Солнце жгло глаза. Листва и трава на школьном дворе темнели монотонно-надежно. На баскетбольной площадке ветерок цеплял скомканный целлофановый пакет. Иван Прохорович с усмешкой, достойной старого кремлевского лицедея, покосился на меня: нет, ты спроси что-нибудь.

— Иван Прохорович, — спрашиваю я, — ты зачем каждый день моришь себя на солнцепеке? Лежал бы на диване, Пушкина бы почитал. Понтием Пилатом себя воображаешь?

Он кокетливо-небрежно шевелит пальцами. Сравнение его забавляет.

— Нет, — отвечает он, подумав, собравшись со словами, — как разогреюсь на солнышке, закрою глаза — маму вспоминаю. Какая у меня была ласковая мама! Теперь таких мам среди этих грамотеек нет. И я при ней как жеребенок, белой лошади ребенок.

Мы пьем с ним чай. Долго, пробуя разные сорта: со смородиновым листом, с бергамотом, с жасмином, с суданской розой. Солнце тонет под каемку тимирязевского бора, и над ней тут же рисуется пушистая дымка. Может показаться, что солнце низошло в неведомую воду, и закипевшая вода отдала пар. На самом деле это не пар и не туман. За рекой все это сухое невозможное лето тлеют торфяники.

— У тебя деньги-то есть? — неожиданно спрашивает Иван Прохорович. — Я могу дать. Я шкуру продал этому шведу, вместе с блохами.

— Тебе нужнее, — отвечаю я, — могу и добавить. Вдруг тебе нехватит, как соберешься жениться. Ты ведь присмотрелся, я знаю.

Он отмалчивается. Только что посвистывает соловьем. Умеет. Мы довольны друг другом.

За открытой дверью балкона — горячий черный вечер. Запели пережившие нынче свой век комары — и их тут же перекрыл долгожданный тугой звон баскетбольного мяча. Они пришли, те трое мальчишек.

Все лето, из вечера в вечер, без выходных, с наступлением темноты они начинают стучать, бросать по кольцу — и заняты этим до двух, до трех ночи. Три тоненькие фигурки в свете далекого фонаря. Они играют как заговорщики, молча, не перекуривают, не пьют пива. Молча. И свет фонаря перекрыт щитом, поэтому кольцо они толком видеть не могут.

Чьи они, почему они? С каждым днем я озадачиваюсь все сильнее, я даже сдерживаюсь, чтоб не сходить к ним, не вглядеться в них. Они что же, колдуют своим мячом? За здоровье? За упокой?

— Наверное, не могут привыкнуть, — туманно говорит Иван Прохорович и укладывается спать. А я сажусь на кухне, для крепости переживаний включаю настольную лампу и погружаюсь в японский роман: «Не сговариваясь, они решили ничего не говорить Тэйноске, а с Таэко держаться так, будто ничего не произошло...» Восхитительно.

Мяч стучит как метроном, поздние прохожие, пробираясь между гаражами и школьной теплицей, ругают темень и самих себя. В ночной перспективе их слышно отчетливо, далеко, но голоса их звучат с какой-то лесной нежностью.

В два часа пополудни я благоговейно закрываю книгу и говорю в распахнутое окно:

— Слава тебе, Господи, — Юкико просватали.

Тихо пробираюсь к дивану и, раскладывая по нему свое тяжелое, в наростах времени и огорчений тело, проникаюсь печалью. Ну вот, затянувшаяся юность Юкико закончилась. Каково ей становиться взрослой в тридцать три-то года? А через год Пирл-Харбор. Хорошо хотя бы то, что жить она будет в Осаке, а не в Хиросиме.

Беда, если я не усну до ухода мальчишек.

Полный мамой и солнцем, Иван Прохорович спит немом, мозабвенно, будто и нет его здесь. Луна осторожно засовывает кончик рожка в уголок окна. Мяч стучит как метроном.

2. Гладиолусы, люк, зеленый лед

Отважный, неутомимый, он пробегал по темени небоскребов, по кромкам плоских крыш и добровольно срывался на безумном сквозном просторе в пропасти над омутами очарованных нью-йоркских улиц. В последний, погибельный миг человек-паук выпускал свои клейкие нити, триумфально зависая над бездной, — и дети превращались в сплошной птичий базар, бушующий под ярким солнцем.

Голова у меня стала кружиться сразу, вскоре к ней присоединился вздрагивающий желудок. Еще прыжок — и, бессмысленно проклиная киевские котлеты, «о, мати городов русских!», я уже пробирался в тылы, в темноту, за спасительный барьер между залом и входом. Ноги слушались плохо — я шел вялым, рыскающим шагом, заваливаясь вперед, и вскидывал подбородок, чтобы не упасть.

Никогда не покорялись мне моря, а все-таки морская болезнь меня настигла.

— Ничего, не стесняйтесь, — прошептала мне дежурная старушка, — не вы первый такой нежный родитель. Через день на ходятся такие неспортивные, не выдерживают. Не рвет вас, то есть не тошнит? Перемогнитесь, отдохните.

Слышать это было обидно, но отчасти и отрадно, ввиду гуманности речи. Когда еще тебе вот так, бесплатно, посочувствуют?

Прислонившись к дверям, я делал глубокие вдохи и прозаически думал о здоровье, о возрасте. И вспомнил про Машу Иванову и Симу Извекову — двух семиклассниц, которые зимой 1949 года выполняли по две мужские нормы на лесоповале. Их наградили за это грамотами райкома и талонами на фуфайки. С Симой я познакомился в прошлом году. Ей уже семьдесят лет, она колет кабанчиков по всей деревне и любит негодовать на безнравственность телевидения, настаивая на том, что такого растления и унижения женщины, как ныне, при Сталине не было. «И вообще мы росли крепкие, я сама кого хочешь отоварю».

А валидол остался дома, и надо было возвращаться в наш первый, самый звонкий ряд, пока меня не хватился сын.

...Было сухо и как-то сумеречно. Средняя осень, утро и вечер похожи друг на друга. Последний дождь прошел с неделю назад, но пыль не проснулась — она окончательно прибилась до будущего года. Листва с полураздетых деревьев лежала повсюду, вихорьки прихватывали ее мелкими, порционными охапками — «пуками» — и переносили на недалеее новое место. Легкая и свежая, листва сама собой складывалась в яркие, чистые узоры, пахла скипидаром. На нее было грешно наступать. Мне кажется, многие люди в этот день ходили по городу, как гости.

Но только не унылый человек, изо дня в день сидящий у второго подъезда с рассвета и до заката, сегодня — задницей в засохшей клумбе. Унылый, как дверь подъезда, на которой в гриппозную морось лепят одну на другие бумажку с каноническим текстом: «Не захлопывайте дверь!!! Ждем врача». Это был алкоголик и нюхач, удостоенный целых двух народных прозвищ — Стерегающий и Туземец. Потому что, коротая свое чудовищ-

но беспредельное время, он опознавался как древняя каменная баба в степи и являлся важным моментом нашего скудного ландшафта.

— Выложил три квадрата, — посетовал он, — ну, сдал работу, принес ей полный лопатник, а она не дает.

— Что не дает? — робко спросил сын. — На пивко?

— Да нет, — дернул плечом Стерегающий. — На пивко-то я в почтовом ящике отложил.

— Наверное, я все-таки дам тебе в лоб, — сказал я.

— В роговой отсек? — уточнил Стерегающий и потрогал разбитую губу. Мои слова пробуждали в нем интерес к жизни.

За трамвайными путями, рядом с остановкой, оседало оземь на наших глазах листовое облачко. Оседало — и целиком пропало в открытом дорожном люке. Мы подошли к люку и заглянули в его темное, зловещее нутро. Из тьмы раздавался негромкий неровный шум, словно листья насвежо переваривались этой всеядной утробой.

Я огляделся: крышка — фельетонная крышка люка — не обнаруживалась. Ее, конечно, присвоили, унесли известные добрые люди.

— Если срочно не закроют этот люк, — сказал сын, — сюда кто-нибудь обязательно свалится. Народ сейчас не очень-то внимательный. Упадет ребенок, может быть, даже вместе с колясочкой.

Он подумал, примерился своим оленьим глазом и добавил:

— Если колясочка узкая, летняя. Сидушечка.

Мы сели в долгожданный трамвай и поехали в кино. Трамвай был болен, его воспаленная резина пробирала нам легкие. Но он выдюжил до срока, не заблудился: пробежал, привычно качаясь, до рыночка, скатился направо вниз, до кольца, и только там, где не обидно, капитулировал, испуская, как каракатица, клубы тяжелого, смрадного дыма, обгавканный какой-то зеленоватой, похожей на бывалого вохровца собакой. Батеньковские голуби тут же разлетелись по окружающим кровлям. Один из них сел декабристу на макушку и сверху надменно заглянул ему в очи, цепляясь за эфир трепещущим крылом. Зная, что может за этим последовать, старый масон, показалось, опустил в ужасе каменные веки.

А китайцам-воробьям было все равно.

Не успели мы войти в переулок, как у меня в кармане забилась припадошный телефон, выводящий «Цирковой марш». Мне неловко за этот бодрый сигнал, особенно в транспорте, где собирается тьма ипохондриков, но вибрацию и мелодию устанавливал мой сын, обижать его мне не хочется, и я терплю. Женский голос, такой обиходно-сволочной, спросил: «Это вы?» «Это я, — ответил я, — но не уверен: если Я лично вам нужен, то это я; если нет, то не я». «Это точно не вы», — уверенно отрезала женщина и отключилась.

Эпоха телефонов демонстрирует нам, что резервы человеческого идиотизма были до сих пор лишь частично востребованы богами. Все еще впереди. Прогресс нас раздевает. Только «поскребите» нас... В сущности, это даже праздничный вывод, но настроение у меня испортилось.

Сын остановился у низкого окна деревянного двухэтажного дома. Дом и окно накрывала вечная тень двух кривых и толстых тополей, их ветки сплетались с большой солидарностью. Оконное, стекло было так хорошо промыто, что мелькнула мысль об его отсутствии. На подоконнике стояли в пустой банке розовые гладиолусы, приглашая потрогать их руками. Они были старые, уже пергаментные, с траурной каемкой на лепестках.

— Здесь живет бедная учительница, — догадался сын, — цветы стоят с первого сентября. А ей жалко их выбрасывать. Чего вздыхаешь так скучно — школу вспомнил?

— Вспомнил, — ответил я. — Для меня, брат, они давным-давно грустные цветы. Безвозвратные. О, моя юность, о, моя свежесть!

— Ты еще совсем нестарый, поживешь еще, — сказал, зевая, сын, — нечего «оокать». Ешь поменьше да не сиди по ночам, не протирай стул.

— Постараюсь, постараюсь, — заверил я его, а вернее — себя.

Гладиолусы на мою первую линейку, как и на все другие линейки, присылали мне со своего огорода дядя с тетей, жившие за Енисеем, на железнодорожной станции. При мне же их и садили: вот здесь твои гладиолусы. Их сын, мой любимый двоюродный брат Алексей, тогда совсем еще мальчишка, вез их на электричке, она прибежала в 7:45, он летел прямо на школьный

двор, минут десять, а линейка начиналась в 8:00 — он успевал. Помню, как я нервничал, как волновалась мама: все с цветами, а я — без, вдруг электричка опоздает, но она не опоздала ни разу за все годы, и всегда мой букет был самый пышный, самый красивый, Алексей не забывал довольно беспардонно отметить это перед строем детей и родителей. Они, все знакомые и соседи по маленькому городку, его, понятно, запомнили и говорили мне со следующего года: в чем дело, младший брат, где твой старший брат, дать тебе по цветочку?

Гладиолусы, бордовые или кремовые, были в свежей росе, сверкали, среди них всегда находилась плитка шоколада «Золотой ярлык» в промокшей, скользкой обертке. Как-то я увидел с гордостью в магазине: самая дорогая — «1 р.30 к.».

Дядя с тетей давно спят рядом на маленьком кладбище на берегу енисейской протоки. Кладбищу сорок лет, я знаю всех, кто там зарыт. Если кладбище однажды исчезнет, значит, отмучилась, уходит в небо и вся моя страна.

...А этот человек-паук, что ни говори, молодец, настоящий тимуровец. В середине сеанса сын возбужденно, громким шепотом заявил: он честный какой, он же мог бы кучей денег напихаться, обворовать пол-Америки и свалить в Анапу, но он совсем об этом не думает, благородный. Жаль, в Томске ему не бывать — мелковат город, тесноват, невысок, — заскучал бы, выпивать бы начал.

Меня это поразило: он вкладывал в слово «заскучает» конкретный культурный смысл. Так он, глядишь, поймет, отчего бывают войны, почему сплетни нужней людям, чем правда, и зачем абсолютно богатые люди стремятся быть абсолютно богатыми людьми.

Естественно, до самого конца я боялся засасывающих бездн, опускал перед ними глаза, дабы они не вгляделись в меня. Человек равнины, я слушал фильм, но жадно внимал и воплям, и шепоткам ребятишек и думал: а будут они вспоминать эту белиберду через годы так же благодарно, как я вспоминаю «Гусарскую балладу» или «Фантомаса»?

— Разрешите поздороваться, — на выходе из кинотеатра почти столкнулись: подтянутый, более чем опрятный мужчина,

помоложе меня, вроде бы и «белый воротничок», но отдает от него ряженым — затемненные очки-капли как бюстгалтер на круглом лице, мелеховские усы кажутся наклеенными.

— Вы учили моего сынишку, помните?

Да-да, вспомнил и сына (прилежный, тактичный мальчик), и его самого.

Было еще в той бесталанной жизни.

— Это ваш внук?

— Внук, — покорно ответил я, уже не в первый раз. Сын покосился на меня, поднял палец к виску, но промолчал. Мужчина прошелся с нами до перекрестка.

— Я всего лишь инженер, технарь, как раньше говорили, — сказал он, — но очень занимаюсь историей. Прямо хвораю по истории. Цивилизации, загадки, эти мумии... Увидел вас — понял: вот кто нас рассудит. Мы с... коллегами спорили-спорили... Скажите (тут он понизил голос), правда ли, что Екатерина Вторая баловалась с жеребцами?!

— Неправда, — вежливо ответил я. — Но слух показательный.

— Что и требовалось доказать, — весело подхватил он. Мы помолчали.

— Любите охоту? — спросил он. — Послезавтра открывается сезон. Можем вас прихватить с собой на уточек. Будет местечко в машине, дадим ружьишко.

— Что вы, какой из меня стрелок! Да и силы не те, чтоб по болотам лазить.

— Рано, — сказал он, — не надо сдаваться... Святое дело!

Заскучавший сын оживился.

— Я вам скажу, какой он стрелок. Помнишь, папаня, ты подпил немножко с дядей Олегом, он ушел, а я пришел с луком, потом пришла мама, а ты говоришь... в шутку, в шутку!.. «Давай поставим маму в угол и будем стрелять. Если в лоб — три очка, если в пузо — два очка, а если в глаз — пять очков!» Мама, верите, обиделась: не надо мне таких шуток, и где пятьсот рублей, я положила под часами? Пропили? И закрылась на кухне.

Сыну показалось, что я встретил старого друга, от которого не может быть тайн.

— Ты предатель! — почти закричал я.

Родитель ученика добродушно усмехнулся и сказал:

— Не переживайте. Ничего, все мы предатели. Дело житейское. Ребенок немножко перепутал... ну, понятно что. Случается и куда похуже из ничего, по простоте нашей кондовой. Вот со мной был случай...

Он снял очки.

— Было мне, как вашему вну... сыну. Жили мы в Шпалозаводе, на севере, рядом с Нарымом. Знаете. Дед один смазывал лодку солидолом, мы, дети, стояли рядом, глазели, нюхали. Тут же стоял отцовский мотоцикл. И старший парень, Николай мне говорит: ты тоже смажь-ка мотоцикл солидолом, погуще, чтоб не заржавел. Я и смазал от души. Идет отец, дает мне яблоко, садится на «Иж»: съезжу на протоку. А Николай, поп Гапон, шепчет: дурак, пенек, как заведет отец мотоцикл — взорвется! Может, насмерть! Скажи отцу, живо! А я боюсь — рука у отца железная, ремень офицерский. И молчу, слезы в глазах наливаются. И все молчат. Молчу, то есть пусть уж лучше взорвется, авось уцелеет, чем выпорет...

Вспоминаю — холодом обдает... Долго я то яблоко в кармане носил. Так и не смог съесть, отдал кому-то...

Я глядел на него, широко раскрыв рот.

— Взорвался? — спросил сын.

— Нет, — ответил он и, махнув рукой, пошел прочь. Остановился на углу и на прощанье сказал: — Он живой еще, отец, теленка на себе носит. Часто к нему езжу.

Я смотрел на его простывший след: бог с ней, с Екатериной, понятно мне твое страданье, встреченный среди осени человек.

Были вереницы лет, когда я подолгу не ездил на родину. Тетя умерла — а я был в Самаре, ушел дядя — а я был в Петербурге. Наконец, когда уже и приезжать было совестно, я — тут подходит гадкое слово — заявился. Брат встретил меня с неотменной теплотой. Ясно, что обида висела в воздухе, но высказать ее вслух он не мог, ему не хватало красноречия, но хватало такта: жизнь тогда нас всех держала за горло, гоняла по своим душным желобам. Какие упреки, зачем?

Мы пошли в лес с маленьким сыном и тремя чудными снежными лаечками — бабушкой Стрелкой, ее дочерью Вандой и внуком Нахалом. Ушли недалеко — сын и Нахал быстро уставали, садились на тропинке и скулили. У них в этом смысле было пол-

ное взаимопонимание. Я взял сына на руки, Нахала посадили в корзиночку — они тут же, как по уговору, описались. А Нахала к тому же укачало.

Но Стрелка с Вандой успели облаять сосну, и брат вскинул ружье. Не целясь, но молодая белочка полетела вниз, прямо на семейку маслят. Алеша попал ей в голову.

Он поднял ее, вложил мне в руку и подмигнул. С годами он все больше походил на видного индейца из фильмов студии ДЕФА, поскольку дядя был сарептинский немец, потомок добрых братьев гернгуттеров, а индейцев изображали в основном социалистические немцы, поэтому в устах ирокезских вождей усматривались иногда металлические зубы — и у Алексея тоже имелись три стальных зуба.

Мы пошли домой. Одной рукой я прижимал к себе описавшегося сына, описанный им, в другой — держал остывающую белочку, такую серую и, безусловно, страшную. Лайки прыгали вокруг меня, толкались, от радости распеваясь на голоса. А брат закинул ружье за спину — руки его были свободны, но он делал вид, что не замечает моих затруднений, и пел про пароход, «белый-беленький».

Мы пришли на огород, там я положил белочку на стол под навесом и ополоснул руку в дождевой бочке. А брат не обращал на белку внимания, так и не прикоснулся к ней до самого нашего отъезда.

Это было возмездие.

...Мы вышли из трамвая, и первое, на чем остановился взгляд, — грязный, потрепанный «москвич», чье переднее правое колесо надежно провалилось в тот самый люк. Около него стояли двое — хозяин машины и Стерегущий, похихатывающий над ним. Лицо хозяина было совсем никудышное, невыразительное, оно тем более меркло перед его ало-синей в полосочку рубашкой.

— Он богашевский, деревня, — сказал мне как о чем-то важном, объясняющем суть дела Стерегущий, — сел на кукан. Переживает!

— Помогите, — бесцветно, безнадежно сказал человек из Богашева.

Я понял: он не верил в помощь, потому что городские — люди челночного хода — побрезгуют мараться об его «москвича»,

потому что сам он — посадской — ни за что на свете не опустился бы до такого абсурдного одолжения другим.

Но мы с Туземцем составили ему компанию и вытащили машину, удивляясь, что она, на вид — плевого весу, поддавалась нам с существенной натугой.

— Свинцовая она у тебя, с начинкой, что ли? — сказал Туземец.

— Там сидит большая тетка, — объяснил сын.

Правда. А мы и не заметили — ветровое стекло ослепло на закате. На заднем сидении все это время имелась женщина, сама крупнее крупного, и ее мощный парик тянул на добрый пуд, а было еще кожаное пальто с меховым воротником, и рядом с ней — огромная сумка, вмещающая, видно, что-то сплошь статорно-роторное. Очки делали ее лицо особенно злым, она недовольно глядела на нас в упор и грызла свои пальцы.

— Заведующая? — сказал оторопевший Стерегущий.

Ее муж больше ничего не сказал, он достал из багажника тряпку, вытер руки, бросил ее обратно и с отсутствующим взором сел за руль. Мы посмотрели на свои руки — они были черны и пахли чуть ли не навозом.

Машина фыркнула и покатила в сторону Тверской. Корму ее, честное слово, заносило, как на поперечной волне.

— Современность: дрищ и ссыкуха, — сказал Стерегущий, — так что давай, пожалуйста, на «Балтику».

— У нее нет ног, — объяснил сын, — скорее всего, у нее ног нет, я думаю.

Стерегущий внимательно посмотрел на него, погладил себя по макушке и осторожно, тыльной стороной руки, чтоб не запачкать, похлопал его по плечу.

...Постороннему человеку могло бы показаться, что в этом ближнем лесу, где когда-то единолично правили мои родные, а теперь размножались чужие дома и дачи, брат устроил душевный и наивный парадиз. Вдоль убегающей до самых озер тропинки он понаделал приблизительных скамеек из осиновых жердей. Осину он презирал, не жалел, а на этих скамейках задумчиво отдыхали под зеленый шум дядя, тетя и моя мама. Они старели, старели, переходы их становились все короче, и скамейки вставали все чаще. На гриве, за полынкой еланью,

жила-была наша заповедная сосна. Под ней я в детстве прочитал: «Вот ты дремлешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует — как же нет любви?» Алексей привязал к ней самодельный осиновый трап и сколотил на высоте, на развилке, смотровое гнездо. Взгляд бежал по сосновому морю, перебегал узкое и гладкое вдали лезвие Енисея и утыкался в телебашню на синем холме над левым его берегом. (Она-то была лишней, незваной, навязчивой.) Под Новый год Алексей наряжал в лесу живую елочку и делал это по-купчески, с шиком, без оглядки на стужу. На елке горели свечки, перемигиваясь со звездами. Яблоки и апельсины смерзались в камень и просились в пращу. Мы встречали Новый год у костра, на грудах еловых лап. «Был ли счастлив ты в жизни земной?» Нам, бывало, казалось, что мы счастливы.

А дети Алешины вырастали и собирались переехать в город — и выросли и переехали, и родители старели, уходили — и состарились и ушли. А мир держался на них, и уставший от людей и их матерных свойств брат старался остановить, умилосердить время, так отогревая эту пядь земли, рядом и мимо которой шли в тайгу не пуганные еще дебрями поезда. Стук колес, локомотивные гудки — как они мягчали и роднели здесь, среди стволов, корней, над слоями палых иголок и шишек, горстями косяники и брусники!

Увы, брат потерянно бродит по округе, как шатун, он прирастался читать сокровенные, обычно поддельные книги. В огородной избушке ночует какая-то непальская «Книга мертвых».

...Мы постояли у входа в подъезд. Сын знал, что дома его ждут ужин и обязательное заучивание наизусть стихов о родном городе, в которых очень настойчиво, похмельно, я бы сказал, воспевались терема и сибирский характер, — и делал вид, что ему приятно прохлада и краски густящегося вечера. Я его понимал — меня ждала запоночная работа, которая не стоила того, чтоб ее делать всерьез. Интересно, кто из нас первый попросится домой?

Когда мне было столько, сколько ему, я был ужасно терпелив. Я в тот гагаринский год с зимы до зимы читал и перечитывал чу-

десную толстую книжку «Круглый год», размышляя над картинками, кто симпатичней, ласковый Ленин или лукавый Дед Мороз. Дядя говорил, что Ленин. Но, к сожалению, Ленин был лыс.

Я жил тогда у них в Муравском, они еще не перебрались на Станцию. В природе не было ни Станции, ни самой железной дороги. Однажды весной дядя разбудил меня ранним утром и сказал: беги на речку — начался ледоход. Над деревней, вдвое плотнее над речкой висел сизый туман; под серым уютным небом в мелкой Муравке скрипели, парясь, зеленые, в трещинах, льдины, нет-нет да и выпрыгивая на плоский голый бережок. Навстречу мне в мокрых сапогах шел десятилетний Алешка, он стрелял в меня, семилетнего, из пластмассового пистолетика. Пистолетик отличался непрерывным, автоматическим боем. Скрипели льдины, потрескивал пистолетик, каркали вороны. Наше оружие до сих пор было исключительно самодельно-деревянным. Я не видал раньше таких пистолетиков.

— В речке нашел, на льдине принесло, — сказал Алексей, — еще бы половил, да фатер велел во дворе прибрать. Иди полови, пока Крыльцовы-нахалята не пронюхали.

Долго я стоял тогда на берегу, отказавшись завтракать. Ни черта я так и не выловил — напрасный труд!

Надул меня Алешка. Этот пистолетик дядя, оказывается, купил в Красноярске еще месяц назад, когда ездил на краевое совещание директоров школ. Купил его мне, но не отдавал, прятал, ожидая от меня хорошего поступка, чтоб вознаградить. Но я же ничего не знал! И хорошего поступка никак не могли дожидаться. Наоборот, вместо поступков сыпались одни проступки. И как раз накануне, отказавшись от теткиной вкусной и здоровой пищи, я наперся чесночного супа у соседки Крыльцовой вместе с нахалятами. Этот едкий суп в наступившее тепло бедная птичница тетя Дуся решила сварить во дворе, на кирпичиках, по соседству с собачьей будкой. (Особая прелесть — выструганные ею деревянные черпачки, очень удобные для питания из артельной посуды.) Там мы его и съели вместе с редкими дождевыми каплями. Хорошо вы готовите, сказал я хозяйке, не то что тетка с ее жирными, никому не нужными борщами. А тетя давно уже ревниво-сердито следила за мной из-за забо-

ра. «Ах ты, маленькая сволочь!» — закричала она, наваливаясь на забор, — и он рухнул под ее серьезным телом. «Никогда я так не смеялась», — повторяла потом тетя Дуся.

Все-таки вечером меня пожалели. Когда я выпил кружку ненавистного молока, дядя кивнул Алексею, и он отдал мне пистолетик.

«Пойдем домой, я замерз», — теребит меня сын. Не тереби меня, сын. Я все стою в тумане на берегу Муравки и жду. Высматриваю, когда зеленые льдины принесут мне пистолетик. Легче ждать, когда хорошо видишь. Тогда я не носил очки, видел хорошо, зорко, как всю жизнь — мой бедный, бедный отец.

3. За четыре бедняцких обола

Начну бесхитростно: сразу после Старого Нового года встали сильные морозы и стояли уже третью неделю. По городу вымерзали и выгорали пьяненькие, пожары побежали по допотопным слободкам, где проживали наследственные антибуржуазные томичи — потомственные грузчики, сторожа и экспедиторы. Если им везло, они успевали выбежать на улицу, прихватив остатки спиртного, дожевывая закуску, и виновато слушали, как в яром огне взрываются банки с солеными огурцами.

На Степановке, именно на улице Хмельницкого, утром третьего дня обнаружили окоченевшего мужчину: он упал, крепко подвыпивший, и заснул, прикрыв глаза ладонью, как от яркого света. Его шапка отлетела метра на два, и в ней нашли камень, оказавшийся воробьем, которому не помогло секундное тепло, переданное шапке теменем несчастного.

А вчера мне позвонила Анастасия Евгеньевна и рассказала, будто звонарь Сережа из Казанского храма рассказал ей, что от мороза лопнул колокол: на вечерю, крючась на ветру, Сережа хватил билом как-то не в меру сильно, и отломился кусок, такой большой, что, падая, пробил перекрытие. В заключение она вздохнула: плохой знак, и не первый такой плохой знак. Надо из этого города уезжать.

Нетвердый в физике, я позвонил Сереже, и он с негодованием опроверг это известие. Сказал, что с Анастасией Евгеньевой вообще не общается целый год, потому что она врушка,

а если его и отстранили на время от должности, то по совсем другому поводу. А по какому, не скажет — не хочет выглядеть ябедой, зато отцу-настоятелю в свое время будет сложно выкручиваться перед Господом за такую обиду малому ему.

Но морозы, добавил он, и вправду нехороши, зловещи. Не потому, что сильные, а потому, что серые. «Обратите внимание: всегда же чем студеной, тем солнечней, розовее. А тут с самого начала хмарь и скука. Как в остяцком аду».

Мы от такого холода поотвыкли. Легко, но уже без удовольствия припоминалось: подобное было лет 25 назад, когда утро за утром молодой я летел на службу, зажмутив глаза, обмотав лицо несвежим, прокуренным шарфом, перебежками — от порога до булочной; от булочной до подъезда столетнего дома купца Абдуллина, от подъезда до вестибюля пивного завода... И, наконец, страшный долгий марафон круто вверх по Горбатой улице, теперь в компании с другими обезумевшими согражданами, — а навстречу неслись рабочие пивзавода, они бежали легко, вниз, зато лицом к реке, им доставалось втрое, и они храпели, как кони, с облезлыми красными мордами.

На слепом бегу мы с ними часто сталкивались — бегущие сверху крепкие пролетарии сносили нас, как горожки, на обочины тротуаров.

Но сегодня, не справясь по летописям, еще и встал густой туман. Сын проснулся раньше всех, до будильника, и пошел по пальчиковать в кабинете без свидетелей. И оттуда разбудил нас криком: пустота, пустота! Глянули в окно — за ним действительно было пусто, зияло.

Я шел в молоке к трамвайной остановке и не видел ни остановки, ни школы, ни магазинов, ничего. Куда там, — выйдя из подъезда, я оглянулся: где Дом твой, Адам? Весь наш огромный дом растаял, исчез за мгновения без остатка.

Мир надо было открывать заново. При видимости в десять шагов все проступало в чудесной, обновленной отдельности, частями, и тут же затягивалось дымкой, засасывалось белизной, растворялось в колючей арктической тишине. И казалось: уши плотно заложены густой ватой тумана. Собственные шаги были едва слышны и не узнавались, словно шел не ты, а кто-то незримый рядом.

Да ходят ли трамваи, подумал я, но через вздох успокоился: ходят, куда ж они денутся? Потому что дошел до путей, до сквозняка и услышал слабенький, но почти непрерывный трезвон. Катясь медленно, наощупь, приближающийся трамвай извещал: я иду-иду-иду, тук-туки-тук, вы — раздайтесь, пропустите, жить хотите коль — замрите, а вас могу сейчас принять на борт, за четыре бедняцких обола.

Невидимый никому, не стесняясь, я от души улыбнулся. Латаные-заплатанные, ломаные-пригорелые, за десятки лет навечно пропахшие маслом, старостью и потом, бурлаки-трамваи тянули свою лямку.

Вот остановка, вот группа лиц с поднятыми воротниками, а вот и трамвай с включенными фарами. Есть ли внутри туман? Нету внутри тумана, вместо него кратные облачка пара — людей много, и все они, кажется, и присмирившие от холода, но зато необычно говорливые, как на базаре. Что понятно: ведь каждый, заходя в вагон, невольно говорит что-нибудь вроде «Да-а, мороз, а летом-то было тепло» — и пошло-поехало.

Все заметно потучнели, округлились от всяких поддевок, оттого, что втянуты головы и поджаты конечности. Здесь красные лица напоминают о снегирях. В основном — о пожилых снегирях.

Ехать далеко — надо послушать людей. Как всякий русский лентяй, я люблю эти необязательные чужие разговоры. И, честное слово, не потому, что у меня длинный Аннушкин нос. Но и не потому, что ищу в них драгоценные россыпи житейской премудрости: тут вам не Африка. Здесь народ с годами, как правило, грубеет и костенеет душой. Куда там, в трамвайных собеседованиях замечательны как раз бесконечные репетиции одних и тех же корявых историй, выраженных в одних и тех же словах и припевках, что сложились задолго до моего рождения, в те годы, когда мой отец, направленный в Институт Красной профессуры, высадился, в кубанке и обмотках на Курском вокзале и вернулся в никогда не виданный им трамвай — переполненный московский трамвай, оттоптав ноги земляку-писателю, как выяснилось, по фамилии Платонов.

Но в этом-то все и дело. В этих повторях — свое волховство, оно надежно свидетельствует хотя бы о том, что мир не стал за-

гадочней и хуже, чем он есть. Представить жутко, что трамвай однажды замолчит. Кто, какими будут его сдержанные пассажиры? И еще: случись чудо — заиграй теплый лучик над нашей замороженной землей, поверили бы мы в него, узнав про него из газет или нарочито-пылких речей? Ни за что. Дайте нам увидеть-услышать его отражение в трамвайной сутолоке.

Поначалу все шло как обычно. Две старухи разговаривали в сотый раз о том, как сына или внука одной из них не сумели спасти врачи. Он распил с товарищем бутылку метилового спирта и умер. Известно, что с такого количества метилового спирта вроде бы слепнут — это ладно, но более того? А тут умер. Конечно, врачи виноваты — дали что-нибудь не то или пустышку дали. Врачи удивительно бесчувственны и не знают ничего.

Вторую старуху надо было лечить от давления, а дали для давления. Или наоборот? В общем, чуть не отдала богу душу. Дари им коньяк, шоколадками заваливай. Вывод был простой: расстрелять хотя бы одного.

Похожий на шуку старик и мужчина с разбитым лицом, наверное, сын. Он рассказывает: «...И тут Лепехин заныл: оставь мне сотенку, на хлеб, молоко, а Иванцов ему дулю: сдохни!» Старик возмущен: «Хотел на жалость надавить, вот свинья!» (Назавтра я пролистал телефонную книгу и нашел в ней тьму Лепехиных и Иванцовых. Зачем? И не факт, что данные товарищи телефонизированы.)

Еще дуэт, прямо театральный. Измученная старушка, злая, но с гримасой улыбки на лице — и молодой паренек, явно освеженный наркоман. Он сидит, она стоит над ним с сидорами на весу, желая, но не смея обругать его за оккупацию места «для пожилых людей и инвалидов». Он насколько-то опасен, блаженно улыбается. Речь у него сусально-воровская, но глазки пугают.

— Устала, бабушка? — искренне сочувствует он, — много песком ходис, глус у тебя тязолый?

— Устала, сынок, — отвечает она, — тяжело мне, холод не чувствую.

— И я устал, — кивает он, — и стал бы, а не могу нипоцем.

— Отдыхай, отдыхай уж, — соглашается она с ненавистью, и добавляет: — Дело молодое.

Трамвай тормозит, юноша вдруг великодушно встает и говорит ей: — Хочес, поделзу?

— Нет, спасибо, миленький, — отвечает она, правильно, похоже, понимая его наитие. И забивается на сиденье, пряча сумки под валенки.

— Ну и сиди, зопя сталая, — добродушно говорит он и выпрыгивает в туман.

Но чу! Наконец-то просыпается и неперменная тема обмана, она, долгожданная, завязывается сразу в двух местах. Мы все подряд — обманутые и оскорбленные люди. Нас дурят, кидают, обворовывают, позорят государство, сослуживцы, соседи и родные нам люди. За долгие трамвайные годы я понял не одно только то, что нетронутых обманом и обидой людей у нас не осталось. Это неувидительно при нашем прогрессизме. Дайте постареть — и я подсяду в трамвае к знакомой сверстнице и сквозь диабет столько ей понараскажу, вороша торфяное болото памяти!

«Нет, беда в том, что, с другой стороны, если все обмануты в лучших чувствах, то, видно, все и виноваты. Все соблазнились! И народная особенность здесь та, что чаще всего дурят и обижают у нас глупо, нерасчетливо, на свою же голову, повинуюсь неразумному хватательному инстинкту голодных рыб. Нет, не саксонцы мы — те, небось, и в этом доки! Легко срывается рука, птицей вылетает роковое слово. Но запредельны проценты в банке жизни. И уже завтра протер глаза — а в губе крючок! Мы — народ с крючком в губе», — удовлетворенно думаю я, частично смущенный своим глубокомыслием.

Да, всякая встреча человека с обществом исполнена у нас горестного и сладостного садомазохизма. О, трамвай, в этом ты классик, тебе воистину дана чистота этой встречи!

Передо мной висит в воздухе ветхое, но красивое — барское левое ухо старика. Может быть, он разглядел во мне собеседника, поскольку адресно шепчет мне:

— Народ наш, наши бабушки — они как те лягушки. Ночью они зовут день, днем — ночь. У них Литва до сих пор с неба падает. Ничего не помним, ничего не любим. Только завидуем. Даже несчастливым чужим завидуем. И так уж целый век. Как зажили до войны в страхе, в истерике, так безответственно и существуем. Мелочевщина!

Спокойная горечь его тона меня удивляет. Знакомые мне университетские старики самодовольны и уклончивы. А иные старики не владеют подобной речью.

— А как же поколение обманутых героев? — пробую я старика.

— А их не было, обманутых, кроме мальчишек, повзрослевших на войне, — печально сказал старик, — они потому и рвались в герои, что не было выбора, чтоб убежать от взрывающихся примусов. Многие — герои со страху. И войны с Германией как избавления ждали, она же лубочной рисовалась, такой, что «меня не убьют»... В городах тогда, молодой человек, жили днем насущным, торопились, хватали жизнь кусками, что успевали до завтра. Под сладкое вино, под граммофон... Сходились, расходились, легкость в нравах безграничная. Аборты бесконечные. Женщины осатанели. А если дети рождались, то, сами понимаете, бывало, не знали — чей ребенок родился. Когда нынче чума да завтра война, — что делают смертные?

Мне знакомы этот голос и это ухо. Однако, не в смысле «мы где-то встречались».

— Но в деревнях тогда жило больше народу, чем в городе. Какое там было сладкое вино? — сказал я. Ухо дернулось.

— Ну да. Деревенские на фронте радовались еде, дома невиданной, тому, что на войне бывают выходные... Давили, корчили ту деревню, а потом она, изуродованная, на костылях, взяла да и в город переселилась. И не стало ни города, ни деревни, а сплошная семечная шелуха... Слияние, так сказать!

Мы помолчали, послушали других. Перед моими глазами вереницами проходили сельские жители, стесняющиеся того, что они сельские. Они обижаются, когда на концертах, которые устраивают им городские, поются протяжные песни про «ширь», да про «даль», да про труд. «Чем мы хуже людей?» Гуляя дома, они веселятся с быстрыми песнями про личную жизнь: про «Ванечку», про «разлучницу-подружку», там в снегах «мчатся тройки», после них, для лирической полноты застолья, могут уже и «березки зашуметь в России». Но это уже декаданс, об этом утром не вспоминают.

Переезжая при первой возможности в город, нервничая от тайн городского этикета, они возвращаются душой на родину исключительно на больших застольях, когда между последними

ходками в «ларек» поют, заливаясь слезами: «снится мне деревня». Потом засыпают, и снится им что угодно, кроме... Скорей, Биверли-Хиллс им снится.

О слиянии города с деревней я услышал в начале университетского курса, во времена оны, в фантастико-лакированном изложении доцента Посолова, впоследствии сошедшего с ума, поскольку он искренне и непрерывно верил во все, что он говорил. Это случилось с ним в 1976 году, сразу по прочтении им лекции «Л. И. Брежнев — гениальный стратег международного коммунистического движения».

На следующую осень мы, студенты, трудились на картофельных полях в пригороде, работали честно, старательно, но с неизбежной городской небрежностью, оставляя в пройденных рядах много клубней. Вдобавок нас торопил ущербный колхозный бригадир, он оскорблял нас в хороших чувствах постоянной присказкой: «Вперед, вперед — все одно сгниет!»

Новый парторг факультета, худенькая Надежда Семеновна, шла за нами по бороздам, силясь из последних сил исправить огрехи доброй сотни человек. Она металась по фронту одна-одинешенька, из гордости и скромности не зовя никого на помощь, и вскоре затерялась где-то позади, за березовыми куртинами.

В обед, у костра, изможденная, перемазанная грязью до очков и беретки, она выпила кружку чаю и весело сказала:

— Святая правда — теория суха, теория одно, друзья мои, а древо жизни, а практика — другое. Жизнь бывает не так красива, зато она достоверна в своих противоречиях!

— О чем это Вы, Н. С.? — спросили мы, вытирая руки о ботву.

— Вот оно, подлинное, реальное стирание граней между городом и деревней! Так победим! — воскликнула она — Да еще и теорию обгоним, как предупреждал Маркс, увидите!

Присевший с нами циник-бригадир, измаявшийся от безделья, фыркнул и ушел в кусты, откуда прилетело крепкое матерное слово, не донесенное им до глубин перелеска...

Тут я вспомнил забавную историю и, пока трамвай бежал от Батенькова до Сакко, торопливо рассказал ее в умное барское ухо.

Три месяца спустя, в процессе этого реального стирания граней и слияния, нас, троих проштрафившихся студентов с трех факультетов, заслали на четверть в недалеющее село Талановку.

Это называлось педагогический десант. Мы закрывали брешь на фронте знаний в битве за всеобщее среднее образование.

Брешь образовалась после того, как три молодых педагога сходили на свадьбу из Талановки в Березовку и замерзли, пьяненькие, на обратном пути в чистом поле. (Извините меня, но это же не я повторяюсь.)

Мы вселились в казенную избушку, закрыли ставни и стали, ну вот, опять, пить водку, чтобы основательно познакомиться. И вскоре клялись друг другу, что на мороз ни ногой, а на двор — все вместе, как три поросенка. В сумерки к нам постучалась местная девушка, с большими металлическими пуговицами вместо глаз, с чесучовыми ногами, но, в ансамбле даже хорошенькая.

Она сказала, что дружила с замерзшим математиком, и спросила, кто из нас новый математик.

— Я, — ответил Миронович.

— Понятно, — пригляделась девушка, — я Катя.

И обыкновенно села рядом с ним, доставая из карманов шкалик и пачку вафель. Мы испугались: не слишком ли она простая. Но оказалось, что она знала приличия и разделяла их, говорила по-человечески и ушла рано и, уже конечно, против нашей воли. Сказала на прощание:

— Приду в среду. — Посмотрела на нас, наморщила нос и поправилась: — Завтра.

Утром мы здорово болели и утешались тем, что до выхода на работу еще целый день. Но последние рублишки были пропиты.

И тут к нам пришла старушка. У нее был самый несчастный вид. Сегодня я мог бы заметить, что спину она тем утром согнула так изошренно, как может не всякий цветущий мужчина. Но что мы в этом тогда понимали, в согнутых спинах!

— Мы с дедом старые старики, а вы молодые, сильные, — горько сказала она, — а покушать вам нечего и полечиться не на что. (Или мы ставни не закрывали?) А нам опоздали дрова привезти, сильно опоздали, совхоз наш. А колоть, этим совхозом, некому. Помогайте, деточки? Дадим по пятерочке, обед вам соберем — деревенский.

— Главное, нам чаю крепкого и сала. Сало есть копченое? — спросил Миронович. — И чаю, чаю крепкого!

— Уж это мы найдем, — ответила она, — этого найдется.

Как увидели мы эту несметную кучу березовых чурок — попятись. Мало что головы трещат с перепою, так и дрова никто из нас в жизни не колот. Переглянулись — ну, точно: никто.

— Вот поле для благородной потехи! — попытался пошутить историк Пахомов, но шутка не прошла, и Пахомов «прослезился».

Началась потеха. Через полчаса руки наши были в мозолях и открытых ранах. Поленица прирастала медленно, поленья получались такие разные, что не желали укладываться стройными слоями. Среди них было немало окровавленных. Историк Пахомов, разоблачась до майки и дымясь, как некий джинн, заметил Мироновичу, что нашу поленицу можно назвать Стеной Плача. Миронович неожиданно согласился.

Но что значит Бог молодости — мы дышали морозным воздухом, алкоголь выпотевал из нас, и к обеду мы уже смеялись и нарочито, с наслаждением, покрикивали друг на друга от полноты души и легких. Бабушке не нравилось, что мы кричим, и она повторяла:

— Ши-ши, а кричать не надо, ши-ши, не надо!

Ей почему-то очень не хотелось, чтоб односельчане обратили внимание на торжество практики — вернее сказать, на наше торжество над практикой. Однако земляки-соседи и без того сразу обратили: из окна соседней избы смотрело задумчивое лицо пожилой женщины с красной пиалой в руках, а на заборе повисла пара летучих филиппков. Они громким шепотом общались: вот болваны-то безрукие, ничего не умеют. Может, ногу себе отрубят или руку? Подождем, позырим.

А хозяйка бегала по двору правильными кругами, как курица с отрубленной головой, и сладким голосом припевала:

— Молоденькие, хорошенькие, сильные! Им все нипочем! Эх, идет дело!

Хозяин, тощенький бритый старичок, стоял на крыльце в огромных тулупе и валенках, его головушка вместе с шапкой тонули в водовороте гигантского воротника. Он ничего не говорил, кроме одобрительных междометий, и младенчески сосал трубку. Но глядел живо, зорко — «оттягивался».

В первый наш перекур, когда чурки уполовинились, хозяйка, как бы забывшись, проговорила мужу:

— А ведь отдадим пятнадцать червонцев — что останется?
— У! — ответил хозяин.
— Пять червонцев останется до пенсии, — сказала она, — но угорвор дороже денег. Как хлопцев обидишь? Глянь, как уработались!
— Э! — согласился дедушка.
Во второй перекур, когда осталась четверть чурок, хозяйка спросила:
— Образованные, выучились или доучиваетесь?
— Доучиваемся, — ответили мы.
— Выучитесь — в большие люди, наверное, выйдете. Вот у меня сын...
Дедушка выронил трубку и протрубил:
— У! У!
— ...У меня сын в Москве работает. Выучился и работает. Я его по телевизору высматриваю, когда новости.
— Плохо дело, не показывают?
— Плоховато. Всего два раза мелечком показали — идет на работу в свое министерство. Штиблеты блестят. Занятой!
— Понятно, — торопливо закивал добросердечный Пахомов, — помогает вам?
— Помогает, помогает сынок, — затарахтела бабушка, — деньги присылает, карамель, чай индийский.
— Чай индийский!? — пропели в терцию Пахомов с Мионовичем.
— Кака карамель? Каки деньги? — отчетливо выговорил дед, — Вот е..на та мать!
— Понятно, понятно, — поддержали мы разговор.
И тут я брякнул:
— Не надо денег! Покормите — и ладно.
— «Не надо», — повторили мои товарищи, зверски косясь на меня, — мы благородные!
Бабушка очень быстро сказала:
— Картошечкой завалю.
И убежала в избу, а дедушка поднял трубку и сказал:
— У!
Нас накормили вареной картошкой с кислыми огурцами и напоили деревенским чаем, тем, что заваривается из семи кру-

пиц раз в неделю и разбавляется, разбавляется кипятком. Похоже, мы угадали на конец такой недели.

Негромкие намеки на то, что сигареты у нас на исходе, не проходили — бабушка, как назло, в этот момент повышала радостный свой голос.

— Заглушает, словно мы «Голос Америки», — прошептал Миронович и дернул меня за рукав.

На окне кухни стояла тарелка под рушником, облитая солнцем. Хозяйка будто бы и протягивала к ней руки; но как-то отвлекала эти руки в последний миг не вовремя сползающая шаль, пушистая, своенравная, как живая коза. Дед кряхтом и даже смелым пальцем пытался указать ей на такое упущение, но зря старался.

Когда мы уходили, Пахомов, улуча секунду, молниеносно приподнял край рушника и громко закашлял.

— Пройди-пройди, картошечка, — сказала бабушка и похлопала его по спине.

Мороз, солнце, большак, искрящийся стеклянный навоз. Мы возвращались домой накрахмаленные, на ходу заедая снегом кислый привкус во рту.

— Что там было в тарелке? Сало?

— Сало, сало, — ответил Пахомов, — копченое сало пополам с мясом!

— Интереснее всего, — сказал Миронович, — такая задачка: и в какой же это миг она решила, что нас можно и салом обнести?

Вечером мы пожаловались Кате.

— Знаю их, Игнатьевых, все их знают. Жлобы трубецкие! С ними никто не связывается сто лет в обед. Вы, свеженькие, чудом подвернулись. Да только одни они такие? — сказала Катя. — Сынок в Асиновской тюрьме сидит, сало ему берегут... (серьезно, строго) А кто вам виноват? Надо было деньги вперед брать, не царское время. Деревня — одна видимость, что деревня... (и, не удержавшись, захохотала) Засмеют вас теперь учащиеся!

Да. Слава настигла нас в понедельник. Когда мы входили в классы, каждый из нас увидел на столе, рядом с классным журналом, кусочек сала и поленницу из спичек, перемазанную красными чернилами.

— Типичный случай, ничего не скажешь, — качнулось благородное ухо, — так и живем: «во тьме несветимой и задухе земной».

На Центральном рынке сходило две трети пассажиров, не меньше. У субботы свой пафос. Его морозом не отменить.

— Вы до конечной? — спросил я.

— До конечной, — ответил старик. Ответил так, что волей-неволей за его словами увиделся последний путь, прощальная поездка в один конец.

Люди, теснившиеся между нами, заслонявшие нас друг от друга, ушли в туман. С любопытством, вспыхнувшим сочувствием и неловкостью, смущением (так хорошие заочные собеседники по телефону боятся давно назревшей личной встречи) я повернулся к нему. А он — ко мне. Я был потрясен, отдавая себе отчет: я ждал этого потрясения.

Передо мной стоял хрупкий приветливый старик лет 75. Он и в простых земных деталях был необычным. Его зимнее пальто — хорошо сбереженный памятник пижонства семидесятых. Его зимний картуз явно сшит на заказ. С конкретными пожеланиями, наверняка по найденному на старых фотографиях образцу. Он из сукна цвета «аделаида», с меховым собольим наушником. Давным-давно, когда огорченный Блок пробовал угарную жизнь, такие картузы были очень популярны в петербургском быту. Реклама гласила: в собольем меху никогда не заводятся насекомые. Так и думаешь: под пальто строгий пиджак с подчеркнутой бутоньеркой, под ним — кармазиновый, ослепительно-алый жилет.

Все это уместные, узнаваемые детали. Потому что сей человек был очень похож на моего покойного отца, на отца в последние годы его жизни. Он не был столь вольнодумен, но это его склад речи, его нос грушей, его глаза одряхлевшего страстного ногайца и тонкие, беспокойные и во сне губы...

(Да-да, и в одежде отец — сын разорившегося лавочника, первокомсомолец и мандолинщик, с годами стал непрост. Фасонился, мог пуговицы на пальто менять сам, представьте себе, дефицитные дареные подтяжки выбросить за пестроту. В те-то времена, когда ни в чем, включая личную жизнь, особо выбирать не приходилось.)

Я растерялся и забыл, зачем сел в трамвай в сорокаградусный мороз. Я и сейчас не могу вспомнить, куда и зачем в чертову стужу безотложно ехал в конец города — к Елизарову? К Бунцовым?

Меня потянуло к неизвестному старику до того, что захотелось его обнять и услышать родной запах.

А он смотрел на меня внимательно, ласково, будто бы узнавая в ответ, и я по-сыновьи молодец под его взглядом.

Он повел рукой: места освободились, присядем.

В холодном вагоне стало жарко. То, что смутно беспокоило меня в этом потустороннем тумане, предъявилось, подало мне ледяную ладонь. Присаживаясь рядом, я осторожно взглянул на него искоса: вдруг он спросит меня, не появились ли у него внуки, жива ли мама, с которой он разошелся сорок лет назад?

Боялся, что спросит — это означало бы, что, осознавая себя в полном зрелом разуме, я все-таки сошел с ума и, может быть, задолго до этой очной ставки.

Дай бог памяти, трамвай в нашем городе пустили, чуть отдышавшись после войны, еще до появления первых асфальтовых полосок. Говорят, была стылая, ветреная весна. На том трамвайном лбу развернули кумач: «Партия — наш рулевой», водительское место украшал пучок полураспустившихся вербочек. Тогдашний партийный руководитель нашего замалчиваемого края, сверху донизу грешный и черствый человек, заплакал, когда вожатая потянула веревочку и вагон подал голос. Свой трамвай, сказал он, теперь помереть не страшно. Он не мог знать, что отныне своими для нас стали и все прочие трамваи страны, так как мы вступили в Трамвайный Орден имени всех безлошадных. Бывают чужие города, чужая природа, чужие постели, но чужих трамваев не бывает. Города разные, старые и новые, у каждого свое богатство и своя болезнь, но трамвай — везде трамвай, с ним не надо знакомиться, гостя в самых дальних пределах. Он всегда в считанных остановках от твоего дома.

Хочешь перевести дух, опомниться в чужом городе — садись в трамвай, на привычное место в тылах. Дома и перекрестки обернутся на ходу их томскими подобиями, разговоры тебе подтвердят, что ты, пожалуй, никуда не уезжал — а вот и знако-

мый прогон, где над путями изо дня в день, из года в год свисают ленивые тополиные ветви, что поначалу глядят, а потом колодят и царапают трамвайные стекла.

Однажды вожатая остановит вагон и заготовленным топориком отрубит ветку-другую. (Иная бормочет по возвращении: «Сколько можно мучиться, раздолбает стекло и ваших нет», извинительно; иная вернется молча, с напускным вызовом оглядев салон.) На следующий год до трамвая дотянутся новые, младшие ветви.

Все кондукторши, московские, смоленские, томские, выглядят родственницами. Есть пассажиры, что бескорыстно знают их по именам и беспокоятся, когда на их троне появляется сменщица. Они на выходе возвращают кондукторшам несмятые билетки, чтоб те могли их продать снова и заработать детям на сладкое, а себе на горькое.

Для пассажиров это редкая и приятная, безопасная возможность восстановить справедливость.

«Не все ли нам равно?» Вчера здесь вставали на колеса воинствующие безбожники из невеликих, сегодня — благочестивые разбойники из робких. Толкотня и жажда обидеться суть формы нашего социального реванша: трамвай равно бережет и незаживающую крестьянскую обиду на советскую власть, и сросшуюся с ней обиду осовеченного человека на капитализм. Трамвай помнит все, только память эта слиплась и почти неразложима.

Перелистывая лица, мы видим, как сердито перемешались здесь страницы времени, его начала и кончала. Ничего не упустил цепкий трамвай, костюмерная погибельной эпохи, и если вы не видите в нем лаптей, галифе или продырявленных войной шинелей — это попросту значит, что они едут рядом с вами невидимо. И это не значит, что вы их однажды не увидите.

Здесь, когда на город опускается слепой туман, можно встретиться с давно умершим отцом.

Я, конечно, поторопился и нарушил правила разговора, но до кольца оставались два-три прогона.

— У Вас есть дети? — спросил я.

Он прокашлялся слишком прозаически и внимательно посмотрел на меня: он думал о доверии и чем-то еще, для меня закрытом.

— Сын. Был сын, — сказал он, — умер пять лет назад. Сначала умерла жена, потом сын. Николай. Поздний был ребенок.

— Сочувствую вам, — сказал я, сжимая в кармане ключи, я не хотел быть бестактным.

Он снова взглянул на меня и поморщился.

— Вы знаете, его убили. И вполне логично убили.

— Извините?

— Он окончил университет, остался на кафедре. Заметный, перспективный. Его хвалили: «марсианин». Но вместо диссертации он занялся картами. Поначалу по страстной дури, а дальше из корысти. Блестящий был игрок. Привык к деньгам, вышел «на круг», потерял всякую разборчивость, осторожность. Опустился до девок, до загулов. А на каждое мое слово хохотал и тут же уходил из дома. А он и без того почти дома не жил. Я не мог его лишиться — замолчал... Это я обучил его преферансу, когда умерла мать.

Я слушал старика, зная и помня, что моя судьба проходила рядом с такой пропастью, и не моя заслуга в том, что я устоял.

Правда, и не чужая, к сожалению. Мне повезло.

— Может быть, это новое время такое всесильное, — спросил у тумана старик, — что он заигрался в счастливчика? Я играл в книжных сэров. Я играл с ним, чтобы мы были близки... И ведь кто-то ему подсказал — он наделал на ксероксе фальшивых пятисоток и палил их перед девками на зажигалке в кабаках. Достанет толстенную пачку и шикует экономно, поджигает по одной, а девки визжат. Подстерegli в Буфф-саду и ударили по голове. Забрали пачку. Тщеславие! Мое тщеславие...

Его прервали громкие, бесцеремонные голоса вошедших в вагон парней, имеющих претензию на избранность. Крупные, оба с налитыми холками, они, тем не менее, заметно различались, как учитель и ученик. Ученик, однако, пытался показать, что он прошел азбуку, но учитель был неумолим: рано тебе кукарекать!

— Испытаю тебя, братан, элементарно, — назидательно сказал он, — прикинь чисто абстрактно, что за тобой гонятся менты.

— Погоди... — чувствуя подвох, ответил братан, — ...представил. Мы со стариком оглянулись на него: он зажмурил глаза.

— Ты подбегаешь к речке, а на том берегу стоит мама твоя. Она говорит: сынок, давай сюда, у меня лайба наготове. Что будешь делать?

— А в чем парево? — напрягается братан — Речка широкая, что ли, или холодная, п....ц?

— Нет, речка проходима, стремная речка.

— Ну, кинусь в речку — и видали меня менты.

— А того ты не просекаешь, что речка та — мастевая!!!

Братан раздавлен этим сообщением. Он прячет нос в воротник и через длинную паузу с деланным мужеством отвечает:

— Тогда я лучше ментам сдамся. Пусть меня закроют.

— Не-ет, братан, ты же того не знаешь, что мастевая! — добивает его учитель.

— Тогда, — уныло мямлит ученик, — тогда мне кранты.

— Вот! — ликует наставник и перед тем, как разрешить каверзу, медленно поднимает палец ко лбу непросвещенного, но срывается в хохот, — Да не парься ты, Вова, — масть по незнанке-то не пристаёт!

В лице Вовы смешались горечь уличенного и восторг окрыленного. Теперь я знаю, как мог выглядеть тот человек, что тысячу лет назад пробовал молотком на крепость череп Эгиля Скаллагримссона.

Жизнь прервала наш разговор, и без того вышедший на минное поле. Конечная. Мы выходим на мороз и сразу спотыкаемся о жесткие, в саже сугробы. Конечная.

— Я не стал бы с Вами откровенничать, извините меня, — сказал старик, — но давно ни с кем не разговаривал, у меня рак, а вы очень похожи на моего сына. Только вы постарше. Прощайте.

И, не дожидаясь моего ответа, быстро исчез из виду. Осталась дорожка следов, оборванная туманом. Я вернулся в трамвай и глупо сказал заиндеветшей кондукторше: — Передумал, поеду обратно.

Кто ты, старый человек, почему я тебя встретил сегодня и зачем? Ты вернешься оттуда, куда шел?

Нет сомнений: в городе, где все — знакомые знакомых, я узнал бы и его имя, и род занятий, и как-то объяснил бы себе его личность. Но делать этого было нельзя — ни в коем случае.

Дома разгорелся скандал с сыном. Скандал вырос из ничего, из взаимных неуступок, педагогических с нашей стороны и ослиных с его. Он еще мал, пылок и полон трагического максимализма. Закончилось тем, что он упал на пол, трепеща от гнева, и крикнул:

— Вы, когда меня рожали, думали — хорошо вам будет? Сыночек, пусечка?.. — И ехидно, мстительно приговорил: — А не вышло!

И мы с матерью сдались.

Я ушел в кабинет, сел за стол и увидел старика. Тогда я лег на диван и стал смотреть в окно, в серую пустоту, потом в черноту, где сквозь туман зыбились раздавленные в бледные пятна огни. Холодный сиротский мир. Мне так захотелось в теплое, ясное, прозрачное лето, что я затвердил считалку, заставляя себя заснуть. И я заснул, и мой сон начинался отлично.

— Бандеровцы были, калмыки были, чухонцы были. Дети разных народов. И ничего, жили дружно. Один комендант все портил: заправится самогоном и ходит с пистолетом, наставляет на баб. Потом вернулись фронтовики и накостыляли ему. Они вернулись вольные, гоноровые. Но недолго, знаешь ли, недолго. Прошел месяц-другой — и притихли, как их подменили. Но комендант не опоздал. Попал под раздачу... Ну, что — собираюсь я, оставайся, царствуй. Сестренка ждет.

Сестренкой он звал свою невесту, моложавую бабушку Арину. Он нашел ее, судьбу свою, в моих родных краях, в степном поселке далеко от своей деревни, но близко от нечужого ему Тайшетлага, А она, легкий на слово человек, прозвала его Чай Прохорович, или просто Чай, за обожание самоварных посиделок. Он и приехал к ней с большим и разнообразным чайным припасом. Это при встрече возмутило ее, но сейчас почти восхищало.

Сейчас мы гостили на Ариной даче рядом с соленым озером. Озеро было небольшое, круглый пяточок диаметром в версту, зато целебное, разлившееся над чашей пахучей и едкой черной грязи. По утрам, ясными зорьками, в нем освежались гадюки, бодро пересекавшие его от берега до берега.

— (шепотом) Сосед-то наш — комендантов сынок... Такая же дрянь, как его папаша. И что, однако, интересно. Вот ты по-

слушай: такой был Вовка Воронцов, из приезжих с Войны, он в районе работал после — свернул ему, коменданту, ухо. Оно на башке там висело задом наперед. Так?

— Так, так.

— А сынок родился через годик с таким же свернутым ухом. Сразу, готовый! Смекаешь? Уже родился такой, увековеченный, никто ему там не выворачивал. Передалось! Эфросиха-акушерка перепугалась насмерть, боялась, комендант пропишет ей Кольму. (сатирически) Вот тебе и «сын за отца не отвечает»!

Иван Прохорович знал местные подробности из двух или трех рассказов Арины да от меня же. В отличие от него, я застал еще живую москвичку Эфросиху. А старика Воронцова навещал, в сотый раз, вчера вечером (и опять, о горе мне, он меня перепил). И дразнил Ваську-комендатенку сучьим ухом, когда Васька заканчивал школу, еще при Хрущеве.

Кого ты просвещаешь, эй?

Но Иван был человек с воображением. Он соблазнился ролью местного старожила-летописца и исполнял ее очень достоверно, и мне приходилось играть скучную роль непосвященного гостя в собственном доме.

Он знал, что я знаю, но жизнь коротка.

Наигравшись в старожила, Прохорыч ухватился за мотороллер и тут же освоился в новой роли — деловитого, молодцеватого путешественника. Перед ним лежала скатертью дорога — не те реальные пять-шесть километров до Ариных ворот по накатанным в чугун колеям, а Большая Дорога Странствий. Ополаскивая жаркое лицо, проверяя мотор, заливая бензин, закидывая в кузов рюкзак с овощами, он отличался точными, скупой-резкими движениями, выверенной работой бровей. Камуфляжные штаны и приданные им боты безусловно подтягивали, осанили его.

— Поехал я, царствуй, леж на боку.

В кузов запрыгнули кот Дымок и пес Шарик, причем Шарик хотел запрыгнуть первым, но Дымок ему этого не позволил, сознательно присев ему на передние лапы и сурово поведя круглой головой. Мне показалось, что Шарик, не по заслугам упитанный кобель, как-то привычно-малодушно вздохнул.

— А гроза собирается здоровенная, — сказал Иван Прохорович, — ты цветы накрой пленкой. Что комарье, что стрижи!

Он уехал, и гроза застала его в дороге. Потому что магнитные тучи сбежались мгновенно, будто бы со всех сторон света. Сплющенный воздух обжал меня, я задохнулся и услышал, как кровь шуршит в моих нечищенных сосудах. А золотой вечерний зной уже сменился мимолетной серой духотой, и тут же взвыл и ударил почти морозный ветер, раскатился набатный буйный гром, и одновременно с плясками молний хлынул рокошующий ливень.

Я не мог взять и уйти в дом. Стихия требовала уважения, а Иван, где-то неподалеку борющийся с ней среди кочек и пикулек, — солидарности. Должно быть, сейчас старый буревестник очень красноречив — а не заглох бы мотор, ровесник Красноярской ГЭС.

Удивленный и обрадованный, я стоял на крыльце, под навесом, но навес не имел значения: ливень хлестал меня в упор так, что я, онемевший от холода, едва держался на ногах.

Все кругом зыбилось и дрожало, трепетало в сплошном тусклом оловянном сиянии. Прямо напротив меня вытянулся в седой горизонтальный канатик дым из трубы соседней баньки. Он бежал в никуда, обрываясь через метр, стремительный, как ракетный шлейф.

Гром низался на гром, молнии били все чаще, во всех углах неба, били сверху вниз, вдоль и поперек, все небо было в трещинах, они иногда превращались в узоры, но снова и снова вытопорщивались в древнее, всеильное безобразие.

Жуткий огонь в небесах, а на дне этого котла — мой обледенелый торс с его продолжением, униженным струями.

И вот молнии вспыхивают уже по две, по три сразу, без передышек, неровный свет не уходит с неба...

Это растянется на часы.

Я вспомнил про цветы — безнадежно, огород залило водой по колено, земля набухла и чавкала сама по себе. Человеку нечего было там делать. Я уходил в дом, возвращался на крыльцо — ливень лупил, валил, сыпался; над оглохшим миром все так же горело небо. Через час осыпались ранетки, а на плетне, как об-

раз капитуляции, зачем-то повисло белое полотенце, напомнив о Васкином присутствии — и человеческом вообще.

Замечательно спалось под шум воды, грохот и земельное трясение. Гроза закончилась с рассветом, не уступив ночи ни пяди. А я проснулся уже под солнышком, встал, распахнул дверь — и лег снова. Вокруг меня в тонкой тишине гуляли богатые, дивные воздуха.

Даже муха, терзавшая мое лицо, с любопытством вылетела наружу.

Меня живительно знобило, я чувствовал все подряд, даже свои волосы и ногти. Я пил из термоса травный чай, голова была ясной и чистой, как у Ивана-дурака. В ней гулял тот же свежий, вольный ветер, что и снаружи. Хотелось, чтобы старый диван вынес меня, скрипя пружинами, под голубые небеса, полетал над сияющими лугами-полями и ленивыми холмами, чтоб над землей вместе со мной плыл какой-нибудь старинный русский вальс. А я, связанный с диваном надежным заклитием, разглядывал бы окрестности со всеми их тропками-перепутьями, изумляя прохожих и сусликов, которые сейчас всей ратью должны стоять, обсыхая, у входов в свои катакомбы.

Но пришлось надевать галоши и двигаться в конец огорода. Начиная с морковной ботвы, все было повержено и приведено в покорность. Я заглянул в баньку — и что же я увидел?

Потрясенный, я замер. Бак, хороший алюминиевый бак на пять ведер воды, исчез.

Если в этом была, например, виновата шаровая молния — почему она нанесла в баню столько грязи и мазанной, и в больших слоистых комках? И не она же отломил вот этот черемуховый хвостик, которым одна скотина, сев в грязной робе на полок, чистила себе обутики?

Бак никак не мог исчезнуть до грозы. За полчаса до нее мы парились в бане и после не уходили в дом, и Шарик не упустил бы чужака.

И я представил себе фартового человека, следившего за мной в упоении бури, пробиравшегося между струй и молний в баньку и с промежуточным облегчением закрывающего за собой дверь...

Его следы были начисто смыты, да и не нужно было их искать. Вспомнилось белое полотенце.

— О, Василий! — закричал я изо всех сил. — Василий, выйди! На соседнем крыльце показался сдержанный Василий.

— Чо? — сказал он. — Чо? Я читаю... Чо? Иди ты в Караганду!

— Сучье ты ухо, — сказал я ему, — хочешь в тюрьму? Тебе шестьдесят лет, а ума, что ни год, то все мене... А говорят, ты семилетку с одними пятерками закончил!

— Это когда было! — живо возразил он и тут же покраснел. Приготовясь отпираться, он не вдруг понял, что ему говорят.

Стало понятно, что бак он даже не потрудился припрятать: бак стоит у него в горнице, обласканный взорами.

— Василий, — попытался сказать я мягко, — ну, почему ты даже воруешь на авось? А я тебя моложе, сильнее... Хотя... да неужели ты меня из-за бака топором треснешь?

Василий опустил ресницы, тень преступления пробежала по ним.

— Да я тебя и трогать не буду, не надейся, только посторожу, — нашел я новый резон. — Сейчас придет Прохорыч. Он в лагере сидел, жестокий урка. Хочешь поболтать с уркой?

— Вот ведь, полотенце? — пробормотал Василий и оцепенел, будто задремал стоя.

— Бак, бак, — напомнил я.

— Арине не говори, грибов принесу, — пробормотал Василий, не глядя мне в глаза, и вынес бак.

Принимая бак через плетень, я с восхищением разглядел на его боку свежую надпись гвоздем: «В. Хлебцов. 1969 год». Это было сильно, потому что на дне бака имелась заводская дата «1999».

— Бессовестный, — не удержался я, — крысятник! Такое ликование было в природе, такая сила космическая тебе весть подавала! А ты...

Не нужно было говорить такие жалкие глупости.

— Есть такие люди, — сказал он с достоинством, — не приведи господь, если они случайно правые. В говно тебя втопчут и сами на говно изведутся... Это я не про тебя говорю.

Он уже презирал меня и глядел снисходительно. Я плюнул через плетень и отвернулся. Но одной победы духа ему было недостаточно.

— Костян, — сказал он мне вдогонку. — А краны-то, как хочешь, а я заберу. Заберу?

Я сказал:

— Все его презирают.

А он живет да живет,

Словно зимняя муха.

Он, естественно, принял это за согласие.

Вопреки моим предположениям, Прохорыч полвечера искал эти халтурные китайские краники, раз пять все более раздраженно переспрашивая:

— Ты краны не видал, здесь же лежали же? И каждый раз я отвечал:

— Не видел.

И почему все мои сны оказываются протоколами воспоминаний? Или в губе моей крючок, и я разучился мечтать?

Так думал я на следующее утро, перебирая старые отслужившие вещи, чтобы найти что-то подходящее для постучавшихся в двери двух таджиков. Замороженные таджики лет тридцати просили одежду. И я нашел для них среди прочего свою студенческую куртку — целую, чертовой кожи, и, перед тем, как засунуть в пакет, по древней голодной привычке проверил карманы. В правом оказалась охапка трамвайных билетов. Им было тридцать лет, как таджикам. Я узнал их — это были счастливые билеты, когда-то я их собирал. 644725, 281092, 739289, 113311... А вот 5355- 53. И даже 123123. Тронутые трамвайным суеверием люди знают, что по-настоящему счастливыми бывают только трамвайные билеты. Все прочее — ерунда.

Мне наконец-то полегчало: вспомнил — ведь с десятков счастливых свежих, сего года, накопилось у меня в кармане зимнего пальто. Я достал их. И сложил, перемешал на кухонном столе счастливые билеты тех и этих времен. Они казались одинаковыми под долгожданном розовым солнцем, разницу между ними увидеть было невозможно.

4. Весна, выставляется первая рама

Как я ни старался, ни твердил его про себя, номер дома выпал из моей головы. Я забыл его, увлекаясь весенними подроб-

ностями, они тормозили меня со всех сторон. Город звенел и журчал, голоса и крылья пернатых разрезали воздух. Потoki прогретого ветра неумолимо прочищали улицы, снося выхлопы, и по-деревенски, по-детски дышалось подсолнечной влагой. Во дворах пахло почками и первым древесным потом, над погребными газонами взвились первые одуванчики.

Весна была нынче так хороша, что казалась последней в жизни.

Я брел вдоль одинаковых, серийных домов, по одинаковым дворам, пока, наконец, у входа в очередной подъезд не увидел нескольких стариков, словно охраняемых массивным, совершенно квадратным молодым человеком. Его огромные ляжки плющили стрелки на бесподобно отглаженных брюках. Старики же были худы, неопрятны, вешалки для ношенной одежды. Они курили сигареты без фильтра, их нестриженная седина колыhalась на ветерке, вздуваясь в шары. Стайка одуванчиков!

Между ними, слева от дверей, краснела поставленная на попа крышка гроба.

Я прибыл по назначению. Попытался поздороваться, но ответил мне только молодой гигант, а старики едва покосились. Они были увлечены спором.

Один говорил:

— Шаг за шагом, и никак иначе.

Другой поддевал его:

— Знаем мы это, проходили. Шаг вперед — два шага назад.

А третий решительно настаивал:

— Нельзя, недопустимо ограничиваться одними экономическими требованиями. Это фактический оппортунизм, капитулянтство!

И, конечно, нашелся среди них неременный молчун, что старался не встретиться с чьим-либо взглядом и выжидал, чтобы примкнуть к победившей стороне. Но я бы не сказал, что он был одет лучше других.

Я пришел плакать взаймы. «Отец и мати моя поидоша взаем плакати», — отвечала некогда мудрая дева Феврония несмышленому юноше, посланцу князя Петра. Это означало: родители пошли на похороны, чтобы потом пришли на похороны к ним.

У педагога моей жены умер отец, вовсе незнакомый мне человек, и она попросила через жену, чтобы я на всякий случай пришел и подставил плечо под гроб, потому что дееспособных людей может оказаться в недостатке.

— Третий этаж, налево, — ответил мне молодой человек, хотя я его ни о чем не спрашивал, а всего лишь задрал голову.

Я поднимался по узкой лестнице и думал об ее тесноте: опять придется переваливать гроб через перила, а дело это суетливое. Дверь была открыта, квартира от порога наполнилась народом. Обстановка ее вызвала глубокое человеческое сочувствие. Ничего не нашол покойник за долгую жизнь. Может быть, он ленился и пьянствовал, может быть, был честен до безразличности — откуда мне знать? Меня тронул желтый отрывной календарик в прихожей. «29 февраля 2002 года». «День Касьяна Остудного».

«Касьян на что ни взглянет — все вянет.

Зинет Касьян на крестьян...»

«Жители некоторых губерний старались 29 февраля проспать до обеда, чтобы таким образом переждать самое опасное время». И т. д.

Вовремя забросил календарик хозяин, нечего сказать. Но, возможно, в этот день умерла его старушка? Откуда мне знать?

Я протиснулся к дверям в зал. Окруженный стоящими и сидящими людьми, в гробу лежал тоненький старичок. Его седые длинные брови топорщились слишком причудливо, чтоб их не попытались бы усмирить. В бровях блестел какой-то крем. Попытались, но ничего не вышло.

Я подумал о том, что нести покойного будет нетрудно. Оглядел присутствующих и внезапно убедился, что моя помощь и не нужна. Крепких, в полном смысле молодых ребят было в избытке. Все они были в цивильном, но от них упорно веяло дисциплиной, тренировками, казенной службой. Они умели стоять на месте.

Значит, следует спуститься во двор и встать у подъезда, чтобы Екатерина Сергеевна увидела меня и убедилась, что муж ученицы готов ей помочь.

Вот Екатерина Сергеевна — я помнил, что она была не в отца крупновата, мосласта, у нее были развитые плечи пианистки.

Опущенное к отцу лицо спряталось под траурным платком. Она молчит, и все молчат.

Трещали свечи, с фотографии в изголовье смотрел живой, веселый старик, только что рассказавший анекдот. Она — Екатерина Сергеевна, он — Сергей Васильич. Или Владимирович? Нет-нет, Васильич.

Я передал цветы и вышел на улицу. Явились музыканты. У них был неожиданно приличный вид. Они сидели на скамейке с озабоченными лицами, трогая свои зимние шарфы, как будто забыли шопеновский марш и никак не могли его подобающе вспомнить. Их глава вполголоса сообщил, что катафалк сломался, что-то с тормозами, поэтому они пришли пешком, благо что контора неподалеку. Но тормоза починят быстро, не надо беспокоиться.

— Все нынче через задницу, — рассердился самый горячий из стариков, — похоронить по-человечески и то не дают.

— Как будто при нас не ломались, — возразил сторонник умеренной борьбы с властью, — вспомни, как в 83-м провожали Глазкова Илью Степановича, как автобус улетел в кювет и тебя же придавило гробом. Ребра, небось, до сих пор на погоду ломит.

Радикал гневно показал ему кукиш и плюнул в лужу.

От нечего делать я стал расспрашивать о покойном. И вот что я услышал.

Родом он был из первоначальной сибирской деревни, происходил от некоего мужика, что взял себе в жены чулымскую киргизку и отбивался еще десять лет от ее разгневанных сородичей. Не знаю, правдоподобно ли это — так говорили старики, его земляки. Туда в известное время перегибов сослали чемпиона Советского Союза по конькам Головенкова Ивана. Головенков, живя квартирантом, заметил, что в мальчишке удачно сочетаются азарт и настойчивость. Он обучил его своей науке, и мальчик, а потом юноша прославился на всю Сибирь как непревзойденный стайер. Они тренировались на обской протоке, где Сережка однажды угодил в полынью. Спасла его верная собака по кличке Верный. С этой собакой у него сложилась такая дружба, что много позже после ее смерти он хотел назвать сына Верный, Верный Сергеевич, но родилась дочь.

Потом война, Головенков прорвался на фронт и погиб где-то под Можайском, а Сережа трудился в колхозе и забросил коньки. В 1944 году ему обварило затылок, на полевом стане. Волосы густились у него до самого исхода, но проклятый розовый пяточок портил вид, Сергей зачесывал его как мог, а после женитьбы приспособился маскировать его с помощью заколок. Заколки, конечно, выбивались на свет Божий, это производило странное впечатление на косных окружающих...

Вообще, он был чудак чудачком: в еде, в одежде, в домашней жизни. Зато вежлив, радушен необыкновенно и по бабам не бегал, найдя себе в пару неуклюжую чудачку из клуба. Она там наяривала на домре и балалайке, и он освоился, и вполне сносно. Однако на пару сыграть они не могли — начинали материться, ссорились. Так и выступали на застольях каждый со своим номером. Но она, Афанасьевна, играла и пела «Кареглазый мой дружок» (про него), а он — «Ты краса моя девица» (про нее). И хитро поглядывали друг на друга.

Последний его фокус: как понял, что уходит, купил им, пятерым своим друзьям с молодчества, дорогие портсигары (а сам-то не курил) и заказал граверу забавные надписи. Растроганные старики предъявили портсигары: «Иван! Не в этом дело!», «Руслан! Где твоя Людмила!». «Виктор! Не рой погребца другому!», «Семен! Сиди дома, точи хлеб!». Эти пожелания, понятно, были связаны с конкретными обстоятельствами, в них шифровались истории длиной, возможно, в десять лет. Но последняя надпись меня заинтриговала особенно: «Николай! Сидит химик на бульваре, долбит фенькой по гитаре. Химия, химия, вся игрушка синяя!».

— Это он намекает, что я матерщинник, — объяснил старик, тот самый, что отмалчивался.

Тут я от души рассмеялся, зная, что старики на меня не обидятся.

Подъехал катафалк.

— Ты нас не перевернешь? — спросили старики у надменного водителя, вынимающего из уха серьгу. Он хотел оскорбиться, но заметил квадратного гиганта и буркнул:

— Не переверну. Скоро там?

Работал на совесть, ничего ни для кого не жалел, выручал. Начальства остерегался, как капитан Тушин. Но мог взорваться, вспылить, оказавшись напротив неправды. Тут он забывал осторожность и наживал большие неприятности.

Он уже отучился, обжился в городе, преподавал физкультуру в университете, когда ввели советские войска в Чехословакию. Он возьми и брякни на политинформации, в присутствии доцента-капээсэсника Воронина: зачем, мол, мешать людям — они ж работяги, ищут лучшей жизни, не то что мы. Да кто ты такой? И тому подобное. На партком его — а он стоит на своем, не кается.

— Мы-то его не одобрили и сейчас не одобряем, в свете последних событий с этим ПРО, — сказали старики, — но уважаем, что он гвоздь и, по сути, остался коммунистом.

Его выперли, но разрешили работать смотрителем университетского стадиона. А он был счастлив, говорил, что нашел себя. Ему нравилось работать на свежем воздухе, нравилось возиться с газоном, нравилось, что вокруг молодежь. Сам сухой, маленький, но уже крепко в возрасте, а ручищи, как чугунные ухваты, ни один из студентов не мог уложить его руку на стол, как ни пукали... А многие приходили специально, просились на поединок. А он всегда соглашался, потому что проигравшие должны были копать землю, поливать траву.

Обманчивая у него была внешность. На него на какой-то велогонке нарвался хулиган. Пьяный, сел за руль, возмутился, что Викентьич перегородил трассу (получается, не Васильич — Викентьич!). Кричит: я тебя, сморчок, раздавлю! Викентьич свалил его в нокаут одним ударом в ухо.

Там, у дамбы, за стадионом, Викентьич подобрал брошенного вороненка, выходил его, откормил. Из года в год наблюдали такую картину: Викентьич едет на велосипеде на стадион. В любую погоду без шапки, а летом в одной майке, черный от загара, как битум, — и этот Каркуша планирует с тополя, встречает его, садится ему на плечо, роется клювом в волосах, вроде бы целует.

Не думали друзья, что он уйдет первым. Он нас склеивал, без него помирать страшно. Разве что встретит он нас там чин чинном и забьет хорошее местечко.

А любимая присказка у него была такая: «Слишком я добрый, чтобы быть умным, слишком я умный, чтобы быть добрым». Уважал диалектику!

Житие какое-то, подумал я. Жалуемся, что люди опустели и обозлились, что не на ком глаз остановить, а на самом деле не умеем различать людей, и не хотим, скорей всего — невыгодно. Почему же я о тебе никогда не слышал, почему мы не познакомились, милый человек? И вдруг через тысячу километров как будто отозвался ревниво Иван Прохорович: зато ты со мной знаком, мальчишка, мало тебе этого? Каждому по заслугам. А тебе и больше того. И мне почему-то стало стыдно перед подаренным судьбой старым другом, вторым моим отцом, и захотелось попить с ним чаю.

— Извините, а жена его умерла в феврале 2002 года? — спросил я.

— Да. А — вы календарик приметили? Догадливый, — похвалили старики.

— Несут, — сказал квадратный молодой человек.

Музыканты дунули в свои приборы. Из подъезда вынесли две табуретки, следом появился гроб. Служилые ребята несли его на ладонках. За ними вышла дочь, которая совсем не походила на Екатерину Сергеевну. Она была старше, в очках. Старики подошли к ней, и я отчетливо расслышал, как кто-то назвал ее Верой. Подо мной покачнулась земля, я понял, что попал на «чужие» похороны.

Дочь не рыдала. Она сказала тихо, но настойчиво:

— Давайте помолчим. И на кладбище помолчим. Ладно? Скажете на поминках.

Старики согласились и даже улыбнулись довольные. Видимо, это было очень важно, они ждали, что Вера примет правильное решение — и она его приняла.

Спокойно, сосредоточенно постояли, почему-то на душе было легко. Дочь обошла окружающих мокрыми глазами, благодарно кивая каждому. Кивнула и мне, и я ей кивнул. Она задержала на мне взгляд, затем наклонилась к старику Николаю и что-то спросила — конечно, «кто это?». В ответ он пожал плечами, и меня это почему-то задело. Она вновь посмотрела на меня и вновь кивнула. И вежливо и настороженно: чужим

здесь не место. И я опять ответил, чувствуя какое-то свое неприличие. И в том ли только дело, что я ошибся адресом? Но это меня отрезвило. Я уже не мог ехать на кладбище, хотя мне никто того не запрещал. А ведь уже был готов проявить такое великодушие.

Но тут соседи с первого этажа с треском открыли окно и вывалились, муж и жена, на подоконник, качая скорбными головами в такт траурному маршу.

А все-таки, что она за человек? Очень хотелось, и верилось, что она человек достойный. Это имело отношение к моему желанию жить.

Викентьича занесли в катафалк, с ним уселась дочь и пять одуванчиков. Остальные потянулись к подоспевшему автобусу.

Площадка перед подъездом опустела. Во дворе никого не было. На асфальте и частично в луже лежали красные и белые гвоздики. Я постоял еще чуть-чуть, для приличия и от растерянности. Искать дом Екатерины Сергеевны было бесполезно и бестактно — я уже принадлежал Викентьичу. Где-то рядом, через пару дворов, наверняка уже отрыдал Шопен, и лежат на земле такие же гвоздики.

А каким был покойник, к которому я опоздал? И я с ужасом подумал, что хороший человек — большая редкость, что лимит скорее всего исчерпан и в один яркий весенний день в одном квартале не могли покинуть мир два праведника.

— Вот за такую калькуляцию и наказывают нас небеса.

Авось Екатерина Сергеевна простит меня. Ведь немудрено, что я обмишулился. Если нашлись четыре сносных плеча, она про меня забудет.

После этого, по пути домой, я сделал два дела: отправил посылку Ивану Прохоровичу и купил розы жене.

Посылка представляла собой собрание благородных трав со всех континентов нашей голубой планеты. Они будут завариваться чистой водой Восточной Сибири. К травам я приложил высмотренную в книжном магазине назидательную книгу «Жизнь только начинается». Она начиналась так: «Вам исполнилось семьдесят? Вы созрели для того, чтобы приносить радость себе и окружающим. Начнем с того, что посмотрим в

зеркало. Что мы увидим?» Автором книги был указан Г. Г. Газгольдер, доктор психологии и отважный, видимо, естествоиспытатель. Уважаю естествоиспытателей.

Когда я подал жене цветы и старательно поцеловал ее, она сказала:

— Ты что, брат, с цветами — провинился, что ли? Ну-ка посмотри-ка мне в глаза!

Я рассказал ей о своей ошибке, но настаивал на охватившем меня просветлении. Однако она выбрала иной мотив подношения цветов и назвала его откуплением. Провинился и откупился, сказала она, исходя из опыта нашей повседневной практики. И то хлеб, что у тебя совесть есть. Она за тобой не успевает, запаздывает, но покуда мерцает. Жаль, что ее в основном воскрешают табак и алкоголь, очень жаль.

Шутила жена, шутила.

— Я думал о радости жизни, о том, что рядом с хорошими людьми она без всяких теорий немедленно обретает смысл, — убеждал ее я.

— Если слишком увлекаться поисками смысла жизни, — сказала жена, — дети будут беспризорными.

И послала меня за насущным хлебом.

Сторонний голос вызывал теперь у меня неприятное беспокойство. Он подсказывал, что старик мог быть не столь иконописен, как мне привиделось; на похоронах всегда, под влиянием момента, под властью ритуала, говорят тепло, чтобы не молчать холодно, и опускаются подробности, которые бывают на самом деле решающими. Мало мы знаем великих гуманистов, высасывающих из близких последние соки? И редко ли права человека шумно защищают последние шкурники?

Увы, я думал об этом. Вернее, и об этом, потому что ощущение праздника от встречи с достойным оставалось и преобладало.

А хлеб между тем подорожал.

Через несколько дней вернувшаяся с работы жена сказала с порога:

— Сегодня появилась, вышла на занятия Екатерина Сергеевна.

— Что она, как она, держит удар судьбы?

— Держит, смирилась. Но похороны были тяжелые, рыдала, в обморок падала. Народ — одни наши музыканты, женский пол. Запаниковали. Боком вышла твоя рассеянность! На вынос гроба зазвали какого-то дяденьку с улицы — спасибо, вошел человек в положение, помог, пока ты просветлялся. Я извинялась, извинялась... И сама прийти не смогла, и ты подкачал...

Я сидел в кресле с закрытой книгой в руках и глядел на потемневшие облака. Они обещали дождь, первый дождь в этом году. В открытую форточку донесся громовой раскат, и ответно закипели детские голоса.

Я подошел к окну. Нет, то была не поэзия грозы — по крышам гаражей бегали нахальные дети, и самым разнузданным из них был наш сын. Он то подпрыгивал на крыше гаража нашего соседа Анатолия Ивановича, то поливал ее из баллончика ультрамарином.

И я поймал себя на том, что после появления этих баллончиков с яркой краской у меня чешутся руки популять из них. Надо было послать парочку таких снарядов Ивану, в деревне их не продают.

Еще через несколько дней на Центральном рынке я увидел Веру Сергеевну. Наступило обеденное время. Она сидела в палатке за стопками китайских джинсов и ела лапшу из пластиковой тарелки, сдвинув очки на макушку. Она меня, конечно, не узнала.

Торговец напротив, молодой азербайджанец, сказал ей:

— Эй, Вера! Шурум-бурум-керим? Якши?

— Керим-бурум-шурум! Якши! — ответила она, улыбаясь — Ты, Салман, побрился бы! Сидишь злым абреком, никто к тебе не подойдет.

— А ты побрей меня, — сказал Салман.

— Стара я, чтобы тебя брить, сын Казбека, — сказала она, принимаясь за кофе.

— Слушай, какой Казбек?..

Подошли люди и заслонили меня от них. Никакой морали эта сцена не содержала. И слава Богу.

5. Ода степной писанице

Нет, друг мой, нет: туда, конечно, не вернуться, и не нужно, вовсе не нужно перевоплощаться. Та жизнь была слишком трудной, каторжной, примогильной, она ежеминутно требо-

вала от человека знаний и умений, которых у нас нет. Но возникает, во спасение, святая жажда на нее оглянуться — есть о чем вспомнить, есть что сравнивать. Ибо в наше разреженное время весь в пробоинах на душе, ценой юности и зрелости приползаешь, ободранный, к истине самостояния, к величию стоицизма. Те же люди рождались со стоицизмом в крови, они знали, что смерть дожидается их за холмом, и пили жизнь вкуснейшими глоточками, выговаривая простое предложение, как целую поэму.

Древние слова Начало и Конец — однокоренные, в них жизнь не сон, в них жизнь есть КОН. Это приговор, зовущий в простор.

— Да, дорогой мой, да: не косность, не малость побед над природой заставляли их сотню поколений держаться одной одежды и утвари, одних примет и обрядов, как бы ни менялся мир вокруг. Они не хотели вторить метаморфозам того, что мы называем Историей, им было дико приспосабливаться к ней из текущих выгод. Кон выше Истории, как Культура выше Цивилизации. Приходили новые племена со свежей силой, и они, беззащитные, размывались и погибали в новом окружении, отдавая кровь пришельцам и земле.

— Потому что наступила их очередь, а они помнили, что когда-то перед ними склонились рыжие двухметровые солнцепоклонники со светлыми глазами, подставили им свои черепа и отдали им свою кровь. Нынешние хонгоры помнят и тех, рыжих, хотя между ними вал в тысячу лет, и это заочная, глубинная, земляная память. Они зовут их «люди-аххарах» и знают, что те прожили здесь свою тысячу лет, до расписных, что это они густо засеяли степь от южных гор до холодной тайги могильниками из розового плитняка.

— Эти же, с разрисованными лицами и косичками на затылке, прожили после них свою тысячу лет. Они не могли быть «другими», не-собой, и мальчик, которому только вчера заплели на берестяной катушке мужскую косичку, твердо знал свой кон.

Они жили между двух зол. Смерть страшна, но страшней потеря лица. Каждого из очереди уходящих в мир иной должны были там узнать — и поэтому принять. И тогда неизбежный уход приобретал смысл и становился возвращением.

— Они спустились к людям-аххарах из горных лесов, куда они, может быть, пришли, накатились на лыжах из холодной тайги. Какие-то их потомки, во всяком случае, ушли туда (вернулись?), когда явились первые из черноголовых с глазами спелой черемухи. Разрисованные одни из всех плавали по великой воде и ловили рыбу. Они познали железо, но котел их жизни был меньше, чем у черноголовых, которые тоже владели железом.

— Но косичка, вот эта косичка на затылке, они передадут ее по степному домино до наших дней, ее будут носить все племена, сколько бы их ни сменилось у этих рек и озер.

Косичка-кичиге, она пережила всех и красуется на изображениях хуннеких, сарматских, уйгурских, коктыуркских, кыргызских, перебравшись через темные века и села на затылок буйного Еренака, тряслась на головах хонгоров, угоняемых джунгарами в Ойротию, и вернулась домой, пережив джунгаров, вырезанных китайцами под корень...

— О чем вы говорите! Мне страшно, я боюсь, что меня укусит змея. Разводите костер! — возмутился сын и вернулся в машину, где пахло пылью, потом и горючим.

Развести костер в ночной степи непросто. Над головой дрожит звездное небо, светит полная, жирная Луна, но степь здесь мягкая, спотыкающаяся, она холмится и ложится, а хворост, как назло, прячется в островках тени и разбросан настолько врозь, что впору собирать его с компасом в руках.

Время запахов мы упустили, оно уже сменилось временем звуков. На степь упала первая роса, над степью дымка тончайшего, изысканного тумана. Травы серебрятся и плывут. Но где-то темнеют извилистыми полосами, словно на них проступают следы тех, кто ходил здесь две тысячи лет назад.

После них эта местность была заброшена, иногда сюда добредали овцы да редкие собиратели трав и любители змей.

Ночь звуков. Ровный гул с востока: там, невидимая за холмами, полирует бездну Большая Вода. Сполохи света на прибывшихся к горизонту облаках — от нее. Если прижать ухо к земле, гул начинает щекотать ухо и дробится, будто с востока к Воде торопится конница, тумен за туменом.

Мыши, суслики и лисицы живут своей отрывистой и лаконичной ночной жизнью, ветер посвистывает между каменными грудями, гудит в щелях каменной кладки, где спят змеи и шепчут на ветру бесчисленные шкурки, сброшенные ими.

Мы развели костер. Затрещали палочки-лапочки, удивляясь, что они могут гореть, могут для чего-то пригодиться здесь, где огонь не днюет и не ночует, пробегая палом раз в столетие. В этой степи свет костра короток и никого не может манить. Если от костра бросить, постаравшись, камень, он упадет во тьму, туда, откуда костра уже не видно, он уже спрятан морщинами земли.

И больше одного костра одновременно может увидеть только гуляющий по небу орел-вдовец, которому не спится в нечищеном гнезде на вершине Оглахты.

А время здесь ходит по кругу, в одни и те же ворота, сложенные из обомшелых камней. Если пойти от нашего костра прямо на юг, не уставши придешь на место, где не так давно, пять поколений людей назад, хонгорка Дарья, собирая саранки, провалилась в древний склеп.

Сначала, ужаснувшись от увиденного, она упала в обморок и повстречалась в нем со своим дедушкой Ахпашем, известным разбойником. Дедушка был непристойно обнажен, истощен, грыз саранки, гневно тряс жидкой косичкой. Когда Дарья пришла в себя и убедилась, что цела, она приценилась к отличной меховой куртке, надетой на погребальную куклу. У куртки был один недостаток: ее полы не запахивались одна на другую, а связывались встык кожаными ремешками. Подруги могли засмеять Дарью. Дарья развязала ремешки зубами, надела куртку на себя и выбралась наружу, оставив кукле несколько саранок. Обнова была на загляденье, и что Дарье было до того, что куртку сшили не позже того дня, когда Иисус воскресил Лазаря.

В котелке закипела вода. Мой ученый товарищ заварил чай. То, что насыпалось в воду, собиралось им весь долгий день, пучок к пучку, когда мы ехали по степи, на Июсах, на Малой Сые, между озер, на горных склонах. Товарищ назвал свою коллекцию букетом родного Хонгорая.

Я пошел за сыном. Но он спал крепко, неотменимо, да и началось время озноба. Я накрыл его одеялом. За этот день он про-

жарился и пропотел с головы до ног, кожа его зудела, и ногти продолжали припадать то к шее, то к подмышкам. Не беда, вечером его ждет ванна.

А те люди никогда не мылись и считали, что это принесло бы несчастье. Упаси нас Господи от такой традиции.

Почему Дарья упала в обморок? В склепе сидели куклы из кожи и ткани, набитые травой и пережженным прахом умерших, а головы кукол состояли из их черепов, заключенных в глиняные маски. Дарья посмотрела в глиняное лицо, продукт древнего, основательного реализма, ей могло показаться, что кукла пошевелилась, как бы оживая. Дона могла пошевелиться от падения Дарьи по простым законам механики.

Люди с расписанными лицами очень серьезно относились к смерти, она же инобытие. Переправляя покойников к предкам, они совершали множество действий, прежде чем кукла занимала место в подземном срубе. Трупы кремировались, черепа пробивались, из них вынимался мозг. Возможно, они его съедали. Если это правда, значит, так было нужно.

Они обтягивали череп тканью. Для избранных ей мог быть китайский шелк. Они общались с хунну, хунну тогда правили Поднебесной, их ставка находилась в трех днях пути, на берегу Абакана. На материю накладывали белую глину и с большим искусством ваяли лицо. Расписным из простых полагалось одно лицо на всех, и лепилось оно небрежно. Но встречаются маски с такой тонкой личной выразительностью, они несут такую элегическую печаль, что хватаешься за забытое сердце. И понимаешь, что человек с тех пор не стал добрее, глубже и внимательнее к своим собратьям.

Маски раскрашивались красными, черными, зелеными красками — наносились спирали, треугольники, черточки — для мужчин так, для женщин так. Не забывали про косички. Для них на темени оставляли отверстие.

Да, у них было неравенство. Одни куклы занимали место у входа в склеп, и их непременно топтали ногами, заноса новых пасажиров. Другие вольготно сидели в глубине, в первом классе.

Зимой не хоронили, собирая тела в некой храмине.

Куклы сидели в склепе неровными рядами — в каждом ряду были умершие за год, а год на год не приходится.

Усталость взяла свое: мы проснулись поздно, нас разбудил проголодавшийся сын. Солнце заливало степь, приближался полдень. Роса высохла, крупные бабочки-стрекозы носились косяками над травой и бились в стекла машины, заглядывая внутрь. А птиц не было видно и слышно, здесь им нечего есть. Вместо них запели кузнечики, этого было более чем достаточно.

Мы дышали чистым сливочным воздухом степи. Выпитая водка сластила, мы закусили ее вдохами ароматного плотного воздуха.

Вернулось время запахов. Это была ярмарка запахов, и надо всеми царствовал дух ирбена, он же богородская травка, он же евшан, чей запах возвращал людей из безнадежно-чужих краев. О, ирбен, ирбен! Ты переживешь нас всех, ты само время в этой степи! Все поколения степняков, скифы ли, самоеды ли, тюрки ли, считали ирбен священной травой. Поджигая его, молились, отваривая, лечились, сухим ирбеном спасались от сглаза и насекомых.

Ирбен рос везде, его мелкие розовато-фиолетовые цветочки усеивали землю и по ложбинам, и на взгорках, мешаясь с крепким седоватым мохом.

Исчезли тени, полдень. «Пора перевестаться с моими предками», — говорит мой товарищ. «Это не совсем твои предки, — возражаю ему я. — Здесь все мои предки, и белоглазые тоже. А расписные — монголоиды. Так о чем ты говоришь?» «Мы не делим предков», — серьезно отвечает он, щуря свои гагатовые глаза.

Мы поднимаемся к каменной гряде на востоке. Ваятели древних масок оставили нам свою писаницу, а точнее долбленицу. Вон она: каменный гобелен шириной в аршин тянется с севера на юг, зажатый в слоях плитняка. До него метров семьдесят по наклонной.

Большая дорога проходит много западней, путей сюда не знает обыватель. В степи не трогали чужих камней — чужих духов, считая их за причастных, но сегодня писаница бы погибла, как погибли многие до нее, утонула бы под дурацкими надписями, разрушилась бы окаянными руками наших современников, имей они к ней доступ.

Мы — немногие, кто знает о ней, наше свидание с ней сокровенно.

Пошли крупные камни и осколки плит, товарищ бьет по ним палкой: распугивает змей. Зачем, говорит сын, они же безухие. Зато они чутки к ударам, сотрясениям, толчкам, отвечает това-

рищ. И то правда, дяденька — старая толстая гадюка отползает в сторону, тупо оглядываясь на нас.

Вот она, писаница. Справа налево, слева направо бегут, кружат изображения: на очищенном срезе стопки каменных листов работали тонким железным бойком, выбивая точки. Этих точек наберется, небось, с миллион.

— Это же граффити! — сказал сын, — а это панк!

И он ткнул пальцем в человечка напротив, что шел, задрав спичечное колено, к юрте: на его голове возвышался гребень. Кичиге, косичка от расписных!

Товарищ наливает в стакан водку и идет вдоль писаницы, кропя ее кончиками пальцев. В подражание ему я тоже наливаю водку и иду ему навстречу. Я неловок, мой стакан пустеет быстро, и товарищ торопливо меня останавливает.

— Духам достаточно! — говорит он, проверяя бутылку.

Мы смотрим на писаницу. Вот деревянная юрта с открытым пологом. В юрте горит огонь. Вот войлочная юрта, она таинственно закрыта. Вот мужчина идет на дело, в руке меч, за спиной саадак. Вот мальчишка из одних черточек, у него в руках игрушка. Юла? Астрагал? А вот верблюды, их много, они бегут-кружат по степи, а вот бегут кони, бежит олень. Вот несутся всадники, за ними поспешают пешие. И у всех одна нога опережает другие. Все бежит, летит, кружится.

А у юрты стоит человечек в разгильдяйской позиции, широко раскинув руки, и смотрит на них. С восхищением? С ужасом?

Мы не знаем, на каком языке они говорили, как их звали, какой внутренний смысл у этой выбегающей из камня панорамы. Но все люди с косичками, наши люди, Боже ж ты мой!

И сдается мне, что изобразил все это тот разгильдяй возле юрты, вышедший, может быть, по малой нужде. Больше никому, все заняты. Брат мой, я бы обнял тебя и прослезился!

А в юрте горит, горит, две тысячи лет горит огонь.

И я рад, что в лице моего сына прочитывается глубокая задумчивость, наморщившая ему лоб.

Мы набираем охапки ирбена, и пропахшая ностальгией машина несется на юг, домой.

Домой.

РАССКАЗЫ

ВАЛЬС-БОСТОН

Дед, Николай Петрович Лямшин, вернулся в деревню позже всех фронтовиков, осенью 1947 года. Ушел на войну последним и возвратился последним, отслужив в комендатуре немецкого города Цвиккау. Мужики уже попритихли и съезжились. Работали за палочки и проклинали свою бедняцкую долю, а тут появился переполненный вольным духом добрый молодец с белыми руками без единой мозолилки и горящим взором, обжигаящим всех молодых подряд.

Погоди, злорадно говорили мужики, завтра и тебя укатают. Забудешь пудру-деколон, будешь такой же мерин, как мы. Погожу, отвечал им Николай, а на душе еще с границы скребли кошки.

Было Николаю двадцать два года, и был он хорош собой. Немножко портила фасон слишком большая голова, настоящая тыква. Круглая, череп состоял из шести долек. Нигде нельзя было купить ни шапки, ни кепки, ни шляпы на такой глобус, до войны головные уборы шил ему старый еврей Пинскер из райцентра, и это стоило денег.

Когда Николай появился в тот год великой засухи в деревне, сарафаны взлетели и передали по дворам: Тыква прибыла, и ничего с ней, с Тыквой, не случилось, не раскололи. И всем было понятно, о ком речь.

Он приехал к папаше с мамашей с торбочкой консервов, какими-никакими рубликами и некоторыми трофейными предметами, половину из которых у него поотнимали по дороге разные проверяющие.

Бритва, чулки, две пары часов, стальные зубочистки в красивом стаканчике, крошечный театральный бинокль, который он две недели прятал в мотне. В основном, ерунда всякая. Но здоровенный отрез бостона, метров на пятнадцать, был не ерунда. Николаша привез его в двойном брезентовом мешке.

Бостон стоил дорого. Из него можно было сшить пару вечных шикарных костюмов. А остальное продать в райцентре через тетку Ангелину, не знавшую горя, жирея на орсовском складе.

И первое, чем поинтересовался Тыква у восхищенных родителей, было: почем бостон?

Ого, ответили ему, почему! Даже простая шерсть байка-меланж шла за 120 рублей и, конечно, была не по карману большинству районных на окладе, не то что беспаспортным селянам. А бостон, чисто шерстяной отечественный бостон стоил 510 рублей! Что скажем о бостоне, вышедшем из аккуратных тевтонских рук?

Но недолго играла улыбка на вишневых губах Николая! Тем же вечером он поздравлялся с мужиками, пили сизый картофельный самогон. Не пили — хлопали, чесали языками, хвастался Николай, хвастались односельчане, рвал гармошку дядька Василий. Стояло бабье лето, пекло, как в июле, и до заката не дотянули — попадали. По причине жары не подрались и не успели вспомнить про женский пол, хотя у солдаток Паши и Анюты на всякий случай с обеда было застелено чистое белье. Здесь его переключивали ромашками.

Николай проснулся дома на рассвете, подброшенный непонятными воспоминаниями. В тырке не оставалось уголка, не отутюженного самогоном, но он, не отрываясь от ковша с рассолом, принялся искать свой бостон.

И не находил. Разбудил мать, поднялся отец — не знаем, не видели, никто не заходил. Так и есть!

Не зря забилось в память, что поднимался пьяный и, спотыкаясь, ходил после заката при оранжевой луне с мешком и лопатой и где-то закапывал бостон.

«Точно, выходил ты, сыночка, помню, — говорила испуганная мать, — а один или вдвоем с мешечком, не углядела».

Вон оно что. А больше-то, убей меня, ничего не помню.

И вспоминал день, неделю, месяц, год, пятьдесят лет — и так и не вспомнил. Копал и шарил то здесь, то там. Много лет пытался увидеть подсказку во сне, с утра бежал с лопатой то на конюшню, то на старый ток — бестолку. И пил нарочно, и на голову вставал, и шупал пиджак на председателе — все понапрасну.

Потерял душевное спокойствие, оставался худ и нервен всю жизнь.

Новость немедленно разнеслась по деревне и с годами превратилась в одно из самых популярных местных преданий. Одни говорили, что сокровище у Николая отнял заморочивший его черт. Другие — что беспомощным состоянием Тыквы воспользовался

райкомовский инструктор Машин, поздним часом пробиравшийся в их деревню к сударке и наткнувшийся на Николая. Это было правдоподобнее, Машина знали, клев у него был наточенный.

Над Николаем посмеивались, задевали его на пьянках-гулянках и натрезво. В 1958 году Федя Шаньгин разозлился на Николая за то, что он, помогая полной Фединой жене слазить с полуторки, случайно залез ей рукой под юбку.

Может быть, и не случайно, между прочим. Но Федя Шаньгин, имея повод, так издевался насчет бостона, что Николай не выдержал и ткнул его шилом, повыше. Из этой раны получился отек легкого, и Федя едва не отдал Богу душу, а Николая посадили на два года.

В лагере имел он прозвище-погоняло Бостон. Вернулся угрюмый, кормили там плохо.

Но не надо думать, что Николай совсем ополоумел от своей потери. Работал на МТС, трактористом в колхозе, потом в совхозе, вырастил сына Анатолия, получал грамоты. Анатолий уехал в город и вырос до главного механика в гараже, его единственный сын Максим подался в предприниматели, торговал продуктами и металлоломом. Его даже пытались поджечь, чем дед по-своему гордился. Внук навещал деда. Любил его,пил с ним и баловал.

На восьмидесятилетие деда сын и внук устроили настоящий пир на весь мир. Накрытый во дворе стол поражал деревенское воображение. Бодрый дедушка Николай бегал вокруг него, ловил гостей в объектив дорогой видеокамеры и хохотал, как беззаботное дитя.

На голове у него не было ни одного волоска. Покрытая золотистым загаром, она как никогда напоминала переспелую тыкву.

И тут внук предложил ему выпить мексиканской водки текилы. Она из кактуса, сказал он, бьет по черепу, как молоток. Тебе понравится.

Стоит ли, сказал сын Анатолий, как бы чего не вышло, а сам слотнул. Главные механики не любят выпить. Бабка замахала лапками: да что же это за опыты такие?

Наливай, потребовал дед, полный стакан наливай! Хлопнул стакан и заснул прямо за столом. Его отнесли в горницу и продолжали веселиться, время от времени навещая спящего. Запомнилось, как Максим, выходя на крыльцо, сказал: — Что-то дед брови сдвинул и кулаки сжал. Наверное, войну вспоминает.

Нет, не войну вспомнил дед Николай. Рано утром он разбудил сына и внука и повел их, охваченных зевотой и ознобом, по росе на известную Дарьину полянку, место в километре от села, где повесилась в 1931 году деревенская раскулачка Дарья Смокотина. Полянку распахивали и забрасывали, нынче она в очередной раз зарастала березовым сором.

Дед уверенно наступил на пяточок земли и подал внуку лопату.

— Текила, говоришь? Копай!

И недолго копали внучок и сменяющий его сынок. Вскоре достали они из земли брезентовый мешок, отлично отдохнувший в сухом песочке.

— Пятьдесят восемь лет назад, — сказал дед, — вас в помине не было, в рот те хрен.

Над полуполянкой-полуколком веял ветерок, в лесу проснулся дятел. Три поколения стояли над ямой, словно напрашиваясь на патриотическую открытку.

Дома дед сказал внуку: — Ты найди там, в городе, самого старого портного еврея, чтоб он помнил этот бостон.

Такого портного Максим нашел в третьем по счету городе и привез его снимать мерки в начале зимы. Портной был ветхий старичок, родом из города Шклова, «про который все знают». Потомки портного опасались его отпускать, и Максим оставил в залог за него тысячу долларов и свой загранпаспорт.

Увидев материал, старичок прижал его к лицу и понюхал. Потом помял в трясущихся руках и сказал:

— Не слишком ли мы долго живем, Николай Петрович? Не ангелы ли прислали нам вот этот превосходный бостон?

И старики обнялись, голова к голове. Вышел в некотором роде натюрморт из тыквы и яйца динозавра на фоне заслуженных ходиков «Заря», произведенных в их молочные годы.

Старый портной сшил три костюма-тройки и три кепки с пуговочками, обтянутыми тем же бостоном. Кепка деда Николая напоминает крышку походной кухни.

Солидный остаток бостона дед отдал Максиму — для будущего правнука. И велел поторопиться с его появлением на этот свет.

БРУСНИКА

Село на обском притоке в краю относительно хорошей земли и воды. Здесь живет много немцев, сосланных сюда во время войны. В основном это немцы из Поволжья. В изгнании выросло уже четвертое их поколение. До сих пор им не даются русские падежи, зато их немецкий уводит в далекий восемнадцатый век — на исторической родине так не говорят, и ученые люди, трепеща, приезжают сюда из Германии.

Многие уехали в Германию, кто-то вернулся — не прижился в порционном быту. И видно, что в селе живут немцы: подворья добротные, знакомые с гигиеной. Красота тут дело второе, но все надежно, соразмерно, трезво. Конец, где немецкие дома стоят погуще, один к одному, называется «Берлин».

Три сестры, состарившиеся в Сибири немки, урожденные Линде, похоронили мужей-немцев и фактически живут вместе, у старшей, Аннеле, слушаясь ее во всем.

Младшие, Лидия и Мария, ходят к себе домой, чтобы покормить поросенка и кур, протопить избу, летом — на огород, но ночуют там редко.

У сестер баварские смуглые лица, карие теплые глаза. Они открытые, добрые, говорливые. Могут похихикать. Могут говорить одновременно, но при этом почти не перебивают друг друга: добавляют, уточняют, сливаются в хор. Так, наверное, распорядился своими головами Змей-Горыныч.

У всех беспокойные теребливые руки. Это бросается в глаза, потому что они, дочери порядка, сидят в ряд, в одной позе, с прямыми спинами.

Рассказывают, как по приезде сюда, в Сибирь, вырубали в поле топорами «мерзлый картошка», как выменивали последние тряпочки на еду, как умирали от голода и холода родные люди, деточки малые. И ежедневно слышали: фашисты, фашисты.

Аннеле вспоминает: в 1943 году (ей было десять лет) в конце лета единственный раз выдались свободные два-три часа, и она сбегала в остывающий лес набрать брусники. Возвращается с

лукошком. А навстречу едет верхом сухорукий учетчик, молодой парень лет двадцати. Наехал на нее и кричит:

— Брусники нашей захотелось, фашистское отродье? Кору глодай!

И «бичиком меня по рукам». Выронила она лукошко и в слезах побежала домой под его матерки. «Мутти говорит: не плачь, что делать — война, мы как-то виноватые».

— А такая обида, по ночам часто снится, до смерти не забуду, никогда ему не прощу.

— А что, он живой еще, обидчик ваш?

— Живой, — отвечает Аннеле, — за восемьдесят уже.

— Ходит, рука висит, ногу таскает, — добавляет Лидия.

— Правнуков шестеро, — добавляет Мария.

— Вот тут, рядом живет, как в проулок-то, — говорит Аннеле, — грязнуля!

— Еще и выпить не дурак, чертов этот, — добавляет Лидия.

— А мы с ним никогда не здороваемся, не разговариваем, — добавляет Мария.

— А вот сейчас время другой, теперь можно, — взволнованно говорит Аннеле, — вот я его если встречу теперь — я ему скажу! Я ему скажу!



В ЦЕНТРЕ АЗИИ

Начало шестидесятых. Небо стало ближе, и на перронах редко увидишь плачущих. В маленьких сибирских городках вместе с черемухой расцветает дворовая жизнь. В оградах появляются грибки, скамейки, клумбы и песочницы; с весны до осени, с утра до вечера здесь роятся дети, взрослые и старики, рожденные в девятнадцатом веке. Сейчас, в оттепель, пережив страсти революции и ужасы войны, глухую полувековую крепостную недолю, старые люди словно проснулись, осторожно осмотрелись и защебетали.

В центре города А. трехэтажный дом, в котором поселили всякого рода образованность, специалистов, собранных отовсюду. Как правило, это публика из выживших ссыльных, репрессированных людей, успевших за годы несколько раз пересечь широкую нашу страну из конца в конец. Среди них есть настоящие герои войны и труда, золотые руки и головы, по которым плачут столицы. Но они уже о столицах не будут плакать никогда.

Дом этот и поныне кличут Домом Специалистов, но спроси у нынешних горожан, почему, — хорошо, если ответит десятый.

Жаркое, знойное лето, закат висит огромной раздувшейся канарейкой, а в воздухе все стоит и стоит марево, пейзаж дрожит, плывет, зыбкие дети играют в свои игры, трубя в стручки акаций, как буддийские монахи. И каждого возле песочницы или скамейки дожидается своя бутылка с водой. Бутылки пустеют быстро, и дети снова и снова бегают на колонку в соседний двор.

Вот тоненький сутуленький мальчик в одних коротеньких черных трусиках, в одном лице мотоциклист и сам мотоцикл. Он, рыча, несколько раз подпрыгивает на месте и молнией срывается от грибка до ворот, от ворот до грибка, от грибка до ворот...

Это я. Безнадежно, убыточно влюбленный в еду, я вчера попробовал в столовой гуляш с рожками и все еще полон сладостных воспоминаний об этом. Весь в поту и пыли, в блаженной

африканской усталости, я наконец оседаю на землю — и с восторгом подпрыгиваю из последних сил: песок раскаленный.

Мимо меня ходят стезжками две старушки. Одна, в легком застиранном сарафане — дворничиха Надя. Она метиска, полурусская-полутатарка, с багровым от зноя лицом, с толстыми бугристыми ногами. В незапамятные времена, наверное, царские, она, по ее сведениям, работала на приисках в Балыксе, мыла золото. Мама с непонятной усмешкой говорила, что знает, какое такое золото мыла Надя на Балыксе. Может быть, из зависти усмехалась мама.

Другая старушка — Эмилия Карловна Шлегель, преподаватель немецкого языка. Она родилась в Дрездене, в двадцатые годы с радостью переехала в СССР, в город с перспективным названием Энгельс. Потом ей досталось немножко науки, потом трудармия, потом ссылка и счастливое обретение работы в Учительском институте в краю розовых могильных плит. Миниатюрная, одни косточки, горбатая от старости. Она одета очень тепло. Серое платье и серая суконная кофта, на головке белая марлевая шляпка с ландышами. В лапках пародия на ридикюль. Похожа на сухой хлопковый кустик.

Старушки дружат уже десять лет, с первой встречи. Как ни странно, соседи, прошедшие все круги плебейского советского ада, считают их союз мезальянсом. Анна Трофимовна Полякив, «западенка-националистка», отмотавшая восемь лет Карлага, не поленилась попенять за это Эмилии Карловне, но встретила твердый, даже грубоватый отпор. Карловне хорошо с добродушной, сердечной, заботливой Надей. Обе они одиноки, бездетны, всем этим семейно-сытым людям их не понять.

Шлегель идет, мелко-мелко переступая ножками в детских китайских кедах. Надя деликатно умеряет свои великаныи шаги, сгибая колени, ставя свои распухшие ступни в тапочках на землю сверху вниз, перпендикулярно.

Надя рассказывает:

— Этот Сабыс давно по мне тосковал. Видный был парень, остроглазый, быстрый, как тулпар. И вот приходит в поселок ихняя партия... (тут Эмилия Карловна вздрагивает и втягивает голову в плечики)... по-нынешнему — геологи, только попроще...

и к нам, девушкам. Вбегает Сабыс: где Надя, где она? Вот она. И сразу повалил меня, платье срывает, целует, горячий, как печка... До утра меня мучил, заснуть не давал, неугомонный маныс.

— Та, та, — закивала восторженно Эмилия Карловна, — пывает такой темпераментен мужчина. Огонь, ураган, повелитель! Та, та.

И Надя вытерла ностальгическую слезу, скатившуюся к ее губам.

А из чьего-то распахнутого окна заклинало радио: — Держись, геолог! Крепись, геолог! Ты ветру и солнцу брат! Таа — та — та — та!

Мне было шесть лет.



ТОСКА ЗЕЛЕНАЯ

Юрочка Обносков, молодой человек двадцати трех неполных лет, все еще ушибленный своей фамилией, безо всякой необходимости задерживался на работе. Он окончил университет, был оставлен на кафедре, и вот сухой и оттого безобразно пыльной весной он сидел на кафедре и мыслил о том, что завершается уже первый год его работы — работы, с которой однажды его вынесут вперед ногами, чего не миновал ни один из его старших коллег. «И все они считают, что так и должно быть, что просидеть всю жизнь на одном месте есть высший удел для нашего брата в этой тоскливой, сволочной жизни», — разочарованно вздыхал Юрочка. Ему не захотелось жить по прејскуранту 1978 года.

Над ним сгустились трагедийные тучи. Он понимал, что настигли его, наконец, новые намерения и настроения, но совсем не те, воодушевляющие, которых он жаждал и чаял. Идешь по темному, сырому лабиринту, идешь и веришь: скоро, за одним из поворотов — солнце, свет и накрытый стол. Выходишь — а тебя встречает пулеметная очередь. И кончена молодая жизнь.

Сидел он, конечно, за столом заведующего и курил, перебирая документы и прочие бумаги в его папке. В списке текущих забот учителя он наткнулся на следующий пункт: «6. Обноскову сделать больно за пьяные речи на банкете. С его худобой и психопатией пить наперстками и т.д.».

Юрочка не догадывался, что мудрый заведующий нарочно забывает на столе свою папку, зная, что редкий из подчиненных побрезгует засунуть в нее нос. Пусть подчиненные как-то своряют свою работу и грацию с руководящим курсом и не питают младенческих иллюзий о тайне вкладов. Но сейчас Юрочка остался равнодушен к полученным сведениям и не наморщил чела своего. Ему было все равно.

Консультация закончилась. Давно ушла последняя студентка, по ошибке унеся с собой его любимую ручку. На кафедре — комнате, уставленной брусками облезлых фанерных шкафов, горел тусклый свет: из пяти лампочек в люстре уцелели две. Душно, из коридора крадется мертвый шелест. На этаже ни

души. Юрочка встал, снял со стены портрет Льва Толстого и положил его плашмя на книжный шкаф. Потом разулся и уселся, закинув ноги на стол.

Это не могло никого заочно оскорбить, потому что ноги были очень худые и не могли быть инструментом вызова.

В папке лежала еще книжка в бумажной обложке. Какие-то краеведческие очерки местного писателя. Юрочка полистал, почитал из нее и с удовлетворением убедился, что книжка скучна, в ней не отточены ни факты, ни мысли. Зато были щедро представлены пространные разговоры старинных россиян на манер афишек 1812 года. О чем автор едва ли знал.

Четыре века назад по призыву туземного князя сюда пришли казаки и поставили острог. Казаки выглядели комсомольцами, а их воеводы — коммунистами, князь обратился дальновидным красным аксакалом, а стройка — Магниткой или Братской ГЭС. Когда казаки непонятно как нашли в тайге нефть, проницательно связав с ней великое будущее края, они принялись мечтать о Городе Солнца.

«Али не жаждется тебе, Истигней, чтобы людишки расправили трудовые плеча свои, царя скинули и зажили сообча?»

Юрочка возненавидел прикормившегося автора: ну, буфетчик обкомовский!

На авантитуле имелся автограф, обращенный к заведующему: «Дорогому Ивану Сергеевичу с пожеланием прочитать сей опус и вынести свой суровый приговор. С приветом Э. Сохатых. 13 апреля 1978 года».

— Сейчас! — язвительно сказал Обносков. — Разбежался, Сохатых!

Читать местных авторов на кафедре считалось занятием непристойным. И не без оснований.

Вдруг Юрочка пошевелил бровями и, не сразу сообразив, зачем, потянулся за телефонным справочником.

Что толку было торопиться домой, в постылое общежитие? Кругом дикий мир, на улице несет песок и мусор, пятничные счастливые потомки казаков просто обожают приставать к субтильным очкарикам. Тогда люди помоложе вообще любили приставать друг к другу — это было для многих единственным развлечением.

А в магазине остался черствый хлеб, а на полу там лужи прозрачного молока, усеянные осколками бутылок — свидетельство суровых сражений за жизнь.

А этот длинный коридор в общежитии? Юрочка жил в самом его конце. Пока дойдешь до своей двери под господствующий грохот унитазов, лоя запахи из чужих кастрюль и сковородок, нестерпимо захочешь напиться, а напиться не на что и купить спиртное негде.

И Юрочка набрал телефонный номер.

— Вечер добрый, — сказал он в трубку брежневским голосом, — это Эдуард Сохатых? С партийным приветом к вам член с 1939 года, ветеран войны и труда Барков Иван Степанович. Инструментальный завод имени Вахрушева. Хочу вот это я дак поговорить с вами, товарищ писатель, о вашей книге «Заря над тайгой». Скажем так. Крепкая книга, ядреная... Но есть вопросы.

— Гм, гм, здравствуйте, Иван Степанович, — ответил ему застенчивый тонкий голос, — очень рад. Очень. Я открыт критике. Товарищеской, марксистко-ленинской, как я понимаю? Да, да...

Юрочка не мог знать, что подобный звонок раздался в квартире Сохатых впервые за всю его плодотворную творческую биографию, и ликующий Сохатых досадует на себя сейчас за то, что встретил его в одних трусах и с фурункулом на шее.

— Хорошо вы рассказали об основании города, — сказал Обносков, — интернационализм раскрыт убедительно, сознательность казачья. А позвольте вам сказать: как же это с киргизской ханшей тогда вышло? Нехорошо! Некрасиво!

— Нехорошо, — согласился Сохатых, — но это издержки вольницы. Век такой, новое место. Начальство новое из реакционеров. А потом...

— А так хорошо, — милостиво перебил Юрочка, — вы можете гордиться!

— Спасибо, — пролепетал Сохатых, — вы знаете, мы, писатели, не избалованы. Нечасто доводится услышать такое доброе и, главное, компетентное мнение.

Юрочка уже притомился.

— Нехай, нехай, добре, — сказал он басом, — то гарно. Бывайте ласковы.

— Но мы же не поговори...

Юрочка положил трубку.

Не смешно, нет. Сам ты Истигней.

Он просидел на кафедре еще полчаса, но больше ничего не придумал. В это время Сохатых декламировал жене о том, что сознательный пролетарий исходно понимает литературу глубже, чем завистливые коллеги, погрязшие в мелкотемье. «Надо будет рассказать об этом на собрании, — сказала жена, — пусть подавятся». «Могут не поверить, сволочи», — засомневался Сохатых.

Юрочка шел сумрачным городом, разочарованный карьерой. Ему было обидно, что при этом он чувствовал себя виноватым, предателем. За что, перед кем? Может быть, всякий, рожденный в стране СССР, тем уж виноват, что хочется ей кушать?

Позавчера он шел с работы, задумавшись об одной студентке. И не заметил, подходя к остановке, что люди, хотя их было немало, как-то странно освободили ее середину, теснясь по периметру.

Естественно, он машинально пошел на свободное место — и натолкнулся там на пожилую женщину. Очки. Пальто, трико и кеды. Растрепанная голова.

— Что же ты со мной сделал, негодяй? — сказала она ему, как доброму знакомому. Юрочка смотрел на нее, как филин, — он видел ее впервые.

Через три секунды он понял: сумасшедшая. Но уже успел почувствовать себя разоблаченным, униженным грешником и сильно струхнуть.

— Вы мне в матери годитесь, — брякнул он наобум, оживляя зрителей, — отстаньте, пожалуйста.

— Вот именно, развратник! — воскликнула безумная и попыталась ухватить его за рукав. Пришлось бежать. Иные из толпы могли поверить ей, и в этом был смысл. А что он, педагог, хотел сделать с той студенткой?

В общежитии ему сказали, что это была бывшая жена доцента Кибальникова. Она часто стережет его на университетской остановке, коротая время в откровенных рассказах о нем всем подряд, включая его учеников. Она печатала ему все его статьи, а он ушел к другой.

Тайна карьеры вышла вся, впереди бесцветная гимнастика буден. Товарищи — предадут, женщины — не оценят. Мачу-Пик-

чу он не увидит никогда, и его засосет стакан. Будут одни статьи. Никому не нужные. Они и будут жизнью, пока не придет черед последней.

В этом году на факультете умирали часто, и Юрочка преждевременно познал пресную сердцевину своего высокого ремесла.

Когда умер Никольский, Стеценко скорбно сказал над гробом:
— Ушел человек. Осиротели близкие. Осталась недописанной статья...

И развивал про статьи. Юрочку покорила эта «статья». Но, наверное, Стеценко волновался. Впрочем, что еще можно было говорить о склочнике Никольском?

Потом умер добродушный Стеценко, и Абросимов сказал над гробом:

— Ушел человек, осиротели родные. В наших рядах невосполнимая брешь. Осталась недописанной статья...

Значит, статья превыше пирамид. И ведь искренне говорили.

Какого черта на главном месте статья, сказал себе Юрочка, эка страсть, что недописана! Когда умираешь — всегда недоживаешь. Как будто смерть бывает правильной, дожидаясь промежутков между статьями. Что такое статья перед смертью?

Даже академика Лихачева статья, холодея от собственной смелости, шепнул себе Юрочка.

В родном южносибирском городке, в замкнутом оазисе преподавателей захолустного пединститута, в некотором роде богоугодного заведения, их дети обязаны были хотя бы получить «поплавок», а в идеале написать диссертацию и занять место своих родителей или родителей своих сверстников, по методу перекрестного опыления. Иначе скандал, пятно на семье, потеря уважения.

Юрочка же не только без поддержки поступил и окончил курс старейшего легендарного университета, но и остался в нем работать. Надо ли говорить, как чванились им родители.

Правда, перед тем слоились годы, когда им довелось щедро испытать из чаши позора. Они были интеллигенты в первом поколении, из села, поступили в пединститут сразу после войны и за свою нишу в тени великих строек пролили немало пота. Они

застряли на ступеньке добротной образованщины и ни в чем не хотели ни отличиться от прочих, ни упрекать свой век. Они со-ответствовали. Преподавали и растили троих детей.

Сначала огорчила дочь. Они пристроили ее, нерадивую, на свой факультет. Через год она бросила учебу, течение унес-ло ее в продавщицы магазина «Ткани», что располагался на первом этаже их дома, где жили вузовцы и другие достигшие положения люди. Потом она выходила замуж за хама, раз-велась с ним и стала, мягко говоря, гулять. Она красит веки в зеленый цвет, ногти — в алый и постоянно перекуривает, дымит «Опалом» у входа в магазин. И говорит всякие дерзо-сти проходящим мимо друзьям и коллегам родителей. «Чего устались» и т. п.

Но мало того. Еще большим позором покрыл родителей старший сын Владлен. Избалованный и грубый, он, еще учась в школе, ударился в пьянство, хулиганил, пропадая в бильярдной в городском парке. Этого алкоголика и матерщинника даже и не пытались запихивать в пединститут. Когда он был дома, сугу-бой мукой для родителей становился магнитофон, из которого часами неслись контрабандные вопли какого-то Поля Анки и некого Высоцкого, безусловного уголовника в прошлом и, мож-ет быть, в настоящем.

Владлен отличался сверхъестественным аппетитом, он даже арбузы съедал вместе с коркой, у него случился завороток киш-ок, его оперировали, оставив ему метр оных, он стал инвали-дом. Но жрал еще чаще и больше. Родители обедали в инсти-тутской столовой и прятали свою вечернюю еду, где придется, он находил, они искали новые щели — он находил. Дольше всего продержался почтовый ящик, где целых три раза подряд скрывались покупные котлеты и печенье к чаю.

Но спасибо и на том, что не бил — так, замахивался.

Среди его многочисленных безобразий стоит упомянуть ра-зорение семейной библиотеки. Родители с любовью и приле-жанием собирали огоньковские подписки. Двадцать лет! Влад-лен перетаскал местным книжникам все, что стояло во вторых рядах. Уплыли Марк Твен, Вальтер Скотт, Драйзер, Бальзак, Золя, половина «Всемирной литературы». За хорошие деньги!

Преступление открылось, когда отец, вынося мусор, обнаружил на помойке пятитомник Н. Грибачева. Его Владлен толкнуть не смог и с досады выбросил.

Наконец он женился на славной девушке, куколке, дочери декана, и сел ей на шею. Молодые отселились, и в доме наступила выстраданная тишина. Конечно, Владлен приходит за данью. Иногда родители не открывают ему и, содрогаясь, внимают пинкам в дверь и крикам: «Вы же дома, старикашки!» или «Где они шляются, эти дрозодилы?»

Исчерпывающе понятно, что третий ребенок Юрочка восстановил семейные идеалы и вернул родителям уважение окружающих и воскресил веру в самих себя.

Знали бы невинные родители, что все это теперь находится под угрозой, имеющей вздорное нежнопсихологическое происхождение.

Дезертирская нота продолжала звучать в Юрочке всю следующую неделю. Он ходил на работу, вел занятия, принимал зачеты, но душа его блуждала в поисках заветного маршрута. Однажды в полусне ему привиделось, как он опускается в батискафе на дно Марианской впадины, стуча зубами от холода. Колоссальный морской моллюск скребся мощными когтями в иллюминатор. От страха Обносков пробудился и стал сосредоточенно думать: почему после 1960 года никто больше не пробовал повторить подвиг Пикара?

В пятницу он пошел на консультацию. Выходя из общежития, он обогнал маленькую девочку.

Она спускалась по ступенькам, таща за собой игрушечную коляску, в коляске сидела кукла. Девочка ласково приговаривала:

— Подожди, сейчас мы с тобой погуляем, подышим кислородом.

Но тянула коляску рывками, атлетично. Куклу прилично трясло, головка ее выписывала в воздухе неровную восьмерку, глаза одушевленно, нервно моргали. «Как нарочно. Узнаю собрата по несчастью», — подумал Юрочка.

Проведя консультацию, он сел за телефон. Не то чтобы ему хотелось общаться с Сохатых, но предложите затосковавшему человеку выбор!

И он снова позвонил и снова похвалил Сохатых. На этот раз он воздал должное сочной народной речи персонажей. А затем огорошил писателя вопросами:

— Не являлся ли патрон города Борис Годунов горьким пьяницей?

— Как казаки решали женский вопрос?

— Не родственник ли Сохатых еще один Сохатых, Валентин Егорович, которого он, Барков, встречал в Тамбове в качестве начальника отдела снабжения на родственном заводе? Кстати, товарищ не очень порядочный, если честно.

Сохатых на первые два вопроса отвечал уклончиво-фарисейски, родство же с Валентином Егоровичем отрицал напрочь. А затем спросил, в свою очередь, не читал ли Иван Степанович исторические очерки писателя-земляка Французова? И не находит ли ветеран, что Французов склонен к словоблудию и мелкотемью?

Юрочка не читал произведений писателя с распространенной смоленской фамилией, но отвечал, что Эдуард безусловно прав: легкомысленный писатель, шаткий в убеждениях.

Тогда Сохатых вкрадчиво попросил написать похвальное для него письмо в адрес писательской организации. Это важно в плане издательских перспектив. И, если нетрудно, рассудите нас в полемике с Французовым, будьте третьей стороной. «Добре», — бездумно сказал Юрочка и вечером написал письмо, а наутро бросил его в почтовый ящик.

«Дорогие товарищи! Позвольте Вам сказать о неизгладимом впечатлении, произведенном на меня книгой писателя Э. Сохатых «Заря над тайгой». Правдивая, полезная, талантливая книга, открывающая нам деяния наших предков. Я и сам приехал в наш город 60 лет назад и прикипел к нему душой навсегда, интересуясь всем, что интересно. Спасибо за радость, товарищ Сохатых! Мы со старухой читали книгу вслух нашим внукам. К сожалению, не могу сказать того же о книге писателя Французова, в которой налицо субъективизм и уклоны в мелкотемье.

Ветеран партии, войны и труда, орденоносец, награжден 23 почетными грамотами, в т. ч. ВЦСПС за подписью Шверника, Барков Иван Степанович.»

Опуская письмо в ящик, Обносков ни на миг не усомнился в том, что имеет право на такое развлечение.

Прошли дни, наступило лето с комарами и тополиным пухом. Юрочка решил в отпуск ехать на Черное море и там разведать о возможности поступить на морской корабль. В конце концов английский он знает прилично, за него должны ухватиться. Поэтому он успокоился и вполне жизнерадостно донашивал свой мундир.

Он позвонил Сохатых еще раз, попрощался и сообщил, что уезжает в гости к брату, в город-герой Севастополь, и уезжает надолго, поскольку вышел на пенсию, как ни умоляли его остаться. Восьмой десяток пошел, пора уже, сказал Юрочка. Сохатых горячо поблагодарил его за письмо: «С вашей помощью я горы своротил».

Да провались ты в тартарары, подумал Юрочка. Какие горы мог своротить такой лапчатый гусь?

А вскоре Обносков и позабыл эту историю, принявшись ухаживать за одной сомлевающей в библиотечной духоте аспиранткой. Впрочем, она не принимала его всерьез.

В конце июня состоялась встреча выпускников факультета. К назначенному часу над входом в учебный корпус повесили картонный планшет с цифрой «20», в открытое окно одной из кафедр выставили проигрыватель, и он в меру сил наполнял дворик звуками «Щелкунчика». Преподаватели вышли на свежий воздух и встали цепями и группками. Они предварительно улыбались, репетируя встречу с учениками. Улыбались и те, кто пришел на факультет много позже и не знал выпускников 1958 года. Юрочка тоже улыбался.

Стали собираться мужчины и женщины на пятом десятке лет. Многие приехали издалека. Они выделялись: в тех местах по-другому ходили и разговаривали, и это отразилось на них. И чем длиннее был путь человека до альма матер, тем увесистее была его сума, в которой нетерпеливо гремели бутылки.

Рядом с Юрочкой стоял его старший товарищ Капитанов, он был постарше выпускников, вел у них занятия и театральный кружок, а потому знал их всех и, обнимаясь то с одним, то с другой, охотно сообщал Юрочке, кто это и откуда.

Как быстро увядают люди, думал Юрочка, как много бесформенных тел, щербатых ртов, морщин, нелепостей в одежде, неглаженных брюк.

Как много усталых, потерявших искру глаз!

И эта женщина в безобразных очках, с варикозными ногами — первая красавица курса? И первый заводила, блестящий чтец своих и чужих стихов — вот этот лохматый ипохондрик с кривым неопрятным ртом? Боже ты мой, вот она, доля голодного и забитого педагога. Заржавели, порвались струны Эоловой арфы!

— Пришел Сохатых, — сказал Капитанов, — я его не люблю.

— Сохатых? Где Сохатых? — очнулся Юрочка — Я хочу видеть этого человека!

Капитанов был почти шокирован. Он понял Юрочку по-своему. Тогда люди вообще не вызывали друг у друга доброго любопытства, и уж к таким, как Сохатых, оно могло быть только сомнительным.

— Был остолоп из остолопов. Все над ним потешались, — ревниво сказал Капитанов.

Поодаль, среди сарафанных теток помещался крупный, выпуклый, весь в ломтях дикого сала человек с подозрительно кудрявой, шельмовской головой. Отставив массивный зад, подобный четвероногому существу, выкатив плакатные глаза, он горячо что-то намолачивал теткам, теребя руками висевший на шее блестящий иноземный фотоаппарат. И тетки без конца посматривали на это чудо и тоже притрагивались к нему руками.

Юрочка вспомнил сегодняшнего шмеля, увиденного в школьном сквере. Огромный шмель в расцвете статей пристроился к цветку шиповника и доил его, поводя раздувшимся бесстыдным задом.

Он подобрался поближе. Сохатых звенел знакомым Юрочке тонким голоском.

— Все говорят: писатели богато живут, командировки, Пицунда, Переделкино, гонорары... Не верьте! Чушь собачья! Глупость! Вот мы с женой съездили в Западную Германию — трусы было не на что купить! Трусы было не на что купить, представляете?

Летел пух, тетки чесали ноги и сочувственно кивали. Одна — совершенно искренне.

«Под видом жалобы он хвастается, сообразил Юрочка, хвастается, дешевка, что власть его холит, путевку ему в капстрану выдает. И фотоаппаратом козыряет — смотрите, жалкие, сделано в Японии! Обменяй его на трусы, раз ты такой несчастный!»

Юрочка отошел в сторонку. На отлете, у прутьев решетки, отделявшей тротуар от зеленых насаждений, сидели на корточках два маргинальных выпускника, седой и плешивый, и пили из граненых стаканчиков зеленоватое нечто.

— Ты из новеньких, — окликнули они его, — ассистентик? Выпей с нами.

Юрочка выпил что-то крепкое, сводящее скулы.

— Почему вы не со всеми? — спросил он.

— Мы паршивые овцы, газетчики, — ответил ему седой, — их от нас тошнит, нас от них тошнит.

— Особенно от Едуярда, — сказал плешивый, — от проститутки этой.

И рассказал свежие новости про Сохатых. Тот организовал какие-то письма от трудящихся, в них воспевались его партийно-краеведческие лубки, его смердящая лира и мазались дерьмом творения Васьки Французова, его вечного соперника. Они едят из одного корыта и вечно сталкиваются пятаками.

— Васька, по крайней мере, пьет, — сказал седой, — его совесть мучит.

— Два сапога пара, и оба, ха-ха, жмут, — не согласился плешивый.

Далее Юрочка узнал.

Эдуард огласил письма на писательском собрании. А Французов, придя под мухой, начал скандалить, слово за слово — схватились за грудки. Французов кричал, что Сохатый — Иуда, лизоблюд и все подстроил, нет никаких ветеранов в действительности, надо эти фигли-мигли проверить. Дальше — веселее...

Юрочка опустил свои ясные глаза.

В общем, Французов треснул Сохатого по уху, а тот, трезвый, хитрый, сдачи принципиально не дал и вопиял к собравшимся. Оно бы еще и обошлось. И не такое видали, но бешеный Французов схватил те шикарные настольные часы, что подарил писателям хозяин обкома, и расколотил их о паркет. Вот этого точно не следовало делать.

Хозяину донесли. В итоге Французова исключили из писателей, из партии. Жена его тут же выставила за дверь. И он с позором уехал к матери в далекую Ельню. Скушали человечка в две недели.

— Все-таки он пил, — повторил седой в прошедшем времени, — у него совесть была.

— Что приуныл, юноша, — спросил плешивый у Юрочки, — а у вашего брата совесть есть?

Но Юрочка не ответил, страшно разозленный, он быстро зашагал прочь.

Назавтра он сходил в библиотеку и почитал книгу Французова. Да, два сапога пара. Такое же барахло, как Сохатых. Но совесть, смешанная со злостью на себя, не умолкала. И плохо было не от сочувствия к скушанному с его помощью Французову, не от одной вины перед ним.

Был страх.

Даже малюсенькая попытка сунуться в этот мир пальчиком принесла кому-то большие неприятности. А если кто-нибудь, рикошетом, насунет пальчик на Юрочку?

Какое море, какие там дальние страны и жизнь на просторе! Нет, по Сеньке и шапка. Ты видел выпускников — так не выпускайся!

Чтобы отвлечься, он поехал в зоопарк. Зоопарк был привозной, раздраженные переездами звери забивались в углы клеток, и младенцы утомлялись от призывных криков. Пролетарские матери требовали вернуть им деньги: что мы увидели?

Исключение составлял африканский страус. Он замер прямо перед сеткой ограждения, медленно поводя над ней головой. Дескать, кого долбануть? За мной не пропадет. Юрочка встал перед ним, они встретились глазами. Глаза у страуса были черные, обсидиановые. И в них попеременно вспыхивали крошечные молнии. Не страус я, куда мне до тебя с твоими молниями, подумал Юрочка. Подумал с облегчением.

И услышал смех. Вернее, прыскание, прыснула девушка из простых. Когда он оглянулся, она закрыла рот ладонью. Юрочка понял, что со своей худобой, маленькой головой и длинной шеей он казался карикатурой на этого мужественного сына саванны.

Он ободряюще кивнул девушке. Год был трудный, я попросту устал, задергался. Не было этого, ничего не было. Я остаюсь. Вечером он засел за свои конспекты. Делай свое маленькое дело, из маленьких дел, как из ручейков — реки, сливаются большие эстафеты поколений.

Можете не верить, но с тех именно пор Юрочка соответствовал: трудился, писал статьи, читал лекции — и недурно, с юмором; изворотливо не давал себя в обиду и не чуждался легких амуров. Сохатых он не встретил ни разу. Неудивительно. Живя в одном средних размеров городе, они ходили в разные места и в разное время. Писатели и хранители в те годы пересекались крайне редко.

В пятьдесят два года Юрия Сергеевича свалил инсульт. Сказались болезненная полнота, гиподинамия и бытовой алкоголизм. И Арциховская сказала над его гробом: ушел человек, осиротела семья. Осталась недописанная статья...

Юрий Сергеевич лежал в гробу под сводами конференц-зала и будто слушал: будто проверял, все ли необходимое будет сказано и должным ли образом.

Между прочим и прочего кто-то из провожающих частным образом обронил:

— У Обноскова был пунктик. Он очень не любил разговаривать по телефону, никогда ни о чем по телефону не договаривался. Дома к телефону всегда подходила его жена, врала, что его нет — что передать?

Другой голос добавил:

— Говорят, он с ней познакомился в зоопарке, и она звала его Страусенком.



ОСТРОВ СМЕРТИ

Авантюрная русская сказка, сложенная при Петре Великом, начинается так: «Был один солдат, служил, бедненький». Бездонный смысл в этом зачине! Однако ж, на то он и солдат, чтобы служить и бедовать, да и судьба ему в сказке, конечно, улыбнулась. Но бывают времена и страны, когда людей косят без разбора и плющат не глядя — назови только дату. И уже неважно, солдат ты или боярин. «Был один человек, жил в 30-е годы в СССР, бедненький». Найдите умную голову, в которую придет после такого начала ожидание доброй развязки!

В Старину все, даже суцая правда, обращалось сказкой. И чем она веселей, тем оно вероятней. Нынче все, даже самая прихотливая ложь, веет документом, протоколом, пусть печать иной раз расплывется и невнятна подпись химическим карандашом. И чем мрачнее, страшнее, тем легче веришь.

То, что рассказывают, все, что ни придумали бы про остров Смерти — чистая, крошечная правда.

Новым Тацитом стал инструктор райкома партии Величко. Он был тогда молод и совестлив. И он не сомневался, что совесть и линия партии должны сверяться. Поэтому, оказавшись свидетелем ужасного преступления, он поведал о нем в своей наивно-негодующей записке наверх.

Похоже, затем ему пришлось об этом пожалеть и искать в той жизни пятый угол. Ну, с чего бы он подался в писатели, сочиня сахаристые романы, под завязку набитые положительными, идейными советскими людьми?

Не знаю, уместно ли добавить, что в библиотеках его книги хранятся с чистыми, девственными формулами. Их никто не читал. Бедненький. Поклон твоему праху.

Весной 1934 года по мановению ведомства Ягоды в столицах усердно принялись хватать, арестовывать граждан. Хватали прямо на улицах, без разбору. Пошел человек за хлебом, решила пьющая троица добавить, направлялся в главк некто командировочный с целью добыть гвоздей для плотников города Кинешмы... И часто так: на вокзале татарская девочка двенадцати

лет, ни слова по-русски, а мама отошла за водичкой — прибрали и девочку. Навсегда прибрали, никогда не увидит ее мама.

Брали в том, что было, с тем, что есть. В майке, шароварах и тапочках. С тремя рублями в кармане. Всех в кутузку, из кутузки в эшелон. И пошел битком набитый поезд на восток.

Что это была за кампания такая, какой был в этой опричнине довод — неизвестно. Но не стройка социализма, не лесоповал, не котлован. Эти люди были ненужными. Их убрали из жизни как избыточную сорную мелюзгу. Хотя план органам спустили свирепый, объемный, и тащили сплошную мелкую сеть. Ершами не брезговали, они, в основном, и попались.

Не учения ли то были? Большая, ответственная, так сказать, разминка?

В мае баржи, в которых примучили голодом, болезнями, теснотой и вшами шесть тысяч человек, привезли их в назначенное Никуда. Баржи пристали к острову Назинскому. Этот громадный остров — 33 километра по периметру — расположен на речном раздолье, там, где в набравшуюся сил Обь впадает полноводная речка Назина.

Тайга сырая, дикая, весна запоздалая, лютые комары и гнус.

За все суровое лето так и не придумали, что делать с такой прорвой разнообразных мужчин, женщин и детей, чем их кормить. Учения закончились. Все, что у них было — сырая земля, костры и малые пригоршни муки, раздаваемой в тлеющие шапки и подошвы, и просто в горсти. Ни крыши над головой, ни посуды, ни инструмента. Ни мыла — ничего. И не сбежишь — вода широкая, студеная. Северная вода. Ослабшему вплавь спастись — безнадежно. Плот голыми руками не построишь, а если и построишь — охрана прищелкнет.

Уголовники и охрана стакнулись и вскоре ободрали с беденьких последнее, меняя хлеб и табак на остатки денег, одежду и мелкие причиндалы. А после и попросту отбирали что приглянется. Блатные охотились за людьми с золотыми зубами, и по острову стали находить трупы с вывороченными челюстями.

Полуголые люди сходили с ума от страха и голода. Получив пригоршню муки, они часто даже не разбавляли ее водой, чтоб не успели отобрать. Тут же высыпали ее себе в рот и умирали от душья.

Все виды простуды, дизентерия, тиф, цинга.

И убийства, все чаще убийства. Через месяц на острове начали есть друг друга, и превратился он в остров Людоедов. Перевелись слабые, неосторожные, доверчивые. Сильные, но самоуверенные — тоже.

В августе из шести тысяч человек на острове осталось неполные две. Назинский остров засеян костями, зыбится черепами. Страшно представить себе здесь земляные работы.

Семьдесят лет спустя, в самом начале июня, такой же запоздалой весной, миссионерский теплоход «Надежда» подошел к Деревне Назиной. Председатель сельсовета, умный потомок ссыльных, на всякий случай разумно пожаловался приезжим на жизнь. Здесь жили с рыбы. Правда, выходило, что в изобилии здесь ловится рыба бросовая, дешевая, а нельма и стерлядь — как-то не очень.

«Бережется, лукавит», — сказал сведущий рыболов о Степан.

Дело шло к вечеру, остров Смерти темнел за сотни метров, окруженный косматой ледяной водой.

— Мы туда не ездим, — сказал председатель, — не косим, не становимся. Ну его к черту, остров Людоедов. Я там два года не наступал или три. Бывало, причаливал по какой нужде, а дальше берега не ходил. Неприятно. Нечего там делать.

— Мертвецов боитесь?

— Ну, не мертвецов... Молодой был — как-то любопытствовал: прошел повдоль, осмотрелся.

— И что? Кругом скелеты, следы всякие?

— Ничего. Кругом ничего, — усмехнулся председатель, — в том-то оно именно, что ничего. Одни худоросты. Даже клеща нет, не занесло с материка, далеко. Все сквозит, глаз не на чем остановить. И ходить устаешь — проваливаешься в старую траву по пояс, как в паутину.

— Мы будем там новый крест ставить, поклонный. Панихиду по убиенным мученикам отслужим чин чинном, — сказал о. Алексей, — говорят, старый смыло: близко к берегу воздвигли.

Семинаристы как раз заносили крест в катер.

— Ваше дело, хорошее дело, — сказал председатель, — а тот крест еще живой, в бинокль видно. Но смоет его точно не сегодня.

ня-завтра. Играет берег, уходит на запад. Тот самодельный, а ваш, гляжу, ладный, по науке сробленный. Продвигается цивилизация.

О. Алексей на эти слова покачал головой и перекрестился.

— Вы его поглубже там ставьте, пройдите чуть, потерпите, — сказал председатель, — или вам, наверное, нужно, чтоб его видели с воды?

Мы причалили прямо к кресту. Он действительно стоял на самой кромке битого берега и было обречен. Его основание было мокрым — ветер щедро кропил его брызгами, волна разевала на него рот. Отцы дружно помолились на него и вздохнули: не жилец.

Идти по острову было одно мучение. Ноги проваливались и заплетались в напластованиях сухой, сто лет не кошеной травы, и поднималась едкая пыль, она пахла грибной плесенью. Ноги не касались земли, и, понятно, что все оставшееся от людей, сколько бы их здесь ни полегло, под таким коконом спрятано заветнее Кошцева яйца.

Потерпев сотню шагов, а вернее — втыканий и переставлений ног, мы, не сговариваясь, встали, переводя дух, и огляделись. Всюду, на километры, смотрелся исключительный редкий осинник, и каждое дерево жило отдельно, окруженное пухлыми, плавными матрасами бурой травы. А листочки на чахоточных ветках еще еле проклюнулись. И, пересекая нам путь, тянулся, извиваясь, темный хвостик остальной вешней воды, собираясь поодаль в хмурое озерко.

Сиротливый вид!

А остров встречал нас, и встречал, угрюмо затаившись.

Сливаясь из двух рек, вокруг него крутилась на воле большая, сильная вода, а над ней куролесил свистящий, толкающийся воздух. Но на острове все замерло, застыло, до последнего хилого листочка. И листочки в своем покое казались жестяными. Тишина, в которой каждый наш хруст, каждое покашливание отдавались, дробясь, как некие выстрелы.

Поддаваясь местному закону, мы замерли сами, опустили руки, сдержали звуки.

И тогда, удостоверясь в нашем уважении, над островом подала голос кукушка. Голос был негромким и унылым, хрипловатым, как бой заведенных через вечность заржавленных часов.

Но куковала она долго, накуковала на целый век и продолжала дальше, впрок. Будто заждалась нас и отдавала теперь без остатка все, что накопилось.

Но сразу умолкла, когда, отряхивая наваждение, тихо заговорили люди.

— Здесь, на острове Смерти, кукушка поет о бесконечной жизни, — сказал мой товарищ, — и поет она для нас. Тут дело серьезное. Намекает: понимаете, где находитесь, и живите, живите.

— Кукушка всегда весной поет, день за днем, — сказал о. Иннокентий, — а здесь весна только задышала. Приехали бы мы в июле и ничего бы не услышали. И вообще поет только самец.

— Но не зря же, неслучайно же мы приехали в такое время, — возразил товарищ, — почти в то же, что и они тогда... Я так думаю, — чуть смутившись, добавил он.

— Может быть, — грустно сказал о. Иннокентий, — и кукушка все пела и пела, саднила с утра до ночи над приговоренными к смерти в муках. Пока они ее не поймали и не съели.

— Наверняка поймали и съели, да, — согласился товарищ, — ох-хо-хо.

Окоем молчал, стесняясь своей неприглядности.

— Вот это и называется Богом забытое место, — сказал о. Георгий, — краснотал вдоль берега, общипанный осинник в начинке. Из худой торбы тут сыпали. И земли-матушки не прикоснутся.

— Нет, не попусту — так задумано, — вставил непрощенное словечко семинарист Афанасий и покраснел. И неравнодушно глянул, как мы, два мирянина, закуриваем.

— Смотрите, смотрите, — воскликнул о. Алексей, — не чудо ли? Словно знамение нам, где крест ставить!

Как же мы раньше не заметили? Близко, вполне на виду, зеленела молодая, умытая, изумрудная пихточка, единственная, может быть, на весь остров.

Теперь поверилось, что в указанный срок, впервые за тысячу лет сознательный ветер потрудился и перенес ее семя на остров, в нужное место, куда придут умышленные люди.

Ставили крест и молились на закате. Витые ленты синего лаdana обвивали наши головы, отцы трудились в полный голос, отпуская заждавшиеся души в присутствии ненаказанного Зла.

А в завершение панихиды мы оглянулись на робкий, вежливый плеск. В озерке, почти под нашими ногами, купались две ондатры, застенчиво косясь на обступивших крест людей. Семинарист Сережа осторожно помахал им ладошкой.

Не успел катер отойти от берега, как осунувшиеся отцы начали зевать. Один, другой, третий, вместе и наперегонки. Они подставляли растрепанные затылки встречному ветру и брызгам, усмехались и смущенно высматривали что-то в бурунах за винтом.

— Да очень уж прозябли, устали, после такой-то работы, — сказал о. Роман удрученно, — матушки мои, четыре тысячи душ!

Месяц спустя я случайно разговорился с пожилым вертолетчиком. И надо же: когда-то, годы назад, он кружился над теми краями. Я напомнил ему про Назину, он встрепенулся и свистнул.

— Знаю остров Смерти, он же Людоеды. Как не помнить? — сказал он. — Летишь осенью, под тобой тайга темная, мутная, в пятнах желтых и красных — березки, осины. По берегам ивняк рдеет тесьмой. А заходишь на Назину — торчит этот остров, как жерло вулкана. На нем одни осины — горит, полыхает. Впервые увидел — закричал от неожиданности. Его, наверное, из космоса отлично видно, такой багрово-алый, в блестящей оправе воды. Когда узнал его судьбу — оторопь взяла. Получается, кровь к небесам вопияшет, верно?



ЛЕНИНУ И БЕЗ ВАС ХОРОШО

В середине шестидесятых, в Москве на Курском вокзале — несколько семей енисейских сибиряков, спаянных родством и дружбой. Тетя Саня и тетя Валя — учительницы, тетя Галя, сестра тети Сани — скотница, муж ее дядя Ваня — глухой и потому громогласный тракторист. У него огромная грудная клетка, под небом помещается полбуханки хлеба, рот подобен входу в бункер Гитлера (так считает тетя Галя). Пятеро ребятишек с выгоревшими под степным солнцем волосами от семи до четырнадцати лет.

Они уже купили билеты в желанный город Сочи, чудом, по стечению обстоятельств одолев невиданную и невежливую давку перед кассой. Поезд ночью. Весь день как на блюдечке. Решение единственное: едем на Красную площадь, в Мавзолей Ленина. Собственно, оно было принято еще дома — найти такую возможность и навестить.

Ленин нам не чужой — мучился три года в ссылке у нас в Шушенском. Ну, почти у нас. Мы об этом кое-что знали, как местные люди. Тетя Галя, дерзкая на мысли и язык, вполголоса кощунствовала:

— Баранина с зайчатинной его, Ильича, замучили. До Зимнего довели. То баранина, то зайчатина! Без просвету! А нам бы за колбасой из писек-сисек достояться!

Демагогия известная. Идейная ее сестра тетя Саня отвечала:

— За мелочами горизонта не видишь! Подумаешь, колбасы не хватает, если через пятнадцать лет коммунизм!

— Да, временные трудности здесь ни при чем, — задумчиво отозвалась тетя Валя.

— А? А? Что говоришь? А ты, Валентина, что говоришь? — гулко ухнул дядя Ваня, волнуясь. К нему подошла дежурная по вокзалу и упрекнула:

— Гражданин! Вы не в степи у себя там или под землей!

Доели последние два десятка яиц, сваренных дома четыре дня назад, запили буфетным чаем. Прихорошились в туалете, даже головы помыли с мылом холодной водой, надели всем чистые носочки. Дядя Ваня побрился осколком зеркала. Уборщица сказала ему: мне бы такого мужа. Взяли полмешка

шишек. Это была идея тети Сани — полмешка шишек захватить в подарок Ленину, чтобы помнил Енисей, это в Москве оценят, а полмешка — в Сочи, на взятки за курортные услуги. Едем к Ленину!

Приехали к Ленину. Очередь в Мавзолей растянулась на всю площадь, густая, широкая. Тетя Саня сказала:

— Десять тысяч человек!

Все веселые, оптимистичные: сейчас Ленина увидим! Здорово! Щедро представлены прогрессивные негры. Двое даже забыли переодеться, пришли в ярких желто-зеленых платьях. И оба с бородами. Дети показывали на них пальцами, даже неудобно.

Тетя Саня сказала тете Гале:

— Вот это очередь! Это по-нашему! Это тебе не за колбасой стоят люди — колбасе столько народу не объединить! И Ленина на всех хватит!

Тетя Галя ответила:

— Я на первый раз промолчу.

А тетя Валя сказала задумчиво:

— Когда-нибудь Ильича воскресят. Что он скажет? «Молодцы»? А, может, «мало работаете, товарищи»?

Тетя Галя добавила:

— И будет он после работы в Мавзолей захаживать — папироску стравить: мать честная, сколько ж я лет тут пролежал на радость врагу!

- А? Что сказала? — заухал дядя Ваня. — Куда Ленин сбежал?

К нему подошел милиционер:

— Безобразие так орать, товарищ, вы, часом, не пьяный?

Тетя Галя ответила:

— Он, часом, — глухой, как пень курагинский!

Милиционер сказал:

— Лучше бы он был немой, чем провокации устраивать!

Ближние в очереди засмеялись, и даже негры — за компанию. Нам жарко, знойно — им хорошо.

Тетя Галя громко сказала:

— Он, между прочим, тракторист, орденоносец. Слух на работе потерял, хлебушек вам добываючи!

Милиционер обиделся:

— Он что, один на всю страну глухой орденосец? Да половина — кто без руки, кто без ноги, кто совсем слепой! Надо вести себя прилично, не за лифчиками в сельпо стоите.

— В сельпо лифчиков не дают, — быстро сказала тетя Галя, — губу надул, а сам — видно: деревня вчерашняя, губа-то от семечек не зажала.

— Хорошо-хорошо, это она нездорова, — опередила задохнувшегося милиционера тетя Саня и крикнула шурина в ухо:

— Тихо себя веди, бубни шепотом!!

Тут очередь раскололась на две партии: одни хохотали, как в кино, а другие говорили недоброжелательно:

— Безобразие форменное! Колхозники, а? Вы где находитесь? Ничего святого! и т.д.

Милиционер тогда решительно сказал:

— Уходите отсюда, пока я всю вашу деревню не отвел в отделение! И скажите спасибо, что Ленин еще далеко, начальство вас не видело.

Дети, даже старший, Анатолий Иванович, залились слезами. Шок, ничего не скажешь.

— А как же Ленин? — прогудел дядя Ваня, разводя ручищами.

Хохот уже тянет на международный скандал. Милиционер толкает, толкает их в спины:

— Ленину и без вас хорошо! Ленин на месте! Шире шаг! Шире шаг!

Тут тетя Галя обернулась и на прощание сказала:

— У нас в Шушенском Ленин по барану съедал, а у вас в Москве морковным чаем пробавлялся. Даром не надо вашего Мавзолея, мы-то Ленина живого видали!

Милиционер за ними, появились какие-то дружинники, от них пахло одеколоном...

Из отделения их выпустили через час. Дядя Ваня выдул там два графина воды и по неосторожности сорвал дверную ручку, а Сергей Иванович потерял бдительность и напустил в штаны. Тетя Галя изображала немножко чокнутую, тетя Саня подарила хозяевам ленинские шишки, сообщив, что ленинские, а тетя Валя обменялась адресами с капитаном, хотя он был плешивый. Неискренне. С тети Гали взяли честное слово, что она больше не будет разговаривать на московских улицах.

На свободе перевели дух. Ну и приключение! Ну и хреновина!
Тетя Валя задумчиво заметила:

— И то добре, Галю, что не представилась ты им ленинской дочкой. С тебя бы случилось.

А ведь бывало такое, по праздникам, нередко. Не мог Ленин провести свой срок напрасно. И то сын объявится, то дочь. И даже в Таштыпе один совсем хакас утверждал, показывая на плакат «Верной дорогой идете, товарищи», что Ленин его отец и сходство изумительное неспроста. А как он не будет похож, если плакат рисовал художник-хакас?

Они сходили на разведку в ГУМ, а потом пошли в Александровский сад. Там зелено, чисто, кругом урны, на скамейках ни харчка. Москвички гуляют в разноцветных платьях, на головах шиньоны. Отбивают государственность куранты, веет столичный ветерок, имеется надежда увидеть Гагарина или хотя бы Аркадия Райкина. Под одной липой стоят шпалерой африканцы в военной форме, наш советский офицер руководит руками: перед всеми поют «Подмосковные вечера». Желających послушать много, иные из наших машут певцам: Поль Робсон! Лумумба!

Тетя Валя замечталась, тетя Саня стала так подпевать, что хор сбился с панталыка, тетя Галя принялась нарочно подмигивать негру слева, что, мол, брат, «Интернационал». Дядя Ваня задумался о сибирской родине, давя асфальт, как утес-великан. А дети — что дети? Они едят мороженое, заняли целую скамейку и заляпали ее, хоть не признавайся, чьи это дети.

Но вот мимо прошла старая дама, завитая в каракуль, на шее газовый шарфик. На поводке собачка с бантиком на шее. Посмотрела дама небрежно на тетю Галю: «Простолюдинка, навозница». Внимательно оглядела ее тетя Галя и почесала в затылке, широко раскрывая ноздри: «Дворянка недобитая! В Кремле!» А та села на скамейку, культурно отдыхает, разглядывая свои красные босоножки. И к ней подходит другая дама, с авоськой, а в авоське батон.

— Здравствуйте, Лидия Львовна! Посижу с вами?

— Здравствуйте, Вероника Аркадьевна! Присаживайтесь, пожалуйста.

— Вот — зашла в булочную, а батоны-то несвежие, вчерашние, представляете?

— Что они там думают, на хлебозаводе? Мерзавцы, совсем не работает народный контроль!

Страна ела вчерашний и позавчерашний хлеб, и ничего, родились дети.

— А говна вам на лопате не хочется? — спросила тетя Галя.

— Ах, хамка какая... Милиция, убивают!

...Бежали долго, далеко, не останавливаясь до самого вокзала. Там, забившись в угол, постелили на пол газеты и просидели до подачи поезда, вздрагивая, когда мимо проходил милиционер с на редкость пронзительным взглядом. Они не могли знать, что у него, как назло, истекал третий день жестоких желудочных колик. Вещи из камеры хранения забрали сразу — вдруг арестуют, ищи их потом, свищи. И дети спали в обнимку с узлами и чемоданами.

В поезде, ночью, набегавшийся за этот день так, как не бегал на фронте, Иван принялся храпеть.словно простуженный слон завалился в их вагон, ставший маленьким, бумажным. Они боялись, что их ссадят где-нибудь в Воронеже, по многочисленным просьбам трудящихся. Но тетя Галя была сметлива. Она прошла по вагону, нашла молодую мамашу из Нижнего Тагила, выпросила у нее соску и сунула ее мужу в рот.

Она одна и не спала в эту ночь — нервничала, боялась, что Иван проглотит соску. Но он ее так и не проглотил.

На следующий день они, блаженно переводя дух с перепугу и пересмеиваясь при каждой встрече глаз, объедались оттого вареной кукурузой и жареной рыбой. До моря, медуз, магнолий, ежевики, до солнечных ударов и воров, укравших у них в Хосте половину денег, было рукой подать.



БАБА МАША И ДРУГИЕ

1

Стоял ясный солнечный день с ветерком, так что было не жарко, дышалось легко. Мы сидели на скамейке железнодорожной станции Тайга. Ее автобус отходил через четыре часа, а моя электричка и вовсе отбегала в ночь. Она возвращалась в алтайскую деревушку Староперуново, что неподалеку от известной каждому порядочному человеку Тальменки, я тоже возвращался домой, в Томск, после пустопорожней командировки в Омск.

Обычно путешествие с пересадкой утомляет и даже оглуляет нетерпеливого пассажира. Он умоляет судьбу об ускорении хода времени. Время оттого сердится и тормозит, как может. Но мы получали двойное удовольствие. От беседы — она рассказывала, я слушал. И от станционных видов и шумов, и даже от запаха креозота. Я вырос на полустанке той самой дороги Абакан — Тайшет и с детства любил эти дела. Она же, старуха, полюбила перроны и вокзалы свежим девичьим чувством, в ближайшую неделю, съездив на чугунке впервые в жизни, и не куда-нибудь, а в Москву, и не как-нибудь, а «за песнями». И, сойдя с московского поезда, сбегала на автовокзал, купила билет на автобус до Тальменки и вернулась сюда, здесь продолжал дуть ветер дальних странствий, а автобусные пассажиры — народ приземленный, «в мелкую сеточку», толкаться среди них скучно, зевко.

Я сразу ее заметил, выделил в обеденное затишье в неспешном пассажирском сновании, да она и шла ко мне, одиноко сидящему на скамье, лично, перед тем приостановившись, поставив один из чемоданов на асфальт и показав издавелека самой себе на меня пальцем. Два ее чемодана были неожиданно дорогие, кожаные и пухлые, и сама она была хорошо, дорого одета, слишком хорошо для очевидно простой бабки из деревни со всеми приметамн пожитенного физического труда и досуга на свежем воздухе. И несла она чемоданы как пуховые, и руки у нее были могучие.

Ряженая и ряженая, точнее не скажешь. Бандитская незабываемая мама?

Подошла, села, повернулась ко мне и улыбнулась:
— Здравствуйте, мужчина!
У нее обнаружили белоснежные вставные зубы.
— Мое почтение, — ответил я, осанясь на зубы.
— Долго сидеть будете? — спросила она.
— Долго, — ответил я, — до ночи.
— Ну, значит, вместе посидим, — решила она, — покараулим-ся, если кому в буфет или в туалет понадобится. Мало ли.
— Ладно, — согласился я, — куда с добром. Оно и выгодно.
— Договорились. А я вижу: сидит безопасный человек, под-ходящий.
— Почему вы так решили? — я был польщен.
— Сидите нога на ногу, ручки на пузце сложили и носом во-дите. Думаю: этот не стрелок, этот рыболов, вогнутый человек. «Нет, не бандитская мама».
Ее лицо сияло мужеством, бодростью и народностью.
— Я бабушка Маша, — представилась она и похлопала меня по плечу, сбив у меня дыхание, — а тебя как зовут? Лев? Эдуард? Или уж Федор?
Мне почему-то захотелось назвать себя Проклом. Я сдержался и сказал правду.
— И вот ты, Николай, ты — наблюдательный рыболов. Всю меня оглядел? Наверное, хочешь понять, как простая бабка, трехрублевая труженица, скотница, превратилась в тэтчершу?
Прыть!
— Конечно, есть соответствующее желание, — согласился я, — а неужто родственник-миллионер в Канаде отыскался? Горемыка бездетный! «Завещаю бабе Маше три миллиона долларов и квартиру на крыше в Нью-Йорке, и ...»
— Другое, — перебила она, — почему не догадываешься?
— О чем? — растерялся я.
— Я бабушка алтайская. А что за шум по Алтаю прошел, по золотым заповедным местам? Ну? Ну?
И что-то зашевелилось в моей памяти, что-то отделилось от дна. Но никак не всплывало.
— Игровая зона, — сказала баба Маша, как дунула в фанфары, — игровая зона!

— Ну? Ну! — повторил за ней я, начиная понимать, в чем может заключаться ее секрет.

— Объявили у нас, что в наших распрекрасных угодьях, километрами сюда, километрами туда, приказано учредить для жирных и азартных сибирский Лас-Вегас, гнездо разврата. Чтоб по всей России не играли, а ехали в отведенный огороженный бордельеро и там, под присмотром, свои денежки просвистывали. И где-то еще то же самое, сейчас не вспомню где...

— Я знаю, — сказал я, — так что же, баба...

— Не мешай, Николай. Я уже рассказываю. Ты кури свои постные сигаретки...

Прыть.

— И наша деревня, Семеновка, старая очень деревня, староверская и немецкая, тоже под это благословение попала. Жили мы не то чтоб плохо, наоборот. Совхоз, конечно, развалили, наличных денег не хватало всегда, но народ у нас потомственно крепкий, хозяйственный, и на жито, и на поросят — мясо коптить, колбасу делать в каждом дворе умели. Огороды — на заглядение вашей нищете болотной. Дома крепкие, даром, что потомки кержаков, что немцы попусту не строились. У нас большинство из них в Германию съездили и вернулись. «Там дышать нечем. Там попошникам рай, а нам на день рожденья не попеть — в полицию донесут те же попошники...»

Хорошо. Через месяц появились, нет, прискакали к нам москвичи и прочие мошенники. Веселые, любезные, с бутылками, с закусками. Некоторые «по-деревенски» разговаривают, надьсь-онамнясь, подстраиваются, как будто у нас телевизор не сто лет стоит, как будто мы в хорошей школе не учились. Да наши дети в любой институт поступали, нам на горе, а один, Герман, чуть не стал первым космонавтом, а стал вторым. Интриги, говорят, вмешались. Отец его великий учитель был...

Предлагают деньги — мы не берем. Продайте нам ваши дома, ваши участки, нате миллион, на миллион купите где хотите себе другой дом — разве мало хороших, заброшенных, дешевых? А на разницу — живите, пируйте. А мы отказываемся, малодушных придерживаем: не поддавайтесь. Рано, хотя бы. Говорим этим прохвостам: мы живем отлично, дома живем, чья семья двести

лет, чья — все триста. Валите отсюда! Нам в ином месте худо будет, а вы тут все запоганите. Резаться будете в своих зланных курятниках, бандиты понаедут, сучки сбегутся, без лифчиков, без трусов! И мы вам могилы отеческие оставим?

Ага, померкли их рожи. Один, — а видно, больше-то предложить не мог, а то и занял свой миллионишко, — с досады матом всех обложил, наклюкался, в драку лез, по мордам наполучал. В пьяных соплях шарился по деревне вечером, ночью, орал, а утром наши: в речке, утонувшим, за мостки его зацепило, не унесло. И никто за ним не приехал, вот так, милый мой.

Хорошо. Еще какие-то дни, третий-четвертый-пятый. А даже воздух стал другой, сгустился, ходим заранее нервные, как раньше деды, когда комету видели. У меня боровок сам себе ни с того ни с сего рыло о перегородь расшибил. Разбежался, шварк, кровяца, окосел и молчит. И тут — началось. Те были по-пешему, а эти были на джипах, можно сказать, на танках прибыли. Эти не подлизывались, не пили с каждой хрюшкой из каждой лужи. Говорили: сколько? И мы дрогнули насчет могил. Нам жизнь велела. Нам глава поселения — столько, мы им — столько, а они — да! Разбогатела районный нотариус, продувная со свистом баба. А наш-то глава поселения! Позеленел от тех денег, сострадательный. Носится, как стриж, туда, сюда, пятки сверкают, лица не углядеть. Мы шутили — не зря твоя фамилия Швыдкой!

Хорошо. Счет пошел на большие миллионы. Я, вдова беззаботная, может быть, дешевле всех взяла. Что смотришь? Четыре миллиона взяла. Нашими, понятно. Как меня сын потом костерил, приехал из города, как невестка шипела, анаконда, жадная, дрянь девка. А ведь я им половину, ради внуков, отвалила...

И вот что интересно: купили они наши дома, сады и огороды, торопясь, чтоб их другие прохиндеи не опередили. Купили с условием, что мы до поры, до сигнала останемся жить в Семеновке и будем охранять наше бывшее добро. То есть покупайте жилье, хоть в Бийске, хоть в Белокурихе, хоть в самой завалыщей деревне, обустраивайтесь — но здесь живите, дежурьте, исполняйте стражу. Мы спросим, если что. Записано. Печать стоит.

И мы остались. Работу, кроме домашней простоты, всю забросили, ударились в прохладения. И началось бесконечное

кино. Шукшину, Василию Макаровичу, бы не приснилось, по его деревенщине. Пир на весь мир! А глава-то поселения! Прощай, грусть, замолкни навеки!

Но вот что он, наш артиллерист, — он две недели салюты запускал — сказал нашим мужикам, со всеми в поцелуях помирившись. Мозги у него работали, и вот что он сказал: «Люди — это чудо чудом, но, сдается мне, возможно другое чудо». — «Какое?» — «А такое, что они чего доброго не вернутся, хозяева наши, кормильцы. Эту зону, уверен, с перепугу объявили, а завтра, глядишь, отменят. В России живем, умом ее не понять, это еще Брежнев говорил. Пикулькой не измерить. И что? Хозяева сюда переедут? Шиш. Деньги назад потребуют? Шиш, все по закону, нас много, отобьемся. Но и останемся мы на вечном хранении, тоже по закону — в договоре записано и печать поставлена». А Иван Афанасьевич, мой сосед, задумался: а дальше они перемрут, и мы перемрем. И их дети будут требовать, чтобы наши дети охраняли их имущество, ихнюю землю. Пока снова рак не свистнет в Белокаменной. Мужики наши говорят: ей-богу, ты, Иван Афанасьевич, голова, хоть и был всю жизнь партийным подмаксимком. А глава поселения задумчиво сказал: «Лишь бы они не ездили сюда часто с проверками там или отдохнуть. Пусть за границей отдыхают, там привычнее. Заведет кто-нибудь такую привычку — замучит, задушит. Не дай Бог! И еще неизвестно, какие у них дети вырастут!»

«Городские дети нынче — сволочи, наркоманы и бездельники, это да, — сказал последнее слово Иван Афанасьевич, — но, братцы, как говорится, однова живем. С таким счастьем справимся с таким горем». Хохотали, потом пили виски. Ящик виски привез Сережка, сын главы поселения, специально посылали в город. Кажется, ездил недолго, за пятьдесят километров, а успел так переодеться, что никто, даже отец, его сначала не узнал. Это называется Гуччи.

Хорошо...

(Тут в поэме бабы Маши случился технический перерыв. Пока она отсутствовала, я думал, пресно, с оскоминой, о том, что мы живем между, как всегда, и повезло. И еще о том, что сегодняшние бабушки, не потеряв исконного желанья сказыв-

вать, потеряли ту первозданную прелесть цветной и объемной речи, которой восхищались и которой так жадно делились с читателем Лесков или Шергин. Усреднилось и выровнялось все на полотне жизни, спрятались в нем узелки, и узоры на нем фабричные, и везде говорят однообразно, от столиц до умирающих деревень. Но остались у бабушек нажимная сила, привычка ставить глагол в конце предложения, прилагательное после существительного и потребность в афоризмах, они же приговоры, не подлежащие пересмотру...

Она вернулась с вокзала с надменным выражением лица и заметила, что, между прочим, туалет там, конечно, вполне чист, гигиеничен, но сравнивать его с удобствами в московской гостинице не приходится. «Зазналась я, старая сортирница, — добавила она, заглядывая мне в глаза, — а ты бы не зазнался?»

— Хорошо. Началась ваХканалия. Сейчас-то устали, потрапились, притихли, а тогда, прошлым летом, наша Семеновка сорвалась с цепи. Не буду врать — не все, но большинство, от старых до малых. Кто-то повел себя с умом, деловито, и русские, и особенно немцы, Венцели, Шустеры... Нашему батюшке, отцу Александру, нельзя было оставить свой приход, он и не хотел, правильный он, достойный поп, наследственный. Досталось ему радостей! Что ни день, пьяные в хламину люди лезут в храм, с нуждой и без нужды, орут, пристают к нему на улице с дурацкими разговорами, суют выпивку, тычут в бороду бутылками. Он состарился на десять лет, завел темные очки. Стал он первым бедняком на деревне, до жалости. Но пьяных денег в принципе не брал, ни на храм, ни себе — совали, а он брезговал: пьяные, грязные деньги. У самого пятеро ребятишек...

Стали закупаться — телевизоры во всю стену, всякая музыка, компьютеры, телефоны, одежонка. Перли из Барнаула. Гуччи да Гуччи. Люди у нас коренастые, крепкие, а влезли в эти джинсы, эти боди, как в голимое удушье, лопалось на наших бабах золотое тряпье. Потом нарисовались во дворах дорогие машины, джипы. На них мужья повезли жен в город, за покупками и в салон красоты. Нацепили российские флаги и ездят. Это еще не беда, совсем не беда. Чем мы хуже других? Мы свой век работали, дурные деньги не нам первым достались. ВаХканалия

в том, что запивались, безобразничали, в разврат ударились. Съезди в Семеновку — в каждой луже пустые бутылки из-под виски валяются, а на помойной свалке их египетская пирамида. Кто помоложе, без присмотра, стали проституток из города выписывать, в доме Ваньки Круглова селили. Жили они там на постоянной основе, вахтовым, как говорится, методом, сменами, не менее трех. Ходили без лифчиков, без трусов. Помчались к ним мужики, холостые и женатые. Похабень! Пошли семейные драки, скандалы, мордобой. Бабы стали бить шалав. Поджигали Ванькин дом, тоже москвичам проданный. Ванька опомнился — договор! Это — угомонилось, но проститутки эти неуготомимые до сих пор приезжают, поштучно, потихоньку, ночами...

Привозили и отраву, наркотики — этих сами наши мужики выбили, хватило еще ума, а выбили — страшное дело! Тут наемная охрана постаралась, бывшие десантники, безработные из Рубцовска. А все-таки двух мальчишек зацепили, детей безмужней Гали Вороновой, и теперь они называются торчки.

И дела, и слова-то какие за богатством вслед приехали! Давно ли — люди как люди, потом пахнут, а теперь все разговоры о машинах, о шмотках, и все знатоки, все через губу, все бахвалятся друг перед дружкой. Зброшенная скотина смотрит на хозяев — не понимает. Собаки пьяных, дурных хозяев перекусали до единого, сбежали со дворов, живут стаей за околицей, прибегают домой пожрать, с детьми повидаться. Эх!

Можно людей понять, в этой нервной жизни, но как же легко их с толку сбить! Алтайцы от водки с ума сходят, к ней неприспособленные. Шальное богатство хуже водки...

Хорошо. Переехала я. Гори оно синим пламенем, соседи присмотрят, если что предупредят — приеду, встречу хозяина. Помню, зашла я к соседям — договориться.

Стоит во дворе джип, два колеса спущены. Под крыльцом разбитый телевизор-панель. Хороших денег стоил. На крыльце сидит хозяин, Вахромеев. Ему пятьдесят, молодой, зачем-то голову побрил — а волос у него плотный, кудрявый так-то. Куртяйка, майка, штаны — все Гуччи. Пьян как боярин, в руке бутылка виски. Попивает из горлышка, говорит: доброе пойло, закусывать не обязательно. Перед крыльцом плаха, под

плахой, на брезенте — добрый поросенок. С топором в руке стоит перед плахой распянувший сынок Денис. Весь в Гуччи, в ушах серьги, на пальцах перстни. Голову тоже побрил, вся расчесана. То ли от пьянства, то ли клопы накусили. У них клопы водились. У забора на корточках зритель — Ванька Круглов. Тот пьян, глаза закатываются, поэтому крутит головой — возвращает.

Лето, душно, мухи гремят, а он в малиновом кожаном пальто, в каких-то ботах пестрых. Этому голову брить не надо, этому парик нужен.

Спрашиваю, где Настасья? Хочу с ней договориться, как сама с самой — это жена его. Вахромеев: лежит дома, опохмелилась, отдыхает. Ты погоди, баба Маша, потом с ней пообщаешься.

— Сынок, — говорит он Денису, — сынок! Не опозорь отца. Покажи людям, что мы не забыли, что деревенские, простые, трудовые люди. Как деды, так и мы. Это святое! В задницу эти джипы, эти таиланды! Как пришло — так и уйдет!

Это он в точку. Я понимаю: он хочет, чтобы пьяный Дениска свинью четвертовал, разделал по правилам. Видно, Круглов усомнился. А он-то — человек-пустяк, свистун, матушка вместо него дрова колола. И Вахромеев желает его морально приложить.

— Святое, сынок, — говорит Вахромеев, — испортишь мне тушу — не знаю, что сделаю с собой от позора. Удавлюсь!

— Справлюсь, папаня, — отвечает Дениска, а самого кидает, то на Москву, то на Магадан, туфли итальянские в назме, — окей, папаня!

Затаскивает поросенка на плаху. А кровь из него, ты можешь мне не поверить, кровь забыли спустить! И начал Дениска его месить, вкривь и вкось. Как пальцев себе не оттяпал — Бог его пожалел. Вся кровь так и прыщет на него, все эти Гуччи, майка, джинсы в крови, вся голова в крови, брызги до отца долетают! Ганнибал!

Нарубил как попало — полное безобразие и порча продукта — выпрямился, сияет.

— Принимай работу, родитель!

Вахромеев приподнялся, смотрит. Ну, думаю, пойдет вешать — в горнице от этого страшного зрелища... Ничего подобного! Шары-то уже залились, порозовели.

— Отлично, сынок, помнят руки, а, Дениса, — кричит Вахромеев, — жива наша династия! Уважил тятюку!

И Круглов из-под забора:

— Чин по чину, Денис, первый сорт!..

Хорошо. Переехала я, и правильно сделала, до срока, свинушек, кур продала, овощ собрала — купила дом подальше, в деревне Староперуновой. Картошку выкапывать уже отсюда ездила. Мне название понравилось, красивое, и природа приятная, тихая. Райцентр рядом, пешком можно дойти. Правда, после мне мужичок в Тальменке сказал, что деревня раньше называлась СтароперДуново, название коммунисты исправили, у них с этим строго, но Пердуновы там до сих пор живут. Не знаю, это, наверное, шутка. Пердуновых там я не встречала, может быть, фамилию поменяли? Нет, ничего такого, похожего, не заметила в них.

Осмотрелась. Собачку мою родную перевезла, а скотинку, живность пока не завела. Одного боюсь — теперь я одна, в чужой деревеньке. С соседями познакомилась, но кто их знает? Что я буду их побогаче — поняли, прищуриваются. Райцентр рядом — могут быть порченые люди. Успокаивает — старики, дед и бабка. Собака собакой, а побаиваюсь — вдруг прибьют? Запытают, код на карточке узнают и в огороде закопают. Мужик неизвестный мимо идет — насторожилась, шум ночью во дворе — Джульбарс носится или гости явились? А что голос не подает, так не кокнули ли его?

Перенервничала я за зиму, за весну, а все равно — обратного ходу нет. Я на попятный в жизни не ходила. И решила я съездить в Москву! Насеяла огород, собрала лук с редиской, с новыми соседями договорилась — и вперед, за песнями!

Никогда не бывала я в Москве. Я в Барнауле и то раза три побывала. Ни в Новосибирск, ни в Кемерово, ни в Томск не ездила. Незачем, некогда. Лет много. Если ехать — то в Москву. Вдруг помру на днях, непросвещенная! Посоветовалась в Тальменке с одной женщиной, далекой родней, по свойству, она грамотная, чиновница. Заказали билет туда и обратно, в гостинице бронь на три дня. И в конце той недели села в вагон. Билет взяла для безопасности, для общения в плацкарте. И не прогадала!

Последнее слово она произнесла с напором, подняв указательный палец. То есть будет что послушать.

— Устал от меня, от словес моих вещей?

— Не-ет, валяйте дальше, я весь слух.

— А я проголодалась. Хорошее должно быть в расстановку. Пошла я. И умыться не мешает. Жди, стереги мое приданое. Потом тебя отпущу, потерпи ради такой-то старухи.

— Погодите, еще вопрос: вернулись хозяева, заселился кто-то? Ведь нет, как я понимаю?

— Нет. Ни один. И звонить перестали. Тишина!

Она пошла к вокзальным дверям, расправив плечи и тяжело ставя косолапые ноги. Костюм ее отливал на солнце светло-голубым, словно упал на нее с неба. А сумочки у нее не было, не доверяет она сумочке, да и мешала бы ей сумочка. Косметика ей не нужна, большие деньги и карточку она прячет на себе, и недра ее шикарного костюма испорчены потайным карманом с пуговицами, пришитым где-то сбоку. Непременно с пуговицами, ведь молнию может заесть. А расходные, мелочные деньги она держит в боковом кармане, под рукой — ей это ничего не значит. Хватит ей этих денежек сейчас, или она, зайдя в туалет и спрятавшись в кабинке, достанет лишнюю пятисоточку?

2

— Хорошо. Сажусь в поезд, поехали. В вагоне чисто, в туалете чисто, пахнет арбузом. Все изменилось! Себя стесняешься. Люди одеты в чистое, приятно пахнут, ведут себя грамотно, вежливо. Еду с собой никто не везет. Компания у нас подобралась на редкость веселая, говорливая, непьющая. Мало что меня слушали, разинув рот. Это понятно. Так и другим было чем поделиться. Скажу, не хвастаясь, главная застрельщица была я, иной раз рассказываю, а они уже лежат, говорить не могут, дуй в свою трубу, баба Маша.

Первая в купе заселилась я, следом пришел, на место надо мной, Володя, преподаватель в университете. Специальность у него была какая-то странная, вроде бы он черепа разных народов изучал, измерял и сравнивал. Может быть, он пошутил про профессию, сейчас все шутят. Володя читал газеты, а рассказать ему, скучному,

было особенно нечего, больше слушал, спрашивал. Вы два сапога пара. Но потом он нам сильно пригодился. Человек приличный, каждое утро мыл голову и менял носки. Честно сказать, пригляделась — очки на носу, а очень похож на пьяницу. Лицо отечное, руки дрожат. В поезде не пил — наверное, отходил от предыдущего, и, видно, привык пить один, закрывшись, чтоб не видели.

Перед отходом пришли муж и жена, Владимир Петрович и Галя. Заняли места напротив. Эти пожилые, на пенсии. Галя-то просто жена, милая женщина, а Петрович, не поверишь, бывший военный водолаз! Я как его увидела — сразу поняла: человек необыкновенный. Невысокий, в рабочем теле, усы толстые, подстриженные, боцманские, сам в тельняшечке, а главное — из ушей торчит! Как будто коробочки от облетевшего мака, с переборочками. Выясню тактично, что это у водолазов от ныряний и выныриваний, от смены давления, барабанные перепонки вылазят наружу. Он их моет с мылом, а слышит вполне достаточно, реагирует.

Сколько он всего нарасказывал! Работал он и на Черном море, и на Белом с Баренцевым, и на Японском, спасал людей с утопающих кораблей, с глубин, с подлодок, всякие вещи, грузы секретные со дна доставал. Погибнуть мог несколько раз, жизнь его на волоске висела. Но, говорит, крепкий оказался мой волосок. Не разговаривает, а рычит, привык на морском просторе. Как он ругался, когда рассказывал, как на севере утонул атомный подводный крейсер. Спасти людей им тогда не дали, якобы глубоко и течение сильное по дну, а они могли бы, они рвались! Президент туда приезжал, послушался трусов, и он за это ругал президента. Аргументированно!

Хорошо. Володя, как и я, до Москвы, а Петрович с женой — через Москву куда-то под Белгород. Они там дом построили среди плодовых деревьев. Значит, платили хотя бы водолазам прилично...

И поезд уже тронулся, когда на боковые места пришли два узбека, старый и молодой. Старик тощий, испитой от лишений, а молодой круглолицый, симпатичный. Только сели, поздоровались, является милиционер, уводит их куда-то. Вскоре вернулись.

— Что, — спрашивает Петрович, — дань платили?

Они кивают.

— Сколько, не секрет?

— По пятьсот рублей.

— Вот сволочи, — рычит Петрович. Они огорчились, и он добавляет. — Это я про мильтонов, про шакалов.

Разговорились, они размякли. По-русски говорят чисто — строители, давно работают в России. Сели до Екатеринбурга, там у них калым коротенький, а вообще работают в Москве, и после поторопятся туда, на постоянную. Люди вполне мягкие, отзывчивые на доброе слово. Петрович их спросил, что умеют делать — оказалось много. Бетонщики, штукатуры, маляры, любую арматуру сплетут, плотницкие дела, асфальт — пожалуйста. То есть не просто копают да носилки таскают.

— Да вы работяги, — говорит Петрович, — я дармоедов ненавижу, а работяг люблю. Я вас к себе выпишу, мне нужны такие умельцы, мне ограда нужна хорошая, погреб.

Расплылись. Но нет, отвечают, при всем желании не можем, при всем уважении, ата-джан. Работы в Москве будет много, плотно, когда освободимся — не представляем.

— А где там, не секрет, трудимся?

Они переглянулись, замялись. Потом молодой тихонько говорит:

— У Чубайса.

— У Чубайса?!

Тут Володя оживился и слез с верхней полки. Люблю, говорит, Чубайса. — А что вы там делаете? — спрашивает.

— Делали бетонные работы. Сначала делали площадку для вертолета, он на вертолете летает. А сейчас асфальтом займемся.

— А он что же?

— Рыжий, — расхрабрился старик, — видели, но он-то к нам не подходит. Издалека. Выйдет из вертолета и заходит в дом. И там сидит.

— А что платят, — спрашивает Петрович, — не обижают?

Опять переглянулись. Признаваться? А сказать-то хочется!

— Каждый день, как уходим — по пятьдесят евро. Одной бу-мажкой, — отвечает молодой, — прораб стоит у ворот и разда-ет. Тебе, тебе, тебе.

— Здорово, — говорит Петрович, — может быть, вы трещите?

— Не трещим. Как можно, такие уважаемые люди, матушка Бабамаша...

— А где, — спрашивает Володя, — где резиденция-то располагается? Съездить, чтобы посмотреть, а?

Снова переглянулись, молодой отвечает:

— Едем на метро до конечной, там машина забирает, в лес отвозит.

— На каком метро, до какой конечной?

— А мы названия не знаем. Знаем, где сесть, и все.

— Негусто, — качает головой Володя.

Потом они пошли в тамбур подымить.

— Видал, — говорит Владимир Петрович Володе, — какая какава?

— А я вам вот что доложу, — отвечает Володя, — мне в последние годы ездить приходится много. И каждый раз, честное слово, встречаю таких строителей-узбеков. То в одном купе, то в соседнем, то в тамбуре с ними куришь, то на перроне стоишь. Так вот, дорогие друзья, кого ни спросишь, где работаете, отвечают: у Чубайса. За пятьдесят евро в день. Получается, все узбеки работают у Чубайса.

— Это как понимать? — спрашивает Петрович, а сам уже хохочет и за корбочки свои держится.

— А так, думаю, что это у них миф сложился. Они же дети большие, вкальвают как сумасшедшие, обирают их, часто обманывают. А хочется и сказки, и себя уважать, и похвастаться. Престижно работать у Чубайса за пятьдесят евро. Вот и сочиняют, для души.

— Значит, трещат, — говорит Владимир Петрович, — и Чубайс здесь не при чем?

— Скорей всего, трещат, — кивает Володя, — а Чубайс, все-таки, при всем, я бы сказал.

Возвращаются наши узбеки, а мы к ним с лаской. Они смотрят на нас, понимают, что мы хорошие люди, но что-то уж чересчур хорошие...

Они сошли в Екатеринбурге, а на их место прибыли две девицы... Тут будет самое интересное. Сходи, Николай, освежись. Передохни. Приготовься.

Густой разговор, как первобытный физический труд, пробуждает радость жизни и зверский голод. И желание выпить. Пить я не стал, я ел говядину с черносливом, как отощавший студент, получивший стипендию, и умывался, как комбайнер после знойного трудового дня с раннего рассвета до поздних сумерек.

Баба Маша заговорила, не дожидаясь, пока я присяду и расправлю мытое лицо. Прить.

3

— Явились — молодые, здоровые, задастые. Одна рыжая, другая — смугленькая. Вид неопрятный, одежда плохая, поди заношенная — ветровочки, трико, маечки в пятнах, драные кроссовки. Волосы сальные, нечесанные. Как я ни следила, ни разу не умылись, до самого Владимира, где сошли. Тогда я сказала Володе: ведь не умывались? А он мне: точно не умывались. Куда надо, ходили, но не умывались. Я тоже следил...

И сидят. Всю дорогу никакой еды не покупают. Разводят черный бульон и заедают пачками галет.

(Я вспомнил про колдуна из гоголевской «Страшной мести». Он тоже человеческих яств не ел, а только пил черную воду из баклажечки.)

— Тогда взглянули на них, поздоровались — и что? Улыбаются, кивают, в ответ — ни словечка. Немые? Владимир Петрович их спрашивает — показывают на уши. Глухие? А они тут же между собой: чирик-чирик. Иностранки! Что же такие нищие иностранки, ободранные? Откуда они, где такая нищета водится? Может, их обокрали, ограбили без последнего? Ну, поехала бы я в таком виде по Франции? Стыдно, я бы лучшее надела, у соседки бы жакет одолжила.

Петрович с Галей смотрят на них — не налюбуются. Услыхал их Володя, поспешно свалился вниз. Говорит: слышу родную английскую речь. Я часто по-английски читаю, авось и пообщаться сумею.

— А что же они сказали? — спрашивает Петрович.

— Вроде бы: «Кажется, эти русские — приличные люди. Разве что вот этот, с жуткими ушами, похож на криминального человека».

— Шутишь, ехидствуешь? Правда так выразились?

— Вроде бы так и сказали. Они же вас в первый раз видят, Петрович.

— Ну... — говорит Петрович, — а как ты думаешь, они по-русски понимают?

— Уверен, что нет. Раз не поздоровались, не ответили.

— Ну, дуры, — говорит Петрович.

Володя завел с ними собеседование. Удивились, обрадовались, что в нашей дикой Сибири с ними болтают по-английски, в поезде. А видно, что поначалу отвечают осторожно, будто побаиваются. Володя потом смеялся, что они думали, наверное, что к ним кагэбэшника подсадили. К добру ли, мол, случайно ли, мол, знаток английского языка в одном с ними купе очутился?

Сидим, тарашимся, слушаем. Володя, словно наскипидаренный, руками водит перед собой, понравиться хочет. Час прошел. Владимир Петрович не выдержал.

— Ты что, Володя, издеваешься над нами? Давай переводи, кто они, откуда, зачем в поезд сели без охраны? Простые, что ли, иностранки в Россию к нам повалили?

Володя перед ними извинился, повернулся к нам.

— Они, эти девицы, из Новой Зеландии! Дальше некуда, дальше одни пингвины водятся. Вот эта Морган, а вот эта — Миа. Никто их не грабил, не обижал, это у них такое воспитание, думаю — бомжевать в поездах. Окончили у себя в городе Веллингтоне колледж по экономике. Лет им по двадцать два. Там, в Новой Зеландии, после окончания колледжа детям дают пособие, чтобы год ездили куда хотят, выбирали себе, куда прийтнуться. Мир посмотреть, себя показать.

(Тут Владимир Петрович сильно возмутился и слегка выматерился.)

— Едут следующим маршрутом: долетели до Гонконга, потом сели в поезд: Шанхай, Пекин — это Китай. И занырнули к нам — Хабаровск, Иркутск, Новосибирск. В Екатеринбурге остановились на день, отдохнули — и дальше. А дальше — сойдут во Владимире и оттуда в Суздаль... А потом — в Швецию, в Англию. Сурово едут, не отвлекаясь.

(Кстати, мы и отметили: сидят! Нигде не выходят, даже на больших остановках. Безвылазно! Не дышат! Народом не интересуются, зачем? В окно даже лень им посмотреть!)

— На хрена такой туризм, — глядит на них Владимир Петрович, — они точно не смекают по-русски?

— Точно.

— Вот дуры, — говорит им Петрович, улыбаючись. Они ему тоже по улыбке: очень приятно, русски медвед.

— А почему же тогда в Суздаль? — спрашивает Галя.

— Вот и я удивился, — говорит Володя, — за что такая честь? А эта Миа показывает мне путеводитель по диким странам, тамошнего изготовления. В нем, кстати, написано: Россия полна неожиданностей. Будь осторожен, сиди в транспорте, не вылазь, еды не покупай, за руку не здоровайся. Карта маршрута, а на ней красная точка: Суздаль. По-ихнему — Саздэл. Значит, туда. Едут послушно. Спросил: замужем? Вроде бы обиделись, неприличный вопрос. Но, говорят, не планируем. Это в тридцать пять, в сорок лет у них происходит. Раньше некогда, надо на ноги встать, нагуляться.

— Кому они будут нужны, сейчас-то страшные, чумазые, как атомная война, — говорит Владимир Петрович, — а будут еще страшнее, нагулявшись. Кого нарожают?

— Таких и нарожают, бесчувственных, — говорит Галя.

Володя стал учить их четырем русским волшебным словам. Спасибо, пожалуйста, здравствуйте, до свидания. Записал их английскими буквами, ударения поставил. Выучили. Даже поиграли: Здраустуйте, Петрович. Спасибоу, Петрович. Цирк.

Потом они заварили себе в первый раз черный бульон. Подоспела большая остановка. Владимир Петрович крикнул, сходил в буфет на вокзале, купил им шницелей. Не взяли! Извиняются, говорят: худеем, специально тако едем, натошак. Спасибоу.

— Дуры какие-то, — сердится Петрович, — скажи им, Володя, что они в гостях, что от души.

— Не буду переводить, — огрызается Володя, — поймите, не принято у них одолжаться. Надо тогда отдавать, а они экономят. И боятся они русской еды.

— Охренеть можно, — говорит Петрович, — нехороший, видно, народ. Даром что вверх ногами живут в своем Южном полушарии.

Хорошо. Володя решил узнать, что у них в голове, чем дышат, какой у них, так сказать, умственный багаж. Словно экзамен проводит и нам переводит.

Начал с самой Новой Зеландии. Живут богато, даже шибко богато, без всяких игорных зон. Но дальше копнул — и видим: глаза у Володи все круглее и круглее.

Ничего не знают.

Почему Новая Зеландия — новая? А где старая? Не вем. Какие у вас великие люди, писатели? Не вем. Столица ваша — Веллингтон, в честь кого названа? Не вем. А этот генерал Наполеона побил. Вот у вас самая высокая гора — пик Кука. Кто такой Кук? Не вем. А это великий мореплаватель, его потом туземцы съели, в другом месте.

А что про Россию знаете? Ничего такого. Ни Пушкина, ни Ленина. Водка, икра, КГБ, Путин. (И видно: «знают» еще кое-что по мелочи, но не скажут, потому что нам это их «знание» не понравится.) Что-то вам приглянулось, что-то нет? О нет, все хорошо. У вас самая большая страна на свете.

Петрович возмущается: у нас пятиклассник перед ними профессор. Володя ему: не видали вы нынешних пятиклассников, у меня сын пятиклассник, уже болван. А они, допустим, темные, да сытые, а мы умные, да голодные. Петрович машет рукой.

Володя принялся читать им английские стихи, наизусть. Две стиховины, когда учился в университете, выучил. Один стих лорда Байрона «Прощай навсегда», а другой — другого поэта «В горах мое сердце». Восхитились, не знают ни лорда, ни другого. Это, сообщают, старинные стихи, мы так не говорим.

Кто такой Шекспир? Слыхали, что жил в старину, в Англии, смешная фамилия. Читали? А он что, тоже писатель? Нет, не читали. Мы больше по кино, и регби любим смотреть.

Тяжелый случай. Володя вспотел. Петрович возмущается:

— Я, водолаз, знаю про Шекспира. Гамлет, Смоктуновский. Я, водолаз, сколько я стихов знаю! Наизусть! Скажи-ка, дядя. Мороз и солнце. Я помню чудное мгновенье.

Галя:

— Я вас любил. Я встретил вас. Я помню тот ванинский порт.

Петрович:

— Дуры! Дурацкая их жизнь! Ты им, Володя, хоть черепа-то измерь, будет какой-никакой прок!

Володя смеется:

— Дядя Володя, ну нельзя же по двум юным неряхам, будущим бухгалтершам, о целом народе судить! У нас бухгалтерши Шекспира знают?

— Это да, — идет на попятную Петрович, — но других-то новозеландцев мы не видали. Вдруг они все такие в Новой Зеландии?

— Боюсь, что нынче скоро все такие будут во всем мире, — тут вроде бы попятился и Володя.

Девчонки сидят красные, квелые, понимают, что не показались. Вдруг черненькая, Миа, встрепенулась и сердито что-то Володе выговаривает. Что, Володя?

— Она обижается, говорит, что я их изнасиловал, — смущается Володя, — в переносном смысле.

Петрович:

— Ха-ха-ха! А норв на месте. Уже кое-что!

И похлопал их по коленкам. Володя обомлел. Он испугался, что они в суд подадут, за сексуальные домогательства, у них так.

Но они, наоборот, отмякли, снова стали добродушными.

Петрович, чтобы снять международную напряженность, налег рассказывать им русские анекдоты. И опять двадцать пять! Слушают, насупись, вникают, еле улыбаются, и то, если слышат про какие-нибудь какашки.

— Может, ты плохо переводишь, Володя?

— Старательно перевожу, слово в слово, — отвечает Володя, — я что, виноват, что их не забирает?

— Значит, дуры набитые, — сердится Петрович.

И поняли мы, что они не понимают шуток. Улыбаться — пожалуйста, сколько угодно, а смеяться не могут, кишки не те. Сухо живут.

То да се, добрались до Владимира. Вдоль дороги вишня в цвету. Мы вышли с ними на перрон, попрощаться. Они сказали Володе правильно «спасибо» и неправильно «здравствуйте». А Морган тихонько у Володи спросила, что значит «дури»? Что делать: Володя сказал, что красавицы. Они зарделись: а нам Петрович показался строгим, сердитым, даже злым дяденькой.

Петрович:

— Ты мог бы это, последнее, при всех не переводить. Придумал поди. Ишь ты, «злой». Все ехидничаешь.

— А что ты им, Володя, на прощание сказал?

— А я им: будьте осторожны, у нас люди всякие.

Петрович вспыхнул: плохой ты патриот. Но тут же отошел, махнул им вслед:

— И то. Мало ли что в наших палестинах... Ладно. Пить-гулять не будут — не изнасилуют... А я, баба Маша, тебе скажу: измученные, удрученные, самим себе чужие девчонки, как в тюрьме живут, и кандалов им не надо. Сидят-сидят, лежат-лежат, в потолок смотрят, опять сидят. Бедные девчонки! Им бы ко мне на огород, промяться. Жалко, одинокие, неприбранные, ничем их не согреть. Ничего большого в жизни!

— Да, забыла. Володя мне потом шепнул, чтобы Петрович не услышал, не взбесился: пошел он в тамбур покурить, а девчонки там единственный раз уединились — и обнимаются, целуются. Его увидели — раздвинулись, руки опустили, а губы мокрые, пунцовые. Лесбиянки, видать? А может, просто по ласке, по маме соскучились? Мы в девчонках тоже иногда целовались, и на покосе...

Посидели, помолчали минут десять. Баба Маша устала! Наговорила и словно окоченела. Годы! Вышла из нее вся пруть.

А время ее уже поджимало.

— А как же Москва? — спросил я. — Тоже, небось, впечатлений богато?

— Нет, милый Николай, нечем похвастаться, — вяло ответила она, — не поверишь, день проходила, на метро поехала. Красная площадь, зоопарк... В кафе обобрали... Устала до смерти и два остальных дня в гостинице просидела, ела и телевизор смотрела. Ерунда, то же самое, что и у нас в телевизоре. Неинтересно.

А обратно ехала — не повезло, скучно, соседи равнодушные, рта раскрыть не дали. Нечего рассказать, да и утомилась я. Вот жизнь и есть — то густо, то пусто... Хочу домой. Приеду в Староперуново, а на завтра — в Семеновку. На могилы схожу, новости узнаю. Душа там. Слава Богу. Пошли. Посажу тихонько среди крестьянства.

Я проводил ее на автовокзал. По дороге она говорила:

— Умру хорошо. Отличный гроб заранее куплю, все оплачу — боюсь невестки. А памятника не надо — крест, фотография бабы Маши, надпись: «Пусть вам всем повезет, россияне». Фотографии своих, письма отцовские с фронта с собой заберу, на хранение — кому они сейчас нужны? А там сберегутся...

На прощание мы, как русские люди, трижды расцеловались.

ЛАСТОЧКА С ВЕСНОЮ

Сырой и колючий, воздух набирается в рукава, за шиворот, в штанины, он тяжелый, и от него закладывает уши.

Серый день тускнел, Кудыкина гора за окном превратилась в кляксу, но они все сидели, уже хорошенько голодные и нарочно голодные, потому что дожидались отца.

— «Ласточка с весной в сени к нам летит», — недовольно бормотал Саша, держа перед собой, как блюдо, «Родную речь».

— Никогда такого не видала, чтоб в сени, — успела отозваться мать, и тут начался град.

Они празднично сидели в избе, загнанные под крышу крупным ледяным дождем: все домашние дела были переделаны, и оставалось тянуть и без того тянучее время.

И вот сквозь дождь помчались с неба громкие сахарные градины.

— Дрова октябрьские — самые поганые, — сказала мать, растапливая печку. Снаружи грохотали градины, грозно колотясь в латаные-перелатаные стекла, изнутри им отвечали, взрываясь и тут же малодушно вздыхая, поленья в печи.

От этой переключки в них обоих как-то усилилось, однако, чувство тишины и покоя.

Дырявая сковородка радио молчала — позавчера ее искалечил подвыпивший родитель, и без замысловатых песен про урожай и счастливую любовь, без сладких голосов артистов столичных театров, без отсчета московского времени, на худой конец, случилось особенно отчаянно.

Глядя с полатей в лиловеющее окно, Саша сказал:

— Были бы они вправду сахарные, эти градины.

— Драже, — сказала мать.

— Расстелили бы одеяло, набрали бы кучу. Бесплатно, никакого сельпа не надо. Хрумкали бы с чаем и просто так.

— Ты бы дохрумкался, — усмехнулась мать, — до без зубов.

— Нет, — уже серьезно сказал он, — не все же подряд. Я бы в мешочек все сложил и выдавал бы по пять шариков в день.

И они оба знали, что если бы, то так оно и было бы.

— До лета, до редиски бы хватило, — добавил Саша.

Он очень любил редиску, так любил, что об Ивана Купалу всегда от нее заболел.

— Пайку, — сказала мать.

Она сидела у окна, опустив крупную голову, оплетенную тонкими мелкими косичками, и постукивала ногами, в шерстяных носках и чунях, друг о друга. Ей не было холодно, и она, скорее, чтоб занять себя, все поддергивала ватник, наброшенный на плечи.

Ватник этот удивлял — мать носила его больше года, а он никак не сдавался: ни дырочки, ни пятнышка и как лакированный. Словно мать не скотница, а киноактриса Марина Ладынина.

По дорожке, от буйной дневной пестроты которой в полумраке остались одни редкие белые полосы, беззвучно прохромал Васенька. Он подобрался к столу, сделал стойку, задрал морду на столешницу, для надежности подложив под нее лапы, и разглядел окоселыми глазками лежащие на рушнике намытые морковки, луковицы, свеколки, картошки. Они тоже дожидались отца. Васенька не обрадовался им, да и не имел корысти, а сунулся к столу, только изображая любопытство, тоже, скорее, чтоб занять себя.

— Иди сюда, серый хрен, — сказал Саша.

Васенька боком взлетел на полати и лениво вцепился в медаль «За боевые заслуги», которую Саша, пользуясь отцовской отлучкой, повесил себе на грудь.

— Орденов нам захотелось, — сказал Саша.

— Чего ждатель? Душа болит, — вслух задумалась мать.

Саша устал щуриться, вздохнул и засунул «Родную речь» под подушку. Они с матерью битый час воевали — кому читать «Родную речь». Больше читать в доме было нечего. И Саша, как всегда почти, добился своего. Он и уступил бы, да мать читала через пень-колоду, запинаясь, перевирая слова, и в стихах, из уважения к ним, ставила ударение не там, где надо. Сашу это изводило, ему надоедало поправлять мать и в муках дожидаться следующих слов, которые он все знал давным-давно и не мог не подсказывать, а мать тоже начинала злиться, и кончалось все ссорой и взаимными грубостями.

«Родную речь» Саша выучил наизусть, помнил все картинки и, так сказать, затер книгу — она распухла, замахрилась по

обрезу, и каждая страница в ней холмилась. Он недолюбливал стихи, но сегодня читал стихи про ласточку, потому что проза была им читана по сту раз, а стихи только по десяти.

Но вот стемнело, щуриться в книгу сделалось бессмысленным, а лампу мать, конечно, не зажжет до отца прихода — керосин не вода, из воздуха не нальется. Да он и сам не зажжет бы.

А дождь все шел, и град не слабел, и сквозь затворенные вроде бы двери пробился в дом запах паленой ботвы с огорода. Ботву пережгли неделю назад, и, надо же, дождь ее освежил, а ветер поддунул — запах встал в ноздрах, напоминая о костре и печеной картошке.

Вдруг со двора послышался Борькин голос. Поросенок Борька спал в своем душистом терему, но, видно, проснулся или в своем поросычем сне что-то увидал — упоенно чуть-чуть похрюкал.

— Разговаривает, — с облегчением сказала мать.

— Это он поет: «Эх, хорошо в стране советской жить!»

— пошутил Саша, сбрасывая одеяло, целый ковер из лоскутов и лоскутиков, — в избе потеплело, задышали стены и потолок, заплакало окно.

— Худоба ты худоба, — сказала мать, видя и не видя его, — как глист турецкий.

Он израстался — очень исхудал, и все из него торчало — все кости-косточки, и на голове особенно: нос, уши, губы-зубы и даже глаза торчали, так что он казался постоянно и сильно удивленным мальчиком.

— Ты-то не глист, — ответил Саша, пробираясь к квасу, — ты у нас красавица!

— Так что зеркало пугается, — сказала мать, выпрямляясь и кладя ногу на ногу. На мгновение вспыхнули ее зрачки, встретившись с отсветом печного пламени.

Саша поперхнулся квасом, вдруг подумав, что материно шевеленье и огонь в глазах связаны с темой разговора, и в мыслях его случилось какое-то непонятное, неопределенно-стыдное движение. «Да доб-рая, добрая она баба», — повторил он про себя слова дяди Никиты Гладкова. Гладков говорил их про бабушку, но они как-то подошли, что-то заменили и успокоили.

— Тю, — сказала мать, со смешком доставая некоторый предмет из носка, — совсем ведь забыла! смотри!

— Газетка! — взгляделся Саша. — Ну, опять отцу повезло! Это как ты?

— А вот как я, — торжествуя сказала мать, разворачивая сложенный в ладонь газетный лист, — утром-то, в правлении — Антон Петрович! «Погодите, женычины (гундосый), я на минуточку!» Грудь колесом, китель хрустит — сам знаешь, какой щеголек, — и на двор! На двор! На двор!

— Дристушки! — захохотал Саша.

— Ну! А на столе газетка лежит. Я не дура — верх, там и Портрет был, не тронула, а нижнюю страничку подорвала — и в носок ее, в носок! Бабы ахнули от зависти. Антон Петрович возвращается — так, знаешь (мать встала и прошлась, показывая, как проходит человек после этого дела. «Умора!» — завизжал Саша), за стол садится... Ни-чего не заметил! А отцу на неделю раскуривать хватит.

— Вот матюгался-то потом! — пронизательно заметил Саша, забираясь на полати, — а он (уже об отце) — толкает тебя, радио сломал... пьяница!

— Да ладно, — ответила мать и, осторожно разгладив страницу, положила ее посередине стола.

— А град-то прошел, — сказал Саша.

— Град прошел, — согласилась мать, взглядываясь в сизое окно, незрячее от сумерек и испарины, — а льет — прости Господи!.. Где же наш Илья Муромец на деревянной ноге, что ему, Знаменка медом намазалась?

Знаменка находилась в пятнадцати километрах, Саша в ней однажды побывал, а дальше ее не бывал нигде и никогда. Он ездил туда с отцом за каким-то лекарством, и они обедали в знаменской столовой: Саша запомнил котлеты с перловой кашей, чудные раскрашенные ложки, плотный запах горячей еды и очередь из веселых шоферов-матерщинников, страшно, как волки, глотавших целые куски хлеба, не дожидаясь, пока подойдет очередь. А отец сказал шепотом, стыдясь их богатства и здоровья: «Дорогое удовольствие, мать твою».

Во рту разлилось целое соленое половодье.

— Мать, дай сухарик! — взмолился он.

— Нет, — сказала мать, — уж дождемся праздника. Не проси!

— Хоть бы радио играло! — смиряясь, с сердцем сказал Саша. — За мясом он поехал!

— И привезет, — убежденно сказала мать, — смотри: провинился; смотри: без копейки, и захочет — не пропьяется. Потом, Полтора Ивана — не Антон Петрович, не подведет. Они Злату Прагу вместе освободили.

— Да, — мечтательно сказал Саша о много раз слышанном, — отцу там ногу отрезали, а Полтора Ивану — руку.

— Снимай-ка медаль да на место положи, — опомнилась мать, — плюшек получишь без разбегу!

И не успел Саша засунуть медаль в комод, как — шлеп-пфф... шлеп-пфф... шлеп-пфф... — послышалось со двора, сначала чуть слышно, а потом, как ни старался бредущий двигаться тайно-вкрадчиво, все громче.

— Отец! — подскочила мать, переходя на шепот. — Подкрадывается, слышишь? Сейчас на дерева встанет — ступу подожмет, на одной ноге поскачет.

— Как маленький, — с деланным пренебрежением сказал Саша.

По-другому — тум... тум... тум... — послышалось совсем близко.

— Вот видишь, какой хитрый!

Якобы беззвучно отворилась дверь в сени, якобы незаметно отошла дверь в горницу. Мать с сыном, не сговариваясь, уставились в угол.

— Хенде хох! — закричал отец и, ударившись головой о косяк, добавил по-русски.

Он был промокший до нитки, было слышно, что он замерз до заячьей дрожи и зубной дробы.

Отец бросил перед собой мешочек и резво-резво стал обдирать с себя одежду возле печки, будто сам себя свеживал.

От мешка, от ватника немедленно поплыла песня о парной молодой крови.

Васенька напомнил о себе глубоким грудным стоном, он прыгнул с полатей на мешок, маленько промахнулся и был неласково принят печкой, но тут же вцепился в мешок всеми лапами и замер, уронив на него голову, как пьяный.

Мать запалила лампу, раз и другой добавляя света, пока Саша не сказал ей:

— Хватит! Керосин не вода, сам не нальется.

Отец стоял перед ними, смешно танцуя на месте, лязгая челюстями — зубов у него почти не осталось, но малость сохранившихся работала за полный рот. Он был хорошо освещен, и Саша поймал себя на мысли, что он впервые разглядывает отца: вот он, отец, сорокалетний, но тянущий на все пятьдесят пять; месяц назад подстриженный под неопрятный полубокс, со слипшимся чубчиком-козявкой на узком лбу; вот его постное мокрое тело со всеми следами войны, труда и ранней старости. Даже несмываемые охряные пятна от махорки по уголкам рта — и те, казалось, были хорошо видны. И высматривалось в нем что-то особенное, будто затянувшееся странствие под сумеречным дождем и градом с праздником в мешочке отмыло его от обычного матерного карканья и вынуло из него его инвалидные занозы. А вздрагивающая деревяшка делала его добрым колдуном.

— А еще, значит, хлебушка буханочка, — пролепетал колдун-отец, — Иван... подсунул. Подмок, правда, крепко, значит, вдоль и поперек.

Он показал покосившуюся буханку, а достал ее невесть откуда.

— Нынче мы бояре, не рвань какая-нибудь, — ответила мать.

Отец со зверской улыбкой двинулся к полатам, и Саша уже задира для него одеяло. Родитель, одной рукой наворачивая на себя одеяло, другой, со стоном победы, отстегнул деревяшку, и она упала, проклятая, на пол. Отец страстно погладил культю и сказал:

— Варить.

Это был не приказ, не просьба: спокойное хорошее слово свободного человека, а свободный человек не велит и не молит.

Мать с третьего пинка согнала с мешочка Васеньку, достала мясо — хорошую молодую грудинку — и отрубила от него кусочек в пару ладоней.

Отец засмеялся:

— Доброе мясо, считай, значит, теленок...

И вдруг подскочил, допрыгал до нее на одной ноге и уже ножом отрезал еще лоскуток мяса, подавая его матери.

— Ты на конюшне у себя командуй, — доброжелательно сказала мать и положила лоскуток обратно в мешочек.

— Салтычиха, — сказал отец, возвращаясь под одеяло. С куском мяса в руке и с умыслом на лице мать вышла на улицу.
— Что за Салтычиха? — спросил Саша.
— Что?.. В Знаменке, значит, такая баба злая жила, — ответил отец, — для сравнения.

Мать вернулась.

— Ты чего бродишь? — спросил отец.

— А мясо под дождем помыла, так и вкуснее, — ответила довольная собой мать.

— Видал? — сказал отец и дал Саше подзатыльник.

В чугушке загудела и забулькала вода. Мать разделила мясо на трое и бросила его в кипяток.

Они с удовольствием, взаимно помолчали, слушая дождь и плиту, помолчали и дождались, когда чугунок стал отдавать запах.

— Век! Век не ели! — сказала плачущим голосом мать и принялась крошить овощи. Нож стучал — так-так-так — резво и приятно-одинаково, за его стуком оживал летний полдень в полях по обе стороны большака: кузнечики.

Пробил час новостей.

— Отец, — сказала мать как-то слишком безразлично, не оборачиваясь, мелко вздрагивая локтями и плечами, — что на белом свете творится? Как там сватушка?

Сватом в шутку называли Полтора Ивана, потому что у него подрастала девятилетняя дочь Верка. Саше нравилось, что у него есть невеста. Саму Верку он видел один раз год назад и никакой красоты в ней не разглядел. Баба и баба, только маленькая и паршивая. Но тут дело не в ней самой было.

Отец, конечно, ждал расспросов.

— Сват — абгемахт, в полном порядке, — начал с готовностью отец, — перво-наперво спросил: как там зять подрастает? Бриться приступил?

Саша провел рукой по щекам и хихикнул.

— Очки выписали Ивану, вот как, — сообщил отец.

— Дождлся, — сказала мать, — жаловался-то еще вон когда.

— Да не вон когда, а еще раньше, — ответил отец, — он войной, значит, уже цыгарки скрутить не мог: «Далеко вижу, как коршун, вблизи туман».

— Ну как он в очках-то? Профессор? — спросила мать, ссылая овощи.

— Да уж. Морда кабанья, а очки малюсенькие, детские. Дужки коротенькие, он их распрямил — все равно до ушей не достают. Пришлось на веревочках подвязывать, за уши.

— А ушищи у Ивана — будьте здоровы! — засмеялась мать.

— Ага. Так пугалом и ходит... Сватья привет передает. Здоровая, сиворакша!

— «Спасибо», — нахмурилась мать: сватью она не любила: горластая, хамка и сплетня. — Кормятся?

— Кормятся — горбом, как верблюды. Лучше нашего, а те же «палочки». «Палочками» же не обуешься — не оденешься. Даже в жопу не засунешь.

— Угощали?

— Злата Прага!

— Да, похоже, в самую меру?

— Сама видишь, — с достоинством ответил отец и, увидев на ее спине ехидную усмешку, повысил голос, — а ты не подпускай... то самое, не подпускай! Сам сказал: хватит, Иван, генук, не лей — путь далек. Пьем фронтовую, ни каплей сверху...

Помолчали. За окном сквозь смиренный ропот дождя взывал в тяжелом, слоистом порыве ветер.

— А про волков что слышать? — безотчетно откликнулась на этот вой мать. Прошлый год был волчий. Видимо-невидимо было зимой и весной волков; голодные, наглые, они пели у ферм, рыскали на человеческих тропах, попадаясь на глаза ежедневно. Правда, нет ли, но «хресьянский телеграф» рассказывал о заеденном волками старике из Ермаковского.

— Волкам рано, — уверенно ответил отец, — пока ковылял — и не вспомнил ни разу... Волки еще сытые. Значит... Репы наели — сътее нас с тобой... Рано волкам. У них свои нынче игры осенние, у волков.

— Ну-ну, — кивнула мать, присаживаясь на лавку, — то-то не думал ты, хозяин, о волках...

— У Тургениных бабушка померла, — сказал отец, — они ее обложили подушками, пшенку перед ней поставили — и на ферму. А за ней присматривала старушка барачная, из при-

гнанных — эстонка, что ли. Слепая, ведьма, и тоже без ума уже... Во-от. Та умерла и сидит, а та пришла: «Порисофн», дай я тя покормлю». И сует ей кашу в рот. А та не жует, и каша обратно валится. И грех, и смех.

— И смех, и грех, — откликнулась мать и мелко, как своровала, перекрестилась. — А упокой ее Господь. Эта невредная была.

— Невредная... — подтвердил отец, — да-а...

— Вот так, — сказала мать, — вот так. Елочки зеленые.

Ветер, видно, сменился, и дождь потерял сочность, будто осип — западал мимо окна на негромкую землю. Тихо, хорошо.

Саша дождался. Его разъедал свой жгучий вопрос, но, как ни подмывало, он не вмешивался до поры в разговор взрослых — чтобы не одернули, чтобы иметь право спросить о главном.

— А кино в Знаменку не привозили? — крикнул он, можно сказать, в отца.

— Тьфу ты, черт! — вздрогнул отец, отталкивая его. — Ха-ха... Привозили. Смотрел Полтора Ивана.

— Рассказывал?

— А как же. Фильм — «Вратарь» называется. Про футболистов, — отец с неудовольствием, против воли зевнул пастью.

— Про футболистов, — тряхнув головой, повторил он, щегольски выговаривая слово «футболист».

— Кто такие футболисты? — удивилась мать. — Стахановцы?

— Не дура разве, — сказал отец, — это игра такая: парни ногами гоняют мячик.

— Зачем?

— «Зачем?» — передразнил отец. — Для удовольствия! Все пинают ногами, а один руками ловит, перед таким неводом стоит. И куча народа смотрит. Он и есть вратарь. Звали Антоном, он лучше всех ловил и зазнался: вы мне, значит, не товарищи. Он раньше арбузы кидал, там и насобачился.

— С жиру бесятся! Наши? — ахнула мать.

— Наши. Довоенные дела. Иван говорит: чистенькие, городские, в белых брюках, рубашечки, чеботы белые. На катерах гоняют — работа у них такая — на катерах гонять!

Мать присвистнула и покачала головой: в городе чего не жить!
— А про еду показывали? Что они там ели? Ты спрашивал? Пирожены? — уточнил Саша.

— Спрашивал. Полтора Ивана говорит: не помню. Вроде, раз было — в дыму не разглядел: курят же все... А один там был — маленький, значит, толстый, инженер, он изобрел железного человека — говорящего!.. А-а-а-ха! Потом! — крикнул отец, осел, закрыл глаза и тут же захрапел.

С досады Саша даже замахнулся на спящего отца локтем. Растравленный и неудовлетворенный, он представил себе нарядный, вкусный город, как он его знал по картинкам, и себя в нем. Он идет по городу, большой, с усами, красивый, весь в белом и важно здороваётся со встречными, а они ему говорят: какой же вы футболист! Только не зазнавайтесь, пожалуйста. А он...

— Был бы отец футболист, жили бы в городе, — сказал он.

— Молчи, дурак набитый, — сказала мать и погрозила ему отцовской деревяшкой.

А в доме запахло готовым борщом, и отец уже ел его во сне, втягивая в себя воздух, шевеля губами и щурясь от пара закрытыми глазами.

Все возможные запахи этого места были в сборе. На запах жилого — людей, их постели, кота, на запах печки и огня, на запах задышавших в сыроватом тепле дерева и известки лег запах дождя и паленой ботвы. С ними мешались запах вареного мяса, а потом вареных овощей. Бледнея для себя, запахи мяса и овощей слились и ожили в крепком, возвращающем лето и память запахе борща.

В избе стоял цветной, переливающийся дух — вникая в него и, значит, раскладывая обратно, можно было и в крошечной тьме разглядеть не только состав борща, но и весь состав жизни, серединой которой в счастливый день бывает борщ. Видно полати, кадку с квасом, наволочку с сухарями, некрашенный пол, пересеченный кривой полосатой дорожкой, некрашенный стол и маленький облезлый комод, и что в комод, и даже присевший косяк видно, о который нет-нет, да бьют затылки отец и мать, а через пару лет будет набивать шишки Саша.

— Вставай, отец, открывай свои ясны очи, — сказала мать, — готово!

Не торопясь и помалкивая, они уселись за стол, и каждого дождалась своя чашка с горкой сухарей на дне и большой кусок казенного хлеба впридачу.

Ели долго и молча, без конца переглядываясь, как удачливые заговорщики. Потом долго и молча пили чай с «пироженом» — теми же сухарями. Но сам чай был царский: смородиновые и брусничные листочки, зверобой мать смешала с настоящим грузинским чаем. Не сразу она нашла его среди мешочков в верхнем ящике комода.

Только тут отец единственный раз открыл рот:

— Грузинский чай — лучший в мире!

— Почему? — спросил Саша.

— А у нас все самое лучшее, — поднял палец отец. Ногтя на пальце не было.

Как-то там совпало, что кончился дождь, словно природа тоже дождалась борща, чтобы после борща потянуться и отдохнуть.

— Шунька! — сказал отец, привычно косясь на мать. — Дай-ка твою книжку!

Он изображал, что когда ему хочется покурить, нет для него ничего святого.

Мать, шаркнув ногой, молча, торжествуя поднесла ему газетку. Отец крякнул и развел руками: нет слов.

— А ты дерешься! — храбро сказал Саша.

В этот вечер вообще много было сказано всякого такого, что никогда не говорилось раньше.

— Ах ты, господи, — сказал отец, пуская первый дым, — это ведь, значит, матерь твою... Политическая ошибка?

— Дай попробовать, — разыгрался Саша.

— На! — сказал отец, схватив его за волосы и пихая ему в губы противный, обслюнявленный конец цыгарки.

— Скотина ты, кормилец! — почти всерьез сказала мать, хотя Саша и не думал пробовать, а отец не думал давать.

На них опускался сон.

— Прилечь бы — да идти, однако, скоро, — сказала мать, — встретят меня буренки мои голодные, скажут — что ж ты, мать наша: сама борща наперлась, а нас не позвала...

— Простят, — сказал благодушный отец, — весной одну с ними солому едим, по-товарищески.

— А Ваське-то, — спохватилась мать: Васька, похоже, век висел у нее на подоле.

...Саша пошел на двор.

Пописав, с крупными и едкими детскими слезами на глазах, он вышел мимо осиротевшей будки Шарика в огород и встал у плетня, рядом с шариковой могилой.

Было темно, тихо и свежо.

Слабенький потеплевший ветер потихоньку обегал его макушку, и она почти не зябла. Над землей стоял ровный, вкрадчивый гул — это, наверное, осторожно дышала всей своей немеряной грудью дремлющая осенняя земля. Небо было черное, покрытое одной громадной тучей, в один кусок, но повсюду, неизвестно отчего, были рассыпаны робкие, убогие блески, как будто все звезды упали на землю и догорали холодным бездымным огнем. Саша знал, что это не так, он еще видел сквозь стены и облака, он знал, что за тучей на просторе охраняет звездное небо Полярная звезда, что зеленил свой клочок неба молодой творожный месяц, что сухие, раздражительные зарницы скребут сейчас горизонт, распугивая звезды.

В любой темноте свой свет, в любой тишине свой шум, в каком хочешь покое — своя сумятица.

Вот по туче пробежала прореха — сиреневая струйка, вот у Вершининых заскрипела как всегда неприбранная калитка, вот залая прокудинский Шарик, вон в ивановских хоромы, рядом с кладбищем, вспыхнуло окошко учительницы Надежды Прокопьевны.

Саше сделалось хорошо и страшно — ему показалось, что он стоит на самом дне бесконечного мирского моря, в самой его середине.

Хорошо оттого, что все это вдруг приобрело к нему личное отношение. Страшно оттого, что он увидел себя со стороны — маленьким-маленьким, со всеми его руками, ногами и крошечным сердцем, которое он впервые, может быть, почувствовал.

Он вытер слезы и оглянулся на избу: в мягком свете керосинки, разрезанные решеткой окна, маячили размытые тени отца и матери, они сидели бок о бок за столом, положив на него вытянутые руки, и беззвучно разговаривали.

«Мама. Папа», — вдруг сладко, по-городскому сказалось в нем.
— ...Отдыхай, отец, — услышал он, открывая дверь в избу, — куда тебе грязь месить?

Мать сказала это как-то неубедительно.

— Я что же — зря борщ хлебал с мясом? — весело и настойчиво ответил отец.

Мать сунула Саше сухарь, и он, очень серьезный и благостный, полез на полати.

И тут же постучали в окно.

— Петровна, — сказал голос тети Маши Сечкиной, — пора, мать, запрягать! Догоняй!

— Пора, — вздохнула мать. Отец стал пристегивать деревяшку.

— Провожу, — сказал он.

— Сидел бы, — опять неубедительно сказала мать, — набегался.

— Провожу уж, — сказал отец.

— Я с вами, — неожиданно для себя самого вскинулся Саша.

— Охраняй! — строго остановил его отец, глянув на мать веселыми, молодыми глазами.

Саша поймал Ваську и завалился с ним на полати.

Мать подошла к Саше и на мгновение подержала его голову в ладонях: почему-то одна ладонь была горячая, а другая — холодная, почти ледяная. Она задула лампу: душно и пьяно запахло керосином, так сильно, что пропал борщевой дух, и закружилась голова. Стукнули двери — в сени, на улицу, вразнобой зашелестели за стеной шаги. Напоследок фальшиво пропел удаляющийся материн голос:

Сир-бир-бир конфеты ела! Сир-бир-бир из баночки!! Сир-бир-бир, избаловалась хуже хулиганочки!!!

— Орет! — сказал Саша Ваське.

В тишине поворочался под сашиным боком Васька, поворочался, застыл — и загудел.

Медленно, но надежно проступил сквозь керосин запах борща. Глаза привыкли, и в избе словно посветлело.

— Мама. Папа, — задумчиво сказал Саша, устраиваясь поудобнее.

Саша не забыл этот вечер, хотя забывал многое и охотно. В июле мама умерла родами вместе с младенцем-братиком, а отец через неделю, в пьяном виде подравшись с балагачевским мужиком, повесился на конюшне.

СТИХИЯ

Маленькая гостиничка-флигель в усадьбе Дома ветеранов сцены. В окнах тусклая Невка ловит редкие искры с обоих берегов. Ноябрьский вечер, но заслуженные батареи честно отдают тепло, у нас есть кипятильничек, есть индийский чай, лимон и пастила, пожалованная ветераном сцены славной Еленой Алексеевной Одоевской. Ее улыбка все еще пребывает на этой розовой пастиле. Кокетливый дырявый абажур набросил на нас уютную паутину. Настоящий бидермайер, он располагает к раздумчивому собеседованию, полному взаимной любезности. И не надобно никаких жгучих командировочных коньяков и громких яблок на закуску.

Тихо, скромно расходились все по каменным щелям. Пролетарии валились, свой приняв киндербальзам. Только скрип на звонкой суше, редко-редко мир нарушит писк нордических ледей — чутки каменные уши опустелых площадей.

Его фамилия Шевич, он главный режиссер одного из поволжских театров. Совсем немолод, брюхаст, с глубокими залысынами, курносый и губастый. Шевич заметно шепелявит. Все это по-своему гармонирует с его фамилией и напоминает об одном историко-литературном князе, сочинителе комедий. Он щипал актрис то нежно, то сурово, и отважно сражался с самим Карамзиным.

Шевич — добродушный кающийся грешник, его согревает расположение даже такого молокососа, как я. Но грешник заслуженный, это видно по его тревожным глазам и привычке оглядываться на окна.

— От моего старого друга, театрального художника Визенталя, — бормочет он, — мне достался старый попугай. Серый попугай жако. Исая умер, одинокий, в захламленной квартире, и я забрал жакошку к себе. Его звали Пиня. И вот представьте себе, Володя, он встречает меня вечерами голосом Исая: кто пришел? Кого черт принес? Шевич-мевич, где ты был? Исая нет, и он есть — голос его хриплый, нетрезвый. Прошло с полгода, и вдруг Пиня заговорил моим голосом. Я его учил: быть

или не быть? И еще: партия и Ленин — близнецы-братья. И про Исаю Пиня забыл, как отрезало. И я понял, что Визенталь только через полгода умер окончательно. У вас бывали такие случаи, Володя?

— Нет, — отвечаю я, — что вы!

Мне смешно, что Шевич, из желания угодить, явно преувеличивает мою опытность. Нет, я не хоронил ни старых, ни юных друзей и попугаев видел разве что в кино («Пиастры! Пиастры!»).

— Давайте будем укладываться, — говорит Шевич, — взбивая подушку, — погода располагает. Спокойствие-то какое! Вы возьмите веревочку, если что — дергайте, не стесняйтесь!

Один конец веревочки привязан к большому пальцу его правой ноги. Во сне он громко, раскатисто храпит, и постояльцы во всех шести номерах флигеля уже обзавелись ватой. У меня, кроме ваты, наготове еще и вторая подушка — все-таки мне спать в одной комнате с ним и первому принимать удар. Но помогало это слабо, и я со вздохом привязываю свой конец шпата на указательный палец и произвожу контрольный поддег.

— Вы мне ногу оторвете, — умиляется Шевич, — полегче, Володя, я почувствую.

Завтра в рукописном отделе Публички мне вновь выдадут бумаги великого русского поэта, и, закрыв глаза, я уже вижу их: строчки, осекаясь в перечеркиваниях, плывут корабликами, и кругом восклицательные знаки. В черновиках вдохновенный поэт был щедр на восклицательные знаки. В печати их повсеместно заменяли разумные точки.

Флигель заснул в полном молчании. Как ни удивительно, Шевич не разбудил нас ни разу. И поднявшийся ветер приятно углублял наш сон.

В полночь ветер взвыл, и валом море вздыбило Неву, раздались вовне каналы, воды в новую канву находили путь свой хищный, ширясь в ярости излишней. Ветер выл, как в чистом поле, над пучиною льдяной, с Петроградом охлажденным, с Петроградом омраченным он играл самодовольно, как с потешкою иной. Нет спасенья! Мглой одеты, уж сдаются парапеты, хлещут зыби через край. И шипят в земле скелеты между листовничных свай. Узвленный град Петра, доживешь ли до утра?

Раньше всех проснулись девочки из новосибирского кордебалета. Эти девочки с колоннадными ногами и непреклонными лицами «воспитанниц» первыми вышли на высокое каменное крыльцо и закричали мужскими голосами.

Прочие постояльцы, наскоро накидывая одежду, отрываясь от кранов с мертвой холодной водой, выбегали на крыльцо и разделяли их ужас. Сегодня ни в Мариинку, ни в публичную библиотеку, ни в любой другой храм высокой культуры мы не попадали.

В сером сумраке, под порывами ветра по всей усадьбе и за ее решетками стояла вода. В Доме ветеранов сцены горели все окна: старики поднимались рано, весть о потопе молниеносно разнеслась по особняку, и силуэты заслуженных жрецов Мельпомены упирались в оконные переплеты.

Вода стояла вровень с крыльцом, целиком залил ступени. Это означало, что ее прибыло на метр, не меньше. Вид ее был неприветлив, по ней пробежали язвительные, тонкие волны и расходились таинственные пузыри.

На стене, справа от входа, висела латунная табличка, она представляла собой отметку ординара: на этот уровень, до середины наших окон, поднималась вода достопамятного 7 ноября 1824 года.

— А что? И такое может быть, — сказал молодой армянин из соседнего номера, — тогда полезем на чердак.

Он проживал здесь на сомнительных правах, не имея отношения к театру, но имея его к завхозу Дома. Шевич упоминал, что он начальник чулочного цеха швейной фабрики в городе Ленинанкане. Поэтому он высказался очень буднично.

— Вам не кажется, что где-то бьет барабан? — рисуясь, сказала остроноса дама из Мурманска.

— Ага, — сказал черноглазый вологжанин, — на Марсовом поле. Кутузова хоронят.

— Глупый юмор, — возразила мурманчанка.

Мы толпились на крыльце, потом мы толпились в общем зале, куда выходили все двери наших номеров, и трясли в руках ключи.

Нас оказалось неожиданно много: пятнадцать человек, испуганных или разочарованных потерей драгоценного рабочего дня в северной Пальмире. Пять девочек из кордебалета, два чулочника из Армении, три актера из Архангельска, Вологды

и Петрозаводска, помощник режиссера из Мурманска, хранитель музея-усадьбы из Щелькова, мы с Шевичем, и махонький дедушка в зеленоватой седине, скрывающий любые свои анкетные данные: зачем вам знать?

Мы познакомимся в течение этого долгого темного дня, а пока мы переминались напротив друг друга.

— Здесь я точно бедная букашка, занесенная в озеро бурей, — процитировал Шевич. Иные режиссеры читали А. С. Пушкина.

Шевич один из всех выглядел безмятежным, почти довольным. Это было подозрительно.

Кто-то включил радио: город затопило, оказывается, клочками, но усердно, вода поднялась по всей невской дельте. Дворцовая набережная держалась до последнего. Радио не обещало ничего хорошего и ничего плохого. Где-то протирали очки ответственные люди, они не знали, что будет через час.

— Да что же мы время попусту тратим, — сказал архангелогородец, — братья-славяне и другие наши братья!

И вынес из номера бутылку водки. Шевич с веселыми причитаниями вынес бутылку поддельного польского коньяка «Камю», чулочники триумфально вынесли три бутылки настоящего армянского коньяка, а к ним кислый сыр и сушеное пряное мясо в тысяче кусочков. Мы сдвинули оба стола в зале и притащили стулья, они трещали под нами, как хворост. Пять девочек из кордебалета уселись первыми, и от такого доброго знака лица актеров просветлели, они потеряли свои испытанные руки.

— В прошлом году я побывал в Италии, — сказал Шевич, — странная страна! Там итальянцы одеваются, как боги, нам не снилось, как. И — поголовно нищие. Ночью выглянул из окна отеля, вижу: подо мной рота итальянцев в шикарной одежде шарится по помойке! Где, спрашивается, римское достоинство?

— Это они экономят, я знаю, — сказал хранитель из Щелькова, — у них лира тощая.

Когда после обеда к крыльцу причалила обычная деревенская лодка с завхозом и горячими пирожками с печенью, флигель был прокурен насквозь, а в зале, где столы перекочевали в угол, девочки из кордебалета пытались исполнить «Танец маленьких лебедей». Пространства, конечно, не хватало, и попытка за по-

пыткой заканчивались грохотом падающих стульев и стонами пирующих, придавленных удалыми балеринами.

Рассвело. Над жалким градом колокольчик дар-вадая, ознобленный влажным хладом, трепетал и пропадал. Но стоя под облаками мерный, нервный, скверный гул, и в плакатах над стогнами красный их кумач заснул. Доложили утром сводку: может быть такой компот, что балтийская селедка по Дворцовой поплывет. Что смущаться да гадать? Пропадать так пропадать! Она будет плыть, а мы будем пить!

Завхоз Феликс Феликсович открыл настежь окна, раздал нам по два пирожка и велел расходиться по номерам. Напрасно актеры подпускали шепотом амуров балеринам, просясь к ним в гости. Под укоризненным взглядом хозяина кариатиды никли. Им дорога была карьера. И перепившие актеры были неприятны девушкам тем, что алкоголь победил в них навыки классического, благородного флирта.

В конце этого акта мы услышали вялые размышления Шевича о том, что Петербург, ныне Ленинград, восставили вопреки законам природы и морали, ибо по-человечески построить такой город невозможно. А, значит, стихия однажды добьется своего. Шевич выдавал эти свежие мысли за выстраданные свои.

— Но не противно морали, — закончил он, — когда опытный жрец прекрасного ласкает взглядом прелестные лица, плеча и, извините, стан юных граций.

И посмотрел на девушек неожиданно-бестиально, как бычок-Приап.

— Слава тебе Господи, — фыркнули девушки, — вы не наш главный жрец.

«О, Шевич, Шевич, под тобою хаос шевелится», — подумал я.

Но за что потоп реальный пал на город гениальный? Молвил некий фарисей, что в устах Невы хрустальных загноился город сей! Не простое беснованье, не озлобленность стихий — это свыше наказание за партийные грехи и мещанские хи-хи...

...Уж немного нам осталось, уж Крыла над головой, уж роstralный бледный фаллос никнуть начал над Невой — встали воды! Присмирели и попятись назад. Снова спасся Петроград.

Мы спали час и другой, когда нас разбудил вопль архангельского актера. Он был пьянее всех и, возможно, добавлял, не укладываясь в постель. Ему привиделось, что белоголовый, белолицый кто-то ходит в сером пальто вокруг флигеля и заглядывает в окна. Постояльцы раздраженно посмеялись: какого же гренадерского роста должен быть злодей! Или он циркач и бродит по воде на ходулях?

Мы с Робертом, младшим из армян, вышли освежиться на крыльцо. Вода уходит! Вода спала! Под водой оставались всего две ступеньки, крыльцо лоснилось во мраке. Ветер затих. В кронах голых деревьев, наверно, лип, демонически каркали вороны.

— Просохли! — сказал Роберт и запустил в них спичечным коробком. Вороны прибавили голос, мы будто видели их разинутые горячие клювы. Они живут аридовы веки, наверняка среди них есть хоть одна, недобитая последним российским императором. Раньше я думал, что бедный Никки расстреливал их по недоумию. Теперь мое мнение резко изменилось.

Мы пошли досыпать. Навстречу нам выходил Шевич, он был очень бледен.

— Не беспокойтесь, Володя, я подышу. Меня мутит, — сказал Шевич, и добавил с вымученной улыбкой: — Пойду, так-скать, наклонюсь над бездной.

Мне показалось неестественным, что он держит при этом руки за спиной, что он застегнут на все пуговицы. Как бы Вам не поклониться бездне, милый Шевич. Впрочем, темнота могла ввести меня в заблуждение.

Я лег, не раздеваясь, поверх одеяла и машинально заткнул уши ватой.

Через час меня разбудил капитан милиции Лапин, обутый в старые болотные сапоги. Он включил свет и попросил меня указать, где вещи Шевича.

— Что случилось? — спросил я, догадываясь о главном.

— Убили вашего соседа, не отходя от кассы, — меланхолично сказал милиционер, — мало нам своих мокрушников, так с Волги пожаловал мститель. Не мог дома его дождаться. Говорит, принципиально хотел укокошить его в Питере, символично. Хорошо, что не сбежал принципиально!

— Какой мститель? — спросил я.

— Вы нам не нужны, все ясно. Побудьте здесь, не путайтесь под ногами, — сказал милиционер Лапин и вышел вон, оставив после себя пунктиры грязных лужиц.

Крыльцо из окна номера просматривалось хорошо. Я прижался к стеклу. В свете блуждающих фонариков я разглядел на ступеньках тело Шевича с запрокинутой головой. Его щиколотки были в воде, рядом лежал его блестящий итальянский дипломат. Над Шевичем стоял альбинос в сером пальто, он что-то объяснял милиционерам, подняв к подбородку скованные запястья.

Я посмотрел на свои руки. В них как бы помимо меня были зажаты клочки ваты из ушей. Я не решился их выбрасывать и положил в карман.

Шевича положили на вынырнувшие из тьмы носилки и понесли во тьму. Альбинос покорно побрел по воде следом, и милиционер даже не придерживал его за руку.

Я вышел в зал. В темноте освещенные ночным небом из открытых дверей застыли все постояльцы гостиницы. Кто-то пожал мне руку, будто я был старым другом убитого.

Что за чудо? С ясной верой фарисей нам говорил: это некто, некто в сером кровь над волнами пролил. Некто, капнув кровь чужую, сбил и ветер, и волну; злою местию пируя, оплатил, так-скасть, вину.

Я вышел во двор. Вода стремительно убежала в Невку, но воздух дышал наплывающим морозом. Утром здесь будет бугриться лед, а на этом льду будут расшибаться все мои товарищи по... Я споткнулся о садовую лесенку и понял, зачем она здесь.

Я шел по шуршащей замерзающей земле, в ботинки набиралась колючая, ломливая вода. Потом я поднял голову: в тучах появились большие просветы. На далеких кровлях переливались болотные блики.

А что же глагол временя? Я щелкнул зажигалкой и посмотрел на часы: они стояли, я забыл их завести. В эту минуту мне послышалось, что над Большой Невой глухо бьет барабан.

Мрачны тучи разорвались в лоскуты. С собой горда, в синий бархат выплывала перевозванная звезда. Мирная Нева полна серебристого руна. «Светит месяц, ночь ясна, чарка выпита до дна».



ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ
«ПРО ВСЕ»

СУДОКУ

1

— Родом он из нашей деревни, но подался в военные и не появлялся у нас много лет. Отец его, Илья Семенович, утонул, лет тому двадцать, а он узнал об этом через три месяца — находился в горячей точке, в горах Кавказа. Потом был серьезно ранен, списан, все свое пособие денежное переслал матери, она хотела открыть в райцентре газетный киоск, говорила «сейчас все читают» и думала на этом разбогатеть. Авантюристка была. И, конечно, прогорела немедленно. А сын ей поверил: что он знал о новой гражданской жизни, скитаясь в горах Кавказа? Молодая жена обиделась на него и ушла в неизвестном направлении. Однажды искалеченным, разведенным и бездетным отставным майором он, единственный сын больной матери, вернулся в их трухлявый, седой родительский дом, на отшибе деревни, где уцелело у нас девять дворов и вымирают собаки. Они тут даже не тявкают, а как-то кукарекают.

Пенсия у него хор-рошая, зажили. Как мог, подладил дом, двор, разобрался с огородом, завел телевизор. По мужской нужде, как оставшийся с одним глазом и неровно облысевший, жениться не стал — да и на ком? — а сошелся с одной вдовичей из Иволгина. То есть, как сошелся — таскается к ней раз в месяц. Наверное, сходит в баню, возьмет бутылку, закуску — и тащится. Не знаю. А женщина, говорят, смиренная.

Общаться с нами никогда не отказывался, но что мы ему, протухшие старики? Понятно, что мы в политике теперь разбираемся не хуже москвичей, а лучше; наша правда земляная, честная. Это нам депутат четко объяснил. Только он не выносил разговоров о политике и матерился на нее. И про здоровье тоже не любил и тоже матерился. А поприветствовать при встрече всегда готов и очень вежливо: «честь имею, дед», «слушаю вас внимательно».

Мать его Любовь Петровна, светлая ей память, гордилась им и радовалась, что он с ней, хоть и без внука, и тревожилась за него. Рассказывала, что он места себе не находит, ни к чему

приохотиться не может. Видно, с запросами. Пару лет увлекался рыбалкой — забросил, надоело оводов угощать, и рыбу возненавидел, и на реку шел не вдруг, если мать изо всех сил попросит об ухе. Телевизор его сразу стал раздражать, перестал его смотреть. «Пустотища, одни дешевки». Наш депутат тоже так же высказывался, пока его не посадили.

Любовь говорила: «Вот увидите, доживем до того, что он какую-нибудь башню начнет в огороде строить. Для живописных видов».

Но как-то — недаром майор — держал себя в кондиции и сейчас, наверное, держит. Очень, думаю, по-своему, но держит.

Покойница Любовь повторяла: «Встанет с рассветом, сделает гимнастику на дворе, снег — не снег, согреет воду, побретется, наодеколонится одеколоном «Шипр» — вот приятный запах! — и... ложится и спит до одиннадцати. Дела-то еще вчера сделаны. И сегодня их на понюшку. Но форму как снял, приехавши, так ни разу не надел, сколь ни просила».

2

— Трудно ему, нет сомнений. Одинок, как перст, стареет от скуки, от пустоты. Мы привычные, мы живем от корней, как растения. А он-то мир повидал, имел соблазны, как ловчий зверь. Шуму над нами много, но ведь кругом пустота, сквозняк на сквозняке. Нас, доживающих, инвалидная команда. Поля порожние, березняком сорным заросли. Лесочки одряхтели, некому их молодить. Разве что звери стали чаще приходиться. Не то чтобы чем поживиться, а от своей бесталанности. Пообщаться. Зайцы, лисы... — надоели. Волки надоели (вреда от них нет, скотина у нас перевелась, а людей они не трогают, не верьте. Это вам не собаки городские одичавшие). Скачут зайцы за пряслом, мародерят на грядках. Приходят и словно указывают: теперича, брат, мы в одном сословии: мы как люди, вы как зайцы. Одна бражка.

А Степка Чугунок, хрен лысый, вам не все рассказал. Я-то живу с Вадимом Игнатьевичем близко, переехал в пустую избу получше моей, рядом с ним. Точно перед тем, как Петровна отошла.

Захожу к нему через два дня на третий. Он мне рад, поит чаем. Хотя чуть засижусь — вижу: томится, хочет одиночества, привык бирючить. Но бирюк он добрый, грехи на войне оставил. Сам чистый, дом чистый, занавески стирает, мухам не входимо. Глаз у него один, но хороший, большой, теплый, карий. Моргает. Мы к нему привыкли.

У него теперь новое занятие, увлечение. Скажу сразу — а лучше бы завел вовремя хоть поросенка или щенка бы взял, лаечку. Но, брат ты мой... От покойной Любушки — так она мне в юные года нравилась, слов нет — ему достались всякие газеты и особенно журналы, которые она не смогла продать, когда, мать героя, ударилась в свой бизнес; она сложила, чтоб не видеть, эту прессу пачками у себя в стайке. Газеты извелись по хозяйству, а журналы она частично, по праздникам, отдавала нам, соседям. Придем, попросим, она нос наморщит и дает ключ от стайки: иди, выбери себе. Сама ни за что не пойдет. Возьмешь, по совести, три или четыре — есть чем заняться в зимний вечер.

И вот слушайте. Вадимушка добрался до этих журналов. Полгода читал, пока не перечитал. Перечитал — все раздал, обошел всех. И осталась у него большая пачка как бы журнальчиков или книжонок, особенных, одних и тех же, штук тридцать, под названием «Судоку. Выпуск первый». Это что-то вроде сборника кроссвордов, но из цифр. Да вы знаете, в городе живете, тоже поди балуетесь. Не слова надо отгадывать, а цифры правильно расставлять, по малым подсказкам. Додумались до такого развлечения самураи, еще до русско-японской войны, когда «Варяга» потопили.

И вот Вадим насобачился их разгадывать. Захожу на Благовещенье — день распогодился, снег розовый, солнце с воздухом играет. Сидит Вадим небритый! И курит! А раньше не курил. И отгадывает судоки. Одна книжка сбоку, над другой трудится в диком одноглазом прищуре. В раковине, под рукомойником, грязные тарелки и ложки. Обе — мамина и его. Замечаю это. И кой-чего не понимаю. Беру в руки ту книжонку, что незанята — использованная. Листаю, почти все перечеркнуто в прах — не вышло. Но попадаются и отгаданные квадраты, циферки аккуратно уложены по клеточкам. И тут меня осенило: он же отгадывает одно и то же по второму разу.

А он уже сердится, я ему мешаю.

Ты, говорит, Иван Федорович, не понимаешь. Это же цифры. Пока один выпуск отгадаешь, дойдешь до конца — забываешь, что было в начале. Это же не слова, не дела людские. Берешь нетронутый, и все, как заново, с чистого листа.

И что же ты, сынок, говорю, так всю пачку и переберешь? Говорит, всю переберу. А дальше? А дальше съезжу в райцентр и куплю новую. Там казенный киоск уже работает. Мне пенсия позволяет. На квадроцикл не коплю.

Ну и ну. Мне стало страшно. Вот она, наша жизнь. А у него теперь во дворе беспорядок. Антенну свернуло, неделю налево смотрит. Калитка не закрывается — две недели не чинит. И во дворе валяется бутылка от беленькой. Про Машу — вдову забыл. Она было к нему прибрела, принял накоротке и спроводил: занят, как освобожусь — навещу. Ушла с каменным лицом, его не поняла, но поняла, что бабий век ее кончился. А он сидит день и ночь, не ест, не спит. Не бреется. Я перестал к нему заходить. Что война с людьми делает, а?

3

Мы допили с Иваном Федоровичем чай и вышли на двор покурить и подышать. Была поздняя звездная ночь, остро пахло первой травкой. Она пахла грудным ребенком. В окне Вадима горел свет, над занавеской колыхался табачный дым.

— Это никогда не кончится, — сказал старик, — с этой бедой он не справится. Погиб он.



СТРЕЛЯЛИ

Эти три почтовых дореволюционных конверта были обнаружены плотниками между листовничных лаг при разборе полов в старом деревянном доме у площади Дзержинского, некогда Преображенской. Кроме того, подобрали несколько монеток эпохи последнего императора и папиросные коробки, брошенные туда в ремонт середины 20-х годов. В одной из них, на которой была изображена мордоватая активистка в алой косынке с надписью на крепкой груди «Делегатка», нашли целую сухую папиросу. Ее выкурили солдатиком: «Хороший табак-то, этот почти столетний. Наверняка турецкий, кисленький».

А конверты отдали хозяевам жилья: вскрыли — в них какие-то неинтересные бумажки.

Два из них — без марок. На том, что заметно потолще, подписано женской вялой рукой: «Отец». На том, что совсем плоский, подписано: «Мать». Внутри них — газетные вырезки. А третий из них с маркой и адресом и содержит в себе письмо от пожилого мужчины лет 60 к молодой женщине лет 30, из Самары в Томск. Газетные вырезки датируются второй половиной 1880-х годов, а письмо — 28 июля 1914 года. И получено было, очевидно, когда уже началась Мировая война.

1. «Отец». Им оказался Иван Степанович Топорков, актер из местных. Конверт набит театральными рецензиями, в которых неизменно, с завидным постоянством, дается высокая оценка его работы, его дарования. Несмотря на его молодость, он предстает человеком большого, оригинального таланта и высоких нравственных качеств. Пьесы бывали хорошие, посредственные и плохие, подстать публике Королевского театра. Но и трагические и комические, и положительные и отрицательные, и классические и современные роли равно давались ему, о чем — повторим — настойчиво, с восхищением и убедительно рассказывают три или четыре рецензента из года и год. Они не преминули упомянуть, что Топорков добился не только признания, но и определенного достатка, получая на пару с женой-актрисой (чей вклад был, конечно,

куда скромнее) до 200 рублей в месяцу. Столько мог получать в Томске прирабатывающий статский советник! Жить можно было без особых хлопот, если муж не прикладывался к бутылке, а жена – не мотовка, и жилье – свое. (Но он же местный, «муксунник»! А так-то съемное жилье в перенаселенном городе стоило очень дорого, 400-600 рублей за год.)

15 декабря 1886 года, в разгар театрального сезона, горячо любимый томичами актер стреляется. «Выстрелом из револьвера он опасно ранил себя в лицо, ниже височной кости. Пуля не задела мозг. Он пришел в сознание, был бодр, даже шутил. Создавалось впечатление, что выстрел грянул по нечаянной неосторожности». Что ж, револьверы тогда были доступны всем, имелись в каждом почти доме, их чистили, проверяли...

Но в Новый год он умер. Ему было 28 лет. Семья, увы, осталась «без средств к существованию» – жена и дочь 2-3 лет.

О причинах самоубийства замечательного, обласканного земляками актера не говорится, конечно, в небольшом городе, где все на виду, где сплетни и слухи – из важнейших подспорий жизни, знали, в чем дело. Но интеллигентные газетчики из ссыльных согласно об этом промолчали. Имелось, стало быть, у них нравственные запреты, табу, святое.

2. «Мать». Актриса Топоркова, чье имя осталось нам неизвестным, не была примой. По поводу ее талантов в «Сибирской газете» единственный раз написали следующее (в театре давали «Пучину» Островского): «С истинным чувством провела небольшую роль Лизы 2-жа Топоркова, о чем тем более нелишним считаем заметить, что это едва ли не первая ответственная роль, сыгранная ею; до сих пор на долю ее выпадали одни только выходные роли». Вот и все, что мы знаем о творчестве актрисы Топорковой.

Но в тоненьком конверте хранилась еще одна вырезка. «6 ноября 1888 года 19-летний Давид Ицыкович, купеческий сын, убил из ревности двумя выстрелами из револьвера актрису, 2-жу Топоркову. Еще две пули достались модистке Прасоловой (отстрелил ухо и ранил в шею) и две – кухарке, которая лишилась передних зубов. У Топорковой одна пуля прошла шею навывлет, другая пробила над бровью череп и застряла в мозгу».

3. «Письмо». Оно адресовано Елизавете Ивановне Пороховой, дочери Топорковых. Его написал Леонид Михайлович Петров, выступавший на томской сцене в одно время с Топорковыми, кажется, приятель отца. Выступал, как водилось, под псевдонимом и не на первых ролях («Печорин», «Шереметев», «Заволжский»? Не установишь, затерян в отзывах). Письмо написано в ответ на письмо-запрос Елизаветы, где-то и как-то чудом нашедшей временный адрес старого лицедея, испытанной перелетной птицы искусства.

Судя по отзывкам в письме Петрова, она, на долгие годы увезенная бабушкой в Барнаул, вернулась в Томск взрослой, когда молва о Топорковых умерла еще в прошлом веке, как умерли и последние свидетели той драмы. Самым последним из них был «бывший» князь Всеволод Долгоруков, которого она застала лежащим в гробу.

Она спрашивала Петрова, почему отец убил себя? Ему изменила жена, ее мать? Он полюбил другую женщину — и в отчаянии, в муках совести, в безысходности, как порядочный человек, наложил на себя руки? (О, то была эпоха самоубийств!)

Она спрашивала Петрова, неужели мама была легкомысленна? Может быть, этот мальчишка-убийца содержал ее, а она, «неблагодарная», нашла еще другого? Или все-таки было проще: психопат, ухаживал за ней — как же, актриса, модно амурить с актрисой, да еще красивой — и обезумел, наталкиваясь на отпор? И загубил: «так не доставайся же никому!» Бабушка ничего не знает. У нее мама — «бедный ангелочек». А я этого субъекта не помню, хотя мне было пять лет.

Петров ответил. «Милая Е. И.! Позвольте мне обратиться к Вам так, поскольку я когда-то держал Вас на руках, а Вы сиживали у меня на коленях и обнимали меня за шею, целуя мои не всегда выбритые щеки. Вы заставили меня вспомнить те молодые годы, то полные энтузиазма и радостей свежей жизни, то страшные, горькие, когда небо с овчинку казалось. Признаюсь, получивши Ваше письмо, я не спал до рассвета и даже всплакнул — да, я теперь частенько пускаю слезу, плешивый, изработанный старый одер. Вспоминал Ивана Степановича. Чудесный был человек. Прямо-таки родной, с прекрасной сибирской прививкой. И мама Ваша была на самом деле красавица, и добродетельная, поверьте мне.

Уверен в том, что Ваш отъезд надолго в Барнаул оказался к месту. Дикие томские люди, саврасы, распустили тогда много злых и нелепых сплетен. Вы подрастали бы, рано или поздно сталкиваясь с ними, и душа Ваша была бы ими отравлена, отравлена пьяными идиотами, на версту не подходившими к Вашей семье. Очень жаль, что Вы не успели поговорить с Всеволодом Алексеевичем, застав его отошедшим в мир иной, проводив его до могилы — он близко знал Ивана Степановича, и Ваш отец был с ним откровенен и доверителен, несмотря на разницу в возрасте. Он рассказал бы Вам то же самое, чем поделюсь с Вами я.

А было все просто и однозначно. Ваши родители преданно любили друг друга. Иван Ст. убил себя по небрежности, клянись в этом. Он случайно нажал курок. Он сам мне об этом говорил, придя в себя. Негодяй И. действительно преследовал Вашу маму, развращенный сынок разбогатевших на водке родителей, ни в чем не знавший отказу. Чудовищный истерик! Никаких ухажеров-кавалеров у мамы не было, она жила скромно, перебиваясь с хлеба на воду, дыша Вами, мы иногда помогали ей в складчину, сами нищие слуги Мельпомены. Вот и все. Наша жизнь бывает очень жестокой, и Вы, взрослая, конечно, знаете это на собственном опыте. Вот и в воздухе сейчас пахнет войной, а нас это не пугает. И так худо — хуже не будет. Простите — занял.

Заканчиваю свое послание. Писать я не Амфитеатров. Не зря про актеров говорят, что читать кое-кто из них может, а писать — никто, грамоте не разумеет. Тронутый эпистолярной с Вами встречей, кланяюсь, пребываю Вашим другом, беззубый актер на выходах и входах, Леон. Мих. Петров. 1914 года 28 июля».

На оборотной стороне листка рукой Елизаветы Ивановны, сумбурно: «Утешил, интеллигенция, подозреваю: душеспасительно наврал! Чтобы попасть в висок, надо приставить револьвер к виску. Мне ли не знать! Зачем, чистя револьвер, тыкать им в висок? От дури? И няня говорила, что папа был умный, да грустный, ходил с мокрыми глазами. И дорогих модисток — я выяснила, что Прасолова была дорогая, к самим Кухтериным

ходила — не зовут в нужде. И ели мы, и одевались — помню! — пристойно! Нет, наврал, уклонился. Добренький! Из лучших побуждений! А я ждала, ждала, папочка...»

Эти каракули выдают в ней очень одинокого человека, давно привыкшего разговаривать с самим собой. Все это можно было высказать неведомому мужу Порохову, но видно не собеседник он был ей, если вообще еще существовал с ней рядом.

Конечно, ничего более не известно о судьбе самой дочери. Впереди война, революции, гражданская война. Бесконечное хождение человека по мукам. Пропала. Сгинула, растворилась. В доме с 1919 года поселились другие люди. Много и впритык.



ВО ВЕСЬ РОСТ

Маленький городок — здесь живут «у черта на куличках», «в захоlustье», «на отшибе от цивилизации». И на глазах у соседей, здесь все соседи. Этот городок — из тех, что, как омуты, прячутся в лесах, вдали от великих сибирских рек, между разбросанных на тысячи километров друг от друга великих и гулких сибирских строек прошедшего века.

Солнце встает здесь в тишине, но все его видят, и местный ребенок его рисует гораздо чаще, чем его сверстник из областной столицы.

Здесь каждый, от мала до велика, видит цветные сны, и в снах этих пахнет крапивой, полынью, укропом, свежей рыбой, опилками, грибами, лесными клопами, земляникой и грешным телом.

Да, глубокая, омутная Сибирь. Когда-то, лет сорок назад, предстояло городку оживление, укрупнение, обогащение. Местный уроженец, вышедший в видные советские писатели, выслуживший высокий чин и звание Героя труда за тысячи страниц о становлении советской власти в Сибири, давным-давно проживал в Москве, но пастушьих своих истоков не забывал и заботился о земляках. Он дружил с новым, пришедшим надолго хозяином края, Первым, и стоворился с ним, имея и свое немалое влияние, развернуть в окоме березок, осин и елей внушительное созидание на тему животноводства и лесоматериалов. Первый был честолюбив, трудолюбив, разумен, нетипично трезв и обожал ходить на лыжах.

«Пускай нам общим памятником будет...», — решили они. Дело закипело.

Да и выкипело. Отечественная история переделалась и перекрасилась. И громоздятся и по сей день в городке и его окрестностях разнообразные орудия и агрегаты из ржавого металла, пустые недостроенные фермы и цеха без окон, дверей, полов и крыш, которым, если они и были где-то частично прилагательны к месту, с годами «приделали ноги» земляки советского классика.

Едва попробовали, на один зубок, какого-то благосостояния, верней, надежды на него, — и до свидания. Расстелили скатерть,

разглядили — и убрали со стола. При советской власти трепали народ, как лен, и морочным было для людей, всегда ей должных и обязанных, такое внимание.

— А теперь люди превратились в ненужную доuku для хозяев. Власть — равнодушная и разбойничья. Варяги-ворюги, — сказал доктор Закревский, начитанный человек, наследственно владеющий критическим словом.

— Худо было вчера — давили в нищете, худо стало сегодня — бросили в нищете. Когда-то, в первоначальной Америке белые платили индейцам за землю неграми-рабами. Индейские вожди, чуждые индустриальной эксплуатации, не знали, что с ними делать. Чем их занять, как употребить? Кормить их даром — накладно. Приставить к домашней работе — разленятся свои жены и дети. Пусть себе сами кормятся? Так ведь они плодятся и плодятся, и угроза уже встает над заветными местами охоты, рыбалки и собирательства. Нет, приговорили вожди, надули нас, пусть рабы проваливаются обратно, в мир жадных белых людей, — высказался доктор.

Он был рассеянный от своей хлопотливой работы человек. Покидая больницу, он уселся в машину в халате и бахилах. Из уважения мы постеснялись ему на это указать. Спихнулся, когда мы уже подъехали к кладбищенским воротам, и принялся разоблачаться, приговаривая: «Плохой юмор получился бы, выйди я таким манером к могилкам».

Так и остался городок обидным макетом, сырым наброском новой жизни. Лучше бы не манили, не искушали. И в городке на десять тысяч населения стали ржаветь не только брошенные железяки, но и ненужные человеческие души.

— Душа же не для себя живет, — сказал доктор, — она живет в небо. А в небе пусто.

Житие здесь для большинства горожан — нужда и зависимость. Как древние мещане из городишек уездной Руси, люди перешли на натуральное хозяйство с картофельным полем, огородом и разносолами из всего, что на нем растет, с добычливыми хождениями в лес и на реку. Сносно бы жилось служащим и пенсионерам, но их копейки атакуются. У одних копятя и тратятся на учебу «в области» детей и внуков, у

других отнимаются детьми и внуками на мелкие удовольствия отуманивания разума и частичного удовлетворения плотских вожделений. В городке три бара и тьма нелегальных забегаловок — помилуй Бог! Выпить в них можно и за вещи — родительские и чужие.

Работы мало, очень мало; чтобы ее получить, надо заискивать, выслуживаться. Нередко до унижения перед чиновниками и еловыми капиталистами. Как правило, это одно и то же лицо.

Втрое больше приходится заискивать, унижаться, соглашаться и пропускать всякое хамство мимо ушей, чтобы на работе удержаться. Страх потерять работу и выпасть «в канаву» сильнее других чувствований. Желających попасть на твое место — взвод. Они следят за твоими успехами завистливыми глазами. И вот уже кого-то оклеветать, подставить — как победать чем Бог послал.

Молодежь бежит из городка, с переменным успехом устраивая судьбу в больших муравейниках. Оставшиеся и вернувшиеся слоняются в мятой одежде и грязных носках, пьют и лелеют скверные мечты, поглаживая фонари под левыми глазами.

— У кого вы купили молоко? — спросила нас наблюдательная женщина с брежневскими бровями.

— А за углом, напротив отделения банка, в киоске.

— У этих? Зря. У них молоко с соплями! Нехорошие люди.

«Жестокие нравы» в этом городке. Им правят тираны, которым не нужно повышать голос. Битвы за место под солнцем прошли здесь за считанные месяцы. Часть побежденных покинула округу, двое упокоились на кладбище, еще десятка три, пройдя курс физиотерапии, ушли во внутреннюю эмиграцию. И тираны патриархально прибрали к рукам все то небольшое, что связано с доходами и почестями.

— Добрые люди есть, есть, — утешил доктор Закревский, — их больше вашего. Мои соседи, например. Это вам не Америка, страна Желтого дьявола. Но наши добрые люди — тихие, на овощах выросли, своих куриц не режут — зовут чужую бабушку.

Доктор Закревский — сельский врач, каким был у нас сельский врач полторы сотни прошедших лет. Добросовестный, в меру возможностей надежный, из интеллигентной семьи, по которой,

конечно, проехали туда и обратно колеса Большого террора. Он походил на киношного доктора Калюжного, только здорово постаревшего и заболевшего исторической иронией.

Однажды он не спас пациента — а случай был аховый — и с тех пор у него появились враги. Добро бы родственники покойного, но и совершенно посторонние люди, которые получали моральное удовлетворение, не здороваясь с ним и глядя мимо при уличных сближениях. Их не интересовала суть той драмы, они обогатились поводом для презрения, чтобы расширить за его счет свое значение в жизни.

Так он получил рубец на сердце и опаску здороваться первым.

Он ведет нас по кладбищу.

Кладбище — самая чистая местность в городке. Оно оказалось теперь почти что в самом его центре, его со всех сторон обступили малорослые кварталы, зеленые и скромные, как оно. Березы словно перебегают из одних кварталов через кладбище в другие кварталы, под сорочки трещотки и бормотание свиристелей.

Все хорошее в жизни городка связано с кладбищем. Здесь горожане обретают умиротворение от тонкого лирического ландшафта и перекрестного соседства дедовских и родительских могил. Здесь источник сглаживания конфликтов до примирения сторон, благодаря встречам людей в Родительский и другие дни и воскрешению воспоминаний из пепла буден.

Могилы убраны, ухожены всегда — в маленьком городке все и все на виду, и нет греха позорнее запущения отеческих могил. И кажется, что потомки, бессознательно или напоказ, соревнуются в пределах этого сюжета.

Навстречу нам — видное издали и отовсюду надгробие, стела с изображением покойного во весь рост. Подобные стелы воздвигают для ушедших в инобытие цыганских баронов и криминальных авторитетов, оплачивая сугубую охрану могилы, потому что в могилы этих цветов зла кладут ювелирные изделия (подделки?) и дорогие сотовые телефоны. Одежда и обувь тоже очень привлекательны. Один кладбищенский сторож после двух бутылок казахстанского коньяка говорил мне, что во время его очередного ночного бдения из свежей могилы слышался марш Преображенского полка.

На стеле взмывала над нами черно-серо-бежевая фигура пожилого человека, прожившего пятьдесят девять лет. Занимали внимание какая-то его заемная плебейская осанка, руки, увядающие в огромных перстнях, отвисшая, карамазовская, сладострастная нижняя губа, над которой ровным частоколом зрелись бежевые зубы, и натужно-пронзительный взгляд: глаза с бежевыми белками сходились к тончайшей, лезвием, переносице, сливаясь в опрокинутую восьмерку — знак вечности.

— Наш пахан, владелец наших заводов и пароходов, наш дон Корлеоне, — сказал доктор, — был секретарем райкома, потом верным ельцинистом, а в итоге сгрел под себя все, даже шкурыдохлых коров. Придушил все, что ползает, ходит и летает. Детей и жену спровадил в Москву. Жил с собаками, гулял с подкулачниками, нанимал проституток из областного центра. Перестрелял всех лосей в околотке. Главного своего недруга приковал лодочному мотору и утопил в реке. Он, больше никому.

Доктор перевел дыхание и попросил сигарету.

— И пил, пил, пил. Чаще и чаще ездили к нему из больницы, ставили капельницу, откачивали. Все больше платил за спасение. Когда, как верный коммунист, отмечал седьмое ноября, наутро так перепугался, что пустил, придя в себя, слезу и поцеловал руку у сестры, бабки Марьи Григорьевны. Она потом запястье спиртом оттирала с полчаса. А потом...

Доктор улыбнулся уголками губ и вытер свои усы.

— ... А потом был Новый год. Проводил гостей, допивал с охранником, отпустил его, чего раньше не делал, на пару часов к семье. И умер на своем дубовом паркете, лежа на спине, в одних трико с генеральскими лампасами. Диагноз: захлебнулся рвотными массами.

Доктор посмотрел Твистеру в глаза и протянул к нему руку, по-древнеримски. И закончил свою речь словами, которые напомнили нам, что его замечательные родители познакомились в Карагандинском лагере в начале пятидесятых.

— Так подкралась к этой суке хана! — жестко, по слогам, сказал он и махнул рукой, из которой вывалилась на постамент дымящаяся сигарета. Он не стал за ней нагибаться.



РОМАН

КОЛОКОЛ И БОЛОТО

*...В те дни, как всё везде в разгулье:
Политика и правосудье,
Ум, совесть и закон святой,
И логика пиры пируют,
На карты ставят век златой,
Судьбами смертных пунтируют,
Вселенну в трантелево гнут;
Как полюсы, меридианы,
Науки, музы, боги – пьяны,
Все скачут, пляшут и поют...
Г. Р. Державин «На счастье»*

*В одной знакомой улице –
Я помню старый дом,
С высокой тёмной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонёк, как звёздочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил...
Я. П. Полонский «Затворница»*

Глава первая.

Дождь и Большой Андрос

Пятьдесят лет тому назад, будучи от горшка два вершка, на берегу озера Кызыкуль, в тысяче верст на юго-восток от Потомска я впервые услышал о Болоте и Колоколе.

Услышал совершенно случайно, необязательно; мне и присниться тогда не могло, что заслуженном сибирском городе Потомске, городе университетском, мастерской всяческой науки и кладбище всевозможных талантов, я проживу уже сорок лет, все настойчивее (и обреченнее) мечтаю провести остаток жизни где-нибудь рядом с озером Кызыкуль.

Тогда я собирался жить на Марсе или, если не повезет, на Луне.

Наступил август, в тех краях месяц все еще могучего, знойного солнца — но уже пополам с увесистыми, затяжными дождями. И вот — то солнце выжигает накопившуюся воду, то прогретая земля борется с надоедливими дождями, не хочет и не успевает остывать. Ночи еще теплы, мы еще купаемся в озере, не думая о холодах. Озеро неглубокое, в нем мягкая, ласковая вода.

Енисей, несущийся в километрах западной озера, суров и беспощаден, и даже посреди лета в нем можно только окунуться у кромки берега. Но озера в южной Сибири, по обоим берегам этой Большой воды, не связаны ни с ней, ни с ее притоками. Их канцелярия не в заснеженных горах, а в самих солнечных небесах.

Озеро Кызыкуль — маленькое, уютное; с берегов в воду сбегает чистенький песочек и бежит до нестрашной глубины долго; по колено, по пояс человеку озерная вода — хорошо детям и тем, кто купается, как дети. В камышовых ресницах широкие просветы; дно заросло красно-бурыми водорослями, они вытягиваются до поверхности, щекочут пловцов и шелестят по дну лодок. Карасей видимо-невидимо, и множество их съедается ежедневно, обваланных в муке и целиком зажаренных в хворост на просторах сковородок, на открытом огне. И запиваются они травяным чаем из металлических, «геологических» кружек.

А вокруг, в разнолесье, — поляна за поляной с прославленной, необыкновенной — мелкой, но божественно ароматной —

земляничкой. Густейшее варенье, такое, что ягоды хрустят на зубах, курится вечерами в тазах на кирпичиках, и кирпичи эти сознательно привозятся из города и оберегаются их хозяевами, которые прячут их до следующей варки в палатках.

Какой дух стоит в это время над берегом, добираясь до рыбацкой лодки на середине озера! Но открой банку с этим вареньем через месяц, через год — и обомлеешь, и расцветешь, и зажужжишь пчелой, и вспомнишь тихий дымный вечер, и лица, и разговоры, и безумного бурундучка, который как нарочно примчался на запах варенья, сваренного из твоего первого в жизни ведерка дикой земляники.

И так хорошо на этом озере, что местные жители были уверены, что в нем хоть однажды да купался В. И. Ульянов. Шушенское-то — рукой подать! Может быть, но сие есть тайна. Ах, если бы он хоть однажды, оставив дома свое дорожное бельгийское ружье, сходил по эту землянику!

Но уж точно — не ходил. Нет сомнений.

На северном берегу озера располагался районный дом отдыха. Там отдыхали в основном премированные сельские труженики и немногие райцентровские служащие из низовых (начальники и председатели восстанавливали силы в других местах). Там поставили магазинчик сельпо, где можно было купить хлеб, папирсы, соль, спички, мыло, рыбные консервы, пряники, газировку, пиво и водку, а также носки, трусы, тапочки и панамы из непонятной белой фланели.

Южный берег озера принадлежал А-скому пединституту, раскинувшему здесь свой спортивно-оздоровительный лагерь. Спортом занимались отличившиеся на этом поприще студенты, а оздоравлились преподаватели пединститута и их семейные, включая кошек и собак.

Никакой роскоши: жили в палатках, питались в полевой столовой, готовили по очереди сами (в том смысле, что повариха была одна, командуя дежурными), дети чистили картошку и мыли в озере посуду, отчего в отведенном для того месте по расписанию собиралась противоестественная прорва озверевших карасей.

Связь с внешним миром надежная: «тарелка» в столовой, стенд с газетами пятидневной свежести, личные приемни-

ки-транзисторы — солидные «Спидолы» и ручные «Селги» и «Веги». Вечерами, перед сном, они бормотали, кряхтели и пели во всех палатках и перед палатками, перебивая друг друга и перемигиваясь зелеными огоньками, что наводило на передовые и благородные мысли о планете Земля.

Занятия: купание и много раз купание и загорание; футбол, волейбол, велосипед, жеманный бадминтон, вязание, рыбная ловля, грибы и земляника; чтение — журналы в очередь, Хемингуэй, научная фантастика, советская и зарубежная; особо — интеллигентное обсуждение книг, добыч, политических событий (например, Куба или Китай), прогнозы о ближайшем и далеком будущем человечества.

Пили, в отечественном смысле, мало, умеренно. Пили бы и больше, как привыкли дома. Но положение обязывало, распоясываться перед природой, начальством, студентами и чужими детьми было некрасиво и накладно. Правда, иногда мужчины уходили на целый день в лес, а возвращались с подозрительно полупустыми лукошками, как-то не по трудам уставшие. Но приличия были соблюдены, чего ж вам боле?

Институт был молодой, вешней посадки, собранный с бору по сосенке. Имелась в нем горсточка бывшей «пятьдесят восьмой». Эти люди были отлично образованы, но очень робки. Выйдя на волю и восстановившись в правах, пожилые страдальцы обнаруживали, что возвращаться им некуда и незачем — а в А. давали квартиры! Но большая часть институтских была сорокалетней и интеллигентной в первом поколении, происходя в основном из сельских куш, частично — из пролетарских семей маленьких сибирских городков. Кто-то уже успел защитить, кто-то, пыхтя, писал или дописывал диссертацию. И все очень ценили свое новое место в советской жизни.

Жили в лагере открыто, дружно, приветливо. Во всяком случае, так казалось детям, вольготно шнырявшим по палаткам и не знавшим отказа ни в чем реалистичном. В учебном году их родители, конечно, и ссорились, и выставляли локти, и интриговали, но летом озеро и дети мирили всех. Впрочем, это дружное житье-бытье взрослых еще и поддерживала коллективная мысль об их известной избранности и призванности, нерядовой образованности.

Они не догадывались о своей ограниченности и гордо носили свои «поплавки», и многие привозили их с собой сюда, в глушь, показать березам, цепляя их на спортивные рубашки.

Поэтому они с заметным чванством относились к обитателям дома отдыха, а те в отместку на ехидную вежливость вели себя грубо, невоспитанно, нарочно матерились в голос при неизбежных встречах на пороге магазинчика. Домовские даже попробовали однажды задираться на «поплавков», но поистине чудом нарвались на институтского физрука, мастера спорта по штанге, который, можно сказать, по-доброму, но закурял враз двоих «хаелов» под мостками до потери сознания. Однако же, при этом он, фронтовик, употребил, в свою очередь, такие мраморные выражения, что женщины-селянки визжали и гоготали от удовольствия.

Эти выражения запомнил наблюдавший битву Костя Андросов, и к вечеру того же дня все дети лагеря, включая пятилетнюю Анечку Жолнерович, повторяли их друг другу как стихи.

Тем хамам еще повезло. Если бы они атаковали отца Костику, Владимира Михайловича, Большого Андроса, легла бы им дорога в хирургическое отделение районной больницы. Или в морг. Так авторитетно говорили старшие мальчики в лагере.

Этот Большой Андрос проживал в соседней палатке. Жена его, Ия Серафимовна, преподавала русский язык. У них было трое сыновей, 13, 14 и 16 лет, Костик, Саня и Петя (они оздоравливались в лагере, живя в отдельной личной палатке, как в вольтере для хищной молодежи). А сам дядя Володя был слесарем на мехзаводе.

Ию Серафимовну уважали. Она написала диссертацию в 641 страницу. И жалели, потому что сыновья у нее росли хулиганами. А муж — совсем без образования и громила на вид. Вот и сыновья в него. Ия вышла, считали, за него замуж, за пожилого, по своей очкастой некрасоте, заждавшись суженого, не имея выбора. И все, кроме знавших его поближе женщин, подружек Ии, были с ним суховаты, полупобаиваясь-полупрезирая его. Хотя он был учтив и любил приятно поговорить. А — не с кем, «дворяне» отворачивались от него. Очень ему не хватало мужского общения, с бабами разве отведешь душу?

Он первоклассно играл на аккордеоне со вкусом отобранные лирические мелодии, но получалось, что «поплавки» этого как бы не замечали, не слышали. Подумаешь, гармонист! В общем, он был для них существо придаточное, муж Ии Серафимовны, «не наш».

И его такое положение отношений замыкало, огорчало, уязвляло. Меня, как и других детей, тоже. Уж я-то относился к нему с безмерным почитанием, с упоением внимал его аккордеону. Он сидел перед палаткой на стульчике, а я перед ним на корточках. Это была картиночка Пикассо: огромный Андрос, объемом в три взрослых тела, и я, малышок, первый гномик в садике, ростом с его колоссальную голень!

Я даже одевался, как он, то есть в любую погоду ходил в одних трусах и босиком. И ведь не простужался, зато загорел до косточек.

Дяде Володе было чуть за шестьдесят, но этот ровесник века воплощал в себе победу природы над временем. Разве что зубы у него были скверные и через одного на дырку. Росту в нем были полные два метра. Тело безмерное, мосластое, без капельки жира, безволосое — как каменное, и цветом напоминало плитняк разбросанных в степи скифских надгробий. Руки и ноги — сплошные циклопические мускулы — «банки», как тогда говорили. На правой руке отсутствовали два пальца, знак боевой биографии, но это никак не сказывалось на его виртуозной игре. Он как-то застенчиво сутулился, словно конфузился, что только подчеркивало его мощь.

Тело венчала маленькая, ерихонкой, головушка в прическе полубокс с плохо выбритым лицом в свежих и старых порезах и шрамах. Лицо было пунцовое, как будто разогревалось отдельно от туловища. На широком носу гнездились детского вида очки с толстыми треснутыми стеклышками, а сквозь стеклышки щурились крошечные, совсем слепые и какие-то розовые, как две редиски, глазки.

Презренный зоолог Павел Павлович, находясь далеко за его спиной, называл его марабу или грифом. Нам, детям, очень хотелось донести на него Большому Андросу и посмотреть, как, взлетая в воздух и суча пухлыми ножками, Павел Павлович из-

даст жалкие вопли типа: «Что вы себе позволяете?! Я старший преподаватель пединститута!! Я требую: немедленно опустите меня на землю!!!»

Желательно, чтобы в этот момент из его атласных трусов выпала какашка, как однажды у Вовочки Азольского.

До сих пор жалею, что мы побоялись устроить такой французский праздник.

Каждое, самое осторожное движение, каждый жест Большого Андроса меняли качество окружающего пространства. Было ощущение, что Андрос его подвигал, сминал и завихрял.

А вот дети, младшие Андросы, выросли молодыми и очень многообещающими поганцами. Пакостливы были они безгранично, прямо-таки, беззаветно. Они были мясистые, щекастые, огневые и дружные, как трехголовое зло, что не мешало им от полноты, от радости жизни давать между вылазками друг другу в челюсть, пинать друг друга в зад и вставлять квача и обливать друг друга водой в сортирной беззащитности.

Ох, не любили они, просто не могли скучать!

Нет, дядя Володя их воспитывал — и сурово. Они его боялись и слушались. Но только пока его видели. В его отсутствие энергия разрушения, вопившая в них, тушила страх и искреннее сыновье почтение. Их небольшой разум туманился.

(А мать была для них смешной училкой, которую можно и нужно жалеть, уважать, однако помня, что ум у нее птичий.)

И энергия брала верх. Их было трое, и они неизбежно, по очереди, подначивали друг друга на «слабо», и они выкидывали свои фортели и потом честно сожалели — ух, занесло, эх, само получилось, и снова выходили на тропу команчей.

Они выросли на улице рядом с областным ипподромом, в месте, перед которым какая-нибудь Хитровка — холодная классика жанра!

Отец стыдился и страдал. Что, в частности, и стало первой и основной причиной тому, что в одно росистое утро он посвятил меня в тайны своей жизни.

Младшие Андросы публично, «с громом», жгли «фуню» и делали кроткому сыну проректора Константинова «велосипед», засовывая ему спящему между пальцев ног бумажные жгуты и

поджигая их. Подглядывали в палатки спортсменов и нашептывали им ночью, секретно засунув голову под полог палатки, самые пылкие из неприличных слов, запускали туда ящериц и додумались даже забросить туда суслика, которого они не поленились вылить из норки и притащить за два километра в лагерь.

Недовольство копилось, и народ не безмолвствовал.

Первая буря грянула над ними, когда двое старших подговорили младшего прокрасться на лесную тренировочную тропу бегунов и в подходящий миг снять трусы перед Машей Коноваленко, красивой надменной девушкой, любительницей поэзии Асадова и Щипачева.

Спортсмены приволокли братьев к начальнику лагеря. Тот вызвал дядю Володю. Прозвучал ультиматум.

При виде отца они сделались покорны. Большой Андрос надавал им по мордАм. Они падали, как на расстреле, и вставали за добавкой.

Потом отец загнал их на верхушку старой березы в середине лагеря. Зрителей собралось много, и отомщаемые смеялись. Разгневанный Андрос стал вращать березу, как веретено, она трещала и стонала, роняя листья и ветки. Младшие Андросы чертили небо срывающимися ногами, полчаса молча, затем рыдая. А Ия Серафимовна стояла в толпе и кивала, кивала головой.

Их тошнило. Отец был неумоим. Еще полчаса — и береза взорвалась, переломившись точно в поясице. Руки Андросов превратились в крылья. Они падали, как показалось зрителям, долго и красиво.

И брякнулись на траву, дружно вывихнув по лодыжке.

Такая родительская самоотверженность растрогает самого черствого. Она вызвала уважение. Такое наказание представлялось сполна убедительным.

Андросов оставили в лагере, наговорив родителям нужные и язвительные слова про «до последней выходки» и про то, что «в семье педагога высшей школы дети должны быть образцом для других детей, а не наоборот», и что «это, по сути, тема для партийного собрания».

Мама запомнила: когда, учтиво выслушав упреки, Андрос снял очки, чтобы протереть мутные соленые стекла, продолжая смо-

треть на обвинителей уже, так сказать, голыми редисками, прокуратура немедленно осеклась и хором промямлила: «ну, ладно, ладно». И все разошлись, оглядываясь на сломанную березу.

Вечером дядя Володя выкопал ее, в две ходки вынес за лагерь ее половинки, а потом засыпал яму и заровнял потревоженное место.

Младшие Андросы несказанно притихли и являли собой ходячие аллегии раскаяния и смирения, такие за душу берущие, что матерая лагерница доцент Дудкина принесла им назавтра кулек шоколадных конфет «Весна» и зачем-то бутылку пива «Шахтерского», которого они так и не испробовали, разбив бутылку в пантомиме немой борьбы за право обладать ею в своей палатке. Костик и попытался вылакать уходящую в песок лужицу, но Петя тут же помочился в нее, чем все и закончилось.

А вскоре, с началом августа, зарядил долгий, многодневный дождь. Это была подлая провокация. И затосковавшие Андросята в сумерки и, может быть, с опережающим раскаянием, украли с кухни, открыв гвоздиком нехитрый замок, здоровенный кусок говядины, свежайшей убоины, закупленной с помощью византийской дипломатии в соседней деревне Каныгиной. Под проливным дождем они утащили его в лес, сварили и съели, по паре килограммов на брюхо, позеленевши от такого объедения.

И как же больные лодыжки их не остановили?

И как же они сумели развести костер среди воды и мрака?

Ответ на первый вопрос: воля, и еще раз воля.

Ответ на второй вопрос: а заготовили загодя дрова, подсушили; нашли добротный кусок брезента. А бензин слили из мотороллера доцента Боргоякова.

Уличены они были наутро. В шесть ноль-ноль в столовой закричала повариха, в шесть десять Андросов застали за тайным завтраком-оргией, когда они доедали остатки и допивали из котла крепкий, убитый лавровым листом бульон.

Отцу решили не сообщать во избежание вполне возможного сыноубийства. Вызвали из палатки Ию Серафимовну, обреченно-неудивленную, покорили ее, посоветовались — и на институтской машине отправили мальчиков домой, жить на каше и плодах огорода, призреваемого соседями. Эти прокормятся, сказала Ия Серафимовна, не решаясь давать им какие-то день-

ги (пропьют, как пить дать!). Погубят дом, добавила она. А мы с Володей останемся. Черт с ним, с домом! А мы останемся!

Большой Андрос, узнавши о свершенном через безопасный час, согласился, что не оповещать его было разумно, застонал и согласился с женой. Остаемся, надо же хоть на неделю в году перевести дух. Их поняли, очень хорошо поняли.

Потом Андрос несколько дней искал по деревьям мясо — и нашел с большими приключениями. В те времена найти мясо в деревне было подвигом.

Настроение у него было плохое. Он выходил из палатки исключительно на обед, пропуская и завтрак, и ужин. Слышно было, как вздыхает затемно под музыку и всякую жизнерадостность из «Спидолы» Ия Серафимовна.

Дождь лил и лил без запинки, и молчал аккордеон.

Дождь, очень щедрый, очень плотный, продолжался монотонно, безостановочно почти четыре дня. Палатки набухли и посерели, как ветхие избы, вокруг них прорыли канавки, но вода, растекаясь по вспученному дерну, нет-нет и заползала в них, и ее выгоняли вениками из лопухов. Веники эти быстро выходили из строя, и скоро в округе лопухов не осталось.

Время от времени по полосатому дождевому полотну пробегал крепкий ветер, струи ломались, превращаясь в клубящуюся седую пыль, ровный ропот дождя смешивался с прерывистым струнным воем. Это видели и слышали все те, кто сидел под навесом в столовой, читая или играя в шахматы (в карты играть было неприлично), или выпивая от нечего делать очередную кружку чая. Иные лежали в темных палатках, слушали дождь и читали, пока в батарейках фонариков не кончался заряд. Потом те и другие в порядке добровольной гармонии менялись местами.

А спали все отлично.

Грозы так и не дождалось. Зато на совесть, на полные ноздри, пахло мокрой травой, и сам этот запах вызывал, как водится, странное, древнее и приятное чувство близости всего живого всему живому. И преподаватель древней истории Калишевский выразился так: я понял, что наши далекие предки всей душой любили дождь. «Если им было что пожрать, — добавил-возразил неприятный Павел Павлович, — если они не дурели от голода».

И было сыро, воздух был вязок, но холодно не было. И снова спали отлично, после привычных уже разговоров вполголоса. И никто не роптал.

И вот настало утро, когда я проснулся от тишины и робкого, осторожного таракшенья сорок. Я выбежал в одних трусиках из палатки на яркий золотой свет, на стеснительный пушистый ветерок и, не задумываясь, помчался на озеро. О, я был пока одинок, и я понял, что смогу похвастаться, что я первым искупался после великого дождя. И. чтоб меня никто не опередил, я закричал: «Дождь кончился! Солнце-е-е!», уже забегая в воду.

Но закричал во весь голос, по-честному.

Озеро осталось таким же теплым, каким запомнилось. Мальки разбегались у меня под ногами, озеро приветливо дышало. Солнечный свет раскрашивал его воды в свежий, пузырящийся, электрический лимонад. Я доплыл до плотика, заякоренного на взрослой глубине, уселся на нем и увидел, что на небе нет ни одного облачка, зато видимо-невидимо птиц, а прямо над мной две вороны обстоятельно, со знанием дела треплют, гоня на север, перетрусившего кобчика.

И вдруг я услышал голос аккордеона.

Там, за полоской худеньких кленов, с их светящейся листвой, проснулся Большой Андрос, надел очки, подтянул трусы, вынес свой раскладной стульчик и установил его перед палаткой, вернулся за инструментом, взял его, вернулся на свежий воздух, сел, широко расставив свои каменные ноги, понарошку поплевал на пальцы — и потянул аккордеон за уши, наклонив к нему свою ерихонку со слипшимся чубчиком.

Я бросился обратно, летя над водой и землей.

У своей палатки сидел на раскладном стульчике, расставив свои каменные ноги, Большой Андрос, минорно наклонив голову и наполняя округу звуками задумчивого вальса «Осенний сон».

Все искрилось вокруг, и было чистое эхо, словно мокрый лес вместе с озером по мере сил подпевали аккордеону.

Я подбежал к Большому Андросу и сел перед ним на корточках, и напротив моих глаз сходилось и расходилось черно-белое домино вещей мехов аккордеона.

Завидев меня, дядя Володя лестно улыбнулся. И было по-

нятно, что он отводит измученную душу, что вид и акустика окружающего мира несут ему облегчение. И в этом можно усмотреть вторую причину его созревающей передо мной откровенности.

И он играл, запускал, подвешивал в пространство вальс за вальсом — и «Березку», и «Амурские волны», и «На сопках Маньчжурии», и «Орхидею».

Никто не выходил из палаток — проснувшиеся люди задерживались в них, может быть, потому, что не хотели мелкими бытовыми движениями нарушить данное очарование. Уверенно чувствовалось, как невидимые тихие люди, и мама, и Ия Серафимовна, и другие, слушают в брезентовом сумраке эти печально-светлые вальсы, нарочито сочиненные грустными, одинокими и, наверное, пьющими горькую капельмейстерами военных оркестров для исполнения под небесами, над реками, посреди садов, рощ и лесов на бескрайнем российском просторе.

Наконец наигрался Большой Андрос, сдвинул меха и положил на аккордеон свои ручищи с еще поддрагивающими пальцами.

— Что? Теперь все нормально? — спросил я его. — Успокоились маленько? Перестали расстраиваться?

— А-а-а, утлая эта жисть, — махнул он рукой, — а легче, легче стало.

Он выпрямился, и окоем выстроился вокруг его ерихонки.

— Вон как хорошо сегодня, сейчас. Люблю здешнюю природу. Если подумать, ради нее и застрял тут до гроба, терплю... А так — удрал бы на родину, домой смылился бы.

Задумался, потрогал очки.

— Но нельзя мне туда, да и не та она уже, очужела, наверное. В любое другое место, хоть в Москву, не хочу — а домой нельзя... Такая хреновина жизни. Тоскую я, друг.

— А где ваша родина, дядя Володя? — спросил я, коль заказано.

Он не сразу ответил про родину, но взор его уже мемуарно затуманился. Он внимательно посмотрел на меня, словно поставил себе на ладонь, и сказал, словно выигрывая время, предварительно:

— Неужели и ты, такой махонький, когда-нибудь будешь таким же паршивцем?.. Нет, не верю. Ты дома растешь, как фи-

кус в кадке... Сухой лиственень горит, да не дымит... (Задумался.) Хотя... вообще-то маленькие — они часто по-своему очень даже говнистые. (Оживился.) К примеру, парторг у нас в цеху — вонюч клоп! Иной раз ну голову бы ему оторвал!

— Не буду я на букву «г», — возразил я, — не хочу потому что.

— Не хочет он, — усмехнулся Андрос, — а они как будто бы хотят? Так оно складывается — без нас, на самом деле. Кто-то рождается дома, а кто-то в гостях, неожидано неожиданным. И всякий кулик свое болото хвалит...

И вдруг замолчал, будто пораженный внезапным открытием.

— А я, — с удивлением сказал он, — родился и вырос на Болоте, и был на нем не кулик, а настоящий последний на нем баклан... Смотри-ка ты, как совпало, то и се?

— Не понимаю, — озадачился я, — какое болото? И почему баклан? Это же плохое слово! Так обзывают глупых людей.

Андрос посмотрел на меня с жалостью.

— Сейчас — да, шпанка всякая, безмозглая. Потому что народ испортился. А тогда у нас в Потомске баклан был уважаемый человек, соль земли!

(И потекли странные речи. Во-первых, они достойны были моей ничем и никем недовольной бабушки, темной, необразованной. Наоборот же, факт, что люди сегодня в СССР лучше и умнее, чем когда-либо и где-либо. Но недоумение мое Большой Андрос не рассеял, и чем дальше, тем больше усугублял. Во-вторых, он, такой мудрый и старый, явно что-то привирал, выдавая желаемое за действительное.)

Он рассказывал, сбиваясь с пятого на десятое — потому что хлынуло, и как будто загремели некие ключи, и следом отворились со скрипом, с лязгом заплесневелые двери в подвал времени, темный, пыльный, и оттуда, изнутри, истемна, кто-то на тебя посмотрел, и, может быть, угрожающе.

Есть в Западной Сибири заслуженный город Потомск, он же некогда Ветропыльск, он же Ямонагорск, а для избранных — Университетск. А в нем, в самой «середке» города, есть местность, «слободка», под названием Болото.

Люди там стали селиться, между речкой и острожной горой, под крепостной защитой, когда в остроге потеснелось, а потеснелось

в считанные годы — на Руси не отдымила еще Смута. Местность получалась закрытая, запертая, и богачам там было делать нечего — почва сырая, в двух рядах домов из трех не рыли погребов, не заводили подвалов. Заливала бы их ржавая, кислая вода.

Город рос, разбегался, превратился в губернский, «а у нас все как при прадедах было, жили мы своей республикой, не стеснясь». Дома деревянные, две бани на всех над речкой, удобства понятные.

Народец там осел «простой, ответственный», при обозах, при железке, на реке работали — приказчики, сторожа, грузчики, экспедиторы. Порода сложилась. «Языком не шлепали, а чай пили хороший, шаровой».

К рождению Большого Андроса болото превратилось в веселое, гульливое место с вертепами и драками и т. п. Городская нечисть сюда, конечно, налетала, но здесь, уверял дядя Володя, вела-де себя аккуратно: «кобылка» здесь не правила, жиганы оглядывались. «Правили мы сами, здоровые ребята, а кобылку гоняли. А если болотные квартиранты, «ремесло» разное, нищета наезжая, плотники с Руси и шумели — так с удовольствием! Бились с ними по правилам, не убивали. Бывало, калечили, дело заводное, но никто не жаловался. Держали порядок».

Тут Большой Андрос поведал историю, не вполне подтверждающую его генеральную идею. В войну, перед февральской революцией веселое беспокойство Болота сменилось на тревожное. Разгулялась солдатня, осмелела шпана, многие маститые мужчины Болота еще не вернулись. Многие и вовсе где-то там погибли. Тогда вся боевая наличность слободы сошлась на Костровом месте на берегу Ишайки и порешила устроить дружинную самооборону. Вышли одни, с гармониями и частушками, к ним присоединились другие, всех иродов поразогнали, пустили им юшку. Заскучали, примерзли — раздобылись запретным спиртным. Попели, для разгона крови потолкались меж собой, снова попели, стали будить соседей — а на Болоте, брат ты мой, все соседи! — знайте, граждане, мы не дремлем! Охраняем ваш покой!

Всю ночь не сомкнули глаз обитатели Болота, последними словами проклиная своих спасителей. И горластые бабки победили: больше таких фейерверков здесь не устраивали. «А и не надо уже было — враг был проучен».

«Ходили чисты, опрятны, грязнень презирали (в это и тогда мне почему-то верилось с трудом, а потом, по знакомству, просто не верилось). Гармонь в почете, а я до аккордеона взошел». Картуз носили все, от писунов до древнейших дедов. Уже в стране, от Москвы до самых до окраин, забросили картузы — а на Болоте держали мужское достоинство, носили, шили новые, летние и зимние. Шпана до сих пор носит свои шестиклинки, но позорные они. «А я последний свой картуз снял, зимний, сжег его на костре, когда пришлось Болото покидать, в середине четвертого десятка лет».

«Раньше, до меня, в городе войнишки были — рукопашные побоища стенка на стенку. Дрались слобода на слободу, в разных местах, и рядом, на Исаевой мельнице, на Кузнечном взвозе, и с татарами, и с кузнецами сверху, с Белого озера. Дед бился, отец бился как лучшие. И были они бакланы — бойцы из трактирных резиденций, уважаемые люди. И я был баклан — самый последний. За мной — никого».

Андрос подрос, когда войнишки уже притихли, ужались, ушли под крышу, в заведения. Сидели там, беседовали, дрались на спор, деньги зарабатывали.

Большой Андрос бился с пятнадцати лет, еще при царе — и тогда на эту забаву приходил полюбоваться сам помощник пристава Корольков, здоровенный лось.

Пришла новая власть. Милиция присмотрелась — и стала надоедать. Стала хулиганство шить! Дожили! «А я без спросу ни одного глаза не подбил, не то что там ребро сломать...»

«Милиционеры-то из пришлых, из чужих явились местностей, даже и не потомские — деревня одна. И у нас на Болоте, на Загорной, насажали бараков, поселили туда приезжих — одни чужаки, читатели газеток, доносчики. Конечно, и прежде селились, и бухтились поначалу, но раньше или позже Болото всех остругивало, приводило в чувство. А тут дело подзатынулось... И главный враг мой, милиционер, из этих новичков был, жил он в соседнем доме, конфискованном».

И время выгнало Большого Андроса с Болота, потому что, видно, надолго или навсегда кончалось само Болото. «Какое же оно сейчас?»

Дело было в конце декабря (как я потом выяснил) 1934 года. Милиционер Василий был карьерист, и, в частности, задумывался, не ускорить ли свой курс в начальство за счет Володеньки Андросова. «И до того приставал: «Присматриваюсь, не агент ли ты троцкистско-фашистский?» Я терпел, чуя, что ветер нынче с зубами, кусается. А кулаки карманы рвут...»

— Вы же не были шпионом, дядя Володя?

— Спрашиваешь!

— Что?! Были?! (.....)

— Дурак ты, брат! Не был, конечно. Я был за Расею ответчик. И тут-то и грянула судьбоносная история — с Колоколом.

Над Болотом, на Горе стояла церковь, а рядом с ней — большой колокол. Благовест. И новая власть решила его снять и уничтожить, как позорный шиш суеверия. А восставил его в год Володенькиного рождения свой, болотненский купец. Обычно, прибогатева, съезжали на Большую, на Миллионную улицы, в центр, а этот умер на Болоте, уважаемый. Колокол нам не чужой.

«И вот — снимать его и ломать. Целиком не увезти, тяжелый. Прибежал Васька к нам: вы здоровенные, давай помогай разбивать-грузить».

— А вы в Бо-о-о-га верили?

— Крещен, конечно, — поморщился дядя Володя, — в детстве в ту церкву ходил, а потом отбился. Но чтобы верующий — не скажу. И какая нынче вера, с Гагариным?

Тут вопрос топорщился в принципе в том, что людей забыли уважать, что там кулаком и нахрапом и здесь. Отказались Андрос и его товарищи помогать в нехорошем чужом пиру. Что дальше было и кто рындам помогал, Андросов не знает. Потому что Васька принялся его материть, подпрыгнул и сорвал с него картуз, бросив его на снег. «Вот, значит, какая я власть, что могу. И не пикнешь».

«Как это не пикнешь?»

«Ну, и свернул я ему скулу и циммерманы помял. Искалечил. И пришлось мне удирать оттуда досюда. Забежал домой, забрал вещички, сжег по дороге картуз, надел трех дурацкий — и драгнах остен. Когда взбегал к Обрубку, оглянулся — висел еще Колокол... Снилось, снилось мне до самой войны родное Болото!»

— А он жив остался? — спросил я, разглядывая преступные руки Большого Андроса.

— Откуда я знаю, — хладнокровно ответил он, заметно остывая, сожалея, что вдохновение занесло его в такие подробности, что как бы чего не вышло, — меня не нашли, поди, живет, если на войне не убили.

— А что такое циммерманы?

И тут раздался пионерский горн, зовущий на завтрак. И дядя Володя отрезвел совсем, вытер губы и нырнул в палатку — одеваться.

Вечером старшие Андросы все-таки уехали в город. Потому что в дом отдыха позвонили, и оттуда прибыл на лодке гонец с известием, что милые дети дожидаются родителей в отделении милиции, без нужды выбив стекла в обоих окнах кабинета заведующего областным ипподромом.

Не имея такой привычки, я не стал делиться услышанным с мамой. Через день, не видя Большого Андроса, я напрочь забыл этот пугающий рассказ (и вспомнил, когда через годы спустился с Обруба вниз и услышал: Болото...). Слыхали мы всякое. Герой Гражданской Михаил Емельянович вообще сочинил, что он встретился в лесу с чертом, предложил тому понюхать дуло и выстрелил ему в нос. И черт растворился в воздухе. И мой отец сказал тогда, что на старости лет многие врут, как сивые мерины.

Я встречался с Большим Андросом и через два, и через четыре года, пока он не умер, и ни разу не вспомнил про тот разговор. А он, интересно, вспоминал ли?

Глава вторая.

Нечто о городе Потомске

Первейшие сибирские города не вокруг вольных погостов — торговых перекрестков вырастали, не лепились около монастырей. Их ставили на новом месте, в чистых дебрях, как военные общежития, за лето, с обыденным храмом, согласно выверенному опытом условию: на слиянии главной реки, окормляющей здешний край, с ее притоком ищите на правом берегу холм — «гору» (а на левобережье и не может быть горы), и чтобы там

били ключи, «залогом живота». За год до новоселья валяли достаточно сосен, чтобы успели они просохнуть — и всегда имелась опаска, что сосны эти растащат или сожгут недовольные туземцы. Поэтому место охранялось, а туземцы обольщались. Впрочем, потом, спохватившись, они не раз и не два атаковали и поджигали, если позволяли силы, уже готовый казачий продукт — острог-крепость.

Если острог выживал, укрепляясь обрубками, когда склоны срезали и обшивали частоколом, он потихоньку превращался в город, расплзаясь от защищенной горы по низинам, взбираясь на новые горы, уже не знавшие крепостных стен. Начиналась мерная жизнь по обывательскому расписанию.

Сегодня мы говорим «город-ить», «огород-ить», имея в виду нечто построенное в массовом или частном порядке, как отнятое у природы и чужих, имеющее внутреннее защищенное пространство, «наше» или «мое». Внешняя примета, материально выразительная — стена, забор, тын-частокол — категорически препятствует профанной свободе передвижения чужого человека (для своего есть ворота), которому теперь недостаточно придумывать методику физического преодоления препятствия, ибо стена эта еще и умеет обороняться стрелами, выстрелами из пищали, камнями, кипящей смолой, «вяще огрызается».

Внутренняя примета — за этими стенами организуется новая и весьма экспансивная, как таежный пожар, как наводнение, деятельность, зловещая, хищная к округе и высокомерная. И звуки била, а затем наконец-то привезенного колокола регулярно напоминают туземцам и туземным зверям о том, что эти новые времена могут стать для них последними.

Ведь что такое новое — это когда кто-то явился как первый, а кто-то понурился как последний.

Но я хочу сказать, что исходно на Руси слова «город» и «гора» явно ощущались как однокоренные, и вначале была гора, даже Гора.

Нет горы — и городить не приходится.

С другой стороны, русские первопроходцы, за полвека великолепно раскатившиеся на своих кочах до Восточного океана, такое ли великое экзотическое напряжение и затруднение испытывали, как иной раз говорится, впадая в некий классицистический пафос?

И да, — учитывая незнаемость и опасность безумно долгих маршрутов, — и нет.

Разве легко, с киселями и пряниками, жила Русь при Иване, Федоре, Борисе, в Смуту? Разве не привычны были люди к голоду и лиху, не боялись уже тишины, не жили на авось, не рвали себе жилы в том прежнем своем, в крови и саже, Доме с распаханутыми настезь сеньями, так что и не протопишь?

Так ли велика была разница между той, оставляемой и расширяемой в этом оставлении Русью — и этой новооткрытой Сибирью, с ее хладом, самоедами и тюрками, с ее рельефами и прочим? Той деревянной и этой деревянной?

Нет удивления в тех старых текстах, нет распаханутых глаз и открытого рта — есть одна деловщизна.

С тюрками, с уграми, с самоедью жили и до того рядом, и по-хорошему и по-плохому, уже вторую тысячу лет, смешиваясь в общих словах, в глухих лесах-чащобах, еще частично переводя их на пашни, пели о лесах с уважением и знали, как в них жить, забывая степное прошлое, и общий языческий голос звучал во всех — и в русских, и в тюрках, и в мордве.

Конечно, на старой Руси протоптали много дорог и шляхов, стала она заметно сухопутной не только на полуничейном юге. Но и реки никуда не делись, не потеряли первородства, и были они по-прежнему главными артериями цивилизации — о, лады, струги и кочи! — и воспевались реки, становясь и много позже образами целых эпох. Скажи только «Волга», скажи «Яик». И где еще, кроме России, реку можно было переименовать, как Яик в Урал, по симпатическим соображениям?

Кто-то усмотрит многозначительную разницу в том, что на Руси великие реки текут на юг, а в Сибири стремятся на север, и жить, развиваться приходится против течения.

Но расширяясь в оное время на север и северо-восток, русские узнали и Двину с Сухоной, и Мезень, и Печору, бегущие в Студеное море, и назвались там поморами — лучшим отрядом народа.

И многим ли отличаются казаки, в сердцеvine своей северяне, архангелогородцы, каргопольцы, устюжане по облику и

судьбе своей от той «ярой суждали», «американцев» десятого-двенадцатого веков, что вгрызались в дикие северные дебри, создавая там ржаное царство, а дальше и царство ячменное?

И многое ли изменилось инструментально? Появились пороховые пищали да водка... и все, пожалуй. И стали пищали в Сибири надбавкой за огромность просторов, в связи с которыми не успевали подвозить для них порох в малочисленные гарнизоны. Тут выходит доля за долю.

Здесь важнее, видно, то, что прежняя Русь была уже исхожена, обжита, знаема, подустала от самой себя. От своей бесталанности, скажем по-татарски. (Шли в Сибирь, а слово угорское и татарское уже знали, тьма этих слов вихрилась в словаре.)

И, идя в Сибирь, русские словно возвращались в свое не такое уж и давнее прошлое, с его дремучестью, безлюдьем, мехами и дичью, и встречами с чужими богами, и, ставя остроги, вспоминали свои городки, которые вчера рубили в немых дебрях среди чуди, веси и мери.

И получается, что великое продвижение на Восток, на новые земли и за свежей добычей, было возвращением к себе, к своей юности, «дежавю», было выражением кольцеобразности времени. Время закругляется в просторах, замирает в них.

Много, много позже появится штампованная фраза «сибирский характер», изношенная до потери подошвы, часто-часто звучавшая как лукавая похвала алчного хозяина простодушному батраку. Но, может быть, правы те сибирянолюбы, которые, взирая на нынешний упадок всего и вся в русском человеке, считают, что если Господь и разрешит в онный час возродиться России, то только на том, что Сибирь для нее сберегла?

Первые остроги, после тобольского предисловия, рассыпались по сибирским северам в видах добычи пушного ясака у вполне незащитного населения, с которым можно было веско договориться о сотрудничестве. Тут была монополия. Великие реки Обь и Енисей в тех краях уже вровень с плоскими берегами, кругом озера и болота. Редкие ангелы, пролетавшие над теми низменностями и равнинами, видели внизу больше синего, водяного, чем земного, лесного.

Многие из тех острогов зачахнут, какие-то вовсе умрут сами, истратив свою надобность. Померкнет славный Енисейск, зато рядом вырастет огромный Красноярск, ныне град фонтанирующий!

Когда возникла жгучая потребность в новом ясаке — нефти и газе, — в местах их добычи так же просыпалась новая семейка городов, а то и воскресли агонизирующие старые, как с избытком проснулся Сургут. У этих городов странные, непрочные, газетные имена, и как их ни благоустройвай, ни украшай, невидимая барачность витает над ними. И иные ханты, селькупы или ненцы замшело, как когда-то в семнадцатом веке, не соображаясь с тупостью нашего времени, устало грезят: придет наше время, и Кэристок заберет к себе своих людей, а все это железо и бетон — вышки, дома, махины, бочки, мерзость трубопроводов — поглотится землей, мешая, наверно, продвигаться в ее толще подземным ходакам-мамонтам. И зарастут, затянутся раны от вездеходов, нанесенные нежному телу тундры. И наступит отрадная тишина.

Город же Потомск не агонизировал никогда. Он мог погибнуть, в отличие от северных предшественников, в самом начале своей карьеры, но неким чудом спасся, пережил две эпохи неоднозначного подъема и две эпохи неоднозначного упадка, и всегда был, что называется, с лицом и репутацией, что немногим городам дано.

Роль Потомскому острогу, возведенному на правобережной горе при слиянии реки Потома и речки Ишайки, отводилась особая. Его задумали царь Борис и дьяк Нечай Федоров — нашелся и местный князь-подсказчик — и задумали как «окно в Азию», и ставили его в полосе контакта со Степью, рядом с древними торговыми путями в надежде подключения к ним. Тут уже пахло дипломатией, миссией — и опасностью, потому что юго-восточное его расположение могло осердить (и осердило, как увидим) конное сообщество Южной Сибири. Тем более, ясачных задач никто с него не снимал, а ведь здесь ясак уже брали веками прежние гегемоны. И как же при таком раскладе «ногою твердой встать над Степью»?

Пройдет время, и оправдается замысел несчастного Бориса — город подыметься на извозе, на чае, как на дрожжах, и в гербе его будет скачущая белая лошадь в зеленом поле.

(В новейшее время, восстанавливая старую геральдику, будут эту лошадь поначалу, из оптимистических мотивов, изображать с поднятым хвостом, уже забывши, что хвост жеребец задирает в двух ситуациях — когда испражняется и когда лезет на кобылу. Ныне, после деликатных подсказок потомских татар, эта досадная оплошность исправлена, и хвост опущен.)

И неумолимо вспоминается блистательный Санкт-Петербург, основанный, к слову, веком позже Потомска. Потому что в некотором роде в судьбе Потомска политическая мысль также возобладала над императивами природы, и присущ был городу сродный налет идеализма, приобретающий иногда прямо-таки беспощадный характер. Заметим, что он был возведен не на матери-реке края, Оби, а на ее притоке — но это, положим, оправдано тем, что берега Оби здесь негодные для фортеции, блинные, ненадежные, а угрозы — вот они, пышут злобою, и ежедневно.

Гора была найдена единственная и на Потоме.

Но оказалось, что Потомы — река очень своенравная, склонная по причине горного происхождения и снежного местного изобилия дыбиться и выбрасываться, «как зверь, остервенясь», из своих берегов. А местность вокруг горы и без того полна топких низин. А превращаясь в город, Потомск охватывал Пески, Уржатку, Болото, Заисточье, Заозерье — и все эти его слободы через два года на третий заливались и заливались вешней водой... И это длилось три века, и длилось бы до сих пор, если бы Потомы, по циклическому сюжету природы и при некотором человеческом участии, не обмелела, потеряв свои «хрустальные грации», о которых восклицал сосланный в Потомск декабрист, истово купавшийся в ней с апреля по ноябрь.

И вот почему богатый и форсистый во всем другом губернский город Потомск заслуженно считался самым неухоженным, занавоженным городом Сибири, позже других городов освоившим канализацию, электричество и прочие блага цивилизации. И, соответственно, нелестно выглядел в отзывах авторитетных путешественников. И если печатали о нем раз в год заметки в столичных газетах, то в них рассказывалось о том, что на его улицах в глубоких грязных лужах тонут люди и даже лошади.

Весь городской бюджет уходил на борьбу с водой — на возведение дамб, укрепление берегов, рытье рвов и канав и прочую восстановительность. И все не хватало, и какие тут «граниты». И наводнения шли чередой, и были они такие шкодливые, что потомцы, качая головами, говорили про каждое ближайшее: «такого еще не было», и сам черт не разберет, какое же на самом деле оказалось страшнейшим.

И, конечно же, вечная неухоженность города накладывала свою печать на гигиену, на нравы потомцев, и именно в связи с Потомском родилась присказка: «Сибиряки так привыкли к зловонию, что чистый воздух для них был бы вреден».

Но интересно и то, что, несмотря на отсутствие гранитов, Потомск развивался в некотором подобии с Санкт-Петербургом как город интеллигентный, как город, где говорят по-русски лучше, чем где-либо. На это были свои, в том числе и грустные причины. Но об этом после.

Жизнь народа, государства, города всегда есть разжатие умо-зрительно постигаемой пружины, и если время встречно давит на эту пружину, она мстительно ждет своего часа и разжимается снова, и прошлое начинает уже отряхиваться в настоящем. Мудрец из прошлого, не читавший Гегеля, сказал: «Не стоит заклинать прошлое — оно лучше нас знает, когда ему вернуться, и сердится, коли мы им пренебрегаем или торгуемся с ним. В целом оно нас хранит, но в частностях — настигает».

Великую роль в судьбе Потомска сыграло событие, большинству его обитателей неизвестное, забвенное, из заднего, зашитого временем кармана истории: карусель с кыргызским посольством осенью 1606 года.

Оно удостоено всего-то двух или трех предложений в подъяческой «скаске» или пары абзацев в трудах местных историков советского времени. Данные историки, по своей умственной сухощавости, подчиненные заданной идее, не придали тому событию серьезного значения, видя в нем наивный анекдот. Им важнее было оценить, как складывался товарооборот, рассказать о классовой борьбе — о том, как рядовые казаки бунтовали против мироедов-воевод, взыскав хлеба, соли и человеческих прав; немало сил и внимания уделяли они нужному вопросу о местоположении острога и его конкретному обустройству.

Все это хорошо, все это необходимо — и все это, меняя цифры и даты, можно поведать и о прочих острогах Сибири. А скандал — физиономичен, он сугубо принадлежит Потомску.

Нелестные подробности скандала, что привел к многолетней череде набегов и едва не загубил город в зародыше, с его миссией, как уже было сказано, скудны, детали густо покрыты пылью в официальной хронографии как «бумаге неподлежащие». Зато они выпукло, даже красочно представлены в устных преданиях кыргызов и их потомков (что живут вроде бы отдаленно, на юго-восток отселе; упомянутое озеро Кызыкуль лежит в их тогдашних землях) — в горстях прозаических баек, в остроумных тахпахтах.

И никакие типичные гиперболы и идеализация «наших», то есть кыргызов, присущие народному слову, не мешают увидеть вполне правдоподобные, достоверные подробности происшедшего. Степная память в очередной раз показала свою мощь, свои преимущества, она не знает цензуры и политической конъюнктуры.

«Ибо юрта краснеет от лжи». Загорается.

Это надежно: Номчи-мерген роди Ешея, Ешей роди Еренака, Еренак-кашка роди Шапа...

Итак, Потомск призван был связать державу Белого царя с Минским Китаем и Монгольским миром. А для этого, согласно диалектике и вопреки пословице «Насильно мил не будешь», стать форпостом в отхватывании у Китая и Монголов порядочного лоскута вассальных территорий с живущими на них «инородцами». Задача, достойная нашей эпохи, когда во имя защиты прав человека приходится жертвовать правами и жизнью целых народов.

(Как это чаще и бывает, миссия осуществилась в основном сама собой, благодаря стечению обстоятельств, то есть волею Божией, но не мудростью человеческой, не разумными усилиями посланцев Белого Царя, которые как раз доводили дело до вопиющего перегрева. Назовем это везением, в Степи это слово имеет глубокий смысл.)

Крепость-острог поставили умелые, закаленные люди. У них были молниеносные руки, моржовые лбы и взоры василисков. На сибирских северах они прежде имели дело с малочисленной

и недружной самоедью и привыкли к праотеческому применению силы и своеволия, и если остяки, а потом тунгусы и давали им изредка сдачи, тут уж разрывая дорогих гостей на куски, это казаков только бодрило, поскольку дарило повод для нового жиганства.

Здесь, где сырая тайга распаивалась в беспредельность конного царства, следовало вести себя по-другому, задумываясь о диалоге, об умственном труде общения. Но, избалованные фартом, рабы своих привычек, казаки уже не были на это способны, и не могли и не хотели понять, как сильны, например, кыргызы — «днем вороны, ночью волки».

Сама их, казаков, жизнь в избранной этой цитадели отличалась откровенной порчей нравов, просто ею, порчей, и являлась. И, хотя в поставленной ими ладной обыденной церкви сиял образ, по велению царя Бориса списанный с самой рублевской Троицы, у них завелась мода ходить без креста, заводить туземные гаремы, буяннить, пьянствовать и срамничать.

Вскоре их цинизм дойдет до того, что они будут продавать степнякам казенные пищали, пополняя свои достатки, а дабы избежать ответственности «за промоту», подло заявлять, что пищали те были скрадены или отняты местными. Жалобные документы на сей счет сохранились от кыргызов и телеутов.

И ведь не прижился поначалу в остроге Богородице-Успенский монастырь, сбежавший отсюда за семь верст, к устью реки Калмачки, туда, где проходила боевая тропа степняков. Выходит, свои были тошнее убийственных кочевников. «Скаска» гласит: «Гулящие люди, нищие, государевы богомольцы не похотели в мире меж двор скитаться и сволоклись вниз по Потоме реке».

Однажды равнодушные кыргызы сожгли монастырь и лишили жизни семьдесят монахов, чья братская могила посегодняя горбится за северной окраиной города.

И вожди казачьи были первые мздоимцы и безобразники. Боярчата Барков и Кашинский, главные виновники скандала, проходят в степной памяти под характерными прозвищами Ограных («Ржуший») и Мухлаас («Тявкающий»). В более поздних вариантах сказаний одного из них называют Пахай («Плохой»), а другого Сырах («Анальное отверстие») — здесь уже

сказывается влияние пришлой, морализаторской цивилизации. (Был и третий злодей, но его быстро забыли — может быть, потому, что рядом с Фомой и Еремой третьему не место.)

Забегая вперед, надо честно отметить, что вскоре Барков и Кашинский станут участниками борьбы с польскими оккупантами. Здесь можно задуматься, не случилось ли с ними нравственно-патриотического прозрения, не исправились ли они, не заговорили ли: «Не отдадим ляхам нашу древнюю матушку-Москву, где утро красит нежным светом стены древнего Кремля»? Может быть.

Но, кажется, опыт учит, что в самых святых войнах участвуют не одни герои, но и любые люди, вовлеченные в них приказом, и мародеры, которым и приказывать не нужно.

Как бы то ни было, подвиги боярчат неизвестны, зато у потомков Баркова и три века спустя хранились богато расшитый жупан, снятый, по преданию, с некого пана Марцевича, и польская сабля с отломленным кончиком лезвия и посеченной гардой. На полотнах сабли прочитывалось с одной стороны — «In moscovites!», а с другой — «citius, altius, fortius».

Так вот, незадолго до явления посольства кыргызов — первой подстреленной ласточки в череде других посольств — завелась у боярчат, говорит степь, одна на двоих девица, очень привлекательная и «злая (то есть неутомимая) на потеху», из кыргызских кыштымов.

Она, конечно, не была «белой и круглой, как репа», а была смугла до синевы, лозовиста, глазаста и с калачными ногами — «в шесть ладоней не обхватишь». Девица была норовистая, с юмором и знала свой коленкор. Она беспрестанно ссорила боярчат, заставляя их соревноваться в поднесении подарков, как провинциальная антрепризная актриса-дива.

(В одном тахпахе сообщается, что она настолько оморочила ребят, что они, обуянные ревностью, отрезали друг другу уды. Не верится по технологическим соображениям. И как же они потом, так вот налегке, в Москву отправились? Нет, это уж слишком, тут отдает нотой национальной спеси: дескать, наша, даже безродная девка была так хороша, что...)

Известно, что ее настоящее имя было Тазырас — «пучеглазая», но она настаивала, чтобы ее звали Танархо — «перламу-

тровая красавица», именем, приличным аристократкам. Если учесть, что старшую жену алтысарского князя Номчи, возглавившую кыргызское посольство, звали Таначах — «перламутр», эта претензия пучеглазой выглядит просто вызывающей.

У этой худородной дальше некуда Тазырас имелись свои счета с великим князем Номчи. Картинно рассказывается, что Номчи, встретив ее, холопку с ядовитой кетской кровью, за сбором кедровых орешков, пленился девочкой и взял было ее в свой гарем, но проявила она, не по летам, такое нахальство, так досаждала прочим одалискам, что Номчи велел ее выпороть солеными прутьями и поторопился подарить ее князю Нояну, тому самому, на чьих угодьях, по его приглашению, и водворился русский острог. А Ноян из ехидства передал девку боярчатам.

И она мечтала нагадить Номчи и всему алтысарскому народу с глазами, в которых блестела спелая черемуха.

Месть затаила, худородная,
Злобой дышала, неугодная.

Мирное посольство кыргызов прибыло в Потомский острог в те самые дни, когда в далекой Москве таскали по улицам изуверченный труп Самозванца в скomorошьей личине.

Кыргызы были горды и грудасты, кони и верблюды были великолепны. На огромном выкрашенном охрой верблюде, чья морда прикрыта была позолоченной маской, в невыразимо роскошной осенней собольей шубе восседала почтеннейшая Таначах, ветеран дипломатического движения, убедительная, как огонь. Присылка старшей жены на переговоры являлась по степному закону актом предельного уважения и доверия.

Эбис кулибис — «наш светлый господин» Номчи-мерген тем самым сразу давал понять фактотумам Белого царя, что они если не желанные, то приемлемые новые соседи и, может быть, долгожданные союзники. И что мелкий местный князек Ноян, напрасно надувающийся в большие, сделал правильный выбор, пригласив урусов, вот хитрый же беличий хвост, однако, его роль сыграна, и отныне приличествует вести прямой державный диалог. Номчи был умен. Бутаны-русские, конечно, пришли с разинутыми пастями — но как же усилились монголы! Ой-ой! Каким же надоедливym стал в последние годы Китай!

Вообще, усилились все. Распад монгольского семени надвое мог сулить взаимное ослабление ветвей, так было всегда, но не сейчас, когда они плодились, как суслики, и наливались свирепостью, как камышовые коты. Пахло тройной данью. Раз уж пришли урусы, раз уж это неизбежно, не найти ли в них противовес?

А там — смотреть будем. Разве не живем мы на своей земле тысячу лет, разве не переживали мы всех своих врагов? Они были сильны и беспощадны, но снова и снова развевались наши бунчуки в междуречье Июсов, в Уйбатской степи, и лесные и горные кыштымы не переставали нести нам меха и кованое железо.

Подарки, поднесенные сиятельной Таначах, потрясли мздяные душонки боярчат. Страшно было подумать о том, чтобы переправить их во всей полноте в охваченную большим недоумением Москву. Авось? Только подумали боярчата — и вспомнились им ласковые взоры московских дьяков. Достанут, достанут! Одумались, прихичили с половиною, по обычаю. Отсюда и московское словечко «уполовинить», ныне устаревшее, поскольку ныне воруют все три четверти, но нельзя же и выговорить «утрехчетверть».

Там были выносливые красные кони «о восьми ногах» и даже пять высокомерных верблюдов, и соболя всех видов, включая соболей седых, и замечательное наборное серебро, упряжное и столовое, и пара доспехов-куяков такой работы, что хотелось жмурить глаза и биться лбом о барабан.

В ответ говорили о дружбе, горячо, но кисельно, ибо неясны были собственные полномочия и неожидан приход кыргызов (Ноян знал о нем загодя, но не предупредил, хитрый беличий хвост). Отдавались умеренно, что встретило у гостей понимание. Ну, несколько штук сукна, ну, пяток пищалей и к ним свинец и порох. Три были негодные. Испытали — показали все хорошие, а потом подменили, подсунули эти три.

Угостили гостей чем придется — они были, слава Богу, простые мясоеды, а в молодой конине недостатка не было. И русский алкоголь сдобрил все. Два бочоночка «вина» дали гостям с собой.

Но очень уж смутило боярчат, что прислали к ним бабу.. Не знали они степного закона и усмотрели в этом то ли недостаточное к себе и своей державе уважение, то ли слабость.

Почему бабу прислали? Спросили они у Нояна, но трезвый лукавец Ноян пожал плечами и смолчал, да и толмач, по недосмотру, был столь пьян, что единственно мог переводить «бабу» на «бабу» же.

Вот тут-то и вступила в дело Пучеглазая, самозванка Танархо. Щегольская шуба Таначах представилась ей своей. Были бы трезвы боярчата, не будь в отлучке сам воевода — другой вопрос и страх Божий, но были они пьяны, и говорила им Тазырас о ничтожестве алтысарской власти, о том, что Номчи умывается пенной мочой своих наложниц, о том, что кыргызы готовы лизать им сапоги и т. п. И вообще — собака любит палку.

Русских с кыргызами ссорить взялась,

Шубу княгини возжаждала, грязь.

(Можно перевести и как «мразь». В оригинале буквально: «блошинный кал».)

На предложение подарить шубу со своего плеча почтенная Таначах не откликнулась, просто не поняла, чего от нее хотят, и вежливо рыгнула, то есть выразила гостевую благодарность. Ах так! Переглянулись Огранах и Мухлаас, повеселимся.

Когда посольство отправилось в обратную дорогу и кони с верблюдами вытянулись в цепочку на тропе под валом острога, будущем Обрубке, первой улице под острожной горой, казаки напали на Таначах и содрали с ее дородного заслуженного тела драгоценную шубу из ста соболей, ценой в ежегодную дань инога племени Белому царю. Посольских били, деря их за косички-кичиге.

Отрезвевшая Таначах отрезала себе косу и разразилась страшным проклятием, сопровождая его рядом обещаний. Перевести ее речи было некому.

Прошлое умалчивает, как отнесся к данному преступлению местный князь Ноян, хвалимый позже за свою прозорливость и прогрессивность до того, что он стихийно очутился на пороге исторического материализма. Можно с уверенностью сказать, что набирающие мощь кыргызы были ему ненавистны и становились смертельно опасны, и ему уже надоело перед ними стелиться, а то и бегать. И русских он позвал, чтобы защититься именно от них: что ему, по его малости, были монголы и призрачный Китай?

Но нарушить степное уложение? Оскорбить посольство, и такого ранга, совершить то самое, из-за чего Чингизхан сметал с земного стола города и целые державы, оставляя камни, черепки, кости и лужи быстро ржавеющей крови? Он, видно, понял, что переоценил урусов, что поторопился, что, может быть, ждут его вотчину большие неприятности. А — поздно, ничего уже не поправишь. Отыграемся хотя бы на ненавистных чатах. И он отыгрался, и русские ему помогли. И платил он кыргызам тайную дань.

И началась наследственная замятня. Добрые восемьдесят лет, пока не погиб, попав в засаду вместе с сыном Шапом, в битве на Телецком озере ярый и могучий враг Потомска Еренак, внук Номчи, кыргызы приходили набегами, убивали и брали в полон, жгли новые острожки и попутные деревни новоселов. Они неоднократно подступали к Потомску, поджигали его — и устоял, выжил он чудом. Окрестности его обезлюдели, и замордованные местные татары проклинали своего князя — исторического материалиста.

«Гораздо воисты» были кыргызы-алтысарцы, и доконали бы Потомск. Спасли его степные междуусобицы: усилившиеся Джунгары схватились с Алтын-ханами, и слишком отвлекались кыргызские воины на борьбу на стороне Джунгар, и погиб Еренак и другие сильные в этой мясорубке.

В 1700 году казаки привезли в город на копье отрубленную голову князя-последыша Шипчка и устроили из этого некий окончательный праздник, радуясь своему молодечеству. Но голову слабосильного Шипчка снесла, в высшем смысле, не казачья сабля, а степная судьба. Ей-то до этого города мало было дела. Через год кыргызов с их кыштымами — всех почти что без остатка — угонят из Хонгорая их степные властелины, и опустеет край, из которого целый век приходили волна за волной «днем вороны, ночью волки», и придут туда русские бугровщики, бесстыдно шаря по курганам. И на целый век растянется возвращение хонгорцев в родные пределы, познавшие жуткое молчание.

А граница поплывет на юг, все дальше и дальше, и еще через полвека, когда в Потомске сроят сгнившие городские укрепления за давней ненадобностью, обновленные, теперь цинь-

ские — «железные» китайцы вырежут под корень вчерашних владык кыргызов — джунгар, и жалкие их песчинки разбредутся по соседним уделам, а большая часть уцелевших отдастся Белому царю и перекочет в горько-сухие прикаспийские степи.

О судьбе Пучеглазой, как и о судьбе шубы, ничего достоверного до нас не дошло. Сто лет назад в одном аале, в таштыпской тайге, записали позднее предание о том, что ее таки наказали, заставив есть проклятую шубу, и она умерла, подавившись первым же куском. В это не верится ни с практической точки зрения (слишком это жирно по отношению к такой шубе), ни с исторической, поскольку текст новодельный и полон несуразных фантазий.

Получили ли боярчата за свою пакость хотя бы по шее — неизвестно. Наверное, не до того было тогда начальству, которое сменялось сказочно быстро.

А вот Ноян через три года после скандала крепко помышкдовал на чатах и как бы потом тоже не подавился. Вскоре он сгинул — забыло о нем и постное подъяческое слово, и пристрастное, пылкое слово тюркского предания. Что подозрительно, что неслучайно — ушел он в тьму неотпетым современниками, и даже не сочинили ему эпилог его потомки — потомские татары.

Граница ушла на юг, и разрядился тяжелый грозовой воздух бунташного века. А русские шли и шли — с Поморья, с Южного Урала, с Волги, приходили и селились в городе и вокруг него — заимками, разраставшимися в деревни и села, и дальше, и шире, тесня обезволенных татар на юге и дробящихся остяков на севере, выжигали лес на пашни, веселясь богатству лесов и рек, редко-редко поминая при этом Господа. А за ними шли староверы, никогда о Господе не забывавшие. Эти кержаки были закрыты и суровы, живя и в городе, как в лесу.

Наступили исторические будни, а в городе Потомске — апатия. Впрочем, апатия эта была обманчивая. С одной стороны, потихоньку, но упрямо налаживался извоз, вот и бухарские купцы пожаловали, селясь среди татар, и заговорили татары «Иншалла»; кто хотел — жил богаче, чем на Руси — вольные огороды и вольные пашни давали дешевый хлеб насущный, и курица стоила меньше копейки. И надоели уже белорыбица и пельмени.

С другой стороны, взялись присылать в Потомск недобровольный люд — ссыльных. И множество. И не успевал Потомск распахивать их по окрестностям. Среди них попадались и первые политические — несчастная царская невеста княжна Долгорукова, перепуганный до онасекомливания арап Петра Великого Ганнибал, славший отсюда, «аки червь презренный», умоляющие письма всеильному тогда Данилычу (знал бы Меншиков, усмехаясь этим эпистолкам, что Березов уже дождался его); в конце века мимоездом в Усть-Илимск мелькнул Радищев, запустивший с Вознесенской горы в небо запретный яkobинский воздушный монгольфьер.

Слали сюда, и немало, пленных шведов (отчего в Потомске появится местность, зовомая Шведская горка), и поляков, и еретиков всякого рода, начиная с «квакерей», скопцов и, конечно, в избытке староверов. Ирония истории — какие-то староверы сами затравленно прорывались сюда сквозь рогатки, бросая скиты на Иргизе и Керженце, а других ссылали сюда насильно.

Но больше, куда больше, толпами, прибывало уголовных колодников, душегубов, так что однажды число уголовных пришельцев превысило число вольных новоселов. В 1804 году, на пороге новой эры, пришлют в губернию 7000 угрюмцев, и сколько же из них прибилось к потомскому дну?

Нравы, так и не сглаживаясь, подломились еще круче. Освободившиеся или сбежавшие «с канатов» колодники пластали город, кровопийствовали на обских просторах.

Немногие монастыри, знавшие лучшие времена, были растоптаны «манием» Петра и дотоптаны Екатериной — в них на нищету присылали проштрафившихся клириков и солдат, и новоявленные чернецы задавали тон в воровстве и разврате. И воскричал в середине «столетья безумна и мудра» архимандрит Иона: «Все чернецы в бегах, в монастыре остался один солдат Закомалдин, но и того за безумием содержать здесь небезопасно!»

И героем века можно назвать семидесятилетнего солдата Федора Плюскова, в послужном списке которого пьянство, дебоширство, изнасилование девочки, ножевой бой до смерти, отрубленные носы. Дважды ходил под шпицрутены, 10 раз сквозь

1000 палок, 12 раз сквозь 1000 палок, и, наверное, единственный в Империи выжил. И вчера, похоже, кого-то зарезал. Столуется и ночует в монастыре.

А чем лучше Игумен Палладий, алчный, пустивший обитель по ветру, развратный до «толерантности»?

И этот собравшийся отовсюду дурной народ заразил Потомск и все его необъятные окрестности не только насилием, но и матерщиной, и держалась эта традиция, подпитываемая свежими присылками смрадных ртов, до самых недавних пор, увлекая и бескорневое потомское студенчество. По свидетельству культурного ссыльного позднего времени, «брань здесь висела в воздухе, без сквернословия потомец двух слов связать не в состоянии».

Еще не все. Ужасно разъедала городские нравы великая двух-вековая недостача в женском поле. Еще в 1630 году царь Михаил велел отослать в Потомск 150 девок негодного нрава из Тотьмы, Соль-Вычегодска и Устюга. Колодницы-клейменные шли нарасхват: муже- и детоубийцы «желанны были под венец».

Девок, женщин «в пожиле года» хватали при сборе грибов, при стирке на реке, на городской улице. Еще в конце века восемнадцатого муж продавал жену «за 5 рублей и игреневую лошадку». Очень дорого! И находился священник, что, имея куш, венчал жену заново при живом веселом муже.

Но чаще — отбирали, отбивали, добывали на поединках. Убийство из-за женщины было обычным делом.

А крестьяне, надрываясь на целине, не желали отдавать дочерей в чужой городской дом, ломали цену. Самим работница нужна. А принесет в подоле — байстрючонок куда как пригодится. И продолжали пахать с оружием за спиной, уже не степняков имея в виду, а непрошенных зятьев.

И встает среди этого полового горя призрак Пучеглазой. Потому что весьма избалованной и пуще распутной розой раздобрялась на таком назъме битая, озлобленная, грешная потомчанка, и считался Потомск городом злых жен, и до сих пор, по инерции, нет-нет и услышишь привычное «проклятые потомские бабы» в адрес доцентов и даже профессоров женского пола, не говоря уже о менеджерах и продавщицах...

Разленившийся город жил безалаберно, лежа, пьяно и распутно, и горел очень часто, чаще, чем в беспокойную эпоху набегов и замياتни. В течение века в нем останавливались великие самоотверженные ученые немцы, они обмерили, взвесили, попробовали на зуб и описали всю Сибирь, и Камчатку, и Чукотку: Мессершмидт, Лаплас, Гмелин, Миллер. Потомск их изумил: по части Бахуса и Венеры и ярко сопутствующих им последствий признали они сей знатный городок невиданным ими доселе, не имеющим конкурентов ни на Руси, ни в голодной тогда, диетической Европе. Когда пожелал ученый немец ознакомиться с документами, содержащими сведения о прошлом и настоящем Потомска, утопили от греха подальше оные бумаги в Потоме чиновные люди.

На всю жизнь запомнил один из гениев, как случился в пьяном городе пожар, как загорелся дом, в котором он проживал, какие пьяные, бестолковые и радостные хари окружили пожарище и как, помогая в беде, растащили они все его имущество, а в погребке уничтожили всю провизию, сожрали все заветные окорока, оставив от них одни кости. Стало быть, съели тут же, на месте, торопясь, впиваясь челюстями и разрывая во тьме и дыму!

Понятно, что такой уклад предполагал самый фантастический образ мыслей, известную мечтательность и сумбур в головах. Один знаменательный пример, извлеченный из трудов видного потомского историка церкви. Однажды (26 августа 1737 года!) к начальству явился боярский сын Алексей Мещерин (опять боярчонок!). «Есть у меня девка калмычка Ирина Иванова. Она испорчена четвертый год, есть у нее в утробе дьявольское наваждение, по которому диавол говорит в Ирине человеческим языком вслух, говорит о себе, что зовут его лукавого, Иваном Григорьевичем Мещериным и посажен в утробу Ирине во щях девкою Василисою Ломаковою, жившей в доме Мещериных же».

Освидетельствовали Ирину в воеводской канцелярии, в присутствии чиновников, военных и священника о. Прокопия, убедились: подлинно испорчена, и диавол говорит в ней вслух и на все речи по вопросам христианским отвечает явственно — посажен-де он в эту Ирину Василисою во штях и взят из воды.

Девку заключили в Христорождественский монастырь, под караул. Вскоре караульный донес: 31 августа, вечером, диавол в Ирине начал бранить его, Перевозчикова, весьма неподобной, скверной бранью и нес всякую ахиною.

По приходе в келью игуменьи Доминики с келейницей Феодосией помянутая Ирина легла на лавку и «в тосках говорила, что приходит ее лихо, а оный дьявол стонал человеческим голосом полчаса, а потом кричал игуменье «Матушка, прости», також с девкой Феодосией и с матерью ее Мариной, которая в то время лежала на печи, прощался. Игуменья спросила: «Куда идешь?» «В воду», — ответил диавол человеческим голосом и попросил отворить двери. И как келейную дверь отворили, у девки той Ирины уста широко открылись и шла мокрота, а вскоре изо рта появился подобно как дым, и вышел из кельи вон». И исцелилась Ирина.

На всякий случай ее выпороли и отпустили. Однако ж, до самого «дней александровых прекрасного начала» рассказ об этом событии волновал жителей Потомска.

...А на Болоте люди, прежде закупоренные в опасливых домишках-колодах, начали перебираться в дома с окнами, засеивать крохотные огородики и ходить через Обруб на базар, по соседству, на Песках.

В 1804 году была учреждена Потомская губерния, и стал Потомск столицей огромного края. Настолько неподъемно огромного, что в 1818 году губернию разделили надвое, и на востоке появилась новая, Енисейская. Извоз ширился, «крепчал», в тайге нашли золото, сбились первые капиталы и прославились первые дельцы-богатеи, и жизнь их, поначалу акакиевская, в середине была феерический праздник, а в конце обгорела в головешках банкротства. Что называется, «первую песенку зардевшись спели».

Город все пополнялся ссыльными — в основном извергами; но и снова поляками, и мелькнули среди них и декабрист, и петрашевцы, и заторный баламут Бакунин.

Появились училище, библиотека — и, наконец, казенные губернские «Ведомости».

Если прогресс и спотыкался, то спотыкался до самого конца века — о дороги. И чем плотнее и настойчивей общался город

с внешним миром, тем хуже были измученные дороги и главная из них — аорта великого Сибирского тракта.

Разбитые летом и зимой, усеянные ломаными каретами, телегами и санями, павшими лошадьми, обжитые разбойниками, так были они плохи и страшны, что говорили потомцы: съездишь хоть в какую-нибудь ближнюю Колывань — «и превращаешься в битое мясо, нередко раздетое до белья». В конце столетия найдется пиита пиит, сочинивший сатирические «Песни о Сибирском тракте», в коих, наругавшись всласть, выразит уверенность, что, попади на тракт какой-нибудь нежный Фет, — он здесь «на осине удавился б».

Тем не менее, за век Потомск вырос впятеро, и половиной, самое малое, потомцев были приезжие, «расейские».

Пришло время задуматься о жизни духовной. Новообразованная потомская епархия имела пастырей, как на подбор, добросовестных и человеколюбивых, от Агапита до самого Макария, столь жестоко и подло оболганного большевиками в связи с событиями 1905 года. В городе не было кафедрального собора, соответствующего его размерам и славе. Старый Троицкий, деревянный, ветхий и отставной, сгорел в 1818 году; Благовещенский, маленький, тесный и подслеповатый, заливаемый половодьями, играл роль кафедрального, и это вызывало смущение, неловкость. Строительство нового Троицкого кафедрального собора (ибо город был посвящен Живоначальной Троице) начал владыка Афанасий. Прекрасный был пастырь! Происходя из беднейших, был он великий труженик-самоучка, мудрец, выучивший два десятка языков, легкий на ногу и труды, красноречивый и обаятельный, душевный настолько, что староверы даже говорили: нам бы такого батьку! Зря ли дружил с ним высоко- и глубокообразованный декабрист, выпивший в беседах с ним целое чайное море во дворике владычной резиденции при монастыре, на «горе Сионской» — рукотворном холмике среди уймы выращиваемых хозяином цветов.

Владыка стал собирать средства, и потекли деньги купеческие и мещанские, и пошла эта воистину народная стройка. И вот пятнадцать лет спустя устанавливали на новом храме, уменьшенном близнеце тоновского храма Христа-Спасителя, купол.

Шло к завершению.

Но случилось несчастье. Это описано в шемящих душу страницах иноком Парфением. Рухнул купол, задавив шестерых человек, со страшным громом. Осень дождливая, не успевал просыхать и затвердевать раствор, а работали по российскому погодному графику — и кирпичи сибирские были тяжелее, увесистее московских или рязанских. Да и «архитектур» был человек, мягко говоря, не в себе.

Владыка не перенес такого удара по сердцу. Отчаялся, сник, часто плакал — и вскоре уехал в другую епархию, вина во всем себя и свою, никому неведомую гордыню. А мнение народное покаянно склонилось к тому, что, стало быть, недостоин был грешный Потомск такого храма, и место на Елани, отведенное под него, было нехорошим. О чем не раз говорили местные блаженненькие Домна и «граф» Разумовский. (А на Болоте тогда появился свой, первый и единственный блаженненький — Иосинька Со Стрункой, улыбочивый малыш, почитаемый извозчиками. Он с Домной не соглашался, и она ругала его и кидалась в него навозом.)

Большое уныние охватило тогда Потомск, и четверть века простояли стены храма, чернея и обрастая травой.

Пало крепостное право. Появились в Потомске купцы нестрогаемого склада, в большинстве из пришлых, округляли капиталы, были среди них и настоящие генералы экономики, и сущие хищники, и сочетающие эти свойства. Пароход сделался символом времени, и даже в далекую Данию однажды возили купцы сибирскую пшеницу.

Было, на десяток лет, что торжествовали в Потомске преступные начальники и полицейстеры, но, как ни странно, продлилось это недолго.

И все слали и слали сюда каторжных, и с ними — политических, снова вечных уже, обязательных поляков, и землевольцев, и народовольцев — всех, кем богата была Расея. Заметно больше прибывало уголовных дворян. Известно, «барину» своим «концом» досталось той порой.

И началось с тех лет и до самой Империалистической великое добровольное переселение в Сибирь, на вольные хлеба, беззе-

мельного крестьянства, замученного кулаком, узостью наделов и безлесьем. По десять, по двадцать тысяч человек в год прибывало в Потомск, разъезжаясь по сельским азимутам, частично оседая в городе, пролетариями или люмпенами.

Как могли, помогали им; строили бараки, давали хлеб, какие-то деньги, как-то лечили — и ясно, что маловата была эта помощь и слабые умирали на этой бесконечной дороге. С большим сочувствием описывали их тяготы гуманные российские писатели, и спасибо им, но правда и то, что возвращалось из переселенцев домой меньше одного процента. Кто мог, надрывая пупы, взять эту землю, где всего вдоволь, — брал ее и радовался, что пуп не развязался. И большинство из этих людей приходило из российского черноземья — куряне, воронежцы, липчане. Так встретились, смешиваясь в потомских краях, северная и южная русская кровь.

Они и протянут на века могучую нить Транссибирской железной дороги.

Незадолго же до начала великого муравейного переселения, словно первым из страждущих нови и осеняющим переселенцев, пришел в город некий Старец, высокий человек преклонных лет, проживший в Потомске последние шесть лет своей посвященной Господу жизни. Был он большой молитвенник, аскет, и к нему потянулись потомцы, и он принимал их, обнаруживая чистейшую сердечность и пророческий дар. Утвердятся связанные с ним чудеса, прижизненные и посмертные, и ближайшим к нам будет небесное знамение при недавнем обретении его мощей, извлеченных из слоя мусора и чего похуже, поскольку большевики соорудили над его могилой отхожее место в ограде «бывшего» Преображенского монастыря.

В нем уже не было привычных и понятных народу юродственных черт, напротив, осанка и речь его намекали на высокородное происхождение, и родилась легенда, что он — Старец не кто иной как император Александр Благословенный, не умерший на самом деле в Таганроге, но ушедший тайно в мир отмаливать Россию. И многие подхватили эту легенду, и примерялся к ней и сам Толстой, и до сих пор об этом думают и пишут книги; жаль, однако же, что самые убедительные доказательства выглядят так:

Александр был глух на левое ухо — и Старец тоже; или же вспоминают, что явно знал он французский язык, следовательно...; или же припоминают, как некий чиновник, пожилой, знавший столицы, завидев Старца, вскричал: «Так это Вы!» — и это тоже в некотором роде доказательство, может быть, потому, что на Вы в наших краях он обращался исключительно к трем своим высшим наличным начальникам, а другим, даже и фамильным дворянам, тыкал, что и означает, что «Вы» он мог патетически употребить, лишь узнав императора, больше никого... И т. д. И с лихвой накопилось за полтора столетия всяких таких фактов, на самом деле придуманных задним числом бескорыстными энтузиастами этой темы. Скажем, уважая всех, что тайна остается тайной, и это ли главное для нас в образе Старца — небесного покровителя Потомска, чье завещание скажется, как увидим, в ближайшие по его успению десятилетия.

И в это же время в Потомске появятся умные и совсем нерелигиозные головы, в которых забьется областническая мысль о любви к родному краю, с его несметными природными и человеческими богатствами, с его возможным ликующим будущим, и заговорят они горячо о том, что довольно Сибири быть колонией Империи и ее помойкой, куда переправляется весь испорченный люд Предуралья, от Архангельска до Кавказа. И потребуют для Сибири равных прав, и будут настаивать, чтобы в Сибири, в Потомске открыли университет — маяк просвещения и гуманности для всей российской Азии.

Им припишут намерение отделить Сибирь от России, заведут громкое дело, будут преследовать и наказывать (смешные это будут наказания на фоне большевистской практики), ссылая иных уже из Сибири в Европу, куда-нибудь под Вологду. Но не было у них — Потанина, Ядринцева или младшего Адрианова — таких планов, а было желание трудиться до горячего пота на благо родной Сибири. О, они были новые титаны-энциклопедисты! Они исходили по примеру великих титанов-немцев, всю Сибирь, и дальше — все горные пределы Центральной Азии, добираясь до Тибета и глубинного Китая, открыли несметные россыпи местных укладов и преданий и стали мудры от познания трех миров.

(Такие работники должны жить долго, но получается по-разному. Ядринцев отчаялся, устал и покончил с собой; в большом огорчении угас при большевиках престарелый Потанин — и вовремя, они его еле терпели; а достаточно бодрый старик Адрианов был большевиками расстрелян, ибо эта власть была не чета власти расслабленных, разложившихся сатрапов.)

Но вот какое соображение... Бесконечно далекой была для Старца университетская идея, как и вся земная конкретика патриотов; в свою очередь, равнодушны были к его подвигу пыльные областники, может быть, видя в нем иронически запоздалый цветок суеверия. Однако же золотые нити, протянутые от него, умершего, и от них, живых и противоречивых, переплетутся, благодаря чему вторично станет громким имя Потомска в конце 19 века.

На исходе своей страдальческой жизни разрешит быть в Потомске университету Александр Освободитель, а после его гибели, несмотря на университетский след в ее подробностях, его сын Александр Третий утвердит его волю. И университет будет возведен и открыт в 1888 году. (А еще через десять лет в Потомске откроют Технологический институт.) Разум возобладал над предубеждением и горькой обидой. И важно, что решающую роль в осуществлении этого прожекта сыграли потомские негодцианты-благотворители. Без их вклада можно было возвести разве что университетскую ограду.

(Внутри этой ограды, в славной университетской роще, над перенесенным сюда прахом Потанина возвышается его памятник.)

Не вдруг расцвела в Потомске, по-прежнему грязном и пьяном, как никакой другой губернский город России, необычайная благотворительность. Те же купцы-хищники, торгаши и ростовщики, захватчики и в детях дикие «саврасы», соревнуясь друг с другом, принялись строить и содержать в городе приюты, ночлежки, богадельни, гимназии, училища, библиотеки и каменный театр. Давали на это при жизни и завещали, уходя в мир иной — на сиропитательность, призрение и просвещение.

Что с ними приключилось, окаянными? Смешались в них и пробудились в них, пришлецах, прораставших в потомский грунт, и тщеславие, и христианское смирение, хотелось им в городе Стар-

ца и Потанина остаться в доброй памяти, потому что осознался, чаянием сих высоких субъектов, Потомск как родной, своими лучами освещаемый и к особой судьбе предназначенный город.

Они же не обзывали Россию «этой страной», не презирали ее и не собирались кичливо удирать вместе с мошной и детьми в уютные западные емкости существования. Это были кулики (или крокодилы, если угодно) своего болота.

Целое ожерелье учредилось в Потомске благотворительных обществ — и просто Благотворительное, и Ремесленное, и Мещанское, и различных попечений общества, самым знаменитым из коих было Общество попечения о начальном образовании. Трудом его каждый ребенок из бедных учился в школе, имея шубку, валенки и учебные принадлежности. Его основал и возглавил купец Макушин, человек со всячинкой, поэт книги, живший под девизом «Ни одного неграмотного!» и выстроивший в Потомске Дом науки.

И не было во всей России городов, будь они в сто раз ухоженнее и трезвее Потомска, способных соревноваться с ним в благотворительном размахе!

И вот почему удалось воскресить строительство Троицкого кафедрального собора... И со всем тщанием его отделать и осветить на пороге нового, кровавого столетия в мае 1900 года.

И казалось тогда, что простилось Потомску и открылось Потомску.

(А недолго проживет собор. Зимой 1934 года его взорвут и разнесут по кирпичику большевики, принимая от населения эти кирпичики по полторы копейки штука. И место это и ныне пусто, и только вернули площади то прежнее имя — «Новособорная», вместо «Революции», и не понимают толком, что значит это имя, наши современники.)

И дождался город на рубеже веков своего демиурга, когда приехал в Потомск архитектор петербургской выучки Лыгин, талант, удивляющий своим маленьким росточком (и был, по обычаю, обворован в первые же сутки пребывания на нашей благословенной земле).

Россия тогда наряжалась в леса, чудно преображались центры разбогатевших городов, и особенно на Волге, и обе столицы

здесь не отставали. Зодчие тогда вошли в моду, как писатели, адвокаты или оперные певцы с балеринами. Лыгин, создатель сибирского модерна, любитель желтого песчаника, чистого кирпича и стильного декора, за малое время воздвигнув здание за зданием, дал пример всем прочим и придал Потомску навечное каменное обличие. И тут проснулось, как некая парафраза, зодчество деревянное, оправой к каменному, и запели прославленные потомские терема, сливаясь с каменными зданиями в единую городскую симфонию, за что Потомск знают и любят по сей день.

Много может один человек, если развязать ему руки, и не было в Потомске столь свободного в своем поприще чудодея ни до, ни после Лыгина. (Свое последнее здание он подарил городу в 1919 году — не узнать в нем его руку, ибо скудна была та смета военного времени. И еще пятнадцать лет проживет, привыкая к водке, великий человек, рыдая об остановившемся городе. И нет в городе ни улицы, ни чего-то другого, носящего его имя.)

Нет, не случайно Лыгин был обворован в первый же день пребывания в городе своей мечты.

Неспроста обругал «полузатопленный» Потомск молодой Чехов, пробирающийся на Сахалин. Он назвал его «прескучнейшим», «настоящей свиньей в ермолке», «медного гроша не стоящим» в сравнении с Красноярском и Иркутском, и укорил здешних «вумников» за водку, интеллигентных ссыльных — за уныние, а женщин за то, что они «жестки на ощупь». Бурю самосознания вызвал его односторонний, скороспелый отзыв у потомцев вслед за негодованием, но вынуждены были они признать, что во многом «отлихвостил» он их справедливо.

И Гарин-Михайловский описал прогрессивный Потомск как смачную обывательскую дыру, где всякую надежду по-дантовски должен был оставить живой человек, и, покидая город, испытал радость от того, «что, вероятно, покидает его навсегда и не увидит больше».

Этот видный Михайловский, будучи громадным инженером-путейцем, и принес Потомску нокаутирующее разочарование, проведя Сибирскую железную дорогу в обход города, юж-

нее, и потомцы считали, что сделал он это из личной неприязни, и готовы были его побить, но он и впрямь здесь не появился.

(Между тем, в Потомске сотню лет жила легенда, что железку не пустили в него невежественные, расжиревшие купцы, держащиеся по старинке за конный извоз. Неправда! Все потомцы, хором, бредили этой дорогой, дышали ею, бились за нее, почему наследник цесаревич Николай Александрович пробил сочувственное компромиссное решение по протягиванию отдельной ветки от станции Тайга до Потомска сразу же после того, как Магистраль миновала потомский меридиан. И протянули ее, можно сказать, мгновенно.

Наследник побывал в Потомске, продвигаясь с востока, в июле 1891 года, и смехотворны были меры по обеспечению его безопасности. Но из толпы воодушевленного народа рассматривал его 13-летний Яша Юровский, убивший императора через 27 лет. А город праздновал эту встречу еще целую неделю, отдыхали ремесла, и даже газета не выходила.

А злыдень Михайловский исходил, конечно, из здравых технических и экономических расчетов. Это вам не нынешний казноед «чем дороже — тем мне любезней», он берег государственные деньги, считал их народными.)

Обратной стороной потомской Луны было то, что он являлся городом перенаселенным, городом назойливых и нежелательных квартирантов, опаздывал строиться и кишел неукорененными людьми, и словно выходил из своих берегов или крутился в омутах и водоворотах, как ндравная Потома.

Нравственно-сатирическая поэма местного автора (из ссыльных, конечно, но безусловного патриота города), напечатанная в газете за месяц до приезда Чехова и за пять лет до приезда Лыгина, начинается так:

За Уральскими горами,
За дремучими лесами,
Во владеньях Ермака
Потома течет река.
По ней ходят пароходы,
Ездят разные народы

Из России: эмигранты,
Аферисты, арестанты,
Адвокаты и актеры,
Феи всякие и воры.
Град Потомск — преблагодушный!
Всем приют дает радушный,
И нахлынувший народ
Свой гешефт приобретает.
Кому ж дело не найдется,
Тот за фокусы берется...

Потомск, увы, оставался городом криминальным. Очень, чересчур и безмерно. А чего же вы хотите, если богатство здесь лицом к лицу и вперемешку с нищетой, а хулиганство модно затягивало купеческих сынков и даже молочное студенчество? Не говоря уже о толпах разнузданных приисковых и рабочих с Обь-Енисейского канала? «В Потомске получить пощечину — что съесть десяток пельменей». Корысть алчных и бескорыстие агрессивных переплетались в клубки, катящиеся по всем улицам неприбранного города.

В общем, воровали везде и били везде, от полноты души.

Потомск — это «шпанка», «летучка», «белокопытка», «кобылка», «синицы», «журавли», «затирка», «ключевые». Упомянутые «бакланы» здесь — законопослушные люди, спортсмены, так сказать.

Преступность уже приобрела почтенный профессиональный облик, жила в иерархиях и стандартах. Крючники и чаерезы грабили обозы, коловоротчики подламывали склады, кошевщики работали на улицах, налетом, на быстрых санках. А были еще фальшивомонетчики, шулера, торговцы волшебными карандашами и просто ландскнехты-грабители, испытанным приемом хватавшие свои жертвы за горло.

И револьвер был доступен всем. И кто не мог выстрелить в другого, стрелял в себя от разочарования и нищеты. И самоубийств было много, и еще больше было подкинутых младенцев.

Рядом с русскими в Потомске сложились три большие, в четыре-пять тысяч человек, национальные общины: исконная татарская, «вечная польская» и молодая и буйная еврейская.

Поляки вели себя смирно, поставляя из своей среды в основном аферистов и шулеров. Пробудившиеся татары, помимо привычного конокрадства, занимались в основном обозами, работая на выезде из города — они жили в Заисточной слободе, на вползании Московского тракта в Потомск и в самом городе почти не появлялись. Евреи же, прибывающие в Потомск через транзитный Каинск, «сибирский Иерусалим», очень скоро составили достойную конкуренцию русским жиганам, занимаясь всем же (кроме прямого участия в набегах на обозы — тут они выступали заказчиками), и прибрали в городе львиную долю питейных заведений и борделей, прасольство, нелегальное золото, отлично воровали и царствовали на лугах народных азартных игр. Их подрастающие дети так же уверенно пойдут в революцию.

Малочисленная полиция (на одного городского — сотня бандитов, жуликов и хулиганов) воевала с криминалом как могла, захлебываясь, ненавидимая обывателями и критикуемая носителями высоких принципов. Но, унижая полицию, возвышали ее отдельных представителей, ибо нужен был Герой-заступник, и в таком городе он оказывался гением места не менее значительным, чем идеалист-патриот, робкий на пленере. Им стал «пристав с длинными усами» Аршаулов, знакомый Чехова. В упомянутой поэме ему посвящен лестный пассаж:

...Полисмен наш очень крут!
Всех мошенников он знает,
В каталажке запирает,
Суд-расправу сам чинит
И квартальных не щадит...
Его жулики боятся,
С ним невыгодно сражаться:
Он все тайны разгадает,
Коль нагайкой отвалит
В кабинете — глаз на глаз...

В этой характеристике тешит душу заметная патриархальность его методики, столь дорогая сердцу россиянина.

Измученный трудами сыска, перенеся на ногах грипп, Аршавлов умрет очень некстати, в 1904 году, и не так уж неправы те, кто был уверен, что при нем невозможен был Погром 1905 года.

А век и закончился в октябре 1905 года.

Потомский погром был рожден подлейшей провокацией и показал: когда власть бессмысленна, а правда сомнительна, нет ни власти, ни правды, а побеждают худшие с их чревным хаосом.

Позором завершилась война с японцами, подорожала жизнь, началось невиданное брожение, которое невозможно было представить себе еще пятью годами раньше. Царь, опозоренный с января, издал Манифест о свободах, но опоздал с этим Манифестом, и те бесы, что размножаются в мутной воде, заговорили о слабости власти, о том, что Манифест не более чем лицемерная попытка Николая выиграть время и т.д. Увы, во многом были правы бесы, увы, в России протянутая рука принимается как жалкий поклон, как «не бейте меня, пожалуйста».

Весь год Потомск сотрясали демонстрации и декламации. Грядущие захватчики России расскажут потом о жестокости казаков, лупивших нагайками студентов и даже гимназистов: «прогневший режим душил прекрасные порывы молодой России». Но читаешь, например, в воспоминаниях о февральской демонстрации на Песках и задумываешься. «Мы вышли к мосту, нас встречала казачья цепь. Из толпы раздался залп по ним...». А потом, не стреляя в ответ, казаки пустили в ход нагайки и разогнали толпу. Так кто же первым пошел на крайние, погибельные меры? Зачем торопил события — жертвы были нужны на алтарь революции — и любой ценой, с гарантией?

Передергиванием и умолчанием важного, а чаще настоящим и детским враньем окутались эти события с первых дней и на целый век. Свою роль отводили в них так или иначе достойным Кирову и Куйбышеву, и Юровскому, который, якобы, ходил в первых рядах бунтующих, а на самом деле отбывал в эти дни срок за уголовное преступление.

Дрожжевое начало в этих событиях было за социал-радикалами, не столько ссыльными, сколько местными и прибывшими в Потомск «по заданию». Целый год они клеймили режим, принуждая бастовать полуголодных потомских обывателей,

кормивших семьи с колес: пугали-страшали, фотографировали несогласных (догадались же, чем припечь темного человека) — и копилась в городе темная злоба на власти и темная злоба на самих подстрекателей.

Тогдашняя потомская Дума была либеральной, передовой. Она стеснялась прослыть умеренно-ретроградной. Тогда в образованной России снова начали сочувствовать террористам, и прятался за этим сочувствием обыкновенный страх и рабская слабость перед насилием. И пошла Дума на поводу у радикалов, чьи агенты уже внедрились в нее — «вы ведь, господа, желаете нам добра?» — и согласилась с «товарищами», что кормить казаков не нужно и что полицию надо упразднить, заменив ее милицией, в которую вошли вооруженные неведомо на какие деньги молодые люди. Большинство из них были юноши наивные и прекраснодушные в руках своих кукловодов, и все они не знали город и не понимали, с каким мощным криминальным кулачищем собрались иметь дело. Опять же — «как славно мы умрем!» Они, чего доброго, мыслили, что эти грубые, темные люди — их естественные социальные попутчики, инстинктивно жаждущие лучшей, светлой жизни, и, не испорченные ни почитанием заветов Старца, ни дряблым постепенством нелепых устаревших областников, пойдут за ними в сияющее будущее. Ибо второй год начитывали тем брошюры грамотные пролетарии, уже обманутые своими несгибаемыми учителями, и были уже среди этих пролетариев тоже метящие в вожди.

Погибнут эти дети.

20 октября перед зданием управления железной дороги (за спиной — Троицкий собор, рядом — университет) собралась разогретая агитацией огромная толпа. В ней не было ни студентов, ни гимназистов. Людям подсказали, что изменники-железнодорожники, когда вся Расея страдает, будут получать свои зарплаты.

И верно. И вот уже пропущены по толпе искры, и начинается погром. Здание поджигают, и выходящих из него бьют до смерти, исступленно, и погибает, и сгорает в страшном огне до восьмидесяти человек. Среди них — и обреченные на жертву милиционеры, и просто все, кто там оказался. Поджигают и те-

атр за углом, где проводили свою сходку радикалы, что стало затем поводом говорить о черносотенном характере погрома, организованном властями и «мракобесом» архиепископом Макарием. Макария и объявят главным виновником, «жестокосердым», изыскав соответствующие «подтверждающие» цитаты из его речей разных лет, обвиняя его в монархизме (что святая правда) и пещерном антисемитизме (что совершенная неправда; но очень уж хотелось иным авторам назвать потомский погром еврейским погромом; на самом деле тогда, в общем кошмаре, погибло по пять-шесть немцев, поляков и евреев, остальные погибшие были русскими).

А Макарий сбился с ног и головы, выходя на улицы и безуспешно посылая туда весь свой клир, чтобы утихомирить озверевших дикарей. Ему отвечали: «Не лезь, батька, уж мы с ними теперь поквитаемся!»

С кем — «с ними»? Ведь били и убивали всех подряд «чистеньких» — и казенных, и противоказенных, в форменной одежде, в очках, не разбирая, кто перед ними — революционный студент или сытый пособник сатрапов.

А губернатор Азанчеев-Азанчевский, выморочный Оболт-Обалдуев, побелел от страха и впал в ступор, не отвечая ни на какие вопросы и понукания. Потом он спрячется на чужом чердаке, выпив за считанные дни тридцать бутылок водки, а потом и вовсе скроется в тайге.

А озлобленные казаки не будут ни во что вмешиваться, благо, что распоряжений им никто не отдаст. Не нужны — и черт с вами! Мало нас грязью поливали? Подыхайте!

А городской голова, прекрасный врач и застенчивый друг свободы, скроется в загородной деревне, и городской дом его будет разграблен и разгромлен.

И если кто-то и остановит бунтовщину, то это будут авторитетные полицейские приставы, забывшие про обиду и вдвоем разогнавшие толпу на Кухтеринской спичечной фабрике.

Начались грабежи. На следующий день раздался клич: «Грабим еврейские магазины!». Для кого-то это несомненный аргумент насчет юдофобности погрома. Но ни один еврей больше не пострадал. А еврейские магазины оказались пусты.

Погром продлился полных три дня, пока не подоспели от Тайги армейские подразделения. И сами погромщики уже выграбили все, что смогли, выпили все, что влезло, изуродовали или убили всех, кого хотели, и были приятно опустошены, устали и залегли — переваривать.

Было замечено: очень хорошо они были организованы, мобильны. Кто-то очень авторитетный управлял ими. Кто? Не парализованная же власть? Не внуки Маркса же, пусть и запустившие этот конвейер? Внуки этих внуков с пеною у рта будут отрицать эту сомнительную честь. Вот если бы они победили...

Нет власти и нет правды — победила третья сила во главе с безвестными королями потомского дна. Победило ничто. И это Ничто в Потомске остановило часы истории.

Так, безумным обнулением всего накопленного, наработанного и выстраданного закончился в Потомске девятнадцатый век.

Рассеются ужасные тени, проветрится город, наведут в нем порядок — зыбкий и зябкий — и изумленные мыслящие потомцы будут беспомощно думать, теряя последнее уважение к себе: как же это могло случиться?

Годы перед Мировой войной и революцией Потомск проведет в хрупком равновесии, в некотором расцвете наук и художеств. Но оглядка, острастка будет туманить жизнь. И налицо будет очевидный изоляционизм — хмуро и в разные стороны, избегая взаимности, будут здесь смотреть представители разных сословий, потому что общая чаша их жизни раскололась, кажется, навсегда.

А что же университет? А то, что и да и нет. В далеком июне 1890 года прозвучала амбициозная и укоризненная фраза: сколько у нас в Потомске безобразий — «И это университетский город!» С тех пор эту присказку повторяют с завидной регулярностью. И будут повторять. И это хорошо. И это безнадежно хорошо.

А что же Болото? А что Болото: весь почти век — чистое трогательное мещанство. Ни храма, ни больничного покоя, один Иосинька на всех, пока не умер. За верой и светом поднимались на Гору, к Вознесенской церкви или чуть далее — к Троицкой единоверческой церкви. Но при этом ступеньки на един-

ственной лестнице на Гору всегда были переломаны вдрызг, как бы и умышенно. За хлебом насущным поднимались через Обруб на загалдевший трикраты рынок на Песках. Никому не интересное, вяло подхватывало Болото происходящее в городе, потому что последними узнавали живущие в центре города «лягушки» потомские новости, и было Болото мутным зеркалом Потомска, и в нем выцветали краски жизни.

До исхода века слышались здесь одни стуки кустарного молотка да вой ветра в печных трубах. А в конце века вдруг и почти оглушительно раздалась и брань, и хохот, и звуки ударов по живому телу. Но об этом — чуть позже.

Пришла власть советская и объявила всю предыдущую историю черновиком, сырьевой заготовкой навечной своей. Вредны или наивны получались труды прежних мудрецов, не сознающих краеугольного значения классовой борьбы, зато после четырех пятилеток каждый испуганный неопит в СССР знал и с пользой применял основной закон философии: материя первична, сознание вторично. Это страшно облегчало жизнь. В университете появились две кафедры — Истории СССР (досоветского периода) и Истории СССР.

В 20—30-е годы в Потомске, как и повсюду, переименовали всю топонимику. Четыре его района назвались Кировским, Советским, Ленинским и Октябрьским («Актябским»). Площади — Ленина, Кирова, Дзержинского, Революции. Улицы — Ленина, Кирова, Дзержинского, Советская, Октябрьская («Актябская»), Белы Куна, Войкова. Так и поднесь. Позже попытались даже переименовать Татарскую в Юровского, но что-то древнее остановило эту инициативу. Но странно, что улицей Свердлова (отбывавшего ссылку вместе со Сталиным в Нарыме, к северу от Потомска) назвали захудалый переулок — и не где-нибудь, а на Болоте. Старое название его было Ново-Карповский, а народное — Кострыгинский. Он был коротенький и подчинялся винной базе, и говорили «пошел к Свердлову», имея в виду за бутылкой.

За что же так не уважили Я. М. Свердлова? Шептали (наступила эпоха крикунов и шептунов), что Сталин не любил соратника, и, проживая с ним в одной нарымской избушке, ссорился

с ним и чуть ли не плевал ему в ухо. Но, чтобы так поквитаться с мертвым Свердловым, нужно было, чтобы вождь лично вмешался в сугубо местный и шаблонный процесс переименования и имел перед глазами план Потомска, ища на нем иронический отрезок ландшафта... Короче говоря, непонятно.

Конечно, громилась храмы и монастыри, конечно, преследовались бывшие люди. В Потомск пришло убожество, усугубленное тем, что город оказался в стороне от великих строек сталинских пятилеток. Город встал, теплясь в кустарных производствах, по-прежнему немощный, прирастая немногими бараками.

Но и сделался Потомск чист и по-своему меланхолично-зачарован. И до поры сюда перебирались «бывшие», здешним личардам не знакомые. Своих «бывших» размазывали, а чужие прятались тут же! Было им с кем поговорить в ненужном этом городе. Побывавший здесь говорливый Эренбург писал, что Потомск умирает, что Потомск — город черного хлеба и бледной немочи. А к юго-западу от него закипал Новосибирск, а на юге громыхал Кузнецкстрой. Иные города, иногда с нуля, определялись в наковальни Советской власти. Другие, с мохом лет на них, превращались в ее плахи.

«Бог создал Крым, а черт — Нарым». Разворачивая Террор, вспомнил Сталин о своей ссылке, и потекли в Нарымский край и в Потомск чуждые элементы. В деревни и села, а чаще на голое место — раскулаченные крестьяне. В городе накапливались всякие интеллигенты, чье временное поражение в правах оборачивалось безвременным и смертью. Выжили и вернулись домой редкие — Эрдман, Меркурьев, Дурылин. А такие, как реакционный философ Шпет или юродствующий поэт Клюев, были расстреляны. А с ними и здешние, зараженные общими флюидами контрреволюции. Эту эстафету от Адрианова перехватили этнограф Шатилов, художник Чорос-Гуркин, генетик Чехов, Ильин — первооткрыватель сибирской нефти... А с ними десятки тысяч безымянных людей всех возрастов, национальностей и вер легли в братские могилы. От пули, от голода, от болезней.

И жутко откроется одна из таких могил к северу от Потомска, в маленьком городке, через сорок лет, когда обрушится об-

ской яр и сохранившиеся нетленными в его сухом песке тела расстрелянных предстанут на свет Божий. И говорят, что кого-то и опознают их потомки. А власть огородит эту провокацию истории, нагонит технику и молча подчистит яр. Впрочем, об этом много писалось.

В звенящей тишине тридцатых, в городе, где первый трамвай запустят и первый асфальт положат только после Войны, в страхе и нищете, когда милостыню подавали, если повезет, картошкой или луковицей, вырастали от противного неизбалованные люди лицом к университету, общающиеся с обаятельными ссыльными, пока над захолустьем («Как это можно было допустить — это же заповедник контрреволюции!») не сверкнули кровавые молнии. И вот когда проступил, условно говоря, петербургско-ленинградский след: рядом с исконной стихией мата образовалась гармония отличной русской речи и даже, между избранными, подобие хороших манер. Хамство заразительно, но влиятельны и хорошие примеры. Затем, в Войну, в Потомск эвакуируют элитные питерские заводы — и это тоже скажется.

С тех пор и до наступления новейших времен, у потомцев была хорошая репутация: и говорят прекрасно, и воспитанны они, много, много на улицах осмысленных лиц — город науки, ученых и студентов, и в науке связанный с Питером. Шутка ли — шесть вузов — ныне они все университеты. Так что можно называть Потомск городом шести университетов на семи холмах! Это уже питательная среда, в которой ожидажно возникают личности всемирные, например, великий композитор Денисов (но незадача — покинувший свою малую родину вместе с большой).

И была Война, и вернулась с нее в Потомск и Потомский край ровно половина ушедших на фронт. Отвага сибиряков известна и воспета. И крепко поддержали фронт потомские заводы и потомские ученые.

И снова наступила тишина, и снова зазвенела. Между тем, все набирала в Потомске мускулы наука, складывались знаменитые ученые школы, и престижным было иметь потомский диплом. Сотни потомских ученых за век составили цвет страны, трудясь на совесть, живя небогато, но даже и с достоинством, нервным, надо добавить.

После падения Хрущева Потомскую область возглавил энергичный, честолюбивый и жесткий человек, про которого справедливо сказать одиозный пономарь КПСС и про которого без иронии можно сказать трудяга-созидатель.

При нем забили фонтаны нефти на севере и поэтому выстроили на севере целый город на ровном месте, ожили села, самые заброшенные в зачуханной России, при нем на карте города проступили контуры больших заводов, раскинулся потомский академгородок, и сам Потомск запоздало начал разбегаться в панельных новостройках на север, северо-восток и восток. При нем, ныне одиозном сталинофиле, расцвела потомская культурность. И неслыханными свободами оборачивалась для творческих личностей — иногда, иногда — амбициозность Первого.

Болезненным же рикошетом роста было стремительное заселение города новоселами, новосозданным пролетариатом из деревенских. Вновь Потомск не успевал переваривать пришельцев. Вдобавок и студенчество заметно дичало. Десятками тысяч люди, молодые, поступали на заводы, на стройки, переставали быть деревенскими и не становились городскими, потомскими... Снова страдали нравы, с приходом асфальта (будто бы парадокс) вернулись хулиганка и мусор. И лузга — когда-то верный признак смутных лет.

Город раздваивался. То он город мастеров, то, простите, просторная слободка, где разве что пьяной гармонии не хватает, но морду уже бьют! Такова плата за советский прогресс, зато подтянулись к другим городам.

Вдобавок, за великими расходами на большие Дела, за неусыпным за ними вниманием, как-то подзабывалось о простом, человеческом — питании, одежде, гигиене. И это несколько огорчало потомцев, вынужденных возить, исполняя длинные списки, себе и соседям, необходимое из Новосибирска, Москвы и Ленинграда. Тем, кто имел отношение к науке, помогало то, что командировки у них часто выписывались в эти населенные пункты.

Между тем, и потомское студенчество, чьи ряды увеличились кратно, составляя вместе с учителями своими едва ли не четвертую часть населения города, воспитывалось общежитским

образом, мечтая не о Доме, но о квартире. Студенты гордились своей учебой в Потомске, но любили, в сущности, не город с его древней славой, а свои в нем фрагменты, свою альма-матер. Они ехали в Потомск изо всех уголков Сибири, из Северного Казахстана, из России, смешиваясь в этом котле и заводя семьи, и уезжали в третье место, так и не узнав Потомска и любя его как свою юность или, как солнечную Молдавию, на расстоянии.

Те из них, кто оставался работать в потомском университетском мире, сохраняли эту инерцию безразличия, имея узкие маршруты: квартира (комната в общежитии) — работа (аудитория, кафедра, библиотека, лаборатория) — и по дороге магазин с огорчительными, вынимающими душу очередями.

Среди ученого люда, начиная с ректоров и профессоров, в Потомске три четверти приезжих, живущих в таком маршрутном ритме. И любо им высокое, далекое, но только не зияющий нынче бытом, не умеющий себя защитить старинный город.

И вот с 70-х годов Потомск решительно теряет память. И красоту свою увядшую — потому что ее не замечают.

О Старце в атеистическом городе и не вспоминали.

Имя Лыгина забылось напрочь — потеряв чувство красоты, люди и не хотели спросить, кто же это придумал, такое изящное. Им было все равно.

О Потанине знали, что он — памятник, на который, по преданию, топал ногами один профессор, ленинист-сталинист, еще и поклонник Кирова впридачу.

Единичные краеведы воспринимались как милые чудаки-дурочки, занятые мелкой чепухой. К сожалению, были среди них и такие.

Потеря любви к близкому Потомску произошла от встречи данной неукорененности с великой апатией и тоской зеленой, охватившей тогда страну, и провинциальную образованность — с особой и мерзкой липкостью. Рука об руку с тоской шли мелкий эгоизм, и большое самолюбие, и конформизм, и алкоголизм. И рядом с людьми светлыми, толкая, тесня и выжимая их, с новой убедительностью вырастали циники и предатели университетского же разлива. Но вино и водку они пили вместе и везде — и дома, и на работе, и в университетской роще, и на

демонстрациях трудящихся, забегая при остановках шествия, в подъезды и подворотни. Жили в очередь и в очереди — так жить плохо, невыносимо, «и оставь всякую надежду», если надежды осознаешь, что это навсегда.

О временах ближайших говорить трудно. Были они полны бурных событий, спорили в них надежда и отчаяние. И сохраняется твердое убеждение, что разыгрывается на наших глазах древний сюжет о тришкином кафтане. «Пока солнце всходит, роса очи выедаёт». Длится это двадцать последних лет, и лоскуты перемещаются — латая одни дыры, обнажает потомец другие, и ничего, по сути, не изменилось в потомце в этом затянувшемся ожидании восхода.

И. Н. Северянинов, мыслитель, прикованный к постели и телевизору (укроюсь за его текстом), негодуя, описал эту стагнацию, эту эпохальную пробуксовку так:

«И, переживши с опущенной головой профанную, высасывающую нервы, тревожную свободу девяностых, «подняли» голову усталые потомцы и обнаружили: ротвейлерскими челюстями прихватила их глобализация со всем набором ее усредняющих человека ветеринарных слов, стимулов и щелочей, «трендами» и «брендами», с сакральными курсами валют и хохочущей пошлостью масскульта. Пошлость, оказывается, и есть здравый смысл; человек, чтобы быть «свободным» в «этой стране» «этого мира», оказывается, должен быть бесконечно мал и вопиюще обыкновенен. Цивилизованный человек считает Деньги и посмеивается над всем тем, что не подлежит примитивному обсчету. И не страшно ему, что «всего того» еще много — тем интереснее жить, уничтожая его. Это же хлам, развалины исчезающего мира Истории, которая в людях уже остановилась, уже не в людях она, и это жалкое «все» риторично-анекдотично, а у нас есть стеб, и мы это все перестебаем и перемолотим, развоплотим. И все дороги ведут к гламуру, к глянцу, рожденным в сюжете перемещения капиталов и приданных им тел.

И старинный Потомск, «обрендив» свою старинность, стал распадаться на не подлежащее подсчету количество городов, вплоть до ситуации «одна квартира — один город». Ибо город теперь условная единица поселения для всемирных граждан.

Потомск похорошел, воспринял прелести гигиены и косметики; вернулись в него храмы; ученые мужи к юбилею Потомска заговорили об его истории. История эта принадлежит только им и их амбициям, их частному делу (ИЧП), их орденской игре.

Ибо обнаружила свою декоративность; и декоративность Потомска, города каменных и деревянных теремов, выгодно вписывает его в поле гламурной игры.

И в этом мире отрицательного отбора, когда убогие аутсайдеры сполна берут реванш у напыщенных профессионалов, мире имитаций и самозванства, увяла потомская интеллигенция. Уходят Учителя старой совестной складки, и бледнеют созданные ими школы. Не нужно нынче гнущься перед идеологией? — гнемся перед чичиковской копеечкой и чужим эгоизмом, чтоб возлелеять свой, такие как все.

Ни по облику, ни по повадкам, ни уже и по речи не отличается потомский интеллигент от прочих обитателей Потомска, озабоченный девиациями «социальной близости».

И без того обиженная и ставшая в этих обидах мелочной и спесивой, изучившая виртуозную науку самооправдания («я выше ваших потуг, мне претит ваш стремный дилетантизм, ваши игры...»), склонилась интеллигенция к очередной образованщине.

Разъедаемая изнутри, несолидарная, пеленается она в коконы узкого знания и милого невежества. И глубоко, как никогда, от этого несчастна. Но злая эта несчастность! И ведет к замкнутой ролевой игре — отнюдь не в Бисер. То добро бы!

И ждет Потомск нового Диогена, что воспалит факел и при ярком свете дня побежит по городу: «Ищу человека! Где же человек? Сохранился ли где-то человек, где, в каком заколдованном месте?»

Найдет?»

А что же Болото? А Болото закрылось в своем мире, живя приблизительными воспоминаниями о славной поре бакланов. Оно сообщалось с Потомском посещениями рынка через мифологический Обруб. Но рынок скудел и терял колорит; товаров, продавцов и собеседников становилось все меньше, а нищих и дураков все больше. Террор устроил, хотя и коснулся

Болота заметно умереннее, чем других территорий города — сказалась во благо внеразрядность его обитателей, поскольку пожирающая машина работала матрично, и донощиков здесь было мало.

Когда после войны убрали рынок, перенесли его дальше на север, иссяк пешеходный маршрут и Обруб стал зарастать репьями и крапивой. Болото словно заснуло. Его драмы были внутренними и никого вовне не касались. Время здесь перепуталось и живет в комках и разрывах. Дальнее бывает ближе нынешнего, как детство бывает милее старику, чем его беспозная трудовая биография.

Кажется, сон продолжается? О чем этот сон?

Глава третья. **Золотой век Болота**

«Были когда-то и мы рысаками» — говорили и говорят жители Болота, встречаясь на Костровом месте, сегодня не зная толком, не помня ничего определенного, кроме имен-отчеств дедушек и бабушек и того семейно-мифологического, что прадедушка гнул подковы и пятаки, а прабабушка родила двенадцать детей и прожила 98 лет.

Но почему-то все уверены, что золотой век Болота относится к годам, предшествующим русско-японской войне, когда «политики» еще не было и «лягушки», самые независимые из потомцев, «жили еще сами», то есть сами по себе, без, так сказать, педагогов. Эпоха совпала тогда с Болотом.

Что примечательно, именно эти годы в истории Болота (примерно 1885— 1900 годы), и никакие другие ни до, ни после, отражены, запечатлены в газетной хронике. Тогдашние потомские газеты переживали подъем интереса к конкретной жизни простых людей, отличались демократической физиогномистикой и добросовестной очерковостью. (Кто-то потом скажет, что не о чем серьезном было тогда писать в газетах, вот и собирали в них всякую белиберду... Минуточку! Для нас этот хлам — золотой и серебряный, и жемчужный, и стоит за ним

человеколюбие и забота о Потомске как общем для всех доме, с любовью к согревающим его печам и обидой за сорные углы, которые нужно бы вымести.)

В начале 20 века заявила «политика». В газеты пришли новые журналисты, дружно презрели Болото и подобные ему местности и заспорили, как сделать россиян счастливыми. Тут уж глядели в будущее, а не в сегодняшние постные рожи, обидно равнодушные к словам «эксплуатация», «сицилизм» и т. п., но оживляющиеся при словах «штоф очищенной», «балычок» и «Глаша». Глина! Зачем писать о глине — из глины нужно ваять, глину нужно обжигать, не спрашивая, нравится ей это или нет...

А в советское же время писать о запущенном Болоте было стыдно, и не находились там герои трудовых буден.

В последующем изложении в календарном порядке приводится все найденное в газетах, что так или иначе связано с жизнью глухой потомской окраины, расположенной в центре города.

«На днях в городе разнеслась странная молва, будто в доме Колотилова, по Большой Болотной, в нижнем этаже, ежедневно, после четырех часов пополудни и до ночи раздается необыкновенно сильный, повторяющийся стук. В комнате кажется, что стучат снаружи, а со двора слышно, будто стук идет из комнаты.

Хозяин дома, взволнованный необыкновенным происшествием, приглашал, как мы узнали, полицию и несколько посторонних лиц, чтобы убедиться, нет ли тут какого-либо мошенничества. Дом был тщательно осмотрен внутри и снаружи, все присутствующие слышали загадочный стук, но никто пока не знает его источника. Нам кажется, что всего естественнее предположить в данном случае почвенные звуки. Дом Колотилова выстроен на болотистом месте, и очень может быть, что в большие морозы почва сильно промерзла, а с уменьшением холода дает трещины, при образовании которых раздаются глухие звуки».

«В небольшом помещении, загрязненном ремесленной работой, низком и душном, у стены размещены были двенадцать джентльменов в пимах, шубах и разных головных уборах, свидетельствующих о том, что все они были несомненно господа. На головах были фу-

ражки и с оранжевыми, и с зелеными, и с желтыми кантами, и все с кокардами, и все эти головы были плотно приложены к стенам маленького помещения. Слушали они те неизъяснимые стуки-звуки, которые дали хозяину прозвище Стуколкина...»

«Читателям уже известно, что полицмейстер Н. Н. Петухов назначил особую комиссию для исследования причин стуков, повторяющихся ежедневно после четырех часов до полуночи в доме купца Колотилова. Комиссия эта, под председательством советника городского управления Хаова, с участием помощника полицмейстера А. Н. Сосунова, техников Шрайера, Владиславлева, университетского архитектора Нарановича, городского архитектора Хабарова, одного из инженеров путей сообщения, механика телеграфной станции, преподавателя физики в реальном училище г. Сухова и нескольких посторонних лиц собиралась неоднократно в доме Колотилова и посредством телефона и микрофона исследовала почву под домом и флигелем, а также и стены самых зданий, но пока ни к каким заключениям не пришла, потому что во время ее присутствия стуков, как нарочно, слышно не было. В другое же время стуки продолжают беспокоить обывателей злополучного дома. Между прочим, во время литии по умершей теще г. Колотилова начало стучать так сильно, что сейчас же послали за членами комиссии, но в доме вдруг воцарилась тишина.

Не дает ли этот факт предположить чьи-то неуместные шутки? Мы слышали, что живущий в доме мальчик раз уже был уличен в намеренном производстве стуков каблуком сапога в стену около дома. Нет ли там и другого подобного забавника?»

«8 марта. Войнишки. За Истоком кулачные бои между русскими и татарами не прекращаются. А вчера, в Кузнечном рву, под Вознесенской церковью (восточная окраина Болота) была войнишка между болотными и кузнецами с Белого озера. Вопреки обыкновению, победили болотные. Говорят, что кузнецы слишком перепили перед сражением».

«7 июня. Проходя по Обрубной улице и на Болото, всегда можно видеть массу купающихся людей и лошадей».

«Июль 17. Через Ушайку, по мостику от бани Лапина проходила молодая женщина, крестьянка Т. О. Навстречу ей шел

молодой человек, мещанин С. Н. Подойдя поближе, он вдруг выхватил у женщины из рук зонтик, тут же разломал его в мелкие куски и, обругав О., отправился дальше. Добавим, что С. Н., жилец Болота, был трезв, а с Т. О. незнаком».

«Рассказывают, что в ночь на 2 августа по Вознесенской горе и Болоту несколько раз проходила совершенно нагая женщина».

«Нам говорили, что в одной шапочной мастерской, на Болотной улице, пьяные подмастерья, за несколько копеек, а иногда прямо за шкалик водки, дают своим товарищам и хозяину стегать себя розгами. Не мешало бы прекратить подобные приглашения!»

«На Загорной улице, в доме Серебрянникова, вечером, раздался взрыв, когда хозяйка со свечою зашла в свой погреб. Взорвался болотный газ, хозяйка отделалась испугом, однако же стала слегка заикаться».

«Солнечное затмение 7 августа, как всегда, не обошлось без казусов и панических проявлений. В Заозерье собаки искусают о. Вениамина, на Миллионной улице коровы бросались на прохожих и одного мальчика чуть не забили. На стройке дома на Песках плотники побросали свои инструменты, схватили котомки и побежали домой. В деревне Аникиной мужики перепились и начали бить баб, чтобы в последний раз насладиться этим древним славянским удовольствием. На Болоте проститутки выбежали на улицу из трех соседних домов и устроили «детский крик на лужайке», а местные жиганы ссадили с извозчика чиновника Г. М. и обобрали его до белья, приговаривая, что это «в последний раз» и добро ему не пригодится за концом света, а они, по крайней мере, поторопятся пропить его в кабаке Ю-ча».

«Жители Большой Болотной улицы просят нас обратить внимание на ежедневные безобразия, происходящие в двух желтофонарных заведениях, одно из которых располагается в доме Хотимского, а другое в доме Скорбина. Обитательницы их доводят свою пьяную дерзость до того, что нагло раскланиваются с проезжающими дамами. Кроме того, около одного из них, помещающегося в доме Скорбина, находятся два кабака, где постоянные ссоры переходят в публичную драку и всегда

под конец сливаются с площадными шутками публичных женщин. Мы не говорим уже о том, что оба этих «заведения» содержатся какими-то темными личностями, которые ради своих гешефтмахерских целей нисколько не заботятся о спокойствии и безопасности своих соседей».

«6 сентября, в воскресенье, в три часа дня, известный трактирный боец-«баклан» плотник Алексей Иванов забрался в квартиру некоего Уманского, живущего на Болоте, по Горшковскому переулку. И, пользуясь отсутствием хозяев, которые были в другой комнате, отворил ящик, но, услышав, что идут, успел схватить только один узел, который лежал сверху, и выбежал на улицу. Хозяева подбежали к нему и отобрали узел. Иванов погрозил, что «теперь я не так еще вас обворую», и преспокойно пошел. Зная его за бойца, хозяева боялись к нему подойти, и он безнаказанно ушел».

«15 января. Нам передают, что на Болоте мальчишки, катающиеся на коньках, придумали для себя новый вид забавы, не совсем безопасный. Кроме катанья на тротуарах (деревянных, уступчатых, ломанных), где они нередко сшибают с ног прохожих, мальчишки, имея в руках особые крючки на длинных палках, целой гурьбой бегут за каким-нибудь проезжающим экипажем, цепляются за что попало и мчатся сзади до тех пор, пока их не отгонят бичом или пока им самим не надоеет кататься. Рассказывают, что 12 января толпа ребятишек, цепляясь за сани своими крючками, испугала лошадь, запряженную в кошовку, в которой сидели женщина с ребенком; лошадь бросилась в сторону к чьему-то двору и едва не разбила ворота. Необходимо запретить мальчикам эту забаву, т. к. бегая по улицам и гоняясь за санями, они рискуют попасть под лошадей и заплатить жизнью за свою забаву».

«В настоящую банду сплотились на Болоте шорники купца Кострыгина при его радушном попустительстве. Хозяин, кажется, гордится тем, что его подопечные избивают и грабят людей на «Кострыгинской» улице. Проснись, полиция!»

«Всю осень Болото погружено во тьму; только на Большой Болотной горят несколько фонарей. Шалят на Ямах».

«Мы слышали, что пряничник Леонов на Болоте каждого поступившего к нему подмастерья обязательно посылает в воскресную школу. Настоящее чудо на Болоте! Спасибо, г. Леонов!»

«Январь. Обращаемся к городской управе: необходимо установить крытые помещения на Ишайке для полоскания белья. А то бедные женщины, полоскающие белье, терпят истинные мучения».

«Богоявление Господне. В иордани на Ишайке искупалось-таки 10-15 мужчин и женщин, несмотря на запрет. Между тем, валят и валят навоз в Ишайку, бродят по ней коровы и носятся собаки. Здесь устроены катания и бега на призы. Катаются до поздней ночи и в темноте, когда уносят фонари, несмотря на трещины во льду».

«Январь, 19. Подробности драмы на Болоте, в доме Петровой на Загорной улице. Глухой ночью ограбили двух старух — знаменитую городскую прачку К. и ее прислугу. Ограбили «грамотно», зная «пейзаж», два жигана из местных. Старух пытали, избили и связанных спустили в подпол. Они выжили чудом, благодаря соседу, навестившему ночью на дворе ретирадное место и услышавшему их стоны. Уже в 6 часов утра, несмотря на поднявшуюся сильную мятель, пристав Корольков отыскал и задержал преступников».

«Умер в 30 лет Семен Васильевич Изосимов от разрыва сердца, проживавший на Болоте. Протоколист суда, получая скудное жалованье, он и его никогда не приносил домой в целости, а получив его, раздавал часть по дороге разным беднякам».

«Обвешивают! В своей лавке на Болоте купчина Карукис недовесил пуд муки на 9 фунтов! Полиция обнаружила, что у него поддельные гири и коромысло, а в цепях весов большие гвозди. Бедных грабите, г. Карукис!»

«Дерзкий шалун. На Обрубке, из ворот дома Зеленовского, где винный склад, очень часто выходит какой-то мальчик и злорадно поджидает идущих на Болото из училища школьников, и как только заметит какого-нибудь мальчугана, то, не говоря ни слова, бросается на него и начинает бить по лицу, по голове и по чему попало палкой или травить собакой, которая рвет одежду бедных ребятишек, преследуя их при громком смехе злого мальчишки. Выбирает этот мальчуган для своих проделок того, кто поменьше ростом и послабее на вид. Нет прохода мимо этого дома. Обращаем внимание на этот факт родителей драчуна».

«Апрель. Потомск задыхается от притонов и проституции. В особенности богаты притонами Болото и Солдатская слободка».

«Наводнение в Потомске (...). Большая часть Болота, до Загорной, залита водой. К обеду затопило толкучку».

«25 мая. На юг от Ишайки, на поле перед Мухиным бугром, развернулась массовая игра в карты и орлянку. Всем заправляют Мишка Бар-«Выкрест», известный своим буйным нравом, и «Монашка» Сполянский. Жители Болота, не имея простора в собственных пределах, охотно присоединяются к играм, форсируя Ишайку. В свою очередь, они правят бал на гуляньях в прилегающей с востока к Болоту роще при пивном заводе Ваганова, где тьма проституток и куда порядочные люди давно забыли дорогу».

«На Большой Болотной улице пастух, созывая скот на луг, так громко трубит, что обыватели просыпаются. А коровы лезут в чужие дворы. Кошмар!»

«17 июня был ливень, напугавший многих, особенно живущих у подошвы Горы, на Болоте».

«Нам жалуются, что по Б. Болотной улице нельзя пройти, благодаря тому, что из дома Поздняковой проведена из помойной ямы канава, шириною в аршин, к Ишайке. Канава ничем не закрыта и прямо проходит по улице под тротуаром. Разит страшно!»

«Нам сообщают, что мимо дома К., на Обрубке, положительно нельзя проходить: на балконе этого дома постоянно собирается целое общество, и мужчины занимаются тем, что кидают окурки папирос на прохожих, а женщины обсыпают их ореховой шелухой. Иногда же бывает еще хуже: над прохожими начинают грубо острить или даже плевать на них».

«Мы рассказывали о балконе на Обрубке, с которого молодые хулиганы издевались над прохожими. 3 июля они неосторожно «пошутили» над проходящими с базара домой, на Болото, двумя известными бойцами-бакланами М. А. и С. Г., последствием чего были, в количестве пяти человек, крепко избиты обиженными в кровь. Дело, однако, закончилось мирным соглашением при посредстве помощника пристава К.».

«18 июля. Есть в Потомске местность, носящая довольно характерное название Болото, изобилующее притонами раз-

врата, портерными, питейными и иными заведениями, составляющими для других, мирных обывателей нечто вроде казней египетских. Каждую почти ночь, особенно по праздникам, на улицах, например, Загорной, слышны цинические песни, брань, а частенько бывают и настоящие битвы: подгулявшая компания мастеровых и рабочих, повздорив из-за какого-нибудь пустяка, оканчивает эти споры дракой. Не мешало бы обратиться на эту местность особое внимание и хоть немного поочистить пресловутое Болото».

«16 августа, под вечер. На Болоте в доме Галичкина пьянствовала компания, и дело кончилось крупной дракой, ибо некто Лебедев ножом проколол руку крестьянке Нелидинской волости Ивановой. Причина ссоры — ревность, а вернее опьянение. Лебедев бежал, но около пересылочной тюрьмы был захвачен помощником пристава Корольковым и ввержен в узы».

«В питейном заведении Юдалевича, на Болоте, умер мещанин из ссыльных Гамкрелидзе, человек небедный. Он поспорил с собутыльниками, что выпьет за раз три бутылки водки, три бутылки наливки и три бутылки пива. Он вылил всю водку в одну посудину — выпил. Потом наливку — выпил. Но пива пригубить не успел — моментально умер».

«Оказалось, что смерть Гамкрелидзе была спровоцирована Гелядзе и Чикуадзе, которые при помощи их любовниц Скорушинской и Муравьевой хотели вытащить у пьяного, а вытащили у мертвого более 500 рублей и разные ценные вещи. Шайка арестована».

«Осень в Потомске, особенно в таких местностях, как Мухин бугор, Солдатская слободка, Болото — время самого варварского разгула. Дикая молодежь ломает тротуары, выворачивает фонарные столбы, мажет ворота дегтем, бросает в окна камни и палит из револьверов. Наглые подростки пристают к женщинам с бесстыдными, скотскими словами. На Болоте без конца ломают единственную лестницу под Вознесенской церковью, как бы прерывая сообщение с Горой и самой Верой».

«19 сентября на Большой Болотной улице в портерной Ал. Платонова было совершено нечаянное убийство Лукерьи Кузнецовой, 48 лет, мывшей полы в этом заведении. Она была

ранена из револьвера, которым играл 14-летний мальчик Александр Бруштейн, оставленный на попечение Платонову родителями его, заключенными теперь в тюрьме по делу о краже золота из магазина Тельных. Раненую женщину тотчас же отправили в больницу, но потом почему-то возвратили обратно к Платонову. На обратном пути она умерла у самых ворот дома Скорбина, где арендуется Платоновым его портерная».

«В праздничные и базарные дни Болотная улица, в особенности перекресток ее взвоза сразу за Обрубом, получает какой-то своеобразный, дикий характер. Целый десяток помещающихся на этом пункте распивочных и других заведений на праздничный и базарный день точно оживают. В это время можно встретить там всевозможные сцены то и дело дерущихся пьяных и ругающихся извозчиков, которые несколько не заботятся об удобстве и безопасности прохожих обывателей. Дикая хаос — и ни одного полицейского».

«2 декабря. Из бани Карукиса (бывш. Огороковой) спускают после трудового дня воду в Ишайку, и на берегу образовалась зловонная катушка».

«9 декабря. Из склада Карукиса, путем взламывания стены, похищено 300 тушек гусей. Как это могло произойти — ведь разом стену не взломаешь? Где был в это время обходной?»

«(Прошение, поданное в Вознесенскую управу обывательницей Болота, проживавшей по переулку Горшковскому, 12.) Ваше высокоблагородие! Крестьянская жена Дарья Иванова Панина просит. Вследствие моего пьянства прошу меня выслать из Потомска, потому что я надоела уже моему мужу и дочери Аграфене. Сделайте милость, войдите в мое положение, вышлите меня из Потомска как пьяную женщину, чем премного меня обяжете, и я вечно буду молить за вас Бога. При сем присовокупляю, что если я и проживу здесь еще, то нечаянная смерть моя сделает вашему благородию много хлопот. Панина».

«2 сентября сын каинского мещанина Яков Юровский, 14 лет, нашел на Болотной улице вскрытый конверт с письмом и пятью рублями на имя Анны Плотниковой с передачей Балаховой. Письмо и деньги представлены Юровским в Сенную часть, куда потерявшая и может обратиться за получением потерянного».

«На Болоте держит трактирное заведение известный по Потомску силач Михаил Митрофанович Сидоров, недавний герой массы удалых дорожных с чаем и других приключений, имевший по этому поводу даже несколько недоразумений с властями уголовными, но кончившихся, благодаря прежним порядкам, для Сидорова, по уличному Митрофанова, благополучно. Порешив бросить опасные дорожные экскурсии, Митрофанов обосновался при трактирном деле, которое тоже цветет, благодаря его старым, да, пожалуй, и нынешним связям...»

«3 декабря в пивной Ал. Платонова, на Болоте, в доме Скорбина, какой-то неизвестный человек ранил выстрелом из револьвера крестьянина Ив. Косенкова».

«На Болоте, в доме Ицковича, имеется трактир, которым распоряжается некто Еселевич. В этом трактире стоит пресловутая «фортунка», на которой происходят крупные азартные игры».

«Спесь Болотная! Собирая справки о цене на жизненные продукты, пришлось получить такой «камуфлет» из лавки г. Б.: «Не стоит эфтим языком для вас мочалить!»

«Любители кулачного боя, бакланы, всегда собирались на Большой Болотной улице, поскольку в основном здесь и проживали. Пили и шли драться за Ишайку, на луг под Мухиным бугром. Сейчас в кабаках сидят ветераны, племя их поредело. Но иной раз, заскучавши, лупят друг друга».

«Недавно мы были на Болоте свидетелями очень новой и забавной детской игры: мальчик лет 12 заставлял двух своих сестер, девочек лет 5 и 7, бегать по улице, а сам он стрелял в них из лука стрелой, в конце которой была укреплена иглолка. Очень милая игра...»

«По мнению городской санитарной комиссии, самые грязные потомские клоаки — Мухин бугор, Слободка, Болото».

«Ученик пряничника Леонова, А. Тараканов, 17 лет, поссорился с кухаркой и от обиды ткнул ее три раза ножом в мягкое место».

«10 апреля. Каботажное плавание вдоль берегов Ишайки уже началось: с утра до ночи несколько лодок режут навозные воды, несмотря на опасность, с которою сопряжено плавание среди льдин, тем более что лодки все с «протекцией».

«Пивные на Болоте — учреждения совершенно энциклопедические».

«Трактир в доме Дятлова по Загорной улице — казнь египетская для обитателей этой злосчастной улицы. Крик, рев, песни, площадная брань несутся из этого трактира постоянно. Особенный ужас на обывателей улицы навели посетители этого трактира 5 июля. Человек 7— 8 плотников, вятичей, проживающих в том же доме, где помещается и трактир, часов в 12 ночи, совершенно пьяные подрались с другой компанией. Тесно стало в трактире — и театр боевых действий был перенесен на улицу. Вятские победили, и один из побежденных вбежал в дом номер 34, Денисова. Озверелая ватага плотников подступила к дому Денисова и потребовала выдачи беглеца, причем требования сопровождалась бомбардировкой дома поленьями. Из осажденного дома раздались выстрелы. Пальба привлекла внимание обходных, и кое-как порядок был водворен».

«8 сентября около Исаевой мельницы, за Болотом, состоялась крупная войнишка. Мы уже начинаем забывать про эту народную и вредную потеху, но, к удивлению нашему, в ней приняло участие до 200 человек — кузнецы с Белого озера, болотненские, мухинобугорские и даже отряд татар, на стороне кузнецов. Дело закончилось вничью. Старые знатоки считают, что правильно биться народ подразучился».

«Потерялся сотник из деревни, сопровождавший арестанта, обвиняемого в убийстве. Арестант — крестьянин Кожевников — сам пришел в Сенную часть. Где-то на Болоте сотник занорюнул в трактир и потерялся. Устав дожидаться его на улице, Кожевников самостоятельно довершил свой маршрут. А сотник в конце дня звонил в часть по телефону: дескать, сбежал от меня преступник. Был, натурально, уличен в обмане и сам посажен в кутузку».

«Около 10 часов вечера 29 июня каинский мещанин Яков Михайлович Юровский, проживающий на Загорной улице, в доме Яковенко, 51, выстрелом из револьвера убил наповал свою сожительницу, дворянку Веру Павлову Павлову же. Катастрофа произошла в квартире Юровского. В убийстве он сознался, говоря, что таковое произошло помимо его желания: выстрел

произвел он нечаянно, осматривая револьвер. Пуля попала в левый висок. Юровский часовых дел мастер, от роду ему 21 год, а Павловой около 20 лет. Труп Павловой отправлен в анатомический покой для вскрытия. Юровский арестован. Дознание производится».

«30 июля около 8 часов вечера на Базарной площади собралась огромная толпа народу. Герой водопада Иматры знаменитый канатоходец Аликс Блонден два раза перешел натянутый по диагонали площади проволочный канат длиной в 50 сажен на высоте 7 сажен! Первой пошла его дочь, прошла несколько шагов, но возвратилась — с Потома дул сильный ветер. 1 августа состоялось второе представление. Аликс Блонден, как стало известно, заработал на нем до 500 рублей».

«Пример Аликс Блондена оказался весьма заразителен. Во многих дворах натянуты веревки, мальчики и даже девочки ходят по ним, срываются, зарабатывая синяки и вывихи. Один мальчик даже сломал себе руку. Не отстают и взрослые. На Болоте известный боец-баклан Михаил Андросов натянул канат между двух желтофонарных заведений через Б. Болотную улицу, длиной саженой в 9 и на высоте 6 саженой, и прошел по нему до конца, держа в каждой руке по штофу очищенной, да только, уже сходя, запнулся об узел и свалился на окно дома, выбив изрядным телом своим раму и серьезно поранив себе лицо и руки осколками. Присутствующие, однако, признали, что он выиграл заключенное им с г. Платоновым пари».

И на этой жизнеутверждающей ноте заканчивается наша наивная хроника. Запасы тонкой папочки исчерпались. Впереди — век самого пренебрежительного замалчивания Болота.

Нет сомнений в том, что сегодняшние граждане Болота не читали старых газет — где бы они их взяли? И за отсутствием потребности, не родился здесь свой летописец. Может быть, потому, что время здесь скорей круговое, чем линейное? Но взглядыываясь в наших болотненских современников, коммунистов и либералов, и даже почитателей «Единой России», впавших в телевизионное рабство и вкусивших сладкий мед банкоматов (впрочем, на Болоте почему-то нет ни одного банкомата, и всем, и пенсионерам, приходится выбираться в Город), как-то

понимаешь, что они не помня помнят о былом кипении жизни в здешних пределах (на уровне идеала), как помнили-вспомнили свое ремесло руки у одного обаятельного пьянчужки из трогательного советского кинофильма времен Оттепели.

И, сдаётся, мало что принес нового и симпатичного, по сути, в остатке, этот прошедший, молчаливый к Болоту век его обитателям. Перенеси их туда, и как ни в чем не бывало будут они — с облегчением, словно отряхнувшись — мерно дневать и ночевать под слабый плеск Ишайки и невнятное отбивание часов с пожарной каланчи на Горе, над их головами. Скажем (превеличивая в искусе красного словца) так: Душа Болота осталась прежней, а менялись ее упаковки и фасовки.

В незапамятные времена на Болоте — низине, примыкающей в восточному склону Вознесенской горы, поставили свой дом Сухонины, предки Алеши Сухонина. Тот дом наверняка сгорел, не дождавшись тлена, и другие дома предков сгорели или истлели, пока последний их собственный не отняла большевицкая власть. Он, впрочем, тоже сгорел через пятнадцать лет. Но все эти дома стояли на Болоте, и тот, двухэтажный деревянный казенный дом, в одной из квартир которого родился и вырос и проживает Алеша, тоже стоит на Болоте, на самом его краю, в углу, образованном Горой и речкой Ишайкой, между которыми и тянется сквозняком к дому спуск с Обруба, из центра города.

Место сырое, комариное, речка нечиста и поддает миазмами. Пышный центр города на расстоянии одной выкуренной сигареты. Но туда, в тот «верх», ходят редко и мимо, а оттуда, вниз — еще реже. Здесь высок авторитет алкоголя и картофеля. Здесь еще живут люди — потомственные грузчики, сторожа, экспедиторы — частично не сменившие шаровары на трико с лампасами, носящие как уличную обувь пыльные войлочные тапочки с сердечками на взъеме и называющие все грузовые машины «полоторками».

Нигде, ни в каком другом городе нет такого близкого соседства и такого упрямого взаимоотрицания обыкновенного шика цивилизации и необыкновенной уездной глухомани, пахнувшей печным дымом, трухлявым деревом, черемухой и сиренью, и с беспечным зловонием всякой, как выражалась Алешина бабушка, «дрисни».

Чужих здесь не любят, но и не губят — здесь смотрят сквозь них и могут игнорировать их топографические вопросы. Собаки здесь бесшумны, они молча пристраиваются к самым пяткам чужого случайного пешехода, и бывает, что, не издав ни звука, они, им незамеченные, хватают его за щиколотку и отбегают, ослабляясь, как Ксения Собчак.

Вместе с тем, здесь самый низкий в Потомске процент смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний — научный факт, заставляющий играть лицом университетских мыслителей.

Глава четвертая. **Бабушка и Колокол**

Бабушка начала стареть с большим запозданием, прилично перевалив за 70, но в какой-то год ничего не осталось в ней от того «вечного огурца», как звал тещу Алешин отец, всегда к ней приветливый и почтительный.

Настолько почтительный, что, уходя из семьи по-английски, в начале 90-х, не удержался и с ней одной — не с женой, не с сыном — лично попрощался воочию и вслух. Это произошло летом, в начале июля, он знал, что она возится со своей клумбой у паперти «бывшей» Вознесенской церкви, где временно уже 50 лет квартировал какой-то серьезный архив, не поленился, взобрался на Гору, подошел к ней с чемоданом в руке, встал на колени в траве, без всякой фальши, и сказал: «Прощайте, больше не увидимся!» Кругом никого, солнце, тишина.

Она, с земли, подобрав одно колено, ответила: «Дело твое, а удачи я пожелать тебе не могу, сам понимаешь, не заслужил». Подняла запачканную ладонь, покачала ею, как самолет крыльями, и отвернулась.

И он подскочил и пошел, не оглядываясь, на Соляную площадь, на автобусную остановку. Воскресенье, безлюдье, никого из знакомых он больше не встретил, да и откуда они там. А жена с сыном с раннего утра уехали купаться за мост, на Курью, и жена не позвала мужа, проводя с ним очередной (или уже вне-

очередной) сеанс воспитания чувств. Доехав до вокзала, он хватился, что оставил бинокль. Ладно, получается, оставил сыну на память, чертжалконоладно.

Бабушка вникла в суть дела сразу, потому что ждала этого, предчувствовала заранее, и он знал об этом, ежась иногда под ее задумчивым и, хотелось бы верить, жалеющим взглядом, в котором читалось: «Сбежишь, Коленька, и не прикидывайся Божьей овечкой».

И зять так и не увидел, как бодрая, светлолицая и тихосмешливая Любовь Сергеевна, «Огурец» и «Грибок-боровичок», вдруг взялась подволакивать ногу и жаловаться на рябь в глазах, пожелтела и задышала валерьянкой. И достала из чердачного чулана душистую прабабушкину кофту (доставшуюся той от прапрабабушки) из китайской «чесунчи», чтобы носить ее летом, потому что «застывала».

И эта столетняя кофта, бережно носимая в третьем поколении, смотрелась моложе бабушки.

Как все старушки, она медленно и верно отказалась понемногу от многих дел и забав на свежем воздухе (при том, что телевизор терпеть не могла, ей не нравилось, что в нем «кричат, лают», а не разговаривают). И, в отличие от старушек обычных на данном этапе развития, она резко сузила круг общения — и вволю, охотно, совсем не по-стариковски, спала и досыпала, выключая, не открывая глаз, будильник. Порожного времени оставалось бы много, но, во-первых, ей пригодился оставленный зятем немецкий цейссовский бинокль. Во-вторых, она упорно занималась цветами — той клумбой у паперти, наверху.

Ходить туда, на Гору, было неблизко, утомительно; взбираться по разбитой лестнице, где от ступеньки до следующей уцелевшей нужно едва ли не шпагат делать, было вполне опасно. Но она ходила с апреля по сентябрь, почти каждый день, волокла лейку, тратя по три-четыре часа на дорогу и работу — цветы там ею разводились и весенние и летние, и осенние — последние георгины и астры. А гладиолусов не любила.

Часто цветы топтали и выдергивали. Хорошо еще, что церковный-архивный двор находился на самом отшибе Горы. Она

безропотно ходила, восстанавливала клумбу, втыкая над цветами фанерный щиток с надписью «Цвяты не меть! Пожалуста!» (писал Алеша).

Иногда с ней, по ее просьбе («Что-то хреновенько мне. Вдруг упаду».) ходил, лет с семи, Алеша. И никогда мать. Ее и не просили.

А завела эту клумбу покойная прабабушка, умершая в 1970-м году, и бабушка с детства приучилась ходить туда вместе с ней. А теперь, уже за четверть века, взбирается одна. Меняющиеся начальницы архива одна за другой косили глазом на их блажь, усматривая в ней, как и мать Алеши, какой-то робкий, но все же религиозный протест, но бабушки отвечали начальницам: чем вам плохо? Красоту наводим, и место хорошее. Разве мы вам мешаем? И с грустью смотрели на луковки без крестов, и смягчались начальницы: действительно, что ж?

Где работала бабушка, кем? А прабабушка? — спрашивал себя потом Алеша, почему-то не желая получить у матери точный ответ. «Кем-то», как все, кроме, может быть, педагога-матери, женщины на Болоте. Конечно, работали добросовестно и никогда не подличали, — значит рядовыми. Уж это ясно, это так. И мать, резкая и предвзятая, говорила: «Наша бабушка честнее всех живых. И среди мертвых еще поискать надо такую же». И тут же ругала бабушку — «путаешься под ногами», и критиковала за пристрастие к неочищенному постному маслу — «вонючему, портяночному». Будто сама до сорока лет знала какое-то другое.

Вечно задерганная и усталая, срывающая школьные досады на близких, мать приходила домой, чтобы продолжить работу, садясь за планы и тетрадки перед зудящей, как комар, настольной лампой, и потом спать, свистя мозолистым горлом. Ей, собственно, ничего и не оставалось, кроме того, чтобы избрать по отношению к сыну спасительную тактику «несюсюканья». В жизни часто бывает, что бабушка и дедушка выступают ласковым противовесом между внуком и родителями, заступаются, вытирают младенческие слезы и снабжают ребенка утешительной денежкой бедного пенсионера. Наверное, бабушке и хотелось быть для внука мягкой подушкой, но по каким-то до-

водам разума и с оглядкой на дочь она удерживалась от излишней нежности. Не всякий раз, но удерживалась, может быть, боялась приучить его к жизни на два цвета, разбаловать, помня, что скоро уйдет и внук — не вырос бы беззащитным перед этой новой, загадочной для нее действительностью, которая представлялась ей совершенно недействительной и стремящейся в глад, хлад и мор.

Беседовала она с ним нечасто и коротко. И сама не была говорлива, и он рос молчуном. Чаще они общались глазами и кивками, им хватало. Например, пришел Алеша из школы, встал на пороге — навстречу ему ее глаза. В них юмор. Совпали зрачки — и два кивка: мой руки и садись за стол, обед готов. А вслух: «Привет, бабушка» — «Привет, Алешка».

И рос он настолько ровным, спокойным, даже заторможенным мальчиком, что не было видно в нем ни мальчишеских бзиков, ни опасных переживаний в связи с открытием женского пола. Он не давал повода для всяких предохранительных, спасительных залезаний ему в душу.

Разве что компанейское, обычно, вечернее, глядение в бинокль — на Луну, на улицу, на далекие чужие окна (был грех!), на тот берег Ишайки с восседающими там и там пьяницами — вызывало некоторые совместные комментарии, как бы сверку впечатлений.

— Смотри, как напился — в реку залез по пояс.

— Ага, одетый. Разделся бы тогда. Дурак?

— Ну, а кто еще?.. Чай пьем!

Кладут бинокль и молча пьют чай и молча укладываются спать в их общей комнатушке. Бабушка под ковриком с Иваном-царевичем и Еленой Прекрасной на Сером волке, Алеша — под ковриком с лебедями, судя по их позам — больными.

Бабушка оставалась почти равнодушной к вере, снова же в отличие от других старух, ожесточенных атеисток во всю жизнь и всесторонних богомолков на ее исходе. Не имела иконы и, возможно, не знала наизусть «Отче наш». Ходила в ближнюю, одну из немногих незакрытых Троицкую единоверческую церковь на Горе дважды в год — на Рождество и на Пасху, а на Троицу не ходила. Не постилась, по-своему справедливо отвечая ста-

рухам-соседкам, что наша жизнь Советская без того сплошной пост и находенье в пути.

Но даже блаженно и туповато ненаблюдательный Алеша заметил, что ее взволновало возвращенье храмов, возобновление крестных ходов и какое-то вольное хождение («фланирование») по улицам размножившихся батюшек, о чем ей настойчиво рассказывали другие старухи под доносящийся со всех сторон слабенький на Болоте, но узнаваемый колокольный звон.

(Раньше-то в том же ближнем, но не близком единоверческом храме разрешали стучать в пустой газовый баллон, и такой «звон» до Болота не доходил.)

— Слышишь, Алешка, — звонят?

— Слышу. Это с реки там.

Пауза.

— Говорят, монастырь им вернули...

— Не знаю. А где бинокль?

— Бинокль сейчас мой. А ты учи вон Лермонтова.

— Угу.

И, не возражая, учил: «Над Москвой великой, златоглавою». Учил про себя и выучивал. На «четверку», потому что, помня текст отлично, стеснялся читать стихи с выражением.

Но однажды она узнала, трудясь на своей клумбе, что Вознесенская церковь тоже будет восстановлена, и на ее глазах съехал куда-то архив со всем своим добром, привезли стройматериалы, появился батюшка, настоятель и прораб в одном лице. И надо же, хваля ее за цветы и прося продолжать, он невзначай проверил ее на священное знание, как любят батюшки, спросил, что означает именование церкви Вознесенской. Будучи «нетверда» — на самом деле зная ответ — она «скуксилась» и выступила немогушкой. И он нахмурился.

Зимой поставили кресты, весной ожила колоколенка — и узенький в талии храм, несмотря на то что верхний его придел не был даже оштукатурен, возобновился, встречая Троицу. И бабушка впервые сходила на березовый праздник и сказала об этом матери, натолкнувшись на клоунаду: «Вот радость-то! Вот счастье! Мракобесие нас обступает! Ура!»

Мать была несгибаемой ленинкой, является ею и по сей час.

А бабушка не шибко на нее обиделась, ее мучило другое: за чем-то ей был нужен этот поп, отец Феодор, а после того провала она затруднялась к нему подойти. Ухаживала за клумбой, он проходил мимо, приветливо здоровался, не дожидаясь, что она подойдет к руке, и торопился дальше. Что бы ему остановиться, спросить о чем-нибудь? «Не успел подселиться, а уже балованный, тот ли он человек?» — думала она.

Все разъяснилось в начале осени... 1997-го года, последнего школьного года Алеши. Он был теперь крепенький юноша, светло-русый, сероглазый, с забавным — тонким и курным носом. Умел себя накормить, обстирать и нагладить, а в доме починить, привинтить, провести и соединить, побелить и покрасить. Во все времена, исключая наше, цены бы не было такому юноше.

Бабушка сходила наверх и обнаружила, что все ее цветы вырваны, видимо, ночью (много затоптанных), и, стало быть, сезон для нее закончился до срока. Но к ней, горящей, подошел сочувственный отец Феодор, и они, наконец, поговорили о нужном ей, 77-летней рабе Божией.

Прямо перед ее приходом Алеша вернулся из школы, налил себе супа, но от ужина был отвлечен. В кухонном окошке он увидел на другом берегу Ишайки двух мужчин, которые пили вино, сидя на поваленном стволе под мелким дождичком, не переживая из-за дождичка, намочившего им пресловутую газетку и что-то закусочное на ней. Алеша взял бинокль.

Закусывали мокрыми сыром и вареной колбасой. Вино представилось портвейном «777», слишком дешевым и грубым для этих приличных мужчин в костюмах и галстуках, и при двух портфелях у их ног. Хотя, с другой-то стороны, забравшиеся в эти нечистые, осененные божьями заросли на берегу нечистой речки люди по определению должны пить портвейн. Не коньяк же, закусывая его лимонами и шпротами. Сам Алеша не пил и не закусывал, как уже приспособились его одноклассники. Но нагляделся, он жил на Болоте.

Алеша был потрясен тем, как общались — не трепались, не выли на судьбу — именно беседовали, разговаривали эти пришельцы из мира иного. Именно беседовали, спорили, кар-

тинно вскидывая руки, восклицая и с некоторым торжеством дожидаясь ответной реплики. И посвящен их искрящийся разговор был вне сомнения материям серьезным, в том числе, с какой-то высокой точки зрения, и Болоту (!), поскольку они нередко обводили руками противоположный им берег, привлекая болотные смыслы каждый на свою сторону. А писать отходили в сторону, подальше, прятались!

А пили плотно, с настроением, и у ног их лежали две пустые бутылки, третью уполовинили, четвертая, последняя, дожидалась вскрытия, высовываясь из портфеля. Да, когда, выпивая, затягивают разговоры болотненские обыватели, это кончается дракой. Эти — не подерутся!

«Товарищи ученые», вспомнил Алеша. Серьезные люди, счастливые люди. Работают, когда хотят. Им надо — и выпивают сегодня часов с 11-ти.

А пришли сюда — там им, наверное, плохо.

В наименьшей степени подивило Алешу, что оба эти немолодые мужчины были на кого-то похожи, и похожи, как говорится, с оплаченным ответом.

Похож на кого-нибудь каждый человек. Но если болотненские люди походили на других, то речь шла о перепутывании обыкновенных людей до «извини, брат, обознался», в общем просторе безвестности. А эти двое выделялись мандатно. Тот, кто постарше и пониже — прищур в глазах, скулки, бородка, лысинка, енотовый нос, — был вылитый Ленин, и виделось кошунственно-веселое в том, что он пил портвейн из пластикового стаканчика, удобряя себе усы и бородку. А вот второй, повыше, помоложе, поджаристый, узколицый, черноглазый, с длинными черными волосами, был, можно сказать, похож еще больше, но на кого — не мог себе Алеша уяснить с его бедным историко-культурным опытом. Но похож, похож, на таких людей оглядываются безразличные прохожие в городской спешке. Гоголь? Не Гоголь... Историческое лицо! Вон как шею-то гнет, словно Москву с бережка видит...

И тут на своих полутора ногах прискакала бабушка. Умылась, отобрала у Алеши бинокль и усадила за остывший суп. А сама села напротив и сказала:

— Не знаю, нужно это тебе, нет ли, а должна посвятить...

Только что она открылась отцу Феодору в том, что не случайно, не по прихоти она десятилетиями содержала клумбу в его владениях, и клумба эта старше отца Феодора.

Сто лет назад на месте этой клумбы высилось надгробие, и похоронен в этой земле ее дед, а Алешин прапрадед Алексей Афанасьевич Васильков, купец-миллионщик. То была большая честь, и он ее заслужил своей неусыпной заботой о храме и тем, что он поставил там, на Горе, в ограде Вознесенской церкви, Благовест, главный колокол города, обошедшийся ему в целое состояние.

Конечно, он был хороший, правильный человек, проживший век на Болоте, оно его не отпустило. Водки не пил, много молился, любил пить шаровой чай со сливками. Жил без излишеств, питал извинительную страсть к народным барнаульским полушубкам, черненым до лакового блеска. Этих полушубков он имел большую коллекцию.

Умер он преждевременно, через пару лет после установки Благовеста — простудился. За могилой ухаживали прапрабабушка с дочерью, потом прабабушка-дочь с бабушкой-внучкой, теперь она, просто уже бабушка. В конце 1934-го года церковь отменили и разорили, сбили кресты, опустошили звонницу, разбили и увезли кусками Благовест. А могилу Василькова сравняли с землей, увезли и где-то выбросили крест и могильную плиту с надписью, как ни просила прабабушка-дочь выдать их ей. Что им слезы сиротские! Еще и грозили.

С весны 1935-го года вместо могилы появилась клумба. В те годы, довоенные, ее мало зорили, зато густо засыпали папиросными окурками.

— А мама знает? — спросил Алеша.

— Не знает, — ответила бабушка, — зачем ей знать, что она потомка миллионщика, себе дороже. Тогда и после ей это навредило бы. Сама бы переживала, — почему-то засмеялась бабушка, холодным смехом, — от неправильных кровей, корней. Думала я, думала, а пока думала, она — в комсомол! А в партию подалась — и вовсе помалкивай. Еще бы нам запрет выписала. Живи, дочь, подсказать тебе уже некому — давно все позабылось, кто знал — в могиле сырой лежит под звездочкой. Жив еще Исакыч древнейший, да наверняка забыл, ему-то, в его со-

стоянии, свое имя бы не забыть. Он, злейший, знал, но нас, купечен, не преследовал. Другим-то от него доставалось! Все-таки исконный, болотненский, соблюдал честь соседства, а сажал городских, образованных... Может, нас и остерегался: мы тоже кое-что про него знали. Никакой он не Коркин, а Карукис, и дед его родной тоже был буржуй, помельче Андрея Афанасьевича, но выжига тот еще. Мамочка говорила!

И тебя Алексеем в честь прапрадеда назвали, я настояла назвать, по мамочкиному завещанию. За сто лет рождались одни девочки, фамилия ухнула. И ты первый потомок мужского пола.

— Во как! — сказал Алеша, вытаращиваясь и зачем-то сжимая кулаки. У него и в мыслях не было, что он будет модно хвастаться предком-миллионером. Он вообще-то с окружающими общался одними ушами, молчун. Но он почувствовал, как вокруг него сгущается время, словно он выпил кружку чифирия (пробовал, угощал младший Дьячков).

— Раз теперь можно, я поговорила с отцом Федором. Говорю ему, что жить мне недолго, и на кого я такую клумбу оставляю? Не на внука же — на тебя? Нет, не твое и не мужское это дело. А, может быть, по справедливости, и восстановить могилу удастся? Говорю, а сама боюсь, что он решит дедушкин прах перезахоронить. Где-нибудь у черта на куличках, по христианскому честному обряду? Не согласна! Заслужил Афанасьевич вечный сон у храма.

— Что сказал поп? — перебил Алеша.

— А он сказал, что тут тонкости, надо спросить у владыки, у епископа, он все один решает, но по-человечески и по-божески хорошо бы могилу восстановить, да. Но надо подождать — сейчас ни времени, ни средств не имеется. А у нас с тобой они откуда? А клумбу он в любом случае не бросит, обещал, если что...

— Не обманывает, думаешь?

— Непохоже. Сказал еще, что молиться будет по расписанию за раба Божиего Алексея.

Так и не притронулся Алеша к холодному супу. Бабушка пошла подремать, а Алеша, схватив кусок хлеба, подошел к окошку.

Те двое ушли, исполнив свой урок. Небо прояснилось. За-

катное солнце и закатная речка с двух сторон золотили четыре мокрые бутылки, художественно поставленные в ряд на берегу. Казалось, они снова полны.

В бинокль Алеша разглядел, что вокруг ствола ивы над ними тонко змеится что-то от рук человеческих, темное и с искорками. Что такое? Он хотел сесть за уроки, но любопытство победило. И он не поленился сходить, сделав приличный крюк — через Обруб, через Каменный мост над Ишайкой и по тому берегу налево — на то место.

На иве был привязан... галстук, новый, темно-фиолетовый, в серебряную крапинку. У Алеши одна из его рубашек была лиловой. И он, посмеиваясь, отвязал галстук, забирая его в свой гардероб.

Но и на этом не исчерпались арабески памятного сентябрьского дня. Подходя к родному дому, обшарпанной «деревяшечке» в два этажа, с трещиной на торце, с битым стеклом, подклеенным изолентой, кое-где в окнах, со словом «жопа» на двери подъезда, вырезанным чьим-то ножом три года назад (и жильцам было «все равно»), Алеша увидел, что окно во втором этаже второго подъезда (он жил в первом) открыто, и оттуда доносятся знакомые, привычные постановивания Исакыча. Как всегда, старик Исакыч, ровесник бабушки, ближе к вечеру проснулся на обед — поест, подышать свежим воздухом и снова заснуть на сутки. Чему уже семнадцать лет.

Алеша имел с Исакычем мистическую связь. Исакыч впал в свою спячку летом 1980-го года, в день своего окончательного выхода на пенсию и в заключительный день Московской олимпиады, в момент, когда отчаливал в небо Миша-талисман.

В этот же день, согласно пьяной болтовне сбежавшего Николая Петровича Сухонина, был зачат Алешка, которого отец называл, лицемерно глядя по макушке, Олимпийский Алешка или Мой Олимпийский Талисман. Отец был пошляк.

Алеше не по душе было, что он знает об этом и вынужден об этом думать, но куда деваться: окно регулярно открывалось при нем, иногда и жена Исакыча Тамара Георгиевна просила его попутно купить для них буханку хлеба или что-нибудь еще — и он вспоминал и думал.

Самого Исакыча он видел дважды, заноса заказанное, когда Тамара Георгиевна оставляла открытой дверь в «зал». Там на диване почивал прибранный, чистенько выбритый седой и смуглый старичок.

Когда выяснилось, что Исакыч фантастически заснул, единожды в день подымаясь — сам, с отчужденным взглядом, для кормления (ел сам, ложкой и опрятно), — в квартиру Коркиных набежала медицина с ученым блеском в глазах; академики эти шумели и водили сюда делегации, и даже студенческие группы. Объясняли, что эта загадочная сонливость наверняка вызвана двойным потрясением, пенсионным и талисманным, у Б. И. Коркина все показатели в полной норме, он здоров, как бык, а помочь ничем не могли. И важные гости из столиц не могли.

Тамара Георгиевна сообразила, что наука бессильна, и прекратила утомительные визиты. В течение семнадцати лет раз в квартал (с перерывом на 91—94 годы) приходят избранные ученые лица с мелкими приношениями, берут на анализ кровь, мочу, кал, измеряют пульс и давление, слушают легкие. Восхищаются. Сначала ходил Дмитрий Сергеевич, потом Михаил Моисеевич, потом Алдар Дондопович, сейчас — Елизавета Максимовна. Все были молодые, задорные, и все, похоже, защитили диссертации на Борисе Исааковиче.

А он спал и спит, не доставляя любящей жене больших хлопот, и этот сюжет, некогда взвившийся над Болотом, оброс обыденностью, рутиной. Очень редко, с интервалом в год, кто-нибудь из одноклассников спросит Алешу: что, жив еще сосед, спит? Жив, ответит Алеша, спит. Сколько ему? 74, 75, 76...

А взрослые скажут: счастливый. Может, доспится до хорошего. И пенсия, поди, офицерская, и ученые, поди, мясо приносят, и все проспал, не ведая наших мучений — и перестройку, и ускорение, и ваучеры, и Ельцина переспит, дай Бог.

Действительно, Исакыч существовал отдельно, ел борщ и жаркое, не вмешиваясь в струи жизни, в ее скверную явь, не глядя и на жену, не отвечая ни на какие вопросы и не спрашивая ни о чем. Он торопился поесть и торопливо валился на диван, уже зевая. На все про все — десять минут. Сохранял

ли он способность к речи? Помнил ли прожитое? Если да, если видел сны, то они могли быть очень разнообразными, богатыми, но упирались в лето 1980-го года, в черно-белые Лужники, когда он, не допив стопку, сказал: «Полетел!» — и лег бочком на диван, последним сознательным движением поправляя подушку.

Водка давно испарилась, но ту стопку Тамара Георгиевна хранит, в робкой надежде налить в волшебный миг ему свежей, ледяной беленькой в нее же.

А пока водку как бы за него пьют два соседа, Тараканов и Бычков, порознь и вместе. Потому что, разгулявшись и истратившись, они стучатся к Георгиевне и просят до полочки займы — рубль, десятку, столичный, согласно состоянию валюты, и это называется «занять у Исакыча». Георгиевна не отказывает из суеверия. («А если не хватит?» — «Займем у Исакыча!»; «Вчера сообразили на троих...» — «А кто был третий?» — «Исакыч всегда с нами!»). Между прочим, прежний горделивый Исакыч ни за что не согласился бы выпить с ними, побрезговал бы ими, пустомелями.)

Внук негоцианта Карукиса, Борис Исаакович был сыном красного командира Коркина, сложившего голову в Каракумах, в погонях за басмачами. Трудился Борис всю жизнь в «органах», в войну был особистом, командировался в «Смерш» и т. д. В отставку уходил полковником-орденоносцем.

Впечатления кровавого сталинского палача он не производил, возможно, отдав дань эпохе, и на героя не был похож, возможно, будучи им в лучшие дни биографии. Но герои выглядят скромно. Доволен ли им был Сатана, или сердился на него?

Рвачом не был безусловно, проживая жизнь в скромной квартире, в доме, где унитазы внедрились лишь в 1978-м году, а до того, как и все, пользовался деревянным сортиром во дворе. Единственно, что лично врезал в его двери замки и убедил соседей, что это будет хорошо, с ключом. Кажется, этот пример для СССР уникален.

Обстановка в его квартире вызывала, конечно, зависть болотных соседей — что ж, мог себе позволить. Телефон — ответственное лицо. Но ни машины с гаражом, ни дачи у него

не имелось. Много тратил на сына, купил ему кооперативную квартиру, обеспечил. Сын выучился на физика-ядерщика, делал крупные успехи.

Борис Исаакович был предан партии. Над диваном у него висел портрет Ленина, тот, где вождь в Смольном трудится за столом, кисти Бродского.

Нельзя не сказать о том, что он был очень жизнелюбив. Очень возможно, что даже и стал погуливать на сторону, когда поблекла Тамара Георгиевна.

В годы перед второй, общей пенсией он, уже кадровик на закрытом предприятии, записался в тамошний казачий хор, где пел, подыгрывал на ложках и бил в бубен. Завел себе чуб, сшил себе, или выдали ему, казачий верх, а сапоги и галифе с лампасами у него береглись с войны. Поздно приходил домой, не ужинал. В этом хоре пели молодежавые пышные женщины, они звонили ему домой по творческим вопросам. Тамара Георгиевна нервничала. Догадалась соблазнить его хорошей домашней выпивкой и научилась делать пряную буженину на закуску. Стал шататься пореже, но и буженина пропадала — в чужих напомаженных устах...

И он не знал, что в 1986 году его сын Аркадий, синеглазый красавец, командированный на строительство АЭС в город Сьенфуэгос, Куба, сошел с женой и сыном в аэропорту Гандера, Канада, предав Советскую родину.

С 1991 года Аркадий присылает им деньги. А вот навестить родителей ему не разрешают его американские хозяева, он там фигура закрытая, да и сам он, видимо, опасается встречи с Россией.

(Внук к своим 30 годам уже подтянулся к миллиону, он работает в компьютерном бизнесе, и о нем пишут в американских газетах, но об этом в Потомске никто не догадывается. Узнают позже и расскажут Тамаре Георгиевне, и она упадет в обморок, и будет ждать его. Дождется ли?)

О путях-перепутьях потомков Коркина Алеша, как и все, не знал. Тамара Георгиевна, когда-то строго предупрежденная, помалкивала.

То немного, что ему было известно об Исакыче, промелькнуло в юной Алешиной голове, когда он, под легкие стенания

питающегося соседа, методично выкуривал сигарету у дверей своего подъезда. Он выкуривал пять сигарет в день, эта была четвертой.

Закончил, посмотрел с сомнением на порыжевший фильтр, бросил окурочок в ямку, в тысячный раз прочитал «жопа» на двери подъезда, хмыкнул и пошел домой.

Бабушка уже отдохнула, вязала ему жилет, он подсел к ней, доставая на показ галстук. И вдруг — громкий стук в дверь, на пороге Тамара Георгиевна, маленькая, кудри дыбом, в халате и вьетнамках на шерстяной носок, в чем была, в том и прибежала.

— Борис Исаакович сказал слово!!!

Они остолбенели.

Поевши и укладываясь, он посмотрел в сторону супруги и сказал: «Правильно». И заснул.

Это было событие! Это была надежда!

Какой получился вечер — эмоциональный, с живописью! Алеша с бабушкой и подросшей матерью (та так и бегала в шляпе) двинулись к Коркиным (косясь на недурные «остатки былой роскоши»), разглядывали Бориса Исааковича, зывали к нему... Увы, он спал как спал, и на лице его читалась мина исполненного долга.

То-то было разговоров, то-то спалось им самим, то-то не спалось Тамаре Георгиевне!

Но... шли месяцы, и Исаак молчал, ел, очень опрятно. И не видел жену.

Но... через три месяца он вновь как-то рассмотрел жену и сказал: «Тамара!»

Еще через три месяца он ободрительно сказал: «Подойдет!»

Еще через четыре: «Семенов, Семен Сергеевич».

Потом Алеша отбыл в армию, и пока он там взрослел, Исаак говорил дважды, и уже подлиннее: «Этот Рейган» и «Вот это параша!»

И по сей день в установившемся ритме он приветствует жену. Все слова Тамара Георгиевна записывает. Вот они, на сентябрь 200... года.

«Сынок, ты умница!», «В Доме офицеров, в шесть», «Курить вредно», «Ну, заяц, погоди!», «Мао Цзэдун откинулся»,

«Нит гедайге, Кацеленбоген!», «Под знаменем марксизма», «Рацию взяли? Взяли рацию...», «Это идут барбудос», «Электрон, позитрон, нейтрон», «Пригни голову, свистит», «Это, я вам скажу, грудь!», «Под знаменем ленинизма», «Молчишь? Молча сдохнешь», «Днепр какой холодный», «А я люблю Тamarу(!)», «Обезьяна чи-чи-чи: кто такие басмачи?», «Я тебя не брошу, я доволоку!», «Семнадцать мгновений весны», «Потепления не будет».

Алеша окончил школу и устроился работать грузчиком в новый магазин «Продукты Аккорд», в двух шагах от дома. На Болоте его уже заметили: есть мальчишка, честный, не пьет, не гуляет, малость не в себе, рот на замке. И хозяин магазина, Ильдар Сейдиахметович, сам пришел приглашать его на работу. Неизменно хвалил его за труд, спрашивал его, почему он не татарин, был бы зятем, и передавал приветы матери.

Внезапно умер от инфаркта отец Феодор, бабушка ходила на клумбу и подружилась с новым батюшкой, отцом Святославом. Ясности с могилой прапрадеда по-прежнему не было. Однажды храм навестил новый владыка, молодой еще, изящный, тонкокостный, с необыкновенной узорной речью. Бабушку смутило, что он, невысокий и хрупкий, носит обувь где-то 47-го размера. Он заметил ее явное, бестактное смущение — знала бы она, как он сам стеснялся величины своих стоп!

Она подошла к нему. Мне известно про вашего достойнейшего дедушку, сказал ей владыка, но надо подождать. Потерпите. Никуда мы его прах не отдадим. Восстановим могилку. Но сами знаете — дефолт.

Дефолт, дефолт, закивала бабушка, а сама подумала: ну, опять двадцать пять! Глупые мои глаза, куда вы устались, он обиделся.

Вскоре ей сообщили, что он по телевизору фактически рекламировал, воспевал местную минеральную воду «Альфа», что-то там (скважину?) освятив. И она сказала себе: долгий ящик!

Мать назначили директором школы в Заозерье. И она вовсе превратилась в призрак собственного дома. Бывали дни, когда Алеша ее вообще не видел.

Потом Алешу призвали в армию. На комиссии с ним дольше всех беседовал психиатр, то кривясь, то хихикая на его ответы, и психиатр спросил, не пытается ли косить Алеша? В смысле — закашивает? Алеша искренне сказал, что со зрением у него все в порядке, он всесторонне здоров и много чему обучен и хочет в армию. Психиатр даже подпрыгнул, сказал врачихе-соседке, что теперь сомневается в психическом здоровье этого паренька. И сказал: «Совершаю преступление», написав в нужном месте «здоров» или «годен».

Пока Алешу в городе Кургане учили ходить строем и давали подержать автомат, умерла бабушка. Легко, не боля, во сне.

А потом он оказался в горах Дагестана, провоевав один день. При высадке под обстрелом из вертолета по кличке «Корова» его страшно контузило. Несколько месяцев он провалялся в госпитале в Моздоке, учась вертикально ходить и внятно говорить. Матери, по его просьбе, про его страдания не сообщили.

И вот, на пороге нового века и нового тысячелетия, он вернулся домой, необыкновенно обрадовав мать и обрадовавшись ей. Обрадовался Ильдар Сейдияхметович, позвал на работу. Алеша согласился, но предупредил: временно, у меня свои планы. Ильдар тоже согласился и передал привет маме.

Алеше было грустно и приятно, что за бабушкиной клумбой так же старательно ухаживают другие старушки. Они объяснили ему, что под цветами лежит прах богуугодного человека, купца Василькова, его могилу скоро восстановят.

А Борис Исаакович все спал, взаправду переспав Ельцина.

И в квартире номер семь, напротив коркинской номер восемь, подросла одна девушка, на которую Алеша не обращал до армии никакого внимания и для которой он собрал на днях целый пакет крупных, алмазно-синеватых градин. Град был небывалый, баснословный! Град лежит в морозильной камере, дожидаясь своего часа.

Глава пятая. Дом на Болоте

С утра, после восхода, заберись на новодельную каланчу на Вознесенской горе, встань у перил рядом с бессонным манекеном пожарного, что торчит там, покрытый крупной росой. Сначала, вместе с пожарным, посмотри на запад, на главную площадь Потомска, где одноименный с ней памятник уже призывно выкинул правую руку: «К новым свершениям, товарищи!» Он не оглядывается на Иверскую часовню, точную копию московской, восстановленную десять лет назад за его спиной.

А металлический ангел над часовней смотрит на него укоризненно, и один верующий потомский лозоходец уверяет, что под этим взглядом памятник отдаляется от часовни на пять сантиметров в год к юго-западу и отъехал уже на полметра. Он замерял.

Тогда часовню освящал сам патриарх Всея Руси, которому пришлось делать вид, что он не замечает вопиющего соседства ленинской статуи. Но его сокрушенное внимание к ней прочитывалось в его тяжелой поступи, в посадке львиной, тургеневской головы, в умном и цепком, перебегающем статую взоре.

Каждого из многих потомцев, которых огладил этот взор, умилило, что его увидел, выделил, выбрал в толпе патриарх.

С юга на север тянутся — со стороны берега, вдоль площади — Серый дом, подпертый парой кирпичных особнячков-редутов, торговая серая коробка областного драматического театра и свежее розовое мороженое Богоявленского собора, ныне кафедрального, и однодворной с ним духовной семинарии. К спеху и звон, негромкий, но отчетливый, летучий.

Между этими китами фрагментами блещет утренняя Потома, с единичным на ней пятнышком сажи — резиновой лодочкой с болванчиком-удильщиком.

Площадь уже гудит и взвизгивает, и трясется. Несутся косяками автомобили, автобусы, троллейбусы, и торопятся по тротуарам люди трудовой спелости, и иные дамские каблуки так отбивают по звонкой плитке, что их стук доносится до каланчи.

И по небу еще расплывается рыхлая золотящаяся полоса — след от вылетевшего в Москву самолета.

А теперь, расставшись с манекеном, привязанным за руку к перилам, перейди на восточную сторону каланчи, навстречу солнцу.

Под тобой молчаливое Болото — бледно-зеленые и бледно-бордовые крыши двухэтажных домов, в основном деревянных, но по берегу Ишайки есть и четыре каменных, все возрастом от 60 до 120 лет. Среди них найдешь три избранных терема, наивно отреставрированных. Солнце разливается по семи улицам и переулкам, лишь дальняя половина дуговой Загорной, прикрытая Горой, еще час будет упрятана в густую тень.

Провода частично отвлекают взор, подрагивая от ветерка и дружных стрижинных присаживаний.

Первой здесь просыпается, как правило, бухгалтер Анастасия Юрьевна, знающая слово «Шамбала». Она обегает все Болото, тем самым благословляя его на пробуждение. Изредка ее опережают местные алкоголики (бомжей здесь нет, их здесь лупят, и это им давно известно). Пьяницы могут бесцельно и одиноко шарахаться по улицам, подавая голос. Или наоборот, один, за ним другой, очень осмысленно, по кратчайшей, направляться к задней двери магазина «Продукты Аккорд», где их, как паука, дожидается сторож. Первые завершают затянувшийся старый день, вторые начинают новый, полный простых пантеистических удовольствий и огорчений.

Выходят на улицы школьники, собираясь в две струйки — одна течет к лестнице на Гору, другая — мимо Алешиного дома на Обруб. Дети учатся в двух школах, а своей школы на Болоте нет.

Просыпаются три магазина (привет, в частности, Ильдару Сейдиахметовичу, вот он, командует) и узбекская харчевня (дым на дворе).

Спешит выехать к магазину на своей ухающей филином коляске инвалид Павел Васильевич, чтобы не упустить скудную утреннюю дань.

(Хулиганы Болота проспят до обеда.)

И наконец выходят взрослые, торопясь во всех трех направлениях на работу. Их не так уж и много, их можно запомнить и узнавать после нескольких утренних сеансов. С ними пересекаются бабушки, идущие за хлебом, за молоком. Их запомнить еще

легче, за постоянство в одежде и неповторимость в походке.

А вот и Алеша вышел из-за угла, озираясь на кого-то. Он идет к Обруббу, а не к магазину «Продукты Аккорд» — у него теперь другая работа, за Ишайкой, в новых домах на Уржатке и Юрточной горе. На нем ветровка, джинсы; поблескивают туфли (он не признает жарких кроссовок); на светлой голове дивный пробор, от которого не останется и следа, когда он поднимется на сквозняк Обруба. Выходит, он причесался ради первых пядей пути.

Сейдияхметович, толстенький и маленький, в пятнистой толстовке, уже успел сесть в свою «Ниву». Он догоняет на колесах Алешу, тормозит, бибикает, приветливо с ним разговаривает. Снизу доносится: «Очень прошу, передай привет маме». Алеша кивает. И они — машина с Сейдияхметовичем и Алеша — исчезают из поля зрения. В то же мгновение подает голос звонница Вознесенской церкви.

Можно спускаться с каланчи.

...Дома на Болоте старые, ветхие. Если их в кои веки ремонтировали, то халтурно, навскидку; сами болотненцы в это дело не вмешиваются, не располагая свободными капиталами, ибо живут от получки до получки, занимая друг у друга на «дотянуть». Летом — не каждым летом — они белят стены и потолки и что-то выборочно красят внутри квартир. Среди них хватает снобов: сломав, например, путем падения поскользнувшегося пьяненького тела пару подгнивших ступенек на крылечке, такой сноб ни за что не будет исправлять свой грех из одного пролетарского высокомерия, а сердитым соседям сделать это за него будет «впадлу», и крылечко-капкан простоит нетронуто годы. А нужно всего лишь прибить пару досок, которые даже покупать не нужно — их можно выпросить или стянуть у реставраторов, высмотреть во дворах новостроек на Горе.

В большинстве домов есть паровое отопление и холодная вода, в половине грохочут унитазаы — и все дома щелясты, с трухой, сыроваты, плохо держат тепло и протекают. В иных квартирах установлены подпорки, атлантически страшующие ноздреватый потолок.

Жители Болота недовольны своим квартирным вопросом (или ответом) и энергично, с полуоборота заводятся на воз-

мушение тем, что можно всю жизнь проработать «как проклятый» на самой черной работе, а ничего не изменится в допотопном быту.

Но не все здесь просто и однозначно. Болото есть заповедник древнего, здорового и противоречивого славянского мироощущения.

Когда в Потомске развернулось движение в защиту многочисленных, славящих город памятников старинного зодчества и большой исторической ценностью налилсь эти, так сказать, от века самопроклинаемые домишки (а ведь даже и неказистые, они образуют маленькие слободки — окна в прошлое — и надо их беречь как фоновую застройку), на Болоте появились энтузиасты, толкующие аборигенам, как душевно, гармонично они живут. Что может быть лучше жизни в деревянном доме? Он дышит, он лечит без лекарств, он поет. Мы на пороге лучших времен, говорили искренние энтузиасты, ваши дома отлатают капитально, и заживете вы лучше всех. И губернатор, И. Т. Нарымов, сегодня обратил на эту проблему свои зоркие очи. Нужно немного потерпеть — и весь город будет вам завидовать!

Болотненцы, искушенные в науке потерпеть, сильно негодовали, сатирически спрашивали у энтузиастов, в каких условиях обретаются они (как назло, жили они по прозаическим стандартам новейшей эпохи), а на самого увлеченного ревнителя старины яростно замахивались топором и спустили его с вековой деревянной лестницы, кувырком со второго этажа на первый.

С другой стороны, попробуй обругай их жилища, их уклад! Был характерный случай, когда в компанию выпивающих у магазина «Продукты Аккорд» затесался двоюродный брат болотненского Мишки Пухова, высокомерный вахтовик-нефтяник, живущий в новом микрорайоне «Солнечный», где-то у черта на задах.

«Как вы живете, — сказал он, — в конурах, в дерьме живете! Ни школы, ни поликлиники, ни садика, ни автобуса, и одна баня на всех. Чтобы так жить, какими надо быть пентюхами! Бросайте вы это Болото вонючее, шевелите-ка броднями!.. Да, видно, слабаки вы, лентяи, тормоза! Смотрите на меня — я, я, я...»

И тут он услышал и про преимущества деревянного дома и соседственной жизни близко к земле, и про центр города, и про

то, что «мы тут все нечужие, а вы там с соседями дверь в дверь не здороваются», и что «мы века здесь живем, а вы затычки и перекасти-поле, крошку хлеба друг другу пожалеете. У вас там шайки и криминал, а у нас одна хулиганка, и та по естеству, из-за баб или по пьяной лавочке».

(И то: те местные жиганы, что просыпаются к обеду и долго, покуривая косячки, ритуально сидят на корточках посреди заплеванных ими тротуаров, бесплатно нюхая выхлопы пролетающих машин — они, по древней традиции, воровали и хулиганили по-злому в Городе, на стороне, а на Болоте были «свои», «ребята с нашего двора».)

— Деревня! — закричал потерявший бдительность двоюродный брат, и это была роковая ошибка: деревенским-то еще вчера был он, а люди с Болота чтили в себе многоколенное, эталонное горожанство. Ему «напихали» — и под глаз, и под дых, и по шее, не тронув только «помидоры»; Мишка Пухов дважды пыром пнул брата по окорокам. И, в завершение, не утерпел правдивый инвалид Павел Васильевич, подъехал поближе и уязвил его в спину своей знаменитой палкой.

Потом опомнились, пили мировую, гладили по спине, и морщил, смущенно хихикая, двоюродный брат свое желто-фиолетовое лицо: чего-то я не понял, чего-то не смекнул. А дружные вы... (И всерьез думал с похмелья о переселении на Болото, пока не встретился через сутки с женой.)

Когда Алеша служил в армии, матери, как директору школы и человеку, умеющему за себя постоять, выделили — редчайшее тогда событие — трехкомнатную квартиру в новом доме на втором Каштаке, по дороге на Психбольницу. Неслыханно!

Квартиру давали на четверых, включая и невыписанного доселе с Болота и бумажно не разведенного с матерью отца, чей след простыл навечно. Квартира была улучшенной планировки, с двумя лоджиями и просторной кухней.

Сначала мать впала в состояние, близкое к гражданской экзальтации декабристского типа. Бабушка приняла эту весть с обидным для матери двуличием: на словах радовалась до юродства, а на самом деле сомневалась и сожалела. Начихать ей было на горячую ванну! С этим и умерла. Мать очень переживала, что

там — убивалась по ней, и после поминок вечером привычно съездила на стройку, посмотреть, нет ли подвижек.

Приблизился день переезда. Вернее, ночь, потому что мать назначила переезд на 20.00. Стоял апрель, в 20.00 на Болоте было темно, хоть глаз выколи. И мать была озабочена тем, чтобы болотные люди не позавидовали ей при свете дня, не сглазили, и чтобы не увидел никто бедные пожитки семьи Сухонинных. Берегла честь фамилии. Древней, но чужой.

В отсутствие Алеши помогать ей собирались Ильдар Сейдияхметович и соседи Тараканов, Доукша и молодой Дьячков. Главным был Сейдияхметович, обещавший подогнать свой фургон с надписью «Совтеро плюс», оставшейся от прежних владельцев. Он сам предложил помощь, сказав, что очень уважает Ираиду Петровну, воспитавшую такого хорошего сына. Мать тогда сделала вид, что у нее действительно есть такая заслуга.

Будучи человеком нетонким, прямолинейным, «из ряда скроенным», она не понимала этой почтительности Сейдияхметовича как чрезмерной и подозрительной.

(Ей приходило в голову, что в свои 47 лет она, безвозвратно попросившаяся со своей молодостью в 25, может представлять личный интерес для мужчины. А уж немолодой восточный человек тем более может быть охоч до нее, статной славянки. И вполне развратно охоч. Она не знала, что выросший без матери и не дождавшийся сына Ильдар, как восточный человек, возвышенно ценил порядочных женщин, не взирая на национальность, и был по-хорошему сентиментален.)

За несколько дней до назначенной даты она на прощанье обошла Болото, охваченное торопливой весной, переживая и ужасаясь, как мало, плохо она его знает и помнит, десятилетиями загнанная в свою работу, как белка в колесо. Она рассматривала его из своего детства, и даже слезы выступили у нее на глазах, когда она подошла к Костровому месту и узнала его, неизменное, наверное, во все четыре сотни лет. Она вспомнила, как, красуясь перед нею, научно копал там яму, пока не одернули и не заставили засыпать, ее первый ухажер, случайный и ненадежный, студент-археолог Зосимов — и все была зола, зола, сплошная зола.

И неузнанный обтрепыш-сверстник походя поприветствовал ее у старой разрушенной бани: «Здорово живешь! Однако, Ираидка? Привет, директор!» Он знал о ней последние новости, а она и не сообразила, кто он: одноклассник?

И совсем разомлела Ираида Петровна, когда присела на поваленную старую иву на берегу Ишайки, посмотреть, как бежит вода, послушать весенних птиц. Грачи прилетели! К ней подбежал лохматый пес, всем, кроме нее, известный Пузырек, и положил ей голову на колени. Здешние девчонки-малолетки приплели Пузырьку на голову, на спину, на бока и на хвост разноцветные бантики, и выглядел он ветераном цирка.

Она тоже когда-то привязывала бантики уличному псу Никитке. В честь Хрущева был назван пес: у него была круглая, чаном, башка с самой настоящей плешью. И нрав соответствующий.

И мать подумала: ТАМ район плохой, люди чужие, современные; опять же — «далеко» (от чего далеко? До работы ей оттуда, заметим, было бы ближе). Отсюда в театр пешком дойдешь, сумочкой помахивая. Одно удовольствие. Или на фонтан. (Когда она последний раз была в театре? В 1977 году, на спектакле «Сталевары».)

И подумала о том, что вдвоем с Алешей им в старой квартире, где «зал» метров в 12, где еще две комнатки-пенальчики и кухня-«пытошная» (согласно бабушке), места хватит с избытком. Опять же дом деревянный. Хорошо. А Алеша с его вялостью, чистотой и робостью вряд ли расщедрится на семью, на внуков. А сподобится — так очень нескоро.

И само Болото... — эх ты, Болото, почто не отпускаешь? Или — спасибо, что не отпускаешь?

Необязательно знать древний миф об Антее, чтобы быть таким, как он.

Переезд не состоялся. Сейдиахметыч поддержал тогда мать, а Тараканов, Доукша и Дьячковы ее осудили. А Тамара Георгиевна сказала ей, что она обязательно увидит, как проснется Исакыч.

Мать жалела и жалеет о своем отказе, но как-то несерьезно, как это бывает при чисто теоретической свободе выбора. Говорит, что если бы дело было зимой или поздней осенью, она бы не дрогнула.

Вернувшийся Алеша воспринял эту весть радостно. Пронесло! Правда, контузия еще давала о себе знать, и настойчиво.

Квартира досталась другому директору, молодому прохвосту и чьему-то племяннику.

Третий год на Болоте с уважением и восхищением толковали о дуре, отказавшейся покинуть родные кочки.

Выходит, есть еще люди, для которых не пустой звук вековое наставление: «Не должно оставлять наследственный дом, как не должно оставлять своих беспомощных стариков-родителей».

А можно ли называть наследственным домом наследственную квартиру, одну из восьми в растоптанном, как старый валенок, типовом двухэтажном доме, где рядом проживают очень разные, до взаимной антипатии, люди всех возрастов, разных упований, разделенные уже по вековому национальному признаку «У нас на семью пьющую непьющая семья»?

Как сказать... Живут люди бок о бок, поколениями, сближаются и отдаляются в неизбежных общих сюжетах, привыкают друг к другу — и охлаждаются взаимно от простой скуки надоедания, и ведь до отвращения...

В тумане те годы (но они были, те годы!), когда в доме было полно детей, когда в Оттепель были им открыты все двери, за которыми нечего было прятать, когда всем домом прочитывали одну книжку и она, растрепанная и засаленная, удваивалась в весе, когда съедалась одна на всех буханка ржаного или сберегаемый кулек печенья «Шахматного» в какой-то из квартир — и ругались пришедшие с работы родители, попавшие под раздачу: ты опять приводил к нам эту ораву, эту прорву ненасытную, эту саранчу? А мы не должны ужинать? А в магазине хлеб разобран с обеда, придется занимать пару кусочков у соседей, избежавших нашествия, или есть вечерний суп-рассольник без хлеба и пить чай наголо.

Но двери не закрывались до самого ускорения.

Закрываются они по сей день. Дети выросли и разлетелись. Их всегда рождалось на Болоте больше, чем оно может приютить. Взрослые постарели и устали общаться. И о чем нынче общаться — о деньгах, о сексуальной ориентации телевизионных тел? Но еле здоровающиеся соседи все-таки объединены памятью

о былом, и эта память для них как тайный запас, записка на черный день, она может воскреснуть и согреть. Ничего, что они не отдадут себе в этом отчета.

А сегодня, в этой новейшей, обгоняющей людей на каждом шагу жизни, агрессивной, как война, появляются новые клеевые основания для посконной солидарности. Герой О. Генри приехал из захолюстья в каменные джунгли и был настолько ошеломлен их внечеловеческим бурлением, что с отрадой и верой в лучшее обнял встреченного на перекрестке своего деревенского врага, которого он, собственно, там искал, чтобы прикончить. А ныне и ехать никуда не надо — джунгли, вместе со стиральным порошком «Тайд», сами идут к нам, обступают нас с веселыми прибаутками. И мурашки бегут по коже, и поневоле прижмешься к соседу, пусть он и пахнет сволочью. По крайней мере, тебе известен его анамнез.

Как сказать... Дому, самое малое, лет 85. Он стоит, треща суставами, «попукивая» (согласно бабушке), на западе Болота, на его главной Болотной улице. У каждого подъезда по дереву, кривому тополю с пятнистой от железистого питания корой. Двора нет в помине, ограду разобрали в войну. Около северного торца дома, там, где стоял сортир, стол с двумя хилыми лавками под грибком, удобный тем, что с улицы можно высмотреть лишь краешек его, и то под острым углом: увидишь спину одного сидящего человека, а чем он занят, не увидишь. Не всякий же раз там пьют. В доме проживают... 22 человека, 10 мужского пола и 12 женского. И 6 котов мужского пола, все сибирские, серо-дымчатые, короткоухие и жирные, потому что их всех кастрировал по просьбам трудящихся старший Дьячков. Его отец был ветеринаром, кастрировал бычков и борзиков, а когда их не стало, перешел на клиентуру помельче. И обучил ремеслу сына. Котов не держат Сухонины и Коркины, у прочих — по одному.

Первый подъезд, первый этаж. В первой квартире живут Широковы, оба местные, им под 60. Две их дочери вышли замуж, живут одна в Норильске, другая в Находке. Об их приездах в родные пенаты никто не помнит. Он — завхоз бани, она там бухгалтер. Не отдыхают друг от друга, но так им легче: у них нет друг от друга тайн, отравляющих воображение. Они вооб-

ще люди предубежденные, и в этом смысле двойники: смотрят на старых соседей, не говоря уж о прочих, мимолетных, так, что соседи начинают вспоминать, ЧТО же плохого они сделали или задумали. На окнах у Широковых решетки. В пьянстве не замечены.

Широковы — телерабы. Вечерами и в выходные напролет они упиваются юмористическими программами, записывая их на видео, чтобы посмотреть еще и еще. Из квартиры их непрерывно раздается смех, в котором сливаются смех из телевизора и смех Широковых. Очевидно, эстрадные персонажи отождествляются ими с окружающими живыми людьми. Но смеяться-то можно над безопасными виртуальными придурками — в жизни за ними нужен глаз да глаз, и никакой потачки.

Широковых не уважают.

Во второй квартире живут Каргопольцевы, удивительно безликие люди. Бабушка говорила: встретишь кого-нибудь из них вне Болота, в Городе — не узнаешь ни за что.

Свекровь — пенсионер лет 70. Ее сын, явно поздний ребенок, лет 30 — сторож в магазине «Рубин». Сноха сидит с ребенком-мальчиком, единственным младенцем на дом (настали времена!), а работала продавщицей в том же «Рубине», жалком конкуренте магазина «Продукты Аккорд».

Люди тихие, разговаривают вполголоса, и ребенок у них молчаливый, чем похож на Алешу в детстве (Алеша чудесно в этом качестве сохранился). Заметный недостаток: по праздникам, по выходным что-то пекут, в основном, пироги с дешевой рыбой, и постоянно пироги у них (у свекрови?) горят — гарь, вонь. И еще ни один сосед не попенял им за это, не язвил им в лицо — сама возможность разговора с носителями древней фамилии, наверное, потомками исконных обитателей Болота, кажется фантастической. Понятно, все местные.

К ним относятся хорошо, при встречах здороваются (а, не узнаем? Значит, Каргопольцевы). Их считают тактичными людьми.

Второй этаж. В третьей квартире живут Сухонины, мать с Алешей. Их уважают. Мать — за характер суровый и стойкость, Алешу, наоборот, — за мягкость и доброжелательность.

В четвертой квартире — снова местные, чета стариков Ряби-

ниных. Они очень пожилые, за 70, пенсионеры. Единственные, у кого есть где-то огород. Огород без домика, под присмотром тамошних соседей, таких же кержаков-староверов, как они. Рябинины — подчеркнуто религиозные люди, их очень уважают в Успенском, староверческом храме, что на Горе, за Белым озером. В быту они, соответственно, должны придерживаться правила своей чашки и ложки; давным-давно замечено, что старик Рябинин, Иов Флегонтович, никогда не здоровается за руку. Молодой Дьячков пробовал шутить над ним, то прося, то предлагая закурить, а то и выпить, Иов с достоинством и без истерики, вежливо отклонял его инициативы. И бычок Дьячков от него отвязался. Закрытые люди!

А говорят, что они замечательно поют свое церковное, знают «знамена», и отец Геннадий, строгий, правильный пастырь, их ценит, выдвинул. В их жизни было много драм. И муж, и жена, Фаина Ивановна, преследовались и заточались в узилище и трудились «на химии» при Хрущеве. Их шестеро детей убежали все! На комсомольские стройки, на ГЭС, на БАМ (и на ХЕР, как добавлял остроумный Тараканов). Не нужна им была отеческая вера, соблазнил и развратил их город комсомольского задора и лузги. Дети по очереди и вместе, сговариваясь, приезжают с внуками, правнуками — грустно! Старики их ждут не дождутся, готовят разносолы, а приедут: холод, не о чем говорить, чужие. Грустно и горько.

Жила с ними долго, после разлета детей, младшая, сильно младшая, сестра жены Прасковья, Паша, незамужняя от своей чистоты (глупости, по мнению старшего Дьяčkова, который цинично ее разглядывал и нашел хорошенькой). У нее обнаружили лейкемию, и она отправилась доживать и умирать в скит, что за Красным Яром, к окаянным беспоповцам. Уезжала слабая, томная, Рябинины подрядили машину за большие для них деньги (120 километров), наверное, не один потом месяц глодали корки с соленой капустой. А тамошние бабки-еретички отпоили ее вроде бы рябиной, чистотелом и прочим в смесь — и ожила Паша, защебетала! Но жить в лесу ей так понравилось, что возвращаться она не хочет. И трудов там у нее неотложных куча. Теперь она сама ухаживает за старухами-скитницами, стирает им и хоронит их под холмиками без креста. Отец Геннадий расстраивается — те, скит-

ские, — беспоповцы всех толков, знающие полтора таинства — можно ли так? А старая Рябинина кается перед ним, а потом, по старческой обесмыслице, изводит мужа грешными предложениями: давай продадим квартиру и поедем жить туда, в лес. Там свои, хоть и не очень, старoverы, на макароны с консервами нам всем хватит, всему населению того лесочка. И там Паша, ягода, грибы, озерцо... В беспопы? Ни в коем случае, бесовское это помышление, отвечает Иов Флегонтович, легких да блядных путей, мать, искать стала? И давно ли ты стала такая блядная?

Их, Рябининых, уважают и даже любят — это безопасная советская любовь к Джомолунгме, Марианской впадине и т. д.

Да, забылось: хлеб они пекут сами — наверное, вкуснейший у них хлеб.

Второй подъезд, первый этаж.

Пятая квартира. В ней обитают четверо Дьячковых. Местные, сильно пьющие все, известные на Болоте своим буйным нравом, но вполне терпящие соседей. Свысока, конечно. Им сильно досаждал когда-то Исакыч, он их просто плюшил, терроризировал милицией и возвышал на них голос, что было страшнее милиции. Дети родились после его ухода в сон, их пугали Исакычем. Когда он заснул, Дьячковы подраспоясались. И отец, и сын могут побить кого-нибудь чужого у магазина или где-нибудь еще в сумерки. Они считают, что с наступлением темноты все дозволено, «право имеют». Неприятно, что иногда во хмелю они честно не различают болотных с пришлыми. Правда, после перед болотными извиняются. Считается, что их предком был дьячок из старого, сгоревшего в 1818 году Троицкого собора, изгнанный из клириков даже не за пьянство, а за разбой на Иркутском тракте. Тогда, якобы, его фамилия была Варсонофиев.

Итак, по порядку. Старший Дьячков, Валерий Витальевич, 57 лет — грузчик в речном порту. Сам он называет себя стропаль. Ну, логично. Несостоявшийся ветеринар (см. выше), он любит рассказывать, что его хотели взять в разведчики, оценив его дерзкий характер и слоновью силу и «идеологическую стойкость» (у него образование в семь классов). Но на «проверках» перестарался, унизил генерал-майора, в борьбе уложив

его на обе лопатки и вывозив в грязи. «И тут они прикинули, что дай мне волю — непредсказуемо! Я и сам думаю — точно, сука, непредсказуемо!» Уже дерется редко и лаконично, притих, но одна его рожа в общественных местах нервирует всех присутствующих.

Жена, откровенно им не любимая баба, урожденная Татьяна Марина, — там же, в речном порту сторожика. Обиженная вечно, драчливая. Выпивши, бьет мужа, но все это несерьезно. Он подставляет ей свою гранитную харю и говорит: ну, бей. Бей десять раз, а потом я тебя тресну разочек. Ему хоть бы что, а она после щелчка спит до утра. Он поит ее рассолом и сочиняет ей, потерявшей память, что она-де нападала с матами на Доукшей, на Тамару. Она всегда поначалу верит и ужасается. Он хохочет, дети хохочут, и она нехотя присоединяется к ним.

Но ясно же, не каждый божий день такое происходит. Просто ЭТО помнится лучше.

Кстати, она намного старше мужа, лет на 7-8. Нагулявшись, как обезьяна, он однажды понял, что нужна ему верная подруга, надежная мать его будущих детей. На всем Болоте нашел он единственную согласную предельного брачного возраста и привел в родительский, «фершалский» дом. Ей до сих пор нравится наблюдать, как он, чтобы не утратить навыков, кастрирует то псов, то котов.

Дети. Сын Виталий — халдей, хулиган, хвостун, 25-ти лет. Делает вид, что работает по особому соглашению с охранным предприятием «Айсберг». Высокомерен, драчлив, Алешу считает бараном. На самом деле — вор и, по обстоятельствам, дешевый гопстопник, вынужденный не брезговать обиранием пьяных. Но надо же «имидж» держать. Он знает это слово и строит свой образ. В ближайшем будущем — главный враг Алешки, которого пока щадит и курит с ним, пугая рассказами о распутных бабах и зверствах уличных поединков. Алеша ему не верит.

Отношения с отцом почти любовные. Виталий хитер и дальновиден. Он предлагает отцу померяться силой на руках и нарочно проигрывает. Вместе с тем, пару раз выручал отца, уже потерявшего реакцию и наглеющего сверх своих

возможностей. Сын мой, говорит ему отец, распивая с ним бутылку водки. Кстати, из гонора, Дьячковы не пьют портвейн. Виталик делится с ним наворованным, и отец прикидывается, что не ведает, откуда прибыли, и что это нормальная, патриархальная дань преданного сына благородному отцу семейства.

Дочь, Алена — продавщица («менеджер», как она представляется) в салоне сотовой связи рядом с Вознесенской церковью. Ей 23, была вполне симпатичной, по живости, пока не втянулась в курение «ханки». Веки набрякли, рот поехал, плохо закрывается, походка заковыляла. Девушка полулёгкого поведения, в полупрофессию вошла непринужденно и без раздумий, как дочь судьбы, как некая Клитемнестра. Пыталась соблазнить Алешу, и дело не сложилось не по его стойкости (он бы не устоял), а в том, что он ей сразу наскучил. «Ты какая-то будда немая, а не мужичок», — сказала она ему, отводя его невольную руку, заползавшую ей под юбку. Время от времени развлекается тем, что собирается выйти замуж. Но доверительные отношения с молодыми людьми кончаются их бегством. Возьмут свое и дают деру. Она же подает это так, что «ушла» сама, разочаровалась. «Женоподобный какой-то, гомик. Я в Таиланд хочу, а он меня сначала с мамой желает познакомиться».

Дьячковых для порядка побаиваются, не уважают и не здороваются с ними. И здоровались бы, да вдруг черт знает что услышишь в ответ.

В шестой квартире обитают Тараканов и его старухи. Снова местные, из древнейших. Он, Александр, — пьяница и охранник на автостоянке, и у него комплекс неполноценности, поскольку на этой болотненской стоянке только один пожилой джип-иноземец, а в основном российские, они же советские тугие на все автомобили, и их хозяева — жалкие жлобы, нет с них никакого навару, зато поднимают крик, если собака ночью обмочит им колеса. На морозе это, естественно, заметное явление, но как будто эта желтизна не исчезнет через два прокрута колеса напрочь. Что ему, Тараканову, гоняться за каждым беспонтовым Пузырьком? Он, Александр Тараканов, 45 лет, не имеющий проблемы поджениться, для этого родился на свет?

Он, Тараканов, может быть, человек поэтической души и потомок Робин Гуда, прадеда, который 500 лет назад воткнул лезвие в задницу нагрубившего ему полицейского пристава, сказавшего тогда, зажимая кровоточащую рану: спасибо за острастку, Саша (конечно, прадеда тоже звали Александром), я впрямь был с тобой неаккуратен. Все Таракановы испокон веку были Александрями Александровичами и никогда не держали в руках ничего тяжелее полена.

Наверное, именно поэтому от Тараканова (бадя налилась ночных слез его) ушла жена с красавицей-дочкой Сашенькой (была она из Новосибирска, дева бескорневая) — и остался он жить с двумя бабками — по отцу и по матери, — урожденными Скорбиной и Юдалевич. Бабки, не столь древние сами, сколь узловатые по древности болотных корней, замучили они его своей пращурной гордыней. Ты-то из приемышей, бездоказательно говорили они ему, из поскребышей леоновских, сами не зная, что такое «леоновский». Так вы мне не родные, что ли, спрашивал он. Нет, родные. А ты... Бредали старухи. Где логика? Тогда ведь и хотя бы одна из них — тоже приемыш.

Тараканов был ритор, безобидный, готовый выпить всегда — всегда имевший для заедки перегара заветный обгрызенный мускатный орех, и клиенты не думали, что он выпивши, а думали, что идиот. Но бабки его мучили. Они, кажется, его обстирывали и кормили, дружные и услужливые, размеренно делились пенсией. Так и полагается относиться к потомку древнего мелкоуголовного рода. Но они лупили его пьяного и доброго ковшиком по затылку и заставляли мыть за собой тарелки и говорить им, ведьмам, «спокойной ночи».

И наводили дома, соревнуясь, такой порядок, такую чистоту, перед которой меркли, наверное, внутренние, самые отпылесосенные покои Кремля. И он ступай на цыпочках, разувайся, втыкай ноги в тапочки, меняй носки ежедневно, следи за словами. Он бунтовал, костерил старух — и в итоге страстно их любил, и когда тяжело заболела баба Маша, места себе не находил, и бросил портвейны с кагорами, сидел у постели и говорил ласковые слова и забывал поджениваться. Кореянку забыл из магазина «Рубин» — а как она его интриговала!

Человек из пены и стружек, он вызывал сочувствие, а две самоотверженные бабки — в лучшем случае снисхождение. Потому что никто не мог вспомнить ни о каком, даже случайном, с булавочную головку зле, которое Тараканов причинил бы кому-либо, кроме тараканов. А тараканы исчезли в 1993 году, вместе с женой и дочерью.

Алеша любил Тараканова и обнимался с ним при встрече, с двух своих лет и поныне. Сегодня Алеше представляется, что они с Таракановым примерно сверстники, учились в одном классе и заглядывались на одних и тех же девчонок. Тараканов знает тех девчонок из Алешиного класса. А годится он Алеше в отцы! Но, brutальный на вид, он представляется Алеше именно ровесником, слегка огрубевшим, заматеревшим от лет, проведенных на Диком Западе, хотя Тараканов Болота не покидал никогда и в армии не служил, по причине разной длины ног, фактически байронической.

Второй этаж второго подъезда. С недавних пор там бродит Алешина душа. В седьмой квартире живет семья Доукша. Поди догадайся, на каком слоге ставить в этой фамилии ударение? Носители фамилии и сами этого толком не знают, договорившись о первом слоге. Покойная бабушка Алеши утверждала, что в ее детстве она слышала вариант «Доукша». «Кто идет, словно кол проглотил, не спеша? Наш пся крев, битый пан, Сигизмунд Доукша!» Доукши из местных, по отцу потомки ссыльных поляков, из какой-то мелкой шляхты. Их предка сослали в Потомск после польского восстания, в 1864 году. Их разросшийся некогда род был уничтожен в 30—40-е годы, уцелел один Владислав с его русской теткой, вышедшей вторично замуж за милиционера Василия Карабатова, подселенного в их квартиру на Загорной. Потом в 1952-м они переехали в этот дом, на расширение, в квартиру, освободившуюся после того, как была арестована и растерзана семья Ивановых. В их горестной судьбе вину соседа Коркина как человека из органов. Тамара Георгиевна, чувствуя тяжелое отчуждение и страх, исходящий от соседей, в свое время поклялась, что Исакыч здесь ни при чем, что Ивановых они считают пострадавшими невинно, что Исакыч имел неприятности за то, что проглядел вражеское гнездо, пристроившееся у него на носу, за стенкой.

Милиционер Василий не пользовался авторитетом, был нагл и истеричен; очень некрасив — у него была свернута челюсть и искривлен нос после побоев, причиненных ему легендарным Володькой Андросовым, скрывшимся где-то, говорят, в России. Но Василий полюбил тетку, буквально стелился перед ней и заботился о Владиславе. Владислав его тупо, сухо ненавидел. Еще важнее было то, что, живя «за ним», тетка могла не бояться, что за ней придут. Детей у них не было, оба они, тетка и Василий, умерли в 1976-м году нестарыми, один за другим, с перерывом в три месяца.

Владислав окончил пединститут, работал в архиве на Горе (недавно архив съехал на улицу Карла Маркса, и ныне он там начальник отдела) — исполнительный, педантичный; честный карьерист и хитрый коммунист в недалеком прошлом.

Владислав был уже женат, на городской, первым браком, родился сын, но жили они недружно, свистящим шепотом с пафосом отстаивали свою мелочную правоту. Оба были высокого мнения о себе, могли, поссорившись, неделями не обращать друг на друга никакого внимания.

Брак их был обречен. Но случилась беда: автобус, на котором жена с ребенком отправилась в гости к родственникам на Алтае, перевернулся. Погибли оба.

После этого Владислав, без того замкнутый, надменный, совсем ушел в себя, в свой, кажется, не очень богатый внутренний мир. Книг он не читал, а тягал гантели и читал журнал «Здоровье». Был он болезненно опрятен, наглаженный чистюля; дома готовил крайне редко, потому что не выносил запахов кухни, и питался в столовых в Городе, а вечерами вскрывал консервные банки. Его мусорное ведро наполнялось за месяц, и остатков пищи в нем не было.

С возрастом он хорошел — ростом выше среднего, «медальный» профиль, подстриженные густые усы, прямая спина, стройные ноги, барская походка. Для Болота он был слишком красив и осанист, будто и не здесь он прожил всю свою жизнь, а возвратился после долгих и романтических приключений из Аргентины, и первые приметы старения — ниточки седины на висках, прищур близорукости и мелкие от него морщинки на веках — придавали ему, как выдержанному коньяку, дополни-

тельные достоинства. Очки он не носит до сих пор, на седьмом десятке, отчего на расстоянии обидно путает Тараканова с Широковым и всех соседских друг с другом.

Старший Дьячков звал его «Дон Педро», видимо, опираясь на фильм «Человек-амфибия».

Со старшим Дьячковым и состоялась у него «дуэль» своего рода — битва за девушку. В один осенний день он дал уговорить себя пойти в гости, на день рождения, на улочку Свердлова, где проживал его школьный приятель, некстати встреченный накануне на Болотной. И там он встретил соседку приятеля, Таню Зубкову, местную, много младше себя, и изумился, до чего она красива и мила, и ни в чем не пошла, не вульгарна, как другие девушки с Болота. Он рассыпался и загарцевал вокруг нее! Таня, конечно, была покорена — слишком грубые, примитивные болотненские юноши увивались за ней, и сильно затруднялся тем ее труд продавщицы бакалейных товаров.

Распаленные кобели не переводились в низкой палате магазина по двое, по трое, шутили, распугивая покупателей, на что Тане пеняла директорша магазина: душно было в магазине, будто за дверью его собиралась серьезная гроза, и обмирало от такой атмосферы слабое сердце робкой директорши.

Таня была покорена — благородный Кларк Гэйбл, польский дворянин и с квартирой, приглашающий ее в театр (где он сам ни разу не был, но откуда ей знать и зачем?). В театр она сходит охотно. Лишь бы ему не пришла в голову мысль о симфоническом концерте. Музей — туда-сюда, но концерт симфонический... Но если позовет на симфонический — придется пойти!

Для старшего Дьяčkкова Таня была «последней любовью», и он гонял кобелей, запугивал их. Он был на десяток лет младше Владислава, и на 10— 15 лет старше этих сопляков. Обидно, но Таня оставалась равнодушной, говорила «не люблю» и просила оставить дурачков в живых.

Внезапно притоптавший дьячковскую тропу Владислав не являлся молодым кобелем и был его соседом. Дьячков попробовал поговорить с ним по-джентльменски, с минимальным набором угроз, навроде «руку сломаю» — бесполезно. Возвышал голос, хрустел пальцами в бронированных кулаках — зря! Доук-

ша стал обзывать и унижать: посмотри, мол, на себя — ну, кто ты рядом с ней, лилией нашей долины?

Разговор происходил в квартире Доукши, в прихожей-кухне, поздно вечером. Дьячков взялся форматно бить Доукшу по лицу и крепко его попортил. Владислав драться не умел. Зато у него были накачанные гантелями руки, он схватил Дьячкова за горло и придушил его.

То есть Дьячков потерял сознание и очнулся, когда трепещущий от ужаса хозяин лил на него четвертый ковшик воды. Дьячков встал, хотел бить дальше, но голова закружилась, и он снова упал, уже в сознании. В итоге он уполз домой, на первый этаж, на четвереньках, унизительно сопровождаемый Владиславом, бормоча: «Завтра ты труп».

Он, безусловно, продолжил бы боевые действия, он был сильнее и злее соседа сверху, с его нечаянной победой. Если бы наутро не увидел в окно заходящую в подъезд Таню, не услышал бы ее шаги по лестнице, стук во вражескую дверь, радостные возгласы, сменившиеся на «Ой!» (она увидела синяки на лице Владислава), — и потом хаотические постукивания ее каблуков над своей головой — по своей голове. Хлопнула дверь, она сбегала вниз, колотила ему в дверь, а когда он не открыл, вышла на улицу и забарабанила ему в окно.

Он открыл окно и увидел перед собой не лицо, а гнев, и тонна презрения навалилась на него. Она молчала, кусала губы в кровь. Оскорби она его матерным болотным словом, покажи ему шиш или что пообиднее — он из принципа («Так не доставайся же никому!») превратил бы их жизнь в сплошное страдание.

А так — что-то понял и отпустил. Прошло время, и он уже здоровался с ними — ну, кивал, — с поженившимися. Не более того, не менее того.

И женился на своей «Фекле», и два ребенка родились у него, а уж потом у них родилась дочка Ванда. Она, крохотная, плакала наверху от жалости, услышав снизу басистый рев его сына, получившего подзатыльник.

Ванда подросла, окончила школу и сменила красавицу-мать за прилавком, а мать повысили до склада. Семья дружная, мещан-

ская, негромкая. Отец заметно постарел, мать расплылась, но он этого не видит. Дочь — хорошенький недоросток. Тайком покуривает; бывает, что разопьет с подружками бутылку пива, посплетничает. На жизнь смотрит трезво и, слава Богу, очень нерешительно, примеривается пока совсем издалека. Пример Аленки Дьячковой ей не по душе.

В последнее время начал на нее заглядываться молодой Дьячков, хватает ее в подъезде за руку, так, легонько, без претензий, и говорит, как старичок, шамкая: «Фыросла девочка».

Совсем другие потомцы, современные, представляли перед Алешей галерейным образом на его трудовых маршрутах. Его взяли на работу в блатную ремонтно-строительную фирму, обслуживавшую новостройки в кварталах на юг от Ишайки, в малоэтажных стильных домах, которые архитекторы с большой долей условности вписывали в освеженную архаику центра Потомска, с его столетними особняками и каменными магазинами эпохи раннего Лыгина. Квартиры стоили весьма дорого и были по карману избранной части населения — хищным самородкам-предпринимателям и подросшим детям местной элиты, на чьих лицах было написано, что они знают.

Алеша, как электрик всеобъемлющего профиля, по совместительству умеющий делать все, и столярку, и сантехнику, должен был исправлять обнаруженные недоделки и отзываться на дополнительные личные пожелания и причуды клиентов. Причуд было в достатке, работы было много, и скоро богатеи стали вызывать именно его — «этого светленького мальчишка, воспитанного. Он уже приходил к нам». «Это не слесарь, а пианист какой-то», — сказал о нем влиятельный новосел, зять областного спикера Дарьи Андреевны. Довольный Алешин начальник, похмельный фронт Андрей Андреевич, так и стал называть Алешу. «Ну, пианист, принимай заказ!» Ценил Алешу, хвалился им. В нем не было, однако, отеческой теплоты Сейдиахметыча. Алеша чувствовал, что человек он подлый. «Эх, пианист, — говорил он, совсем неприязненно глядя на Алешу, — денежки у нас с тобой очень разные, но попрут меня, а есть за что, пинком под зад, и пойду я на панель, а ты всегда себе на кусок хлеба зарабатываешь. Тебе никакая война с разрухой нипочем».

Зарабатывал Алеша прилично, больше профессоров потомских университетов. На Болоте его спрашивали об этом. И он, предупрежденный матерью, отмалчивался или врал, занижая зарплату вдвое. И то было пышно, болотненские цокали языками, глядели недобро. Вранье, выходит, защита от зависти, плата за повзросление.

Работа оказалась по-своему утомительным путешествием по стране неизвестной, и многое удивляло Алешу в этих новых людях. Будучи младше хозяев квартир, он рядом с ними ощущал себя старинным человеком. И говорили они по-другому. Когда они при нем обсуждали какие-то свои дела и проблемы, он часто не понимал сути их разговоров, не понимал, хороши для них или плохи такие-то цены, такие-то условия, правду они говорят или прикидываются?

Он разве что легко научился различать, тех, кто добился благодати своим горбом, от тех, кому благодать досталась по наследству, из шелковой сорочки. Горбатые могли быть грубы и могли быть приветливы, вмешивались в его работу, чтобы ностальгически показать, что и они не лыком шиты, что начинали тоже с черной работы. И вот до чего поднялись, учись, брат! Им тоже когда-то досталось и нужды, и обиды, они помнили счастье от пельменей по праздникам. Могли о чем-то спросить, предложить стопку, употребляли матерные выражения — Алеша понимал, что это для него: мы, дескать, трудовая косточка. И спрашивали: как тебя зовут? Алексей? Значит, Леша, Алешка.

Знать — и это прежде всего — никогда не смотрела ему в глаза, была холодна, прилична, не опускалась до контроля за ним. Эти, наоборот, подчеркивали, что между ними и Алешей дистанция огромного размера. Они никогда не бывали внизу. Они жили в «этой» стране, но не с этим народом. Имя спрашивали не всякий раз. Как вас зовут? Алеша. Алексей, сколько вам нужно времени, чтобы... И через пять минут: простите, забыла, как вас зовут? Алексей? Алексей, а нельзя ли... Да уж, будьте любезны (перебивая его объяснения).

Первые могли приплатить за работу, не оформляя дополнительно квитанцию, вторые — никогда. Первые говорили:

проходи, не разувайся, вторые значимо смотрели вошедшему Алеше на ноги, «забывая» поздороваться в ответ, и он сразу доставал из сумки сланцы.

Но и те, и другие вели себя дома, как на работе, или в магазине, или на вокзале. Он, конечно, понимал, что при нем они сдерживаются, но также понимал, что сдерживаться им легко: нечего прятать. Не было у этих людей сокровенных тайн, только денежные, коммерческие, карьерные, со всем шлейфом сопутствующего им смрада. То ли дело Болото, где даже Тараканов переливается, как ртуть, ежеминутно не зная, куда ведет его кривая! Скучны эти удавшиеся люди!

И вот еще что: квартиры великолепные, кричаще новенькие, при Алеше и обставленные, в них только начинают жить, и еще далеко не все детишки в них перевезены, дожидаясь у дедушек. Хозяева с амбициями, что попало из мебели, из сантехники, из кухонного не купят. И от Алешки требуют чудес, вроде тройных бра в ванной или мигающих лампочек на потолке в лоджии. Кошелек позволяет. А в итоге это их желание выделиться, соригинальничать, догнать и перегнать социально близких, соседей, приводит к тошнотворной одинаковости их дорогого (без единой иногда книжки, кстати) быта. Неуютная роскошь, химические жилища, не отражаются в их подробностях лики хозяев. И как-то странно видеть на таком диване развалившегося владельца, его поза тоже становится предложенной рекламным буклетом.

И вот еще что: ни обстановка этих жилищ, ни вид и повадки этих людей не давали понять, чем же эти люди конкретно заняты, на чем зарабатывают, чем дышат. И не пробуй угадать — нет отпечатков! И чем дороже начинка квартир, чем вельможней хозяин, тем ненадежней догадка. Если и висят на стенах картины или охотничье ружье, то висят они по моде, понтово, и никогда это ружье, ни в каком последнем акте не выстрелит.

Удивительно! Раз Алеша осторожно спросил, у одного из горбатых, чем он промышляет, и натолкнулся на негодующий ледяной взгляд. Неудобно ответить? Алеша поймет, что он жулик, кровосос, спросит лишнее? Или наступило такое время, что надо скрывать свой род занятий? Алеша подумал тогда, что, в свою очередь, начнут скрывать свою профессию продавцы,

работяги, инженеры, ученые, стесняясь и защищаясь от великолепия горбатых и знати. И только политики, артисты и некоторые журналисты не смогут этого сделать, потому что у них профессия быть на виду.

Попадались ему примеры и колоритного поведения, но это были исключения, подтверждающие правило.

В одной квартире, из окна которой видна Ишайка и на том берегу крыша Алешиного дома, его встретил совершенно пьяный, в трусах, хозяин, тощий, как деревенский котенок, от алкоголизма. В шикарной квартире отовсюду торчали и повсюду валялись пустые бутылки обыкновенной водки и их осколки. Плохо пахло, а на хозяйской постели лежала, выставив голую грудь, проститутка средних лет. Она приветливо помахала Алеше ногой. Хозяин, с узким лицом пожилого пуделя, с босыми окровавленными ногами, надавал Алеше поручений и по ходу работы сам рассказал Алеше, что был у него десять лет назад «звездный час, хапнули мы на одной приватизации с ребятами». Ребята все сгорели, ударившись о ненадежный бизнес и сладострастие. «Начинали с красных пиджаков. У меня тоже был красный пиджак, но цепку я не носил — я же с высшим образованием». — «А они?» — спросил Алеша. «И они с высшим, но они носили.» Одни сгорели, других грохнули. «А я ленивый, но разумный. Сто таких, как ты, — один я. Нет, тысяча! Понимаешь?» Хозяин положил деньги в иноземный банк и живет на проценты. «Я рантье, понимаешь? Не хрен собачий!» Главное, поделился хозяин, не брать ни гроша сверх процентов. Тем более, он копил на новую квартиру и новую машину. «Питаюсь скромно, пью родное, девчонок вожу. Хватает! Понимаешь?»

(Это же сколько ты украл, насосал из воздуха! — ахнул про себя простодушный сын Болота.)

«Пью десять лет. Запьюсь, почистят... Вот еще расход — на капельницу, на медсестру закладываю в бюджет существования. Играю в преферанс с научными сотрудниками. День, два поиграю — снова пью». Семьи у него не было, никогда. Она не вписывается в бюджет.

«Скажешь, не завидуешь?» — с широкой улыбкой на узком лице заключил рантье. И без перехода: «Заканчивай поскорее,

а? Надоели мне трусы, для тебя надел. Я люблю голышом ходить по владениям своим. Я — Мороз-воевода».

Но этот был вечно пьян и когда-нибудь доиграется.

В другой квартире, с видом на площадь Батенькова, Алешу встретил трезвый, поношенный человек в очках, ботанического кроя, очень любезный. Среди той публики такие отличаются любовью к мужской ласке, Алеше это было известно. Алеша, поживаясь, делал свою работу согласно при нем распечатанному на принтере списку, а человек сидел за столом и читал книгу. И делился с Алешей усвоенным. Алеше было смешно.

Человек зачитывал: «Сколь прям был Ши Ю! Когда в стране был порядок, он был прям, как стрела. Когда в стране не было порядка, он тоже был прям, как стрела».

«Пока вы, учитель, живы, разве посмею я умереть?»

«Благородный муж поступает на службу для того, чтобы исполнить свой долг. А то, что праведный путь неосуществим, это он знает».

Откуда у такого чудака бешеные деньги на такую квартиру? Может, он выродец знатного отца? Оказалось, ниоткуда. Он сторож, сокурсник хозяина и преподаватель университета, охраняет квартиру, владельцы которой запаздывают с приездом из Америки. А живет он с семьей в университетском общежитии, тому 24 года. Оттуда и вынесут вперед ногами, сообщил он, сразу превратившийся в обычного мужчину. И, уходя, Алеша увидел краем глаза на кухонном столе открытую банку кильки за 13 рублей. Наш человек!

Долго Алеша не мог отвязаться от этого «прям, как стрела». Фраза эта точно укладывается в ритм его шагов. Он шел вдоль Ишайки, по Каменному мосту, по Обрубу: «прям, как стрела, прям, как стрела». Пришел домой, умылся. Пошел в магазин: «прям, как стрела, прям, как стрела». Наваждение закончилось, когда он встретил Тараканова и сказал ему: «Ты, Тараканов, прям, как стрела». Тараканов обиделся и высказал что-то длинное, сбивчивое про двадцать лет вместе, которые не научили недалекого Алешу понимать Тараканова.

Все эти месяцы, зимние и летние, Алеша приходил домой с облегчением, по-детски торопился, словно чем быстрее он шел, тем скорее освобождался от однообразных и связанных с неглубокими

уколами зависти впечатлений от встреч с современностью. Именно это заставляло его на спуске в Болото заклинательно повторять про себя что-то вроде «вот моя деревня, вот мой дом родной».

Было подходяще, что мать приходила позже, и он мог поговорить вслух сам с собой о пережитом за день. Перебирая темы, он часто поправлял себя — нет, не так. Надо выразиться по-другому, Алеша. Хорошо, Алексей Николаевич, говорил Алеша, подумаем.

Как-то, этим августом, он закончил трудовой день в дальнем, восточном углу новостроек, в большом офисном здании над Ишайкой, и возвращался домой через стальной мостик, выводящий на противоположный от дома край Болота.

На мосту никого. Кряхтят сытые птицы, перекликаются, как дозорные, пьяницы по обоим берегам. От моста до угла Болотной попался грязненький мальчик на самокате. Его вопли были слышны издали, с середины моста.

Алеша вспомнил, что он давно не проходил мимо дуба. Прямо за углом, за забором просторного по-местному двора-огорода, принадлежащего каменному двухэтажному дому, что стоял, в отличие от других болотненских, в глубине, на мысу (Ишайка в том месте круто изгибалась к югу и вскорости так же круто возвращалась на север), растет — хочется сказать, проживает — уссурийский дуб, лет сорока. Его саженец привез в свое время отец, ныне покойный, того самого Мишки Пухова, тоже лет сорока мужчины. Миша следит за дубом, гордится им, рассказывает о нем любопытным прохожим, сующимся через забор. Выращивает по два-три саженца в год и дарит желающим. Пока еще ни один не пришел, не отчитался, что дубок принялся. В Потомске есть еще всего два дуба (и еще один где-то в районе). Ботаники из университета высаживали дубы и там и сям, но климат и почва не подходили дубкам, они погибали. А вот в этом месте дуб заматерел — у незамерзающей, ядовитой ишайской воды, прикрытый от ветров Горой и плотным ивняком, защищающим его с запада, откуда в основном и дует.

Дуб чин-чином: листья как деки струнных инструментов, желуды — мешками. Миша разрешает детям их собирать, и Алеша собирал, и до сих пор в разных уголках квартиры он находит

кучки этих желудей. Некоторые раскрашены акварелью, произведенной в советское время.

Дуб растет вплотную к забору, и, протянув с улицы руку, можно погладить его морщинистую ветку. Что и хотел сделать Алеша. Что и сделал, и увидел при этом: на скамеечке под дубом сидят Пухов, Алена Дьячкова и Ванда Доукша. Они пили портвейн, дипломатически — одна бутылка на троих. Миша рассказывал девушкам про горькую жизнь Аллы Пугачевой и свое знакомство с ней. Случайная встреча в Потомске, на служебном входе служебного зала, двух порядочных, немало испытавших людей, сразу угадавших в визави родственную, романтическую душу. Миша вряд ли уточнил, что он тогда работал в концертном зале сантехником.

Миша, и вообще-то порядочный мужчина и нежный отец, говорил очень целомудренно, он не собирался соблазнять девушек, навестивших дуб, ему было приятно их внимание. Алена ему верила, что-то уточняла, и он на ходу подвирал что-нибудь новенькое, не обкатанное во рту; а Ванда здесь была явно за компанию, прогулочна, она слушала рассеянно и все посматривала на Мишину дочку, которая поливала капусту и цветы из большой лейки, держа ее ломкими спичками рученок. Кажется, Ванда порывалась сказать Мише, что лейка для такой малютки слишком велика и тяжела, поднимала на него свои, как наконец-то разглядел Алеша, прозрачно-кофейные глаза с неровными бровями над ними — и опускала, не решаясь его перебить. Милая ты моя, ахнуло в Алеше.

Стаканчик портвейна она держала в левой руке (левша?), отставив тоненький мизинец. Алеша поймал себя на том, что тоже округлил праздные пальцы и отставил мизинец. На правой руке.

Он уже разглядывал только ее, восхищаясь, что остра ее девичья грудь, что руки у нее загорелые, а колени и ноги под короткой кожаной юбкой — теплой белизны и сияют, хотя она сидела спиной к садящемуся солнцу.

И она коленями почувствовала его взгляд. Посмотрела сначала на них, а потом, будто колени подсказали ей направление, недоумевающе подняла глаза и отыскала между ветвей глупое Алешино лицо.

Ни Миша, ни Алена не обратили на это никакого внимания. А Ванда одними губами, даже не шепотом, обозначила, дунув на челку: «Алешкадурак».

Алеша прочитал эти слова, как немой у немой. Алешка! Но дурак. Дурак. Но Алешка же. Он согнулся, прячась за забором, и, ускоряясь, заспешил домой, еще услышав:

— Там кто-то есть? (Пухов.)

— Нет-нет. («Да-да», Ванда.)

Прискакал домой. Умывшись, причесавшись, он встал к окну, сбоку, секретно, и битый час ждал ее возвращения, всем сердцем любя ее уже за то, что ее деда звали Сигизмунд. Она все не шла, и он ревновал и думал о ней неопределенно-плохое. На восток бежала Болотная улица, по ней бежали машины; справа, не удручаясь соседством с мусорным контейнером, сидели на корточках, курили и плевались, как верблюды, неумытые жиганы в майках и тапочках. И Алеша тревожился, не пристали бы они к ней. Знал, что не пристанут, и все равно тревожился...

И, похоже, от волнения (дрожали и руки, и ноги) он забылся, как-то ослеп, что ли, потому что увидел ее, одну, без Алены, уже подходящей к дому со слабой, но веселой гримаской на лице, и ветер ворошил ее темные подрубленные волосы. А еще она дважды потеряла, поморщившись, переносицу.

Ее девчоночная походка заставила Алешино сердце биться в такт с ней. «Прям, как стрела». И дышал Алеша согласно сердцу и шагам Ванды.

Прошла и даже мельком не взглянула на сухонинские окна. Хлопнула дверь в том подъезде. Нет, это нарочито, так не бывает: сам он, подходя к дому, машинально обегает взглядом все окна на фасаде. Она нарочно не посмотрела!

Что же теперь делать, как себя вести? Следующая встреча не может быть обыкновенной, после пережитого! Надо обдумать свое поведение. Алеша смотрелся в зеркало, протерев его от пыли и налипшей мошки. Откуда она взялась? Наверное, мать недоглядела, оставила открытое окно. «Алешка, дурак. Алешка — дурак». А может быть, ему показалось?

Он включил телевизор, уселся в старое кресло, бывшее коркинское. Как и бабушка, Алеша не жаловал телевизор, но сегод-

ня смотрел в него свежими, ищущими глазами. Как будто телевизор может что-то подтвердить или как-то обнадежить.

В телевизоре покачивалась серебряная голова губернатора, шли местные новости. Губернатор рассказывал о подготовке круглого юбилея города, до которого оставались считанные дни. Алеша вспомнил, что до этого юбилея у них будет свой. Городу исполнится 400 лет. А матери — 50. В конце речи губернатор сообщил, что в город прибывает Благовест, новый колокол-великан, и его установят на прежнем месте — у Вознесенской церкви, там, где 70 лет назад варварски убрали старый. Про прапрадедушку он не сказал, возможно, не знает о нем.

Ого-о, выдохнул Алеша-дурак. Может быть, это и есть какая-то подсказка? А Ванда не знает, чей он правнук. Праправнук.

После ретировки губернатора ведущая новостей рассказала о двусмысленной и небывалой шутке оставшегося неизвестным лица, мужчины, который заявился в Серый дом и попросил провести его к губернатору. Ему, естественно, отказали, но он, как выяснилось, дождался за углом выхода первого лица области. Дело было бы обычное, если бы неизвестный не был весьма профессионально загримирован под прославленного потомского Старца, умершего полтора века назад. Старцем он и отрекомендовался. Он приблизился к губернатору, окруженному свитой, и сказал: «Здравствуй, панок! Пора, пора нам поговорить, сын мой, и безотлагательно!»

Охрана, на всякий случай, прихватила его под руки.

В этой шутке было что-то несомненно бестактное и фамильярное. Но наш добродушный губернатор всего лишь попросил его удалиться и сел в машину.

Ведущая продолжила: кто-то из сопровождающих, видимо, театрала, узнал в «Старце» известного в Потомске Евгения Платонова, дивного характерного актера, который в эти дни снимался в имиджевом видеоролике о Потомске, к юбилею города, именно в роли Старца. Предполагая, что актер подвыпивши (сказано было тоньше, не запомнилось, как), чем и объясняется его эскапада (театр — в соседнем здании; вернулся со съемок, замахнул на старые дрожжи, не стал разгримировываться, а решил покуроле-

силь), театрал-единогоре (от себя: какое пикантное сочетание!) сказал «Старцу»: «Женя, вы рехнулись, идите проспите!».

«Старец» повел себя кротко. Прикрытый поношенным дешевым плащом, в каких-то сапожках, он покорно ушел в сторону Обруба — не театра — благословляя встречающих и поперечных.

К сожалению, закончила ведущая, как вы сами понимаете, мы не смогли снять этот сюжет на пленку. Но — уже через 20 минут после происшедшего — мы звонили заслуженному артисту России Платонову на домашний телефон. Евгений Александрович был дома, уверял, что съемки и «шквального» грима сегодня не было, и он находился дома с обеда. В вечернем спектакле он не занят. Дословно: «К этой непонятной истории я не имею никакого отношения, даю слово. И я буду оскорблен, если мне не поверят».

Алеша через силу рассмеялся — и заснул в кресле, пахнущем Исакичем. Он не услышал, как пришла мать, не услышал ее вопросов. Она громко и свинцово, как положено педагогу-новатору, спрашивала, не веря себе и смеясь, не пьян ли он. И, растолкав, увела его в его комнату, и он спал до утра беспорочно.

Много позже узнали (не все, не все), что поздним вечером «Старец» был замечен завистливым приятелем Платонова, доцентом-гроссфатером Бириним, на Обрубе, и шел «Старец» на Болото. Бирин тоже подумал, что Платонов развлекается, и опасно, идя в таковую слободу, окликнул, попытался догнать. «Старец» скрылся на спуске. Приятель побежал за ним — но «Старец» словно растворился в синем воздухе.

И дальше по известному уже сценарию: звонок Платонову. А тот дома и доведен уже до безумия: «Да что же это такое?! Отстаньте от меня, идите вы все к черту! Достали вы меня до самых кишок! Э-то-не-я!!!»

Глава шестая.

Судьба губернатора

Позапрошлым летом, в середине июля, сразу после обеда, в городе Потомске пошел густой, сильный дождь. Он извергался

из на самую чуточку посеревших облаков, но в его пухлом мо-локе растворялись дома, и видны были одни округлые акварель-ные кроны довольных деревьев.

Губернатор запросто вышел на просторное крыльцо Серого дома, стоял среди расступившихся по случайному взмаху его руки подчиненных и смотрел на дождь. Сдерживая улыбку, он с какой-то земноводной радостью дышал влажным, тугим воз-духом, от удовольствия перебирая плечами и заступая за гра-ницу сберегаемого порталным козырьком пяточка суши. Каза-лось, он нарочно, по порыву душевному, сбежал на крыльцо из своего высокого кабинета, заслышав с подоконника манящие позывные крепкого, нарастающего ливня, глянув в широкое окно и увидев, как приданная его резиденции река Потома без остатка сливается с небом.

Конечно, это было не так: ему нужно было ехать по делам хо-зяйственным, согласно графику. Влиятельнее графика для него были разве что президент и премьер-министр. Но ведь остано-вился же на хорошую минутку.

И в эту минутку окружающие (провожающие и сопровожда-ющие), естественно, не спускающие с него глаз, как один, от-метили, что эта его дань дождю, эта его встреча с белым ливнем наглядно подтверждает их накопившиеся мало-помалу наблю-дения на тот счет, что Иван Тарасович изменился, стал другим (а знали они его по двадцать, по тридцать лет), и дело здесь не в законах старения, не в опыте большого человека, забывшего, что ему могут возражать, — но в чем-то именно другом, перед чем бессильна поступательная логика политического и психо-логического свойства.

Это беспокоило, тревожило.

Ливень превратил окружающий оком в изначальное лоно сырой и дикой сибирской природы и словно перенес его сви-детелей на сотни лет назад, когда на этом месте немногочис-ленные и лаконичные люди общались со зверьем и рыбами, не чванясь перед ними умом и силой, и еще находили выгоду и му-жество усматривать в них своих предков.

Губернатор сливался с этим пейзажем и сиял, как дождь — сияла его седина, сияло его серебристое лицо. Сияла вся его фи-

гура, отбрасывая на стоящих рядом тонкий металлический отсвет, какой отбрасывает большой лист жести, так, что хотелось убедиться, что оно так и есть, проверить это впечатление — чем-то сколько-нибудь широким и плоским заслонить от губернатора его соседа.

...Можно смело говорить о том, что слово «вдруг» потеряло в наши дни свое основное, праздничное значение. Помнится, в одной старой, когда-то азбучно прираставшей к детской душе книжке мальчик пошел в лес: и вдруг зайчик из-под кустика выскочил, вдруг шишечка с кедра свалилась, вдруг ветер в верхинах деревьев зашумел, схватился за верхушки и ну их тереть! Но нет уже ни того мальчика, ни того леса, ни той радости, что распахивает глаза и превращает руки в семафор изумления.

Нас отучили удивляться. Удивляться нынче — себе дороже. В среде людей, держащих свой здоровый, мокрый нос по ветру, удивляющийся человек неприличен, несолиден и не вызывает делового доверия.

Наш мир устроился так, что пришелец из любого прошлого был бы обречен удивляться, главным образом, почему-то негодуя с утра до ночи, еще и подпрыгивая от дневных впечатлений во сне, — и ни на что другое у него не оставалось бы ни песчинки времени. А нынче надо, напротив, непрерывно действовать и действовать, выколачивая из копоты слов фактурные куски благодати, подобно ацтекам, что безостановочно вырывали сердца и проливали кровь своих пленников, чтобы солнце не прерывало свой небесный бег.

То есть в сегодняшнем мире отрицательного отбора, где удивление должно превратиться в неизбежное горестное недоумение, всякая вопросительность самоубийственна, маргинальна, глупа.

Поэтому слово «вдруг» огрубело, приткнулось по смыслу к присказкам-междометиям наподобие «прикинь», «блин», «б...ь», стало связываться как раз с чем-то ожидаемым и даже закономерным, но чего можно было все-таки избежать, отвертеться, а оно все-таки подловило вас раньше и всерьез, а вы надеялись проскочить.

Речь идет о типовых ситуациях, когда тебе заслуженно дают сдачи, нечаянно раскусив твое коварство, прежде чем петух

прокричит. Базовый пример: «...И вот я наливаю (продолжаю врать) ему (чтобы залезть в чужой карман) или ей (чтобы залезть под юбку), а он (она) вдруг (блин, прикинь, б...ь!) размахивается и дает мне в табель! Смекнул(а), значит, по поводу моей темы!»

То, что случилось с губернатором одной сибирской области, не удивило окружающих его людей. Именно потому, что непосредственными, безотрывными, так сказать, очевидцами тому были все-таки представители свиты, закаленные чиновники; а редкие обыватели — возможные носители старинного недоумения — были далеки, сидели в своих плохоньких квартирах с затрапезными обоями и даже через телевизор не общались, не виделись с ним годами. И если иногда они выбирались в театр или на симфонический концерт — так Иван Тарасович никогда там не появлялся, чтобы не смущать простой народ.

Тем более что происходило это преобразование постепенно, исподволь, накапливаясь, как дурной воздух в шахте, но ведь не взорвалось. В наше время в избранной среде количество не переходит в качество, это отменено правящей партией, что записано в соответствующих партийных документах и убедительно закреплено в современной судебной практике.

В общем, изумиться сколь не могли, столь и не успели, привыкнув.

Наш губернатор Иван Тарасович Нарымов находился на кормлении почти уже двадцать лет и являлся одним из так называемых политических должностных лиц новой России. Фамилия его представляется слишком «нашей», кажется псевдонимом. Кто-то утверждает, что его настоящая фамилия Скорченко, но в юности он-де поменял ее. А городской сумасшедший профессор Мазурский был уверен, что фактически его звали Соломон Штейнбаум, но это вообще ни в какие ворота не лезет, даже неинтересно.

Сам Нарымов был хороший, а тиуны его, как ни переставляй их, были почему-то плохие. Так исторически сложилось. Жил он скромно, ни во что не вмешивался, особенно во второе свое десятилетие, и каждый новый год, как новый ребенок в семье, приносил ему новые радости и награды. Раньше, бывало, вме-

шается, накричит с чужих слов на лодыря, воришку или дурня, но нередко оказывалось, что наказывать-то надо было скорей того, кто вложил негодование ему через уши на язык, и Иван Тарасович представал исполнителем чужой воли. И он закрыл этот балаган, как умный человек, и перешел на общеобразовательные речи с рефреном: «А будет еще лучше».

В конце концов, жизнь при капитализме (он искренне верил, будучи по образованию инженером водного транспорта, что живет при капитализме) обладает чудесным свойством самоорганизации, не надо ей мешать. И если, скажем, село завалилось и обезлюдело, значит, речь идет об элементарной рабочей фазе перестроения данной ниши, потенциал инноваций накапливается и даст о себе знать фазой роста, и когда понадобится, люди появятся, подымутся хотя бы и из-под земли. Если, конечно, в них будет нужда.

Наши пафосные либералы (например, Петр Мудряков, содержатель образцового публичного дома и двух бань, или Борис Фимин, владелец модельного агентства и рекламной газеты), похохатывая, трубили по дорогим ресторанам, что его кутузовский стиль есть во всем прямо пропорциональное порождение откатов, надежная, бесшумная пирамида которых была кропотливо выстроена за эти годы над нашими болотами. Но на вопрос, вполне резонный, исходя из красоты на их тарелке, не участвуют ли они сами в сооружении этой пирамидальной штуковины, они отмахивались, восклицая: «Говорите по существу! Не о нас речь!» Доверять им было трудно: в барсетках они, как юнцы, носили напоказ пачки поддельных купюр и подозрительные пакетики.

Во всяком случае, в провинции (читай местные газеты, смотри местные каналы) не принято говорить и даже намекать на то, что первое лицо края берет мзду или пилит бюджет, как простой собака-чиноз. Но ясно же, что губернатор в принципе, как символ мощи государства, не должен жить хуже своих тиунов. Другое дело, если он при этом нескромен, ломается, как конский подрядчик, сорит деньгами, на которых написано: «ворованные народные».

Иван Тарасович был приличный, опрятный человек, про «сорил» ничего такого не писали, не сообщали же, поэтому гово-

речь о коррупционной составляющей его сюжета мы больше не будем. Мы — «люди мелкого счастья», нас, если что, могут «в зьмской избе остерегать».

Мы — местные, мы гордимся тем, что мы теплая пыль проселочных дорог глубинной России и граненая роса на ее приватизированных лугах. Наше дело — мокнуть или высыхать.

Иван Тарасович имел внешность узнаваемо северно-русскую. Внук Двины, Онеги или Пинеги, среднего роста и в меру коренаст, короткорук и коротконог, лицо белого мякиша с румяной припекой; черты лица аккуратные; нос, который и заметен на лице, но никого не раздражает; губы тонкие, угорские, с годами приобретшие профессиональную мускулатуру; глаза светло-серые, чуть навывкате, под стекло; волосы, исходно соломенные — в юности они вились в крупные кольца, но пошла седина, и они выпрямились и поредели. Зато седина была — наше почтение: светящаяся, как чищенное серебро или правильный мельхиор. В сумерки голова губернатора, выходящего из своей смоляной машины на какое-нибудь ярко освещенное крыльцо, где его ждали одеревеневшие от добрых чувств встречающие, производила впечатление величественной шаровой молнии.

Невозможно было представить этого человека в былых фуфайке и кирзачах — его бы сразу приняли за ряженого, за шпиона, тем более что говорил он звучно, объемно, но с присвистом в новых арктических зубах. А костюмы, которые мастерил ему англичанин Джейк Конотопски, шли ему, как никому в начальствующей Сибири. И находились губернаторы, которые самолюбиво избегали фотографироваться рядом с ним, хотя вымахали на полголовы и на целую голову выше, а жались к Людмиле Нарусовой или приезжому высокопревосходительству...

Так вот, губернатор сливался с этим пейзажем и сиял, как полуденный дождь — сияла его седина, его серебристое лицо, сияла вся его фигура, отбрасывая на стоящих рядом металлический отсвет, какой отбрасывает большой лист жести.

И было понятно, что источник этого мреяния — в нем самом.

И вот что еще обнаружилось в нем на фоне прохладного сияния и в соответствии с ним. Голова у Ивана Тарасовича не-

множко присела на шее, а потому и глаза чуть подались к небу, но при этом и зрачки подъехали к носу, а сам нос, на грани неувимости, заострился, потеряв горбинку. Да-да; и лицо будто поседело в тон волосам.

Дальше будут листаться день за днем, но указанные перемены останутся в силе. Чинозы примут это к сведению. Надо так надо. Разве что буфетчица с третьего этажа, все еще обаятельная женщина, как-то сказала, сомневаясь: «Запрокинулся Иван Тарасович — годы летят, наши лучшие годы!»

Но она являлась маленьким человеком, известна была, в частности, и тем, что лет 15 назад по молодой, тщеславной глупости придумала для судомойки из столовой с первого этажа, что однажды после банкета, случайно оказавшись с ней один на один, Сам якобы хотел потрогать ее за прелестную грудь (она уверена), но не решился (!!). За такую дурь ее собирались выгнать в общепит. Она повинилась, поплакала — простили.

Чердак ли, подвал ли — закон, к счастью, работает: «С Дому выдачи нет».

На сей раз ее слова были совсем невинные, да и было уже кому за такую скоромную наташу заступиться.

С конца августа, когда пошли холодные, темные дожди, изменился голос Ивана Тарасовича. Он стал шелестящим. Причем между открытием рта и речью была заметная пауза, и после окончания речи рот также закрывался не сразу. Надо так надо. Шелест придавал словам губернатора некоторую задумчивость. Возможно, это помогло ему выиграть переговоры с председателем правления крупного международного медицинского фонда, неуступчивым голландцем, матерым геем, посетившим Потомск вместе с мужем.

А багряной осенью, когда уже подкрались первые заморозки, на очередном выезде в районы, произошло важное, летописное событие. В райцентре Нельмачево тогда отремонтировали школу и установили в больнице передовое оборудование, включая томограф, за который, как у нас принято, было переплачено 7,35 миллиона рублей. Обозрев больницу, со словами «придет время — и второй томограф вам поставим, лишь бы на пользу, на здоровье», Иван Тарасович вышел на близкий берег

речки Нельмачки, рядового притока Оби, и задумался.

Сотня человек, ходивших за ним, толкаясь и оттаптывая друг другу ноги в адских коридорах школы и больницы, тоже задумалась.

Почему не подумать, когда светит розовое солнце и над головой ободрительно бормочут в небе улетающие журавли? Впрочем, предметно думал один молодой главврач больницы. «Зачем мне второй томограф?» — думал он.

Тут Иван Тарасович громко фыркнул, спустился к воде и стал снимать с себя одежду, бросая ее на жухлую траву, и остался в одних трусах болотного, помнится, краеведческого цвета.

И все в молчании увидели, что тело у него тоже серебрище-еся. Что отразила и студеная небыстрая речка, и сонная щука, высунувшая свой перископ посреди губернаторского отражения в воде, похожего на зеркало, окунутое в ленивые струи.

Присутствующие очень внятно почувствовали, что ветерок сегодня дует осенний, знобкий. И вот уже один за другим стали раздеваться чиновные люди, и немногие, защищенные справками, остались нетронуты этим вихрем, громко и с сожалением говоря, что они радикулитны и ревматичны.

Иван Тарасович бросился в воду, поплыл, нырнул, вынырнул — и, погружаясь в колючую стынь вслед за ним, перед тем, как прокричать разные междометия, чиновники на быстром глазу поняли: губернатор-то наш, оказывается, — настоящий осетр!

А молодой главврач бежал по взгорку к воротам больницы, поспешая за спиртом. Варя, кричал он, все полотенца сюда! Какие «все», негодуяще отвечал ему фэготный девичий голос, где взять-то? У больных собери, задыхаясь кричал главврач, у больных! Личные отбери, Гос-с-с-поди!

Купался губернатор долго, искупался и после гигиенических процедур как ни в чем не бывало сел в машину. И все как ни в чем не бывало сели по машинам и поехали в Потомск, «на базу», как они шутили.

Последствия тому были самые прозаические. Губернатор пободрел, приосанился и приобрел запах речной воды, и этот запах пикантно сочетался с его тонкими дезодорантами и полюбившимся ему ароматом мужского «Кензо». Значительная

часть искупавшихся стала чахнуть, застудив себе всякие места и отделы тела, главным образом, легкие. Трое — что, характерно, из одного кабинета за номером 314 — покрылись фурункулами и стонали при ходьбе. К несчастью, двое отдали Богу душу. Первый, молоденький племянник... чей же? — от гнояного воспаления легких; второй, пожилой, старый соратник губернатора, большой любитель «Косынки», — от последствий перенесенного в тот день инфаркта. О нем Иван Тарасович погоревал, удрученно посидев в его навсегда упраздненном кабинете.

И еще четыре районных выезда сопровождалась купаниями в речной воде, пока не встали реки. Крупная партия исландских свитеров была распродана в ЦУМе в то предзимье, на радость предпринимателю Петровой. Она не уставала повторять: взяла их на свой риск, больно дорогие эти исландские. А пришлось дозаказывать. Кто бы мог подумать, с чего?

Свитера свитерами, однако люди свиты выходили из строя, и листопад бюллетеней наблюдался тогда в отделе кадров Серого дома. Редела свита. На последних хождениях в народ ее численность падала до тридцати человек! Доходило до того, что на каждый второй вопрос губернатора некому было давать справку, и районные прохвосты безнаказанно ввали что хотели или что придется.

Когда же с первого декабря Иван Тарасович перешел на сыроедение, катастрофой это показалось только в первые дни. Салаты, строганина, бастурма, бифштексы по-татарски, свежая рыба под лимоном, конечно, приелись быстро и нанесли свой удар по больным и здоровым желудкам серодомовской чади, плохо сочетаясь с алкоголем, статусно принимаемым по вечерам и в выходные. Желудки было засбоили, но уже по кабинетам бессознательно запахло сторонней готовой едой, а жены научились варить диетические супы на домашний ужин. Надо так надо; но никто ведь не запрещал чередовать то и это. И страусиное перо им было, было чем заменить.

Между тем, гипербореяский климат лишил Ивана Тарасовича купаний под открытым небом. Требовалось найти им достойную замену. Видимо, с этим поиском связан был его рож-

дественский визит на Болото.

Болото, как известно, в двух шагах от Серого дома, гранича через заповедный спуск на Обрубке с губернаторским кварталом.

Никогда ни Нарымов, ни его коммунистические предшественники, ни их монархические предшественники не появлялись там ни днем, ни ночью, как не ступала туда ни одна епископская нога. Не спускались туда, не опускались дотуда, и правильно делали!

На Болото смотрели сверху, с Горы, от реконструированного фрагмента острога, с восстановленной каланчи, от Вознесенской церкви над восточным склоном Горы. И оно, охваченное толстой подковой Горы, лежало в своем подозрительном покое, со своими домишками и слепорожденным населением как вещественная цитата из неказистого сибирского прошлого.

Но южная граница Болота — текущая в ивниках речка Ишайка, что далее к западу, огибая с юга Серый дом, заходит через три сотни метров после Обруба в реку Потому. Ишайка согревается различными промышленными и коммунальными жидкостями и не замерзает во всю зиму, на устье коварно подтачивая ледяной панцырь Потому. Иногда она курится, как банальный поток лавы, напоминая его и цветом своим.

Около 11 часов утра, в мелкий игольчатый снежок, одинокая (!) машина губернатора спустилась по Большой Болотной улице и встала в ее середине, там, где в просвет между скрюченными, словно похмельными, ивами виднелось Костровое место. Это Костровое место было клубом местных жителей, что попроще, посещаемым и в зиму; здесь в сумерки собиралась разная болотная бессонница — недопившая, желающая поделиться радостями и скорбями, замышляющая плохое дельце или недообщавшаяся за скудный чувствами день.

Губернатор, в одном костюмчике, с шарфом на шее, вышел на мороз и, минуя костровище, подошел к берегу.

Улица была пустыня. Кто-то трудится, кто-то отсиживается или отлеживается дома. Холодно, слышно, как вверху на каланче настойчиво скрипит флюгер.

Против костровища, на северной стороне улицы, у входа в магазин «Продукты Аккорд» мерз в своей раздолбанной ко-

ляске безногий инвалид Павел Васильевич с засаленной фуражкой на коленях. К коляске прислонена была длинная палка, облитая в наверху свинцом. Она предназначалась для защиты от дерзких пьяниц, забывавших о своем уважении к старику, и отдельных выродков из молодежи, еще не усвоивших вековые законы Болота.

Сбор Павла Васильевича был невелик, рублей 30, в чем уже дважды убедилась бдительная Фурия, или Фурка, супруга инвалида. Старик имел слабость. Когда у магазина собирались пьянчужки, они щедро делились с ним мелочью и давали ему допивать портвейн из пластиковых стаканчиков. Потом у них кончались деньги, но не охота пить, и сентиментальный, полный к ним любви старик сам отдавал, навязывал им, изображающим стеснительность, свою казну.

Супруга следила за ним из окна, но нужно же человеку и чаю попить, и пол помыть. Нет-нет, да и проворонит.

Увидев элегантного серебряного мужчину, который зачем-то мялся на берегу, не запуская пальцев в ширинку, Павел Васильевич начал озадаченно протирать очки.

Чудный незнакомец постоял над благовонным потоком Ишайки и подошел к старику.

— Что, здесь не купаются, грязно? — отрывисто прошелестел Иван Тарасович.

Не зная губернатора в лицо, Павел Васильевич ответил вопросом на вопрос: не сумасшедший ли перед ним? Добавил: если хотите, чтобы у вас мясо от костей отвалилось, нырните, тут химия подходящая. И попросил в фуражку.

Озадаченный губернатор усмехнулся и дал ему сто рублей.

(Эту сцену наблюдал из окна Алеша Сухонин, вставший с постели, чтобы принять пентальгин из-за сильного жара; он знал губернатора в лицо, но не поверил глазам своим. Подумал, что бредит наяву.)

Губернатор кивнул Павлу Васильевичу, сел в свою машину и уехал восвояси. Старик проворно постучал палкой в окно магазина, показывая деньги. Ему вынесли бутылку красенького, он ее выпил в три глотка и поехал по порочной земле Болота домой, запев «Поцелуй меня везде» при виде запоздавшей Фурки.

Но выход нашелся, и губернатор не знал горя во всю затянувшуюся зиму.

На авансцену выходит фигура Трясогузкина, долгие годы малозаметного труженика администрации, а ныне, в ознаменование особых заслуг, руководящего всей областной культурой. Подумать только! Он вынырнул на свет Божий на излете Перестройки в качестве директора районного кладбища и прославился тогда тем, что повесил над его входом транспарант с надписью «Добро пожаловать!»

Его сняли с должности, придравшись к тому, что он подворовывал (нашли причину!). Но очень скоро он пристроился в Сером доме, где зарекомендовал себя идейным демократом и показательным, истовым богомолем. У него обнаружили способности задавать секретный ход средствам из различных фондов с громокипящими названиями. А фондов этих было в те поры как опят на старой лесосеке. Интересно жилось!

И возвышение его пошло объясняли тем, что, обслуживая эти фонды, он оказывал Ивану Тарасовичу и другим старшим товарищам весомые услуги отслоения.

Любят у нас мазать грязью успешных, энергичных людей! Впрочем, у нас даже и несчастьям чужим от скуки жизни завидуют. Кстати, еще один городской сумасшедший, самоуверенный профессор Шитиков вполголоса настаивал, что вдобавок Трясогузкин заинтересовал губернатора, на старости его лет, своей лакедемонской живостью. Шитиков не подозревал об осетрении Ивана Тарасовича и не мог, безнадежно циничный, взять в расчет хотя бы то, что осетры не приемлют поэзии гомосексуализма по соматической сущности своей.

Нет, главная причина стремительного взлета Трясогузкина заключалась в ином. По образованию он был ихтиолог (что объясняет его одержимость культурой), в молодые годы, пусть и не без уныния и лени, занимался проблемой искусственных кормов для прудовой рыбы. Поэтому только Трясогузкин, с его научной зоркостью, мог угадать великую потребность губернатора и кое-что ему предложить.

Уму непостижимо, как он сумел подойти к губернатору в такой деликатной ситуации, какие слова нашел! Но судя по тому,

с какой грацией он употребляет нынче такие заветные слова как «бренд», «тренд», «креативность», «инновация» и даже «кластер», какие словесные аркады возводит, в собеседовании он дока, которому нет равных.

(Иногда вдохновение его превосходит рамки необходимого. Так, исходя из самых добрых намерений, он довел гениальным своим красноречием до инсульта народного артиста России Первенцева следующим поздравлением в день его 91-летия:

«Закройте глаза, распахните душу, распахните как можно шире, чтобы все звуки времени и мира ворвались в нее и исцелили от утомительной повседневности, вернув неутомимую жажду жить и чувствовать. И вот уже слышен плач ребенка — это Вы родились, это Ваш голос навстречу жизни. Слышите счастливый смех близких — Вы встали на ножки и сделали первые шаги. Звон колокольчика — первый школьный урок. Рыдания взахлеб — нечаянная двойка, сломанная игрушка, драчливый мальчишка. Скрип двери в подъезде, шорох листьев под ногами, соловьиный рассвет — первая любовь. А дальше — опера высоких чувств, оперетта легких увлечений, драматический спектакль рабочих будней, какофония домашнего быта. И все это — симфония радости бытия.

И я желаю Вам, чтобы не иссяк в душе поток мелодий. Пусть будет в нем и трепет птицы, и шепот ночи, и стон бурана. Пусть будит утром Вас рассветный ветер, а усыпляет шум дождя и ласки лепет. Пусть серебром звенит Ваш голос для любимых и рокотом морским для недругов случайных. Пусть сердце петь умеет, нежным камертоном вторя движенью звезд и солнца нотам. И пусть рожденье Ваше станет гимном жизни, что предстоит прожить под этим небом Вам бесконечно долго и счастливо!»

Перечитав этот текст шестнадцать раз подряд, ветеран сцены прошептал: «Пусть сильнее грянет буря!», после чего с ним случился удар.)

По совету Трясогузкина в загородной резиденции Ивана Тарасовича был ударно переоборудован бассейн. И потекла проточная вода, с флорой и фауной, присущей родным сибирским рекам. То-то раздолье наступило для губернатора! Якобы он поедал тогда, купаясь, свежую рыбу и червячков. Якобы в каче-

стве кормовой добавки Трясогузкин предлагал ему смачные, по затертости, списанные купюры из банка, нарезанные аппетитными полосочками.

Так или не так, но Трясогузкин зачастил к губернатору и превратился в держателя Большой тайны. А это чревато... ну и т. д.

Далее. От зимы к весне еще новое происходило с Иваном Тарасовичем. Он принялся тучнеть, тучнеть в поясе. В начале апреля это стало слишком заметно. Обычный его вес приближался к сотне килограммов — теперь округление губернаторских боков добавляло ему еще четверть центнера. Пиджаки вспархивали на нем, рубашки трещали.

И в лице Ивана Тарасовича появилось некое страдальчески-просветленное выражение, как у императора Александра Благословенного в последние годы его жизни или у олимпийского Миши перед взлетом в небеса.

И тут-то он отменил на две недели свой нерушимый алмазный график и без комментариев исчез из Потомска. В приемной сообщали, что он отбыл на север губернии, к нефтяникам, открывшим новое, перспективное месторождение. Что ж, энтузиазм губернатора был бы понятен. Но, видимо, правильнее будет догадываться о конспиративной миссии, потому что северяне не дождались Хозяина и звонили в Серый дом с угасающей патетикой победителей. Потом их успокоили, как были успокоены и люди «на Базе». Неувязку исправили, наступило приятное ожидание Хозяина за вязаньем и кроссвордами. Вернется непременно, глядишь — и Аленький цветочек подарит.

В свою очередь, немаловажно, что в те же сроки на две недели осиротела и порядком уже изнасилованная местная культура. Перед исчезновением Трясогузкина не могли не заметить в магазине «Белуга», где он зачем-то скупал комплекты водонепроницаемой одежды, палатки, разнокалиберные сети и многое другое. Он щедро, очень демократично шутил с продавцами, примеряя кое-что из купленного и спрашивая: «Идет мне? А это — идет мне?», вертеться и не щадя ягодиц своих. И предлагал симпатичным продавцам роли в спектаклях областного театра драмы.

Много позже, задним числом, дошло до Потомска глухое известие, что один потомский инженер, навещавший больного

отца в Салехарде, севернее которого только великая Обская Губа, мельком видел из окна самолета на поле аэродрома Ивана Тарасовича, садящегося в минивэн. Он был бледен и забирался в машину с глухаринной перевалкой. Машину окружали прищуренные мужчины с росомашьими головами и лядвиями. В Сибири все похоже на сибирское!

Губернатор вернулся по-былому худой, иссиня-серебряный, веселый, и в день возвращения как никогда обласкивал всех, кто ни попадался ему на глаза. Он дал конфетку пикетчице, у которой забрали в армию слепого сына, и погладил по руке при встрече своего пожилого секретаря Надежду Сергеевну, пошутив: «С вами я готов видеться ежедневно!» Ему доложили, что его любимец журналист Шуйский нашкодил. Выпив лишнего с товарищем, журналистом из соседнего края, тоже любимцем своего губернатора, Шуйский нанял конный экипаж, чтобы проводить любезного друга на вокзал. Во всю дорогу друзья призывали прохожих голосовать за Ивана Тарасовича, кричали: «Куда Марусе Климовой до нашего Нарымова!» Допились то есть до того, что забыли об отмене выборов. Иван Тарасович велел послать ему упаковку кефира. На свои деньги!

А вот Трясогузкин, напротив, явился заносчивым, фамильярно дерзил. Зампреду областной думы он посоветовал не носить галстуки в поперечную линейку, а заместителю губернатора по сельскому хозяйству сказал: «Ваше сельское хозяйство, если оно существует...»

На следующий день Иван Тарасович собрал в Квадратном зале первую сотню губернских чиновников и равноапостольных им лиц. Он произнес короткую речь, посвященную инновациям и нанотехнологиям (в том числе, цитируя Трясогузкина, нанотехнологиям в искусстве). Воодушевленная аудитория не успела поделиться с ним своим воодушевлением, как Трясогузкин извлек из-под президиумного стола несколько картонных коробок.

«Гул затих». Короткая заминка сменилась восклицаниями и долгими, продолжительными аплодисментами: Трясогузкин раздавал огромные, двухсотграммовые банки забытой (и вообще-то запрещенной) паюсной икры!

Вот тут-то чиновники, всем собором своим, впервые за двадцать лет удивились. Не понимая, что удивились, на модную наносекунду — но удивились.

Когда коробки опустели, Иван Тарасович поднял руку и в полной иконописной тишине сказал:

— Первое. Заводится добрая традиция. Такой символический подарок от вод наших я лично буду вручать нашим лучшим работникам. Пока я... на месте. Храните эти баночки, опустоша.

(Все с умилением посмотрели на баночки: стеклянные, с простой крышкой, на которой было написано: «Икра народная от Нарымова».)

— Второе. Друзья, на той неделе, на выезде в Коломенку — открытие купального сезона... Ешьте икру — это законная икра. Заслуженная.

И все увидели, что глаза Ивана Тарасовича подернулись влагой. Он как-то замялся и закончил несколько невнятно:

— Можно сказать, ешьте меня. Буду вам как Христос.

И скрылся в комнате отдыха за его спиной, а лучшие люди, смеясь на его шутку, выходили из зала и растекались по коридорам и этажам, далее улыбаясь уже по своему поводу. И не были удивлены.

А купаться им не пришлось, и затея эта прекратилась, как выяснилось, навсегда. Назавтра Ивана Тарасовича срочно вызвали в Москву, в администрацию президента. Вернулся он через месяц — все такой же худой и осиянный, но голова его частично приобрела былую сухопутную осанку, и черты лица вернулись в былое, чудный запах пропал, а голос и вовсе огрубел, ожестачился. Когда он произносит, например, слово «модератор», многим кажется, что голова их попала в пасть тигра.

Пока его лечили в Москве, его загородный бассейн почистили и привели в санитарную норму, положенную объектам подобного назначения.

Да, его лечили и вылечили. По авторитетному свидетельству, история с Иваном Тарасовичем совсем не была каким-то исключительным казусом. В последние годы такие истории происходили со многими политическими долгожителями и в Москве, и в провинции, и в государственной думе, и в Совете министров.

(К сожалению, раскрыть источники информации пока не представляется возможным.)

Причина превращений оставалась непонятной. Очевидна была лишь сама их связь с политическим долголетием. Но почему большие люди превращались, или, точнее, уподоблялись зверям, рыбам и пернатым? Кто-то — бобру, кто-то — волку, кто-то — чайке, кто-то (наш!) — осетру, а кто-то и давно вымершему туру (в Брянске, кажется?).

По одной версии, они становились живыми тотемами своих территорий и избирательных округов. (Вполне правдоподобно. Совпадения или полусовпадения с местными представлениями о царь-животных или хан-животных налицо. Есть нюансы — скажем, в нашем случае логичней было бы Нарымову обратиться лосем или медведем, поскольку осетры в нашем краю большая редкость, их перевели. Но карта Сибири давно ли кроилась по-другому? Что есть наш край с точки зрения высших сил? И всего 50 лет назад осетров водилось множество и в нынешних границах края. Не вернуться ли они, на что намекают высшие силы? Тогда превращение Нарымова в осетра есть акт оптимистический!)

По другой версии, в недоброе дополнение к первой, тут проявляется не столько почитание заслуг, сколько указание на чрезвычайные масштабы разворованного и разрушенного в данном кормлении. Забавно, но тоже логично.

(Однако многие признанные, самые заслуженные злодеи нашей новейшей истории не обнаруживают физиологического сходства с соседями по планете. Но, может быть, их постигла метаморфоза другого рода? Кто-то осетр, по почвенности, а кто-то, из федеральных, тех, кто отвлечен от конкретики территории, — к примеру, оборотень, и «знает только ночка темная» правду о нем? А клыки и лишнюю шерсть нынче можно вырывать и пропалывать без всяких последствий...)

Как все запутано, как неочевидно! Голова идет кругом.

В любом случае разворачивался сюжет периодического соблазна массового недоброжелателя. То еще полбеды, если речь идет о своих согражданах, со своими демагогами худо-бедно справимся. Что много хуже — вопрос международного резонанса. Тут обещается сокрушительный удар по престижу рос-

сийской власти, тут, в конце концов, удар по самим пострадавшим. Ибо Запад без сомнения склонится ко второй версии с присущим ему лицемерием и двойными стандартами. И Бог весть что будет: перестанут заслуженных людей и их семейных пускать к себе, запретят покупать недвижимость даже в Болгарии. Заморозят счета!

И когда-нибудь остановится этот чертов Гольфстрим? Поди, когда рак свистнет.

В итоге в рамках чрезвычайного проекта МЧС создали закрытый институт, где собрались в единый кулак ведущие российские светочи науки, не сбежавшие еще за рубеж. Разработали терапию, создали фармакологическую компоненту и т. п. Начали лечить, то есть возвращать людей к образу Адамову. Можем, когда «захочем»!

Не все получалось, особенно поначалу, но и потом — слишком разными были превращения. До сих пор неразрешимы казусы с губернатором-змеей и депутатом-оленом (Как ни странно! Казалось бы, простой случай!), обоих до лучших времен перевезли в далекий гостеприимный Гондурас.

Они, по крайней мере, живы. Ряд терапевтических неудач приходится на несколько загадочных для обывателей смертей высших чинов государства. Сколько стандартных глупостей говорилось по их поводу! Но ни при чем здесь передел рынков и алкоголизм, войны криминальных группировок и фатальные ссоры в сауне, и бабы.

Большую часть пострадавших вылечили, вернули к ответственной работе. Такими людьми не бросаются.

Известно, что остаются большие фигуры, уклоняющиеся от терапии, прикрываясь связями и своим высоким положением. Но долго ли веревочке виться?

Если присмотреться, то вычислить этих людей возможно. Поступки и решения выдают их разительнее внешности. Но каждую пластинку заедает по-своему.

Наш Иван Тарасович выдержал свое испытание без ощутимых хозяйственных, политических и имиджевых потерь. Если лечение его и стоило дорого (и тут втрое, как у нас водится, накрутили), то счета оплатила администрация президента, и местный бюджет не пострадал.

Ситуация в регионе стабильна, реалистична. И до, и во время, и после оставалась таковой.

Иван Тарасович отказался от сыроядения и перешел на любимые котлеты и малосольные огурцы. Он продолжает любить дожди, волнуется, одушевляется, когда они закипают. Его новое увлечение — наша вера христианская. Трясогузкин в этом ему большой помощник, почти что наставник. У каждого свой путь к вере.

Бывает, что, задержавшись на работе допоздна, Нарымов заходит, благо рядом, в Иверскую часовню, точную копию московской, на площади Ленина, помолиться. В дрожащем свете свечей на стены часовни, на иконы падает его тень, все-таки похожая на вставшего на хвост осетра.

Глава седьмая.

Матери — пятьдесят лет

Как нам быть, Алексей Николаевич? Не ведаю, Алеша, будем задумчивую думу думать. Алеша боялся поторопиться — и Алеша боялся опоздать. От следующей встречи с Вандой зависело ВСЕ. Это будет не встреча — это будет свидание. Когда и где, и какие речи он должен повести? Он должен набраться отваги и подстеречь ее — «случайно»? «Столкнувшись» с ней утром перед работой или вечером после работы? Или положиться на авось, на взаправду случайную встречу? Но слова-то надо приготовить в любом случае! Какие???

Не бухнуть же наотмашь: «Я тебя люблю»? Или «Я Вас люблю» лучше? Ох, люблю, люблю, но это же будет атака, она же, поспешная, может и остудить, и обязать, и обидеть Ванду, даже если она равнодушна к нему. Нет, какая-то часть ее души будет невольно сопротивляться атаке, и заскучает Ванда при таком дешевом раскрытии тайны.

А как же без тайны? Надо беречь тайну, она потом будет беречь тебя, беречь ее.

Алеша удивлялся мудрости Алексея Николаевича, его тактичности по отношению к Ванде. Как это верно — про тайну!

И он за три дня перебрал сто возможных вариантов встречи-свидания с Вандой и сложил тысячу фраз для разговора с

ней. Это сказывалось на его работе: он выполнял свои задания быстрее быстрого, бегущими руками, не думая о том, что может нанести вред своим обстоятельным коллегам по цеху (без того косились на него коллеги), ибо чем быстрее работает такой автономный труженик, тем меньше ему хочет заплатить заказчик, считая, что его дураят.

И все фразы были натянутые, скрипучие, пошлые, и на собственное лицо в зеркале при их репетировании было стыдно и больно смотреть.

Он был молчун. Он не умел говорить, не умел шутить — и хватался за слова чужие, потрепанные, и сразу чувствовал, как врет, подводит его голос, потому что рот набивался невидимой ватой.

Сейчас он прятался от Ванды, стараясь исключить любую возможность показаться ей на глаза. Уходил на службу заведомо пораньше, вольготно бродя между чистенькими домами на Уржатке, пока не откроется контора, и выкуривал по полпачке сигарет за час-полтора. Возвращался домой через Обруб, пробегал с опущенной головой те опасные метры от угла дома до подъезда, шнырял в него. И уже сидел дома безвыходно. Продукты покупал в Городе и тащил пакеты домой за сто верст.

И уже охватывала его смертная паника, до дрожи в коленях, до самых дурных слов, переплетающихся в душе с самыми нежными, до мыслей «а не податься ли куда подальше, и совсем?».

И снилась ему Ванда, то сидящая на скамейке под дубом, сияя коленями под кожаной юбкой, то идущая домой — гримаска, челка, белые нежные ноги, идущие не по земле, а над землей. Иначе они и устанут, слабые, им не целованные.

И он, жмуря глаза, бился головой о спинку неразложенного дивана — он спал, не стеля постель, и думал, не начать ли выпивать на ночь, так он мучился. Тараканов говорил ему как-то, что после бутылки «777» сон у человека волшебный. После одной, уточнил Тараканов, две будет в перебор. Бутылка стояла за диваном непочатая. Алеша еще не сдался на волю волн.

И каждое утро он, без того верный друг Мойдодыра, грел воду в самодельном титане и забирался в самодельную сидячую ванну, и надевал свежее белье, как моряк перед погибельным сражением: «последний парад наступает».

И Ванда была далеко-далеко, и он переносил любовь к ней на прогулочный старый Город, делился любовью с ним, таким болезненно красивым в своих древней и новой, извинительно-поддельной под старину, геометрии и красках, заметно и подходяще обезлюдевшим в этот неупиваемый август.

Небо надним темно-синее; если в облаках — то в темно-серых, буроватых, как картофельная кожура. Дома, желтые, красные, серо-«дикие», словно подсвечены от земли, умытые, какие-то оставленные, грустные. Листва темно-зеленая, сомкнутая влагой, с редкими пятнами запаздывающей охры (на тополях, кленах, ивах) и сурика (на немногих рябинках; осин в центре города нет).

Теплая Ишайка, меняя расцветку, как сошедший с ума хамелеон, ночью и по утрам уже дымится, парит; бежит под Каменным мостом, газует в последней петле у Концертного зала и прячется под главным проспектом, чтобы затем на последней прямой слиться с Потомой, начинающей по-осеннему рябить, терять прозрачность. Скоро она закиселеет, хоть ножом ее режь.

Жалко, что запретили продавать с лотков на улицах в центре Города овощи и фрукты. В приглушенном, покорном свете августа самое их время. Цвет у них густой, плотный, зовущий, видно их издалека. Детство, азбука, «каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Ванда покупает апельсины, бананы, баклажаны, яблоки, арбуз, дыню, гранаты... Как же она это все уне... Совсем рехнулся ты, Алеша с Болота!

Рехнулся, Алексей Николаевич. Надо же такую фантазию слепить!

А юбилей матери был уже на носу, и набит был уже холодильник снедью, и уже купил Алеша матери подарок — золотой гарнитур с изумрудами! Такой раздачи подарка не получали женщины на Болоте с 1975 года, когда Исакыч подарил своей Тамаре некое кольцо на 55-летие. А до Исакыча что-то такое подносили дамам еще до революции. Полгода копил на подарок Алеша, и Ираида Петровна заметила (но и догадалась о причине), что он отдает ей денег меньше, чем в первые месяцы работы.

Готовясь к юбилею, мать вела себя как-то загадочно, была на подъеме эмоций. И не только задерживалась на работе каждый

день до отказа, но и где-то пропадала по выходным, тогда как обычно сидела дома, то есть лежала на диване, читала или готовилась к занятиям у себя в комнате, окруженная с трех сторон почетными грамотами и благодарственными письмами в рамках. Внимательный подумал бы, например, что у нее образовалась личная жизнь, как это бывает в кино про заслуженных женщин...

Но помешавшийся, ослепший и оглохший Алеша не придавал ее вариациям никакого значения, и напрасно мать таинственно покашливала за ужином, как бы намекая на что-то, что обновит их жизнь. Сама же мать, увлеченная своей тайной или секретом, редко видя сына, тоже не замечала за ним очевидных демонических окаменений.

В день накануне юбилея Алеша договорился с Андреем Андреевичем, что тот отпустит его после обеда. Надо было прибраться в доме, и прибраться всесторонне, во всех пяти помещениях квартиры, да еще и лестницу помыть, и поправить на ней расшатавшиеся перила.

Шмыгнув в подъезд, Алеша, однако, не сразу зашел домой, а забрался на чердак и навестил чуланчик. Зачем, что подтолкнуло его барахтаться в пыли, согнувшись в три погибели под низким скатом крыши, он бы не ответил. Наверное, было в этом что-то юбилейное.

В чулане, под простым щербатым столом, сучали два облупленных сундука со старой одеждой; на столе располагались сепаратор, машинка для набивания папирос, коромысло и цинковая ванна. В ванне — толстый пакет с бумагами и фотографиями. Алеша открыл его: с фотографий смотрел на него отец; отец и сам Алеша-маленький; отец и мать. Тут были и свадебные фотографии: отец в костюме с галстуком, мать — в обычном шерстяном платье с какою-то брошью на груди, но все-таки в фате, откинутой на затылок. Отец — «Сельдерей», вспомнил Алеша бабушкину обзывалку и засунул фотографии обратно в конверт. Погладил висящие у входа на гвоздике отцовские шаровары — Алеша их носил, да совсем заносил. Удобные, с глубокими карманами, невесомые.

Зайдя в квартиру, Алеша неминуемо уперся взглядом в новую плиту и подумал по-мещански, что в доме Сухониных появилось

много новых полезных вещей. Плита, японский телевизор, пылающий ковер в зале, диваны, модный сервант, который настолько модный, что и называется другим словом, забылось, каким. Зарабатываем, Алексей Николаевич, сказал он себе, и мать не кто-нибудь — директор. Он не спрашивал у матери, какова ее зарплата, понимал, что повыше его будет. (Если бы он знал, насколько, может быть, вознегодовал бы отчасти — ревниво, как пролетарий.)

Не разуваясь, прошел в зал. По стенам фотографии разных лет: прабабушка, бабушка, мать, Алеша. Репродукция картины «Март» Левитана, подаренная матери в школе на сорокалетие, она тогда была «завучихой». Этот «Март» Алеше очень нравился. Там все-все были счастливы под солнцем — и лошадка, и зашедшие в дом неизвестные гости, и деревья, и даже млеющий снег. И, конечно, сам художник: он дышал вешним воздухом, слушал капель и птичий щебет, щурился на солнце (он же не мог не оглядываться!) и вытирал мелкие слезки.

Еще Алеша любил старый, столетний бабушкин комод, что стоял справа при входе в зал. Он его отлакировал, поменял фанеру в ящиках, выточил новые коротенькие ножки из обломившейся дубовой ветки, выпрошенной у Пухова. Но не стал восстанавливать отбитый уголок аппликации на верхнем правом ящике. Этот уголок был поврежден 22-го января 1924-го года бабушкиной головой, точнее лбом. Ей было тогда три с половиной года. Она бегала по комнате, веселилась, а в стране был траур. Соседской девочке Тоньке, постарше, надоело бесполезно командовать: «Замолчи! Не балуйся! Ленин умер!» И она дернула в раздражении за свой край дорожки — и подкошенная с разбега бабушка ударилась о комод. Шрамик над бровью у нее остался на всю жизнь. И скол на уголке стал семейной реликвией, значимой и для ленинки-матери.

И еще Алеше нравились деревянные полы в их доме, посланные на вечных лиственничных вагах. Он с удовольствием переложил половицы год назад, а перед тем долго выбирал доски, долго сушил их. Меняя половицы, он ознакомился с тем, что за годы накопилось под ними помимо ажурной винтовой пыли. Накопилось чуть-чуть: копейки сталинских лет, квитанция на починку валенок, выписанная от руки на газетном клочке,

стальная цепочка (от часов?) и самое интересное: папиросная пачка — «Делегатка» — и листочек из письма на желтой бумажке в клетку, исписанный с обеих сторон.

Папиросы «Делегатка» были изготовлены в Ленинграде на табачной фабрике имени Троцкого. На фаске изображена была жгучая, довольная собой брюнетка в красной косынке и мятой белой блузе. Усмешка, вернее, ухмылка ее Алеше не понравилась. Но понравилось то, что в этой пачке, выброшенной плотником в год, надо думать, строительства дома, забилась в уголок не замеченная им папироса. Алеша выкурил ее с Таракановым, солдатиком. Папироса была сухая и ароматная. «Поди, табак в ней турецкий, — сказал Тараканов, — тогда подделывать не умели, вкусна, сволочь».

Потом Алеша предъявил ему листочек письма. Текст его был вдоль и поперек исчеркан химическим карандашом, но читался, по крупности почерка, без усилий.

«...Ни хлеба, тем боле ни сахара. Веришь ли друг, живем на калбе, жуем свечки еловые, чтобы голод загасить. Еще вар — вдоволь его, да он без толку. Турок у нас в бригаде проглотил кусок — чуть не окочурился. А главна еда — сорожка, окуньки. Ловим украдкой, запрещают!!! Бредешок самодельный. Ловим, сушим. А соли тоже не вдруг достанешь, чтобы завялить впрок, так печем пресную в золе. Вывешивали бы на дворе, так махом скрадут или полномочный умордует. Картошка только в супе, черная, по субботам. У местных мало ее — не родится. Заместо чаю, слава Богу, лист смородинный, брусничный, мятка.

Жили мы в Потомске, тужили — голодно нам. А то был не голод, а мелкий дефект жизни. Сказка была впереди.

Ивана Агапитовича нема. И других иванов агапитовичей нема. Понимаешь? на Егория Майского за околицей подснежников нарвали полную охапку.

Сошелся тут с одной ФБС. Голод голодом, кубы кубами, а жисть имеется на один чудный миг. Оно и щепка на щепку весной зарна. Товарка с Черемошников, была активистка-значкистка, стала пораженка-кренделистка. Порченная, как все с Черемы. Худа, как колхозна корова, но, скажу я тебе...»

Алеша спросил тогда у Тараканова, кто такая «ФСБ»? Тараканов просветил: «ФСБ — это федеральная служба безопасности. А ФБС — это фабричная блядь-сиповка». Подумал над письмом и сказал: «Нда, нда. Выходит, не выдумки это. А я думал, выдумки, преувеличивают. А это не выдумки. Ишь ты!.. Пока!» И затрусил на свою стоянку, как премудрый пескарь, топыря руки-плавники от работы жабер.

Пустую пачку и письмо Алеша положил обратно, захоронил под полом, переписав текст в тетрадку.

Припомнив про это, Алеша прошел в свою комнату. Быт у него был простой, холостяцкий. Диван, стол с тумбами, набитыми всякими инструментами и метизами, полка с историческими книгами матери, которые почитывал и сам Алеша. Напротив дивана стояла пружинная кровать бабушки. Бабушка ее очень хвалила, отказалась заменить ее диваном наотрез. А ведь для нее первой копили на диван! Кровать накрыта клетчатым пледом. Ее давно уже можно было вынести на чердак, в чулан, и не ленив был Алеша, но... пусть побудет, не мешает. Мать с ним согласилась и была растрогана.

А вот картины-коврики пришлось убрать — они выцвели, разлезлись, «порепались». Над бабушкиной кроватью — голая беленая стена (обои плохо приживаются в сыром доме; у Сухониных они только в зале, и каждый год Алеша пристегивает новые). Над Алешиним диваном — фото бабушки и цветной плакат с изображением Фудзиямы, снятой сквозь цветущие ветки сакуры. Плакат ему подарил клиент, он говорил, что был в Японии. Там жить невозможно дорого, сказал он при этом, там я — как ты.

С чего начать? С пылесоса, конечно. И весь оставшийся день он, не торопясь и думая о Ванде, наводил «бриллиантовый» (согласно бабушке) порядок. И ни разу не посмотрел в окно.

Мать, освеженная моросившим дождиком, пришла поздно, оживленная по-дневному, пробежалась по квартире, восхитилась наведенной чистотой, блеском в окнах и дважды обнимала и целовала Алешу в обе щеки. Поскольку она целовала его не каждый год, ему было приятно и конфузно. Потом она примеряла новый, «юбилейный» костюм, строгие, прямые и элегант-

ные жакет с длинной юбкой. Костюм шел к ее крепкой фигуре и удачно скрывал издержки этой крепости, и гармонировал с ее широковатым и плосковатым лицом.

Мать заставила Алешу оценить этот завтрашний наряд, и он высоко его оценил, конечно, сказав: «Идет. Отлично. С лицом хорошо». Она, довольная, засмеялась, и тут уж он не удержался и вручил ей подарок. Она ждала достойный подарок, но гарнитур превзошел ее ожидания, и она опять поцеловала его — в нос-курнос, потому что он в смущении уклонялся.

Теперь, с украшением, она снова завертелась перед трюмо, сдвигая и раздвигая его створки. «Какие там пятьдесят, игриво говорила она, сорок — и то много будет! Разве это мать взрослого сына? И директора красотками бывают!»

И отослала его спать. «Ты свое грандиозное дело сделал. Цветов завтра не покупай. Надарят целое море в школе, я привезу. Не прозевай — завтра в час привезут горячее, я заказала все-таки. Чего мелочиться, чего угорать за плитой? Гости припрутся в три».

— Ну и ну, — сказал Алеша, — как это: «бежим в ширину»? «Земство обедает»?

Лег с книгой, первой попавшейся. Книга была про расцвет Османской империи при Сулеймане Великолепном. Алеша прочитал, что янычар не получал звания воина, пока не вытачивал из берцовой кости убитого им христианина рукоять для своего ятагана. Такое сведение отчасти взволновало его, и он вынужденно потрогал одну из своих берцовых костей. Книга закрылась сама, и он еще лежал и лежал в непрочной дреме. Заснуть окончательно не давала мать. Она до глубокой ночи готовила салаты, стуча ножом и звякая ложкой по хрустальным салатницам, и пела вполголоса, задыхаясь, мимо нот, одну и ту же песню: «А может быть, ты лучше всех? В чем дело — сразу не поймешь. Одна снежин... ка — еще не снег, еще — не снег, одна дождинка... эх, еще... не... не дождь!»

На следующий день, в субботу, Алеша проснулся поздно и встал не сразу, слушая, как гудит в проводах поднявшийся ветер. Он думал вперемешку о Ванде и об осенних цветах на клумбе прапрадеда на Горе. Ветер и заставил его представить себе качающиеся над клумбой цветы. Мать не знает...

Мать ускакала с утра: ее должны были поздравлять в школе, и она накрывала там «скромный» фуршет, положение обязывает, сказала она вчера, задирая бровь. Мало я знаю мать, подумал тогда Алеша, она пыжится, пыжится! И впервые в жизни задался вопросом: каково с ней, с ее норовом, с этой вот появившейся пыжливостью, приходится ее подчиненным? Уж мужчинам-то достается с прицепом! Учителя, наверное, по струнке ходят? Боятся, бздят ее? А дети-то точно ходят строем! А она справедливая? Или дурная, как паровоз? Должна быть справедливая. Чего бы ее столько уже лет держали в директорах, награждали?

(Алеша не мог знать, в каких масштабах развелись в наше время начальники, осатаневшие от безнаказанности и властного сладострастия. Но если бы и знал, то почему таким начальником обязательно должна быть его мать?)

К обеду ветер усилился, далеко на западе, налегая на горизонт, нарисовалось какое-то ныряющее облако из сизого крахмала. Чердак трещал и жаловался.

Привезли горячее, и мальчишка-посыльный, пока Алеша перегружал в свою посуду бефстроганов, солянку и семгу с грибами, сумел его разжалобить и выпросить полтинник на пиво. Давай мы все будем полтинники выпрашивать, сказал Алеша, подражая Тараканову, что будет? Но бумажку дал. «Мы-то по крайней мере не ворует, — ответил мальчишка, — а просим. А они не просят, зато воруют, нам не снилось, как. Россия!» «Россия, — согласился Алеша, — птица-тройка».

И вот приехала мать. Именно приехала, а не пришла, не подвезли. Приехала на своей машине. Алеша выглянул из окна на настойчивое, надоедливое бибиканье какого-то, может быть, слишком нервного таксиста, недоумевая, кто же это в их пешеходном доме мог заказать такси? Что это за «барство дикое»? А увидел мать за рулем зеленовато-серой «Шкоды». Спустив стекло, она махала ему одной рукой, а другой нажимала на клаксон, но молча. Она от волнения не могла говорить.

Алеша выбежал к ней.

— Ты теперь жених с машиной, — выдохнула мать, — учись водить, записывайся там. Я сама оплачу, с барского плеча. А я уже научилась, у меня права имеются.

И показала права.

— Машину делим в мою пользу, но и тебе достанется. Выходные все твои, — добавила она.

Заднее сидение машины было завалено цветами. Тут же два торта и несколько коробочек поменьше. На переднем сидении рядом с матерью — какие-то грамоты, адреса в багете и красных кожаных папочках. Юбилей.

Так вот почему мать пропадала из дому с марта по август.

— Но это же дорого, — осторожно сказал Алеша.

— А я и копила семь лет. И я же не уборщица, а директор школы. И получаю не просто больше тебя, а скажем... вдвое больше.

— Тогда мы самые богатые люди на Болоте! — ахнул Алеша. Ему стало как-то нехорошо, он заозирался вокруг и вспомнил о Ванде: вдруг она смотрит на него из окна. Мать цинично сказала «брекеке». Алеша приосанился — машина и машина.

— Тебя не посадят? — тихо уточнил он.

— Не посадят, — ответила мать, — за это не сажают. Что ты как кол проглотил? Садись рядышком.

И открыла ему дверцу. Он сел на стопу поздравлений. В машине пахло «горной лавандой». Дезодорант перебивал запах цветов, собственно говоря, не запах, а дух, который скорее шел от сочных стеблей этих роз, тюльпанов и гладиолусов, чем от их лепестков.

— Пошли, — сказала мать, — забираем все и пошли. Гости уже на подходе.

И затем, придерживая дверь подъезда для Алеши, убранного цветами и коробками, придерживала и его, заходящего, сзади, за ремень на брюках — и приказала:

— Оглянись-ка, Алешка!

Он оглянулся. И она торжествуя, с наслаждением пикнула пультиком, закрывая машину.

— Да-а-а-а-а... — открыл рот Алеша, заходя в гулкий подъезд, и не захлопывал рот, пока не вошел в квартиру.

— «Шкоду» мы обмоем с гостями, — сказала мать, — а потом я отгону ее на стоянку к Тараканову. Я уже с ним договорилась, заплатила за месяц.

Каков Тараканов! Он знал о машине и не проговорился. Кремень-человек.

Гости, вернее, гостыи, посыпались одна за другой.

Ираида Петровна поначалу рассматривала вопрос о приглашении кого-то из соседей. Как сообразил Алеша, ею руководила не привязанность к ним, которой, по графику ее жизни, неоткуда было взяться, а зыбкая мысль о соседственном этикете и надежное тщеславие: пусть, наконец, поймут, с кем их свела болотная судьба.

Но в итоге была приглашена одна Тамара Георгиевна. По разным веским причинам сразу отпали: Широковы как неприятные, Каргопольцевы как неизвестные, Рябинины, хоть и ближайшие соседи, но староверы, Дьячковы как варвары, которым, не хочешь зла, не показывай, что у тебя в доме имеется.

Далее: добряк Тараканов немедленно напьется и понесет чушь, думая, что юбиляр — это он. Значит, и бабки его отпадают. Доукши? Алеша забраковал Доукшей очень решительно, и мать недоуменно, с подозрением посмотрела на него, но согласилась. Владислав все-таки интеллигент, но, наверное, у Алеши неприязнь к нему, а скорее он стесняется его продавщицы-дочери или знает о Ванде что-то скользкое, болотненское, решила она.

Обрадованная приглашением старуха Тамара было замаялась: как же оставить Исакыча? Часов в пять, в шесть он проснется, и вообще. Он ведь ей не позвонит.

А мы пошлем ему еды, вам и готовить не надо будет, сказала мать, и договоритесь вы с Таракановым или с этой девчонкой Вандой: пусть посидит кто пару часов, а как подыметя Исакыч, вам позвонят на сотовый. Вы и прибежите. У меня нет сотового, огорчилась Тамара Георгиевна. Позвонят на мой, я его рядом с вами положу. (Тамара Георгиевна договорилась с Вандой). Покормите, Борис Исаакович заснет — и пожалуйте обратно на банкет!

Гостыи заходили, снимали плащи, и Алеша заставил их мокрыми зонтами свою и материну комнаты. Да, погода портилась, на улице лил дождь, потемнело, и пришлось зажигать свет. Стол засиял, «как эпоха Возрождения», по словам Марии Сергеевны, учительницы истории, как и мать.

Кроме этой учительницы истории пришли директор соседней школы Надежда Игоревна, очень похожая на свою долж-

ность, завуч материной школы Светлана Андреевна, вылитый завуч, и секретарь школы Флюра Хасановна — самая старшая, несомненный секретарь.

Одни женщины. Не находятся в школьных пределах мужчины, достойные разделить праздник с видной педагогической женщиной. Мать, конечно, пригласила бы этих неявных своих подруг с мужьями, но муж Светланы Андреевны не годился, по мнению Светланы Андреевны, для приличного застолья; муж Флюры Хасановны умер в прошлом году; а от статной Надежды Игоревны муж давно сбежал к некрасивой методистке из института усовершенствования учителей, на прощание назвавши Надежду Игоревну Марфой-посадницей. А Мария Сергеевна была безнадежно незамужней.

Тут случился первый конфуз: Надежда Игоревна, в отличие от прочих женщин, не успела, занятая своими хлопотами, одариться утром и принесла свои подарки сейчас. Это были какие-то сережки с аметистами и картина. Она сказала, что ее любимая. Она сняла с нее упаковку, и взорам предстал «Март» Левитана. Еще один такой «Март» уже висел на стене перед ней, ею не замечаемый.

Все эти женщины были в доме Сухониных впервые. И этот казус подчеркнул по-своему сложившийся дефицит свободного общения в современном мире. Раньше друг о друге знали больше, и такие пассажи были практически исключены.

Огорченную Надежду Игоревну успокоили, бывает, мать сказала, что повесит второй «Март» у себя в кабинете, в школе. «Всюду будет март».

Тамара Георгиевна пришла последней, принесла букет хризантем и какой-то тостер. Подарки по ее просьбе купила Ванда. Согласилась с готовностью. Она и сидит сейчас с Исакычем, взяла с полки «Три мушкетера», читает. «Милая девушка, как я раньше не разглядела. Называла меня тетя Тома. Не баба Тома, а тетя Тома. Тактичная. Так, глядишь, и наладятся отношения с соседями».

Алеше захотелось спросить, во что одета Ванда, не кожаная ли на ней юбка, не прозрачные ли колготки под юбкой, по случаю сегодняшней сырости? Не спрашивала ли она про него как-нибудь? Конечно, промолчал, но от его взгляда Тамаре ста-

ло не по себе: ей помнилось, что он на нее сердит. Ляпнула что-то и сама не заметила? Вроде бы нет...

После первого тоста (Алеша выпил глоток шампанского) вышли на улицу «прописывать» машину. Разлили еще бутылку шампанского, каждый плеснул остатки из фужера на крышу, а мать осторожно разбила свой фужер о бампер. Сказали ура. Машина, облитая дождем, блестела тускло и загадочно, как гангстерская.

Алеша прижимался к двери подъезда, нечаянно прикрывая спиной «жопу». Надежда Игоревна посмотрела на него и спросила: «Ты, похоже, не рад машине, Алеша?» «Я рад», — ответил он. «А ведь мне все равно, — подумал он, — наблюдательная».

Сыро, промозгло, на улице пустынно, как вымерли обитатели Болота. Уже вздулись лужи, уже раскатывает их по асфальту, по земле нетерпеливый ветер.

— Не буду я сегодня отгонять машину, — сказала мать, — я и приняла, как говорится, на грудь. Пусть стоит.

И они вернулись домой под преувеличенно-жизнерадостные возгласы на лестнице. Надежда Игоревна давала матери советы, как опытная гонщица.

Хорошо ели, восхищаясь едой, и умеренно пили, хваля рейнское вино и настоящий коньяк, в котором на самом деле не разбирались. Говорили не умолкая, но именно поэтому Алеша ощущал неожиданные тоску и скуку. Они наплывали волнами, перебивались чьим-нибудь восклицанием, введением новой темы в разговор, но наползали снова и снова.

В ярких, театральных декорациях этого преждевременного вечера сидели актеры. Можно разыгрывать роль счастливого любовника и думать при этом, что не оплачен кредит, что сын попал в дурную компанию, а на ужин осталась пачка вареников без масла.

За столом сидели бедные, измученные заботами женщины — но и не безобидные, и, быть может, с корявыми душами, с болезненным самолюбием, разучившиеся общаться искренне и просто уставшие от такого затратного общения по долгу раз и навсегда им данной службы. На клеймо профессии наложилось общее клеймо этой жизни.

Только Тамара Георгиевна, немножко, в меру раздражавшая других своим простодушием, «старческим», смотрелась живым

пятном: она, засушенная одиночеством и ожиданием, была довольна общением, каким ни на есть, и симпатически, заинтересованно разглядывала соседок. Что им, на всякий случай, по инстинкту, было совсем не нужно.

Алеша сверился с матерью: в ее глазах на улыбающемся лице он увидел разочарование, растерянность вместо праздничного блеска. Она поняла, что он понимает и разделяет ее состояние, и показала ему вытянутые трубочкой губы. У него дрогнуло сердце. Нужны ей дружба и любовь, а не триумфы. Эти цветы на столе, на подоконниках — цветы запоздалые.

Он обостренно видел, как эти женщины считаются статусом, как три из них под юбилейную помпу заискивают перед матерью, а четвертая, Надежда Игоревна, наоборот, не забывает напоминать, что они с матерью ровня, но она, пожалуй, ровней.

Они не могли скрыть — прищурь и медовость в голосе выдавали их — что считают Алешу чем-то вроде облагороженного идиота: не захотел учиться в университете, чуть ли не сантехник, должно быть, «материнская боль». И хвалили его за то, что он работник, что никак не выпьет свой бокал шампанского: молодец! Так здоровые глупые люди брезгливо хвалят больного, параличного ребенка за то, что он, плеснув на себя, донес остатки супа в ложке до рта.

А я вот хлобыстну стакан коньяку, подумал он. Что помыслите? Что притворялся, да победила дурная кровь отца-пьяницы. Сколь веревочке ни виться...

Да что это я, обрывал он себя, это я придумываю, это я по Ванде тоскую.

Но уж говорили пышно. Речи со стихами собственного приготовления (в них неприлично почему-то намекали на половую жизнь; и одна, и другая — что, теперь так принято шутить?); зачитывание адресов, приказов о награждении и телеграмм от далеких сокашников по высшему образованию. Естественно, зачитывала Надежда Игоревна, и зачитывала покровительственным тоном.

Заставили выступить и Тамару Георгиевну. Она поотнекивалась, потом налила себе рюмочку коньяку и сказала: «Вы, Ира-

идочка, трудолюбивая пчелка и гордость нашего дома. Почаще бы вас видеть, было бы лучше. Но — понимаем важность стези. Видел бы вас Борис Исаакович, подарил бы вам свои погоны. Вы тоже полковник. Полковница! (Потом с подачи гостей «полковница» прилипнет к Ираиде Петровне.) Как славно, что Алеша всегда с вами, у вас под мышкой! Но вы, дорогие мои красноречивые педагоги, и без меня знаете, какой молодец Ираидочка Петровна! (Педагоги переглянулись в четыре пары глаз. Они что, в этом сомневались?) Выпьем!»

Вот тут Алеша налил себе бокал коньяку и выпил залпом, засунув себе в рот толстый кружок лимона, застрявший на губах. Педагоги снова переглянулись («что и требовалось доказать!»).

— А теперь, — подскочивши, поспешила сказать Надежда Игоревна, — а теперь (она дважды поперхнулась) — поздравление от Трясогузкина, из департамента культуры. У нашей Петровны, как вы знаете, передовая школа искусств. Я — даже я — завидую. И оставила я сей розан напоследок, потому что догадываюсь, и вы догадываетесь, что ждет нас нечто, потому что умеет Олег Сергеевич слагать дифирамбы. Вскрываем конверт!

Она распечатала конверт и достала из него зелененькую открытку. На ней было золотом написано: «Департамент по культуре Потомской области», вверху в гербе бежал белый конь в зеленом поле с по недосмотру поднятым хвостом, а внизу располагался стильно-скромный букет цветов. Распахнула открытку и стала зачитывать.

«Любезная Ираида Петровна!

Сударыня! Я рад припасть к Вашим ногам и, голову склонив седую, молвить: «Люблю!» («Люблю!!!» — еще раз воскликнула Надежда Игоревна и обвела присутствующих полным неги взором; присутствующие и Алеша ответили ропочущим «О-о-о!»)

Вы та, о ком я грезил наяву, терзаясь муками, томимый жаждой ласки и прелестью замороженный! Вы — женщина! И, значит, Вам — мое признание и радость, и восторг, и обожаение! И шелк ланит, и трепет спелых губ, сиянье глаз и роскошь форм чудесно соединились в Вас, как свет и ветер в ивах, склонившихся над лунным прудом. И пусть с другой судьба меня

связала, в весенний день, когда бурлит природа и нет границ для половодья чувств, я Вас люблю как чистый образец бездонной красоты и вечного соблазна. И я желаю утонуть Вам в садов вишневых розовом кипенье, в медовом вкусе долгих поцелуев, в молочном облаке объятий нежных, и в звездном вихре вечного полета...

(Ох, перевела дыханье Надежда Игоревна, чтоб мне так жить и умереть в объятьях Трясогузкина.)

...полета туда, где гаснут искры бурь смятений и, солнечным лучом разбужен, лазурью отликает берег неги. Сок жизни пусть струится бесконечно, живется Вам воздушно и беспечно, алмазы слез напрасно не роняйте, тревоги из души тесните и разрывайте обручи, что давят сердце. И будьте счастливы! Вы — королева жизни! Ваш трон — вселенная, а подданные — все мужчины! Так правьте нами! И любите нас... Ваш О. Трясогузкин».

Наступила глухая тишина. Героический поступок Алеши был забыт, и сам он про него забыл. Первой очнулась Тамара Георгиевна.

— Сколько ему лет? — спросила она.

— Тоже где-то пятьдесят, — ответила Надежда Игоревна.

— Понятно, — кивнула Тамара Георгиевна, — мышиный жеребчик. Видала такого в Эссенуках в 1956 году, ходил в женских панталонах...

— Но он же видел меня всего один раз, — хлопнула, как заржавленная пушка, мать, — как он мог про шелк ланит? Про пышные формы? Какие-такие медовые поцелуи? Негодяй! Бесовестный!

Гости дружно и на сей раз честно хохотали, до алмазов слез. Хохотала и мать, до того, что принялась лупить ладонью о стол, и с него, подпрыгнув, улетели на пол вилка, нож и само посланье Трясогузкина. «Сейчас Трясогузкин придет», — залился смехом и Алеша.

Это была минута единения и настоящей дружбы, и греющего заглядывания в глаза.

А многое, многое разбудил в матери, многое напомнил и из того, чего не было, не случилось с ней, этот «звездный вихрь

вечного полета». Потому что затем мать опустила плечи и обнаружила явную усталость, плохо слышала, что ей говорят, и без конца переспрашивала.

А гости были уже сыты, и отработали свое и утомились, в самую меру захмелевшие, понимая хозяйку. И стали было говорить «нам пора», и богатая Надежда Игоревна вызвала на всех такси.

И тут случился еще один конфуз, если происшедшее можно назвать конфузом. Стихийное бедствие! На улице налетел такой шквал, что, показалось, встряхнуло весь дом и чавкнула под ним древняя мезозойская жижа, и послышались снаружи, сквозь закрытые окна такие странные, непонятные звуки, что все семеро в секунду подскочили к двум окнам, смотревшим на восток.

В природе шел град. Огромные синеватые градины, с то самое куриное яйцо, сыпались с неба, и сыпались на «Шкоду», и глухо зудела машина, получая вмятинку за вмятинкой.

— Караул! — закричала мать — Алеша!

Алеша выбежал под град, получил по спине, по затылку (шишку набил!). И, растерявшись, придумал распластаться на крыше «Шкоды», жертвуя своим телом и, может быть, душевным здоровьем. Расталкивая сгрудившихся под ноготком козырька над входом в подъезд гостей (Тамара осталась у окна), выскочила под град мать. Алеша увидел, что у нее в руках клетчатый плед с бабушкиной кровати, и это его как-то задело, уколело. А мать согнала его с крыши и постелила плед, он был широкий и толстый, как войлок, егохватило на всю машину.

Потирая ушибленное градиной плечо, мать повела гостей обратно: обмыть теперь первый грядущий ремонт. А Алеша задержался.

— Где ты, Алеша? — позвала его мать из подъезда.

— Сейчас, — отозвался озябший, стучащий зубами Алеша.

Его осенило, и очень затейливым было это осенение: он выпустил долгополую рубашку из брюк и стал собирать в ее низ, как в подол, эти роскошные матовые градины. Ему везло. Ушибленный еще раз двадцать, он как-то избегал прямых попаданий в голову, и как-то не боялся градин, словно забыв, что они опасны.

И когда в «подоле» гремело уже арсеналом, он выпрямился и увидел прямо перед собой высокого старика с благородной, заслуженной лысиной в венчике седых до мшаного отлива нестриженных волос, в промокшем насквозь старом плаще, застегнутом на пару уцелевших пуговиц. Старик пристально, но ласково смотрел ему в глаза, и Алеша смутился, и резкое слово обороны застыло у него на губах. Это походило на видение, и Алеша может поклясться, что град заканчивался уже в принципе помимо них, огибая их по каким-то кривым.

— Знаю, знаю, молодой панок, твою заботу, — мягко сказал старик, — а град для сего Града Я попросил! Тебе будет впрок, а им в укоризну. Не хотят меня услышать эти сановные люди. Истинно поколение с собачьими лицами... А здесь, на Болоте, сбереглось грубое, да простое, людское... Еще приду. Еще увидимся, после Колокола.

Поклонился. И Алеша ему подыграл, поклонился в ответ. И старик скрылся за домом. Град закончился, как оборвался. В тишине Алеша пошел домой, разное думая об этом сумасшедшем старике. И на лестнице вспомнил: репортаж! Был же репортаж об этом безумце. Откуда он взялся, из какого далека? Где он ночует в эти холодные ночи? Впрочем, возможно, он хорошо известен где-нибудь на Черемошниках, или есть у него приют в какой-нибудь загородной деревне, и просто сбрендил о ему отправиться на гастроли в сердце Города?

А что он говорит — так все они что-нибудь такое говорят, пророчат. Известно, что и Паша рябининская как-то кликушествовала, навестив Иова с Фаиной. А они ее ругали за это, считали, что притворяется от радости выздоровления...

Зайдя домой, он высыпал на кухне градины в пластиковый пакет, засунул его поглубже в морозильную камеру — и явился к гостям.

Тетки пили отвальную стопку коньяку и не видели, ни чем он был занят, ни старика. Загудело за окнами запоздавшее и помятое градом такси. Поцеловались, сказали Алеше «до свидания, будь счастлив с такой мамой», и закрылась за ними дверь.

— Ой, — всполошилась Тамара Георгиевна, — а что же это Борис Исаакович не просыпается, и Вандочка не звонит. Шесть часов!

И Ванда, будто приняв заказ, немедленно позвонила, и Алеша наставил ухо, пытаясь услышать из сотового, прижатого к уху

старушки, голос Ванды. («Не помню, какой у нее голос. Слышал давно, в той жизни, до. Кажется, низкий, грудной?») Не услышал, а Тамара Георгиевна с облегчением сказала: «Просыпается, бегу!» Мать вручила ей заготовленные судки и велела Алеше проводить Тамару. Однако он, извинившись, укрылся в туалете, где простоял минут десять, пока пережитый холод не взял свое. Хмель улетучился напрочь.

— Устала, — сказала ему мать, — погодим убираться. Давай посидим, еще чаю поьем. Смотри, сколько к чаю осталось — и тарту, и конфеты.

Присели.

— Тебе понравилось? — спросила мать.

— По-всякому, если ты о своих тетках, — ответил Алеша, — а так-то — куда с добром, рад за тебя.

— Вот ты и вырос, людей читаешь, — сказала мать, — что мне еще надо?

Пили чай, мать перебирала подробности, а Алеша кивал.

Звонок в дверь. Вернулась торжественная Тамара Георгиевна.

— Дадите чаю? Посижу минутку-другую, можно?

— Рады будем, Тамара Георгиевна. Что-то случилось, точно? — пригляделась к ней мать.

— Борис Исаакович сказал, — молвила соседка, — не просто что-то сказал-вспомнил, а прямо по поводу... Он сказал: «Питание кремлевское, вкуснее не едал. Что у нас, рай наступил?» Но как-то осуждающе сказал? А дальше как обычно — завалился и заснул. А лицо в соусе измазал, такого еще не было, чтоб измазался. Он заснул, и я ему личико помыла.

— А Ванда что? — задала мать Алешин вопрос.

— А она, солнышко, ушла, застеснялась. От нее пахнет так хорошо, до сих пор, наверное, аромат стоит. Духи такие, или что-то еще...

— Господи, отстали вы от цивилизации, Тамара Георгиевна, — сказала мать, — небось, дезодорант дешевый, «Карибское ассорти», а вы и купились.

— Может быть, — кротко согласилась старушка, — а только я помню, как пахло в автобусах в старые времена. То была спираль, «Ассорти скверное». И вы, хоть молодушка, тоже должны это помнить.

— Вы правы, — сказала мать, — это мы избаловались. Нам хорошего мало!

Они поговорили о разных пустяках, о гостях, об еде, о бабьей доле. И тут Тамара Георгиевна чересчур, пожалуй, горячо рассказывала о своем полном женском счастье, которое успел ей дать Борис Исаакович. И мать занервничала, захандрила.

Тамара, наконец, собралась домой, мать переоделась и пошла умыться, снять «боевую раскраску», Алеша проводил гостью до дверей подъезда, прихватив с собой новый «Март» Левитана. У подъезда под жидкий боковой свет из окон, он отдал картину старушке, сказав ей с непринужденностью: давайте отблагодарим Ванду, подарите ей. Мама велела, соврал он.

Тамара Георгиевна не сопротивлялась, отлично помня, что мама ничего подобного не велела, и, судя по ее лаконизму, о чем-то догадывалась. И пусть. Она пожала ему руку, а он поцеловал ее в щеку. Наклоняясь, он почувствовал, что от нее пахнет старушкой, как пахло от бабушки. Конечно, не «Карибское ассорти».

Она резво пошла к своему подъезду, а он подошел к машине, снял с нее забытый и никем случайно не сворованный плед и долго выжимал из него, тяжелого, набухшего, пахнущего осенью, струи стылой воды. А потом повесил его в подъезде, на перила на втором этаже.

Зашел домой и увидел, что мать, в халате и без очков, сидит за столом и вздыхает, как слониха, роняя слезы.

— Что ты, мама? Все в фольге, и ты у меня полковница. Перестань, ты элементарно устала, расслабилась, перестань, — заговорил Алеша, понимая, что усталость матери здесь дело последней и неважное, и плачет она по судьбе.

— Не все в фольге, Алеша, — ответила мать, водя рукавами халата по лицу и водя рукавами халата по тарелке с остатками торта, — это ты Трясогузкину скажи, что хорошо. Не все хорошо и на работе... завидуют, судачат, что ни попадя. Да и я-то не ангел, Алеша. И с деньгами проклятыми не все чисто, сын. Уж не стерильно — точно. А куда денешься, заставляют, можно сказать. Система! Ей-богу, ты не поверишь, как доводят до греха эти трясогузкины...

И они поговорили с матерью, не вдаваясь в ненужные отравленные детали, о жизни, о несправедливости, о непонимании. Опыт общения с хозяевами Уржатки чему-то научил Алешу, и ему было чем поддерживать разговор. А до этого была служба в армии, и он решил вспомнить и об этом. И даже наблюдения за сегодняшними гостями были неутешительны. За всем этим вставал мир, обещающий большие страдания и массу маленьких неприятностей. И неизвестно, что тут опаснее. Страшен был былой, пристрастный к тебе мир, страшен нынешний, к тебе безразличный. Тот сжигает, этот леденит, как открытый космос. Убого наше Болото, да нами согрето.

— Как же я с тобой раньше не поговорила, — сокрушалась мать, — как же мне легче стало. Да как же? — сама не была готова, не созрела. Сегодня и созрела. И никакой ты не молчун.

И Алеша говорил в ответ что-то теплое и бережное, и решил и рассказал матери о могиле прапрадеда. Она слушала его внимательно.

«Ну, бабушка, ну, прабабушка! Правы они были, что меня не просветили. А сейчас — хорошо, что я узнала. Есть мне о чем подумать. О верности их человеческой, о... Спасибо, что рассказал».

И они выпили за прапрадеда-буржуина. Назавтра мама откатит машину и сходит на семейную клумбу. А сейчас она перестала плакать и взялась за мытье посуды. «А может быть, ты лучше всех, в чем дело, сразу не поймешь...»

Алеша засыпал, просыпался. За окном, в тишине, без конца вспыхивали зарницы. Ему казалось, что он едет в ночном поезде, и вот-вот локомотив подаст голос, подходя к станции. И он был уверен, что на зарницы смотрит сейчас Ванда, тоже не может заснуть. А в углу ее неизвестной комнаты или на ее неведомом столе лежит картина «Март», которую она обязательно будет рассматривать с утра, при ясном солнечном свете. А куда выходит ее окно — на восток? Лучше бы на восток, Ванда, спасение мое.

О чудовищном граде напишут в газетах и покажут его и его последствия по телевидению. Град накрыл весь старый Город и нанес существенный экономический ущерб. Несколько горожан было госпитализировано. Оскандаленные синоптики уверяли, что никакие приметы его не предвещали.

На Болоте после узнали, что жертвой града стал инвалид Павел Васильевич, потерявший сознание от удара с небес, едва град начался. Град добивал его беспомощного несколько минут, пока Фурка не спохватилась и не укатила его домой. От госпитализации инвалид отказался. Пухов принес ему портвейна, и старик поет современные песни, уже изнузив соседей своим музыкальным марафоном.

Глава восьмая. **День Болота**

В эту ночь жители Потомска спали крепко, и спали долго, в массе своей прихватив весомый краешек воскресного, холодноватого, но ясного утра. Не считая горожан, обязанных трудиться в любой день и в любое время суток, на своем рабочем месте, в епархиальном кабинете, с половины восьмого находился Владыка Парфений, а в приемной громко дышал его невыспавшийся секретарь, протоиерей отец Николай. Владыка дожидался приезда софринской братии. Софринские должны были приехать субботним утром, но почему-то застряли в Новосибирске. Владыка был раздражен, ломал карандаши, идеально зачиненные отцом Николаем, успел обругать самого отца Николая растяпой. Потому и дышал громко отец Николай, чтобы владыке стало совестно.

Владыка не любил хозяйственной суеты, предпринимательского пафоса, он был книжник и иконник. Проблемы ему решать приходилось, но он брал авторитетом, а не сноровкой. По слухам, в избранном кругу он говорил, что от софринских его пучит. Но что делать, погоду не выбирают, а епархия должна цвести.

На облитом солнцем подоконнике прыскал зеленью, как ящерица, долгожданный лимончик на шнуровой веточке. Приветствовал солнышко Святой Николай Чудотворец, сложивший длани словно бы по этому поводу. А владыка разглядывал чудовищные, прямо-таки стратотерпные носки своих туфель и хандрил, уросил.

Шаги, и говор в приемной, и стук в дверь детским кулачком тучного отца Николая. На пороге он и дежурный семинарист.

— Владыко, — тихо доложил семинарист, — ломится какой-то старичок, долговязый такой. Говорит, пустите к Парфению ногастому... извините, владыко, проговорился... важный разговор-де. Что вы, что вам надо, спрашиваю. «Я тот, кому архимандрит Виктор другом был, а что мне надо, не твоего дитячьего ума дело. Пусти, я знаю, что владыка у себя». Что делать?

Владыка вскипел.

— В толчки его! — рявкнул он. — Ни днем ни ночью покою от них нет! Теологи самозванные! Провокаторы, казачки засланные!

— Слушаю, владыко, — сказал семинарист.

Они на пару с отцом Николаем вышли к старику на проспект и привычно-вежливо отказали ему в приеме.

— Не узнаете меня, нет, — покачал головою старик, — толкуете о Чуде, фарисеи, а сами встретиться с Чудом не готовы. Других пастырей знал я. Они на «Мерседесах» не езживали, Мамоне не кланялись...

И пошел на площадь, к Иверской, не оглядываясь.

— Сумасшедший, псих, — сказал семинарист.

— Провокатор, — не согласился отец Николай.

И оба перекрестились и пошли пить чай с лимоном.

Но эта была мелкая неприятность. А большая настигла владыку и всю епархию через пятнадцать минут. У дверей резиденции взвизгнули тормоза, и из машины выскочил игумен Преображенского монастыря отец Феодосий. Его ладное великорусское лицо в светлой ухоженной бороде было, без преувеличений, перекошено, губы вздрагивали, словно по ним пробегало электричество.

И вот какую дурную весть принес он владыке. Непосредственно перед утреней в Спасском храме, он же монастырский, монах Петр, подойдя к раке с мощами Старца Потомского, обнаружил, что серебряный замочек, запиравший раку, ключ от которого был как раз у него, лежит рядом с ракой. И рака, следовательно, отперта. Замочек был целый, закрытый на два оборота. Кем, Господи Боже ты мой?! Петр заглянул в раку — и обнаружил, что мощи Старца исчезли!

Петр упал в обморок, как человек пожилой и нервный...

Игумен был весь серый, а владыка, слушая его, побелел и на себе испытал, что значит выражение «волосы дыбом».

— И никаких следов, владыко. И в каком же состоянии отвел я утреню — не высказать... Петру велел молчать, и никого опрашивать не стал, ибо, думаю, это нам боком выйдет, любая огласка...

— Правильно, — сказал потрясенный владыка, — погодим, никто не должен знать. «Ничего не случилось». Петр не проговорится? Болтуны они все, сплетники...

— Не проговорится, владыко, — уверенно сказал игумен (и с облегчением, потому что ждал взрыва. Взрыва не произошло — владыка, капризный в мелочах, умел, когда нужно, собирать волю в кулак), — если уж на кого можно положиться, так на нашего Петрушу. Да и запер я его пока.

Они перекрестились — на все воля твоя, Господи!

— Свидетелей не было? — спросил владыка — Знаем мы трое?

— Да, — ответил игумен, — и замочек я повесил. На удачу, я Петра и поднял, привел в чувство.

— Расследуй сам, как — учить тебя, по твоей прошлой жизни, не надо, — сказал владыка, — не все еще пропало. Испытание еще не смерть. Испытание не поражение.

— Кто же это сотворил, кому это нужно? — вздохнул Феодосий.

— Не больше твоего понимаю, — ответил владыка Парфений, — пока не больше. Думать надо. Возвращайся, смотри в четыре глаза.

— Ага, — по-детски отозвался игумен и, ероша свою ухоженную, волосок к волоску, гриву, похожую на парик, выскочил вон.

Гром гремит, земля трясется. Силен был удар, и мало сказать, что владыка расстроился. (Он забыл о софринских напрочь; они придут только после обеда, проколов два колеса на дрянной дороге от Тайги.) Он испытал обиду, горькую обиду. Подобную сильную обиду, точнее, близкую по силе обиду ему нанес когда-то лучший друг из его воронежской юности, глумливо и глупо отозвавшись о Вере, зная, как больно будет владыке, тогда Васе Сумцову. Дружок приревновал Васю — девочка, в которую он втюрился, сказала ему, что чистый Вася — ее кумир. А Вася уже тогда избрал себе стезю иную и не мог отозваться на ее чувство. А друг, Андрей Стариков, все равно его хлестанул. И дружба кончилась, и не было с тех пор друзей у владыки.

И тут владыка вспомнил песню, которую они пели с этим Андреем под гитару, сидя на скамеечке на Крестьянской улице.

«Деньги не водятся в карманах расклешенных брюк. А жить так хочется без всяких забо-от и мук. И снова пьяненький иду по бульвару один. И закурить мне какой-нибудь даст гражданин».

Какой же это андрей нагадил ему и потомскому клиру православному на сей раз?

Он думал с полчаса, и что-то смутное, неопределенное связалось у него с явлением сегодняшнего непрощенного гостя.

— Николай! — позвал он. Вошел тучный добродушный отец Николай. Он уже не обижался. Заходя, он брюхом зацепился за дверную ручку.

— Разъелся ты, Николай, — заметил владыка, — надо тебя на селькупские хлеба сослать. Как выглядел этот старик, опиши-ка мне его?

Николай описал. И владыка велел ему призвать старосту семинарского курса Константина, дельного паренька, и дать задание: отыскать этого старика и проследить, как он, что он, где обитает и прочее. Не входя в контакт, конечно. И не появлялся ли он в монастыре?

— Ну уж? — усомнился Николай — Не велика ли честь? Если каждого...

— Невелика, — сказал владыка, — исполняй, шевели булками своими. Прямо сей момент.

Николай двинулся в семинарию, через проспект наискосок. А владыка взял с книжной полочки, им собственноручно изготовленной, некую книжицу и внимательно разглядывал в ней разные изображения одного и того же лица: Потомского Старца, не очень-то, впрочем, веря в свою рабочую версию.

Перед обедом его навел на местный магнат, хозяин заводов и пароходов, с которым владыка должен был дружить: тот прилично давал на развитие епархии, а самого владыку возил по осиянным местам Святой Руси, и на Афон и в Иерусалим. Магнат, симпатичный и еще молодой человек, явно провел ночь в клубе и крепко дышал духами шотландской выделки. У владыки закружилась голова. Визит был приятельский. Магнат, Юрий Владимирович, предложил владыке в октябре «слетать» на Кижы. Владыка сразу согласился, чем озадачил Юрия Владимировича: обычно Парфений церемониально отказывался до трех раз.

— Что-то случилось? — спросил магнат. — Вы какой-то пасмурный?

— Ничего. Это я софринских ждал, да уже не жду: позвонили — опаздывают, — ответил владыка и предложил Юрию Владимировичу водочки на померанцевых корочках. И тот выпил пару стопок (сам владыка выпивал рюмочку только простудившись). Это была честь — потчевание из владычных рук. Юрий Владимирович предложил ему, вполне серьезно, стать его завхозом и снять с него груз меркантильных забот. Посмотрим, сумел улыбнуться владыка, посмотрим. А сам думал: вот если бы этим делом занялась служба безопасности магната, истина открылась бы, возможно, уже сегодня. Но увы. Посмотрим.

В это же время вернулась домой Ираида Петровна. Она отогнала машину и сходила на Гору, к Вознесенской церкви. Она разбудила разоспавшегося Алешу, принесла ему кофе (он терпеть не мог кофе), присела к нему на диван и дала ему полный отчет о своих странствиях.

Отчет начинался с того, что церковь вблизи понравилась ей еще больше, чем снизу, что церковный двор ухожен восхитительно и вид оттуда замечательный, и что клумба перемещена со своего места.

— Как! — подскочил Алеша, и на его майке нарисовались кофейные пятна, и обожгло ему грудь. — Как! Черт бы...

— Ты не дослушал, — с подъемом сказала мать, — клумбу чуть-чуть переместили, потому что могила Алексея Афанасьевича Василькова — восстановлена! И на ней — та, старая, настоящая, сто лет назад возложенная плита. Она сохранилась! На ней написано: «Здесь покоится прах Алексея Афанасьевича Василькова, воздвигшего на свои средства... такие-то... Колокол-Благовест... умершего тогда-то...»

— Это чудо или что? — спросил Алеша. — Откуда она взялась? Ее же унесли тогда, грозились расплавить, помню.

— Чудо или что, — ответила мать, — отец Святослав рассказал: о плите, о том, что она сохранилась, узнали месяц назад. Летом 1935-го года задумали наши благоустроить вокруг Белого озера сквер, поставить там хурду-мурду: девушку с веслом, пионера,

пограничника с собакой. И для постаментов взяли плиты с двора милиции, не хватило — с самих кладбищ старые буржуйские надгробия. Так тогда везде делали, по всей стране. Перевернут тыловой стороной и на бетон кладут.

Отец Святослав говорил: уже сделали новое надгробие. А нашлось старое. Его однажды ночью выкорчевали... или как сказать... два брата-кузнеца белоозерских, старики. Они работали когда-то на прадеда и эту плиту сами работали. И вдруг узнали по меткам на тыловой стороне, по каким-то черточкам. Забрали и унесли, вдвоем, силачи же кузнецы белоозерские. И спрятали в сарае. Ну, и лежало оно, и забылось. А нынче на месте их домишка собрались ставить большой, многоквартирный дом, жильцам халупок дали квартиры, помнишь, там пожар был, хотели сжечь сначала их, чтобы самим не тратиться строителям этим, мошенникам, но дело это им не выгорело... Дали квартиры — и съехали люди. Наверное, отбирая свой хлам по стайкам-сарайкам, хозяева, внуки тех кузнецов, и увидели надгробие, и вспомнили, и пришли к отцу Святославу. Ну, чудо или что?

— Чудо человеческое, — зрело высказался Алеша, — самое главное чудо.

— Еще не все. Сейчас там работают люди, там новый Благовест, больше старого, будут к юбилею Города устанавливать. Завтра ночью привезут, будут охранять, закутают как-то по обычаю, чтоб раньше времени его не увидели. А сейчас арку для колокола заканчивают, такие балки стальные вмуровывают, постамент для звоняра складывают. И говорят, что одному с языком не справиться, несколько звонарей сразу нужно. Но не каждый же день Благовест звонит!

— Как-то поздно арку делают, — заметил Алеша, — поди, и проверить не проверят, как бетон, как перекрытия, надежны ли?

— Это Русь-матушка, Алеша, — сказала мать, — у нас и детей производят, не просохши, и отцы за ними с наволочкой в роддом приходят, нарвав цветов в университетской роще.

Тут прозвучало что-то личное, и мать опомнилась, смутилась.

— Шишка болит? — спросила она.

Настроение у них было превосходное.

Но расслабиться им не пришлось. Страшный шум, крики донеслись с улицы, со стороны соседнего подъезда. Мама выглянула в окно. Она увидела, как на отдалении быстро идут, почти бегут к магазину «Рубин» Татьяна Доукша с дочерью. Ванда заходит в магазин, мать медлит у двери, держа ее полуоткрытой. Глядит назад, на дом, и что-то взволнованно говорит внутрь.

Заходит в магазин.

А снизу — шум, грохот, вопли. И весь дом пришел в движение: слышны поспешные шаги в квартирах, щелкают оконные створки. Широковы до минимума убавляют звук в своем веселом телевизоре. Алеша высунулся из соседнего окна по пояс. У второго подъезда лежал, не соглашаясь лежать, мертвецки пьяный Дьячков-отец, а младший Дьячков шел, покачиваясь, в сторону первого подъезда. В руке он держал бутылку водки.

Увидел Алешу, встал под ним.

— Эй, баран, выходи! — заорал он. — Убивать тебя буду! Я тебе говорю!

Алеше стало весело и жутковато одновременно.

— Ты с Болота или нет! Выходи законно, баран!

— Не ходи, — сказала мать, — он в драку полезет, он за себя не отвечает.

— Да ну, — ответил Алеша, — пойду, куда тут денешься, засмеют же. Что он мне сделает, такой пьяный? Да и с чего? Это он так, изображает злобищу, на самом деле несерьезно.

Подвело его хорошее настроение. Недооценил он Виталия Дьячкова, и не знал, что с дьячковской точки зрения «было с чего». Он спустился на улицу.

— Ты что, ополоумел от водки, Виталик? Со вчерашнего пьешь? Ты...

А тот ударил Алешу в челюсть, очень сноровисто, и полетели искры из Алешиних глаз. И Дьячков сграбастал Алешу за плечи и ударил его лбом. Алеша без ног улетел в пустоту.

Дьячков встал над ним и опрокинул себе в глотку бутылку и выпил ее разом.

— Сохнет она по нему, — сказал Дьячков и пнул лежащего Алешу, но не слышал эти слова Алеша и не почувствовал пинка.

Негромкий голос Петросяна умолк в ширококовском окне. Сверху закричала мать и бросилась вниз. В руках у нее была хрустальная ваза, схваченная со стола вместе с яблоками. Яблоки выпали из нее еще в квартире. На третьем шаге от подъезда мать изо всех сил опрокинула вазу на голову Виталика. Ваза рассыпалась в мелочь, Дьячков уронил пустую бутылку и сел на землю. Казалось, он буквально окосел от этой встречи водки с ударом.

Мать наклонилась к Алеше.

— Я ничего не вижу, — пробормотал он, держась за лоб.

— Сыночка! Звери! — утробно завыл стоящий на карачках у своего подъезда старший Дьячков.

Диспозиция сложилась такая. Старики Рябиныны с утра уехали на картошку. Широковы оставили телевизор и рисовались в окнах, круглые люди с круглыми мордами. Владислав ушел на сбор польской общины. На старости лет он озаботился корнями и уже вторично заседал с поляками в костеле (он даже принялся готовить какой-то там доклад). Тамара в это момент обмывала Исакыча и, глуховатая, не обратила внимания на шум. Бабки Тараканова трясли его: он вчера пил с Дьячковыми, но отвалился с вечера и спал до сих пор, «как труп меж гробовых досок». Алена Дьячкова «ночевала у подруги» и еще не вернулась. Каргопольцевы затаились. Их могло не быть дома — и они могли спрятаться от греха подальше в западных комнатах, на них это было похоже.

Потом выяснится, что Дьячковы, наложив новые дрожжи на старые, собрались кого-нибудь побить или просто погулять на свежем воздухе, пристать, например, к Павлу Васильевичу и принудить его попеть матерные частушки, в чем был он дока. Пока они выбирались из подъезда — сын тащил отца, крепко выражаясь, — мать и дочь Доукши собрались на работу. У Ванды была воскресная смена, а мать, заодно с ней, решила поготовиться к учету. Внизу, у лестницы, столкнулись. Дьячков-младший схватил Ванду за руку и хотел ее полапать. Она его оттолкнула и сказала, чтобы он к ней не лез, он ей не симпатичен, и если надо, она попросит защиты у Алеши Сухонина, он порядочный, не чета тебе, хаму.

— Вот они какие, сыночка, эти девки Доукши, — сказал вцепившийся в перила отец, — одна мне жизнь отравила, другая над тобой глумится!

И упал на сына. Благодаря этому, мать с дочерью прорвались к дверям и ушли. А молодой Дьячков 180 секунд стоял и думал об измене.

У него получалось, что его чувство поругано, а Сухонин — поганый хлыщ, подлый совратитель наивной, но еще не потерянной для него Ванды...

А он десантник, воин; пока он воевал, проливал кровь... Конечно, он забыл, что воевал как-никак Алеша, а он парился два года, охраняя склады в Забайкалье (откуда и приволок гранату РГД-5). И вернулся он из края сопок три года назад и забыл, что значит «тарбаган».

Выволок отца на улицу и пошел мстить.

Итак, под домом лежит молчаливый Алеша. Из носа у него хлещет кровь. Над ним причитает мать. В пяти метрах от них сидит, приподнимаясь и заваливаясь, молчаливый молодой Дьячков с окровавленной макушкой. У второго подъезда лежит на боку, приподнимаясь, старый Дьячков, стена «Сыночка, убила директорша». В окнах первого этажа покачиваются бессердечные пяточки Широковых.

Павел Васильевич, вечный свидетель болотненских переполюхов, пребывает в домашней нирване. На улице по-прежнему пусто; пробежало несколько машин, одна приветственно проиграла: давай-давай, Болото, поддай чаду, заваривай!

Но вот поднялся трупно пьяный Дьячок, и на версту несло от него сивушным потом. Встал, пошатываясь, Алеша. Рванулась к Виталию мать, но Алеша перехватил ее за руку и завел к себе за спину. Он шагнул навстречу Виталику и занес, прицеливаясь, кулак. Лицо Дьячкова ездило перед ним и справа налево, и сверху вниз. Дьячков попытался пнуть Алеше под коленку — и промахнулся. А Алеша — кулаком — попал ему в морду увесисто.

И упал, теряя пространство, молодой Дьячков, и оказался на земле лицом к лицу с подползшим родителем. И тот, рыдая, поцеловал его в подбитый глаз. И Ираида Петровна от нервного потрясения засмеялась, увидев это.

Алеша присел на корточки. Слабость охватила его всего, в голове бежали мелкие существа и топтали его мозг.

А молодой Дьячков медленно поднимался, словно его накачивали насосом. И в руках у него был большой шербатый камень, тот камень, что лежал перед домом всегда, сколько помнили жильцы. Легендарный камень, занесенный на Болото, где не было своих камней, в те царские времена, когда Большую Болотную пытались засыпать щебнем. Тысячи других камней ушли под землю, упали в Ишайку, кому-то где-то пригодились, а этот, из немногих, лежал и сторожил въезд в Болото.

Виталий поднял его над головой. Алеша смотрел ему в глаза и видел в них вместо зрачков гвоздевые шляпки. «Увернуться — и убить его, — подумал он, — выбора нет».

Но в эту же секунду над Дьячковым навис вылетевший из подъезда Тараканов, пнувший снизу Виталика по рукам (так, что сломал ему два пальца) и по ходу заехавший ему коленом в лоб.

— Мы же в одном доме живем! — закричал Тараканов.

Камень взлетел в воздух и раскололся надвое, и куски упали на голову старшего Дьяčkова, и тут же сверху, сдуя, свалился на него сын всем своим тяжким телом. Отец завыл без слов, протяжно, как речной теплоход.

— Мы же в одном доме живем! — снова прокричал Тараканов. — Мы же болотненские!

— Молодец, Санька, так ему, воровской роже! — запели от подъезда таракановские бабки.

И между ними нарисовалась внушительная наружность Татьяны Мариной-Дьячковой.

— Есть справедливость, — прорычала она, — получили вы свое, животные! Простите, люди, что я такую скотину родила!

— Ах, вернисаж, ах, вернисаж, какой портрет, какой пейзаж! — вторил ей хриловатый девичий голос от северного торца дома: и все обнаружили там Алену Дьячкову, несомненно помятую после «ночевки у подруги», кутающуюся в ворот своей китайской куртки, как в ворот норковой шубы.

— Алешка, — удивилась она, — ты вырубил братика? Не такой уж ты и будда! Эх, не разглядела я тебя!

— Если б не Саша, — наконец ожил Алеша, глядя на мрачно сосущего свои пальцы Дьячкова. Лицо у Виталика было томатное, глаза закрыты.

— Эх, Тараканов, и тебя я не разглядела! — воскликнула веселая Аленка.

И польщенный Тараканов подмигнул ей, отходя от волнений, и намекнул:

— Еще не поздно разглядеть, еще не вечер, подруга. Мы же в одном доме живем!

И она показала ему коленку своей захватанной и готовой к новым свершениям ноги.

Но вновь над Болотом прозвучало громкое слово:

— Что здесь происходит?! Александр, в чем дело? Ираида Петровна, вы здесь при чем? Что за позор? Алексей!..

От Обруба пришел Владислав Доукша, начинающий летописец польской диаспоры в Потомске.

— Абсурд! — протрубил он. Но не успели ему разъяснить суть происшедшего.

Потому что на втором этаже второго подъезда открылось окно. Из него высунулся негодующий Борис Исаакович. Седые пряди развевались ветерком, лик его был суров и прекрасно-ужасен.

И медный глас раздался над Болотом:

— Прекратить немедленно! Молчать! В струнку мне! Всем стоять! Ждать меня, я сейчас с вами разберусь!!

Ираида Петровна стоит, как оловянный солдатик, руки по швам. Очки висят на кончике носа, голые ноги в гусиной коже, одна из них босая — тапочек располагается отдельно, в траве рядом с ней, как партизан.

Алеша встал, распрямился. Он только что смотрел на свой победоносный разбитый кулак, но сейчас его лицо обращено к коркинскому окну, и кулак висит в воздухе ненужно. На лице встреча веры с неверием. Вверху лба — светло-розовая шишка (вторая за сутки. Повезло, что Виталик выше ростом и не угостил его по переносице, тогда бы Алеша походил бы на лемура. А так — милый человек). Ветер и дрожащие ноги покачивают его, как большую резиновую куклу.

Оба Дьячковых лежат. Наверное, не понимают, что Исакыч проснулся. Старший, очевидно, задремал, уткнувшись лицом в мокрый песок. У него бычий круп. Младший замер, но открыл глаза и вытаращил их, как камбала. Зад у него поменьше, мокрый и грязный. Возможно, мокрый и по особой причине. Пальцы отдыхают во рту.

Таракановские бабки сцепились всеми четырьмя руками. Головы запрокинуты вверх — Исакыч практически над ними, они видят его выбритый подбородок. Следит за мужем дряхленькая Тамара Георгиевна, настоящая жена. Сейчас видно, до чего они обе похожи на Тараканова.

Рядом с ними Татьяна Марина. Просто стоит, опершись рукой на дверь подъезда. Голова опущена, вид бесконечной усталости. Может быть, она замерла раньше, может быть, и не услышала Исакыча, закрывшись на все ставни.

За бабками стоит, расставив ноги, вытянув лицо (так фотографируются), Алена Дьячкова. Руки у нее сведены у живота полукругом. В такой позиции девушки — ведущие потомских теленовостей докладывают прогноз погоды: «Одевайтесь потеплее, не забудьте дома зонт». Вот эдак, не шевелясь, она напоминает небесам, что могла бы быть порядочной девушкой и хорошей женой.

Владислав Доукша возвышается, сузив свои близорукие глаза до точек. Пиджак расстегнут, бело-красный галстук вьется по ветру, лаская ухо Владислава. Но он, как столпник, не отвлекается на какой-то там галстук, приподняв от пояса правую руку с раскрытой ладонью. Левой рукой он прижимает к груди пару книжечек. Что ни говори, есть в его облике нечто евангелическое. Красив этот постаревший человек, вызывает доверие. На Болоте он смотрится убедительно, подчиняя себе пейзаж, как был бы убедителен среди лапидарных долин древней Иудеи.

Но Тараканов! Тараканов нарушает чистоту литературных воспоминаний. Неполно отозвалось в нем вещее слово Гоголя. Нет, он молчал и не сходил с места (при первых глаголах Исакыча он отскочил, как тушканчик, в сторону дороги, на самый край ее). Но сухой, подтянутый, пружинистый, он принялся бешено чесать себе спину, поводя во все стороны своим

монгольски желтым, совершенно не похмельным озорным лицом. Сейчас он бы заслуженно выпил! И выпьет, и закусит, спасибо Дьячковым и Исакычу, Петровна проставится, есть у нее, юбилейной, и яства, и меда тройные! Ей-богу, все это прочитывается на его физиономии, и на лопатках, и между лопаток, где творят вибратто его пальцы.

И вышел из подъезда Исакыч, и за ним ликующая Тамара Георгиевна. Исакыч был в пижаме, под которой голубела водолазка, и в туфлях на босу ногу.

И все, кроме поверженных отца и сына, бросились к нему, здороваясь и трогая его за рукав. И он назвал всех по имени. Не только тех, кого знал юными и молодыми двадцать с лишком лет назад, но и тех, кого никогда не видел, как Алешу или Алену. Это, надо думать Алексей, говорил он, а это — беспутная Аленка.

— ВСЕ знаю, все слышал, — с напором сказал он, обернувшись к Тамаре Георгиевне, обнимая ее за плечи, — ох, и скучно мне было, ох, и горько! А жить будем.

И все вспомнили, что он уже шагнул в девятый десяток, и все подумали, что годы сна возместит ему природа, и проживет он еще долго.

— Спасибо, что разбудили. Чувствовал, чувствовал толчки — и встал. Аппетит звериный. А вчера-то, Ираида, угостила ты меня на славу!

— И сегодня угощу, хоть прямо сейчас, — заявила мать.

— Сначала разберемся, — строго сказал Исакыч, — стоит ли с вами обедать? Распустились без меня. Чего эти босяки валяются? Живые, хотя бы? Дрянь-то порядочная, чтоб я так жил!

И они оптом и в розницу рассказали историю битвы. И он сказал, что Алеше этот опыт пригодится.

А потом пошли обедать к Сухониным, все, и Аленка, кроме Татьяны. Она затащила мужа и сына домой, отказавшись от помощи соседей, которые на ней и не настаивали. Ее пожалели, поговорили об ее, халды, трудной судьбе.

Доукша сходил в магазин «Рубин» и вернулся взбешенный. Новые подробности, неведомые еще в начальных очертаниях другим, ярили его. Рассказывая, он схватил кулинарный молоток и побежал бить им Дьячковых. Алеша с трудом догнал его

на улице и упросил вернуться. Увидел два камня, подумал и, хоть голова кружилась сильно, не поленился, подобрал их, дошел до Ишайки и бросил их в воду. И вымыл в речке руки, испачканные кровью с камней, кровью обоих Дьячковых.

Пообедали отлично, задушевно. Исакыч, как новенький, руководил застольем, ел, как лесоруб, выпил в одиночку целую бутылку коньяку, шутил, играл на ложках и спел «Мать надела белую косынку» на диво сохранившимся голосом... Тамара Георгиевна была при нем счастливой кудрявой старушкой, говорившей одними междометиями. Потом он распрощался, сказав, что ждут его газеты, телевизор: надо изучить обстановку, выяснить «вводные» новой жизни. (Пришел домой и ухнул спать, рассказывала Тамара Георгиевна. Она боялась, как бы не случилось повторения пройденного. Не случилось! Вечером проснулся и сел за газеты при включенном на полную громкость телевизоре. А потом отбросил газеты, выключил телевизор и задумался об изменнике сыне. «Тамара, — сказал он, надумавшись и навздыхавшись, — дед был буржуй, отец — герой Гражданской, я — понятно, кто. Сын брандахлыст, внук — американец. А правнук, по кругу жизни, будет прогрессивный, только дайте мне с ним разок побеседовать. Нит гедайге!»)

Алена просидела недолго, все-таки переживая за семью, за мать. Она была грустна и думала о своей жизни, и, уходя, сестрински погладила Алешу по голове, напомнив ему, что шишек у него две.

Докша ушел с Исакычем, как добрый сосед. Алеша внимательно смотрел на него, отца Ванды. Он то ли ждал, то ли боялся, что мать Ванды и сама Ванда зайдут к ним, приглашенные Иридой Петровной через отца, но они остались на работе, передав всем привет, в особенности Алеше и Тараканову. Тараканов сразу передал ответный привет, «вдвое больше».

Понятный привет, и ничего больше, во всяком случае, в устах Владислава Сигизмундовича. Но Владислав тоже изучал Алешу, и обнаружил, что Алеша изучает его, и был сдержан и даже скован. И, прощаясь, задержал Алешину руку в своей и потрогал его шишку. Улыбнулся и дунул на нее. Наверное, и Ванда могла так дунуть.

Тараканов выпил, на удивление прилично участвуя в разговоре, нетронутую вчерашними гостями бутылку водки и улегся подремать на Алешином диване. Попытки разбудить его оказались тщетными, и извиняющиеся бабушки были отпущены без него.

Он проспал до заката. Алеша с матерью уже убрались, выражая друг другу надежду, что третьего такого денечка им не достанется, ибо не вынести третьего денечка такого накала жизни. Мать читала у себя, не столько читая, сколько пытаясь отвлечься от пережитого ералаша; у нее поднялся жар. Алеша прилег на диване в зале: болела голова, ему было худо и все-таки радостно. Если Ванда к нему равнодушна, он сделал убедительный к ней шаг, и цена за него, в сущности, пустяковая. Он не успел заботиться Виталика, а сейчас и по-прежнему не боялся: знал, что победит. Незаметно куда-то провалился и очнулся в горах Дагестана. Он лежал под синим небом, и кто-то размеренно, механическим голосом декламировал: «В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижим я». Михаил Юрьевич Лермонтов. «В полдневный жар...»

Он открыл глаза. Над ним стоял смущенный Тараканов и шепотом говорил ему: «С винцом, понимаешь? Не со свинцом, а с винцом. Смешно, да?» Тараканов обнял его: «Я дико извиняюсь, что упал. Пока, брат». «Ты, Тараканов, прям, как стрела. Захлопни за собой», — шепнул Алеша. «Лежи, лежи, не вставай», — ответил Тараканов и ушел, не хлопнув, а тихонечко притворив дверь, так что замок даже не щелкнул, а пикнул.

И снова заснул Алеша, чтобы рано утром проснуться сказочно бодрым, будто бы в кольчуге, с мечом и щитом. Разве что на голове у него был не шишак. А полторы шишки. На лбу — малиновая.

Рядом с подушкой, примятый им, тянулся бесконечный хвост бордового гладиолуса, а под ним лежала лазоревая пачка дорогих сигарет, таких, что открываются как-то сбоку и бумага у них бездымная, по японской технологии.

У окна в зале стояла мать, ее темный контур был обведен лучами рассвета. Она была одета по-директорски и нескромно разглядывала свой брелок от автомобиля.

— Проснулся? — сказала она. — Как голова твоя башка? В порядке? Не врешь, правда, в порядке? Ну, как говорит Марина-Ларина, есть Бог. Я поскакала на службу. Может быть, в обед вернусь. Что-то температуру. Сбила жар, а надолго ли? И нос заложен... А как я его отоварила, ась? Я тоже с Болота!

И рассказала, что вчера вечером, пока он спал («А выглядел плохо, лицо бумажное»), к Дьячковым приезжала милиция, и Виталия забрали по обвинению в грабеже прохожей женщины на улице Некрасова. Он так во всех отношениях наугощался, что не мог и встать. Как лежал на полу, так и взяли за четыре копыта и загрузили в машину, и наручники надели. Было ему на что погулять, сказал капитан, будет ему и похмелье по заслугам. Он мало что ограбил — он женщине руку сломал, и ждет его длительное заключение. (Алеша испытал некоторое разочарование, словно Дьячков сбежал от него.)

Все Дьячковы встретили милицию и проводили с Виталиком, не издав ни звука. Тараканов свидетель, они с бабками были понятными. Мать ужинала — из-за стола не поднялась. Нашли чашки этой пострадавшей, ее сотовый телефон, духи. И гранату! Тут особая статья! Конец Виталику, выродку Болота.

— А позже, совсем к ночи, приходили Татьяна и Ванда Доукиши. Зашли, увидели тебя, такого простертого, велели не будить. Татьяна сказала: «Алеша благородный, как Владислав, даже не ожидала». Не ожидала она, скажи, пожалуйста! А Ванда-то — полячка, манерная девочка! Подошла к тебе, возложила подарки, сложила губки и поцеловала в шишку. Теплая девочка, стройненькая, чинара. Явно к тебе равнодушна, жаль, что продавщица... Ты меня слышишь, друг ситный?

Ситный друг сидел на диване, как султан, и махал матери обеими руками, словно отчаливал на диване в путешествие.

— Слышу, мама! Я тебя слышу! Езжай в свою школу! И мне пора собираться, в дальнюю дорогу к своим розеткам.

И встал и топнул ногой. Ему не терпелось прижать к лицу гладиолус и выкурить здесь, в зале, сигарету из лазоревой пачки. И перед этим, глядя в материнскую спину, он успел подумать о том, что вставало над ним наследственное болотное Лихо, когда он бил Виталика по морде.

Глава девятая.

Любовь

Ванда проснулась поздно. Сегодня она работала с обеда, и топиться ей было не к спеху. Ее окно выходило на восток, вся комната была залита светом, таким ярким, что жгло глаза даже от стен. Она прислушивалась к шагам матери, уже обутой в туфли. Наверное, постукивание каблуков ее и разбудило. Отец, пан-папа Владислав, конечно, находился на службе в своем архиве, там, где Ванда никогда не бывала и не собиралась побывать. Дети на Болоте были любопытнее своих сверстников из других районов Города, внимательнее к родителям, но не настолько же. Далеко трудился отец. И, хотя для обычного потомчанина пройти Обрубом (300 метров), свернуть на Ленина (еще 150 метров), перейти через проспект в проулок (еще 100 метров), там, на Карла Маркса, свернуть направо (еще 100 метров) было походом пустяковым, для дочери с Болота это было далеко, «загранично». И что ей там делать, дочери-продавщице? Отец бы забоялся, что женщины-коллеги спросят, чем занимается его дочь. А они бы спросили, естественно, о чем им еще спрашивать?

И как же, да и зачем же объяснять им, что она не дурочка, что она, окончив школу без троек, интересуясь потихоньку науками и художествами, не захотела учиться дальше, потому что уставала от общения даже со знакомыми на родном ржавом Болоте? Что, встречаясь с Городом и горожанами лицом к лицу, она испытывает страх и удушье, почти физическое, почти астматическое, такое же, как при включении телевизора, навязчиво воспевающего одинаковость людей. Она бы и рада стать студенткой, а потом в кого-то вырасти, да диагноз не позволяет.

Она не одна такая. Алеше Сухонину тоже диагноз не позволяет слиться с этим миром в экстазе.

Она пережила два или два с половиной девичьих года, когда ей чудилось, что она не жилец на этом свете. И не раз, глядясь в зеркало летним или зимним утром, перечеркивала себе горло губной помадой. И сразу же стирала эту проверочную алую полоску, словно убеждаясь, что жить пока интереснее. Утром было тяжелее всего, потому что мир может меняться с утра, а он не менялся.

Она завидовала родителям. Мало кто любил своих родителей так, как она. Но в их согласном сожитии, на фоне их сдержанных и по-своему горделивых рассказов о пережитых и преодоленных треволнениях она видела древнюю историю о двух голубках, которая повторялась и повторялась со времен царя Гороха, но больше не повторится, и этот сбой произошел при жизни Ванды, отделив ее и тех, кто вступал в жизнь вровень с ней, от всех других, предыдущих, мертвых и еще живых людей. Теперь между мужчинами и женщинами все будет по-другому, мертво и страшно.

Отец до сих пор смотрит на маму ненасытными мужскими глазами. Они сильны своим прошлым, и оно, как прочнейшая скорлупа, защищает их.

У матери появилась чуть слышная одышка, следствие ее полноты и курения. Но ходит она легко, музыкальными, четкими шагами. Первая, на многие годы первая красавица Болота Таня Зубкова! Ванда знала, что материнская красота проступает в ней, пусть и отраженно, вторично, намекающе, и, скорее всего, она будет хорошеть и хорошеть. А к добру ли?

Хлопнула дверь. Ванда, как была, голышом, выглянула в окно: мать шла на восток, к магазину, куда и выходило окно Ванды.

Последнюю неделю Ванда ложилась спать голой. Она понимала, почему, и ей не было неловко. Она просыпалась и босиком медленно подходила к зеркалу, неторопливо входя в него. Ис каким-то облегчением видела, как при мысли об Алеше оживает ее грудь. Сегодня, как и вчера, она взяла в руки картину «Март», присела перед зеркалом и принялась ее разглядывать снова.

Прекрасная картина! Уже тем прекрасная, что двухэтажный дом справа отдаленно напоминает о доме, в котором она — они жили. Этот дом был обшит свежей плашкой, может быть, он являлся какой-нибудь господской конторой, а не жильем, и окна тогда делали какие-то узкие — и все равно прекрасный дом! И в его открытую дверь низом плывет мартовский чистый воздух, проветривает прокуренные, пропотелые покои. А вот лошадь стоит далековато, она мелковата и не разглядеть ее наверхню милую морду, на которой вполне человеческое удовольствие от весеннего утра, от гулких лесных звуков, от того,

что она, лошадка, совсем не устала — вон как прямо держит морду! И дровеньки при ней легонькие, махонькие, на подвозный груз и на одного, много на двух человек. И как седок или два седока с них не вываливаются? Сноровку надо иметь. И сидят в них близко к земле и, хочешь не хочешь, глядят снизу прямо в лошадиный зад, под хвост. Может быть, час глядят, и два глядят. А если...

Жили эти люди больше ста лет назад, и издержки цивилизации у них были свои. Зато проехали с ветерком, продышались, сидят сейчас и чай пьют из самовара. А художник высадился рисовать. Попил ли он хотя бы чаю? Если не попил — догадаются ему вынести?

Разглядывая деревья, Ванда озадачилась. С лесными сосенками все было понятно. А какие деревья, лиственные, стоят поближе к дому? Может быть, репродукция неважная, но у тех, что за лошадью, какой-то зеленоватый отлив? Пожалуй, не березы. Вот слева — похожи на березы. Но за лошадкой, тонки и двоятся, скорее осины? Или ветлы? «Плохо я знаю родную природу», — подумала Ванда.

И уж совсем она пришла в затруднение, когда в вышине, на тоненьком стволике раздвоившейся «осины», обнаружила беленький, белыми обмазанный скворечник. Как он мог туда попасть? Не придумал ли его от щедрости душевной художник Левитан? Человеку туда не забраться — сломается ствол, что тоньше иных веток. Ребенка туда не пошлешь, если ты не изверг. Да и ребенка не выдержит этот прутик.

Или скворечник приделали-привязали-зацепили, когда дерево было юным, в три-четыре раза ниже? Много-много лет назад? Но почему тогда он такой беленький — смыло бы с него с годами любую краску?!

И потом: на ветру, даже самом умеренном, это скворечник должно так швырять-раскачивать в небесной вышине, что никакая птица в нем жить не согласится. Ужас!

И Ванда настолько увлеклась этими размышлениями, что не услышала, как вернулась на минутку мать, забывшая дома свои дальнотзорные очки, как открыла ее дверь — и увидела голую дочь в холодной комнате, держащую перед собой картину и что-то бормочущую.

— Вот это да! — вымолвила мать, а Ванда, вставши во весь рост, повернулась к ней.

— Вот это да-а! — повторила мать — Видел бы тебя... («отец», хотела она сказать, но вовремя остановилась)... И что это значит?

— Я переодевалась, — быстро сказала Ванда, — и вот увлеклась. Смотри: откуда там взялся скворечник?

— От верблюда, — ответила мать, — думай иногда!

— О чем думать? Меня кто-то увидит? Так получилось, — сказала Ванда и потянулась за трусиками.

В чем ее можно было уличить? В чем предмет преступления? На словах все было убедительно. Но мать на то и мать, чтобы почувствовать: дело нечисто.

Татьяна суеверно посмотрелась в зеркало, обратила внимание на поспешность, с которой одевалась невинная дочь, и застучала каблуками на работу.

Она была настолько ошеломлена увиденным, что, встретив подъехавшую к дому на «Шкоде» Ираиду Петровну и услышав вопрос, не случилось ли чего (выдало лицо!), не задумываясь ответила:

— Захожу домой — а там дочь нагишом разглядывает картину и бормочет. Голая! Гламурная! А дома холодина!

— Какую картину? — удивилась Ираида Петровна.

— Пейзаж! «Март» Левитана! Ей позавчера Тамара Георгиевна подарила, в благодарность за Исакыча и «по-соседски», так она сказала.

Ираида Петровна открыла рот и закрыла рот. Она все поняла.

Ильдар Сейдияхметович был очень расстроен. Вчера выяснилось, что сторож, и грузчик, по совместительству, его магазина Ваня Сорокин, сорока лет, работник, которому он доверял больше, чем доверяют работнику, обворовывал его. Из подсобки исчезли два ящика коньяка, две коробки со шпротами и четыре блока дорогих сигарет «Кент» (их на Болоте никто не покупал, и лежали они целый год). Ваня признался, что пал он жертвой проснувшегося женолюбия, расплачиваясь с городскими девушками-похабцами по очереди указанными продуктами. Жил человек и жил — семья, порядок. Молодость прошла без бурь, без пьянства, без хулиганства. Появилась было в Ване степенность,

и даже разумные речи слышались от него иногда. И — хлоп! Погубил его ночной телевизор, растравил его остывающее тело. Сам Ильдар Сейдияхметович и принес ему заботливо проклятый маленький телевизор, в котором, кажется, и дамские прелести транслируются в такой мелкой гомеопатии, что похожи на птички, то есть тьфу. Сломала человека какая-то телевизионная Анфиса, на которую демагогически перекадывал свою вину лысеющий и ушастый, как игрушка, Ваня Сорокин.

Что за время пришло? Злые становятся злее, бессовестные — еще бессовестнее, а слабые слабеют бесконечно, превращаясь в слизь. Ильдар выгнал Ваню. Удержанная зарплата не покрывала нанесенного им ущерба, но Сейдияхметыч отказался от денежных претензий. Предательство и малодушие Вани огорчили его настолько, что он даже и не тронул его пальцем, несмотря на то, что Ваня подсовывал ему свое лицо с рекомендацией дать по нему хоть рукой, хоть ногой.

Ильдар думал сейчас о троюродном племяннике, из их ветвистого семейного куста в Заисточье: придется заменить Ваню им. Но и племянник, Руслан, не вызывал у него доверия, какой-то не по-татарски развязный. Говорят, «курилка». Но придется взять, он уже два месяца околачивается без работы, и родня, поддавливавшая Ильдара загодя, не поймет, осудит его, если уж в такой ситуации он не пойдет ей навстречу.

Алешу бы мне, сожалел Ильдар Сейдияхметович, но Алеша теперь почти что номенклатурный работник, он ломоть отрезанный!

Ильдар ехал по городу, в самом центре, и остановился, замученный поисками места, рядом со стадионом, чтобы позвонить родным, вызвать Руслана. Он никогда не звонил на ходу, сидя за рулем.

Вышел из машины, позвонил, вызвал. Первые листочки, отдельные и сухие, сыпались с деревьев, один приземлился ему на макушку. Перед ним, словно ниоткуда, словно тоже спустившись сверху, вырос высокий старик в старом плаще, с измученными глазами, но осанистый, с прямой спиной. Такая спина была у деда Ильдара, Абдулвахита, человека, не знавшего, что такое грех.

Среди русских Ильдар тоже встречал человека с прямой спиной, полковника в Афганистане, в Мазари-Шарифе. Красиво

ходил. Потом его подстрелил в плечо снайпер, и, падая, полковник развернулся и упал лицом вперед, так и не согнув спины.

— Здравствуй, мурза, — сказал старик, — салям-алейкум! Довези до Болота. Ты ведь едешь до Болота?

— Откуда вы знаете? — удивился Ильдар. — На мне не написано.

— Я все знаю, милый паночек, — ответил старик, — видал я тебя там. Везешь?

— Садитесь, отец, — сказал Ильдар, — прошу.

Садясь в машину, старик спросил:

— Почему машина называется «Нива»?

Ильдар, как мог, объяснил. Объясняя, он заметил, что на другой стороне узковой улицы мнется внимательный к ним коренастый паренек. Судя по мине, он был недоволен, что дедушка сел в машину и, следовательно, ускользает от него. Досады он не скрывал.

Странно, но какое мне дело, подумал Ильдар, а дедушка необычный, гипнотизер прямо. Я пригласил его в машину, а он одет, как бомж. Когда бы это я бомжа подвозил? Когда бы это за бомжами ходила бы охрана, или кто еще, наоборот? Если бы был он жулик или шайтан какой-нибудь, паренек его давно бы скрутил — но ведь нет? Секрет! Не жулик, нет. И я готов его слушаться, этого дедушку.

Пока они ехали, старик спрашивал Ильдара о делах, но так, будто заранее знал ответы. Ильдар пожаловался на Ваню Сорокина. Старик поругал Ваню, сказав, что, впрочем, и в его далекое время таких вань было предостаточно. Только раньше они заводились, плодились от бедности, а теперь их плодят от сытости, нарочно. Хотят, чтобы люди были или стадом, или отрядом. Противно это природе человеческой.

Мудрец, дервиш, подумал Ильдар. Он хотел спросить, о каком «своем» времени говорил старик, но постеснялся.

— Но не эта забота для тебя главная, — сказал, улыбаясь, старик, — эту заботу ты переварил, с ней ты разобрался...

— А какая? — в очередной раз удивился Ильдар. — Дела идут, слава Аллаху, стабильно, все ровненько...

— Да знаю я, — поморщился старик, — и что жаден ты в меру — знаю... А сына ты хочешь, зубами по ночам скрипишь. Три дочери — и нет сына.

— Может, вы и по именам их знаете? — вновь удивился, но и насторожился Ильдар. — Вы, наверное, все-таки агент? Может, вы татар не любите, все про них собираете?

— Что ты, чадо! Какой русский татар не любит? — засмеялся старик. — А здесь вы и вовсе насельники... В Кавказскую войну у меня был лучший друг — татарин... По именам я твоих девочек не знаю. А вот о сыне у тебя душа болит. Верно?

— Верно, — сказал Ильдар, — правильно, почтеннейший. Сердце обливается кровью.

И понял, что Кавказская война старика была очень давнишняя, и старику двести лет. И понял вдруг, что глядит на старика с надеждой. Они уже подъезжали к магазину, и махал им палкой вернувшийся на свой малокалорийный пост Павел Васильевич.

— Будет у тебя сын, — просто сказал старик, — спасибо, что подвез. Верь мне.

Ильдар затормозил. Старик проворно вышел из машины и пошел к Ишайке, к Костровому месту. Похолодевший Ильдар с трудом выбрался на асфальт и, веря и не веря, крикнул ему вслед:

— А как вас зовут, почтеннейший? Назову сына Вашим именем!

Старик оглянулся:

— Имя мое монашеское, мирянам неподобающее. А мирское свое имя я забыл. Назови сына Фарид. Как того моего друга татарина, он мне жизнь спас под Шемахами. Ширин-вырин, штык молодец! Фаридушка!

И скрылся за деревьями на берегу. И тут же сомнение охватило Сейдиахметыча: одурманил его старик, сумасшедший старик. Но неполным было его сомнение, расступалось оно.

Привычно ругнувшись на Павла Васильевича, он вошел в магазин и увидел там, среди немногих покупателей, Бориса Исаковича с Тамарой Георгиевной. «Я схожу с ума», — подумал трезвый, уравновешенный Ильдар Сейдиахметович.

Тамара Георгиевна повела Исакыча в современный продовольственный магазин «Продукты Аккорд». Ассортимент в нем был не бог весть какой, под тощий кошелек болотненских, но Тамара боялась, что муж, изрядно сотрясенный изучением современности, испытает очередной и особенно болезненный, в силу наглядности, шок. Он проводил лихорадочные сутки,

захлебываясь информацией («все» он знал, как же), и притом не мог сидеть на месте, вился вьюном по комнатам и снова читал и спрашивал, читал и спрашивал. Больше всего его потрясла чеченская замятня. Он приговорил Березовского и Лебеда к смертной казни и, зная войну во всех ее жестокостях, зная ее непреложные правила, мучился мыслями о погибших зазря мальчишках. (Распад Союза он пережил во сне и, конечно, считал трагедией. Но это в нем давно отболело.)

Вторым сильным потрясением для него было упразднение любимого казачьего хора. Секретное предприятие выжило, но дышало на ладан. И вкусы изменились, вместо хора там учредили для молодежи танцевальную студию «Модерн дансинг», как рассказала ему по телефону плачущая бабушка-подружка: скачут, принимают неприличные, порнографические позы, мальчишки крутятся на голове, девчонки все матерщинницы. «Ваше вытье про кони-шашки нам по барабану, — говорят они, — свистели вы прикольно, это да, а прочее мутота».

Зайдя в магазин, Исакыч сразу притих. «Это все можно купить, — тихо спросил он у жены, — просто так?» «Можно, — ответила Тамара, — были бы деньги». «А денег мало, — оживился Исакыч, — денег у народа не хватает». «Не хватает, — ответила жена, — половину за квартиру отдают». «А у нас хватает?» — «У нас хватает, спасибо сыну, — сказала Тамара, — и много ли нам надо? У нас все есть. Лекарства дорогие, лечение. Если решишься — я тебе на два зуба отложила». «Подумаешь, — сказал Исакыч, — дырка сбоку, их не видно. Зубов мне достаточно. Проедим!»

Внимательно рассматривал продукты, упаковки, читал ценники. «Колбасы шесть сортов!» — заметил он. Жена не смогла не усмехнуться: «На проспекте есть магазины — там по тридцать, по сорок сортов! Хочешь, сходим? Попросим Ираиду Петровну, она нас на машине отвезет. Импортной!» «Не надо в магазины, — мрачно сказал Исакыч, — пусть по городу провезет, посмотреть». «Не откажет, милая, провезет, — сказала Тамара Георгиевна, — много нового увидишь».

Обе продавщицы слушали их, плечом к плечу, опершись локтями на прилавки. Им обоим почему-то хотелось зареветь. Не дали по-

купатели, они не знали или забыли про Исакыча и спешили домой.

Закончив просмотр, Исакыч вздохнул и, качая седой головой, сказал веское слово:

— Зачем мне все это изобилие, если хора уже нет?

В этот момент в магазин вошел хозяин, Ильдар Сейдияхметович. Он знал историю Исакыча и знал Тамару Георгиевну. Значит, этот дедушка с умными, как у того старика, глазами, и есть проснувшийся Борис Исаакович Коркин. «Я схожу с ума», подумал он.

Наметанный взгляд Исакыча сразу определил в нем некоего начальника, в данном контексте — владельца магазина. Как уверенно держится, как заведомо райкома, оценил Исакыч, — маленький, а с достоинством. Вежливость Сейдияхметыча, сказавшего, что он рад видеть Бориса Исааковича и поздравляет его с выздоровлением, привела старика в большое замешательство, и он опустил глаза. А классовый враг, неожиданно для себя самого, считающего каждую копейку, взял да и сунул Тамаре Георгиевне единственную палку сухой колбасы и пожал при этом двумя руками руку Исакыча. А рука у старика стальная, заметил он.

— Спасибо, — сказал растроганный и осунувшийся Исакыч, — рахмат, как говорится. Но хора уже нет.

— Я вас понимаю, — сказал Ильдар, не понимая толком насчет хора, — но, товарищ полковник, родятся новые дети, могут поумнеть. Хор не хор, а мы, татары, сабантуй не похерим.

— Вашими бы устами да мед пить, — сказал Исакыч, и старики покинули магазин, ободряюще похлопывая друг друга по спине.

Минута в минуту Олег Сергеевич Трясогузкин благословлял свои банковские карточки. Их у него было семь, и две из них были золотые. Только что он проверил последние поступления и планоно обнаружил, что содержимое карточек перевалило за двадцать миллионов рублей. И он благодарил Господа за то, что Он закрывает глаза на его воровство, видимо, понимая относительность всех этих законов перед небесами — и ценя тот огромный вклад, который вносил Трясогузкин в развитие и модернизацию регионального культурного пространства.

Трясогузкин разложил карточки на своем рабочем столе и крестил их мелким крестом, и не мог остановиться. Это была уже вторая радость за этот день, вернее, за полдня. А первой была та, что он вместе с губернатором и спикером, втроем, будут участвовать в презентации нового Благовеста, и они трое первыми ударят в Колокол. Это будет незабываемо!

Он, высокий, стройный, как кипарис, стоя над городом, на виду огромной толпы, осенит себя крестным знамением — и за себя, и за всех этих людей...

(Он относился к народу сочувственно, покровительственно, правда, злые языки в связи с этим уподобляли его Наркису из пьесы Островского, сказавшему «наш народ хороший, добрый, терпеливый. Ей-Богу, можно грабить!»)

Дело в том, что трудолюбивый и дотошный мэр города вчера сильно простудился, принимая новую объездную дорогу, попал под град, госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Ура! Он должен был быть третьим в высоком ритуале первого прикосновения к колокольному языку. А теперь его место займет Олег Сергеевич, без труда уговоривший Ивана Тарасовича. Ему и по чину.

Трясогузкин подошел к окну, сказал грохочущему проспекту «Мяу-мяу», обошел в кабинете иконки (их было пруд пруди в его кабинете) и покрестился на каждую. А потом снова перекрестил карточки и решительно сгреб их в нагрудный карман.

Рассказанное само собой объясняет, почему мы вспомнили о Трясогузкине в этой главе.

А у старшего Доукши в обед неожиданно возникла проблема. Месяц назад он взял приработок, достаточно трудоемкий, но и неплохо оплачиваемый: важное губернское лицо, из потомственно местных, обратилось через своего помощника в архив с просьбой поискать документы, связанные с биографией отца и деда важного лица. Проснулась в господах любовь к генеалогии! С его отцом, обычным, работающим чиновником советской городской администрации, Владислав Сигизмундович разобрался быстро, а вот с дедом, погибшим на войне, поиск шел через пень-колоду. Он был сотрудник НКВД, а с «органавтами» всегда извилистая архивная история, тут и запросы, и хождения в новые документохранилища, и разные режимы допуска.

Сейчас перед Доукшей лежало дело (добытая тайком, вслепую, ксерокопия его — помогли связи, солидарность архивистов) «Оперуполномоченного пятого отдела УНКВД НСО имярек», и дело касалось морального облика Имярека: его судили за половое разложение. Кончилось, за недоказанностью, понижением в должности. И что с этим добром делать Доукше?

Он читал: «Морально неустойчивое лицо...»; «Имярек, в прошлом лентяй, склочник и есенинец...»; «На судебном заседании Андреева подтвердила правильность моих показаний, заявив, что интимная связь, основанная на любви, не носила характера моего разложения...»; «Лихтман заявила, что с моей стороны не было сделано никаких попыток к использованию ее как женщины...»

Отдашь такой материал заказчику — мало что его огорчишь, сам окажешься в дурацком положении, как знающий щекотливо-неположенное. А собрано мало, и непохоже, что грядущие находки будут приятными: чекист-исполнитель в тридцатые годы, в чем участвовал, под чем подпись ставил? И Доукша испытал личную ненависть к нему, душегубу... А все-таки Исакыч?..

Надо посоветоваться с помощником, сообразил Владислав, на него и ответственность свалится. Пусть убедит Лицо, что там копать не надо. Часть денег, если что, верну. Фу-у...

А все-таки, подумал примерный семьянин Доукша: копать в грязном белье, как они, мерзко, спору нет, но и нынешний разврат хуже Содома и Гоморры. Что-то надо же делать! Вот бы сегодня всю эту знать, всех этих... да в руки тех! И Доукша захотал!

«А что я ржу, одумался он, ржу-то над пропастью!»

Староста Константин появился в приемной владыки после обеда. Он пришел к отцу Николаю расписаться в своем бессилии. Дважды он садился на хвост к колоритному старичку, и дважды юркий старикан, не обращая вроде бы на него никакого внимания, тут же и с легкостью необыкновенной уходил от него.

В первый раз растворился в воздухе за углом роддома (в роддом же не заходил, Константин проверял), а во второй раз сел в машину к случайному, незнакомому ему маленькому восточно-

му человеку, остановившемуся на миг, чтобы позвонить, и тот увез дедушку куда-то в северном направлении. Почему восточный человек сразу пустил его, в грязном, гадком плаще в машину — загадка. Старик сказал ему пару слов, не больше — какие же это должны были быть слова?

И в монастыре его не видели.

— Я все ноги исходил, — бубнил Константин, — снимите с меня эту обузу, отец Николай! Или давайте машину и хотя бы объясните, зачем он вам сдался, этот старичок, взаправду подозрительный. К нам он какое отношение имеет? Провокатор-сектант?

— Сам не знаю, — пожал плечами отец Николай, дал Константину сушку и постучался к владыке.

Он говорил с владыкой недолго и негромко; судя по характерному треску, владыка сломал несколько карандашей, и Николай, выходя от него, с сердцем сказал:

— Где я вам напасусь карандашей, владыко, уймись — на свои покупаю, а вы хрясь, а вы хрясь!!

Оборотясь к Константину, Николай сообщил:

— Можешь быть свободным. Завтра, как Благовест будем освящать и прочее, с начала до конца побудь в монастыре, присматривайся.

Константин чуть не выпалил: «Чертов старик!» Ему очень хотелось побывать завтра на Горе, ибо свидетелем такого великого дела доводится быть раз в жизни. И на тебе, ссылка!

— К чему присматриваться, — уточнил Константин, — он что, на колокольню с гранатометом залезет, сей древний-ветхий?

— Не знаю, ну не знаю я, — отвечал Николай совершенно честно, — владыка, ума палата, зря не придумает. Все разъяснится завтра, сказал владыка. Иди уж!

Константин пошел, взялся за дверную ручку, но, припомнив важное наблюдение, остановился и поделился им с отцом Николаем.

— Сдается мне, отче, что этот старик скорее блаженненький, что ли, чем злец. Уж очень он похож на нашего Старца Досточтимого.

Он ушел, а Николай подумал: «Не всеу владыка просил меня вчера описать его внешность. И правда похож, как загримирован. Как же я-то, простофан, не сообразил?»

И успокоил себя: потому-то владыка на всякий случай остерегается. Мало ли что, провокация какая-нибудь образуется. Может, и сам старик здесь ни при чем, а согражданам соблазн.

А владыка позвонил в монастырь, и Феодосий снова подтвердил прежнее: рака пуста, и паства прикладывается к пустой раке.

— Завтра, в крайнем случае, послезавтра, будет нам ответ, — твердо сказал владыка, — прошу тебя об одном: никуда не отлучайся, будь на дворе, смотри.

— А что же делать, если... что? А что это что?

— Ничего не делать. Твори молитву. Прочее пока не в нашей воле.

Владыка положил трубку и забарабанил по столу. Целый день он барабанил по столу, как только оставался один. То, что произойдет завтра или послезавтра, может быть неслыханным. Но обязательно ли к худу произойдет? А вдруг..

Александр Тараканов дежурил на стоянке, на восточном краю Болота, когда на ней прописался огромный иноземный джип.

Из огромного джипа-танка вышел маленький человечек с ногами-обрубками, такими короткими, что непонятно было, как он дотягивается ими до педалей. У человечка была огромная барсетка, сработанная, видно, по специальному заказу, плоскостью в боковое окно огромного джипа. Этой барсеткой можно было прикрываться во время перестрелки. Пулям она была явно не по зубам.

Человечек, лет тридцати, стриженный под Крепкого Орешка, проявил большую спесь. Низенький, он ухитрился смотреть поверх глаз Тараканова и его рослого хозяина.

Он абонировал дорогое место в самом центре стоянки, под сторожевыми окнами, и заплатил наличными за месяц вперед, не забыв ни об одной дополнительной услуге. И ушел, погрозив им зачем-то пальцем, в новый богатый дом неподалеку, через Комсомольский проспект.

Кажется, его появление сразу повысило статус стоянки. Но честолюбивый Тараканов, напротив, испытал душевное стеснение. А хозяин, прочистив нос, сказал ему:

— Ну и фрукт-персик! Погоди, чую я: огребемся мы с этим клиентом по полной программе! Над ним точно облако черное висит.

Тараканов согласился с ним, разделяя его мнение всецело. Страшная, крошечная скука наступившей на наши души сегодняшней жизни воплотилась в этом человеке. И просвета не предвиделось.

Сегодня Алеша вновь возвращался на Болото с востока, через железный мостик. Но не домой лежал ему путь, и впервые за все дни работы на Уржатке он не торопился с возвращением.

По чужому-то берегу он прошел, как обычно, размахивая руками и не глядя по сторонам. Но ступил на мостик, загудело у него под ногами — и он сбавил шаг, и шел теперь, словно пятился. Так ходят, кто видел, по оперной сцене. Так ходят, истратив последнюю спичку сознания, пока она догорает, законченно пьяные люди.

Он шел размеренно, так, словно за каждым шагом должна была вставать новая мысль, и ее нужно было дожидаться.

Он смотрел вниз, на бегущую шумную Ишайку. Снизу вкрадчиво, не без нежности, поддавало смешанным запахом фенола и папки. По течению ровной лавой неслись бледно-желтые ивовые листочки. Между ними затесалась пустая пластиковая бутылка. Листочки были на своем месте, а бутылка выглядела несчастной.

Под мостом, на родной стороне, сидел на траве, уткнув голову в колени, задумчивый лысый человек, ушастый, как игрушка, и обутый на одну ногу.

Закат никто не отменял. Небо было чистое, скользкое, масляно-голубое, а закат, тем не менее, был преждевременно розовым — где-то над горизонтом солнце прикрыли бордовым стеклышком.

На перилах мостика сидела розовая сорока, давилась какой-то едой и смотрела на закат. Алеша прошел в сантиметрах от нее и мог, при желании, дать ей под зад, от чего не удержался бы, наверное, ни один житель Болота. Она не могла знать, что у Алеши нет такого желания, но не повела и крылом. «Крепкие у тебя нервы, сорока», — подумал Алеша.

Короткий безлюдный проулок до Большой Болотной дымился. В середине его кто-то (не тот ли грязнуля на самока-

те?) запалил первую кучку из опавших листьев. Листьев было еще маловато, и ребенок добавил в кучку несколько толстых рекламных газет. Речка дышала на костер, алое пламя подпрыгивало и подбрасывало в воздух пепельные вымпелы. Осень на Болоте.

Алеша дошагал до главной улицы и свернул налево. Навстречу ему появились отдельные прохожие, с размытыми лицами, и с кем-то он поздоровался, но с кем, забыл сразу. Его дожидался дуб. Он подошел к забору, облокотился на него. Пуховский двор был пуст. По капустной грядке бродил рыжий котенок, пробуя коготки на вилках. Головастые астры, как одна, сдержанно косились на закат.

Дуб стоял над равниной желудей и матовых пегих зелено-желтых листьев неподвижно, уже остановив свои часы. Отдыхал. И сплошной жухлый припой его густой еще кроны говорил о том, что все эти гитарные, альтовые, скрипичные, виолончельные и контрабасные листья-деки ему уже не принадлежат. Внутренне дуб был уже голый.

Не опоздать бы! Алеша посмотрел на пустую скамеечку, пожал холодную дубовую ветку, протянутую ему из-за забора, и побежал, захлебываясь горьким воздухом, к магазину «Рубин».

Битая дверь магазина медленно открылась перед ним, будто потянулась к нему. Нет, не сама она открылась — вышла старая женщина с покупками, а за ней, торопя ее, неповоротливую, выбирался на свет белый местный гопник Володя с тремя баллонами пива в охапке.

Алеша вспомнил, что он не заходил в «Рубин» с полгода, и за прилавком тогда была не Ванда, а другая продавщица, еще молодая, но бледная, невидная. Каргопольцева?

Да, там же люди, покупатели. Они будут приходить до самого закрытия, будут перебивать. И там охранник, пожилой и болтливый Александр Викторович, жеватель газетного мусора, мимо которого на улице пройти невозможно — навязчивый просветитель.

Но и откладывать нельзя. Другого времени и другого места уже не будет. И будь что будет.

И Алеша зашел в магазин.

Два покупателя у кассы, мужчина и женщина. Мужчина, крупный, широкоплечий, получал сдачу. Ванду за ним не было видно. В дальнем углу спал, сидя за столиком, Александр Викторович, положив сальную каракулевую голову на кроссворд.

Два шага вперед. Мужчина развернулся, сдвинулся: Ванда, в синем халате, уже обслуживала, кивая, женщину: «Пачку масла. Творожок. Десяток яиц».

Ванда! Алеша понял, что можно ничего не говорить. Нужно ничего не говорить. Она пошла вдоль прилавка к светящемуся холодильнику, открыла его, достала ячейку яиц — и вдруг замерла, спиной к нему и опустив голову, — и стала потихоньку поворачиваться к Алеше. И только развернувшись к нему, подняла лицо, сияющее лицо с сияющими глазами. У него отнялись ноги, иначе он перепрыгнул бы через прилавок.

И так, глядя на него, прижимая к груди ячейку с яйцами, она пошевелила губами: «Приветалеша». А он, не сводя с нее глаз, поставил на пол сумку с инструментами и пошевелил губами в ответ почему-то: «Никогданикто».

У нее распахнулся халат, Алеша увидел блузку с широкой пуговичной планкой и верх кожаной юбки, а ноги скрывал прилавок. И Алеша наконец сумел шагнуть к ней и встал, упираясь коленями в прилавок и потянулся к ней лицом.

— Молодежь, — тихо, тактично сказала женщина, — молодежь, вы уж отпустите меня...

Ванда опомнилась — настолько, чтобы не глядя достать из холодильника еще и пачку творога, и пачку масла. Отнесла продукты женщине, молча отсчитала ей сдачу.

И женщина быстро ушла, грустно улыбаясь, а Алеша занял ее место. И они обнялись через прилавок и поцеловались, в губы, в глаза, в губы, в брови, и нежно, и больно.

Александр Викторович спал в своем углу. Они оглянулись на него, и снова целовались, торопились, пока кто-нибудь не пришел.

— Ты не уйдешь? — шепнула Ванда.

— Что ты, — прошептал Алеша.

— Два часа, это долго.

— Чепуха какая.

— Я бы обиделась, если б ты ушел. Зачем тогда приходил?

Алеша стал целовать ей руки.

— У меня руки в сдаче, грязные, кислые.

Он поцеловал ей ладошки тридцать раз, соскучился по губам, — но раздалась громкие голоса, слышались шаги, взвизгнула дверь — и вскинулся с подавленным воплем в углу Александр Викторович, и снова уронил голову.

И быстрая Ванда, то ли растерявшись, то ли, наоборот, не растерявшись, принялась, с серьезным лицом, накладывать на прилавок алешины «покупки» — и колбасу, и сыр, и бутылку вина, и какие-то конфеты. В магазин ввалилась куча народу — возвратившиеся с работы болотненские речники, и тайну первой встречи надо было теперь оберегать от посторонних.

До самого закрытия магазина покупатели шли и шли, и больше Алеше с Вандой не удалось побыть наедине при спящем охраннике. И Алеша переминался со своими «покупками» в руках, изображая только что отоварившегося человека, который напоследок прикидывает, не забыл ли взять чего-то еще, важного, или выбирает какой-то особый целевой продукт, хотя в магазине «Рубин» отродясь не водилось никаких особых продуктов.

А потом, в глубокие, фиолетовые сумерки, под растущей Луной, взяв с собой только бутылку вина и два стаканчика, они обнялись на пороге магазина и пошли гулять, целуясь при первой возможности.

И не то чтобы много у них было таких первых возможностей: вечером, одним из последних теплых, уже туманных вечеров на Болоте, на улицах копошился народ, и жались парочки, и чуткие старухи гуляли, заложив руки за спину, и стайками бегали дети, пронзительно чеканя в тумане плохие слова. Негде, оказывается, спрятаться с первыми поцелуями на Болоте!

И Алеша повел Ванду проулком, где дотлевал костерок, к Ишайке, к железному мостику. Они встали на берегу, наудачу свободному от публики, и, посмотрев на запад, на недалекий свет еще одного, занявшегося костра, на его отражение в воде, Алеша понял, что публика собралась, стянулась на Костровом месте. Давно там никто не собирался!

Алеша открыл бутылку вина и налил в стаканчики. Ему не терпелось увидеть, как Ванда возьмет стаканчик в левую руку и отставит мизинец. Она взяла и отставила. И он взял и отставил, показал ей, что отставил, и она поцеловала его в губы. Они выпили вино, и Алеша вылил все оставшееся вино в Ишайку, положив затем осторожно бутылку на воду: плыви до самого Ледовитого океана!

Они поцеловались и ушли под железный мостик, где пахло ржавчиной и гнилью, и там Алеша целовал у Ванды грудь и ноги, и она у него плечи и грудь: в сердце целовала.

— Приходи ко мне завтра утром, — сказал Алеша, — можно завтра?

— Конечно, приду. Не послезавтра же, — засмеялась Ванда и прижала его голову, его губы к своим ногам.

— Я подарю тебе град, — прошептал Алеша, — собрал для тебя. Не знаю, зачем. Красивый, синий, град такой небесный.

— Алеша, любимый, — ответила Ванда, — поляки собирают град на счастье. И пьют из него чай. А я все-таки полячка. Или полька, не знаю. Это ты счастье собрал.

И после этого Алеша повел ее на Гору, к храму, к могиле прапрадеда. Посвежело, загустел туман, их бил озноб от счастливой усталости, от пережитого. И от осенней прохлады, конечно. Алеша обнимал Ванду и видел, что ни его объятья, ни ее тоненькая ветровка не помогают: она дрожит и ежится, целуя его, и грудь ее отвердела и заострилась.

— Тебе холодно? — спросил он, почему-то счастливый от того, что ей холодно.

Она вдруг засмеялась.

— Мне хорошо!.. А знаешь, чем папа окончательно покорила маму, когда ухаживал за ней и они бродили по ночам? Мама замерзла, а он ей, с понтом под зонтом, по-польски: «Пани зимно?» «Зимно»... И мама — все, готова.

И Алеша спрашивал ее о родителях, о корнях, и она рассказывала, и ее прадед Владислав Сигизмундович, дворянин (честно!) вынырнул из тьмы времени безумным потомским лошадиником, и однажды у него отравили его победоносного скакуна Петушка, и он от горя попытался отравиться сам, шведскими спичками, его спасли, промыли ему желудок, но с тех пор он рехнулся и вел себя, как босяк...

И Алеша рассказал ей о славе прапрадеда и о происхождении своего имени, и с тем они пришли на церковный двор.

Там было темно, церковь тянулась в небо, дрожа куполками — по небу неровно бежали дробные облака. Они обошли церковь слева и вышли туда, где должна была быть арка с установленным на ней Колоколом. Еле различимый под серпиком растущей Луны, Благовест громадился, закрытый темным полотном. Навстречу им вышли два здоровенных парня-охранника с дубинками в руках.

— Идите отсюда, — сказали парни, — все равно, пока не на что смотреть, упаковано! И ходят, и ходят! Надоели!

— Тот, первый Благовест мой прапрадед ставил, — сказал им гордо Алеша, — понимаете? И не собираемся мы тут трогать, заглядывать...

— Врать не надо! — отвечали парни. — То-то вы явились на ночь глядя. Шатались, мимо шли — и зашли. А это вам не зоопарк. Брысь отсюда!

Алеша с Вандой прошли мимо них, обогнули церковь и с другой стороны двинулись к выходу со двора. Потому что клумба, а значит, и могила Василькова будет у них теперь на пути.

Они подошли к могиле. Где-то залаяла собака, и где-то, далеко внизу, на юге, кто-то запустил в Городе зеленую рассыпчатую ракету.

— Здравствуй, дедушка Алексей Афанасьевич, — сказал Алеша.

— Здравствуйте, — сказала Ванда.

И они приложили ладони к намогильной плите. И с трудом удержались, чтобы не вскрикнуть. Чугунная плита была теплая, почти горячая. И на какой-то миг, показалось им, высветилась, так что проступили на ней буквы.

Глава десятая.

Колокол

На следующий день Алеша опоздал на работу на добрых три часа, а ушел с нее преждевременно, впрочем, выполнив все заявки. В контору он заходить не стал, чтобы, не дай Бог, Андрей Андреевич не подкинул ему чьих-нибудь недоделок. Позвонил

Андрею Андреевичу, сказал, как и утром, что все еще плохо себя чувствует: давление, сильное головокружение. Начальник знал, что Алеша контуженный на войне, а днями получил по лбу. И отступился от него, впрочем, сказавши: «Не знаю, как сейчас, а утром ты выглядел совсем неплохо. Не зазнался ли ты, пианист?» Отработаю, отработаю, отвечал Алеша.

А Ванда поменялась сменами с Каргопольцевой, и они теперь могли сходить на Гору, где после трех должно было начаться торжество, как выразился Тараканов, «по введению Благовеста в эксплуатацию».

Утро они провели вдвоем, и на память об этом утре есть у них секретная фотография, снятая «Полароидом», давно заброшенным матерью. Случайно, совершенно случайно сохранился в касете единственный, как та папироса, кадр. Утро было ярким, скорее весенним, поэтому вспышка не понадобилась, и глаза у них на фото не красные: у Ванды, как обычно, прозрачно-кофейные, у Алеши, как обычно, светло-серые. За спиной у них ослепленные солнцем обои, потерявшие свой цвет и обронившие узоры.

Они сидят, обнявшись, за столом, на котором перед ними пламенеет хрустальная ваза, доверху наполненная горящими алмазными градинами. Показывать эту фотографию нельзя никому, потому что Алеша с Вандой на ней, мягко сказать, не одеты.

Когда у них появятся дети, эту фотографию придется уничтожить. Тут вопрос в том, скоро ли появятся — известно, что полароидные снимки быстро выцветают, а прежде времени данный снимок ликвидировать будет неправильно. С другой стороны, фотографию можно как-то скопировать. Она очень дорога им.

После, когда градины подтаяли, они напились счастливого чая.

Когда они расставались, уставшие, измученные друг другом, понимая, что усталость эта пройдет через четверть часа, а они уже будут обидно далеки друг от друга, Ванда пригорюнилась и сказала:

— Я не должна больше работать в магазине. Не потому, что я белоручка, тут другое, понимаешь?

— Мы что-нибудь придумаем, я уже думаю, — сказал Алеша, — мы будем вместе всегда. Разве мы когда-нибудь надоедим...

И испугался сказанного, и Ванда испугалась тоже. Жизнь со всей ее скукой выглянула из-за угла. Ого что им предстоит!

И они особенно нежно и крепко целовались в открытую у подъезда, впервые прощаясь как родные люди. И смотрел на них издаലെка, теребя очки, невыспавшийся инвалид Павел Васильевич и бормотал «чистое кино».

После трех под и после веселого перезвона колокольцев на звоннице Вознесенской церкви значительная часть праздного населения Болота поднялась наверх, на юго-восточный мыс Вознесенской горы, к парящей над Болотом церкви.

Ее видно с Болота всем, кроме тех, кто живет на Загорной улице прямо под ней. Видно по плечи и из Алешиного окна.

Кто-то остался в родных палестинах, вышел на улицу, чтобы задрать голову на происходящее наверху, хотя Благовест перекрывался церковной оградой и увидеть хоть что-то на самом деле было невозможно. Только почувствовать было можно. У этой части болотненских сработали некие тормоза: они знали, что там соберется уйма городских. И стеснение пополам с гонором удержали их от восхождения на Гору, не хотелось им смешиваться с городскими.

Эти «лягушки» в основном переминались у пуховского забора, откуда тоже ничего не рассмотришь, но, видимо, как-то лучше не рассмотришь, чем с другой точки Болота — и отвлекались на дуб. Один дурень, из редких новоселов Болота, хотел забраться на дуб, но Михаил энергично прогнал его, единодушно поддержанный общественностью. Он сам никогда не лазил на дуб, не полез и сейчас.

Среди прочих здесь был и Алеша — пока был, он дожидался Ванду. Он взял с собой бинокль, но толку в разглядывании многократно увеличенных баясин церковной ограды не было. Сверху доносился неясный плавный ропот.

И Алеша принялся разглядывать церковь. Конечно, среди присутствующих нашелся человек, по случаю от всей души похваливший нашу Вознесенскую церковь за красоту, за изящество, за сохраненную в веках юность облика.

Ее поставили в конце восемнадцатого века, архитектором был русский ученик Растрелли, и она, дочь русского барокко, дей-

ствительно очень хороша, воздушна, просится в небо и снизу кажется плывущей в нем, обгоняя облака. «Смотришь на нее — и понимаешь, каких женщин тогда красавицами считали».

Местные живописцы много, много раз за истекшие два века пытались ее нарисовать и маслом, и акварелью, и карандашами, на холсте и на бумаге, но, какого бы таланту они ни были, с каких только сторон к ней ни присматривались, церковка им никак не давалась. Изображения получались аляповатые, слащавые, пряничные, вычурные. В них исчезало ее тонкое, строгое, девичье обаяние, ее полетность, невесомость. Видно, вынимать ее из ландшафта, обрезая и небо, и твердь — дело обреченное.

Прежний, первый и единственный, Благовест прописался здесь сто лет назад. Лучшего для него места в Городе не находилось. Три храма в Потомске в разное время принимали на себя звание соборных, но все они находились на равнине, в «глуби», и на пересеченном холмами городском окоеме, сквозь вой вьюги, слабо, ненадежно разносился звон их легких, маломочных колоколов. Это было просто неприлично — целый век до установки Благовеста самым голосистым колоколом в Потомске был монастырский, весивший всего-то девяносто пудов.

Не везло Городу с колоколами. Город крупнел, тучнел, набирался авторитета, а колокола в нем были сельские, домашние, а настоящего Благовеста вовсе не имелось.

В таком же городе он необходим, «дабы вси, слышаши звенение его во дни и в нощи, возбуждались к славословию Господня Имени».

И всем было понятно, где ему место, откуда должен раздаваться его голос: с Горы. С первой Горы, конечно. Понятно это было и истовому ревнителю Веры прихожанину Вознесенской церкви купцу Алексею Афанасьевичу Василькову, который в самом конце девятнадцатого века дал обет восставить Благовест в честь венчания монаршьей четы Николая и Александры 14-го мая 1896-го года.

Он заказал Колокол в Ярославле, на знаменитом тогда заводе братьев Оловянишниковых. Весил Благовест полных семнадцать тонн, а язык его тянул на две тонны, и работать с ним по

полной могли шесть звонарей. Изображены на нем были, по обычаю, горельефным образом, евангелисты.

В декабре 1902 года Колокол привезли по железной дороге, погрузили в нарочитые гигантские сани, и они его приняли, выдержали. А вот сдвинуть сани с места не могли долго. Пришлось изустно и через газету собирать охотников с лошадьми — сорок пять лошадей и несколько сотен горожан доставили наш Царь-колокол на Вознесенскую гору!

На следующий день, 19-го декабря, при молебне, колокол вознесли на отдельную кирпично-стальную колокольную. Умилялись, плакали, услышав его чистый и мощный глас. Такой густой и плотный, что доходил он до окрестных деревень за тридцать, за сорок верст.

И какой был отныне красный звон на Пасху, на Рождество, когда под началом Царь-колокола выстраивалась симфония с участием всех городских звонниц!

Свершив свой обет, на будущий год умер купец Васильков, похороненный рядом со своим даром Потомску.

А колокол погубили большевики. В 1934-м году в стране Советов запретили колокольный звон. Колокола изымались сплошь и отправлялись на переплавку. Новой вере нужны были радио и духовые оркестры, а стране был нужен металл.

Так погибал Царь-колокол: под Рождество, в жгучий холод, его сняли с колокольной. Много бессильного, притихшего народа собралось тогда вокруг Вознесенской церкви. Вывезти его целиком оказалось невозможным — а хотели целиком и спешно, чтобы «избежать контрреволюционных выходов и провокаций». Решили разбить на куски, и пока носились за нужными инструментами и собирали отборно-бессовестных нужных людей, колокол стоял на снегу, у паперти храма, охраняемый испуганным милиционером. И тогда прихожане, и среди них прабабушка и бабушка Алеши, стали прощаться с колоколом, целуя его в первый и последний раз. На морозе губы приставали к его полотну, и весь колокол был в пятнах крови, сгоревших потом вместе с Благовестом при расплавлении его. «Дураки, невежество», — причитал замерзший милиционер-комсомолец, мечтая о спирте и сале к нему.

Колокол разбили и увезли на колонне саней и хрюкающих грузовиков, и ни намек на бунт не исходило от серой публики из «бывших», плачущей, шепчущей и окончательно, может быть, в этот день осознавшей, какая такая радостная жизнь дожидается ее в ближайшем грядущем.

Вознесенскую церковь, сбив кресты, превратили в архив. Тут ей повезло, что не в заводской цех, как Богоявленскую, не в спиртовой склад, как Петропавловскую, не в клуб. Не жгли на паперти образа, не мочились на амвоне зазорные комсомольцы — все-таки Потомск не одичавшая деревня. Или им не разрешили? Или они побоялись?

Могилу Алексея Афанасьевича сравнивали с землей, но косточки его не тронули. И на том спасибо.

Когда через шестьдесят лет вновь освятили Вознесенскую церковь, ее главный из колоколов весил несчастных девять пудов и говорить мог только о вящем смирении.

И вот нынче прибыл в Потомск новый Благовест, на законное свое местоположение, в достаточную, надо думать, половину веса своего предшественника. Горельефов на нем нет, зато есть на нем приличные надписи о казенных персонах — радетелях его обретения. Отливали его на сей раз в Воронеже, и с доставкой его на конечную остановку трудностей не возникало.

Сегодня, в начале сентября 200... года, клир потомской епархии, весь цвет потомской бюрократии и тысячи простых горожан примут новый Благовест и поклонятся ему. Газеты и телевидение уже широко, с историческими экскурсами оповестили об этом событии, и ничего страшного в том, что одна милая девушка-журналист назвала его «презентацией», а другая славная девушка-журналист озаглавила свою статью «Набат над городом», имея в виду, что «набат» — это очень громко и празднично.

Алеша опустил бинокль и увидел Ванду, идущую к нему от дома. Она была еще далеко, шла, почему-то спотыкаясь, и одета была в бежевую ветровку и неизвестные ему черные брючки, для нее широковатые. Бессмысленно собравшиеся у забора люди не знали, что по Болотной идет его любимая девушка. Он хотел пойти ей навстречу, но его прихватил за локоть подо-

шедший с другой стороны Тараканов и сказал: «Актинии живут вечно, ты слышал?» «Кто такие актинии?» спросил Алеша. «Не в курсе, — растерялся Тараканов, — они в море живут». «Спасибо, — сказал Алеша, — жить стало полегче. Ты, Тараканов, прям...» «Знаю, знаю, — замахал на него Тараканов, — молчи, люди кругом».

Подошла Ванда. Ввиду людей они скромно потерлись носами. Вечный сосед Тараканов отнесся к такому знаку несомненной близости до обидного равнодушно, будто так и должно быть.

— Почему ты в брюках, — спросил Алеша, — боишься, там ветер, холодно?

— Мы на лестницу пойдем, — ответила Ванда, — и другие пойдут, а она длинная, высокая. У меня все юбки короткие.

Они втроем пошли на Загорную, к лестнице. Алеша с Вандой прижимались друг к другу, не разнимая рук, и Тараканов, уже, пожалуй, подлец, шел рядом как ни в чем не бывало и говорил смешные слова о своих бабках.

По лестнице поднимались разные люди; у ее подножья топала ногами и пронзительно кричала маленькая девочка. Ей тоже хотелось наверх, но родители оставляли ее с бабушкой. Кричала она так отчаянно, что лежавшая почти под ее ногами загорненская собака, молчаливая по природе своей, не выдержала и завyla в ответ, а потом поднялась и, словно чертыхаясь на девочку, затрусил прочь.

Забираясь под девочкины вопли по этой раздолбанной лестнице, они обогнали низенького, странно одетого человечка. На нем был долгополый какой-то зипун, шаровары и на ногах, похоже, лапти. На круглом, пучками заросшем лице моргали косенькие глазки. Он отдыхал на середине подъема, держа в зубах тоненькую стальную струнку, вроде гитарной, и теребил ее пальцем. Зудение струнки, неожиданно громкое, говорило об его музыкальной опытности и составляло достойный аккомпанемент воплям снизу.

— Иосиньку дедушка послал, — сказал он им, — Иосинька спрашивает: там лошадки будут? Иосинька любит лошадок.

— Лошадок не будет, — отвечал ему приветливый Тараканов, — а вот кони будут, много коней, нажравшихся овса с мясом.

Иосинька ему не поверил, брехуну. Лошадки ли, кони ли — мяса не едят. Все они врут и шутят.

— Вы идите, — сказал он, — он тоже придет.

— Кто он? — спросил его сверху Тараканов.

— Иосинька же, — ответил Иосинька, — не видишь, что ли?

— Ой, вижу! — обрадовался Тараканов и повернулся к Алеше и Ванде, застав их в лаконичном полевом поцелуе. И опять — полное равнодушие.

Переступая с лестницы на Гору, Алеша не выдержал и сказал:

— Ты что, Тараканов, не понял, что мы влюблены?

— Я помню чудное мгновенье, — с достоинством ответил Тараканов, — все я понял, а хотел вас помучить. Получилось, однако. Хвастаются они!

Алеша и Ванда поняли, что они обожают Тараканова.

Тараканов убежал от них — «занимать хорошее место», а они немножко постояли, чтобы покурить про запас, у храма курить было неладно.

Мимо к церкви двигались горожане, и двигались в добром настроении, представляясь верующими христианами. От церкви явственно доносилось пение хора семинаристов: «Коль славен наш Господь в Сионе».

— Послушай, послушай, — сказала Ванда, — мне кажется, что все это в чем-то и в нашу честь, и про нас. То есть неслучайно: мы с тобой — и такой день.

— Я тебе то же самое хотел сказать, — ответил Алеша, — ты меня опередила.

Тараканов был прав, поспешив занять «хорошее место». Огромная толпа заполнила церковный двор, люди плотно стояли и за воротами, и дальше вокруг церкви, и на улице Пушкина, и во всех прилегающих дворах. Церковь заслоняла от них Благовест, установленный в юго-западном углу двора, и подавляющему большинству пришедших доведется поначалу только услышать его голос. А увидеть его они смогут потом, когда закончится церемония, и избранные увидевшие, насмотревшись, уступят всем прочим подходы к Колоколу.

С одной стороны, это напоминало похороны большого, уважаемого человека. С другой, Алеша почувствовал, что в про-

исходящем есть какой-то стандартный мирской тон, словно открывают очередную школу или детский сад на селе, и, неизбалованные зрелищами, пришли селяне всем числом, от мала до велика, прихватив с собой из дому за пазухой толику скепсиса — мало ли что.

Внутри двора, в его юго-восточном углу, оставался незанятый клочок пространства, мертвая зона, куда и пробрались Алеша с Вандой. Видна оттуда, за головами, была лишь самая верхушка арки перекрытия, и оставалось непонятным, снято ли с Колокола покрывало, видит ли избранный народ? Ведь перед молебном его, наверное, должны снять, чтобы кропить святой водой и так далее? Ничего не знали про эти тонкости Алеша с Вандой.

Хор пел, звенели безостановочно детские колокола церкви. Алеша посмотрел на часы: без пятнадцати четыре. Значит, начнут в четыре.

Владыка был взволнован. Высокое, торжественное настроение перебивалось в нем набегающей тревогой. И прорывалось раздражение. Подчиненные отлично знали, что такое раздраженный владыка, улавливали сразу эти накопления грозового и морозного в нем, и с утра взирали на него с опаской, недоумевая, но не знал и не мог знать и почувствовать того сам себе оттоптавший душу игривый Трясогузкин. По дороге к храму он, с видом главного действующего лица, при каждом удобном и неудобном случае бестактно подбегал к владыке с какими-то репликами, уточнениями и непрестанно крестился, крестился и крестился, крестился, крестился и крестился. И случился скандал.

Владыка, всегда чрезвычайно осторожный, элегантно-снисходительный в общении со светскими властями, сорвался. Он ядовито и грубо сказал Трясогузкину при свидетелях: «Не употребляйте вы крестное знамение всуе! Не уподобляйтесь вы фарисеям! У вас руки превратились в пропеллер, это неприлично! Вам ли, с вашими фокусами...»

Трясогузкин побелел парализованным лицом и отскочил мячиком, и владыку окатило волной здоровой плебейской ненависти.

Владыка пожалел, что сорвался; не потому, что испугался Трясогузкина (что было бы смешно), а потому что чистота предстоящего великого ритуала прямо зависела от чистоты его душевного настроения. А на душе были пятна.

И более того: глядя на толпу, в особенности на умильноликих чиновников, он не мог отделаться от мысли об отчетливо декоративном оттенке данного сущего. И много ли здесь истинно верующих, не профанов, не дешевых индульгентов? Они пришли «расправить» душу, выразить «уважение» к «вере предков». А были ли когда-нибудь такая шаткость в нравах, в убеждениях, как сегодня?

Заняв свое место у паперти церкви среди выстроившихся по ряду и чину клириков и знатных мирян, он забыл о Трясогузкине и последующих горьких мыслях, потому что его охватило новое ощущение. Сначала он увидел за толпой прижавшегося к ограде с внешней стороны вполне юродивого человечка. Человечек этот, зацепившись локтями за парапет, зависая на нем, держал в зубах что-то, видимо, струну, потому что под носом у него подпрыгивал указательный палец правой руки. «Знаю его, — подумал владыка, — Иосинька-со-стрункой!»

И тут же почувствовал несомненное давление чьего-то, не то чтобы недоброго, но пристального, поддавливающего взгляда. Кто-то глядел с юга, снизу, и, поскольку на пути этого взгляда были взлобье горы, ограда, люди, Благовест, прямого визуального контакта быть не могло: кто-то глядел сквозь землю, сквозь живое и неживое, и взгляд властно проходил и доходил до владыки.

И владыка Парфений знал, чей это был взгляд. Почти напугав клириков, за считанные минуты до начала молебна, он прошел, заставляя себя улыбаться, между расступающихся людей к южной стороне ограды. Там, внизу, далеко, у широкого проема колокольни монастырского храма стоял невидимый ему Старец и смотрел на него уже напрямую.

«Что же ты явился, Старец? Зачем? Что же ты мне, нам сулишь? Наказание? Неужто так все плохо?.. Да плохо, плохо, сам знаю. Но не сию же я сложа руки...» — думал владыка, оправдывался владыка.

Рядом случились поклонившиеся ему юноша и девушка, красивые в своем взаимном притяжении. На груди у юноши был бинокль. И с огромным трудом удержался владыка от того, чтобы попросить у него бинокль. Перекрестил простор — «вижу

тебя, досточтимый» — перекрестил Алешу с Вандой, глубочайше вздохнул и пошел обратно.

— Волнуется владыка, сосредотачивается, — между тем объясняли его поход духовные мирянам, — принимать Благовест дается в жизни однажды, это и в столетиях великое счастье!

А вставший на свое место владыка собирался с духом, опустив глаза на чудовищные носки своих туфель. «И никому, и, может быть, никогда нельзя рассказать об этом. Мы не готовы к чуду. И для меня это — чудо? Или я все-таки болен?» — размышлял он.

(Потом, поздним вечером, по следам произошедшего, дознавал владыка у Константина: появлялся ли пресловутый старик в монастыре, пробирался ли на колокольню? И уже равнодушный Константин отвечал: нет, владыко, не появлялся. Весь день провел он на монастырском дворе, без присеста, без маковой росинки во рту, под ярким слепящим солнцем, и стояла на дворе тишина, такая, что слышны были кошачьи переступы по асфальту, и никого из посторонних не увидел Константин.

— А звонарь Сережа?

— Что звонарь, простите, владыко?

— А звонарь не видел старика, не принимал его на колокольне?

— Нет, владыко. Не мог я посмотреть, но на всякий пожарный... простите, владыко... спрашивал я его о гостях. Сергей рассердился: с какой стати он пустит кого-то без благословения, без разрешения. Немыслимое это дело. Откуда и взялся такой дикий вопрос?

— Все забудь, — сказал ему тогда бледный владыка, — объяснения потом.

Но объяснения не потребовались.)

Алеша приложил бинокль к глазам: куда, на что глядел владыка? И бинокль сам отыскал интересное: широкий проем монастырской колокольни. И в нем — глядящий на Гору, на Алешу знакомый старик с поднятой в троеперстии рукой и шевелящий сейчас губами, сказавший в град Алеше: «Знаю твою заботу». Волнение забилось в Алеше ключами.

А за спиной старика — вызолоченный солнцем торс звонаря: голова его была невидима, срезанная ракурсом, трудился звонарь в глубине колокольни, топчась на возвышении, напоминающем трибуну.

Алеша передал бинокль Ванде.

— Что это значит? — спросила она. — Что делает там этот де-душка?

— Не знаю. Но что-то значит... И, к примеру, почему он там, а не здесь?

— Ты его знаешь? — удивилась Ванда.

— Знаю. И ты понимаешь...

И тут замолчали веселые колокольца, оборвалось пение. По толпе прошел гул, подхваченный людьми за церковной оградой. Это значило: сняли покрывало, и люди увидели Благовест и любовались им. Начинается молебен.

И Алеша с Вандой услышали высокий голос владыки, искусной чеканки голос, в котором строгость встречалась с надеждой.

Молебен закончился, и могучая твердь Благовеста дожидалась первого рабочего прикосновения слабых рук человеческих, и народ приглядывался к колокольному языку, и кому-то с мирским воображением он казался выменем особого назначения. Золотом горело полотно Благовеста, и платиной вспыхивали усыпавшие его капли святой воды.

Тараканов стоял в толпе, в первых ее рядах, напротив Благовеста, видя все, там, где и при желании упасть было невозможно, и почесать нос было затруднительно. Перед ним, через узкую ладонь свободного прохода к колоколу, готовились к решающим слово- и телодвижениям главные действующие лица. Серебряный губернатор Иван Тарасович Нарымов поправлял галстук; бессознательно, но изящно подтянул брюки Трясогузкин; репетировала народную улыбку спикер Дарья Андреевна Мигунова.

Вот они подошли к владыке, и он их кратко проинструктировал и перекрестил. Вот под гул толпы произнесли свои речи владыка и губернатор. Владыка красиво говорил о значении и назначении Благовеста, а губернатор говорил мало и понять его было трудно: слова он произносил резко, словно скреб по жести, и они распадались, не успев связаться в предложения.

Потом трое подошли к цокольной площадке под Благовестом, оглянулись на владыку. Владыка кивнул, и они взялись

за «вожжи» — и замерли под вспышками фотоаппаратов со счастливыми лицами. Счастье читалось на лицах во всем его многообразии: у Дарьи Андреевны оно походило на вспомнутое материнское, у губернатора это было сдержанное гомеровское торжество победителя, а Трясогузкин изображал пиитический восторг и рвался в небо, как накачанный гелием в мягкое место.

Они снова оглянулись на Парфения, и Парфений кивнул. И — ...

Первое слово Благовеста оказалось не просто скомканным. Язык глухо лязгнул, а Колокол не отозвался, ибо тут же стальная балка перекрытия беззвучно пошла дугой вниз, и огромный Колокол плавно опустился на землю, запечатав под собой видных представителей губернии.

Напрасно дожидались на колокольнях городских и пригородных храмов звонари — отвечать им было не на что, и опустятся их руки и головы.

— А-ах! — выдохнули тысячи ртов, и это «а-ах» побежало по толпе во все стороны, на прилегающие улицы, как степной пал в сильный ветер.

И наступила поистине жуткая тишина, в которой громкими и наглыми слышались переключки редких воробьев и голубей. А откуда-то из южных глубин города доносилось адово уханье копра, забивающего сваю.

И тут петухом прокричал за спиной у Тараканова Иосинька. И Тараканов, не озираясь, понял, кто прокричал. И холод пробежал не по одной его спине.

Никогда, ни до ни после, не доводилось владыке Парфению так властвовать над людьми. Не велит владыка причитать, суща херувимская в нем статья.

Одними скупыми жестами подъятых дланей утихомирил он взрыв панической истерики в самом зародыше. Именно на него, только на него глядели с надеждой люди — и вот: успокаивались от церковного двора до улиц.

Осунувшиеся люди, конечно, переживали, но уже согласны были подождать. Но переживали-ждали с тревогой, и не в одной заботе об узниках колокола, скрюченных и прижатых под ним, была их печаль. (Многим, уввы, многим в толпе они были

чужды, и роились в головах многих соблазнительно-ернические мысли.) Другое: нисхождение колокола могло быть каким-то важным, и важно-нелестным для всего города знаком Свыше, в череде других за истекшие века.

И охватили застывшую толпу неясные воспоминания о том, о чем большинство не осведомлено было фактически, но что с пронзительной силой напомнило о себе в миноре подсознания.

Так. Но переживали тихо, целомудренно, вслушиваясь не столько в утешительные слова молитвы чрезвычайной, сколько проникаясь ее настроением, и все-таки шепотом высказывая опасения: живы ли, не задохнутся ли, послано ли за неким могучим краном-избавителем.

И те, кто сам не видел произошедшего и не мог расслышать молитву, вели себя подобно: молитва доходила от слышащих до неслышащих моторным образом, так же как и образ владыки несогбенного — беда случилась, но Бог даст, и все образуется.

А за краном послали; он уже громыхал по улицам Горы — недалеко было гнездо этого крана. И никто в толпе не заметил, как догадливый пресс-секретарь губернатора, отойдя в сторону, пытается дозвониться патрону по сотовому. Не отзывается Иван Тарасович, и роботный женский голос гадит в ухо: «Абонент вне зоны связи», и весь ледяной кромешный Космос воплощается в этом голосе для пресс-секретаря, любившего начальство свое и по службе, из выгоды, и по-человечески, без особой на то нужды и выгоды.

Пришел кран. Толпа раздалась — и сейчас народ загудел в нетерпении, и, утонувшая в гуле, онемела молитва в устах священников. Вот в колокольное ухо проделали питоний трос, вот подбежал крановщик, неверующий человек, к владыке за благословением (до того он и не знал, что это такое — толкнуло его как-то!), получил его, забрался в свою кабину.

И вот — бережно потянул колокол вверх.

И — о-о-о! — воскликнула разом толпа, потому что под ним, на цокольной площадке, было пусто, чисто. Узники исчезли.

На гладком пьедестале лежали очки в золотой оправе, целехонькие, в которых признали очки с переносицы губернского спикера Дарьи Андреевны Мигуновой.

Изумленные люди смотрели на них — и на то, как голубь, лохматый и грязный, как заслуженный малярный квач, спикировал на очки, шевельнул их взмахом крыл, клюнул пару раз, растопырил крылья, вызываяще оглядел толпу своими глупыми глазами — и взмыл, полетел. Полетел куда-то на восток, пропадая в небе.

— Полетел, — громко сказал кто-то в толпе.

— Полетел, полетел, — подхватили многие.

— Полетел, — качая головой, сказал владыка, — однако ж, на восток?

И все, как по команде, закрыли на секунды измученные глаза.

И никто не увидел, как Александр Тараканов, раздвинув стоящих перед ним, прокрался к цокольной площадке и подобрал очки, засунув их в нагрудный карман своей китайской безрукавки.

Глава одиннадцатая. **Старец и Синяя птица**

С отлетом голубя, с этого самого момента потомцы перестали удивляться и тому, что произошло, и тому, что еще произойдет. И те, кто видели осечку, и те, кто, живя далеко или безразлично, не видели этого, не знали и не догадывались, что в Город пришел Благовест, да присел Благовест. Никто ничему не удивлялся, воспринимая все подряд как должное и обыкновенное, а между тем замерзло в Потомске море Интернета и оборвалась сотовая связь. Да ведь никто и не будет пытаться связаться с родственниками и знакомыми в Потомске и других городах, чтобы рассказать или обсудить сие необычайное.

Потому что и разошедшиеся с Горы, и все прочие потомцы не будут вспоминать ни про Благовест, ни про беду с ним. Не будет об этом вечерних репортажей на телевидении, ни завтрашних заметок в газетах, кто бы их читал, эти газеты. Газеты вообще не выйдут, а в телеэфире — что вечером, что утром — не сменят местные каналы привычных прелестей грудастого и мордастого столичного вещания.

А между тем под Москвой, на секретном аэродроме уже выруливал на взлет синий, шарового оттенка, самолет, по габаритам стратегический бомбардировщик, без иллюминаторов и опознавательных знаков, известный в очень узких кругах как Синяя птица.

Потомск, 16.30 — 19.30 (пока летит к Потомску самолет)

Хроника этих трех часов из жизни города отрывочна, лоскутна, в чем-то неизбежно легендарна, ибо только одиннадцати свидетелям дано было помнить все, но из этих одиннадцати только один владыка имел доступ к серьезной информации — и то в основном с чужих слов.

Прежде всего: чиновничьи ноги привели их владельцев на службу, каждого на свою. Те же ответственные лица, что не принимали участия в несостоявшемся празднике духовности, ее и не покидали. Так как рабочий день продолжался.

Сегодня он затянется на добрых полтора часа.

Губернатор Иван Тарасович Нарымов обнаружился на четвертом этаже Серого дома, в заполненном до отказа зале заседаний областной администрации. Он сидел на своем президиумном месте за микрофоном, будучи серебрян, спокоен и нордичен. Ни тени пережитого огорчения, ни следов ужасного узничества — напротив, судьбоносная бодрость и решимость читались в его облике: не провал праздника, не конец его, но его начало.

Прежде чем открыть чрезвычайное заседание руководства Потомской области, он объявил: я приглашаю всех присутствующих выйти в коридор для прохождения необходимой очистительной процедуры.

И присутствующие, с веселым птичьим гомоном и пошучивая друг над другом, выходили в длинный просторный коридор, где они, стекаясь на совещание, уже заметили нескончаемую череду столов, выстроенных вдоль сплошных окон. И по команде невысокого приветливого человека в зеленом халате принялись, не спрашивая лишнего, укладываться на столешницы, на спину, обнажая свои белые мягкие, как опара, животы.

Спикер государственной думы Потомской области Дарья Андреевна Мигунова, торжественная, как матушка-царица в фильме «Ночь перед Рождеством», подержав в руках букет бе-

лых хризантем, объявила в заполненном согласно списочному составу зале думы, на третьем этаже, что сегодняшнее заседание будет чрезвычайным, догадываетесь. Догадываемся! — возопили депутаты. Но прежде нужно будет выйти в коридор и пройти одну очень важную процедуру. Для этого нужно лечь на выставленные в коридоре столы — «вы, наверное, обратили на них внимание» — и обнажить животы. Для женщин, с их платьями, столы приготовлены в первом переходе направо. Очки можно не снимать, пошутила она, потрогав свои изумительные модные золотые очки со стразами. (И никто не вспомнил, что она их потеряла.) И законодатели, толкаясь в проходах и дверях, радостно двинулись в коридор, где их ждал невысокий приветливый человек в зеленом халате, и стали ложиться на столы. Белизна их животов ничем не уступала белизне животов представителей исполнительной власти.

Начальник департамента по культуре Олег Сергеевич Трясогузкин, не кобенясь, как обычно, но невредимый и оптимистичный, но почему-то в новом, на сей раз ослепительно белом костюме, объявил сотрудникам департамента те же вводные, и так же выстроились в широком, только без окон, коридоре департамента столы. Дело происходило в здании напротив Серого дома. Коридор здесь один и прямой, поэтому он был гендерно перегороден повешенными поперек него оливковыми бархатными кулисами, доставленными из театра юного зрителя. И встречал сотрудников, в основном дам, все тот же невысокий человек в зеленом халате.

Приходится согласиться, что в этом его единовременном присутствии не только на разных этажах, но и в разных зданиях города (и, надо думать, и еще, и еще где-то) есть несомненный мистический момент, находящийся за пределами научного объяснения. Но сам этот человек авторитетно принадлежал медицинской науке.

Его звали Аркадий Владимирович Пак. Кореец по корням, выученник Потомска, он давно проживал и трудился в столице нашей Родины, но как-то очень вовремя очутился в этот знаменательный день в Потомске. Добрейшей души человек, он освоил, путем двадцатилетней учебы у наставников из Сеула

и Пусана, древнее искусство прижигания. Прижигая разные точки, по две, по три, на теле человеческом (эту боль от огня, по-своему святую, терпели люди, чая обновления), он исцелял от обжорства, пьянства, похоти — или, напротив, возвращал человеку аппетит, стойкость или отвращение к спиртному и состоятельность в личной жизни.

Десятки тысяч животов, ключиц, локтей, колен и ягодич от-мечены ныне следами его спасительных ожогов. Есть в России Орден Пака!

И очень важно, что в последние годы, поднимаясь по ступеням своего знания, доктор Пак научился уже и лечить огнем саму истерзанную меркантилизмом и колючей пустотой душу человеческую, чистить и возвышать ее.

Какой же блистательный шанс давали ему в этот сентябрьский вечер видные представители потомской гридницы! Какой же блистательный шанс обретения смысла жизни получали они от доктора Пака!

Ныне процедура была для всех одинакова, и целью ее было освобождение чиноза от грехов мздоимства и алкоголизма. И в некотором роде и обнаружение степени заблуждения человеческого, так как чем глубже увяз человек в трясине зла, тем больше ему было, тем громче издавал он своим честнеющим ртом звуки нравственного освобождения.

И вот почему доктор Пак прижигал всем, за некоторыми исключениями, две точки выше и ниже пупка — и прижигал их, запаливая чудные бомбочки из сухой польни, смазанной масляной смесью, рецепт которой изобрел в шестом веке нашей эры мудрец, живший в устье великой реки Туманган.

Исключением, но не единственным, явился, например, Трясогузкин, коему, бросив на него пронизательный взор и перевернув, Аркадий Владимирович дополнительно прижег серединки ягодичных долей.

И зарядились конвейеры на двух этажах Серого дома и в коридоре департамента по культуре (и в других весях?). Доктор Пак поджигал бомбочки с одного конца и, пока он доходил до другого, завершалась процедура у первых его пациентов. И, торопясь вспять, большое душевное и профессиональное удовольствие получал Ар-

кадий Владимирович, усмехаясь на выделяющиеся в общем санационном хоре голоса сугубых грешников, дымящихся пуше других.

Запах горячей полыни мешался с запахом горячей плоти, сизый дым заволакивал коридоры, и царственными по точности, по артистизму были осанка, иноходь и пластика рук всеусущего доктора Пака.

И возвышались в коридорах власти над простертыми заслуженные артисты России Поляков, Казаков и Тарасов, декламируя воспитующие гражданские стихотворения Н. А. Некрасова. Тут тоже мистика: они помнили и читали наизусть то, что они никогда не учили наизусть, а иногда и не читали даже вовсе. И каждого хвалил за помощь всеусущий Аркадий Владимирович, и повторял за ними: «Вот парадный подъезд!»

О том, что подобное происходило и в других официальных присутствиях, с восторгом свидетельствовал отец Георгий. Проезжая мимо здания областного управления внутренних дел, видел он махрящийся из окон густой сизый дым и слышал страшные, душераздирающие вопли. Видимо, у них был сеанс коллективного лечения, резюмировал отец Георгий, а вот в соседнем здании УФСБ окна были закрыты, спокойствие; перед зданием стояли двое спокойных подтянутых мужчин, наверное, офицеров, они без эмоций смотрели на милицейские окна, безусловно слыша доносящиеся вокализы. («Ну да, — подумал владыка, — ИХ обнесло. Так и должно быть».) А под окнами ОУВД собралась толпа и с воодушевлением, с поднятыми вверх указательными пальцами внимала и обсуждала представшее.

— А у нас будет такое лечение? — с надеждой спросил отец Георгий. — Хорошо бы... Или нам не надлежит?

— Не надлежит, — отвечал угрюмый владыка, один из немногих, способных оценить вакханалию происходящего, — а вот порку я бы вам устроил, да Синод не велит.

Потом он пожалеет, что хотя бы не прошелся по городу, ограничившись прогулкой с отцом Николаем до крыльца Серого дома и обратно. Народ был оживлен, как в 1917-м году, говорлив, и, однако, ни в одном лице (включая о. Николая, как и о. Георгия) не усмотрел он вопрошания, удивления или

скепсиса. Вокруг владыки сгушалась новая, пугающая реальность, и он был один-единственный гость из старого мира в этом новом. Он догадывался, что это ненадолго, что надо потерпеть, но сколько же и за какую плату? «Не дай мне сойти с ума, Господи, воззвал он мысленно, если я уже не сошел с ума, конечно».

Действительно, епархия осталась нетронута. Может быть, не тронуло и мечети, и синагогу, и имамов, и раввинов, но владыка об этом не знал и уже не узнает никогда.

О дальнейшем владыка узнал, в частности, от зашедшего к нему по губернаторскому поручению чиновника из Серого дома (18.50 — 19.25) следующее.

Совещание у губернатора прошло под лозунгами борьбы за соблюдение законности во всем ее буквенном содержании; всемерной и опережающей федеральные инициативы заботы о культуре, здравоохранении, образовании, стариках и детях (тут звучали тезисы революционнейшие, и согласные во всем присутствующие плакали от умиления); принято было решение об отказе следовать современному федеральному налогообложению (плакали!) и т. п.

Губернатор предложил, хорошенько покаявшись (покаялись, очень было шумно!!!), создать Благотворительный Фонд попечения о Любимом Потомске на средства собравшихся, и сам первым сделал громадный взнос в рублях, валюте, недвижимости и движимости.

И что тут началось (тут чиновник зарыдал, и рыдал уже до конца своей баллады, что очень вредило связности повествования)!

На больницы, школы и детские сады, и детские дома, и на городской и на областной ландшафт, на дороги и на несчастных, и даже на некоторые категории счастливых хлынул ливень взносов денег, особняков, квартир, автомобилей. И даже обнаружили замки-заимки в лесной глуши, и даже заветная недвижимость в Краснодарском крае, Крыму, Греции, Испании, Черногории, Болгарии и ряде других стран — все приносилось на алтарь губернского счастья, и говорили плачущие собаки-чинозы Ивану Тарасовичу: «Бе-

рите, берите! Мы еще заработаем!» И явились среди них и новые, и старые, находящиеся на покое, акулы энергетики, ЖКХ и дорожного строительства, опекуны великих труб и прочие и говорили то же.

И все писали обещательные бумаги — и все нотариусы города обнаружили в полынной дымке за теми столами в коридорах.

«Не торопитесь так, друзья, говорил им Иван Тарасович, постепенно, постепенно, тут главное обратить наши накопления в рабочие места, это обсуждать будем! Думать надо, так мы туннелцев расплодим и все профукаем!»

И наконец по-хорошему остервенясь от свежей боли в обожженных ранках около пупков, приняли решение: «Покончить с откатами жирным московским котам! Им и так жирно! Да здравствует Россия, да здравствует Сибирь!» И договорились, что завтра с утра примут подготовленное этой ночью «Обращение к жителям Потомской области».

И в завершение а-капелла пропели «Слався!»

Точно так же, но с законодательным уклоном прошло на третьем этаже экстраординарное заседание государственной думы Потомской области.

Как, оказывается, богата наша Россия и Потомская область в ней! Не только хорошими людьми! Вот и открылся секрет наших-пренаших средних зарплат!

В департаменте по культуре все было, понятно, не столь грандиозно, хотя Трясогузкин и его заместители не подкачали. Здесь звучал лозунг превращения древнего, богатого традициями Потомска в культурную столицу всей провинциальной России. Работники департамента поклялись никогда в жизни не употреблять такие слова, как «бренд», «тренд», «инновация», «кластер» и подобные и выражения типа «ты передо мной на брюхе будешь ползать», «перед рынком все равны» и соответствующие.

Затем Трясогузкин предложил принять письмо-поздравление с Новым годом, адресованное деятелям культуры, поскольку с началом этого сентября, как во времена Петра Великого, поистине наступил Новый год. Это письмо, одобренное единогласно и написанное Трясогузкиным в порыве звездного вдохновения, каким-то чудом сохранилось. Вот оно.

«Тишина... Молчание... Пустота... Три сестры у колыбели Нового года... Тишина хрупкая... Молчание долгое... Пустота звенящая... Ждут... И мы ждем...

Ждем того мгновения, когда проснется младенец Новый год и нарушит тишину серебряным звоном ручейков Времени. Прервет молчание хором голосов Вечности, заполнит Пустоту светом грядущих Дней. И тонкую нить Жизни опять потянет прясло веретена, вращаемого самой Судьбой. Держась за эту путеводную нить, переступая невидимый порог неведомого, из прошлого в будущее переходя, мы получаем в дар от Неба драгоценный сосуд Желаний.

И мелкими глотками в течение года пусть будет дано нам отпивать Счастья безмерного, Удачи неожиданной, Любви торжествующей, Верности благодатной, Вестей поразительных, Благополучия водопадного, Нежности снежной, Свежести горной, Бодрости румяной, Учености знатной.

По правую руку от нас пусть ступают Гордость, Отвага, Братство и Рвение. По левую руку пусть нас провожают Забота, Покров, Трудолюбие, Терпение. А впереди светозарно сияет Звезда Новогодняя в объятиях Месяца.

И пусть, смущая Тишину, шумно спешит Новый год на наш двор, где Воля и Правда Молчанье теснят и где Пустота переходит в Простор!

А Лунная дорога от Новогодней колыбели пусть продлится Солнечным путем до следующей смены Времени. И пусть будет путь этот легким и добрым для всех и каждого, и для вас лично!

С Новым годом!»

Письмо это, в отсутствие электронной связи, решено было разослать назавтра.

Собрание в департаменте закончилось много раньше серодомовских заседаний, и Трясогузкин, с данным поздравлением в руках, пришел, по недалекому маршруту, к владыке, поделился с ним содеянным и попросился в монастырь. Владыка отказал ему, испугавшись за агнцев своих, и Трясогузкин смиренно принял его отказ и пошел пить кофе в одно дружественное кафе (18.25 — 18.44).

К половине восьмого владыка сидел в обморочной задумчивости в своем кабинете, положив горячую голову в ладони рук, опертых локтями на стол, даже поначалу не обратив внимания на то, что над городом раздался низкий, тяжелый гул самолета, то приближающийся, то удаляющийся: в нарушение всяких параграфов самолет кружил над Потомском на предельно малой высоте.

Другим, избранным судьбой помнить все, в эти три часа впечатлений досталось значительно меньше. (И владыка, из сострадания к ним, не поделится с ними своими.)

Миша Пухов вернется на Болото, зайдет за портвейном «777» в магазин «Продукты Аккорд» и, сопровождаемый почкладистым инвалидом Павлом Васильевичем, направится на Костровое место. Он разведет костер и будет под неторопливый портвейн рассказывать инвалиду подробности про незадачу с Благовестом.

Присутствовавшие на церковном дворе два ученых товарища отправятся на то привычное для них местечко, где их когда-то усмотрел Алеша, на южном берегу Ишайки, и будут с теми же портфелями и тем же портвейном «777» обсуждать увиденное на своем высоком интеллектуальном уровне, поглядывая на Пухова и Павла Васильевича. Пухов и Павел Васильевич принципиально не будут на них поглядывать.

Ильдар Сейдияхметович с утра мотался по базам, заезжал в налоговую, в татарскую деревню Вахитово, не знал ровно ничего и кое-что узнал после половины восьмого, когда измордованный, пропотевший насквозь, подъехал к своему магазину на Болоте.

Тараканов ушел домой и прилег: он с ночи заступал на дежурство на стоянке. Время от времени он открывал глаза и рассматривал очки: они были безусловно из натурального золота, а в искрящихся камешечках, насыпанных по оправе, он усматривал бриллианты и предвкушал себе от этого солидную выгоду. «Но до поры припрячу их, мало ли что», — решил Тараканов.

Алеша с Вандой ушли к мосту, подавленные. За три часа они поцеловались всего раз пять. Сели на траву, обнялись и задремали, опираясь друг на друга. Им было с чего дремать. Разглядывали водомерок, бегущих по воде против течения Ишайки, бросали в воду камешки и снова дремали.

Борис Исаакович и Тамара Георгиевна все это время находились дома. Они сочинили письмо в Соединенные Штаты Америки, а потом до сумерек обсуждали установившийся в стране общественный строй, который все меньше нравился Борису Исааковичу, потому что не обнаруживал признаков общественного строя. «Рассыпали нас, — с горечью говорил он, — засрали людям головы». Китайский вариант? От него разит угрозой и полной бездуховностью.

Вот и весь расклад. Прочие люди с Болота разделили участь забывших все. Например, Ираида Петровна весь день провела на работе, в школе и на директорских курсах, вернулась поздно: для нее это был бы день как день, если бы ночью не заявили Алеша с Вандой и не подпрыгнуло в ней снова материнское сердце. Оно успокоится, когда она покатает их по ночному Потомску.

Болото, Костровое место, 19.30 — 24.00

Потемнело. На садящееся солнце опустились, нанизываясь, сбившиеся войлочные облака — одно, второе, третье; навстречу Ишайке побежал ветер, вернее, ветра, отдельными, резкими порывами, выдергивая с веток листочки ивняка. Потемнело и похолодало. Небо словно перешло на экономное дежурное освещение. Речка прибавила голос, осмелела.

— Пробило! — сказал Павел Васильевич, достал платок, выбил нос и оставил платок на сиденье, подоткнув его под култышку правой ноги.

Миша Пухов засуетился: он стал подбрасывать в огонь ветку за веткой, собирая их по берегу охапками. Над костром выросла башня из веток, он громко трещал, побеждая их сырость — скоро высоте и силе пламени позавидует любой старинный маяк. А Миша тащил и тащил ветки, обрубки, обломки деревянных ящиков.

— Ты что, — спросил Павел Васильевич, — всю ночь здесь просидеть собрался?

Миша пожал плечами — и, кряхтя, приволок три павших осиновых ствола, гармонично расположив их вокруг костра. Присел на каждый — сидеть можно.

— Ну вот, — сказал он.

— Зачем ты это делаешь? — спросил инвалид.

— Не знаю, — ответил Миша, — так, потянуло.

— Тянет, извини меня, на девок! — возразил Павел Васильевич.

Напротив них, наискосок, западнее, давно допили вино ученые люди. Они собирались уйти сразу, каждый в свою жизненную нору, но вдруг одновременно сказали друг другу: «Давай еще посидим-постоим. Когда еще... Холода на носу и закрытие сезона». И присели, получая все три удовольствия евразийского человека: глядели на бегущую воду и змеение костра на ней, на сам костер и на хлопотливые труды Миши Пухова. И, конечно, не сговариваясь, представили себе в сумерках, что на дворе какой-нибудь 1608 год и на свет костра пробираются в зарослях кыргызские разведчики с арканами. Образованность берет свое. Алкоголь ей помогает.

Над ними загудел самолет. Ближе, ближе — задрожали небо и земля, и барабанные перепонки в ушах: самолет пролетел так низко, что, казалось, в него можно попасть из рогатки. Прошел — и вскоре вернулся, и так и пошло.

— Да он кругами летает над городом, — сказал похожий на Ленина.

— Над нами кружит, — сказал похожий еще больше, но неизвестно на кого, — ты заметил, Степаныч, он темный, темно-синий, что ли? Военный?

— Да, — сказал старший, — огромный. Что бы это значило?

— Опыляет, — пошутил младший, — и кто разрешил?

— Скорее утюжит, — с тревогой отозвался первый, — зачем утюжит?

Ни они, ни пара на северном берегу не знали, что с появлением самолета опустела Болотная улица, и не проедет мимо Кострового места этим вечером ни один автомобиль.

Вдруг из-за деревьев, с Болотной, вышли к костровому пламени еще двое. Впереди ровно, плавно шел, как плыл, высокий старик в длинном светлом плаще, с просторной, куполом, лысиной в венце длинных развевающихся волос, с ужатой, клинышком, бородой. А за ним шел, как пританцовывал, кидая коленки и вправо и влево, маленький, простоволосый же пожилец, держащий правую руку на высоте подбородка. В свете костра между рукой и зубами проблеснет металлическая нитка, кото-

рую он наяривал пальцем. И музыкальные последствия этого наяривания были слабым жужжанием, слышным лишь тогда, когда самолет уходил на предельную дальность. Они постояли с минуту перед огнем, перед изумленным Павлом Васильевичем, ухватившимся даже за свою грозную палку, и вскочившим на ноги Михаилом, а потом присели на принесенное Михаилом дерево, спиной к улице. Присел и Михаил.

— Здравствуйте, панки, — сказал высоким голосом Старец, — вот и мы.

— Ждали, ждали, — ответил Михаил, — добро пожаловать к нашему шалашу!

Павел Васильевич опустил свою палицу.

— Шалаш, кхе-кхе, — сказал Старец, — и в мое время так говорили! Принес ли желуди?

— Желуди? — переспросил Михаил, а рука сама нащупала в кармане горсть желудей. — Принес, досточтимый.

И подал их Старцу. Старец же положил их в карман плаща. И посмотрел через Ишайку.

— Здравствуйте, панки, — повысил он голос (самолет пролетал над головой), — подите и вы сюда. Через речку и идите, тут мелко.

Ученые товарищи готовы были поклясться, что «тут» как раз мелко не было, но повиновались — и перешли речку, всего лишь набравледающей воды в туфли. И присели напротив, узнавая, узнавая Старца — и не веря, не веря себе.

Старец же углядел у колеса коляски Павла Васильевича две пустые бутылки портвейна и одну недопитую, взял у инвалида его палку и прикоснулся концом ее к каждой. Вспыхнули цифры на этикетках «777», «777», «777», погасли, вспыхнули снова, уже «666», «666», «666», — и погасли со свистом.

— «Ессентуки номер два» во всех, — сказал Старец, — настоящая минеральная вода. В лавке не купите. Хорошая вода, пил я ее на Кавказе в 1808-м году...

Посмотрел на небо, удрученно проводил взором мелькнувший силуэт самолета и сказал:

— Не по зубам мне...

И сказал:

— Сейчас помолчим. Помолимся про себя. Подождем.

Иосинька все играл на струнке.

И тем же путем, молчаливые и сдержанные, как на похороны, в одиночку и парами подошли к костру, занимая места на стволах, знакомые между собой люди: Ильдар Сейдиахметович, Борис Исаакович с Тамарой Георгиевной, Алеша с Вандой и Тараканов.

Каждому из них в одно и то же время, несколько минут назад, дано было неслышимое повеление, словно бы дуновение, и двинулись они, зачарованные, неспешной поступью, твердо держа на Костровое место.

Ильдар Сейдиахметович находился ближе всех, в магазине. Его «Нива» была последней машиной, проехавшей по Болоту. Он и пришел первым. А Тараканов явился позже всех, находясь этажом ниже небыстроходных Коркиных, потому что, видно, получил двойное повеление: он, изменяя себе, задержался, чтобы умыться со сна и почистить зубы.

— Брат Иосиф, — сказал Старец, вставая, — оставь теперь свою струнку в покое.

И, с удовлетворением погладив взором присутствующих, сказал еще:

— Не все. Подождем немного — грядет последний. Он уже спускается с Обруба.

Костер разгорелся вовсю, выбрасывая длинные языки пламени под порывами ветра и, кажется, при каждом приближении самолета. Тепло было сидящим, и набирались их одежды и волосы кострового аромата. На ближнюю иву опустилась сорока и затахтела, и задумалась, как человек, и тем стала своей в кругу ждущих.

И с новым набегом ветра вышел из-за деревьев, хлопая своими великанскими башмаками, владыка Парфений, осеняя всех крестным знаменем и кланяясь в пояс Старцу.

— Извините, если припоздал, — несмело сказал он, — но у меня, похоже, путь был самый длинный.

И сел между Борисом Исааковичем и Вандой в мирской простоте.

— Теперь все, — сказал Старец, — теперь послушайте меня, дети! Он возвышался над ними, и им чудилось, что он высок чрез-

вычайно, и темя его упирается в небосвод, на котором будто бы при его последних словах загорелись звезды, а над теменем поспешила повиснуть Луна, молодая, белая, нежная.

Вот что говорил Старец.

— Я покинул Небесную свою Отчизну и вернулся в человеческое время, потому что смущен был, испуган, огорчен до отчаяния тем, что свершается нынче с человеком и в человеке. Никогда такого не было, чтобы люди посягали на родовые свои свойства, отказываясь от души, от дома, от семьи, взаимно выращаясь как «цивилизованные потребители». Да, так нынче диктуется, увы, увы. Все в жизни человеческой приведено сей день к копейке, все ей измеряется, проверяется; копейкой живы, ей одной тщеславятся, на копейку дышат. Не нужны ныне дивные, самоотреченные люди, заржавело в них последней, праховой ржавчиной геройство, высохла жалость. И приказано всем быть одинаковыми плясунами и распутниками — едиными во грехе пустой жизни.

Сего зверя глобализации не предсказано и в Апокалипсисе, нет там ни образа его, ни числа!

Для того ли творился Мир, замысленный как Вертоград многоцветный? Для того ли Господь наделил людей свободой воли? Знаю, что наказан буду за вмешательство в дела человеческие, и нет оправдания мне. Но любя сей град и молясь за него вечно, не утерпел я как русский человек!

Низошел по причине благовестной и юбилейной к вам — и атаковал, скажу по-военному, ибо бывал я воином. Атаковал, так сказать, любезный предел земли, зная, что вольны вы выбирать себе и радости, и горести, и должны расплачиваться за свой выбор сами... Но как черство, черство живете! Но сердце — сердце мое болит!

И лишь убедился я в том, что знал заранее — можно творить чудеса, большие и маленькие, можно удивить и взволновать, но оборачивается это одними соблазнами на руку Сатане, но инаковый, во зло получается исход. Ибо невозможно помочь тем, кому не нужна эта помощь, кто не верит в чудо. И через страшные страдания пройдут нынешние люди, чтобы либо очиститься, либо погибнуть. Что мое попечение перед всем этим миром

новым? Сильнее меня этот синий самолет. Эта Синяя птица, орудие невиданной силы, что утюжит сейчас город, и отутюжит до того, что не останется в городе никого, кто запомнит события последних дней. Ничто не останется в памяти, сомкнутся без зазора дни предыдущие и дни последующие.

Ошибся я. И не хотел я говорить об этом, но скажу: и без оно-го самолета, и без вмешательства сильных мира сего, позже и больнее по последствиям, и безобразнее во сто крат вернулось бы все на круги своя. Опомнились бы копеешники и без самолета, победило бы в них нутро. Еще бы и побезобразничали, и покидали бы с раската чистых как нечистых с криками «Пех? — Пех, перепех-пех!» Простите меня, а тебе, самолет, кланяюсь — ты исправил мою ошибку, снял с меня русский мой грех неуимчивости, нетерпения!

И только вы, одиннадцать потомских жителей, будете помнить ВСЕ. Тяжелое это бремя, и для тебя, Парфений, тяжелое вдвойне. Вы мой последний оплот, и вас я не отдам копейке-глобализации. Живите, как жили, не святыми вы мне нужны, но людьми, со всеми слабостями человеческими. Достаточно мне драгоценной совести, живущей в вас.

Простите же мне, что обязал вас. Вы будете молчать про эти дни, чтобы не вводить во искушение малых сих, и одна гадкая белиберда разведется вокруг ваших воспоминаний, и объявят вас сумасшедшими. Но вы будете молчать.

...И затем Старец сказал каждому о нем, обнаружив глубокое знание пути каждого, и снова желал каждому быть таким, какой он есть. «И даже я, пьянчужка матерщинная, — спросил его инвалид, — и даже мне?» «И ты, и прежде всех ты, — ответил Старец, — только слова матерного втуне не произноси. А частушки свои пой со всем, что в них есть, Господь любит русский смешок».

И Старец распростер свои длинные руки над ними, над Болотом.

— Любите свое Болото! Грязное и пьяное, убогое и скучное! Неимущее и никому, кроме вас, не нужное, само собой живущее, но само себя и сохранившее! Ибо несчастное это Болото под своею золой вековечной сберегло еще искорки великой простоты человеческой и совести, и отступает перед ним Дурь,

пронзившая и город, и страну, и мир! Чтобы славить Болото и трясины его — до этого надо дожить. Но дышалось мне нынче только здесь. И нет пока другого места для души! Нема!

И, как по команде, все поднялись, а Иосинька заиграл на своей струнке.

— Теперь последнее, теперь пойдем, — сказал Старец, охрипший, как обыкновенный человек, и всем захотелось его потрогать.

У них появилась такая возможность, потому что он раздал каждому по желудю, и шляпки у желудей оказались серебряными. Дающая длань Старца была теплой, а глядящая по плечу рука — настоящей, подрагивающей по немалому возрасту.

Они следовали ему, и путь их лежал к Вознесенской церкви. И в темноте, под скуными фонарями, не встретился им никто, ни даже собака или кошка. В окнах горел свет, но жильцы в окнах не просматривались, видно, поверженные самолетом.

Рычал в небе, гвоздил город неутомимый самолет, но когда они подошли к лестнице, наступила полная тишина.

Ушел самолет, выполнил свою задачу, и они не видели на прощание его огней — не было у него огней.

Луна засветила ярко, белила улицы и лица. Они поднимались, некие немые апостолы, помогая Исакычу и его голубке, а Павла Васильевича (коляску оставили внизу) нес на закорках Миша Пухов.

Старец шел впереди, прижимая палец к губам: молчим, молчим. И только струнка звенела. Владыка поднимался последним и вспоминал в себе мальчика из Воронежа, засидевшегося до ночи у реки и очень голодного; мама заждалась его дома, она поругает его и накормит горячей картошкой в мундире из закутанной в ватник кастрюли.

Во дворе Вознесенской церкви в полной тишине под Луной обнаружилась большая, густая толпа. Но кто были эти люди, потеснившиеся и пропустившие пришедших к паперти?

Они были одеты в наряды столетней давности, и мужчины все были в головных уборах, а женщины все были в платках. Они переговаривались, посматривая на гостей, но делали это беззвучно. А слышали друг друга отлично, и в жестах и мимике подтверждалось, что слышат.

А против паперти заканчивали установку перекрытия арки для Благовеста, и высилась гигантская лебедка, и мастера-вые уже продевали ему в ухо стальной трос. Эти люди, видно было, покрикивали в трудовом энтузиазме, и должны были стучать или гроыхать их инструменты, но стучали они в другом времени.

Рядом с папертью стояли, дожидаясь, духовные лица, и в главном духовном лице опознал владыка Парфений владыку архиепископа Макария, с его неповторимо резкими чертами лица и с нимбом над головой; и рядом же выстроились лица казенные — должно быть, этот — губернатор, а этот — городской голова Карнаков с его бородой-мочалкой... И знающий узнал бы в толпе и пристава Королькова, могучего, как лось, и знатного баклана Михайлу Андросова; и Алеша затрепетал, увидев рядом с Благовестом, еще принадлежащим земле, пожилого луноликого купца, широкоплечего и улыбающегося, и не мог оторвать от него глаз — это же был его прапрадед Алексей Афанасьевич Васильков!

Алеша хотел окликнуть его: «Дедушка-прапрадедушка, это я, Алеша, твой внук, я назван в твою честь, я здесь!» — даже шагнул к нему, но остановил его Старец, улыбаясь и все так же прижимая перст к губам.

Кладку закончили и тут же толпой потянули вверх колокол, и зашевелился народ, и сняли свои картузы мужчины. «Как же так, всполошился про себя Алеша, кладка свежая — разбегутся кирпичи, и...» Но голос Старца внутри него успокоил: «Не разбегутся кирпичи эти, мощные по-старинке, не разбегутся, ибо раствору уже сто лет. И сталь в балке такая, что нет ей износу, путиловская сталь».

И началась беззвучная служба, и сделали все, как положено в лунном ласковом свете — и, посветлев душой, перекрестились на первый удар в Благовест, и не слышен он был, зато видно было, как дрогнул воздух — и поплыл неслышный величавый гул во все стороны на десятки верст.

И исчезли, вернулись в свои могилы потомцы столетней давности. Растворились. Двор опустел, и ветер слышно гулял по георгинам и астрам. И тихонько-тихонько отзывался на ветер обретенный Благовест.

И Старец сказал:

— Прощайте, Господь с вами.

И пошел к колоколенке, и за ним Иосинька. Они вошли в колокольню сквозь стену и поднялись наверх — оттуда, сверху, донеслось прощальное зуденье струнки.

И оборвалось, а колокольня будто вздохнула, и кратко и кротко звякнули на ней детские ее колокольчики.

— Полетели, что ли? — спросил со спины уже таракановской Павел Васильевич.

— Полетели! — ответил владыка. Глаза его были полны слез.

В этот момент послышалось гуденье машин с улицы Пушкина, а в карманах тех, у кого имелись сотовые телефоны, раздались сигналы их пробуждения.

Владыка вытер слезы, усмехнулся и позвонил игумену Феодосию, заранее зная, что он ответит ему Феодосий.

Он спросил в полночи — и Феодосию это показалось дурной и невероятной для владыки шуткой — давно ли отец игумен открывал раку со мощами Старца, на месте ли они? Помилуйте, владыко, отвечал Феодосий, что за вопрос? Вы... уже полночь... не понимаю...

Через минуты, достаточные для того, чтобы добежать до раки еще одетому человеку, так как монастырь и храм стоят крыльцо в крыльцо, а игумен злоупотреблял чтением на сон грядущий (и читал, гм, всякое), Феодосий перезвонил, и слышно было, как его голос отдается под сводами храма:

— Мощи досточтимого невредимы, но может ли быть иначе? Но почему...

— Кто-то глупо пошутил, позвонил, напугал меня, — ответил владыка, терзаясь, во спасение он солгал или уж прямо согрешил?

Глава двенадцатая. **День города — завтра**

И было раннее, серенькое, в охвостях тумана утро, когда, перед рутинной работы, Алеша посватался к Ванде и заключен был в мягкие объятия ее отца Владислава и ее матери Татьяны, а Ванда была крепко, собственнически обнята Ираидой Петров-

ной, что было уже отрепетировано ей ночью.

Отдавая дочь в соседний подъезд, Доушки усмотрели в этом древний юмор жизни, так как лучший жених для дочери являлся и ближним женихом, и, выпив успокоительного чаю, дошутились до упоминания картины «Март»: раз она есть влюбленный подарок Алеши, она должна быть с Вандой, но раз Ванда переезжает к Сухониным, то в квартире Сухониных будет два «Марта», а значит Ираиде Петровне придется свой «Март» куда-то убирать. Или она не захочет? Обескураженная Ираида Петровна не знала, что и ответить.

Оставив родителей, Алеша с Вандой — времени еще вагон — сходили еще раз к Благовесту. В церковной оgrade подметал послушник, новообращаемый узбек по имени Файзулла. «На Благовест пришли полюбоваться, — сказал он понимающе, — прекрасен Благовест, смотрите на здоровье».

Они смотрели на Колокол, и он, в мелкой росе, недвижимый, давал на себя любоваться с неким предостережением. Кирпичи в арке были крупные, необычные, а виделись новенькими, гладенькими — кто разберет, сколько им лет? Но, обойдя арку, Алеша увидел, что там, с тылу, на кирпичи привинчена металлическая табличка: «1902 годъ». Если и заметят, то как-нибудь объяснят, подумал Алеша. А сам Благовест был новый, воронежский, привезенный днями.

Уходя, они отметились у могилы прапрадеда — и что-то, видно, боязнь расстаться с чудом, не позволило им потрогать надгробие ладонями. Всему своя мера, и впереди было самое трудное — жизнь обыкновенная, без чудес и приключений, вдруг ясно и тревожно подумали они глаза в глаза. Просто Ванда, просто Алеша, житие рядом, завтраки и ужины, и болезни, и счет денег, и вся прочая мелочовка жизни, саднящая и подстерегающая, и невыносимая, если ты согласился с ней соглашаться. «А мы сумеем?»

И Алеша проводил Ванду до ее прилавка, и пошел, через железный мостик, на свою работу.

В это время проснувшийся Борис Исаакович, выпивая с Тamarой Георгиевной по чашке крепчайшего запрещенного кофе, обсуждал с ней идею создания общественной организации «Россия с человеческим лицом». Он, ободренный Стар-

цем, хвалившим его за мужество и честность, уже наметил ряд проверенных, надежных кандидатов в нее, и среди них была пара молодых, готовых на риск ребят лет шестидесяти. Тамаре Георгиевне отводилась роль секретаря, на которую она соглашалась, если будет компьютер — и почерк у нее никудашный, и связь по Интернету — всем связям связь. «Добро, приговаривал Исакыч, добро! Нечего оплакивать прошлое: смотрим вперед, мы еще споем колыбельную империалистам и олигархам!»

Не спавший от изумления всю ночь Ильдар Сейдияхметович, до сих пор изумленный, гнал машину по городу, направляясь туда и туда. «Старик сказал мне добрые слова, а знал, что я бываю жадным. А не намекнул, не поучил. По-другому поучил. «Люблю тебя за уважение к старшим, к достоинству человеческому!» А! Педагог!». И лицо Ильдара расплывалось в улыбке: ему виделся новорожденный мальчик в чепчике и над ним лицо его ответственной немолоденькой супруги, узбечки Юлдуз. И для водителя такое видение было неуместным и опасным, но оно вставало перед ним снова и снова. И Ильдар остановился, приткнул машину к обочине и привалился поспать.

А Тараканов выкинул штуку. За своим джипом явился тот противный хам, Барсетка, Коротышка, и Александр не моргнув глазом сообщил ему, что дважды за ночь какой-то в темном молодец пытался прокрасться к его танку, но был отогнан бдительным Таракановым, несмотря на то, что в руках молодца была пухлая бита. Я и сам с усами, говорил Тараканов, случайно подсовывая к самому носу спесивца милицейскую дубинку и взмахивая ею со свистом. То-то перекосило физиономию Боровичка, то-то он закукарекал, набегая на хозяина стоянки и переспрашивая Тараканова о подробностях, и шипя: кто это, знаю, он у меня попляшет.

Мелочь, а приятно.

Никаких признаков похмелья не испытали сегодня вчерашние потребители портвейна. Обязательный Михаил Пухов с утра приберется во дворе, нарвет на букет астр и отнесет его одной разведенной и симпатичной ему соседке: постучит ей в окно, подаст его в тумане, мокрый и холодный, и без слов скромно отправится обратно, готовить завтрак дочери. Перед школой

они с дочерью проведут друг для друга маленькие диктанты. И в результате дочь заткнет отца по грамотности за пояс. Да так убедительно. Ишь ты, скажет Пухов, любуясь ее худобой, ишь ты, Паутиныч! Ишь ты, стрекоза голодная!

Павел Васильевич уже выдвинулся на свой пост и встречал-проводил народ на службу и на учебу, и, грешным делом, надеялся, что наберет к обеду хотя бы на пиво, которого не любил, но не Фурке же все отдавать да отдавать, жадюге, накопившей на десять гробов и две тонны поминальных пирогов с красной рыбой. Скучая, он перебирал известные ему анекдоты и за часы просеивания нашел не более двух с половиной нематерных. «Великий шутник наш Старец, сердился он, а доведись ему тот же гвоздь забивать да промахнуться — что бы он сказал? И жизнь наша — такое говно, то есть дерьмо...»

Ученые люди на юго-западе Города вошли в студенческие аудитории и читали лекции согласно утвержденной программе, но в лекции они, не советуясь, напустили столько пассажей о любви к родному краю и грядущих судьбах Сибири, что студенты плюнули на конспектирование такой непрактичной и не упругой в схемах словесности и занялись кто чем: другими предметами, перепиской, игрой в морской бой и т.п. Но было в аудиториях несколько остаточных восторженных юношей и девушек, что прислушались и немножко замечались, и увидели в похожих на чьи-то лицах профессоров их собственные, траченные временем, но исполненные любви к благу.

И в полдень все они и все горожане с ними услышали, как заговорил, по велению владыки, с Горы Благовест, приподнято, веско, душеободнительно, и ответили ему, наше вам, все городские звонницы. И ничего, что кто-то из горожан, мимолетно восхищаясь, восклицал: «Какой славный, заводной набат у нас появился!»

И словно встряхнуло небосвод: с него посыпался мельчайший осенний дождичек, умиротворяющий, как шепот, успокоительный, как капли корвалола.

Услышали звон и чиновники областной и городской популяции. Губернатор с утра был срочно вызван в Москву, и улетел, недоумевая, а вернется к ночи. И спокойные чиновники ходили по кабинетам и сравнивали, у кого ожоги на животе больше, а у кого

меньше, не ведая, почему так, но не смели их пока почесывать. И говорили, что Иван Тарасович, «Сам», придумал забавную акцию для них в честь четырехсотлетия города, и здоровье их, безусловно, улучшится. А вот доктор Пак, пожалуй, сладострастник — мы воем, а он губы облизывает, садист! По себе судили они Аркадия Владимировича, улетевшего с губернатором в одном самолете.

Владыка вызвал машину и уехал за город вместе с отцом Николаем. Сразу за Семилужками, за кладбищем на гриве, машина углубилась в лес и катилась, поелику возможно было, — и там владыка вышел, попросив Николая не ходить за ним: в кои веки побуду один.

Кропал дождичек, владыка бродил между елок и березок, осинок и елок, по палой листве, по шишкам, бедным и низким смешанным леском, и запахи прели, хвои и грибов трогали его. В сущности, ничем не отличался этот клочок леса от тех клочков, в которые он, будучи в Лавре, выбирался иногда в осеннем Подмосковье.

На маленькой елани, посреди которой валялся ржавый прицеп сеялки, ему встретились старик и подросток, местные, хозяйски громогласные. Старик был привычно пьян, подросток вытаращил на владыку порочные, пустые глаза, будто хотел пристать. Старик, узрев панагию на груди владыки, что-то понял о нем, потому что смутился; поклонился ему через силу и дернул подростка за рукав, торопя разминовение. И владыка с печалью подумал о том, что расскажет старик об этой встрече в селе, какими словами: «поп», «шлялся по лесу, что ему надо, на кладбище заезжал?» и прочее.

А потом он нашел один подберезовик, другой, еще, еще. Все грибы были целые, чистые, большие. Он вернулся к машине, где его, переминаясь, дожидались водитель и отец Николай.

«Следил за мной, Николай?» — улыбнулся владыка. «Было немного, ответил Николай, я ведь не знаю, какой вы в лесу. Вдруг заблудитесь». «А я тебя не приметил и не слышал. Силен, по стати своей ты тут должен даже галок распугать». «Галки сейчас в городе, а я вырос в лесу, — сказал Николай, — в глухом лесу с детства, в шишкинском».

И владыка покори́л себя: не помнил он об этом. Николай что-то да говорил, а он не помнил, не запомнил... Да, а в бороде вода.

После работы, натошак, Алеша и Ванда отправились в Город, на проспект, и повторили ночной маршрут, проделанный на машине с Ираидой Петровной. Они двинулись от площади до университета, зайдя по дороге в какое-то кафе и обнаружив, что ужинать им рано, не хочется. Попили кофе.

Смотрели на прохожих, тихонько обсуждали их: люди и люди, не замечающие их, молодых и, может быть, красивых. Тут не Болото, тут не узнают, не любопытствуют, отчего ни холодно ни жарко. Вечер, самое пешеходное время, улицы забиты транспортом, на тротуарах иной раз приходится то тормозить, то ускоряться, даже устаешь, непривычно.

Вечер прозрачный, светлый — настолько робок дождик, настолько тонка облачная кисея над головами. Они сложили зонты и шли под руку, как интересные герои из французских фильмов, думая о походке и наклоне головы — так решила Ванда.

А город выглядел не хуже, чем ночью, хороши были старинные каменные здания, будто одним умницей придуманные и расставленные им по порядку; только бюст Пушкина как-то выпадал, как показалось Ванде, из общего стиля. Она не могла понять, почему, они подошли к бюсту, обошли его кругом, и она наконец нашла определение: «Пушкин здесь все-таки какой-то слишком пухлый, и бакенбарды как шницеля. Не мог он быть таким откормленным». Верно, согласился Алеша, а Ванда сказала: «Не носи ни усов, ни бакенбардов. Тебе не пойдут». «И не буду», — заверил Алеша.

Пока они от этого Пушкина добирались, именно добирались до университетской рощи, восхитительно не известные никому, у них сложился разговор о завтрашнем и послезавтрашнем и вообще грядущем дне. «Странно, очень странно, — говорила Ванда, — как только я тебя полюбила, мне сразу же захотелось с тобой куда-нибудь, но не куда попало, уехать. Куда вот только? И в то же время — мы с Болота, и полюбили, потому что мы с Болота, — и где и кому-чему мы еще нужны? И — не знаю».

«То есть, — сказал Алеша, — или уж уехать так уехать, или уж остаться так остаться! Так остаться, что!»

«С Болота уехать на Болото», — сказала Ванда.

В университетской роше было оживленно: слабенький дождик не помешал студентам занять почти все скамейки. Понятно, начало учебного года, еще не наговорились с каникул, не приелись друг другу студенты, и много у них новостей о себе.

Одна скамейка, у самой дорожки, ведущей ко входу в университет, как по заказу освободилась. С нее встали и почти побежали на Алешу и Ванду трое мальчишек, по всему, первокурсников, и тот, что был сзади, на секунду оступился, увидев Ванду, помотал головой и поскакал мимо. Алеша оглянулся на мальчишку — мальчишка оглянулся на Ванду, влюбленно и горестно.

И Алеша посмотрел на Ванду и снова увидел ее там, на скамеечке под дубом. И Ванда поняла все, и здесь, рядом с университетом, снова обозначила ему губами: «Алешка-дурак».

Они присели на сырую лавочку, частично вытертую задами мальчишек, торжественные, как фараон с фараонихой.

И тут их узнали. К ним подошел и поздоровался пожилой ученый человек, тот самый, что был похож на Ленина и которого звали, однако, Николай Степанович. Он показал им желудь с серебряной шляпкой, и они охотно показали ему свои. И от этой полудетской игры им похорошело — мы не капли, не песчинки, у нас есть своя тайна. Своя, так сказать, бригантина.

Алеша хотел сказать ученому человеку что-нибудь доброе, но не нашелся, пришлось спросить, как дела. Устал, аки пес, ответил тот, две пары откудахтал. А их ничем не проймешь. Когда профессор говорит о себе «пес» и «откудахтал», это очень смешно и располагает. Ванда засмеялась и спросила: «Почему, когда влюбишься, хочется вместе куда-нибудь уехать?»

Профессор демократично почесал лысинку:

— Задала вопрос. Другой Николай Степанович ответил бы тебе: «Давай, Маша, чай пить». А я буду прост, как дрозд: любовь — новая жизнь. Это я, дети, еще помню. А раз новое — значит другое. А раз другое — хочется в не здесь. Билет-то уже куплен. А бывает, что хочется от всех закрыться. Тоже

вроде бы как уехать. ...А мне вот в любви не очень везло, а все время свербило: уехать, уехать... Уже опаздываю я на третью пару, в другой корпус. День скорби у меня сегодня — три пары! Мы обязательно увидимся! Мы придем!

И побежал в боковую аллею, кивая им и помахая рукой и папкой в руке. И в последний раз махнул, уже не оглядываясь, задрал руку повыше — и исчез.

— Жалко профессора, — сказала Ванда, — душа-человек! Николай Степанович!

Когда они спустились с Обруба и подошли к своему дому, обрызганной деревяшечке со словом «жопа» на двери их подъезда, глазам их предстала удивительная нравственная картина, редкая даже для изобретательного в мелочах, по общей скудости жизни, Болота.

Навстречу лучам пробивающегося заката от магазина «Продукты Аккорд» к ним стремительным бегом, но черепашьими шагами приближался старший Дьячков, пьяный уже «в соску» и очень испуганный. За ним дико ухала коляска Павла Васильевича, и мартеновским огнем полыхали его очки. Инвалид усиленно, левой рукой наяривал рычаг коляски, что позволяло ему не отставать от Дьяčkова, но и нагнать злодея он никак не мог.

В правой руке старика была его палица, и свинцовый ее конец опускался на спину Дьяčkова, отчего Дьячков ухал в ответ коляске.

— Забыл, забыл, сволочь, порядок, — рычал мужественный инвалид, — обомжел!

Высшим приговором звучало на Болоте слово «обомжеть». Позорнее, чем украсть простыню, было обомжеть!

Дьячков дотащил себя до подъезда и, изнемогая и трезвея, поставил на землю спиртную бутылку и, выставив локти, взмолился:

— Пощади, чертов дед! Ну бес меня попутал, пьян я, козел я!

— Раньше не путал, — сказал, задыхаясь, Павел Васильевич, — раньше ты у меня кровь мою не пил. Лучше бы ты меня кастрировал! опустился ты. И на сына не ссылайся, горе-де. Тоже мне горе. Я, брат, горя побольше твоего видел. А не опу-

стился. И не чертов я дед, я святой по-своему старикан, есть такое мнение.

Он опустил палку, прихватил с земли бутылку и приложился к ней, обливаясь вином. Дьячков заполз в подъезд. И слышно было, как он рухнул сразу за дверью.

Павел Васильевич оторвался от бутылки и запел для Алеши и Ванды древнюю песню победы:

— Чечери да чечери,
Гуляли мы на вечере,
Залетали к нам бакланы —
Мы их укалечили!



СОДЕРЖАНИЕ

Шукшинская литературная премия.....	5
Об авторе.....	6
Лучшая русская литература создается в провинции <i>Н. Иванова</i>	7
ПОВЕСТИ	
Бюст.....	19
Что упало — то пропало.....	116
Музонька.....	165
Стрелец.....	215
Пестренский денек.....	256
Рожки платочек.....	287
Годовое кольцо.....	344
РАССКАЗЫ	
Вальс-бостон.....	401
Брусника.....	405
В центре Азии.....	407
Тоска зеленая.....	410
Остров смерти.....	423
Ленину и без вас хорош.....	429
Баба Маша и другие.....	434
Ласточка с весной.....	453
Стихия.....	466
ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ «ПРО ВСЕ»	
Судоку.....	475
Стреляли.....	479
Во весь рост.....	484
РОМАН	
Колокол и болото.....	492

Литературно-художественное издание

Костин Владимир Михайлович

Сборник прозы

ИЗБРАННОЕ

Редактор: А. В. Кирилин
Дизайнер: Ю. В. Раменская
Корректор: В. М. Каркавин
Верстальщик: Е. П. Гавриченкова

Подписано в печать г. Формат 62х90/16
Тираж 1500 экз. Заказ №.

